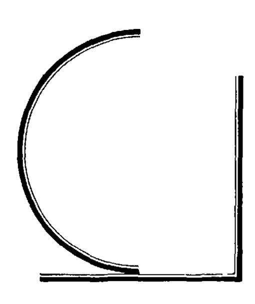


Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ВОСПОМИНАНИЯ



ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ

Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ВОСПОМИНАНИЯ



Москва
«Искусство»
1995

ББК 87.8
М 69

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

М $\frac{0301080000-002}{025(01)-95}$ 16-92

ISBN 5-210-02318-4

СОДЕРЖАНИЕ

ДИАЛОГ О МИХАЙЛОВСКОМ

Памяти Михайловского суждено проясняться и вырастать
В Г Короленко (1904)

Наш противник, друг и отец
Н А Бердяев о Михаиловском (1904)

М Г Петрова Судьба литературного наследства Николая Константиновича Михайловского трагична, и нам предстоит разобраться в закономерностях и парадоксах этой трагедии Как человек беспокойный и резкий, он всегда стоял в центре идейных споров русского общества, но в дореволюционной России это лишь способствовало его популярности Книги Михайловского имели постоянный спрос (по распродаже одного издания тотчас предпринималось другое), литература о нем огромна

Совсем другая картина в советские годы Замысел собрания сочинений был прекращен на первом же выпуске Затем последовали две долгие паузы, совпавшие с периодами сталинского и брежневского владычества Посмотрите, как редки и многозначительны даты выхода книг Михайловского, как они говорят сами за себя 1921, 1957, 1989

В Г Хорос Объяснить это нетрудно Долгие десятилетия Михайловский проходил по разряду фигур, попавших «в немилость» к Ленину, особенно молодому Я недавно специально перечитал «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — страницы о Михайловском написаны там с поразительной резкостью, если не сказать грубостью Достаточно вспомнить фразу о том, что Михайловский «не умен, и ничего больше»[1] Правда, потом отношение Владимира Ильича к Михайловскому помягчело Статья «Народники о Н К Михайловском» (1914) выглядит гораздо более взвешенной А в 1918 году Ленин в Декрете о монументальной пропаганде вообще включил Михайловского в число передовых российских мыслителей, память о которых надлежало чтить, что и было реализовано в перечне имен на обелиске в Александровском сквере, близ Кремля

[1] *Ленин В И* Полн собр соч, т 1, с 196

М. П. Это было в 1927 году, когда ленинский декрет еще не решались открыто ревизовать. Позднее его не отменяли, но и во внимание не принимали. Идеологи сталинской школы предпочитали диалектику и практику абсурда: имя на обелиске оставили, а самого Михайловского обрекли на долгое поругание.

В. Х. Да, в сталинский период, когда народники третировались как «злейшие враги марксизма», как «идеологи кулачества» и тому подобное, Михайловскому доставалось, может быть, больше других. Как же, он «посмел» полемизировать с марксизмом, его последователи (народные социалисты) оказались в оппозиции Октябрьской революции... После «оттепели» XX съезда климат несколько изменился — историки стали напоминать ленинские характеристики о близости Михайловского к революционному подполью, о его искреннем, боевом демократизме. Но предвзятость в оценках по-прежнему давала себя знать. Я помню, с какими муками историк Э. С. Виленская пробивала свою книжку о Михайловском (вышла в 1979 году), как безуспешно вела переговоры об издании его работ.

Впрочем, попытки навести на Михайловского глянец революционности дали реакцию с другой стороны. Долголетние усилия иовчуков и щипановых уложить историю домарксистской общественной мысли в прокрустово ложе так называемой «революционной демократии» привели к обратному результату — отливу интереса, отшатыванию от мыслителей типа Белинского, Герцена, Чернышевского, Писарева, Михайловского. Это, понятно, тоже крайность. Дело не только в том, что любая односторонность вредна, но и в том, что среди прогрессивной русской мысли те или иные персонажи значительно отличаются — Герцен отнюдь не сродни Чернышевскому, а Михайловский — Писареву.

М. П. Экзамен на чин «революционного демократа» Николай Константинович так и не выдержал, хотя этот почетный титул получили его соратники Щедрин и Короленко, вовсе на него не претендующие и революционерами себя не считавшие.

В. Х. Однако в самое последнее время в нашей литературе наметился любопытный поворот: Михайловский-таки произведен в революционеры, но — в совсем ином контексте и с противоположным знаком. Например, известный историк общественной мысли А. А. Лебедев поставил Михайловского в один ряд с теми представителями «леворадикального народничества» или «мелкобуржуазного народнического социализма», от которых ниточка тянется к «военному коммунизму» и к сталинщине [2]. Вот даже как!

[2] *Лебедев А.* Теперь, когда глядишь назад...— «Знамя», 1989, № 4, с. 205—206.

М. П. А критик А. Гангнус утверждает, будто «левацкий большевизм» — это «наследие народнического утопизма» [3]. Новый изворот мысли, помогающий опять-таки извлекать корень зла из народничества, выводя марксизм за скобки. Раньше Михайловского клеймили за «отступление к либерализму», теперь упрекают за излишнюю левизну. Зна́ковая система поменялась (мы стали ценить мирное развитие), но негативный пафос в отношении к народничеству сохранился, а с ним и амплуа «мальчика для битья» для Михайловского.

В. Х. Ну, бог с ними, с любителями поворачивать историю, как дышло. Но вот хочу поделиться сомнениями: насколько «прозвучит» Михайловский сегодня? Я, разумеется, отнюдь не оспариваю важность публикации отечественного культурного наследия, а тем более, когда для того есть столь веский повод, как 150-летний юбилей со дня рождения мыслителя. Но как вы полагаете: найдет ли Михайловский дорогу к современному читателю?

М. П. На этот вопрос ответит сам читатель. Мы должны дать ему материал для размышлений, рассказать о Михайловском, о его жизни и личности. Тем более что сам Михайловский исповедовал своеобразную религию личности, которую основывал на *единстве* мыслей, чувств и поступков человеческих.

Николай Константинович родился 15 ноября 1842 года в городке Мещовске Калужской губернии в семье потомственного дворянина. Мать, обрусевшая немка, умерла в раннем детстве Михайловского. Смерть отца прервала учение мальчика в костромской гимназии. Четырнадцати лет он был определен в Институт корпуса горных инженеров в Петербурге. По воспоминаниям соученика, Михайловский-юноша был «очень беден», «очень самолюбив» и «очень деликатен во всех денежных вопросах» [4].

Незадолго до получения звания горного инженер-поручика Михайловский был исключен из института, так как выступил коноводом в бурном столкновении с начальством корпуса. Повод для инцидента был полудетский: кадеты отстаивали право носить длинные волосы, зачесанные назад. Это считалось «признаком либерализма» и строго преследовалось как демонстрация духовной близости с вольнолюбивым студенчеством. Но первопричина лежала глубже: юные сердца жаждали принять участие во всеобщем процессе обновления, который охватил Россию в конце 50-х годов, когда после длительного николаевского удушья наступила «историческая весна», названная впоследствии *эпохой великих реформ.*

[3] *Гангнус А.* На руинах позитивной эстетики.— «Нов. мир», 1988, № 9, с. 150.

[4] *Скальковский К.* Воспоминания молодости. Спб., 1906, с. 80.

После исключения началась «година голоштанного существования», которая длилась около десяти лет,до того времени, когда Михайловского прибило к настоящей жизненной пристани — к близкому сотрудничеству в некрасовских «Отечественных записках», где позднее он станет соредактором М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева. Об этих годах своей жизни Михайловский рассказал сам в публикуемых «Литературных воспоминаниях».

В. Х. Да, пятнадцать лет работы в «Отечественных записках» стали поистине золотым периодом в жизни Михайловского. Тогда он написал все свои основные труды («Что такое прогресс?», «Борьба за индивидуальность», «Что такое счастье?» и т. д.), принесшие ему широчайшую известность. Поразительной была работоспособность Михайловского: каждый месяц он регулярно писал по полтора-два печатных листа. Конечно, такой темп порой приводил к издержкам, излишним длиннотам, избытку цитат. Но все же это был настоящий литературный подвиг, а также высочайший профессионализм.

М. П. Короленко писал: «Михайловский убивается над журналом...»[5].

В. Х. Интересна была и манера Михайловского-публициста: он, как правило, обращался к читателю с циклами статей, рассчитанными на длительный период. Таковы «Дневник читателя» (1885—1888), «Случайные заметки и письма о разных разностях» (1888—1892), «Литература и жизнь» (1892—1904) и др. Это были не просто формальные рубрики, но и нечто, определявшее жанр, и своего рода смотровое окошко, через которое журналист обозревал действительность, и даже отражение некоторой жизненной позиции. Словом, Николай Константинович был литератор-публицист такого масштаба, какого после него уже не было, в том числе и в советских «толстых» журналах.

М. П. Зоркий и опытный Некрасов сразу оценил достоинства молодого сотрудника. «...Это самый даровитый человек из новых,— писал он 15 июля 1869 года,— и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, очень энергичен и работящ. «Отеч. запискам» он может быть полезен сильно и надолго. Человек он честный и скромный...»[6].

Некрасов присутствовал на свадьбе Михайловского 20 февраля 1869 года и сказал его невесте Марии Евграфовне: «Счастливая вы, выходите за человека, который все понимает». Вспоминая об этом

[5] Письмо В. Г. Короленко брату, 16 декабря 1900 г.— ГБЛ, ф. 135, разд. II, карт. 5, ед. хр. 7, л. 4, об.

[6] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем, т. 11. М., 1952, с. 147.

в 1883 году, Михайловский добавил: «С тех пор оказалось, что я ужасно многого не понимаю и, кажется, просто не способен понимать» [7]. Он имел в виду прежде всего свою семейную жизнь, которая сложилась неудачно. Первый брак очень быстро распался, но жена не дала развода, поэтому второй союз, с Людмилой Николаевной Левицкой, имел форму гражданского брака, как тогда говорили. От этого брака у Михайловского было двое мальчиков, которых он любил с редкой нежностью и ради которых долгие годы мирился с нарастающим семейным разладом. В конце концов Людмила Николаевна вышла замуж вновь, оставив детей Михайловскому к его большому торжеству. Кстати, Некрасов, по-видимому, был крестным отцом первого сына, Николая, впоследствии актера Московского Художественного театра. Во всяком случае, уговаривая сестру приехать на крестины, Михайловский прибавлял: «Покумишься с Некрасовым, эта штука тоже не на каждой улице валяется. Я, впрочем, еще не знаю, удостою ли его этой чести: есть соображения *за*, есть и *против*» [8].

Конечно, это сказано не без шутливой бравады. Однако особой скромностью в самооценках и поведении Михайловский не отличался. Слишком он был избалован успехом: студенты носили его на руках, осыпали цветами, девицы падали в обморок при его появлении. В. В. Розанов не без ядовитости заметил: «Скажите, какие «несчастненькие» эти Михайловский, у ног которого была вся Россия, и Щедрин, которого косого взгляда трепетал Лорис-Меликов» [9].

В. Х. Меня всегда поражала эта громадная прижизненная популярность Михайловского, поскольку она резко контрастировала с его более чем скромной известностью в советский период. Но истоки этой популярности вполне понятны, если посмотреть на творчество Михайловского непредубежденными глазами. Он был настоящим мыслителем-универсалом, просветителем-социологом, философом, экономистом, историком, психологом, политологом, наконец, литературным критиком. Он оставил немалый след в различных областях обществоведения, многие его анализы и оценки глубоки и основательны. Скажем, его статья «Иван Грозный в русской литературе» вполне может представить интерес даже для современного историка — в ней дается очень тонкое сопоставление различных типов трактовки Грозного историками, а типы эти, по сути, сохранились до сегодняшнего дня.

М. П. Историком или экономистом в узком значении слова я бы

[7] Письмо Н. К. Михайловского Е. П. Летковой.— ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 201, л. 110.

[8] Письмо Н. К. Михайловского Е. К. Мягковой, март 1875 г.— ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 9, л. 18, об.

[9] Письмо В. В. Розанова Горькому, март 1912 г.— «Вопр. лит»., 1989, № 10, с. 164.

Михайловского не называла. Его интересовала прежде всего история культуры, история мысли и духа. В последние годы он замышлял большую работу о религии, которую осуществил лишь отчасти. В деятельности Ивана Грозного Михайловский выделял закономерное для всякого деспотизма отсутствие созидательной государственной идеи («полная бессудность всея Руси»). Не менее характерно стремление подчинить и обезличить все вокруг себя, подавить малейшее проявление человечности. Митрополит Филипп, пишет Михайловский, погиб потому, что хотел «только «печаловаться» пред царем за невинных», и не спасли его ни сан, «ни святость жизни, ни высокое благородство характера. «Печаловаться» — это уже казалось Иоанну покушением на его власть. Он знал одно: жаловать своих холопей мы вольны, и казнить тоже вольны. И когда нам говорят, что Иоанн спас Россию от какой-то страшной будущности, то одной невинной крови Филиппа достаточно для того, чтобы забрызгать эту страницу русской истории до невозможности прочитать на ней что-нибудь светлое и радостное» (VI, 207[10]).

В этом отрывке вся мера вещей или философия истории Михайловского.

В. Х. Кроме того, радикально настроенной интеллигенции, молодежи в России очень импонировало то, что демократические убеждения Михайловского опирались на высокую культуру и широту познаний. Он долгое время был, что называется, бессменным рыцарем от демократического лагеря на полемических турнирах в русской журналистике: «рубился» с либералами, консерваторами, монархистами. Он первым поднял перчатку, брошенную народникам русскими марксистами. Он мог запросто критиковать Спенсера и Ницше, выговаривать самому Льву Толстому. Словом, для последней трети XIX и начала XX века это был, пожалуй, один из крупнейших авторитетов в российской демократической среде.

Наконец, я бы отметил еще такую очень привлекательную черту Михайловского: он не был любителем умозрений, теоретиком-схематиком, но, напротив, вполне «жизненным» человеком. Один из его циклов статей в середине 70-х годов назывался очень характерно: «Записки профана». Профан, по Михайловскому,— это человек, который, вполне признавая значение науки или искусства как области «высокого» человеческого творчества, все-таки оценивает их в той мере,

[10] Ссылки на сочинения Михайловского, кроме специально оговоренных, даются в тексте: в скобках указаны том и столбец (издания двухстолбцовые): *Михайловский Н. К.* Сочинения, т. I—VI. Спб., 1896—1897; Полн. собр. соч., т. VII. Спб., 1909; т. VIII, 1914; т. X, 1913.

в какой они оказываются способными «работать» на общество, на трудящихся, на народ. И именно таковы были критерии самого Михайловского.

М. П. Если уж говорить о причинах популярности Михайловского, то стоит, наверное, упомянуть, что он был очень хорош собою. Критик А. М. Скабичевский, знавший его не одно десятилетие и, заметим, не очень любивший, свидетельствует: «Среднего роста, с классически правильными чертами лица, сияющего и физическою и духовною красотою, с чрезвычайно умными, проницательными глазами, с зачесанными назад пышными белокурыми кудрями, с безукоризненными изящными манерами, он был кумиром как женщин, так и мужчин, с которыми сближался...» Но сближался он далеко не со всеми, так как был человеком «крайне сосредоточенным, скрытным, каждую минуту державшим себя в руках». Он получил «блестящее, чисто дворянское воспитание», владел несколькими языками, «лихо танцевал мазурку», «любил шампанское и дорогие ликеры,— словом, с головы до ног представлял собою чистокровного джентльмена» [11].

Психологически более содержательный портрет оставил Горький, знавший Михайловского в старости: «В его небольшом, ладном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невеселой мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня» [12].

В. Х. Михайловского даже упрекали, что он держался всегда слишком уверенно, по-генеральски.

М. П. Он и был, по существу, генералом в журналистике, «редактором-аншеф», по слову Короленко. По его же свидетельству, Михайловский «был сдержан, не любил распущенности и амикошонства, не терял никогда самообладания, у него было удивительное умение обращаться с людьми, порой несколько суровое, но всегда прямое и честное...» [13].

Вообще, излишняя суровость и резкость была характерна для всего поколения шестидесятников. Это был особый *стиль* эпохи, идущий от ее главного действующего лица — демократа-разночинца. Эпоха определила и крайнюю простоту житейского обихода Михайлов-

[11] *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.— Л., 1928, с. 273.

[12] *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти т., т. 16. М., 1973, с. 485.

[13] *В. К.* ⟨Короленко В. Г.⟩. Г-н Протопопов о Н. К. Михайловском.— «Рус. богатство», 1904, № 5, отд. II, с. 136.

ского, оставшегося почти неизменным и тогда, когда бедность сменилась известным достатком Росла библиотека, но неприхотливость жилья и обстановки оставалась прежней Демократический жизненный уклад был неотделим от облика старой русской интелли генции Весной 1893 года знаменитый на всю Россию публицист благо дарил своих родных за пасхальные дары «Скатерти и салфетки оценила в особенности, конечно, Аннушка (старая нянька Михайловского — *М П*), так как они дадут ей возможность отдохнуть от не престанной стирки $2^1/_2$ имеющихся у меня салфеток и $1^1/_2$ скатертей Колобки и зандкухены (песочное печенье — *М П*) по достоинству оценены всеми, со включением редакции «Русского богатства», куда часть их, впрочем, еще только будет направлена Неловко христосо ваться до Пасхи» [14] В доме Михайловского Пасхальная ночь всегда праздновалась

В X Мы уже как то незаметно очутились в 90 х годах Но между поздним и ранним периодами деятельности Михайловского было много событий

М П Прежде всего — закрытие «Отечественных записок» в апреле 1884 года по распоряжению «министерского квартета», совещания четырех министров Мотивы запрета были сформулированы так « правительство не может допустить дальнейшего существования органа печати, который не только открывает свои страницы распрост ранению вредных идей, но и имеет ближайшими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ» [15]

Имелся в виду, по видимому, арестованный в январе 1884 года публицист С Н Кривенко, близкий приятель Михайловского, связан ный с «Народной волей» Сам Михайловский был выслан из Петербур га еще в декабре 1882 года и до осени 1886 года жил сначала в Вы борге, а затем на станции Любань

Есть свидетельства, что первая высылка в 1882 году вызвана сви данием Михайловского с В Н Фигнер 15 ноября того же года в Харькове, о чем донес провокатор С П Дегаев Правда, в те патриархальные времена близость к «Народной воле» (Михайловский к тому же участвовал в ее подпольных изданиях) могла ускользнуть от глаз по лиции, не очень-то расторопной и сравнительно немногочисленной Самые опасные революционеры, вспоминал Михайловский, «раз гуливали с фальшивыми паспортами совершенно открыто по Петер бургу, показывались в обществе, в театре, на разных торжествах» (X, 56) Никто не спешил заявить о них в полицию, наоборот, вся-

[14] Письмо Н К Михайловского Е К Мягковой, март 1893 г — ГБЛ, ф 578, карт 1, ед хр 18, л 1

[15] «Правительственный вестн », 1884, 20 апр

чески помогали, прятали. Конечно, власти знали о давней близости Михайловского к революционным кругам и всю жизнь донимали его допросами, обысками, ограничениями въезда и выезда.

Непосредственным же предлогом для высылки послужило выступление Михайловского на балу в Технологическом институте 27 ноября 1882 года, где его встретили, как всегда, бурными приветствиями. «Я понимаю,— ответил Николай Константинович,— что не ко мне лично относятся ваши приветствия, а к тому направлению, которое я представляю в литературе. Позвольте же мне обрисовать это направление не совсем обычною, но верной формулой; направление это слагается из двух элементов: элемента совести, который определяет наши отношения ко всем обездоленным и к народу, на счет которого мы живем, и элемента чести, определяющего наши отношения к тем, кто ежедневно, ежечасно нас оскорбляет; здесь, на празднике молодости, я пью за честь и за совесть»[16].

В. Х. В жизни Михайловского была еще одна высылка.

М. П. Да, в апреле 1891 года в связи с похоронами его единомышленника и близкого друга Н. В. Шелгунова. На этих похоронах Николай Константинович пытался погасить конфликт молодежи с полицией. Требования полиции он считал «нелепыми, ненужными», но не хотел превращать обряд похорон в побоище. «...Произошла возмутительная сцена...— рассказывал он в письме редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву.— Крик, шум, почти драка, гроб колышется, женщины плачут. Нечто ужасное. Мне удалось кое-как убедить молодежь, чтобы поставили гроб на катафалк, 〈...〉 примерно на двух третях дороги гроб все-таки сняли и понесли на руках; пошли не по указанному маршруту, а по самым людным улицам: по Литейной, Невскому, Николаевской. А главное, несли венки перед гробом, что составляет уже нарушение закона, а не полицейского распоряжения. Процессию эту видел Победоносцев из окна (он живет на Литейной) и возмутился»[17].

Разумеется, виновником оказался человек, много лет проповедовавший «прание против рожна необходимости». Без объяснения причин, тайно Михайловский был вывезен в полицейской карете на станцию Обухов и выслан из Петербурга.

Впрочем, высылка продолжалась недолго, всего несколько месяцев. Среди тех, кто хлопотал о возвращении Михайловского, был философ Вл. Соловьев. Они не были единомышленниками, но в кругу

[16] Письмо Н. К. Михайловского Е. К. Мягковой, январь 1883 г.— «Весник Беларускага дзяржаунаго унiвэрсiтэта». Серия IV, № 3. Минск, 1980, с. 17.

[17] Архив В. А. Гольцева. Т. I. М., 1914, с. 209.

интеллигенции было принято заступаться за гонимых. Кстати, демократ Михайловский и теократ Вл. Соловьев в 90-е годы противостояли весьма многообразному течению, стремящемуся освободить искусство от «пут морали». Оба они возводили здание эстетики на фундаменте этики, хотя «начала добра» у них, разумеется, различные.

Характерно, что эти недальние ссылки порою ставили в укор Михайловскому как типичные эпизоды «либеральной биографии» — без тюрьмы и Сибири. Но он никогда и не претендовал на звание революционера и писал, что прожил жизнь «без сколько-нибудь занимательных для публики событий», всего две административные высылки, а остальное время находился «под негласным надзором полиции, подобно весьма и весьма многим русским гражданам»[18].

В. Х. Вы затронули интересную тему: Михайловский и революция. Был ли он революционером? Безусловно, если под революционностью понимать радикальное изменение существующего социального и политического строя — всю жизнь Михайловский выступал против самодержавия, за созыв Земского собора, за передачу помещичьей земли крестьянам. И вместе с тем он писал в 1873 году П. Л. Лаврову в ответ на его приглашение принять участие в «диссидентском», как нынче говорят, зарубежном журнале «Вперед»: «Я не революционер, каждому свое» (X, 65). А дальше следовало нечто на первый взгляд совсем парадоксальное: «Откровенно говоря, я не так боюсь реакции, как революции» (X, 68).

Вокруг этих высказываний было много спекуляций со стороны литературоведов и историков. Но если спокойно разобраться, то позиция Михайловского (изложенная в том числе в упомянутом письме к Лаврову) выглядит очень разумной и трезвой. Революционные силы в России тогда были весьма малочисленными, незрелыми, слабо укорененными в обществе. Неподготовленное выступление могло, скорее всего, повести к реакции, так же как стихийный взрыв снизу — «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). Надо было достаточно долго и терпеливо готовить умы, будить общественное мнение, создавать гражданское общество в России. Поэтому так дорожил Михайловский своей легальной журнальной трибуной и не считал себя «вправе променять 8000 читателей» на родине на сомнительное эмигрантское существование.

Впрочем, с закрытием «Отечественных записок» он этой трибуны временно лишился...

М. П. Тогда он и его товарищи по журналу оказались, по слову Щедрина, с «запечатанной душой». Охранительная печать со злорадством объявила Михайловского «критиком, сошедшим со сцены».

[18] Письмо Н. К. Михайловского Н. С. Русанову, июль 1898 г.— ГБЛ, ф. 358, карт. 412, ед. хр. 6, л. 5.

В. Х. Прибавьте еще, что то был период контрреформ, застоя и безвременья.

М. П. По свидетельству близких людей, у Михайловского в те годы были приступы «едкой тоски», но его спасла сильная воля. «Сидения сложа руки» он не признавал ни в историческом, ни в житейском плане.

В 1885 году Михайловский входит в редакцию «Северного вестника», пытаясь преобразовать его в журнал народнической демократии. Однако сколько-нибудь прочного союза с издательницей журнала А. М. Евреиновой не получилось, конфликты следовали один за другим, и в апреле 1888 года произошел окончательный разрыв. Михайловский принимает предложение издателя Ф. Ф. Павленкова написать ряд очерков для биографической серии, ведет постоянный раздел в московской газете «Русские ведомости» — в своей излюбленной манере разговора с читателем на литературные и общественные злобы дня. И наконец, «влекомый за шиворот судьбой», «закабаляется» в «Русскую мысль» [19], журнал классического российского либерализма. Здесь у него положение гостя, признающего чужой устав, что дается ему нелегко. Приходится постоянно протестовать против «совершенно непереносного» обращения с текстом статей, которые редакция, без согласования с автором, смягчает в видах цензуры. Не таков был человек Николай Константинович, чтобы терпеть утеснения. Ведь даже Некрасову он заявил об уходе из-за какого-то внутриредакционного недоразумения в конце 1873 года. Вообще, «бытие» никогда не подчиняло его «сознание». Наоборот, он всегда предъявлял требования «бытию», не страшась житейских последствий. Весной 1891 года он идет на «полный и бесповоротный разрыв» со своим единственным журнальным пристанищем, но редакция «Русской мысли» нашла пути к примирению, и сотрудничество продолжалось до той поры, пока не кончилось журнальное сиротство и у Михайловского не появился собственный орган печати.

Он встал во главе захудалого в то время журнала «Русское богатство», разумеется, неофициально. Имя Михайловского держали в тайне, пока не были утверждены официальные, то есть подставные, редактора. В руках Михайловского «Русское богатство» приняло «ярко-радикальное направление», по определению Короленко, который вскоре стал вторым «коренником» редакционного воза.

В первый же год десятикратно подскочил, а затем неизменно увеличивался тираж журнала. Существует красноречивая статистика читательского спроса на журналы, которую полстолетия вела Импе-

[19] Письмо Н. К. Михайловского В. М. Соболевскому, 1 августа 1891 г.— ЦГАЛИ, ф. 452, оп. 1, ед. хр. 15, л. 45, об.

раторская публичная библиотека Петербурга, крупнейшая в России. В 70—80-е годы первое место в читательском спросе занимали, как правило, «Отечественные записки». «Русское богатство» в 1891 году стояло на 14-м месте. В 1893 году (первый год редакторства Михайловского) — вышло на 4-е, в 1895-м — на 3-е. Начиная с 1902 года журнал занимал 1-е или 2-е место.

В. Х. Чем же «взяло» «Русское богатство»?

М. П. Прежде всего ориентацией на «своего» читателя. Российский читатель в массе своей — демократ и правдоискатель. Как отметил в 1908 году А. Блок, «неподкупное и величавое приятие или отвержение характеризует особенно *русского* читателя. Никогда этот читатель, плохо понимающий искусство, не знающий азбучных истин эстетики, не даст себя в обман «словесности», он отвергнет «все, что пахнет ложью или хотя бы только неискренностью, что сказано не совсем от души, что отдает «холодными словами»...» [20].

В 1905 году постоянный критик «Русского богатства» так ответил на вопрос, чему учил Михайловский: «Прежде всего: писать для других, не для себя», «невнимание к читателю было первым недостатком, от которого отучал Михайловский» [21].

Ориентации на демократического читателя Михайловский придерживался во всех разделах журнала: в беллетристике, публицистике и литературной критике. «Охотнее всего,— вспоминал критик Евг. Соловьев (Андреевич),— он открывал страницы своего журнала для «своих», то есть людей того же, как он сам, порядка мыслей или даже тех, кого надеялся сделать своими, а к «модному» относился прямо недоверчиво» [22]. Однако при всей приверженности к определенной системе взглядов Михайловский, в отличие от Щедрина, никогда не правил чужих рукописей; он предпочитал искать и воспитывать единомышленников.

Для Николая Константиновича не существовало рангов в литературном труде: он вступал в спор с великими и чувствовал себя собратом по ремеслу с любым скромным тружеником. В редакции говорили, что он любит «раздувать искру» — печатать начинающих. При его содействии вошли в литературу Гарин-Михайловский, Бунин, Куприн, Горький и другие. Бунин вспоминал, что Михайловский напечатал в 1893 году его первый эскиз и уверенно предсказал безвестному автору, что из него выйдет «большой писатель» [23]. Куприн поставил имя Михайловского первым в ряду тех, кого он вспоминает с глубокой

[20] *Блок А.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М.— Л., 1962, с. 278—279.
[21] *Горнфельд А. Г.* Книги и люди. Спб., 1908, с. 223—224.
[22] *Скриба* ⟨Соловьев Е. А.⟩. Петербургские письма.— «Одесские новости», 1904, 4 февр.
[23] *Бунин И. А.* Собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., 1967, с. 265.

благодарностью. А в 1925 году рассказал о первых литературных шагах Леонида Андреева, о том, что Михайловский «принял его с тем дружеским радушием, с которым этот большой человек встречал истинные таланты» [24]. Так был встречен в редакции «Русского богатства» и никому не известный киевский газетчик Куприн.

Разумеется, Михайловский был по-своему разборчив, «певчих из другого хора» не печатал, представлял себе русский литературно-общественный журнал в виде «идейного монолита». Нападки на «доктринерскую узость» такой позиции оспаривал Короленко. Условия русской жизни, напоминал он, отсутствие парламентской и всякой иной общественной трибуны диктовали особый облик русского передового журнала, цельного и единого в своей позиции. И, наоборот, всякая попытка основать журнал, «терпимый ко всем направлениям», неизбежно кончалась «серой безличностью» или «самым мрачным и крайним реакционным доктринерством». Михайловский «родился мыслителем и бойцом вместе,— заключал Короленко,— и его время потребовало от него обоих этих качеств» [25].

В. Х. В советское время за «Русским богатством» прочно установился ярлык «реформистского», «либерально-народнического» журнала.

М. П. Министр внутренних дел В. К. Плеве думал иначе. Тот самый Плеве, который в 1882 году, будучи директором Департамента полиции, высылал Михайловского из Петербурга. А через 20 лет он вызвал к себе редактора «Русского богатства» и предъявил ему обвинение в том, что печать «сеет семена революции», подстрекает молодежь и т. д., а журнал, руководимый Михайловским и Короленко, является «главным штабом революции, особенно теперь, когда вы сразили марксизм и остались одни». «Пока вы только литература, я вас не трону,— заключил Плеве,— но, если начнутся какие-нибудь беспорядки, я не остановлюсь ни перед ссылками, ни перед их числом...» (X, 61—64). Министр не предугадывал собственной гибели через полтора года от бомбы эсеров.

В. Х. Любопытно также это выражение Плеве: «сразили марксизм». Мы выходим еще к одному важному сюжету.

М. П Ну что ж, по непререкаемой до самого последнего времени схеме следовало бы написать, что Михайловский в 90-е годы «запятнал себя полемикой с марксизмом», «скатился на объективно реакционные позиции» и пр. Однако на рубеже веков Россия переживала не только «культурный Ренессанс», но и могучую демократи-

[24] А. И. Куприн о литературе. Минск, 1969, с. 110.
[25] *Короленко В.* Николай Константинович Михайловский.— «Рус. богатство», 1904, № 2, с. V—VI.

ческую реформацию. В те годы никто не считал, что открытой и честной полемикой можно себя «запятнать». Всякое общественное и литературное течение подвергалось острому обсуждению, и это считалось естественным.

Более того, когда Г. В. Плеханов в 1893 году обратился к Энгельсу с просьбой «принципиально» выступить против русских народников, тот категорически отказался и, между прочим, сказал посланцу Георгия Валентиновича по-русски: «Кто Плеханова обидит, не обидит ли всякого сам Плеханов?» Кроме того, Энгельс подчеркнул, что одобряет предполагаемое участие в «Русском богатстве» дочери Маркса Элеоноры Эвелинг (осуществилось в 1895 году), и заметил, что «и сам сотрудничал бы в этом органе, если бы это допустила цензура» [26].

Конец 90-х годов был временем, когда «марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали...» [27]. Противостояние марксизму казалось делом исторически обреченным, а фигура Михайловского — устаревшей, чуть ли не вставшей на пути прогресса. «Когда все живое потянулось к свету нового учения,— писала ленинская «Искра» (1901, № 2),— у старого писателя не шевельнулось в груди ничего, кроме злобной насмешки, и ненавидящее перо его писало лишь приговоры...» [28].

В. Х. Мне думается, настало время дать более объективную, взвешенную оценку этой полемике, приходящейся в основном на 90-е годы. Вы правы — Михайловскому пришлось в ней нелегко. Народничество испытывало тогда ощутимый идейный кризис, а русский марксизм, напротив, набирал темпы, и маститый публицист был вынужден, что называется, идти против течения. Тем не менее он выглядел вполне достойно. Он проницательно подметил двусмысленность марксизма П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и других и, по сути, предвосхитил их последующую эволюцию к либерализму. Он отделял от них революционных деятелей (Плеханова и других), отвергая вместе с тем грубые нападки и явные передержки в полемике со стороны последних. Сам же Михайловский в этом споре был более корректен: он, например, прекратил полемику с марксизмом после закрытия журнала «Новое слово», в котором выступали марксисты, в том числе и молодой Ленин.

Но, главное, Михайловский сумел выявить существенные теоретические слабости своих оппонентов. Он первый четко указал на концептуальные упрощения русских марксистов, их стремление все сводить к «экономическому фактору». Он пытался остудить их неофит-

[26] *Воден А. М.* Из воспоминаний (Беседы с Энгельсом).— В кн.: Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1969, с. 104, 111.
[27] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 6, с. 15.
[28] «Искра». Вып. 1. Л., 1925, с. 36.

ский пыл, напоминая, что теория Маркса «не была научно обоснована и проверена»[29]. Короче говоря, Михайловский подметил характерные для русских марксистов черты амбициозности, агрессивности, теоретического догматизма — и время показало, что он был прав. Конечно, в его позиции также были определенные просчеты, и марксистские критики били по ним.

М. П. В какой-то момент Михайловский стал терять популярность: ему слали протестующие письма, с ним дерзко полемизировали в журналах легального марксизма, чуткая статистика столичной библиотеки зафиксировала в 1898—1901 годах спад интереса к его журналу. Во время одного публичного вечера памяти Некрасова молодежь даже собиралась ошикать старого бойца. Но когда он вышел на сцену — седой, красивый, суровый,— юные сердца дрогнули, и раздалась овация в его честь.

В. Х. Я думаю, это было не только данью его прошлым заслугам.

М. П. Да, празднование 40-летия литературной деятельности Михайловского 15 ноября 1900 года показало, как глубоки были симпатии русского общества к нему. Полицейские и административные меры пресечения, вроде конфискации адресов у депутаций из провинциальных городов, запрета упоминаний в печати, задержки выхода сборника «На славном посту», приуроченного к празднованию, и пр., только подливали масло в огонь. «Юбилей Михайловского принял размеры просто целого события,— писал Короленко жене 17 ноября 1900 года,— и, кажется, можно сказать, что ни один еще литературный юбилей так широко не захватывал читателей. В Союзе писателей было набито битком, и пришлось отказывать очень многим за недостатком места, так что, если депутации приходили из нескольких человек, допускали одного-двух, перед остальными извинялись полной невозможностью всех поместить. Читались не все адреса, а только те, с которыми прибыли депутации или представители. Чтобы прочесть адрес из Полтавы, я явился еще как бы представителем подписавших. Целую массу телеграмм не было никакой возможности даже прочесть, а только перечислялись места, откуда получены, и частию фамилии. Некоторые адреса были очень хороши. 〈...〉 Ходили разговоры о том, что редакция «Северного курьера» (газета марксистской ориентации.— *М.П.*) не пришлет никакого приветствия, но сотрудники возмутились. Приветствие было прислано. Явился даже и Филиппов в качестве представителя редакции и сказал речь в качестве «глубокоуважающего противника», но потом все-таки пришла группа сотрудников и заявила, что они не довольствуются приветом

[29] *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 2. Спб., 1900, с. 267.

редакции и пришли еще лично выразить свое чувство. Среди адресов было немало марксистских, в которых заявлялось о разногласиях, но и о глубоком уважении ко всей деятельности Михайловского. В этом же смысле (очень недурно, потому что с конспектом в руках) сказал Струве — умно и искренно. От молодежи множество адресов. ⟨...⟩ К обеду пришла новая гора телеграмм и писем. На следующий день все еще приходила масса телеграмм, преимущественно из-за границы. Вообще — все соглашаются, что ничего подобного по размерам в области литературных юбилеев еще не бывало»[30].

Среди приславших приветствие был Чехов; он считал, что «очень многим обязан» Михайловскому. В 1888 году критик предсказал ему «блестящую будущность», а еще раньше предложил написать для «Северного вестника» большую повесть (так появилась «Степь»). Повальная мода на марксизм Чехова не задела. Через месяц после юбилея Михайловского он писал из Ниццы в своей обычной шутливой манере: «...здешние места после Ялты кажутся просто раем, ⟨...⟩ не видно ни исправника, ни марксистов с надутыми физиономиями...»[31].

Умер Михайловский 28 января 1904 года, накануне объявления русско-японской войны. Читая утренние газеты с тревожными сообщениями, он воскликнул: «Мне кажется, я слышу уже звук орудий с Дальнего Востока: может быть, то гремят пушки нового Севастополя!»[32] Он надеялся, что военное поражение самодержавия опять станет прологом демократического обновления России, как в дни его юности.

Хоронили Николая Константиновича по православному обычаю, к которому он относился с уважением, хотя и принадлежал к поколению «материалистов неба и идеалистов земли». «Служил молодой священник панихиду среди шкапов с книгами,— писал Короленко жене.— Вместо икон со стен глядели: портрет Успенского с одной стороны и бюст Шелгунова — с другой... Потом вынесли гроб в Спасскую церковь напротив, где шла очень долгая литургия и панихида. Народу была масса, в церкви была просто давка, а кругом еще стояла толпа в церковном садике и на улице. Подошел было целый отряд полицейских, что вызвало среди молодежи крики — «долой!», «вон!» и т. д. ⟨...⟩ Толпа была такая, что, говорят, не бывало с похорон Тургенева. ⟨...⟩ Венки везли на трех колесницах, гроб до самого кладбища несли на руках, и все время (очень хорошо) пел импровизиро-

[30] ГБЛ, ф. 132, разд. II, карт. 3, ед. хр. 54, л. 17—19.

[31] *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Письма. Т. 9. М., 1980, с. 164.

[32] *Русанов Н. С.* В эмиграции. М., 1929, с. 267.

ванный студенческий хор. Похоронили у «Литераторских мостков», недалеко от Глеба Ив. Успенского»[33].

В. Х. Ваш рассказ красноречиво свидетельствует, сколь близки и дороги были дореволюционному российскому образованному читателю идеи Михайловского. Каково же его интеллектуальное наследие, то «повелительное наклонение», как любил выражаться сам Михайловский, с которым он обращался к русскому обществу? Выяснить это, хотя бы вкратце, необходимо, ибо без этого не понять его литературных, эстетических позиций. Но одновременно предстоит очистить наследие Михайловского от тех наслоений и ложных толкований, которыми буквально загородили его от читателя многочисленные марксистские комментаторы, начиная с Г. В. Плеханова. Кем только не представал Михайловский в оценках нашей литературы и исторической науки — оголтелым волюнтаристом, отрицателем законов в общественной жизни, примитивным утопистом и прочее. Но достаточно обратиться к текстам Михайловского, чтобы понять неуместность превращения его в этакого «мальчика для битья».

Наиболее часто фигурировало обвинение Михайловского в социологическом субъективизме, преувеличении сознательного фактора в историческом процессе. Однако послушаем самого мыслителя. Вот как описывал он в статье «Н. В. Шелгунов» мировоззрение шестидесятников, которое полностью разделял: «...факты (т. е. явления, тенденции и процессы общественной жизни.— *В.Х.*) признаются без утайки и без идеализации, во всей их реальности; затем они распадаются на не подлежащие нашему воздействию и подлежащие таковому, а для воздействия необходим идеал, то есть такое расположение реальных элементов, которое лучше, выше, желательнее, чем действительность» (V, 381). Волюнтаризм ли это?

А вот из другой статьи: «Общие законы заведуют порядком исторического движения, личности влияют на его скорость» (VI, 102). Можно ли расценить это как преувеличение роли личности в истории? Скорее наоборот, ибо бывают личности (Христос, например), которые определяют, так сказать, персонифицируют не только «скорость», но и последующий «порядок» исторического процесса.

В каком же смысле можно говорить о субъективизме Михайловского или, как он сам выражался, его субъективном методе? Прежде всего в гносеологическом, с точки зрения теории познания. Нисколько не сомневаясь в существовании объективного мира, Михайловский вместе с тем считал, что истина существует лишь «для человека» (II, 105), зависит от природы восприятия окружающего человеческим существом. Далее, он соглашался с О. Контом, что, в от-

[33] ГБЛ, ф. 132, разд. II, карт. 4, ед. хр. 1, л. 4—5.

личие от естественных наук, общественные науки не могут ограничиваться объективным наблюдением, но должны использовать синтетический или субъективный метод, то есть учитывать роль сознательного фактора в общественной жизни — целеполагания, воли и тому подобного. Особое значение Михайловский придавал нравственному фактору, «сопереживанию», способности наблюдателя ставить «себя мысленно в положение наблюдаемого» (III, 402). Все это обусловливает для любого исследователя необходимость подходить к тому или иному предмету «заинтересованно», давать ему определенную нравственную оценку. Сформулировав такой подход, Михайловский (вместе с Лавровым) стал основателем этико-социологической школы в России.

Все это можно выразить проще: по отношению к окружающему человек занимает активную позицию. Он не может пройти мимо темных сторон жизни — людских страданий, угнетения, несправедливости. Он хочет улучшить этот мир. Он не приемлет формул типа «все действительное разумно», не склонен к детерминизму всего и вся. Именно таким был Михайловский. Отнюдь не лишенный здравого смысла и чувства реальности, он отвергал принцип «реабилитации действительности», пассивного принятия существующего. «Реабилитировать действительность, которая и без того стоит достаточно прочно,— писал он,— идеализировать отсутствие или скудость идеалов — ни красы тут нет, ни радости» (V, 391—392).

М. П. Откровенно говоря, «субъективный метод» Михайловского представляется мне куда более человечным, чем так называемые объективные или железные законы истории по Гегелю или по Марксу. Попросту говоря, Михайловский всегда судил с точки зрения «практического блага» человека и признавал прогрессом лишь движение от *сущего* к *должному*. Может быть, это идеализм, но разве это плохо?

Затем. Михайловский скептически относился к «научно-объективным» прогнозам будущего, полагая, что можно говорить лишь об *идеале* будущего. За это его называют «утопистом». Если не вкладывать в определение отрицательного заряда, то оно верно. Христос тоже был утопистом. У человечества всегда были и будут идеалы — христианские, демократические, социалистические. Ведь «научный коммунизм» — тоже утопия. Реальность его пока больше походит на антиутопию. Как, впрочем, и царство Христа в руках Великого инквизитора...

В. Х. Возникает вопрос: где гарантии того, что подобный субъективный, активный подход не выльется в произвол, в насилие над действительностью — в искусстве, науке или в самой жизни? Во-первых, Михайловский исходил из «нормативной» личности, то есть человека с нормально развитыми умственными способностями и

органами чувств, так сказать, соразмерного в своем восприятии окружающего, наделенного здравым смыслом. Абстракция, но теоретически допустимая. Во-вторых, в своих критериях и подходах он старался опереться на те реальные тенденции, которые, как ему представлялось, можно усмотреть в человеческой истории.

Эти тенденции он видел в развитии человеческой личности, которая совершенствуется не за счет других, но на основе кооперации, сотрудничества между людьми. Признаки этого он находил в современных ему социалистических движениях. Социализм он определял как «торжество личного начала при посредстве начала общинного» (IV, 701). С таким ви́дением связана и его известная «формула прогресса»: в истории осуществляется «борьба за индивидуальность», и успехи в этой борьбе есть мера прогресса человеческой истории.

Свою точку зрения Михайловский развивал во многих статьях, доказывал ее на обширном материале как исторических фактов, так и естественнонаучных аналогий. Но что действительно ценно в концепции Михайловского, социалиста и коллективиста, так это его приверженность ценности личности. Как у Герцена, как у Фурье, и в противовес «казарменной» линии в истории социализма. Это чрезвычайно важно для судеб социализма и в наши дни.

М. П. Как сказал современный поэт: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек!»

В. Х. Особенно важно это было для России с ее поглощенностью личности государством, общиной, патриархальными традициями. Концепции Михайловского невозможно оценить вне российского исторического контекста. Например, его идеи о роли «критически мыслящих личностей», интеллигенции, о чем говорил, конечно, не только он, но Лавров, Писарев и многие другие. По сути, это ведь проекция именно на российскую ситуацию XIX века, когда правящая дворянская элита деградировала, а новобуржуазные слои не могли развернуться под прессом самодержавно-полицейского государства, и потому молодая национальная интеллигенция оказалась выдвинутой на повышенную социальную роль.

Или его критика российского капитализма — она во многом была критикой именно запоздалого, как теперь говорят, «периферийного» капитализма, который — особенно в начальном периоде развития — не был достаточно эффективным, действовал на общество больше угнетающе, чем конструктивно. Сейчас на примере так называемых развивающихся стран мировая наука выяснила это очень хорошо.

М. П. С точки зрения сегодняшнего дня критика Михайловским российского капитализма может показаться чрезмерной...

В. Х. Да, он разделял общенароднические взгляды на минование Россией буржуазной стадии, на предпочтительность революции «со-

циальной», то есть социалистической, перед революцией «политической», буржуазно-демократической. Что же, то были иллюзии, свойственные его эпохе. Не забудьте, что и Маркс в знаменитом письме к Вере Засулич высказался за возможность некапиталистического пути для России. Но повторяю: эти иллюзии были порождены некоторыми реальными проблемами — стремлением ослабить «ужасы первоначального накопления», избежать последствий массового раскрестьянивания.

Вместе с тем важно отметить, что в рамках народнического социального утопизма Михайловский был одним из самых трезвых мыслителей. Он гораздо решительнее многих высказывался за необходимость политической борьбы в России, создание буржуазно-демократических институтов. Отсюда его поддержка народовольцев. С другой стороны, Михайловский вовсе не был поклонником политического терроризма. «...Став на этот скользкий путь,— говорил он летом 1884 года,— легко докатиться до грабежа и разбоев» [34].

Вообще, если внимательно присмотреться к программным положениям Михайловского, то в них гораздо ярче проступают *демократические*, нежели собственно социалистические лозунги. Возьмите его «Политические письма социалиста», напечатанные в народовольческой прессе, возьмите другие работы или переписку — везде он выступает с очень простыми и четкими установками: Учредительное собрание, землю — крестьянам, земское самоуправление. Сначала «земля и воля», а потом можно будет подумать о путях к социализму. Не случайно последователи Михайловского, народные социалисты, отстаивали аграрную программу «трудовиков» — крестьянских депутатов в Государственной думе,— демократическую направленность которой высоко ценил Ленин.

М. П. Михайловского принято упрекать за теорию «героев и толпы», будто бы содержащую оправдание всех грехов «субъективизма».

В. X. А вот это недоразумение — еще одно недоразумение вокруг Михайловского! — надо решительно отмести. В чем, собственно, дело? В начале 80-х годов Михайловский задумал и стал публиковать цикл статей о «героях и толпе» — теме, возникшей у него под впечатлением первых еврейских погромов в России. Цикл растянулся на двенадцать лет («Герои и толпа», «Научные письма», «Патологическая магия», «Еще о героях», «Еще о толпе»).

Эти статьи до сих пор представляют немалый научный интерес как социально-психологический анализ различных массовых движений. Михайловского интересовал феномен «толпы» — хаотического скопления крупных масс людей, которые неожиданно и спонтанно

[34] Народовольцы после 1 марта 1881 г. М., 1928, с. 77.

могут последовать за тем или иным вожаком, «героем». Причины такого явления он усматривал в подражании, потребность в котором стимулируется «однообразием жизни», «скудостью впечатлений», короче, социальной приниженностью человека, больших групп населения. В этих вспышках люди, собравшиеся в толпу, как бы берут кратковременный реванш за монотонность и беспросветность своего существования. «Толпа видит своими многочисленными глазами, что перед ней все уступает — люди, двери, ворота, дома, и практика этой безграничной, хотя и недолговременной власти доводит ее до того градуса, когда становится нужна кровь, высшее свидетельство власти» (II, 452).

У Михайловского нет и следа идеализации толпы. «Толпа — не народ» (II, 415),— подчеркивает он, так же как спустя полвека после него это скажет Карл Ясперс. Михайловский указывает на непредсказуемость и переменчивость поведения толпы и с горькой иронией сравнивает ее со стадом баранов, которое «шарахается из стороны в сторону по ничтожнейшему поводу и в то же время спокойно щиплет траву, когда пастух извлекает из него ту или другую овцу на убой» (II, 463). Еще менее Михайловский идеализирует «героев» — многие из них могут быть совершенно случайными людьми, нередко фанатиками или параноиками, и способны увлекать людей как на хорошее, так и на дурное. Где же здесь апологетика активности «критически мыслящих личностей», теоретический субъективизм?

Подтекст статей Михайловского о «героях и толпе» далеко не сводился к еврейским погромам. Они были порождены проблемами революционного движения в России — осознанием глубокого разрыва между интеллигенцией и народом, пассивности общественного мнения, поисками сознательных,просвещенных революционных лидеров, принципиально отличных от политических невротиков и подстрекателей. Но, пожалуй, главной находкой Михайловского был феномен «толпы». Он очень рано почувствовал, уловил тревожные признаки послереформенной российской эволюции (распадение сословий, раскрестьянивание, хаотическая урбанизация), результатом чего стало появление значительных групп людей, которые могли образовывать «толпы». Он чувствовал их заряженность агрессивным, антикультурным потенциалом, разрушительные тенденции.

Не случайно Михайловский — в принципе народолюбец, как все народники,— написал однажды, что он готов защищать бюст Белинского в своей комнате, культуру в целом даже от народа (III, 692). Я воспринимаю это в какой-то мере как предчувствие того, что случилось с Россией в XX веке, с миром в целом. Дальше в связи со статьями Михайловского о молодом Горьком я еще вернусь к этой теме. Но совершенно очевидно, что тема «толпы» и ее «героев»

продолжает оставаться актуальной, а особенно сейчас, когда мы воочию столкнулись с Сумгаитом, Ферганой и подобными явлениями.

М. П. Вы, в сущности, уже начали отвечать на собственные сомнения насчет того, «дойдет» ли Михайловский до нынешнего читателя. К тому, что вы сказали о «героях и толпе», можно прибавить и многое другое, о чем уже шла речь или предстоит рассказать.

Но если бы меня спросили, в чем главная ценность социологии Михайловского для нашего трудного времени, я бы ответила так. Он призывал «не сшибать лбами» трудовые слои общества (VIII, 664), отвергал всякого рода «классовые» формы борьбы, всякого рода «гегемонии» и «диктатуры». Он не делил литературу на «деревенскую» и «городскую». Он стремился соединить интересы народа и интересы культуры, но признавал долг интеллигенции перед теми, «чьи работают грубые руки, / Предоставив почтительно нам / Погружаться в искусства, в науки...» (Н. А. Некрасов). Но его глубокие симпатии к людям труда, к людям русской деревни соединялись с защитой интересов и прав личности, с признанием самостоятельной роли интеллигенции в обществе. Это уважение к культуре и интеллигенции, нечастое в народнической среде, отметил у Михайловского Н. А. Бердяев в 1901 году [35].

Между тем, оппоненты Михайловского из марксистского лагеря зачисляли крестьянство в разряд «отсталых» (если не реакционных) классов, считали личность «социологически ничтожной величиной», которую экономический материализм может «просто игнорировать» (П. Б. Струве), а интеллигенции отказывали в общественной самоценности, зачисляя ее в «служанки» того или иного класса. Какие всходы дала эта догматика, известно. Сошлюсь на дневник М. М. Пришвина (в дореволюционные годы связанного с народнической интеллигенцией), где отмечено, что «ликвидация мужика» на переломе 30-х годов совпала с усилением «по всему фронту борьбы с личностью во всех ее проявлениях» [36].

Таким образом, роковой для России процесс раскрестьянивания и «разинтеллигенчивания» не случайно совпали во времени. И не случайно на этом фоне развернулась критика идей Михайловского.

В. Х. Я бы выделил еще одну сторону идейного наследия Михайловского, которая, по-моему, чрезвычайно важна в наши дни. А именно: Николай Константинович принадлежал к тем немногим крупным людям России, которые стремились избежать крайностей западничест-

[35] *Бердяев Н.* Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. Спб., 1901, с. 226.

[36] *Пришвин М.* 1931—1932 годы.— «Октябрь», 1990, № 1, с. 163.

ва и славянофильства, искали синтез мирового и национального исторического опыта. Как Ломоносов, как Герцен, как Менделеев. В своей стране Михайловский выглядел настоящим европейцем и действительно был таковым по эрудиции, широте кругозора, знанию языков, наконец.

М. П. Известный в начале века писатель А. В. Амфитеатров как-то заметил, что Михайловский был теми «челюстями», с помощью которых русское общество усваивало европейские идеи и знания.

В. Х. Вместе с тем Михайловский прекрасно понимал, что чисто подражательная европеизация России, прямолинейная пересадка западных институтов на российскую почву не даст результатов — почва должна быть подготовлена, а «саженцы» — гибридными, приспособленными к местным условиям. Поэтому он и пытался нащупать в своем отечестве какую-то национальную специфику общемирового процесса модернизации, исторического прогресса: сдерживание социальной дифференциации в деревне, приспособление общинных форм. Не все в этих поисках Михайловского было удачным, но само направление их, попытка синтеза «своего» и «чужого» были, несомненно, продуктивными.

С другой стороны, Михайловский принадлежал к искренним, подлинным патриотам своего отечества. Но это нисколько не мешало ему многократно критиковать «самохвальство» славянофилов и близких к ним по взглядам деятелей, неумеренную идеализацию национальных традиций. Особенно обрушивался он на великодержавные, имперские амбиции российских националистов. «...Если бы осуществились мечты наших крикливых псевдопатриотов,— иронически писал он в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов, поднявшей настоящую волну имперского панславизма,— если бы война в Европе и Азии продолжалась, осложнившись еще индийским походом, то мы были бы не очень далеки от самозадушения» (VI, 255). Тоже звучит весьма актуально — великодержавные и имперские амбиции не перевелись в России и по нынешний день.

Главная же ценность, повторяю, в общей конструктивной позиции Михайловского. искать свои, российские пути в общемировую цивилизацию. К сожалению, и сегодня, в эпоху перестройки, такой подход редок. Тон задают либо западники, требующие немедленно рынка и демократии «как там», либо кондовые русолюбы типа «Памяти». А решение лежит лишь на линии пересечения национального и общечеловеческого!

М. П. Я думаю, мы достаточно познакомили читателя с мировоззрением Михайловского. Поэтому давайте поговорим об его эстетике.

В. Х. В истории эстетической мысли я чувствую себя лишь общекультурным читателем. Но и неспециалисту ясно, что Михайловский

в общем и целом продолжал традиции «реальной критики» Добролюбова, то есть главным образом извлекал из того или иного произведения литературы и искусства его общественное, политическое содержание, то, что могло стать поводом для размышлений о «проклятых проблемах» окружающей жизни. Безусловно, художественным вкусом Михайловский не был обделен — недаром он сам писал беллетристику, и неплохую. Но примат социального над эстетическим был принципом, которого он, в общем, последовательно придерживался.

М. П. С оговоркой: Михайловский никогда не сочувствовал «разрушению эстетики». Ни в 60-е годы, когда этим занимался Писарев. Ни тем более в 90-е, когда народнический критик высказался против эстетического аскетизма Л. Толстого, провозглашенного в трактате «Что такое искусство?». Хотя в целом он разделял позицию великого писателя, ставящего перед искусством внеэстетическую цель — благо человека и человечества.

Что же касается «художественного вкуса», то я склонна, скорее, говорить об огромном опыте Михайловского, называвшего себя «человеком, поседевшим на литературе».

В. Х. Михайловский, например, хвалил Шиллера за то, что тот «вечно стремился растворить эстетическое наслаждение, подчинить его, отдать на службу нравственно-политическим целям» (III, 715). Как оценить такой подход? Я думаю, прежде всего исторически. Судьба сделала русскую литературу и интеллигенцию главной заступницей «униженных и оскорбленных», и именно это в первую очередь требовала от них демократическая литературная критика. Это была практически общепринятая точка зрения — сначала служить народу, «меньшим братьям» и так далее, а потом уже следовать законам красоты. Эта традиция и привела Л. Толстого, величайшего художника, к проклятиям искусству за то, что оно удалено от нужд народа и служит лишь услаждением кучке имущих.

Михайловский со своим социально-политическим утилитаризмом по отношению к искусству действовал вполне в духе своего времени. Конечно, в своем понимании служебной роли искусства он был гораздо менее ригористичен, чем, скажем, Писарев с его статьями о Пушкине.

М. П. Не только Писарев, но и Добролюбов считали, что у Пушкина «уважение к человеческой природе» проявляется лишь «кое-где» [17]. Михайловский совсем иначе трактует гуманизм Пушкина, нежели шестидесятники. В конце 1898 года он писал П. Ф. Якубовичу, готовившему статью к столетию Пушкина для «Русского богатства».

[17] *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. в 9-ти т., т. 7. М.— Л., 1963, с. 274—275.

«Я бы только ввел в качестве иллюстрации его гуманизма его органическое отвращение к аскетизму, ко всякой вольной или невольной урезке полноты человеческого существования,— отвращение, по обстоятельствам времени и места переходившее иногда в эпикурейство»[38].

Последнее десятилетие жизни Михайловского можно назвать периодом осложненной мысли. Редакция «Русского богатства» стремилась более гибко подходить к проблемам искусства, избегая «непрестанных рыканий» в духе радикальной критики прошлых лет. В 1895 году Михайловский писал критику М. А. Протопопову, считавшему себя несгибаемым шестидесятником: «Что бы ни говорили Белинский и Писарев, а мы не можем так огульно осудить всех не первостепенных поэтов...»[39]. В разряд «не первостепенных» в те времена зачисляли и Баратынского, и Тютчева, и Фета.

Михайловский в 90-е годы готов был «отказаться от старых крайностей школы» шестидесятников, но полагал, что это нужно делать постепенно, «с должной дипломатичностью», не нарушая исторической преемственности и не впадая из одной крайности в другую[40], как это сплошь и рядом бывало в эпоху «первоначального декаданса».

Но, конечно, Михайловский оставался самим собой, то есть критиком-публицистом. Я не принадлежу к тем, кто считает публицистическую критику чем-то второсортным. Не только во времена Михайловского, но и во всякие другие времена она нужна читателю. И поэтому первая волна критических отзывов неизменно направлена на истолкование общественного смысла художественного произведения. В России это правило действует с безусловной закономерностью, ибо, по глубокому замечанию Н. А. Бердяева, «основной русской темой» является «не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни»[41]. И тем безусловнее действует, что именно гражданское творчество в России фатально не удавалось. Поэтому, что бы ни говорилось о вреде публицистичности для литературы и критики, могучая читательская жажда сделает свое дело, особенно в «минуты роковые». И сейчас мы наблюдаем буквально взрыв политизации литературы и критики. Россия, по словам М. Цветаевой, «всегда ходила к писателям — как мужик к царю — за правдой»[42]. Так было, так будет.

В. Х. Но поскольку любая политизация эстетического есть все же

[38] «Рус. богатство», 1910, № 1, с. 252.
[39] ИРЛИ, ф. 181, оп. 3, ед. хр. 11, л. 29.
[40] Письмо А. Г. Горнфельда П. П. Перцову, 17 мая 1895 г.— ИМЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 18, л. 1—2.
[41] *Бердяев Н.* Русская идея. Париж, 1971, с. 27.
[42] *Цветаева М.* Соч. в 2-х т., т. 2. М., 1988, с. 391.

односторонность, и у Михайловского случались просчеты в оценке тех или иных писателей и их произведений.

М. П. Что вы имеете в виду?

В. X. Главным образом отношение Николая Константиновича к Ф. М. Достоевскому, особенно к «Бесам». Читатель может убедиться в этом, прочтя включенную в данный сборник статью Михайловского об этом романе. Критик упрекает писателя за увлечение «эксцентрическими идеями и паталогическими явлениями». Эта черта особенно ярко, по мнению Михайловского, проявилась в «Бесах», ибо Достоевский сделал центром своего внимания нечаевщину — «печальное, ошибочное и преступное исключение» в русском революционном движении; вокруг Нечаева группировалась лишь «ничтожная горсть безумцев и негодяев». В результате, делает вывод Михайловский, получилась искаженная картина с неверными художественными обобщениями о революционной молодежи.

М. П. Я думаю, что он имел право на такой вывод. Сошлюсь на авторитетное и беспристрастное суждение Н. А. Бердяева: «Если верно то, что он (Достоевский.— *М.П.*) говорит о революционерах-социалистах по отношению к Нечаеву и Ткачеву, то совершенно неверно по отношению к Герцену или Михайловскому [43].

В. X. И все же можно говорить о просчете Михайловского, даже не об одном. Прежде всего он недооценивал нечаевщину как общественное и политическое явление. Конечно, Нечаев в каком-то смысле был «монстром», «печальным, ошибочным и преступным исключением», но в нем были гипертрофированы *реальные* тенденции и явления жизни. Пусть не в такой одиозной форме, но элементы иезуитизма, лжи, демагогии, следования принципу «цель оправдывает средства» и тому подобное встречались в революционной среде — и до Нечаева, и после него. Я специально освещал это тему в книге о революционной традиции в России [44]. Нечаевщина — одно из звеньев той цепи, которая в конце концов сковала Россию,— цепи грубого, утопического, «казарменного» социализма: от Ишутина, Нечаева, Ткачева до Сталина и далее.

М. П. Сейчас об этом много пишут, хитроумно стараясь ограничить проблему революционерами нечаевского типа. Но ведь Достоевский полагал, что социализм, даже в самых его благородных и высокообразованных формах, неминуемо готовит человечеству «мрак и ужас» в будущем. И хотя XX век многие трагические предвидения Достоевского подтвердил и даже превзошел, лишь безответствен-

[43] *Бердяев Н.* Русская идея, с. 125.

[44] См.: *Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г.* Революционная традиция в России. 1783—1883. М., 1986, с. 204—224.

ная мысль может возлагать вину за «казарменный», бесчеловечный облик «реального социализма» на таких носителей социалистической идеи, как Герцен, Михайловский, Короленко.

Кроме того, казарменной реальностью может обернуться всякая идея, даже христианская. В «Легенде о Великом инквизиторе» речь идет о католической церкви, которую Достоевский не жаловал и поэтому пророчил ее союз с социализмом. Между тем, многие исследователи, в том числе В. В. Розанов, полагали, что Достоевский сочувствует Великому инквизитору. Во всяком случае, Христос у Достоевского после чудовищной исповеди инквизитора целует его в уста... В статье «О Достоевском и г. Мережковском», которую мы предлагаем читателю, Михайловский обращает внимание на внутреннее родство двух программ «переделки всего человечества по новому штату». Он замечает по поводу «теоретика» казарменного социализма Шигалева в «Бесах»: «Этот полоумный человек сочиняет проект, довольно похожий на идеал Великого инквизитора». И там, и здесь человечество разделено на две неравные части: «многомиллионное робкое и покорное людское стадо» и «могущественных вождей», распорядителей судеб людских.

В. X. Я не думаю, что Достоевский сочувствовал Великому инквизитору. Что из того, что у него Христос целует его? Христос верил в начала добра в любом человеке, будь он даже клятвопреступником или мировым насильником.

Другое дело, что Достоевский как большой художник, знаток души человеческой и потому в какой-то мере провидец, остро ощущал рост демонической стихии в окружающем мире, возможность появления личностей «великоинквизиторского» пошиба. Но разве он был не прав? Гитлер, Сталин, Мао, Ким Ир Сен, Пол Пот, Чаушеску... Кто за ними? Но сам Федор Михайлович был решительно против такого «града земного», он противопоставлял ему мир, построенный на морали Алеши Карамазова. А Михайловский вставал против зла в мире со своей гуманистической социалистической доктриной.

Вы скажете, что и то, и другое — утопии. Верно. Но есть утопии и утопии. Разве, например, категорический императив Канта — «не относись к человеку лишь как к средству, но всегда также и как к цели» — не утопия, разве это исполнимо на сто процентов в реальной жизни? А евангельские заповеди? А принцип демократического диалога, готовность понять другую точку зрения? Но важно, чтобы эти ценности существовали, чтобы они служили нам в качестве вектора поведения.

А есть утопии вредоносные, опасные, дезориентирующие человека. К ним относится утопия казарменного социализма, «всеобщего поравнения». Или, допустим, проповедь национальной изолированности.

Или технократические претензии создать, «вывести» человека с полностью управляемой психикой, овладеть генофондом людей. И страшно, когда такие утопии, даже частично, исполняются!

М. П. Тревогу Достоевского вызывали такие коренные свойства человеческой природы, как стремление подчинять и подчиняться. А Михайловский верил в возможность социального устройства, не позволяющего превращать человеческую личность в «палец от ноги», как он говорил, или в «винтик», по терминологии сталинских времен. Конечно, рядом с «безднами» человеческого духа, изображенными Достоевским, эта вера может показаться наивной и прекраснодушной. Да и сам Достоевский назвал автора статьи о «Бесах» человеком «в первой молодости», «благодушным и горячим, так мило горячим». Однако добавил: «Напрасно говорят легкомысленный» [45].

Весь круг вопросов, поднятых Михайловским, да и самая тяга человеческой души (особенно молодой) к прекраснодушному идеализму были понятны Достоевскому: этими свойствами он наделял многих своих юных героев. Более того, есть глубинные точки, в которых социалистическая утопия Михайловского и христианская утопия Достоевского неожиданно пересекаются, хотя на поверхности политической жизни они противостояли друг другу. «Социализм — это тоже христианство,— записал Достоевский вскоре после прочтения статьи Михайловского о «Бесах»,— но оно полагает, что может достигнуть разумом» [46]. В свою очередь Михайловский не считал непременной чертой социализма атеизм, и эта его мысль «чрезвычайно поразила» Достоевского — он ее многократно оспаривал [47]. Однако современная история показывает возможность союза христианства и социализма в пределах одной партии или одной человеческой души (Г. Белль).

Сейчас принято подчеркивать «просчеты» Михайловского и «прозрения» Достоевского. Было бы справедливее говорить о столкновении двух мировоззрений, со своими «прозрениями» и «просчетами».

Любопытно, как сам Достоевский сформулировал это противостояние: «Крестьяне смотрят на пышную свадьбу своего господина и радуются, Михайловский и Толстой негодуют на мужиков на том основании, что пышность свадьбы их господина нисколько не увеличивает их благосостояния. И Толстой, и Михайловский даже считают священным долгом своим образумить скорее мужика. 〈...〉 Таким

[45] *Достоевский Ф. М.* Записные книжки 1873—1875 гг.— Лит. наследство, т. 83. М., 1971, с. 290—291.

[46] Там же, с. 290.

[47] Эта тема глубоко и полно освещена в главе «Спор с Н. К. Михайловским» в книге Л. М. Розенблюм «Творческие дневники Достоевского» (М., 1981).

образом, и Толстой, и Михайловский забывают, что крестьянин *этот ведь все-таки счастлив же* и, вразумляя его, отнимают у него счастье. Почему? Враги они, что ли, его? Нет, а потому, что задавлены ложною мыслию, что счастье заключается в материальном благосостоянии, а не обилии добрых чувств, присущих человеку» [48].

Думаю, что «задавлен ложною мыслию» и обольщает себя и других романтической идиллией в данном случае сам Достоевский

В. Х. Однако если вернуться к «Бесам», то следует признать, что Достоевский великолепно схватил «бесовщину» нечаевско-верховенского толка, стремление привести всех к одному знаменателю, «всякого гения» потушить «во младенчестве» и т. п. Именно талант большого художника подсказал ему жизненность, распространенность нечаевского типа, несмотря на все внешние экстравагантности конкретного оригинала. Михайловский же ухватился именно за эти экстравагантности и в результате просмотрел крупное общественное явление. И, как мне кажется, в данном случае сказалась его привычка смотреть на литературное произведение в основном через призму социально-политических идей. Хотя — особенно когда имеешь дело с большими художниками — продуктивен иной путь: отталкиваясь от жизненного, достоверного образа, нарисованного выдающимся писателем, можно дойти и до его реального социального прототипа.

М. П. Против этого, конечно, не возразишь. Но «через призму социально-политических идей» Михайловский порою замечал весьма существенные вещи. Он, например, обратил внимание на «двусмысленный» пункт «теории Достоевского — Шатова»: «...каждый народ должен иметь своего бога, и когда боги становятся общими для разных народов, то это признак падения и богов, и народов. И это вяжется как-то с христианством, а я до сих пор думал, что для христианского Бога несть эллин, ни иудей...»

Куда ведет идея религиозной и национальной изоляции, нетрудно вообразить. Тем более что примеры у нас перед глазами. И если верно то, что Михайловский не увидел всей опасности «бесов революции», то Достоевский проглядел «бесов национализма», которые, кстати, используют его идеи в целях, не менее опасных для человечества.

Американский славист Дж.-Ф. Мэтлок, бывший послом США в нашей стране, напоминал о тех чертах «политики» Достоевского, на которые не раз указывал Михайловский, но о которых мы хотели бы забыть. Вот эти черты. Панславизм, теоретически основанный на представлении о России как «духовной защитнице православия», что практически делало Достоевского «яростным сторонником» войны с Турцией за овладение Константинополем и порою

[48] Лит. наследство, т. 83, с. 310.

заставляло «говорить о благах войны в терминах, напоминающих скорее этику национал-социализма, чем христианскую любовь». Отношение к иностранцам и инородцам, пропитанное «ксенофобией и этнической ненавистью». «Глубокая ненависть ко всем западным формам общества и правления». Русский мессианский национализм, то есть «определение русского народа как единственного обладателя религиозной истины». И наконец «поддержка деспотизма». Все эти свойства, заключает доктор Мэтлок, позволяют сторонникам «возврата к автократическому русскому прошлому» опираться на политическую философию Достоевского [49].

Мы давно отвыкли от таких жестких дефиниций по отношению к Достоевскому, но оспорить их *фактически* — невозможно. В статье, помещенной следом, Л. Сараскина призывает рассматривать высказывания гениального художника «в координатах понимания». Разумеется, только такой подход и нужен. Однако хотелось бы, чтобы эти «координаты понимания», во-первых, были зрячими и честными, а во-вторых, распространялись (хотя бы в малой степени!) на Михайловского и других оппонентов Достоевского.

А такое встречается крайне редко, и поэтому мне хочется напомнить статью Томаса Манна с выразительным названием «Достоевский — но в меру». Великий немецкий гуманист видит «страдальческое и страшное лицо Федора Достоевского», его «мучительные парадоксы», которые он «бросает в лицо своим противникам-позитивистам», «ясным духом, гуманным и глубоко чуждым всяким «сатанинским глубинам». Т. Манн писал свою статью в 1946 году, когда «сатанинские глубины» XX века развернулись во всей своей кошмарной яви. Но он все же признается, что его «благоговение перед сынами ада, великими богоискателями и безумцами, в основе своей глубже, и лишь потому сдержаннее, чем перед сынами света» [50]. Однако воздать должное гуманным «сынам света» он не забывал.

У нас пока преобладают односторонние идеологические оценки: почти все норовят перестроить мир Достоевского «созвучно» времени и собственной позиции, что-то в нем высветляя, что-то затемняя.

Михайловский, между прочим, считал, что необязательно «каждые двадцать лет выворачивать наизнанку свои мнения о крупных представителях литературы» [51]. Он также полагал, что Достоевского «меньше, чем кого-нибудь, можно ⟨...⟩ судить судом эстетическим, это значило бы оставить его совсем без оценки. Мыслитель и публицист

[49] *Мэтлок Дж.-Ф.* Литература и политика: Федор Достоевский.— «Вопр. лит»., 1989, № 7, с. 49—53, 58.

[50] *Манн Т.* Собр. соч. в 10-ти т., т. 10. М., 1961, с. 329, 338.

[51] *Михайловский Н. К.* Литературно-критические статьи. М., 1957, с. 235.

всегда резко высовывались в нем из-за художника; а в последние годы он и формально вступил на почву публициста» (V, 418). Мы предлагаем читателю одну из статей Михайловского 1880 года, посвященную полемике с «Дневником писателя» Достоевского. Ее содержание представляется мне более злободневным, чем хотелось бы... Ведь вопрос об «особливости нашего национального организма» и «вредоносности европейских политических форм», как вы уже отметили, вновь встает перед нашим обществом.

В. Х. Мне кажется, вы смешиваете разные вещи. Я говорил о том, что Михайловский недооценивал *художественный* материал «Бесов», а вы указываете на те *публицистические* идеи Достоевского, которые он проповедовал в «Дневнике писателя» (да и в «Бесах») и с которыми полемизировал Михайловский. Но согласитесь, художественное и публицистическое — это два несовпадающих пласта писательского творчества. Можно не соглашаться с философскими обобщениями Толстого в «Войне и мире» или с его религиозным учительством, но нельзя переносить эти несогласия на оценку Толстого-художника.

Нестыковка художественного и публицистического у выдающихся писателей — явление нередкое. Как объяснить, допустим, что такой крупный, «соразмерный» в своем художественном творчестве Вас. Белов сегодня братается с деятелями откровенно шовинистического толка? Это одна из больших психологических загадок и тема особого размышления. Но все же нельзя отождествлять художественное и публицистическое. Именно с таким, может быть, невольным отождествлением, как мне представляется, была связана определеная предвзятость Михайловского в оценке Достоевского.

М. П. «Оно так, да не так»,— как говорил Михайловский. «Отождествлять», конечно, не следует, но еще хуже *разъединять* живого человека на две части — мыслителя и художника. Михайловский был противником такой методологии, хотя я допускаю, что ему далеко не всегда удавалось сохранять равновесие в оценках. Это вообще мало кому удается. Но его подход представляется мне более верным, чем «старая уловка» разделить Достоевского на гениального художника и реакционного мыслителя; такое разделение, справедливо полагает Л. Сараскина, есть, по существу, капитуляция критики, ее неспособность оценить писателя «как единый идейно-художественный феномен» [52].

Михайловский принадлежал к направлению, которое находилось в конфронтации с Достоевским. И надо, скорее, удивляться его в целом высоким оценкам Достоевского как «громадной художественной

[52] *Сараскина Л.* В координатах понимания.— «Вопр. лит»., 1989, № 7, с. 63.

силы» и «черной жемчужины русской литературы». В этом он, кстати, отличался и от Добролюбова, писавшего, что в произведениях Достоевского нет никаких «претензий на художественное значение», и от уничижительных оценок «Преступления и наказания» на страницах «Современника», и от П. Ткачева, объявившего в связи с «Бесами» о «творческом банкротстве» автора «Бедных людей».

Повторяю, и сам Достоевский с большой заинтересованностью отнесся к статье Михайловского о «Бесах» и написал об ее авторе: «...я всею душой убежден, что это один из самых искренних публицистов, какие могут быть в Петербурге» [53]. Кроме того, свой следующий роман «Подросток» Достоевский отдал в «Отечественные записки». «Мне, по многим причинам, приятно напомнить это обстоятельство,— писал Михайловский в 1881 году,— между прочим, и в виду многоразличной брани, которая, я предвижу, обрушится на меня...» (V, 434).

Михайловский все-таки понимал то, что было надолго утрачено нашей критикой и сейчас с трудом обретается. «Одно дело,— писал он в 1897 году,— соглашаться или не соглашаться с политическим или иным образом мыслей писателя, и другое дело — судить о степени его талантливости...» (VIII, 634).

И в отзыве о «Бесах» Михайловский обнаружил достаточную для своего времени широту. Он писал, что герои, «нарисованные рукой такого мастера», могли быть гораздо ярче, если бы их не давили предвзятые идеи, несвойственные тому слою русской молодежи, которую Достоевский взялся изображать. Михайловский считал, что религиозно-мистическая проблематика, которая занимает Ставрогина, Шатова и Кириллова (и самого Достоевского), не характерна для «русских мальчиков» революционной среды.

Думаю, что критик-демократ имел право на такое заключение. Все же «русские мальчики» этой среды чаще вели спор о социализме, чем о Боге...

В. Х. Позволю себе здесь не согласиться — и с вами, и с Михайловским одновременно. Конечно, со стороны последнего было вполне естественно возражать Достоевскому таким образом, что, мол, «русские мальчики» заняты вовсе не религиозно-мистическими проблемами. Действительно, подавляющее большинство революционной молодежи 60—70-х годов не были верующими, не ходили в церковь и занимались вполне «мирскими» проблемами крестьянства, социализма и т. п. Но это не более, чем простая очевидность, поверхностная констатация. Если же попытаться посмотреть глубже — например,

[53] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 21. Л., 1980, с. 156.

понять, почему «русские мальчики» в 70-е годы пошли в народ, выяснить внутренние, психологические мотивы народнического движения (в мемуарах его участников, личной переписке, свидетельствах современников),— обнаруживается, по сути, религиозная подкладка их мышления и поведения, хотя и выраженная в неадекватных терминах.

На это указывали многие, в частности Н. А. Бердяев. Он вписывал своеобразную религиозность народников (впрочем, как и нигилистов, анархистов, марксистов и других) в широкую национальную культурную традицию, «религиозную формацию русской души», которую «русские интеллигенты-революционеры унаследовали ⟨...⟩ от раскольников XVII века»[54]. На мой взгляд, возможно и более простое объяснение. Со второй половины XIX века в России резко активизировался процесс модернизации общественных институтов и общественного сознания — процесс весьма болезненный и к тому же чрезвычайно сжатый в историческом времени. Новые знания, новые ценности (научные истины, демократические принципы, социалистические теории) жадно впитывались образованной молодежью, но они не могли сразу закрепиться; глубинные религиозные основы сознания оставались непреодоленными. Отсюда охлаждение к официальной религии, но сохранившаяся сильнейшая потребность в вере. Только теперь традиционные символы веры заменялись новыми: прогресс, наука, община, социализм, народ. Отсюда наличие практически всех основных элементов религиозного мышления и поведения в народнической среде — жертвенность, проповедничество, покаяние, аскетизм, стремление к личному нравственному очищению и спасению, сектантство и т. п Я попытался исследовать это в уже упомянутой книге трех авторов «Революционная традиция в России» (с. 225—241). Поэтому не буду дольше задерживаться на данном сюжете.

Достоевский почувствовал эту скрытую верующую природу «русских мальчиков» и выразил ее в свойственной ему форме «эксцентрических идеи и патологических явлений». Михайловский же увидел лишь эту «эксцентрическую» внешность, впрочем, я, кажется, повторяюсь...

М. П. Слушая вас, можно подумать, что Михайловский не понимал «религиозной подкладки» народнического, да и всякого другого общественного движения. Напомню, что он видел в религии «непреходящую потребность человеческой природы», не менее властную над современными «просвещенными» людьми («хотя утоляем мы ее совсем иначе», чем наши предки). Он, в частности, полемизировал с «сухой и узкой»

[54] *Бердяев Н.* Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955, с. 9.

теорией экономического материализма, которая предлагает видеть в «такой яркой и могучей силе, как религия», «только одну из подробностей надстройки над фундаментом производства материальных ценностей. .»[55]. «Жив Бог, жива душа моя...» — любил повторять Николай Константинович.

В споре с Достоевским он как раз и отмечал, с одной стороны, необязательную связь атеизма с социализмом, с другой — «совсем иные», нежели у героев «Бесов», конкретные формы утоления религиозной жажды у молодежи революционного толка.

Но если вы хотите подчеркнуть, что эти два мира не были отделены непроницаемой стеной, то между нами нет спора. Предполагаемый уход в революцию Алеши Карамазова тому пример, и обратные пути из революции в религию существовали; можно вспомнить судьбу Льва Тихомирова, члена исполнительного комитета «Народной воли».

В. X. Одно дело — Михайловский (или Лавров), и другое дело — «средний», массовый участник народнического движения. Такие люди, как Николай Константинович, вышли на мировой уровень культуры и вполне преодолели предрассудки добуржуазного сознания. Это не значит, что они отбросили религию, как ненужный хлам. Наоборот! Модернизация сознания приводит просто к разграничению сфер научного знания и религиозного переживания, к их, в общем-то, мирному сосуществованию, когда, например, ученый вполне может быть верующим, а атеист — признавать культурно-историческую роль религии. Именно так было у Михайловского, так это и сейчас в любом развитом обществе.

В массовой же революционной среде 60—70-х годов, о которой идет речь, непреодоленное религиозное сознание, вроде бы вытесненное из рациональной сферы, на самом деле образовывало ту почву, на которой произрастали фанатизм, догматизм, сектантство, горячечные намерения осчастливить человечество казарменным раем. И так было не только у ряда домарксовых революционеров — это продолжалось у большевиков, у сталинистов и, к сожалению, дошло до сегодняшнего дня, вплоть до нин андреевых. Верят в «принципы»!

Достоевский застал самое начало складывания этой «религии революции», но успел ужаснуться. К сожалению, в полной мере его проницательность мы можем оценить только сегодня.

М. П. Вернемся, однако, к судьбе Михайловского-критика, который, по мнению некоторых литературоведов, только и делал, что грешил «непониманием» и «глумлением» над русской литературой.

Любопытно, что сами «непонятые» читали Михайловского с интересом, а порою и с признательностью. Так было с Достоевским,

[55] *Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2. Спб., 1905, с. 3.

Тургеневым, Чеховым, Горьким, не говоря уже о Щедрине, Гл. Успенском и Короленко.

Статья Михайловского о романе Тургенева «Новь», включенная в этот сборник, наверняка поразит современного читателя резкостью тона и, возможно, действительно покажется «глумливой», если рассматривать ее изолированно от общего тона тогдашней критики. По забытому нами доброму обычаю старая русская критика занималась именно критикой, а не славословием. И этим отличалась от истории литературы, которая призвана давать уравновешенные временем оценки. Мы же приучены к тому, что критика является орудием литературного аппарата, тесно связанного с государственной властью. Поэтому резкая статья воспринимается как некая разгромная акция. Сейчас многие причисляют старую демократическую критику к «либеральной жандармерии», забывая, что никакой властью она не располагала, кроме опоры на общественное мнение. Михайловский говорил, что единственная связь его журнала с властями предержащими состоит в помете цензора «печатать дозволяется».

Поэтому критические статьи совсем иначе звучали и воспринимались. Чрезвычайно важен отклик Тургенева, написавшего редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, что у него «раскрылись глаза» после прочтения критических статей о «Нови», в том числе статьи Михайловского в «Отечественных записках»: «Нет! нельзя пытаться вытащить самую суть России наружу, живя почти постоянно вдали от нее. ⟨...⟩ Вы пишете в «Вестнике» — что серьезная критика еще не сказала своего слова; нет — она сказала. Я прочел обе статьи — «Отечественных записок» и «Русского вестника» — и не могу не сознаться, что в душе согласен с ними» [56].

В. Х. Другой пример проницательной литературной критики Михайловского — анализ творчества раннего Горького.

Вот тут-то и пожалеешь, что Михайловского у нас не издавали, что он практически не известен среднекультурному советскому человеку. Между тем, соответствующие произведения Горького этот самый «среднестатистический» человек в обязательном порядке проходит в школе. Боже мой, что за бессодержательная пустота рекомендуется нашим детям — революционный романтизм, безумство храбрых, пламенное сердце Данко и прочее, и прочее... Как это далеко от реальной, исторически конкретной подоплеки горьковских вещей, которую рассматривал в своих статьях Михайловский!

А подоплека была весьма и весьма серьезная. Я имею в виду процессы социального распада, которым подвергалось российское об-

[56] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. Т. 12, кн. 1. М.— Л., 1966, с. 116.

щество со второй половины XIX века, после реформ 60-х годов, поворотивших страну на буржуазный путь.

Внимательные наблюдатели быстро заметили черты социального распада. Все вынес русский крестьянин — и татарщину, и неметчину, писал выдающийся «деревенщик» XIX века Глеб Успенский, но не вынес «удара рубля». Он выразительно определял продукт распада деревни как «сердитое нищенство» [57]. А в конце столетия русская литература и критика с тревогой пишут о «босячестве» как о широко распространенном социальном феномене.

Что означал этот процесс? Не просто появление пауперов, бедняков — не случайно Г. И. Успенский говорил не просто о нищенстве, но о «сердитом нищенстве». В России росла категория людей, которую можно назвать социально-культурным люмпенством. Привычное социологическое представление связывает люмпенство лишь с материальными лишениями как результатом деклассирования. Но не менее (если не более) существенно социально-культурное обескоренение, выпадение из прежних классовых или сословных структур, которые давали человеку не только социальный статус, но и культурную ориентацию. Человек оказывался как бы в «нигде», превращался в «ничто».

М. П. Эта проблема периодически возвращается в русскую литературу в виде беспризорных, хиппи, «бичей», бомжей и т. п. И вновь деклассированные элементы противостоят социально «укорененному» слою. Но ведь и этот последний слой подлежит критическому исследованию. Как известно, Михайловский больше сочувствовал людям, «плохо приспособленным к условиям существования». Русская гуманистическая традиция предписывала сострадание к тем, кто так или иначе терпит крушение. И Михайловский видел прежде всего живых людей, а не только «отбросы цивилизации». Его позиция никогда не теряла нравственной ориентации, потому и получила наименование «этико-социологической школы».

В. Х. И все же он возражал против идеализации этого слоя. Горький был один из первых, кто ввел босяцкий тип в литературу. Он справедливо увидел его не только среди бывших крестьян, но и в других, по видимости гораздо более благополучных слоях общества. В его пьесе «На дне» представлены люмпены-дворяне, люмпены-интеллигенты, люмпены-рабочие и т. д. Наконец, писатель сумел нарисовать своих персонажей яркими красками, вызвать к ним большой общественный интерес.

Надо отдать должное Михайловскому — он в полной мере оценил серьезность и значительность данной темы. Может быть, еще и

[57] *Успенский Г. И.* Избр. соч. М.— Л., 1949, с. 411—412.

потому, что, как уже говорилось выше, шел к ней вполне самостоятельно — через проблему «толпы». Его статьи о молодом Горьком — прекрасный образец литературоведческого и одновременно социологического, социально-психологического анализа. Михайловский ничего не придумывает, он фиксирует лишь то, что выявлено самим писателем. И получается неприглядная, если не сказать страшноватая картина. Освобождение от земли, вообще от всяких «пут» и «уз» приводит босяка к агрессивному индивидуализму, к сознательному тунеядству («Ничего не будем делать... гулять будем на земле»,— говорит один из горьковских героев), к дикой мешанине в понятиях (другой герой хочет сначала избавить Россию от холеры, а потом перебить всех жидов), к ненависти, мести обществу, вытолкнувшему маргинала из своих рядов... А за всем этим — «мотивы властного повелительного воздействия» (VIII, 942), презрительное отношение к окружающим как к «рабам», неприкрытый культ силы.

Михайловский ни на минуту не сомневается в правдивости нарисованной писателем картины. Расхождение начинается в ее оценке. Критик обнаруживает, что молодой Горький встает на сторону Гришки Челкаша против крестьянина Гаврилы; что он вставляет в речь своих героев чуть ли не раскавыченные цитаты из Ницше о «воле к власти»; что романтические персонажи молодого писателя (Соколы, Данко и прочие) оказываются странной попыткой приподнять, облагородить реальных босяков.

В конечном своем выводе Михайловский очень сдержан: он считает, что Горький еще «не переварил» того жизненного и литературного материала, который вывел на свет божий, что ему следует разобраться в своем отношении к нему. Согласитесь, что это далеко от нотаций и поучительства. И одновременно обе статьи о Горьком — свидетельство глубокой проницательности Михайловского. Ибо мы знаем, что происходило потом. Три революции, мировая и гражданская войны резко усилили процессы социально-культурного распада в России, выдвинули люмпенские слои, что называется, на авансцену общественной жизни. Во что это вылилось в наши роковые 20-е годы, выразительно воссоздали Михаил Булга́ков, Андрей Платонов, да не только они. Эти слои, по сути, и стали социальной опорой сталинизма, провели кровавую коллективизацию, оформили административно-командную систему, создали ГУЛАГ. Проясняется также, что отнюдь не случайным было воспевание Горьким Соловков и Беломорканалов — ниточка тянется в те времена, когда он идеализировал бродяг, исповедовавших «волю к власти»...

М. П. И все же в статьях Михайловского о Горьком больше одобрения, чем порицания. Ведь «Челкаш» был напечатан в «Русском богатстве», да еще на первом месте, что было «некоторой отличкой

и честью», как вспоминал Горький. Перед этим Михайловский написал провинциальному самоучке одно из своих самых теплых посланий, не выразив никакого неудовольствия по поводу превосходства босяка над мужиком, и даже «заранее поздравил «Русское богатство» с прекрасным рассказом» [58]. Кроме того, известен отзыв самого Горького о критических статьях Михайловского: «Когда я узнал, что Н. К. написал обо мне,— у меня сердце екнуло. «Вот оно — возмездие»,— подумал я. Оказывается, что и он видит во мне нечто заслуживающее внимания и даже одобрения» [59].

Вы подчеркнули одну сторону суждений Михайловского: он действительно первый в русской критике отметил разрушительные и антиобщественные потенции философии босячества, первый связал этот слой с люмпен-пролетариатом. И сделал это на фоне дружного восхваления босяков как «прогрессивного явления», как некоего романтического противовеса городскому мещанину и деревенскому мужику. В те годы в русской журналистике (не без участия марксистов) установилась мода на «унижение мужика». П. Б. Струве и многие другие любили рассуждать на тему об «идиотизме деревенской жизни». Михайловский придерживался старой традиции русской литературы «не давать в обиду мужика», по слову Щедрина. В 1897 году он предрек горе «тому поколению, которое воспитается на презрительном отношении к «идиотизму деревенской жизни»...» (VIII, 734).

И тем не менее Михайловский отличал позицию Горького от позиции его героев, именовавших крестьян не иначе, как «жадными рабами» и «землеедами тупорылыми». Он полагал, что «задача г. Горького лежит где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города» (VIII, 894).

В «босяцком байронизме» горьковских героев Михайловский ценил протест: они «не столько отверженные, сколько отвергшие» и «в каких-то отношениях действительно имеют на это право» (VIII, 902, 895), ибо отвергают современную цивилизацию, плодящую тюрьмы, кабаки и дома терпимости. Для Михайловского чрезвычайно важно то обстоятельство, что «Горький не принадлежит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс, как таковой» (VIII, 888). Здесь он услышал свой заветный мотив *качественной* оценки цивилизации.

Если бы народнический критик взвешивал персонажей Горького только на социологических весах, то крестьянин-землепашец Гаврила

[58] М. Горький. Материалы и исследования. Т. 2. М.— Л., 1936, с. 363.

[59] *Горький М.* Собр. соч. в 30-ти т., т. 28. М., 1954, с. 48.

неминуемо перевесил бы пьяницу и вора Челкаша. Но Михайловский оценивал не социологическую дилемму, а художественные образы. Он видел, что Челкаш «смел, великодушен», «никому не позволит наступить ему на босую ногу». Кроме того, в ранней редакции рассказа, с которой имел дело Михайловский, в душе Челкаша, вчерашнего крестьянина, жило «странное сочетание зависти и сочувствия» к Гавриле, всплывали образы деревенского быта в характерном для Гл. Успенского ключе «власти земли». Позднее Горький эти мотивы снял или притушил.

В героях Горького была сложность и противоречивость самой жизни, и отношение к ним Михайловского не было простым, хотя многие поколения горьковедов пытаются упростить и позицию писателя, и позицию критика. Михайловский признавал, с одной стороны, «гордую силу» «отверженцев», отстаивающих свое личное достоинство перед лицом бесчеловечного жизненного порядка. С другой — дал трезвую социологическую оценку этой общественной категории. В отличие от апологетической критики он разглядел, что свободолюбие героев Горького слишком широко и беспредметно, отрицает всякую общественную «почву» — творящую или паразитическую. Привычной для нас однолинейности в оценках Михайловского нет. Он готов одобрить свойственный босякам дух протеста, их своеобразную «борьбу за индивидуальность». Но его не устраивает отрицательная направленность этого протеста, отсутствие в нем «грядущего града», всякой солидарности, даже в пределах собственного «отверженного» племени.

Михайловский считал что «литературная молодость» не позволяет делать окончательные выводы о мировоззрении Горького и его дальнейшем пути. Но он высоко оценил художественный талант писателя и ждал «благоприятных результатов» в будущем, когда «пересмотр идейного багажа» совершится. А пока Михайловский писал об исчерпанности босяцкой темы, «односторонности освещения» ее, о «чувствительности к красоте силы», об «изъянах мыслительного багажа талантливого писателя» и т. д. Не говоря уже о том, что «Русское богатство» отвергло четыре из пяти присланных рассказов Горького. Все это горьковедам вчерашнего дня казалось кощунством, которое следует немедленно «заклеймить». Между тем, именно обход всего противоречивого, ошибочного, стремление «улучшить» творческий и человеческий портрет Горького роковым образом оборачивался эффектом «мертвой воды», лишающей писателя жизни и читательского внимания.

В. Х. Конечно, с исторической точки зрения вы правы: отношение Михайловского к босякам — литературным и реальным — было двойственным. И это понятно с точки зрения гуманистических

традиций русской литературы и критики, всегда вступавшейся за отверженных, униженных и оскорбленных.

Правда, в такой позиции можно было бы усмотреть внутреннее противоречие: надо ли ценить люмпенский протест, который ведет к разрушению культуры и общественных институтов? Но подобная критика была бы неисторичной. Михайловский не мог предвидеть последующего хода вещей, предположить, что культурно обескорененное люмпенство всерьез выйдет на общественную сцену в России. Легко задним числом, с большой временной дистанции констатировать тот или иной факт и укорять в его недооценке деятелей прошлого. Поэтому я предпочитаю делать акцент на другом — на том, что Михайловский одним из первых проницательно указал на опасности, связанные с появлением и ростом босячества как социального слоя.

М. П. Отношение Михайловского к героям Горького помогают понять его статьи о Фр. Ницше, одну из которых мы предлагаем читателю.

Накануне выхода босяков Горького на литературную арену Михайловский писал о Ницше как о мыслителе, которому выпала роль «быть философским выражением всего цивилизацией непристроенного, оскорбленного, озлобленного» и порою одержимого «той жаждой власти, которою страдал сам Ницше». И, разумеется, в психологии босяков критик обнаружил «разительное сходство» с психологией отверженных, как ее трактует немецкий философ [60].

Вопреки распространенному мнению о «доктринерской узости» Михайловского, он был первым русским критиком, который дал многозначный анализ идей Ницше, показал «свет и тени» его крайне противоречивого учения.

Разумеется, к «свету» Михайловский отнес то, что так или иначе перекликалось с его собственными теориями. В частности, он видит в Ницше союзника в борьбе против детерминизма с его «борьбой за существование». Ему близко скептическое отношение к идее «самодержавной» или «самодовлеющей» истории, к идолопоклонству перед действительностью. Поэтому он оценил ницшеанского «человека-творца», восстающего против «роковых сил» и «стихийных процессов», враждебных личности, отметил, что исходной точкой нравственной философии Ницше является высокоморальная личность, человек жертвенной идеи.

Одновременно он указал и «тени чернее черного»: антидемократизм Ницше, его теория «двух моралей» (для «господ» и «рабов»),

[60] Эту связь горьковеды по сей день не признают; сошлюсь на мою полемику с Б. А. Бяликом в книге: М. Горький и его эпоха. Вып. 2. М., 1989.

культ силы, презрение к слабым, неприязнь к современной «гуманности», якобы изъеденной ложью и лицемерием. Завет «бежать ближнего и любить дальнего» также не устраивает Михайловского, ибо за ним скрывается пренебрежение к ныне живущим, отношение к ним как к подножию для грядущих поколений. И, разумеется, совершенно неприемлема для критика-демократа глубокая неприязнь Ницше к социальной проблематике, «величайшее презрение» к народным массам («побрал бы их черт и статистика!»). Михайловский предупреждал, что в таком «аристократизме» скрываются общественные беды, ибо «не всем все дозволено, а лишь очень и очень немногим избранным, лучшим, которым остальные должны слепо повиноваться». И хотя в идеальном, теоретическом варианте «избранные» должны руководствоваться «строжайшей нравственной дисциплиной», в действительности воцарится «новая умственная эпидемия» в упрощенной форме моральной вседозволенности и «права сильного», то есть еще одна форма «бесовства». Так предсказал Михайловский в 1894 году и не ошибся.

В чем же все-таки главный нерв эстетики Михайловского? В ее нравственной ориентации: «Искусство есть своего рода гласный нравственный суд» (IV, 277).

Между тем, союз этики и эстетики оспаривался с самых разных позиций — натуралистами, пантеистами, модернистами, марксистами и др. В большом ходу были термины «научная критика» и «объективное творчество». Считалось, что предъявлять искусству «моральные запросы» — значит, проявлять «субъективизм» и «утилитаризм». По этому поводу Михайловский писал в 1891 году: «Хотя этика и эстетика весьма близкие родственники, но между ними часто разыгрывается история Каина и Авеля» (VII, 40). Сам он не одобрял этой братоубийственной розни, не считал, что эстетическая критика «отжила свое время», однако искусство, лишенное этико-социологического излучения, он, как правило, порицал. Один объективный «протокол» без нравственного «приговора» его не устраивал, ибо он ждал от искусства *учительства*, пробуждения «чести» и «совести» в читателе. На этих двух излюбленных мотивах Михайловский строил свои статьи о наиболее близких ему писателях — Щедрине, Гл. Успенском, Вс. Гаршине. Первый мотив означал пробуждение человеческого достоинства, второй — связан с чувством долга и ответственности перед «меньшим братом». Забота о «малых сих» породила поколение «кающихся дворян» и «кающихся интеллигентов», к которым Михайловский (автор этого термина) себя причислял.

На рубеже веков понятия «долга перед народом», жалости и сострадания были объявлены «устаревшими». Сторонники «новой

морали» стали ограничивать само понятие «гуманизм» всякого рода уничижительными определениями: буржуазный, абстрактный, пассивный, индивидуалистический, сентиментальный и т. д. «Пролетарский» гуманизм провозгласил разрыв не только с христианской традицией, но и с гуманистическими и демократическими идеями XIX века.

Об этом хорошо написал М. М. Пришвин в своем дневнике: «...откуда явилось это чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка, которую нельзя переступить и после начать хорошую жизнь? Это ведь христианство, привитое нам отчасти Достоевским, отчасти церковью, но в большей степени и социалистами. Разрыв традиции делает большевизм» и эпоха «стального человека», в которой нет «даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния» [61].

Сейчас люди недобросовестной мысли пытаются приписать этот разрыв старой русской демократии, поколению Михайловского. Но вот что пишет даже о крайних течениях этого поколения М. Цветаева в статье с афористическим заглавием «Искусство при свете совести»: «Весь тот лютый утилитаризм, вся базаровщина — только утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни — *только русское лицо высоты.* Наш утилитаризм — то, что в пользу духу. Наша «польза» — только совесть» [62].

В. Х. Пожалуй, это самое выразительное определение для позиции Михайловского: он действительно смотрел на искусство *при свете совести.*

М. Г. Петрова, кандидат филологических наук
В. Г. Хорос, доктор исторических наук

---

[61] *Пришвин М.* **1930 год.— «Октябрь»**, 1989, № 7, с. 161, 175.
[62] *Цветаева М.* **Соч. в 2-х т., т. 2, с.** 391.

⟨О «БЕСАХ» ДОСТОЕВСКОГО⟩

«Пурриры» «Гражданина» [1].— Отчего г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к его таланту, и берет неподходящие.— Комментарии к «Бесам».— Дневник писателя.— Власы и citoyens du monde civilisé.— Тех ли и всех ли бесов нарисовал г. Достоевский.

Когда стало известным, что г. Достоевский делается ответственным редактором «Гражданина», «органа русских людей, состоящих вне всякой партии», многие были этим обстоятельством заинтересованы. Интересовался и я. Мне было прежде всего обидно за г. Достоевского. Если бы у «органа русских людей, стоящих вне всякой партии», как он обрисовался за год своего существования; если бы, говорю, у него были какие-нибудь определенные идеи, то это были бы, по-видимому, идеи весьма дикие, ни с чем не сообразные. В таком случае можно было бы даже радоваться, что ни с чем не сообразные идеи отстаиваются неумело и бездарно. Ведь хуже бы было, если бы за такое дело взялся человек или очень ловкий, или очень талантливый. Но такое рассуждение совершенно не применимо к «Гражданину». Никаких ясно определенных дикостей и несообразностей он не проповедовал, а был все время некоторой кунсткамерой, хранилищем самых разнообразных антиков, монстров и раритетов, большею частью неважных даже в смысле античности и монструозности. Так, шутовство какое-то было, в сущности даже совсем невинное, насколько шутовство может быть невинно. Шутовство составляло именно цвет органа русских людей, стоящих вне всякой партии. Теперь в Петербурге появились какие-то конфекты, называемые «пурриры» (sic) *. Конфекты сами по себе просто скверные, и соль или, вернее, сладость их состоит в прилагаемых к ним билетиках. На билетиках напечатаны стишки, сами по себе не столько смешные, сколько неожиданные, и эта неожиданность-

* так (*латин.*).

то и может заставить иногда улыбнуться. Стишки тут, собственно, вовсе не «для смеху», не pour rire *, а просто «пуррир». Так вот такой-то газетой «пуррир» и был орган русских людей, стоящих вне всякой партии. Издал, например, «Гражданин» за летние месяцы, в которые он не выходил, сборник; на первой странице второго тома этого сборника напечатано: «Посвящается подписчикам «Гражданина» в знак благодарности и уважения от издателя и редакции». Очевидно, это не для смеха, это просто «пуррир». Или вот, например, стихотворение:

О, я, несчастный Атлас! Целый мир,
Мир целый мук и скорби я несу!
Невыносимую несу я ношу, сердце!
О, как еще не разорвешься ты!
О, сердце гордое! Ты этого хотело!
Хотело счастья ты, безмерного хотело —
Или безмерного несчастья — сердце!
Пришло к тебе — безмерное несчастье!

Это, очевидно, вовсе не для смеха сделанный перевод Гейне, это отрывок из обширного «пуррира» г. Прахова, печатавшегося в прошлом году в «Гражданине». А пурриры кн. Мещерского? Да всего и не перечтешь. И редактором такой-то газеты «пуррир» является вдруг г. Достоевский. Поневоле станет обидно за него, как за одного из талантливейших современных писателей. Что он Гекубе? Что она ему? Но затем является вопрос: что сделает из «Гражданина» г. Достоевский и сделает ли что-нибудь? Теперь, кажется, можно уже ответить на этот вопрос. Г. Достоевский из «Гражданина» ничего не делает, ничего или почти ничего. Правда, шутовской характер органа русских людей, стоящих вне всякой партии, постепенно ослабевает под влиянием, надо думать, нового редактора. Но Бог весть, к добру ли это: шутовство именно и составляло до сих пор цвет «Гражданина», и, лишаясь его, «Гражданин» обесцвечивается. А что получает он взамен? Фельетоны г. Достоевского («Дневник писателя»), которые, без сомнения, читаются с большим интересом. Но г. Достоевский — писатель в высшей степени своеобразный и однообразный, до такой степени своеобразный и однообразный, что для него едва ли возможно распространить

* для смеха (*франц.*).

свой дух на всю пустыню «Гражданина». Он будет изображать собою некоторый оазис среди этой пустыни, и больше от него ничего нельзя требовать.

Кстати, о своеобразии и однообразии г. Достоевского. Я только на днях прочитал его последний роман «Бесы», уже в отдельном издании, и по прочтении мне пришел в голову следующий вопрос: отчего г. Достоевский не напишет романа из европейской жизни XIV—XVI столетия? Какое ведь там обширное поприще представляется для его блестящего психиатрического таланта (иначе я не могу назвать талант г. Достоевского). Все эти бичующиеся, демономаны, ликантропы, все эти макабрские танцы [2], пиры во время чумы и проч., весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жаждой искупления,— какая это была бы благодарная тема для г. Достоевского. Мне почему-то вспомнился Декамерон, и я уже сравнивал игривые и легкомысленные арабески Боккаччио с тем, как воспользовался бы этой темой г. Достоевский. Но я очень быстро оборвал нить этих соображений и едва ли не вскрикнул: «Ах я телятина!» С какой в самом деле стати г. Достоевскому заниматься таким далеким временем и такими чужими делами? Просто мне глупость пришла в голову. Какие тут макабрские танцы и шабаши ведьм, с чего? Это так. Но почему бы не воспользоваться г. Достоевскому такими моментами, как, например, наше масонство? Может быть, из декабристов нашлись бы для него подходящие фигуры. Или вот, например, «духовный союз» Татариновой, или история Грабянки [3]. Да и вообще царствование Александра I и начало царствования Николая Павловича так и просятся под перо г. Достоевского. Если, наконец, и это для него слишком отдаленное время, то он и нынче может найти благодарнейшие мотивы в некоторых раскольничьих сектах, в монастырской жизни, наконец, в спиритизме. Я видал всего одну только спиритку, но положительно говорю, что лучшего материала г. Достоевскому не найти.

Однако это становится любопытно. Как ни верти, а г. Достоевский точно намеренно обходит все те темы, которые дали бы ему возможность развернуть свой блестящий талант. Скажут, может быть, что перечисленные темы требуют особого специального изучения. Это правда. Но, спрашивается, изучал ли г. Достоевский

те темы, которые им эксплуатируются, и принадлежат ли они фактически к числу тем, преимущественно для его таланта пригодных? Небезынтересно рассмотреть это дело несколько поближе. Замечу на всякий случай, что я очень уже давно читал старые произведения г. Достоевского и только «Мертвый дом» помню с достаточною отчетливостью. Материалы для моей беседы о г. Достоевском ограничиваются «Преступлением и наказанием», «Бесами» и «Дневником писателя». Было бы очень любопытно проследить весь ход развития идей и таланта г. Достоевского; но я должен отказаться от этой интересной задачи.

Можно с различных точек зрения различно классифицировать многочисленные действующие лица нового романа г. Достоевского. Но я попробую разделить их на несколько категорий с точки зрения отношения к ним г. Достоевского, *как писателя*, при чем и выяснятся особенности его таланта.

Мы найдем в «Бесах», во-первых, несколько фигур, сделанных очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащих. Это молодые люди, говорящие: «нынче нет привидений, а естественные науки», девушки, разъезжающие из города в город, «чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту», и т. п. Эти шаблонные образы, играющие в романе последнюю роль, автором не продуманы и не прочувствованы, а взяты напрокат у гг. Стебницких и Ключниковых [1]. Некоторое исключение, впрочем, составляют более или менее самостоятельно отделанные и потому более или менее человекообразные фигуры жен Шатова и Виргинского. Всю эту группу г. Достоевский окрещивает именем «идеи, попавшей на улицу».

Затем идет ряд образов, принадлежащих г. Достоевскому наравне с другими русскими беллетристами. Они, разумеется, очень разнообразны по поэтической концепции, по своей нравственной идее, по роли, занимаемой ими в романе, и проч. Но я их ставлю в одну категорию потому, что всем им можно подыскать параллели в произведениях других наших романистов и все они в то же время суть самостоятельные создания г. Достоевского. Например, тип идеалиста сороковых годов эксплуатировался у нас весьма часто. Г. Достоевский берет его, но берет с некоторых новых сторон

и потому придает ему свежесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Если бы я имел в виду собственно критический разбор «Бесов», то я непременно занялся бы этими поучительными параллелями. Но я пишу только заметки. Большая часть лиц этой второй категории в «Бесах» удачны, а некоторые даже превосходны. Если прекрасные фигуры упомянутого идеалиста сороковых годов, Степана Трофимовича Верховенского, и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающего свой прощальный рассказ «Merci» *,— впадают местами в шарж, то фигуры супругов Лембке положительно безупречны.

Третья категория для нас самая интересная. Здесь группируются образы, составляющие в русской литературе исключительную собственность г. Достоевского. Таких довольно много в «Бесах»: Ставрогин, Шатов, Петр Верховенский, Кирилов, Шигалев. Общее между этими лицами то, что все они находятся на границе нормального и ненормального состояния духа. Все они ведут странный образ жизни, все высказывают странные мысли. Весьма важно, однако, заметить, что это не сумасшедшие. Г. Достоевский любит иногда рисовать и таких. Так, в «Бесах» есть намеки на временное умопомешательство Ставрогина; есть сумасшедшая Лебядкина-Ставрогина, есть сходящий на глазах читателя с ума Лембке. Но не в этом состоит специальность г. Достоевского. Его любимые герои держатся на границе ума и безумия, нормального и ненормального состояния воли. Это или люди, находящиеся в сильно возбужденном состоянии, или мономаны, имеющие возможность сочинять и проповедовать весьма замысловатые теории.

Гризингер [5] в своем сочинении о душевных болезнях замечает: «*Некоторые* поэтические изображения умалишенных превосходны во многих чертах, взятых с натуры (Офелия, Лир, лучше всех Дон-Кихот), но так как поэт представлял эти состояния почти исключительно с духовной стороны, как результат предшествовавших столкновений, выставляя только то, что могло служить ему для этой цели, и совершенно обходя органическое их основание, то и описание его по крайней

* «Спасибо» (*франц.*).

мере односторонне». И далее: «Поэтические и моралистические представления не только бесполезны и теоретически ошибочны, но и положительно вредны в практическом отношении. Они дали людям, не знающим дела, такие представления о душевных болезнях, которые не имеют даже и отдаленного сходства с действительностью, и, когда представления эти не соответствуют ей, у такого человека является сомнение, действительно ли это душевная болезнь. Как наивно удивляются многие посетители дома умалишенных, представлявшие себе его жителей совершенно иначе!» Таковы требования психиатра. Но, конечно, они слишком строги. Обыкновенный читатель не психиатр и очень редко эмпирический психолог, поэтому в Дон-Кихоте, например, для него имеют совершенно второстепенный интерес те именно черты, которые с психиатрической точки зрения, может быть, особенно дороги, например, галлюцинации ламанческого героя. Поэтому, называя выше талант г. Достоевского психиатрическим, я не то хотел сказать, чтобы им верно изображались уклонения разума и воли от нормального состояния. Об этом и судить не могу. Думаю, что, как и всякому наблюдателю, интересующемуся известным кругом явлений, г. Достоевскому случается и делать верные наблюдения, и впадать в фальшь. Но некомпетентность эта не мешает мне, как и всякому другому, судить о психиатрических субъектах г. Достоевского с эстетической и нравственной стороны. Дон-Кихот занимает меня, как художественное произведение и как нравственный тип, хотя бы я имел самые смутные понятия о процессах галлюцинаций и иллюзий. Литературная критика и голос толпы оценили Дон-Кихота задолго до психиатров.

Относительно г. Достоевского дело облегчается еще тем, что, несмотря на свою наклонность к изображению безумия, он редко рисует его только как процесс. В большинстве случаев он решает при помощи своих психиатрических субъектов какую-нибудь нравственную задачу и большею частью придает решению мистический характер. Он, если позволена будет некоторая восточность метафоры, разыгрывает на струнах душевной болезни нравственно-политические мотивы. В «Бесах», как и в «Преступлении и наказании», как и в

«Идиоте», он устраивает целые оркестры такого рода. Он делает это двояко. Либо он берет какой-нибудь психологический мотив, например, чувство греха и жажду искупления (мотив, его особенно интересующий), и заставляет его действовать в образе. Вы видите, например, что человек согрешил, его мучает совесть, он налагает, наконец, на себя какую-нибудь эпитемью и тем достигает душевного спокойствия. Это один прием. Он был применен г. Достоевским в «Преступлении и наказании». В «Бесах» неудачную попытку этого рода представляет Ставрогин. Другой прием состоит в том, что измученному душевною болезнью человеку влагается в уста известное разрешение какого-нибудь нравственного вопроса. В «Бесах», к сожалению, преобладает второй прием. Говорю: к сожалению, потому что прием этот, очевидно, невыгоден в художественном отношении. Одно из действующих лиц последнего романа г. Достоевского говорит: «Не я съел свою идею, а моя идея меня съела». Это могли бы сказать о себе весьма многие герои г. Достоевского. И это тип, без сомнения, в высшей степени интересный и поучительный. Но одно дело показать его как тип, как живой образ, на глазах читателя действительно пожираемый своею идеею. И другое дело заставить человека без устали проповедовать пришитую к нему идею. А таковы большею частью герои «Бесов» (я разумею героев третьей категории, излюбленных героев г. Достоевского). Они пожираются своею идеею в совершенно другом смысле. Дело в том, что у г. Достоевского такой громадный запас эксцентрических идей, что он просто давит ими своих героев. В этом отношении его можно сравнить с Бальзаком. Приведем два-три примера.

В числе всякой губернской сволочи, увивающейся около губернаторши, m-me Лембке, есть некто Лямшин. Это мелкая гадина, трусливая, глупая, скверная. Лембке наконец выгоняет его от себя, но приятели убеждают ее прослушать «новую особенную штучку на фортепьяно», которую выдумал Лямшин. Штучка называется «Франко-прусская война». «Начиналась она грозными звуками Марсельезы:

Qu'un sang impur abreuve nos sillons! *

* Пусть нечистая кровь напоит наши поля! (*франц.*).

Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко послышались гаденькие звуки Mein lieber Augustin *. Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием, но Augustin укрепляется, Augustin все нахальнее, и вот такты Augustin как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердиться, она замечает наконец Augustin, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую, ничтожную муху, но Mein lieber Augustin уцепилась крепко: она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает, что раздражена и обижена, это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками:

Pas un pouce de notre terrain, pas une pierre
de nos forteresses **.

Но уже она принуждена петь с Mein lieber Augustin в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Augustin, она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом послышится опять: qu'un sang impur... Но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Он смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все... Но тут уже свирепеет и Augustin: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; Augustin переходит в неистовый рев... Франко-прусская война оканчивается. *Наши аплодируют. Юлия Михайловна улыбается и говорит: «Ну как его прогнать?» Мир заключен. У мерзавца действительно был талантик».* Не то что талантик, а идея мерзавца совершенно давит его, его не видишь в течение всего дуэта Марсельезы с Mein lieber Augustin, так что подчеркнутые слова встречаешь с некоторым изумлением: читатель совсем было и забыл Лямшина.

Другой пример. Петр Верховенский обнаруживает свою «идею» только в конце второй части романа.

* Мой любимый Августин *(нем.)*.

** Ни одной пяди нашей земли,
ни одного камня наших крепостей (*франц.*).

И пока этого не случилось, вы можете следить за его фигурой, можете рассуждать, удовлетворительна ли она в литературном отношении (весьма неудовлетворительна), какова она, как нравственный тип и т. п. Но вдруг на Верховенского нападает восторженное состояние, оказывается, что он фанатик. Он развивает свою идею. Он восторженно доказывает Ставрогину, что необходимо одно или два поколения разрушения, пожаров, убийств, разврата «неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». «Начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам». Тут по плану г. Верховенского надо пустить «Ивана Царевича», роль, предназначаемая им Ставрогину. «Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать, из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». И Ивана Филипповича бога-саваофа видели, как он в колеснице вознесся пред людьми, «собственными» глазами видели. А вы не Иван Филиппович; вы красавец, гордый как Бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». Главное легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается». А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то — газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и заволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, мы, одни мы!»

Мы привели только часть практического плана Верховенского, и он еще на нескольких страницах развивает теоретическую сторону своей идеи. И во все это время читатель до такой степени поражен дикой оригинальностью, эксцентричностью идеи, что Верховенского тут как будто и не бывало. Точно вы читаете дикую книгу или слушаете дикую речь совершенно неизвестного и ни малейше вас не интересующего человека.

И замечательно, что исчезновение Верховенского, как образа, как характера, происходит как раз в ту минуту, когда он становится представителем третьей из принятых нами категорий, то есть когда он переходит в исключительную собственность г. Достоевского. Без сомнения, такое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия,— в художественном отношении не может быть выгодно. Герои г. Достоевского, давимые идеями, по необходимости бледны, бледнее по крайней мере, чем они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И в «Бесах» они особенно бледны, здесь нет ни одного образа, равного в художественном отношении фигурам Раскольникова, Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Недурен, пожалуй, Шигалев, но он, во-первых, стоит в самом заднем углу, а во-вторых, не развертывает своей идеи вполне, а только показывает один край её, так что не успевает быть ею придавленным. Вообще же вместо образов *людей, придавленных своими идеями*, в «Бесах» фигурируют *образы, придавленные идеями, обязательно изобретенными для них автором.*

Позволив себе эти беглые эстетические замечания, перейдем к самим идеям. Хорошо или дурно изображены известные типы, но надо еще знать, уместно ли их изображение. Надо знать, с кого г. Достоевский портреты эти писал и где разговоры эти слышал.

В «Бесах» рассказывается история, по внешнему ходу событий и обстановки поразительно сходная с так называемым Нечаевским делом [6]. Есть тут вожак, Верховенский (сын), устраивающий тайное общество посредством целого ряда обманов. Он водит всех за нос каким-то центральным революционным комитетом, связями с международным обществом рабочих, виршами, будто бы в честь его, «студента», написанными *Герценом*. Есть поддельный ревизор, присутствующий с записной книжкой на заседаниях кружка. Есть студент Шатов, постоянно враждующий с вожаком Верховенским. Есть сцена убийства Шатова, которого заманивают в грот в парке и там сначала пристреливают, а потом топят. Есть некто Толкаченко, «странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и

разбойников, ходивший нарочно по кабакам, впрочем, не для одного изучения народного». И проч., и проч., и проч. В некоторых отношениях романист точно задался мыслью не отступать от сведений, добытых следствием и судом по Нечаевскому делу. Так, например, отношения, существовавшие между Нечаевым и Ивановым, не выяснены. Неизвестным и до сих пор остается, хотел ли Иванов сделать донос, или он только в том подозревался, или, наконец, Иванов совсем по другим причинам мешал Нечаеву. Так дело стоит и у г. Достоевского. Отношения Шатова и Верховенского весьма неясны: автор не позволил себе ни на волос отступить не то что от описываемой им действительности, а даже от действительности, как она выяснилась следствием и судом. Естественное дело, что если важная часть фабулы романа взята из современной и наделавшей шуму истории, то мы вправе ожидать от автора картины современных нравов весьма точной. Странно было бы описывать фактическую сторону дела с фотографической скрупулезностью, а содержание влагать в нее фантастическое или вообще несоответствующее. Но точность поэтической картины есть нечто весьма условное. В действительности есть черты важные и неважные, типические и случайные. Если поэт самым тщательным образом и вполне точно обрисует черты случайные, а не важные, то этим еще отнюдь не достигается поэтическая точность картины. И наоборот; я понимаю, что художник может изобразить, например, лиссабонское землетрясение двумя-тремя человеческими фигурами, если сумеет сконцентрировать в них суть дела. В какой мере точна картина современной жизни, написанная г. Достоевским? Если бы его роман был переведен на какой-нибудь незнакомый язык и попал бы таким образом в руки людей, мало или вовсе не знакомых с капризными особенностями нашего даровитого романиста, то они пришли бы в крайнее изумление. Оставляя пока в стороне смысл всего романа, мы видим небольшую группу излюбленных автором героев, молодых людей, занимающихся разрешением религиозных вопросов, в которых для них кульминируется вся злоба дня. «Вы атеист? — Да.— Веруете вы сами в Бога? — Я верую в Россию, я верую в ее православие. Я верую в тело Христово. Я верую, что новое пришествие совершится в

России.— А в Бога? в Бога? — Я... Я буду веровать в Бога.— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную». «Он придет, и имя ему человекобог.— Богочеловек? — Человекобог, в этом разница.— Уж не вы ли и лампаду зажигаете? — Да, это я зажег.— Уверовали? — Бог необходим, а потому должен быть, но я знаю, что его нет, не может быть». Вот вопросы и ответы, имеющие место между тремя самыми видными из излюбленных героев г. Достоевского. Из этого источника берут начало и их социальные теории. Впрочем, другие действующие лица третьей категории, Петр Верховенский и Шигалев, строят свои замысловатые теории на других основаниях. Но, во всяком случае, имел ли какое-нибудь основание г. Достоевский группировать около Нечаевского дела людей, проникнутых мистицизмом? Думаю, что нет, а тем паче не имел он права ставить их типами современной русской молодежи вообще. Такие люди, конечно, возможны и здесь, как и везде. Но мало ли, что возможно. Едва ли русская молодежь так пристально занимается мистико-религиозными вопросами. Напротив, направление ее, вообще говоря, чисто практическое, а если кое-кто из нее и занимается социальными теориями, то уж, конечно, не такого характера, каким отличаются теории Ставрогина, Шатова, Кириллова. Замечательно, что молодые люди, представляющие у г. Достоевского «идею, попавшую на улицу», тяготеют к вящему реализму, с задором объявляют, что «нынче нет привидений, а естественные науки» и т. п. Молодые же люди, «съеденные своею идеей», тяготеют в совершенно противоположную сторону. Обстоятельство это в романе ничем не мотивировано, а это жаль. Во всяком случае, если бы г. Достоевский принял в соображение громадную массу русских молодых людей, стремящихся в адвокаты, мировые судьи, проводители совершенствованных путей сообщения и проч., и проч., и проч.; если бы он прибавил сюда массу молодых людей, настроенных и серьезно, и трезво, наконец, если бы он остановил подольше свое внимание на массе молодых верхоглядов,— то он, без сомнения, убедился бы, что теории, подобные шатовским, кирилловским, ставрогинским, могут занимать здесь только микроскопически ничтожное место. Он убедился бы даже, что Нечаев-

ское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого, мелкого, могло бы и, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе, как в качестве третьестепенного эпизода. Но и помимо Нечаевского дела, где слышал г. Достоевский, чтобы современные русские молодые люди встречали и провожали друг друга вопросами: вы атеист? вы лампадку зажигали? вы уверовали? Тем паче, где слышит он из уст молодежи такие идеи, как, например: «Народ есть тело божье», «Русский народ богоносец» и т. п.? Я не спорю, может быть, он все это и слышал, но уже, конечно, не имеет права выставлять эти черты в качестве характерных, типических на первое место. В начале нынешнего столетия в Париже и в Берлине существовали клубы самоубийц, по статуту которых члены по жребию должны были убивать себя по одному в год. Это факт любопытный. Но что бы сказали о писателе, который, рисуя картину европейской жизни начала нынешнего века, наполеоновские войны поставил бы в задний угол, а клуб самоубийц на первое место? Писатель этот мог бы быть очень точен в описании своих героев, но несоблюдение правила художественной перспективы испортило бы все дело. Я думаю, что нет надобности настаивать на пункте, который доступен ежедневному наблюдению всех и каждого, и потому позволяю себе сказать афористически: если бы г. Достоевский нарочно искал такой среды, в которой мистические теории были бы совершенно неуместны, то он нашел бы ее в современной русской молодежи.

Таким образом, мы пришли к чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к свойствам его таланта, и в то же время втискивает эксцентрические идеи туда, где их в действительности нет. Это объясняется очень легко, если мы примем в соображение, как богат г. Достоевский эксцентрическими идеями. Они, очевидно, его просто мучат, теснятся в его фантазии в гораздо даже большем количестве, чем художественные образы. Прошу покорно выносить в голове Ивана Царевича и два поколения невообразимого разврата и разрушения или

теорию самообожествления посредством самоубийства, которую исповедует и практикует Кириллов. Раз подобная теория сложилась в голове автора, она требует исхода. Значит, автор уже органически не может взяться за беллетристическую эксплуатацию, например, духовного союза Татариновой или спиритизма. Там есть *свои*, готовые теории, *свои* эксцентрические идеи, а г. Достоевскому надо прежде всего сложить свое собственное бремя. И понятно, что удобнее всего его сложить туда, где больше места, где действительность создала наименьшее количество эксцентрических идей и теорий. Г. Достоевскому нужны только подходящие рамки, готовое драматическое положение и слабый намек на возможность эксцентрических идей. Намек этот должен быть, но чем он слабее, тем лучше, тем просторнее продуктам фантастической лаборатории автора. Конечно, это обобщение может показаться слишком поспешным. Но я только предлагаю объяснение, в пользу которого говорят и еще кое-какие соображения. Сюда относится вышеупомянутое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия. Сюда же относится и самое пристрастие автора к этой границе. Герои г. Достоевского как раз настолько безумны, что им позволительно уклоняться от самых неопровержимых истин, и в то же время как раз настолько умны, что могут излагать довольно связно весьма замысловатые идеи. Люди нормальные для г. Достоевского неудобны, так как им нельзя вложить в уста эксцентрическую идею. Сумасшедшие тоже не годятся, потому что тут пришлось бы довольствоваться совершенно бессвязной галиматьей.

Выше было сказано, что г. Достоевский напоминает Бальзака, конечно, не по симпатиям своим, а только по богатству эксцентрических идей и наклонности к изображению исключительных психологических явлений (небезынтересно заметить мимоходом еще одно сходство: фельетонный способ писания широко задуманных вещей). Но разница вот в чем. Бальзак, во-первых, гораздо смелее, потому что берет иногда не только исключительное психологическое явление, а нечто совершенно невозможное, фантастическое (например, Серафит). Во-вторых, взяв какой-нибудь редкий феномен,

большею частью одностороннее развитие какой-нибудь страсти, он уже за ним только и следит, на нем одном, от имени его одного только и строит свои эксцентрические теории. Вследствие такой сосредоточенности роман получает иногда удивительную силу, идея романа (а не действующих лиц) вырезывается с необыкновенною ясностью, а вместе с тем оправдывается и исключительность сюжета. Менее плодовитый г. Достоевский наделяет эксцентрическими идеями всех, кого только физически возможно наделить ими (в «Бесах» они прорываются даже у Федьки-каторжника и пьяницы капитана Лебядкина). Носители эксцентрических идей оказываются при этом придавленными не только нравственно, что и хотел изобразить г. Достоевский, а и в художественном отношении, чего он, разумеется, не желал. В результате получается нечто многоцентренное, расплывающееся, ряд насильственно пригнанных драматических положений, в которых чрезвычайно трудно ориентироваться. А между тем, в «Бесах» г. Достоевский желал быть как можно яснее. Он, во-первых, снабдил роман двумя очень характерными эпиграфами. Один — стихи Пушкина:

Хоть убей, следа не видно
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

....

Столько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?

Другой эпиграф взят из евангельского рассказа об исцелении бесноватого, о том, как изгоняемые Христом бесы попросили у него позволения переселиться в пасшееся недалеко стадо свиней и как потом свиньи бросились в озеро и потонули. Эпиграф этот получает в конце романа специальное объяснение. Верховенский-отец, больной, просит сиделку прочитать ему рассказ об исцелении бесноватого. Та читает, а Степан Трофимович предается по этому случаю некоторым излияниям. «Видите,— говорит он между прочим,— это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней,— это язвы, все миазмы, вся не-

чистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie que j'aimais toujours *. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и пошли уже, может быть! Это мы, мы и ты, и Петруша... et les autres avec lui **, и я, может быть, первый во главе, и мы бросаемся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением».

Таким образом, г. Достоевский весьма обязательно сам дает ключ к уразумению «Бесов». Но это мало подвигает дело вперед. Если бы еще г. Достоевский ограничился первым эпиграфом:

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам? —

то идея романа могла бы быть хоть и слишком общею, но зато по крайней мере ясною. Второй эпиграф, в особенности в связи с его объяснением устами Степана Трофимовича, показывает только, что идея романа замысловата, что тут есть некоторая претензия. Но ключ к ее уразумению предлагается в виде аллегории, которую не сразу и поймешь. Спрашивается, в чем состоят миазмы, нечистота, бесы и бесенята, в течение веков копившиеся в нашем больном? Кто это «мы и ты, и Петруша et les autres avec lui», о которых говорит Степан Трофимович Верховенский? Кто эти свиньи, в которых вселяются бесы, изгоняемые из больной России? В чем, наконец, состоит их бесовский элемент? В самом романе трудно найти ответы на эти вопросы. Пожалуй, многие действующие лица его действительно напоминают бесноватых, но, конечно, дело не в этом прямом смысле слова, а в аллегории. Формула «мы, мы и ты, и Петруша et les autres avec lui» обобщает элементы чрезвычайно разнообразные, так что нелегко усмотреть их совпадающие стороны. «Петруша et les

* Да, эта Россия, которую я всегда любил (*франц.*).
** и другие с ним (*франц.*).

autres avec lui» представляются, например, нам, то есть Степану Трофимовичу Верховенскому, в виде «подлого раба, вонючего и развратного лакея», который при известных обстоятельствах «взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеварения». Со своей стороны, и Петруша et les autres avec lui осыпают «нас», Степана Трофимовича Верховенского, эпитетами, полными ненависти и презрения. И эти враждебные отношения вполне объясняются действительным внутренним различием обоих лагерей. Далее, в каждом из них мы опять-таки видим только различия и различия. Люди, представляющие собою исключительные психологические феномены, уже сами по себе составляют нечто, трудно поддающееся обобщениям. А так как в «Бесах» эти люди суть большею частью только подставки для эксцентрических идей, то становится еще труднее стать на такую точку зрения, с которой все они сливались бы в понятие стада бесноватых свиней. В самом деле, эксцентрическая идея непременно стоит, если можно так выразиться, ершом, она не имеет ничего общего с идеями неэксцентрическими и другими эксцентрическими, так что ряд подставок для эксцентрических идей не подлежит никакому синтезу; нет ведь возможности подвести им итог. И потому, как ни старался г. Достоевский быть ясным, он этого не достиг.

К счастью, тут подвернулся «Гражданин». Потому ли, что идеи «Бесов» вообще сильно занимают г. Достоевского, или потому, что «Дневник писателя» пишется под непосредственным влиянием писания «Бесов», но дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам». Многие мысли «Дневника» высказаны уже в «Бесах» разными действующими лицами, и в особенности молодым студентом Шатовым, или, в переводе на язык действительности, убитым Ивановым. Комментируя «Бесов» «Дневником», мы уясним себе многое.

Николай Ставрогин, по первоначальному по крайней мере замыслу автора, должен был, по-видимому, быть самым заметным из действующих лиц романа, некоторым его центром. Вышла, однако, фигура с претензиями, но крайне тусклая. Шатов, Кириллов, Лебядкин повторяют ему одну и ту же фразу: «Вспомните, как

много значили вы в моей жизни», но это значение остается невыясненным. Шатов ждет от Ставрогина многого, рассчитывая на его гениальность; Верховенский Петр тоже ждет от него многого, но в расчете на его «необыкновенную способность к преступлению». Все видят в нем отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Где-то за кулисами действует Ставрогин в качестве члена тайного «сладострастного» общества, «у которого маркиз де Сад мог бы поучиться», которое «заманивало и развращало детей». Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогин «уверял, что не знает различий в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Словом, это что-то очень бурное, необыкновенное, но вместе с тем что-то очень плоское, будничное. Так, например, Ставрогин давно записался в граждане кантона Ури, купил там маленький дом и зовет туда с собой по очереди трех ни в чем между собой не сходных женщин: экзальтированную Лизу, преданную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему, кажется, все равно, с кем скоротать свою бурную жизнь, но только непременно с женщиной, непременно в маленьком швейцарском доме, никого не видя, ничего не делая. Все поступки Ставрогина как-то изысканно необычайны. И особенно замечательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что он в здравом рассудке. Он даже нарочно для этого сводит его на время с ума: заставляет делать безумные выходки, которые, однако, по общему необъяснимо таинственному инстинктивному убеждению свойственны Ставрогину и в здравом уме. Роман даже тем и оканчивается, что труп самоубийцы Ставрогина анатомируют и «наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство». Это последние строки романа. Очевидно, г. Достоевский хотел тут разрешить некоторую психологическую задачу, но не только разрешения какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ее. Некоторое пояснение дела найдем мы в «Дневнике писателя» («Гражданин», № 4). Там рассказывается следующая история. Один мужик взялся сделать какую угодно «дерзостную» штуку. Другой и заказал ему: пойти причащаться, но причастия

не глотай, а возьми в руки и сохрани. Мужик сделал. Тогда деревенский Мефистофель повел его в огород, велел положить причастие на землю, зарядить ружье и выстрелить в причастие. «И вот только бы выстрелить,— рассказывал потом мужик,— вдруг предо мной как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии». Затем мужик пошел каяться в грехах своих, почувствовал жажду искупления и страдания и отправился за советом к «схимнику, монаху-советодателю», который и наложил на него подходящую эпитемью.

Вот рассказ. Вместе с некоторыми из замечаний г. Достоевского он мог бы составить прекрасную монографию, в смысле описания и разъяснения данного случая. В качестве поэта г. Достоевский мог бы ограничиться собственно образным представлением развития «дерзостной» мысли, страшного страдания, последовавшего за ее осуществлением, и, наконец, наслаждения искупляющим страданием. Могла бы выйти великолепная вещь. Если г. Достоевский не надеется на силу своего поэтического таланта, то он мог бы, конечно, развести образцы некоторыми размышлениями. Но г. Достоевский ведет дело в этом отношении уже слишком далеко. Он видит в дерзостном и кающемся мужике символ, ни больше, ни меньше, как «всего русского народа в его целом», и по этому случаю предается некоторой мало основательной публицистике. Вот некоторые из характеристических, по мнению г. Достоевского, черт русского народа в его целом. «Это прежде всего — забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма редко — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой... некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение пред собственной дерзостью». Это одна черта, черта, по мнению г. Достоевского, всенародная. В частности, выразилась она и в истории дерзостного мужика. Она же, очевидно, должна была составлять

основу характера Ставрогина, ибо некоторые действующие лица романа говорят о нем почти теми же словами, какие г. Достоевский употребляет для характеристики народа. Потому-то г. Достоевский так и хлопочет, чтобы Ставрогина не приняли за сумасшедшего: он должен выражать собою одну из типических черт русского народа, и все его безобразия должны объясняться потребностью дерзости.

Другая черта народа состоит в страстной потребности искупить дерзость, грех. «С такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок восстановления и самоспасения бывает серьезнее прежнего прорыва — отрицания и саморазрушения. То бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе. Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания всегдашнего и неутолимого, всегда и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бед, а бьет ключом из самого сердца народного... Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других, в чаду безобразия, свои тайные муки от собственного недовольства собой». Вот другая черта народного русского характера, фигурирующая и в истории дерзостного мужика. Есть она отчасти и в Ставрогине. Она прорывается в нем отдельными вспышками, например, когда он объявляет о своем браке с Лебядкиной, когда он молча выносит пощечину от Шатова и т. д. Прорывается, но не доходит до конца. Любопытно, что Шатов, представляющий собою вообще мнения г. Достоевского, посылает Ставрогина в какому-то Тихону, бывшему архиерею, живущему по болезни на покое, к которому ходят за советами. Это, очевидно, тот же схимник,

монах-советодатель, к которому дерзостный мужик идет за эпитемьей. Но Ставрогин не пошел за эпитемьей, не пошел за активным, так сказать, страданием, а страдания пассивного, предложенного стечением жизненных обстоятельств, не вынес и повесился. Вот в чем, значит, разница между Ставрогиным и Власом, как г. Достоевский зовет дерзостного мужика, мотивируя весь рассказ о нем известным стихотворением Некрасова:

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой, и т. д.

И Влас, и Ставрогин одинаково чувствуют «наклонность к преступлению», наклонность, впрочем, только порывистую, наклонность согрешить для греха, для сильного ощущения. Но Власа этот грех не выбивает из его жизненного седла окончательно, в конце концов, даже укрепляет в нем. Он идет искупать свой грех и в страдании искупления находит примирение с самим собой. Ставрогин этого сделать не в силах. Он падает окончательно именно потому, что не может или не хочет принять на себя крест; вернее сказать, не может, сил не хватает, хоть его и тянет к этому.

Таким образом, благодаря «Дневнику писателя» тусклый образ Ставрогина несколько уясняется. Но мы все-таки еще далеки от идеи романа — от бесов, бесноватых свиней и больной России. Не ясен даже ближайший пункт: что должен изображать собою Ставрогин, если только он не единица, не имеющая никакого общего значения; почему, сохранив одну черту народного характера, он утратил другую; почему, наконец, у Власа хватает силы на искупление, а у Ставрогина нет. Пойдем дальше в своих комментариях.

Один из героев «Бесов», Кириллов, сочинил эксцентрическую теорию, сущность которой, насколько ее понимать можно, состоит в следующем: Бога нет; если бы он был, то я должен бы был повиноваться его воле; но так как Бога нет, то я остаюсь единственным и полным владельцем своей судьбы и должен заявить, что я человек вольный, никого над собой не признаю и никого и ничего не боюсь; таким полным актом моей воли или «своеволия» может быть только самоубийство, но самоубийство без всякой видимой причины: хочу

и баста. Это вяжется у Кириллова с разными другими вещами и, между прочим, со служением человечеству. Он верует, что, убив себя, он докажет миру ложь бытия божия и укажет человечеству новые пути. В силу этой теории Кириллов и решает убить себя. Этим пользуется шайка Петра Верховенского и заставляет безумца подписать перед самоубийством записку, в которой Кириллов принимает на себя убийство Шатова. Подписывая, Кириллов находится в каком-то истерическом состоянии и непременно хочет подписаться, de Kirilloff gentilhomme russe et citoyen du monde, «еще лучше»: gentilhomme — seminariste russe et citoyen du monde civilisé *. Немедленно после этих слов Кириллов хватает револьвер и бежит стреляться. В словах этих звучит какая-то насмешка над самим собой, какая-то ирония, тем более необъяснимая, что Кириллов по собственному своему убеждению исполняет священный долг. И ничего в предыдущем не дает ни малейшего намека на смысл французской подписи. Очевидно, здесь автор просто не стерпел и подсунул Кириллову, на свой собственный страх, насмешливое прозвище, в устах Кириллова совершенно бессмысленное, невозможное. К счастью, у нас есть опять-таки «Дневник писателя», в котором это самое насмешливое прозвище является в сопровождении некоторого объяснения. В Дневнике г. Достоевский называет Герцена gentilhomme russe et citoyen du monde. Некрасова «общечеловеком и русским gentilhomme'ом». Но опять-таки, с которой стороны могут быть подведены к одному знаменателю Некрасов, Герцен и Кириллов?

Мне очень хочется добраться вместе с читателем до идеи «Бесов». Г. Достоевский имеет полное право требовать, чтобы к его мыслям и произведениям относились со всевозможными вниманием и осторожностью. Я это делаю, и не моя вина, что это может быть сделано только при помощи целого ряда отступлений. Так уж г. Достоевский свой роман устроил. Но теперь мы сделаем, надо думать, уже последнее отступление, мы у берега.

Я уже говорил о любопытном совпадении кровных,

* Кирилов, русский дворянин и гражданин мира; дворянин — русский семинарист и гражданин цивилизованного мира (*франц.*).

задушевных мыслей г. Достоевского, высказываемых им в «Гражданине», с идеями Шатова. Сходство между Шатовым и г. Достоевским до такой степени полно, что, излагая мысли Шатова, можно цитировать «Дневник писателя», и наоборот. Но при изложении этом надо устранить прежде всего одну двусмысленность. И г. Достоевский, и Шатов, к сожалению, играют словом «Бог». Иногда они придают этому слову тот же смысл, который ему придается всеми людьми, как верующими, так и неверующими. Но иногда они разумеют под «Богом» нечто иное, и именно, кажется, совокупность и высшую точку развития национальных особенностей. Так, например, они называют религией древних греков их философию и искусство, русским богом — государство. Куда при этом деваются Зевес и Юпитер со всей их свитою — не известно. Г. Достоевский и Шатов иногда громят атеистов в обыкновенном смысле этого слова, то есть в качестве людей, отрицающих существование личности творца вселенной. И в то же время Ставрогин пишет: «Шатов говорил мне, что тот, кто теряет связи с своей землей, тот теряет и богов своих, то есть *все свои цели*». Да в этом же смысле высказываются и сами Шатов, и г. Достоевский. А между тем, на этой двусмысленности, на этой игре слов основываются многие их аргументы. Шатову как человеку, находящемуся в постоянно возбужденном состоянии, наконец, как человеку, не берущемуся никого поучать, это простительно. Но от г. Достоевского можно было бы требовать большей отчетливости и меньшей игривости. Он ведь романист, а теперь и публицист, и редактор журнала. Любопытно наблюдать процесс, которым обнаруживается это легкомысленное отношение г. Достоевского к делу. Шатов, смешав Бога с богами в смысле цветов и плодов цивилизации и народных особенностей, доказывает, что человек, оторванный от народной, национальной почвы, тем самым уже становится атеистом. Доказывает он это восторженно, но торопливо, нескладно, нелепо, что вполне объясняется его ненормальным состоянием: с ним «жар», он только-то прожил три дня с мыслью, что его убьет Ставрогин. И тем не менее г. Достоевский считает этот пункт доказанным и говорит в «Дневнике»: «Герцен был продукт нашего барства, gentilhomme

russe et citoyen du monde. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства, за весьма малыми исключениями, истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства нашего образованного сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они, *естественно, потеряли и Бога.* Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные — индифферентными» и т. д. (Шатов говорит почти слово в слово то же самое о Белинском). Ввиду этого легкомыслия я отказываюсь следить за теорией г. Достоевского — Шатова во всей ее полноте. Это просто невозможно. В теории этой заключается, между прочим, такой пункт: каждый народ должен иметь своего бога, и когда боги становятся общими для разных народов, то это признак падения и богов, и народов. И это вяжется как-то с христианством, а я до сих пор думал, что для христианского Бога несть эллин, ни иудей...

За вычетом этой двусмысленности, этой совершенно неприличной игры слов, воззрения г. Достоевского — Шатова сводятся к следующему. Веками сложилась русская почва и русская правда, сложились извечные понятия о добре и зле. Петровский переворот разделил народ на две части, из которых одна, меньшая, чем далее, тем более теряла смысл русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этим движением. Когда первая часть, меньшинство, образованные классы обратили, наконец, свое внимание на большинство, на народ, обратились к нему даже с любовью и желанием добра, они уже не понимали его. Если они и любили народ, то не тот, который тут возле них реально существовал, а народ идеальный, созданный их воображением по западноевропейским образцам. А любить идеальный народ, любить «общечеловека» — значит презирать или ненавидеть народ, существующий в действительности. Этого мало. По мере удаления от народной правды, народных понятий о добре и зле, образованные citoyens du monde теряли всякое чутье в различении добра и зла, потому что вне народных преданий нет почвы для такого различения, на него не способны ни разум, ни наука. А между тем некото-

рых по крайней мере тянет к этому различению, и вот они мечутся, ищут и ничего не находят, а назад вернуться уже не могут. Они и погибнут. Может быть, они увлекут за собой временно и народ, может быть, уже и увлекают, но, в конце концов, скажут свое слово и спасут себя и нас.

Такова теория г. Достоевского — Шатова. Шатов говорит, что это «или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения». Увы! кажется, и сомнения не может быть в том, что это дребедень. Теория эта, да простит мне почтенный автор, и слишком стара, и слишком ребячески молода, чтобы из нее стоило вытаскивать ту крупицу истины, которая в ней заключается. Г. Достоевский справедливо говорит, что барство извращает понятия о добре и зле, но с Петра ли оно началось? Автор, по-видимому, и сам догадывается, что гораздо раньше и что с Петра оно только явилось в другой форме. Он говорит, что бесы и бесенята, миазмы и нечистота накопились в «нашем милом больном за века, за века!». Известно, что это один из камней преткновения славянофильского учения, и мы его трогать не будем. Мы воспользуемся только приведенной теорией для объяснения идеи «Бесов» и некоторых любопытных соображений г. Достоевского в «Дневнике писателя».

Бесноватый больной — это Россия, в которую вселились бесы, в точности не известно когда. Бесы — это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко,— это оторванные от народной почвы citoyens du monde, это «мы, мы и ты, и Петруша et les autres avec lui». Все они сохранили в себе одну черту русского народного характера — потребность дерзости, жажду отрицания и разрушения. Весь роман представляет ряд более или менее дерзких выходок и подвигов отрицания и разрушения, совершаемых разными типами citoyen'ов. Один пускает мышь в киоту образа, другой надругивается над самыми святыми чувствами, третий херит всю вековую русскую историю, четвертый бесцельно и бессмысленно оскорбляет людей, пятый объявляет себя богом, шестой проповедует всеобщий разврат и проч., и проч., и проч.

Все это совершается в силу особенной черты русского характера, заставившей и дерзостного мужика Власа покушаться на расстреляние причастия. Но из Власа бес забвения границ добра и зла немедленно выходит, Влас не теряет чувства греха и жажды искупления, страдания. Citoyen'ы не способны к этому. Отрицая, разрушая, дерзая не только в силу народной, бессознательной особенности, а и во имя чуждых, общечеловеческих идеалов, они не чувствуют греха, не гордятся им, а если и чувствуют, то не в силах понести искупающее страдание. Они вешаются, стреляются, окунаются в омут разврата и подлости, впадают в систематическое, хроническое преступление, словом, так или иначе, одолеваемые вселившимся в них бесом, бросаются со скалы в море и тонут. Возврата, спасения нет даже для Шатова, который с болезненною ясностью сознает ужас своего положения. Он предлагает Ставрогину нелепость, которую и сам готов назвать «кунстштюком»: «добыть Бога мужицким трудом».

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?

Но вот свиньи бесноватые побросались со скалы в море и потонули. Что же, больной исцелился? сидит у ног Иисусовых? Нет, не исцелился, не сидит. Иначе г. Достоевский не писал бы своего «Дневника». Может быть, потому не исцелился, что еще не все свиньи перетонули, а может быть, и потому, что народились новые, особенные, которых г. Достоевский просмотрел. Да, он многое просмотрел, он *все* просмотрел...

Г. Достоевский очень ясно видит, что больной не исцелился. Он говорит, что Власы «кутят» — пьянствуют, кривят душой, грабят, убивают. Но особенное внимание г. Достоевский обращает на забвение Власами народной правды в качестве присяжных заседателей. Подталкиваемые citoyen'ами, либеральничающими прокурорами и философствующими о влиянии среды адвокатами, присяжные, по замечанию г. Достоевского, слишком склонны к оправданию преступников. Г. Достоевский весьма желает отделить сентиментальность и философию среды от того воззрения народного, в силу которого народ зовет *наказанных*, преступников «несчастными». Кстати, я не знаю, почему г. Достоев-

ский везде пропускает подчеркнутое мною слово: сколько мне известно, народ не зовет несчастными воров, убийц, поджигателей; он зовет несчастными каторжников, заключенных в тюрьму, арестантов, вообще терпящих наказание. Это простое соображение помогло бы г. Достоевскому без всяких диалектических тонкостей отделить воззрения народа на «несчастных» от философии среды и сентиментальности. Но эта простота и ясность затруднили бы г. Достоевского в другом отношении. Ему нужно доказать, что русская народная правда состоит главным образом в стремлении к страданию. Обобщив несколько патологических случаев в этом направлении, г. Достоевский доходит почти до смешного в том жаре, в той ревности, с которыми он охраняет свой вывод. Он приводит, например, стихотворение Некрасова «Влас», критикует его с той и с другой стороны, но за всем тем признает, что Некрасовым верно понята страстная жажда страдания, обуявшая бывшего грешника Власа. Некоторые строки стихотворения приводят г. Достоевского даже в восторг, и он замечает: «Чудо, чудо как хорошо. Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто заместо вас кривлялся потом «на Волге» в великолепных тоже стихах про бурлацкие песни. А, впрочем, не кривлялись вы и на Волге, разве только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а так сказать, по обще-бурлаке». Чтобы видеть, чем удовлетворяется и против чего возмущается г. Достоевский, я напомню читателю те стихи Некрасова про бурлацкие песни, о которых идет речь:

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал,
Все ту же песню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь.
В чертах усталого лица
Все та ж покорность без конца...
Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут бессмысленней зверей
И мрут без всякого следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал,

Бродя по этим берегам,
И перед смертию не знал,
Что заповедать сыновьям.
И как ему — не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, бесплодно пропадешь...

Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что г. Достоевский возмущается именно подчеркнутыми мною строками. В них выражается протест против страданий бурлака и, может быть, протест против отсутствия протеста с его стороны. И заметьте, как зорко ревнив и подозрителен г. Достоевский. Добро бы поэт представил русского человека, не желающего страдать, терпеть, тянуть вековечную лямку, и окружил бы его каким-нибудь ореолом или представил бы его каким-нибудь всенародным русским типом. Ну, тогда так. Тогда г. Достоевский мог бы поднять оружие за терпение и страдание, как за истинные и великие атрибуты русского народа; это было бы законно с его точки зрения. Но ничего подобного нет. Поэт изобразил людей, страдающих молча, почти не сознающих своего страдания, а тем паче не протестующих. И г. Достоевский все-таки недоволен. Для объявления войны ему достаточно чисто отрицательного явления: человек только не поэтизирует страдания, покорности и терпения, и г. Достоевскому чудится уже здесь и презрение, и ненависть к русскому народу во имя общечеловеческих идеалов, презрение и ненависть к бурлаку во имя «обще-бурлака». И заметьте еще, как оригинально вяжутся мысли в голове г. Достоевского. Он готов не видеть разницы между добровольным искупительным страданием Власа и невольными страданиями неповинных бурлаков. Страдание есть — и конец: благоговейте и не пытайтесь хотя бы мысленно вычеркнуть его, в нем вся суть народного характера и все спасение народа.

Понятно, как должна возмущать г. Достоевского подмеченная им наклонность присяжных к оправдательным вердиктам; они отнимают у преступников искупительное страдание, спасительный крест. «Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не

отяготили. Самоочищение страданием легче, легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же, над судом вашим, над судом всей страны. Вы вливаете в его душу безверие в правду народную, в правду божию». Эти слова произвели некоторую сенсацию, так что, по собственному рассказу г. Достоевского, к нему приходил с репримандом один приятель, человек им уважаемый. Г. Достоевский ответил приятелю, что он вовсе не против суда присяжных и вовсе не желает административной опеки. Пусть сам народ свободно творит суд, пусть он именно творит его свободно, и тогда, если бы и произошла какая-нибудь большая общая беда, народ спасет и себя, и нас. Не знаю, остался ли доволен этим объяснением приятель г. Достоевского, но, по-моему, оно слишком туманно, и до него дело стояло даже как будто яснее: г. Достоевский желал спасти народную правду от опеки citoyen'ов прокуроров и адвокатов. Кажется, так. Но в развитии этой мысли г. Достоевский раздваивается. С одной стороны, он твердо стоит на своем: страдание есть атрибут русского народа, он любит, он хочет страдать, а следовательно, тем паче должен страдать преступник, во искупление своего греха, для своего собственного счастья. Это одна струя в аргументации г. Достоевского. Другая же состоит из положений, от которых не отказались бы многие citoyens du monde. Рядом с народной правдой г. Достоевский самым общечеловеческим языком и с самых общечеловеческих точек зрения доказывает, что учение о среде в своем крайнем развитии обезличивает и нравственно унижает человека. Он предполагает нелепою речь адвоката, защищающего «развитого» убийцу тем, что он убил «неразвитого», и находит, что она нелепа. Еще бы не нелепа, но при чем же тут народная правда? Он рассказывает (и мучительно превосходно рассказывает) историю мужика, который варварством своим довел жену до самоубийства и объявлен по суду виновным, но достойным снисхождения. Этот приговор возмущает г. Достоевского, но только отчасти, потому что варвар лишен возможности искупить свой грех соответственным страданием. Главным образом его заботит

судьба девочки, которая свидетельствовала против отца и которая, когда он через восемь месяцев вернется домой из острога, будет им истиранена и замучена, как и мать. А это совершенно уже общечеловеческое рассуждение. С точки зрения народной-то правды, девочке, может быть, даже и хорошо пострадать, вот как бурлаку волжскому.

Да, г. Достоевский, и вы — citoyen du monde, как и мы все, грешные. И тут, пожалуй, не об чем печалиться, потому что разные бывают citoyens, точно так же, как и народная правда бывает разная. Элементы народной правды растут, как грибы, стихийно, по направлению наименьшего сопротивления, и на одной и той же полянке можно найти и съедобный гриб, и поганку. Ведь варвар мужик в основании своем (я не говорю во всем своем существе) тоже имел правду народную — право мужа бить жену, «учить». Что касается специально уголовной правды народной, то я напомню вам «Народные русские легенды» Афанасьева[7], где вы можете найти подвиги искупления почище подвигов Власа и дерзостного мужика. Вы найдете там еще две замечательные легенды, помещенные почти рядом (№ 28, «Грех и покаяние» и № 30, «Крестный отец»). В одной идет речь о великом грешнике, который долго нес крест, но однажды не вытерпел и убил разбойника, хваставшего убийствами. Он думал, что он совсем пропал, совершив убийство, когда и старых грехов не успел замолить. А оказалось, что именно убийство разбойника и спасло его: «Мир за него умолил Бога». В другой легенде совершенно наоборот: человек из таких же побуждений, как и герой первой легенды, убивает разбойника, и Господь ему говорит: «Этот разбойник убил в свою жизнь девять человек, а ты его грехи теперь на себя снял: ступай и трудись, пока грехов своих не замолишь». Вот вы тут и рассуждайте. Спрашивается, что же делать citoyen'ам, людям, нюхнувшим правды «общечеловеческой», ввиду стихийности и разнородного состава правды народной. Делают они вот что, и не могут они не делать либо того, либо другого: или они выбирают из народной правды то, что соответствует их общечеловеческим идеалам, тщательно оберегают это подходящее и при помощи его стараются изгнать неподходящее; или же навязывают народу свои

общечеловеческие идеалы и стараются не видеть неподходящего. Г. Достоевский, к сожалению, избирает второй путь, путь очень легкий. Ему хорошо жить. Он знает, что, что бы с народом ни случилось, он, в конце концов, спасет себя и нас. Г. Достоевский очень часто повторяет эту фразу, и не подозревая, вероятно, до какой степени она citoyen'ская, в народной правде этой фразы нет, народ ждет спасения от Бога, от «царей с царицами», от «купцов московских», но ничего подобного не ждет от себя. Как бы то ни было, но с этою мыслью легко жить. Легко тоже жить с мыслью о том, что мой народ любит страдать. Но опять-таки эта мысль citoyen'ская. Народ рот разинет, если ее ему представить. Народ может с почтением смотреть на принимающих мученический венец, он может сочувственно относиться к добровольно несущим искупительный крест, он может, наконец, страдать, не замечая этого или не зная выхода, но только citoyen'у может прийти в голову, что народ хочет, любит страдать, и притом наклонному к эксцентрическим идеям и к обобщению патологических явлений. Однако при всей легкости этих двух citoyen'ских мыслей они имеют и некоторое неудобство: с ними легко жить, но трудно действовать. Каждый шаг citoyen'а, проникнутого этими мыслями, связан: с одной стороны, он знает, что народ, и только народ, скажет последнее слово, значит, ему, citoyen'у, и соваться нечего; с другой стороны, он знает, что он, чего доброго, может неосторожно лишить народ его святыни — страдания. Не значит ли это броситься со скалы в море? Сказать, что русский народ есть единственный народ-«богоносец» в обоих смыслах слова Бог, отрицать все созданное человечеством — значит, «дерзать» не меньше, чем дерзал Лямшин или Петр Верховенский, пуская мышь в киоту, и чем вообще дерзают герои «Бесов». Границы добра и зла забыты здесь не меньше, чем у Ставрогина, Шигалева, Верховенских. И, как и они, г. Достоевский—Шатов — грешник не раскаянный, гордящийся своим грехом и не помышляющий об искуплении.

Я вам скажу, г. Достоевский, как смотрят на вещи другие citoyen'ы, придерживающиеся первого способа воззрения на народ и народную правду. Мы — я говорю «мы», потому что вменяю себе в честь стоять в рядах

этих citoyen'ов,— мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но, принимая эту роль цветка из прошедшего как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем. «Логическим ли течением идей», как вы смеетесь над Герценом, или непосредственным чувством, долгим ли размышлением или внезапным просиянием, исходя из высших общечеловеческих идеалов или из прямого наблюдения,— мы пришли к мысли, что мы должники народа. Может быть, такого параграфа и нет в народной правде, даже наверное нет, но мы его ставим во главу угла нашей жизни и деятельности, хоть, может быть, не всегда вполне сознательно. Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем. Вы смеётесь над нелепым Шигалевым и несчастным Виргинским за их мысли о предпочтительности социальных реформ перед политическими. Это характерная для нас мысль, и знаете ли, что она значит? Для «общечеловека», для citoyen'a, для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена мыслей (политических сходок) и проч. И мы желаем этого, конечно. Но если все связанные с этою свободой права должны только протянуть для нас роль яркого и ароматного цветка,— мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их! А, г. Достоевский, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ее во что бы то ни стало, для нее самой и для себя самого. Вы, значит, знаете, что гнать от себя эти мечты, воздерживаться от прямых и, следовательно, более или менее легких шагов к ней — есть некоторый подвиг искупительного страдания. Конечно, г. Достоевский может тут пустить в ход иронию и посмеяться над пожертвованием, происходящим

исключительно в области мысли. Впрочем, я знаю, г. Достоевский над этим не посмеется...

Как бы то ни было, но, увлекшись разработкой эксцентрических идей и исключительных патологических явлений, г. Достоевский просмотрел общую и здоровую основу, если не всех их, то по крайней мере некоторых. Ухватившись за печальное, ошибочное и преступное исключение — Нечаевское дело, он просмотрел общий характер citoyen'ства, характер, достойный его кисти по своим глубоко трагическим моментам. Да, он достоин его кисти даже больше, чем рассказ о дерзостном мужике. Тот сам согрешил, активно. Citoyen'ы же подобны тем героям легенды, которые, *не зная*, совершили блуд с матерью, сестрой и кумой и за это несут тяжкую кару. Это несравненно глубже: трагичнее. Искупление невольного греха при помощи средств, добытых грехом,— вот задача citoyen'ов, я не говорю, конечно, всех.

Если г. Достоевский считает петровский переворот моментом грехопадения, то я готов с ним согласиться, что только с этого момента мы получили возможность познать свою наготу и устыдиться ее, как познали и устыдились наши прародители, Адам и Ева, вкусив древа познания добра и зла. До Петра мы не стыдились и не могли стыдиться, не могли сознавать свою срамоту, хотя из этого не следует, чтобы срамоты не было в действительности или чтобы срамота не была срамотой. Во всяком случае, в настоящее-то время мы, говоря словами, кажется, Винкельмана, не до такой степени нравственны и в то же время не до такой степени безнравственны, чтобы ходить нагишом. И это сделала петровская реформа. Как и всякая другая, наша цивилизация зачата в грехе. Пот многих позволяет немногим вести благородную жизнь, говорит Ренан и повторяет г. Страхов. Таково, несомненно, фактическое условие первых шагов всякой цивилизации. И пока известный народ остается замкнутым и не проветриваемым, это воспитание меньшинства на счет пота и страдания большинства входит в состав страдания народной правды; оно никого не возмущает, оно не сознается как грех. Так и шло у нас дело до Петра. Допустив приток общечеловеческих идеалов, Петр вычеркнул этот параграф из народной правды, дал возможность от-

нестись к нему сознательно, тогда как народная правда инстинктивна и бессознательно наивна. Славянофилы клевещут, что Петр внес неправду в русскую жизнь, тогда как он внес только возможность сознания и, следовательно, исправления искони существовавшей неправды. Тут произошло не забвение границ добра и зла, а их открытие. Петр не вычеркнул первородного греха цивилизации и даже не прекратил его развития, хотя и дал ему новые формы. Да он этого и не мог сделать. Наука, искусство, богатство, утонченные понятия, «благородная жизнь» не перестали высасывать силы из народа и после Петра. Петр даже, пожалуй, дал моментально этому порядку вещей сильнейшее напряжение. Но до него порядок этот не возбуждал обвинений и не нуждался в оправданиях, как не возбуждают обвинений и не нуждаются в оправданиях удары грома, рост дерева, падение лавины. После него нужно одно из двух: либо подыскать какие-нибудь разумные основания для продолжения греховной цивилизации, либо подумать об искуплении греха помощью средств, добытых грехом, каковы наука, искусство, техника. Они не могли быть добыты иначе, как потом и страданиями большинства, и, каково бы ни было величие их, ничто не в состоянии сгладить пятна их происхождения. Если мы, citoyens du monde civilise, пишем статьи в «Гражданине» и «Отечественных записках», то только потому, что досуг нескольких поколений наших предков был обеспечен трудами, может быть, голодными смертями тысяч и тысяч людей. На известной ступени развития человек не может не содрогаться при мысли о том количестве жизней, которое оплатило собою его личное развитие. Если он и не в состоянии представить себе с достаточною ясностью всю эту необъятную перспективу невольных жертв его невольной высоты, то его все-таки смутно тянет к уплате долга. Для нас этим стремлением даже измеряется высота развития человека. И заметьте, что несчастный citoyen, находящийся в таком положении, не может отказаться от дальнейшего движения цивилизации. Он не может сказать: довольно науки, не надо искусства, не надо богатства, развития, свободы; поделимся всем, что мы имеем и знаем, с народом, и конец делу. Это простое решение, предлагаемое, кажется, некоторыми из полоумных

citoyen'ов г. Достоевского, только полоумных и может удовлетворить. Наш долг народу неисчислим, и того, что мы в настоящую минуту имеем и знаем, не хватит и на уплату процентов, если бы даже предполагаемая полоумными citoyen'ами ликвидация и была возможна. Но она невозможна. Отдавая социальной реформе предпочтение перед политической, мы отказываемся только от усиления наших прав и развития нашей свободы как орудий гнета народа и дальнейшего греха. Отрицая науку для науки, мы требуем только, чтобы она помогла нам расплатиться, но самая эта расплата может совершиться только безостановочным движением науки вперед. Все эти особенности положения citoyen'ов г. Достоевский просмотрел.

Но вы просмотрели и кроме этого многое, г. Достоевский, просмотрели любопытнейшую и характернейшую черту нашего времени. Если бы вы не играли словом «Бог» и ближе познакомились с позоримым вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды. А раз вы убедитесь в этом, вы уже не повторите, что «девятнадцатым февралем[8] закончился петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность». Спросите у своего сотрудника, автора экономического фельетона, г. Евгеньева[9], и он вам, вероятно, подтвердит это. Только он, может быть, разрисует эту известность в слишком розовых красках. Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми citoyen'ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, citoyen'ы благоразумные, не беснующиеся, мирные и смирные, и рвут ее с алчностью хищной птицы, но с аллюрами благодетелей человечества. Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками,— и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их

заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились. Бес служения народу — пусть он будет действительно бес, изгнанный из больного тела России,— жаждет в той или другой форме искупления, в этом именно вся его суть. Обойдите его лучше совсем, если вам бросаются в глаза только патологические его формы. Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны, фанатиков мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства. Это ведь тоже citoyens du monde civilisé, но citoyen'ы, отрицающие свой долг народу или не додумавшиеся до него. (Таковы у вас только разве Степан Верховенский и Кармазинов.) Значит, они-то именно и составляют искомую вами противоположность Власам и дерзостным мужикам, практикующим искупительное страдание и только в нем находящим примирение со своею измученною совестью. Но если бы вы знали, г. Достоевский, как мучит иногда совесть бедных citoyen'ов, признающих свой долг, особенно ввиду того, что кредитор и не сознает себя кредитором. Если бы знали, как мучительно напрягается иной раз их мысль, взвешивая способы погашения долга. Я не говорю: всегда, но бывают у этих людей минуты страшного страдания, и они не прячутся от него. Лучше бы вам их не трогать, особенно в такую минуту, когда кругом кишат и дают тон времени citoyen'ы с совестью хрустальной чистоты и твердости.

февраль 1873 г.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК 1874 ГОДА

«Московские ведомости»[1] об опере г. Мусоргского «Борис Годунов».— «Наше общество в героях и героинях литературы» М. В. Авдеева.— Рудины и люди шестидесятых годов.— Что случилось? — Разночинец пришел.— Из биографии О. М. Решетникова.

⟨...⟩ Но в то время, как я писал о Щербине, я прочитал № 46 «Московских ведомостей», из которого усмотрел, что еще долго и долго азбука у нас будет делом не лишним. В этом № почтенной московской газеты напечатано второе «музыкальное письмо из Петербурга» г. Лароша. Дело идет об опере г. Мусоргского «Борис Годунов». Я не знаю этой оперы, о музыке вообще понятия имею весьма слабые, с новой русской музыкальной школой, к которой принадлежит г. Мусоргский, незнаком, можно сказать, вовсе. Но петербургская корреспонденция московской газеты высказывает некоторые положения об искусстве, в такой мере общие, что и профан в музыке может оценить их по достоинству. Автор «музыкального письма» находит в авторе «Бориса Годунова» некоторый талант, много смелости, очень мало музыкального образования и проч. Затем автор сравнивает новую оперу с некоторыми литературными явлениями и наконец говорит: «Будучи реалистом в том смысле, который это слово приобрело у нас в России в новейшее время, г. Мусоргский разделяет, по-видимому, симпатии реальной школы к бедному люду, к его горемычной жизни, к его нравам и языку. «Борис Годунов» реального композитора представляет, как мы видели, несколько народных сцен; они первоначально вдохновлены Пушкиным, но фантазия поэта-музыканта разрисовала их по-своему и с очевидною любовью. Но гораздо более это влечение к бедняку рисуется в заключительных строчках драматической поэмы, которые словно резюмируют ее внутреннее содержание, словно дают ключ к ее разгадке:

Лейтесь, лейтесь, слезы горькие,
Плачь, душа православная!
Скоро враг придет, и настанет тьма,
Темень темная, непроглядная,
Горе, горе Руси,
Плачь, русский люд,
Голодный люд!

(Это поет юродивый, остающийся один на сцене.) Не честолюбие Бориса, не приключения Лжедмитрия, не надменная красота Марины оковали фантазию художника; последнее слово его драмы, последнее впечатление, с которым он выпускает зрителей из залы,— вопль наболевшего сердца: «Плачь, русский люд, голодный люд!» Хотя только в намеке, но в веском и чувствительном намеке, нам показывают бедствия и страдания народа, пред громадностью которых мельчают и исчезают отдельные исторические фигуры с их судьбой и характерами. Вторжение гражданского плача, столь обыкновенного в русской литературе, в русскую музыку — явление небывалое; ни Даргомыжский, ни кто-либо из его адептов не думали об этом, и г. Мусоргский сделал положительно новый шаг на пути музыкального реализма. Но у него этот гражданский плач звучит не в первый раз, многие из его романсов, вышедших раньше «Бориса», особенно «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке» и «Сиротка», посвящены изображению «меньшого брата», его сиротской доли, его голода, его смирения и переносимых им унижений и жестокостей. И в романсах слова, наряду с музыкой, нередко принадлежат г. Мусоргскому: он не только находит скорбные мотивы в нашей собственной лирике, но и сам создает их себе, сочиняя тексты, полные гражданских слез[2].

Какое, однако, удивительное и прекрасное явление пропустил я, прикованный к литературе, но более или менее следящий за разными сторонами духовного развития нашего отечества! В самом деле, музыканты наши до сих пор так много получали от народа, он дал им столько чудных мотивов, что пора бы уж и расплатиться с ним хоть мало-мальски, в пределах музыки же, разумеется. Пора наконец вывести его в опере не только в стереотипной форме: «воины, девы, народ». Г. Мусоргский сделал этот шаг. Спешу поделиться

указанием г. Лароша с читателем. Я слышал о новой «реальной» русской музыкальной школе и почитывал критические статьи о ней. Но до сих пор дело вертелось преимущественно на сочностях, вкусностях, на гнусящих нотах, изображающих гнусный характер, на септимах и доминант-аккордах. Я убоялся премудрости и возвратился вспять, не подозревая, что один из представителей новой школы сделал такой действительно важный шаг. Честь и слава г. Мусоргскому, но честь и слава г. Ларошу, который первый, по крайней мере в печати, указал на это явление и некоторым образом поднес лавровый венок своему товарищу по профессии, поднес без зависти к успеху, без педантического ворчанья,— вот что особенно дорого.

Но знаете ли вы, мои благосклонные читатели, что выписанные мною из «музыкального письма из Петербурга» строки вовсе не суть некоторым образом лавровый венок, подносимый товарищу по профессии без зависти и педантизма? Можете ли вы догадаться, что это один из пунктов обвинительного акта?! Надо видеть, чтобы верить. Прочтите всю корреспонденцию «Московских ведомостей», и вы поверите. Впрочем, для ясности дела я приведу те смягчающие обстоятельства, на которые снисходительно указывает автор. «Нельзя сказать,— говорит он,— чтобы вокальная музыка была неспособна принимать в себя социальные идеи, стремления и симпатии; скорее, можно ратовать против тенденциозности всего искусства вообще, но, терпя уже много лет социальные мотивы в лирическом стихотворении и в драме, мы не должны особенно вооружаться против появления их в романсе и в опере, как бы оно ни показалось резко, грубо и оскорбительно». Что же это, наконец, такое? В Бедламе мы, что ли, живем? И еще г. корреспондент «Московских ведомостей» называет г. Мусоргского «наивным обитателем какой-нибудь Новой Каледонии, предпринявшим обновить дряхлую Европу и предписать ей новые законы, островитянином, поражающим нас своим фантастическим видом, перьями и татуировкой»! Но, государь мой, вы-то кто, как не татуированный дикарь? Или вам не известно, что если вы перестанете «терпеть социальные мотивы» в поэзии (не знаю, почему вы упоминаете только лирику и драму), то вам придется выкинуть за борт

без малого всего Шиллера, всего Барбье, половину Беранже и Виктора Гюго, почти всего Жорж-Занда, и проч., и проч., и проч. И какой ведь это в самом деле ничтожный нравственный и умственный капитал, стоит с ним церемониться! Эта дряхлая Европа и не подозревает, что социальные мотивы совсем не подлежат ведению искусства. Но любопытно бы было знать, что это собственно значит: «социальные мотивы». Очень жаль, что корреспондент «Московских ведомостей» не сообщил, что именно должен был говорить юродивый; он это наверное знает, ему и книги в руки. Я могу только догадываться. Скажи он: так наказывается честолюбие! — ничего; о как презренно самозванство! — тоже ничего; велика, о Марина, твоя красота, но она надменна и притом она польская! — опять-таки ничего, даже очень прекрасно. Но закончить драму из Смутного времени воспоминанием о том, что народу приходилось плохо и от природы, и от людей, и от своих, и от чужих,— какой нехудожественный, какой «грубый, резкий и оскорбительный прием». Только потому и рукой махнуть можно, что вообще художник, особенно поэт-беллетрист, ныне избаловался, мало его подтягивали, много воли давали.

Успокойтесь, строгий жрец чистого искусства, подтянуты, я это доподлинно знаю...

Как мы, однако, ныне не любим тенденций. Пой, пиши, играй, рисуй, лепи, делай решительно все, что хочешь, запрету нет, но не с тенденцией же! И так мы к этому режиму привыкли, что скоро и есть научимся без тенденции удовлетворять свой аппетит. Да, впрочем, уже научились. Разве не слышим мы на каждом шагу: вот человек, который сыт, дадим ему обед, ибо он будет есть без тенденции удовлетворить свой голод; а вот этому не дадим, ибо он будет есть тенденциозно. Да здравствует же чистая гастрономия, художественная, свободная от «грубой, резкой, оскорбительной» тенденции утолить голод! Difficile est satiram non scribere *. Благотворить без тенденций мы тоже научились. Вы, конечно, знаете, что в Индии голод не хуже нашего. Но вы, может быть, не знаете, что в № 9 «Недели» напечатано:

* Трудно не писать сатиры (*латин.*).

«В редакции «Недели» получено из Вологды от врача Коробова 100 рублей в пользу голодающих индийцев. Деньги переданы в английское посольство».

Столь хлебородная, столь знаменитая своими урожаями Вологда шлет братскую помощь голодающей Индии. И благотворительно, и ни малейшей тенденции...

Вернемся, однако, к Щербине. Он оборвался, как сказано, вдруг. В конце пятидесятых и в шестидесятых годах он утратил и изящество формы, и сколько-нибудь определенный смысл, мало-мальски ясную программу жизни и деятельности. Порезче других пробивалась славянофильская струнка, но и то слабо. Затем он злобно, иногда остроумно, иногда бездарно, набрасывался на всех мимоходящих, а иногда укусит и вслед за тем извинится, как это было у него с Аполлоном Григорьевым, с Аксаковым, Погодиным и проч. Но больше всего возненавидел он из личностей почему-то покойного Панаева, а из явлений нашей жизни так называемый нигилизм. Чтобы читатель видел, до какой степени плоскости и формы, и содержания доходил этот когда-то даровитый поэт, я приведу два-три отрывка.

Нигилисты вы тупые!..
Чем же быть вам, господа!
С просвещением России
Ваша скроется звезда.
При познаньях наших узких,
При отсутствии ума,
Развилась в болотах русских,
Отрицания чума...
Как заглянем в жизнь ли, в книги ль,
Все нам скажет, господа,
Что ex nihilo лишь nihil
В результате завсегда.

(Нигилистам, 394)

Репетилов за свободу
В стены крепости попал,
Хлестаков Иван народу
Кажет жизни идеал...
Где ж Манилов социальный,
Столь опасный для властей?
Иль уж сослан в город дальний
Он за Обь и Енисей?

(Театральное известие, 396)

Наделить крестьян землею
Мы Бабефов разослали.
А Барбесов всей душою
В мировые судьи взяли.
Теруан де-Мерикуры
Школы женские открыли,
Чтоб оттуда наши дуры
В нигилистки выходили.
*(Французская революция
на русский лад, 399)*

Кажется, комментариев тут не требуется. Но вот что любопытно. Пока «Бабефы, Барбесы и Теруан-де-Меркуры» [3] были еще малыми ребятами, Щербина ждал от них многого, можно сказать всего, и благословлял их на путь «счастья и добра» (см. «Мысль и дело», «Женщине»). Почему же он от них отвернулся, когда они выросли? В нем ли самом что оборвалось или надежды его не оправдались и действительно уж очень безобразно было на Руси в шестидесятых годах? Автор предисловия к сочинениям Щербины, упомянув, что увлечения были вполне естественны в молодом обществе, которое только что вышло на путь и проч., полагает, что корень раздражения поэта лежал в нем самом, в его неудовлетворенном, болезненно развитом самолюбии, в плохом материальном положении, наконец, в тяжелой, неизлечимой болезни. Плохое материальное положение и тяжелая болезнь не мешали, однако, многим смотреть иначе на «слабые лучи света и свободы, оживившие русскую мысль и русскую печать в конце пятидесятых и в шестидесятых годах». Впрочем, в совокупности три приведенные причины действительно отчасти объясняют нравственную физиономию Щербины в последние десять лет его жизни. И что касается лично Щербины, то на этом можно покончить. Но ведь Щербина не единственный художник сороковых годов, который рос, рос, а как показались им самим прежде призывавшиеся «слабые лучи света и свободы», так и окрысился в большей или меньшей степени и вместе с тем в большей или меньшей степени утратил свой талант. Да и вне литературы можно наблюдать аналогичные явления. Каждый видал, вероятно, так называемых людей сороковых годов, которые в свое время даже пострадали за свое пристрастие к лучам света и свободы и которые в шестидесятых годах вдруг

окрысились, не будучи в состоянии победить в себе неприязненного чувства к людям, в конечном результате им, по-видимому, вовсе не столь резко противным. И, как говорил Суворов: один раз удача, другой раз счастье, надо же, наконец, немножко и уменья; так и здесь надлежит подумать: один заболел расстройством печени, другой состарился, третий из-за границы недоглядел, четвертый просто ошибся, но ведь должна же быть какая-нибудь общая причина этой распри «отцов и детей», можно же подвести к одному знаменателю эти разрозненные факты. Объяснения имеются в литературе, даже в большом количестве. Но если и признать эти объяснения резонными, то они все-таки представляют резоны неполные. Говорят, например, что «дети» вдруг стали непочтительны, грубы, резки, предались отрицанию всего, составляющего цвет и красу цивилизованной жизни и проч. Может быть, оно и верно, но отчего же вдруг все это случилось? Должен же быть какой-нибудь коренной факт, который составляет ядро всех этих явлений, всей этой внезапно вспыхнувшей в разных местах свалки детей с отцами — не с крепостниками какими или завзятыми самодурами, озлобление которых и не требует никаких объяснений; нет, любопытно знать коренную причину озлобления людей, дотоле стремившихся к «лучам света и свободы». Подобного коренного факта, коренной причины я всегда склонен искать в социальных отношениях. Пользуюсь и настоящим случаем, чтобы рекомендовать читателю эту точку зрения, она наверное окажет ему много услуг и во многих весьма запутанных обстоятельствах выведет его на светлую дорогу. На этот раз мне поможет г. Авдеев, наш известный романист, один из писателей сороковых годов, не окрысившихся при виде бледных лучей света и свободы.

Г. Авдеев издал недавно книгу «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы». Отдельные очерки, вошедшие в состав этой книги, печатались, если не ошибаюсь, в «Биржевых ведомостях» и в «Неделе»[4]; где я их, впрочем, не читал. Тем с большим удовольствием познакомился я с ними в совокупности. Не скрою от почтенного автора, что в его книге весьма немало азбуки, но ввиду хоть бы вышеупомянутого музыкального письма это дело, очевидно, не лишнее.

Очевидно, немало еще народа, которому нужно говорить: «Открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек». Америка открыта очень давно, но ныне в таком количестве являются люди, стремящиеся закрыть ее, что напоминание о ней если не может сравниться с открытием, то все-таки имеет значительную цену. Но у г. Авдеева не все только напоминания о давно открытой Америке и искреннее желание предотвратить ее закрытие. Нет, в небольшой его книжке есть несколько мыслей, очень ценных, и соображений, весьма любопытных. Книжка разделяется на две части: «Герои» и «Героини». Сначала о «героях», под которыми автор разумеет литературные типы, «представляющие высшие точки стояния общественного уровня». Он не задается собственно литературно-критическими целями, и художественная правда известного образа еще не дает этому образу права попасть в портретную галерею г. Авдеева. Точно так же не принимаются им в соображение и общечеловеческие стороны героя, если степень и форма, в которой они проявляются, не составляют характеристики своего времени. Общий вывод, к которому г. Авдеев пришел, следя последовательно за Чацким, Онегиным, Печориным, лишними людьми и русскими Гамлетами, Рудиным, Инсаровым, Базаровым и людьми шестидесятых годов, таков: в течение пятидесятилетия 1820—1870 высшие представители русского общества постоянно и болезненно стремятся к гражданской деятельности, но постоянно осаживаются жизнью и остаются неудовлетворенными. В обществе идут постоянные смены надежд и разочарований. За протестом и надеждами Чацкого идет апатия и хандра Онегина; в Печорине жажда деятельности прорывается вновь, но благодаря обстоятельствам прорывается уродливо и бесплодно, и затем наступает безотрадная пора лишних людей; раздается пропаганда Рудина, не указывая, однако, прямого живого дела; в создании болгара Инсарова, в сочувствии к нему и героини «Накануне», и общества сказывается дальнейшая жажда гражданской, политической деятельности, поднимается Базаров, умирающий, ничего не сделав, и этою смертью как бы указывающий на невозможность деятельности; в Рязанове («Трудное время» г. Слепцова) мы видим изломанного, разбитого, павшего духом

последнего яркого человека действия. Дальнейшее течение истории в литературе еще не отразилось.

Я, конечно, не стану следить за всеми отдельными положениями г. Авдеева, представляющими далеко не везде одинаковый интерес и далеко не всегда новыми и оригинальными. Я остановлюсь только на двух пунктах: на Рудине и на людях шестидесятых годов. Но зато эти пункты действительно достойны внимания.

У нас привыкли третировать Рудина свысока. Он для нас фразер, болтун, тряпка, сплетник, неисправный плательщик долгов. Г. Авдеев совершенно справедливо утверждает, что это отношение к Рудину вовсе неправильно. Действительно, оно по малой мере одностороннее. Здесь много виноват г. Тургенев, без вины виноват, конечно. Он любит кружевную работу; возьмет известный фон и наплетет на нем множество тонких и совершенно случайных узоров, много способствующих особности, индивидуальности фигуры, но вместе с тем затемняющих ее основной характер, загромождающих его. Оттого-то из-за тургеневских образов и идет, то есть шла всегда перепалка между его толкователями, и притом такая странная, что один толкователь признавал белым то, что другой называл черным. Г. Некрасов тоже эксплуатировал тип Рудина в поэме «Саша». Но, как поэт, более, что называется, субъективный и менее склонный к узорной разработке случайных деталей, он поставил тип яснее. Он даже приговор ему подписал. Не пощадив общего характера Агарина (а не случайных частностей вроде неплатежа долгов), поэт, однако, говорит:

> А остальное все сделает время.
> Сеет он все-таки доброе семя!
> . . . .
> . . . . Нетронутых сил
> В Саше так много сосед пробудил...

Именно эту точку зрения по отношению к Рудину избрал и г. Авдеев, не упомянув, впрочем, о Агарине. Добролюбов говорил о г. Тургеневе по поводу Инсарова: «Из всей Илиады и Одиссеи он присваивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсо. Величие и красота идей Инсарова не выставляются перед нами с такой силой, чтобы мы сами прониклись

ими и в гордом одушевлении воскликнули: «Идем за тобой!» Припоминая эти слова, г. Авдеев говорит, что они приложены к Рудину. Это замечание верно, но Рудин обставлен еще более неблагоприятно, чем Инсаров: тот на острове Калипсо вел себя молодцом, а Рудин сплоховал; тот не как общественный деятель, а как частный человек и не как тип, а как индивидуальная фигура безупречен, а за Рудиным водятся грешки. Рудина как «политической натуры», как выразился о нем Лежнев, мы нигде своими глазами не видим, во-первых, потому, что ей и разгуляться негде, а во-вторых, потому, что он делает свое дело, то есть ведет свои разговоры где-то за кулисами. А между тем, все его личные слабости, принадлежащие вовсе не типу, а личности, Дмитрию Николаевичу (так, помнится, зовут Рудина), выдвинуты вперед и поневоле привлекают к себе особенное внимание зрителей. Бывает и в жизни, что какая-нибудь, совершенно случайная, вовсе не существенная черта в человеке становится ему поперек дороги. В литературе это случается еще чаще и ведет к гораздо худшим последствиям. Случайная деталь, ассоциируясь благодаря таланту автора с представлением об известном типе, становится поперек дороги уже не отдельной личности, а целой группе людей. Мало ли таких случайных деталей в Базарове, и сколько они беды наделали! Одно то уже, что бездарные и от всякого другого постоя свободные копировщики хватались за подобные детали и на них строили якобы целые характеры,— одно это сколько напакостило. Я не то говорю, что литература обязана давать идеально прекрасные образы без пятна и порока, без всяких личных слабостей. Нет, Бог с ними, с этими ходульными героями. Видали мы их. Но случайная деталь не должна давить сущности, в этом именно и состоит задача поэта. Иначе одни, хватаясь за эту деталь, стремятся, и весьма часто с успехом, опошлить и обгадить весь тип, а другие напирают на эту деталь в противоположном смысле, что ведет, однако, к тем же в конце концов результатам. Так именно сложилась у нас и репутация Рудиных. Однако изо всех обвинений, которыми осыпан Рудин, важно, собственно говоря, только одно:

Но в разговорах он время проводит.[5]

Но разве рудинские разговоры, зажигающие сердца и будящие мысль, не дело? Я больше спрошу: много ли найдется больших, выдающихся русских людей, которым выпало на долю что-нибудь, кроме разговоров? Русский человек, вообще говоря, в среднем выводе, гораздо шире европейца. Не приспособившись окончательно к той или другой частной колее, он способен к очень широкому размаху. Но зато и требования он ставит своим лучшим людям безумно широкие. Что делал всю жизнь какой-нибудь Прудон? — «Разговаривал», бил набат, будил совесть, будил мысль — больше ничего. Его практическая попытка — народный банк — вещь жалкая в сравнении с шириной теоретического размаха, в сравнении с великим значением его набата, его «разговоров». Но Европа его все-таки никогда не забудет. А мы оплевали своего Рудина за то, что он непрактичен и только разговаривает! Конечно, Прудон был пуританин в частной жизни, а Рудин бесхарактерен и грешен, но ведь до этого нам, собственно, и дела нет, да и кто первый посмеет бросить в него камнем? Конечно, Прудон и в других отношениях не Рудину чета, но ведь по Сеньке и шапка. Что Рудин был не бездушный фразер, этого и доказывать нечего, это доказала его смерть. Несмотря на несколько эпилогов, которыми г. Тургенев окончил «Рудина», конца этой повести все-таки нет. Г. Некрасов по крайней мере своими словами доказал этот конец в виде утверждения: «Сеет он все-таки доброе семя, а остальное все сделает время». Это-то «остальное» и составляет всю суть, которую г. Тургенев мог бы проследить и в жизни Натальи, и в жизни других людей, в разное время разбуженных Рудиным. Тогда бы стало совершенно ясно, что слово этого человека, слабого, но искреннего, грешного, но способного вдохновляться великими идеями и вдохновлять ими других,— было весьма осязательным делом. Г. Авдеев совершенно справедливо говорит, что Рудин есть первый общественный деятель между героями литературы. Но отчего же мы на него так набросились, не стараясь даже найти для него тех смягчающих обстоятельств, какие готовы были допустить относительно совершенных уже бездельников вроде Онегина и Печорина? Замечательно, что такой, в сущности, негодный человек, как Печорин, вызвал тьму подража-

телей и в литературе, и в жизни. Кто не видал или не слыхал о людях, корчивших Печорина. Рудина никогда никто не корчил, несмотря на весь его ум и на поэтический ореол, обвивший его несчастную голову на дрезденских баррикадах. Пустейший, мельчайший и дряннейший человечек, может быть, претерпит сравнение не то, что с Печориным, а хоть с Малютой Скуратовым, но сочтет себя до последней степени обиженным, если вы сравните его с Рудиным. До такой степени удалось г. Тургеневу загромоздить его случайными деталями непривлекательного свойства. Впрочем, такому на первый взгляд просто непостижимому презрению к человеку столь крупного умственного роста есть и помимо кружевной работы г. Тургенева две причины. Одна из них находится в тесной связи с этой кружевной работой, другая от нее совершенно не зависит. Дело в том, что под давлением обстоятельств мы в шестидесятых годах сосредоточили все свои стремления на задаче, уже давно формулированной мною словами: как мне жить свято? Преследуя эту задачу личной нравственности всеми силами своей души и даже подчас в ущерб задачам общественной деятельности, мы были особенно расположены смотреть сквозь пальцы на деятельный, общественный характер слова Рудина и вместе с тем возыметь глубочайшее презрение к личным слабостям, которыми наградил его г. Тургенев. Это одна причина. Другая указана г. Авдеевым. Презрение к Рудину сложилось в такое время, когда русское общество было полно надежд, мня себя быть накануне широкой гражданской деятельности. Казалось, настала пора дела, состоящего не в словесной пропаганде только. И в Рудине мы казнили не прошлое, а тех людей, которых и в настоящем, и в будущем заподозривали в желании остановиться на «словесности». «Но теперь,— замечает г. Авдеев,— когда с той эпохи прошло 10—12 лет, когда самое молодое поколение того времени успело уже сделаться зрелым и уступить свое место более молодым, а общественных деятелей и деятельности вне службы все пока не явилось, пора трезво взглянуть на дело и не винить людей со связанными ногами, зачем они не бегают; иначе нынешнее молодое поколение может и еще с большим правом обратиться к людям

шестидесятых годов с теми упреками, с которыми те обращались к людям сороковых годов».

Впрочем, по отношению к людям шестидесятых годов подобные упреки едва ли уместны. Защита Рудина совершенно законна и своевременна, но из этого не следует, что надо ломать стулья и выгораживать его в ущерб людям шестидесятых годов. Пропаганда словом шла своим чередом и в их время, но нельзя же не признать, что они нечто делали и другое, нечто пытались делать и помимо «словесности». Нельзя не назвать делом их попытки упорядочить свою личную жизнь, подчинить ее ясно сознанным нравственным принципам. Нельзя не назвать делом и другие их попытки, как бы кто о них ни судил... Г. Авдеев, к сожалению, при полном желании отдать должное людям шестидесятых годов, далеко не достигает такой справедливости. В его отношении к этим людям звучит, конечно, в смягченном виде, та же распря отцов и детей, та же враждебная нота, которая поглотила так много людей его времени, людей сороковых годов. Тем интереснее становится уловить корень этой вражды. Что же такое наконец случилось? С чего все эти Рудины (Рудин — типичнейшая из фигур сороковых годов) более или менее жестко третируют людей шестидесятых годов, идущих ведь отчасти по их стопам, по крайней мере в генеалогическом смысле, людей, может быть, даже именно ими, Рудиными, вдохновенных?

Что случилось? — Разночинец пришел. Больше ничего не случилось. Однако это событие, как бы кто о нем ни судил, как бы кто ему сочувствовал или не сочувствовал, есть событие высокой важности, составившее эпоху в русской литературе. Да, и первостепенную важность этого события должны признать решительно все стороны. Пусть одни утверждают, что отсюда идет падение русской литературы, пусть другие говорят, что с этих именно пор она стала достойна своего имени,— одно верно: явилось нечто, значительно изменившее характер литературы и имеющее будущность, пределы которой трудно даже предвидеть. Этого, по мнению одних, пятна на литературе — смыть никто не в силах; этого, по мнению других, светлого луча — погасить нельзя.

Событие, которое я резюмирую словами: разночинец

пришел, г. Авдеев описывает и характеризует следующим образом: «Молодые силы, всегда честные в своих стремлениях, пора освободительных преобразований, всегда возвышающая народный дух, не могли не отозваться выгодно на нравственном состоянии общества; с другой стороны, прилив людей, выросших в неблагоприятной обстановке и почувствовавших потребность в знании и более здравых понятиях о жизни, не мог не понизить уровня обращенной преимущественно к нему литературы, которая должна была приноравляться к его средствам и вкусам, заговорить таким языком, популяризировать такие понятия, которые давно уже были пережиты образованнейшим меньшинством. Экономическое положение прилившего поколения и встреча его с тем, которое было до сих пор руководительным, не могло остаться без последствий и выразилось в сектаторской нетерпимости и подозрительности. Все, что имело тень сочувствия к старому, что пришло смягчить резкость и крайность, что единой буквой не подходило под требования нового кодекса, считалось враждебным, бесчестным или, по меньшей мере, отжившим». И далее: «Вообще, характер этой литературы, честный и наивный, напоминает первое движение двадцатых годов, когда появились люди, думавшие добродетелью и правдой исправить нравы и истребить зло и образовавшие с этою целью союз благоденствия. Люди двадцатых годов, побывав во время войны за границей, увлеклись порядками, там введенными. Вновь выступившие из низшей среды люди 60-х годов, познакомясь с некоторыми недоступными дотоле для них заграничными сочинениями, увлеклись их новизною. Разница состояла в том, что первые знали более жизнь, были просвещеннее и зажиточнее и не нуждались в тех элементарных воспитательных сведениях, которые оказались необходимыми для последних». Говорится у г. Авдеева и в некоторых других местах о полуневежестве, о совершенном невежестве; даже знаменитая сигара Рахметова поминается.

Голый факт: разночинец пришел — указан здесь г. Авдеевым верно, но его размышления по этому поводу далеко не основательны. Значение события разработано по малой мере весьма односторонне. Фактическая сторона дела указана, может быть, еще яснее,

чем в вышеприведенных словах, в статье о Базарове. «Вина их (нигилистов),— говорит автор,— если это можно назвать виною, заключалась в их экономическом положении: не имеющий не только прочного экономического положения, но и гражданского, человек, оторвавшийся от старых корней и не видящий возможности привиться к чему-либо, витающий, так сказать, в воздухе, и в очень душном и сыром воздухе, встретился с человеком, не только стоящим на земле, но и владеющим большою ее частью». Но мне кажется, что стоит только вдуматься в указываемую г. Авдеевым фактическую сторону дела, чтобы прийти к заключениям, весьма отличным от тех, к которым пришел он.

Без сомнения, можно владеть землей и вместе с тем владеть высокими убеждениями, а тем более обширными знаниями. Возможность такого сочетания богатства, высоких убеждений и обширных знаний представится даже нам с особенною ясностью, если мы будем смотреть на вещи с высоты вороньего или галочьего полета; говорю: галочьего или вороньего, а не вообще птичьего, потому что птицы бывают разные, и с высоты полета сокола или орла перспектива будет уже, может быть, совсем не та. Действительно, что может быть естественнее предположения, что граждански, экономически благоприятно обставленный человек разовьет в себе и в своих детях смелые помыслы, высокие чувства, глубокие знания. Ведь ему так легко всего этого добиться, тогда как разночинцу, с другой стороны, приходится на пути к свету проходить сквозь строй унижений, всяческой грязи, тяжелых нравственных, а то так и просто физических тычков и пинков: ведь Шевченко страшные виды видывал! ведь Помяловского, по его собственному счету, в бурсе четыреста раз выпороли! В самом непродолжительном времени должны выйти сочинения покойного Решетникова (издание г. Солдатенкова) с предисловием, в которое вошли многочисленные выдержки из дневника и других бумаг покойного. Благодаря любезности автора предисловия, Г. И. Успенского, я имел возможность познакомиться с этими выдержками и приведу из них кое-что здесь, не дожидаясь выхода в свет сочинений Решетникова. Надеюсь, что более выгодного для положений г. Авдеева примера подыскать невозможно.

Отец Федора Михайловича Решетникова был сначала дьячком в Екатеринбурге, а потом почтальоном. Поведения он был в такой мере нетрезвого и для домашних неудобного, что жена с 9-месячным сыном (это и был Федор Михайлович) должна была уйти от него в Пермь к его брату, значит, дяде нашего писателя, служившему также по почтовой части. Мать Решетникова очень скоро умерла, и мальчик остался на попечении у дяди и тетки. Отца же своего увидал он в первый раз уже десяти лет от роду. Обстановка была, разумеется, крайне непривлекательная. «Не можете ли вы одолжить мне три копейки на пиво, ежели у вас есть?» — пишет к Решетникову один его приятель. «Живем между нищими и средними»,— пишет его дядя. «Не знаю,— пишет отец Решетникова,— за что преследует почтмейстер с самого моего прибытия... Я месяца с три всяко вытягался для почтмейстера, а он меня так уважил... что лучше нельзя... А живу как денщик... Покорно прошу, любезный братец, чтобы письмо это не узнал кто дальше, не услыхал бы почтмейстер наш, а то он меня съест». Или в другом письме: «Почтмейстер просит, чтобы меня перевели к нему; но сохрани меня небесная сила от такого ига; он там вдосталь из меня оставшийся сок вытянет». Один философствующий представитель этого круга пишет: «И верно, уже такой рок, что все предвидится только сражаться с терпением и хорошо бы было и то, ежели бы тому предвиделся хотя конец, но ожидать того, по моему мнению, не предвидится никакой надежды». В семействе дяди Решетников получил благозвучные клички: «пес», «ножевое вострее», «балбес», «безрогая скотина», «вор», «поганая рожа». Само собою разумеется, что этому соответствовали всевозможные волосянки, дранье, затрещины, битье чем попало и по чему попало. Обозлился мальчик страшно. Выделывал он вот что: то засунет в квашню дохлую кошку, то вымажет грязью чистое белье, то вытащит из кипящего самовара кран и забросит его через забор. «Меня отдерут,— говорит он,— я сяду куда-нибудь в угол и думаю, что бы мне еще такое сделать, да так, чтобы никто не узнал». Десяти лет его отдали в бурсу, значит, к домашней расправе прибавилась училищная, знакомая нам по рассказам Помяловского.

Не выдержал мальчик и бежал, но был, разумеется, пойман и столько разного рода побоев претерпел, что вылежал в лазарете два месяца. Но только что поправился, опять бежал и на этот раз странствовал довольно долго. Шатался он между мужиками и мастеровыми. «Много,— говорит он,— увидел и я здесь хорошего. Мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них». Но и другие виды видал он. Ему пришлось столкнуться с нищими, которые таскали его с собой насильно, поили водкой, заставляли плясать. Наконец, он опять пошел домой и вновь вытерпел град истязаний. С этих пор в нем произошла значительная перемена. Устал ли он просто злиться или виденное и слышанное им во все время второго побега отвлекло его внимание, но злость его прошла и заменилась чувством раскаяния, чувством вины перед своими воспитателями. В это-то время он и своего отца в первый раз увидал. Холодна была встреча. Решетников ждал ее с радостью, с верою в возможность выложить перед отцом все свое горе. Но вышло не так. Раз вечером дядя привез с собой обрюзглого, болезненно кашлявшего почтальона. Почтальон этот жаловался, что его обижают, бьют, каждый день бьют, бьют варварски. Это был отец Решетникова. Сыну он только сказал: «Большой вырос. Что же ты не целуешь отца?» На другой день он упрашивал жену своего брата: «Дери ты его... что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним?.. Не надо... мне и одному горько жить». Уезжая, он сказал сыну только: «Ну, прощай, слушайся»... «Мне было тяжело,— говорит Решетников,— что отец уехал, а я не высказал ему своего горя»... Пошло все опять своим чередом: бурса, порка, колотушки. Решетников переносил уже все это без прежней злобы. И такому его смирению много способствовало следующее печальное происшествие. Между прочими услугами своим учителям он таскал для них тайком с почты газеты, а по прочтении последних господами учителями бросал через соседний забор в снег. Случалось ему со страху уничтожить таким образом и разные другие пакеты, в числе которых оказался один важный манифест. Вдруг открылась пропажа газет и журналов из почтовой конторы. Винов-

ника разыскали, и тринадцатилетний Решетников оказался уголовным преступником. Дело тянулось два года; мальчик-преступник много пережил за это время. Он весь проникся мыслью своей глубокой виновности перед благодетелями и воспитателями. Толчки и ругательства уже не встречали с его стороны отпора; он отвечал на них слезами раскаяния, «благодарности», он даже удивлялся, что дядя и тетка не боятся держать его у себя. Дело Решетникова окончилось ссылкою в Соликамск на эпитемию в тамошний монастырь. Здесь Решетников сблизился с монахами, кутил с ними (в большом употреблении было пиво, настоянное на листовом табаке) и вместе с тем предавался «богомыслиям и умозрениям». На развитие Решетникова трехмесячное пребывание в монастыре имело крайне дурное влияние. Тяжело выписывать те места его дневника, где он, по возвращении уже в Пермь, судит и рядит об окружающем его мире: столько здесь пошлости, напускного, унижения паче гордости, воззрений с высоты монастырской морали. Но Решетникову было всего шестнадцать лет, значит, дело было поправимое. В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург; он остался в Перми один и мог дышать несколько более свежим воздухом. Он между прочим ездил рыбачить на Каму, где проводил иногда целые ночи в кругу простого народа. «Часто в это время,— говорит он,— случалось, что я, сидя в лодке, глядел куда-нибудь в даль; глаза останавливались, в голове чувствовалась тяжесть и вертелись слова: как же это? отчего это? И в ответ ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду. Начнешь удить и думаешь: ах, если бы я был богат, я бы накупил книг много, много... Я бы все выучил»... Со всеми этими мечтами ему пришлось расстаться, как только он окончил курс в уездном училище. Он немедленно должен был погрузиться в новую мертвящую среду, в среду уездного чиновничества.

Но я не буду следить за дальнейшими мытарствами Федора Михайловича. Для моей цели достаточно и приведенного. Притом же я не хочу отнимать интерес у биографии Решетникова, которая непременно должна быть прочитана целиком всяким, мало-мальски интересующимся русской литературой. Те же, кто бранил Решетни-

кова за горечь его произведений, должны обратить особое внимание на следующие его собственные слова, заимствованные из его дневника: «Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий (желающий судить об этих описаниях) поймет меня и мою жизнь». Впрочем, ниже я еще буду ссылаться на бумаги Решетникова и здесь приведу выдержки из писем к нему дяди, представляющие напутствие на литературное поприще: «Я не ладил и даже не желал сделать из тебя поэта или какого-либо дурака, а всегда старался сделать из тебя умного образованного человека». «А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о грязном или черном озере, где ты описал много поступков губернских начальников, за что тебя этакого поэта даже вызывали через припечатание в газетах.〈 ...〉 Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой. Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими неприятностями сокращаешь дни моей жизни. Неужели я с тою целью учил тебя, воспитал и определил на службу. Чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: окопировать тебя и не желать себе более поэтов из племянников». «Пожалуйста, поэзию свою оставь, она не совсем у места; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так, чтобы остатков от него не было»...

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной...

Это мне Щербина вспомнился, который умел «совершенно основательно и с разбором каждое слово одумавши вставить, так, чтобы от него остатков не было»...

Ясно, что история развития разночинца есть печальнейшая из историй; существует очень большая вероятность, что ему не развить в себе высоких чувств, глубоких знаний, смелых помыслов. Ему ли, забитому, каждую минуту чувствующему над собою чей-нибудь гнет, ему ли, на жизненном пути которого стоит то монастырская жизнь с пивом, настоянным на табаке, то банда нищих, то всезатирающая канцелярская работа, ему ли, наконец, который так близок к уголовному преступ-

лению... Нет, г. Авдеев еще слишком мягок. Во всяком случае, с высоты вороньего полета ни малейшему сомнению подлежать не может, что вторжение разночинца должно понизить уровень литературы, ибо он, разночинец, действительно нуждается в элементарных понятиях, досконально усвоенных образованнейшим меньшинством, не только стоящим на земле, но и владеющим большею ее частью. Да здравствует высота вороньего полета!..

Пусть здравствует, но пора наконец спуститься с нее на землю. Здесь, на этой низменной земле, которую ипохондрики зовут комом грязи и которая иногда так странно разрывает своею неуклюжею реальностью сеть наших логических рассуждений, мы увидим нечто иное. Мы увидим, что в действительности сочетание богатства, смелых помыслов, высоких чувств и обширных знаний составляет явление довольно редкое вообще, а на Руси православной и подавно. Несколько блестящих исключений не должны затемнить общую истину. Отчего это зависит, это особая статья, но, во всяком случае, таков факт, против которого, конечно, и г. Авдеев спорить не будет. Он скажет, что никогда и не думал игнорировать этот факт, что он имел в виду только тех представителей двадцатых и сороковых годов, которые обладали означенным сочетанием материальной обеспеченности, знаний и высоких убеждений, только образованнейшее меньшинство, руководившее литературу (разумея здесь не только писателей, а и читателей, не только предложение, а и спрос). Я знаю, что такова мысль г. Авдеева, но мне нужно было напомнить тот общеизвестный факт, что в самой «зажиточности», в самом «владении большею частью земли» есть какие-то элементы, как будто неблагоприятствующие умственному и нравственному развитию. Сделав это общее и пока весьма неопределенное замечание, посмотрим, в какой мере действительно люди сороковых и двадцатых годов имели преимущество перед людьми шестидесятых годов. Возьмем сначала знание. Г. Авдеев категорически заявляет, что прежние деятели не нуждались в тех элементарных сведениях, которых потребовали нахлынувшие в шестидесятых годах разночинцы. Это мнение довольно распространенное и имеет за себя много соображений с высоты вороньего полета. Но как его доказать? где найти мерило знания? Если мы возьмем мерило официаль-

ное, то найдем, что, например, двое самых видных в литературе шестидесятых годов разночинцев кончили полный курс наук; один, Добролюбов, в педагогическом институте, другой[6] в университете. Между тем как истинный вождь сороковых годов — Белинский был, во-первых, разночинец, во-вторых, «недоучившийся студент», которого, например, г. Погодин еще до сих пор (см. «Простая речь о мудреных вещах») громит за невежество. Я отнюдь не думаю напирать на это обстоятельство и основывать на нем какие бы то ни было заключения. Я хочу только убедить г. Авдеева, что есть слова и предложения, которые очень легко сказать и обставить весьма приличными силлогизмами, но которые очень трудно доказать фактически. Если мы ухватимся за мерило не официальное и станем сравнивать число журнальных статей и книг научного содержания в сороковых и шестидесятых годах, то г. Авдеев объяснит, пожалуй, существующий в этом отношении прогресс именно тем, что понадобились знания, которые прежде представляли нечто совершенно уже всеми усвоенное. А я объясню тем, что уровень знаний поднялся. И я думаю, что на моей стороне будет больше правды, потому что г. Авдеев во всем своем рассуждении не приметил одного маленького слова,— Европы. Вот если бы г. Авдеев доказал, что с 1840 по 1860 год и в Европе не прибавилось знаний или если бы по крайней мере ему удалось установить независимость нашего умственного развития от европейского за это время, тогда другое дело. Но ведь ни того, ни другого, то есть ни застоя в умственном развитии Европы, ни нашей независимости, не было. Есть, правда, вещи, как, например, гегелевская философия, которые были очень хорошо знакомы людям сороковых годов и, можно сказать, вовсе не известны людям шестидесятых годов. Но подобные явления объясняются общим ходом умственного прогресса. За эти двадцать лет в Европе опытные науки повели к обобщениям, подмывшим основы гегелевской философии,— то же случалось и в нас. За эти двадцать лет в Европе резко обозначились две противоположные экономические доктрины, поднялся уровень естествознания, явились попытки приложения его к истории, явилась теория Дарвина, теория единства сил и проч. Все это принималось и посильно разрабатывалось и у нас. Ведь

не пророки же были люди сороковых годов и не могли же они иметь сведения, может быть, и ставшие впоследствии элементарными, но в их время еще никому не доступные Научные истины, которые распространяли и популяризировали люди шестидесятых годов, никоим образом не могли быть элементарными для образованнейшего меньшинства сороковых годов. Напротив, для усвоения этих истин люди сороковых годов должны были пережить немало внутренней ломки, и далеко не все они вышли из этой борьбы победителями. Понятное дело, что того, что г. Авдеев называет полузнанием, было в шестидесятых годах немало, но немало его было и в сороковых годах. Притом же полузнание вещь крайне неопределенная. Повторяю, Михаил Петрович Погодин до сих пор преследует тень Белинского упреками в полузнании. А Белинский за собой много людей водил, и не худших. Или, может быть, другой гениальный человек, на котором воспитывались лучшие люди сороковых годов,— Гоголь был очень просвещенный человек? Очевидно, снисходительное полупрезрение г. Авдеева в этом отношении совершенно неуместно. Само собою разумеется, что людям шестидесятых годов нельзя поставить в заслугу, что они знали или стремились знать то, что должны были знать; ни людям сороковых годов в вину поставить нельзя, что они не знали того, чего и не могли знать. Я и заговорил об этой материи только потому, что г. Авдеев на нее напирает. Я со своей стороны думаю, что это пункт совершенно безразличный в вопросе о борьбе отцов и детей. И те учились и учили чему могли в свое время, и эти тоже. Разночинец, то есть известное социальное положение, в этом случае не играет никакой роли, ибо зажиточность не исключает невежества и с успехом заменяется рвением, искренним желанием научиться. Притом же и самая наука в шестидесятых годах, не переставая быть наукой, стала дешевле, экономически общедоступнее; облегчился доступ в университеты, иностранные книги стали переводиться в огромном количестве и проч. Совсем, значит, дело не в этом. Г. Авдеев решительно не воспользовался многочисленными выгодами своей собственной точки зрения, своего собственного основного положения: разночинец пришел. В какой мере легкомысленно относится он к делу, видно из вышеприведенной

его параллели между двадцатыми и шестидесятыми годами. Тогда, говорит, молодые люди побывали во время войны за границей и увлеклись тамошними порядками, и теперь, говорит, молодые люди познакомились с некоторыми недоступными им дотоле заграничными сочинениями и увлеклись ими; только, говорит, первые были просвещеннее, зажиточнее и не нуждались и т. д. Удивительно, как просто иногда открываются ларчики! Нет, милостивый государь, разночинец принес с собой нечто положительное, нечто кроме своей бедности и усилий приобрести знания. Кстати, о людях двадцатых годов. В январской книжке «Русского вестника» [7] напечатан отрывок «Из биографии графа М. Н. Муравьева» г. Кропотова. Если не ошибаюсь, полная биография выйдет в скором времени. В напечатанном отрывке, между прочим, читаем: «Один из моих знакомых, имевший возможность познакомиться во время странствований своих по Сибири в конце тридцатых и в начале сороковых годов со многими декабристами, заметив, что значительная часть их не знают первых оснований политических наук, спросил однажды Никиту Муравьева: каким образом, не быв вовсе подготовлены образованием для политической деятельности, вы решились принять на себя громадный труд всестороннего преобразования нашего государства? «Ваше замечание верно,— отвечал Муравьев,— мы затеяли дело полными невеждами и только здесь принялись за книги, читаем их, учим друг друга и стараемся образовать себя, чтобы поддержать в публике то доброе мнение, которое она составила о нас». «Время умудряет»,— замечает г. Кропотов. Свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова имеет тем менее ценности, что и весь напечатанный до сих пор отрывок из биографии графа Муравьева заключает в себе вещи весьма странные. Может быть, все, что рассказывает г. Кропотов, и верно, но многое из того, что он говорит о военных поселениях, о бунте Семеновского полка, о декабристах, стоит в литературе совершенно одиноко. Притом же свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова страдает противоречием: он уже в конце тридцатых и в начале сороковых годов поражался невежеством декабристов, значит, они лет пятнадцать совершенно задаром читали книги и старались образовать себя. Пятнадцатилетний упорный

труд не повел ни к чему: каковы, значит, не только невежды, а и Богом обиженные тупицы? Так-то легко хватить через край в суждениях о чьем-нибудь невежестве, г. Авдеев! Примите это к сведению.

Хвачено действительно через край, так что поневоле сомнение берет. Я склонен думать, что прав не г. Кропотов, а г. Авдеев, что декабристы были не невежественные тупицы, а люди просвещенные. Но какая все-таки наивность воображать, что разница между людьми двадцатых и шестидесятых годов состоит только в степени просвещения и что разночинец только и сделал, что увлекся некоторыми заграничными сочинениями, дотоле ему неизвестными! Довольно тоже наивно говорить, что декабристы были жизненным опытом богаче разночинцев...

В движении двадцатых годов принимали участие различного общественного положения люди, но ядро их составляла военная молодежь аристократического происхождения. Я не могу говорить об этих людях так, как хотел бы, а говорить так, как могу,— не хочу. Поэтому оставим их совсем в стороне, да они нам в настоящем случае и не нужны. Так называемые люди сороковых годов представляют группу гораздо менее определенную, что касается их общественного положения: тут и профессор был, и помещик, и литературный работник, и проч. Но ядро их все-таки различить можно. Это был средней руки дворянин, человек достаточно обеспеченный, чтобы получить более или менее правильное, в школьном смысле, воспитание, то есть кончить курс в гимназии и в университете, русском или немецком, а затем еще, может быть, проживать вне государственной службы; человек в некоторых отношениях весьма тонко и, так сказать, чутко развитой, способный и к ухищреннейшему самогрызению и анализу лишних людей, и к бужению других пламенных красноречием Рудина, и к наслаждению прекрасным и истинным. Но за всем тем миросозерцание его страдает крайнею неопределенностью благодаря, конечно, неопределенности его общественного положения: он «ни в тих, ни в сих». У некоторых эта неопределенность доходила до того, что миросозерцание их может быть сравниваемо с весьма каллиграфически изображенным нулем необыкновенно большого диаметра. Их божеством была, как растяги-

вает тургеневский Потугин, ци-ви-ли-за-ция, причем вырезывались с особенною яркостью два элемента цивилизации: философия и искусство. Не имея, собственно говоря, никаких преданий, стыдясь и презирая прошлое, не имея ничего общего с тогдашним настоящим, не имея причин веровать особенно сильно в будущее своего отечества, они естественно должны были искать наслаждения по возможности в отрешенных от жизни сферах отвлеченной истины и отвлеченной красоты. К окружающей их действительности они должны были, конечно, относиться отрицательно, но в большей части случаев, постояв перед ней в позе красивого уныния, они стремились уйти от ее скверн в тихое пристанище гегелевской диалектики и прекрасных образов. Здесь они были вполне у себя дома, искренно молились своей мысли и своим образам, искренно дорожили соответственными благами цивилизации. Однако с течением времени в этом акафисте красоте и безусловной истине, на который уходили часто очень большие силы, стали все слышнее и слышнее пробиваться чисто земные ноты. Гений Белинского сжег многое из того, чему он поклонялся, и поклонился многому, что сжигал. Небольшая группа стоявших около него людей яснее определила свое миросозерцание и свои требования от жизни, и чисто земные, просто жизненные задачи — освобождение крестьян и освежение политической атмосферы — заклокотали под красивой корой искусства и философии.

Разночинец пришел со своей стороны к тем же общим задачам, но совсем иным путем. Я опять обращаюсь к биографии Решетникова. Я рассказал уже, как он после обрушившегося на него уголовного дела внезапно проникся сознанием своей виновности перед воспитателями и вообще совершенно переменился. Его уважаемый биограф говорит по этому поводу: «Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами,— мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни, вникать в самые мельчайшие под-

робности этого механизма... Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного принятия знания». Может быть, в этих теплых словах несколько преувеличено значение именно этой минуты в жизни Решетникова. Но верно то, что ему действительно приходилось очень рано усваивать и развивать в себе такие «элементарные понятия», какие даже лучшим из людей сороковых годов давались, по необходимости, только с большим трудом. Выше было говорено, что совершенно неосновательно говорить о сравнительной непросвещенности людей шестидесятых годов, что это точка зрения по малой мере бесплодная. Но вот Решетников, избранный мною в качестве типической фигуры, всегда был и остался человеком необразованным, скажет, может быть, читатель. Да, Решетникову, несмотря на все его усилия, не удалось пробиться к научному собственно свету. Но не в этом и дело. Были между разночинцами люди, добившиеся знания в не меньшей степени, чем какою обладали для своего времени люди сороковых годов. Пристало к движению немало молодежи из того круга, из которого в свое время выходили Рудины, Лаврецкие, лишние люди, Обломовы. Были и люди более или менее темные, как Решетников. Но их уж ни в каком случае нельзя уличать в заносчивости полупросвещения, о которой говорит г. Авдеев. Из бумаг Решетникова видно, до какой степени жаждал он указаний, с каким недоверием относился он к своим произведениям, в которых стоял только за одно,— за «правду». Знание этой правды Решетников и принес с собой, и ни на какое другое претензий не имел. Другим разночинцам, как Базарову, дед которого землю пахал, удалось прибавить к этому житейскому знанию знание научное. Но, повторяю, в занимающем нас вопросе не в этом дело. Нам нужно знать, что принес с собой разночинец как разночинец. Поэтому-то биография Решетникова и дорога для меня. И вижу я из нее, что Решетников принес с собой, во-первых, глубокое знание народной жизни, приобретенное им в непосредственных столкновениях с бурлаками, с заводскими рабочими (из последних один, как видно из биографии, имел сильное влияние на развитие в Решетникове потребности «делать пользу» бедному человеку), с мужиками; принес он, во-вторых, особенный взгляд на вещи, тоже выкованный его непо-

средственною обстановкой. Этот-то особенный взгляд для нас преимущественно интересен. Он не составляет чего-нибудь совершенно исключительного, невозможного для человека, не прошедшего тяжелой школы разночинца. Но такому постороннему человеку он дается лишь с большим трудом, если ему не помогают исключительные обстоятельства благоприятного личного развития. Возьмем какое-нибудь «элементарное понятие», общее и людям шестидесятых годов и некоторым из людей сороковых годов. Белинский, например, несмотря на свои громадные силы, только после долгих скитаний по пустыням чистой эстетики пришел к следующему действительно элементарному понятию: «Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев». Посмотрите же теперь, как просто, как естественно, как, можно сказать, фатально дошел до этого элементарного понятия, далеко не всеми людьми сороковых и иных годов усвоенного, Решетников. Мальчиком еще он писал для крестьян письма (конечно, за гроши, которые шли на умиротворение учителей), причем узнал много крестьянского горя и крестьянских радостей. Потом и в других формах ему приходилось приложить труд, часто физический, с очевидною пользою для других людей. В 1860 году его определяют помощником столоначальника в уездном суде. Он немедленно ориентируется вот в каком роде. «Мне страшно казалось,— пишет он,— решать участь человека, и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое». По мере его дальнейшего знакомства с положением разного бедного люда, в нем сильнее говорит сознание обязанности «делать пользу». Просыпается поэтическая способность, жажда творчества. Он мучительно трепещет за свои силы, анализирует сам себя, просит всех и каждого высказать свое искреннее мнение о его произведениях и его литературных способностях. Он даже подсказывает разным компетентным, по его мнению, лицам неблагоприятные отзывы, которые, однако, его глубоко огорчают.

Но это далеко не голое авторское самолюбие, он ни на минуту не забывает своей обязанности быть полезным. Вот глубоко трогательные слова из его дневника: «Сегодня, 5-го сентября 1861 г., я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений... Кроме горя, ничего не было. Дай Бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай Бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами»... Это двадцатилетний юноша пишет! Отправляя своих «Подлиповцев» в «Современник», Решетников писал в редакцию, что описанные им люди действительно существуют, что он коротко знает их быт и «задумал написать бурлацкую жизнь *с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам.* Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему, написать все это иначе значит говорить против совести, написать ложь. Наша литература должна говорить правду. Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений». В числе бумаг Решетникова найдено прошение к обер-полицмейстеру. В нем рассказывается, как Федор Михайлович однажды был прибит. При этом он пишет: «Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые не били народ... Этому «народу» и так придется много получать всякой всячины»...

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной...

Опять Щербина вспомнился. И совсем некстати...

Вот, значит, как просто далось Решетникову одно из «элементарных понятий», с которым с таким трудом справлялись лишь немногие из людей сороковых годов. Да и не далось оно ему, а чуть что не с ним родилось. Добейся этот человек научного знания, он направил бы его на те же цели, имей он власть, владей он только физической силой, только грамотностью, он все это пустил

бы в ход на благо народа, как пустил он свою поэтическую способность, свои творческие силы.

Теперь представим себе, что человека этого посадили беседовать со Щербиной или хоть с г. Ларошем. Какой у них разговор может выйти? Г. Ларош начнет снисходительно терпеть социальные мотивы в искусстве, Щербина зальется соловьем насчет того, что нужно «зло без образов таить». Решетников этого органически понять не может, это для него тарабарская грамота; а он еще вдобавок человек грубый, вежливости ему научиться негде было, вот и жесточайшая перепалка готова. Что касается людей сороковых годов, то из них лишь немногие поднялись вместе с Белинским на последнюю ступень его развития. Да и из этих немногих многие потом обратились вспять. В своем известном письме к Гоголю по поводу «Переписки с друзьями» Белинский очень определенно выразил свою политическую программу. Он писал: «Самые живые современные национальные вопросы России теперь: уничтожение крепостного права и отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть». Когда эти требования были отчасти удовлетворены, люди сороковых годов стали в недоумении: чего ж еще теперь надо? Опять-таки разве дальнейших общих категорий цивилизации: распространения просвещения, развития свободы, увеличения благосостояния. Но программа, в такой мере общая, есть программа не действия, а бездействия. Значит, все обстоит благополучно и надо только, чтобы было благополучие. Значит, можно опять таить зло без образов, пункт, впрочем, никогда на деле не осуществлявшийся, потому что исповедовавшие его что другое, а зло нигилизма без образов не таили.

Разночинец не мог довольствоваться общими категориями цивилизации, из которых выходили люди сороковых годов. Он ценил их лишь по отношению к народу, и благо последнего было для него таким же критерием, каким для людей сороковых годов были отвлеченные категории цивилизации. Это различие исходных точек разночинцев и людей сороковых годов не всегда отзывалось распрей в конечном пункте их работы. В сороковых годах, например, довольно много работал на почве экономических вопросов Милютин [8], писатель замечательный, умный, талантливый и вовсе у нас не оце-

ненный. Если вы сравните его исследования с трудами некоторых наших позднейших экономистов из разночинцев, вы увидите, что, несмотря на очевидную разницу их исходных точек и даже логических приемов, они в конце концов говорили одно и то же. Но хотя таким образом и все дороги ведут в Рим, надо все-таки, чтобы в человеке каким-нибудь способом засело искреннее желание попасть в Рим. А в этом-то и состоит трудность, которую преодолеть могли только немногие из людей сороковых годов. Вследствие чего различие исходных точек вело к непримиримой вражде. Разночинец чувствовал, а часто даже и понимал, что процесс цивилизации, разумеемой в виде общих и отвлеченных категорий, совершается на счет народа, что водворение этих общих категорий подает народу камень вместо куска хлеба. Он чувствовал и понимал, что наука для науки, искусство для искусства суть только особые формы служения настоящему, тяжелому для него порядку вещей; что свобода политическая и экономическая, как отвлеченная категория, в действительности разрешается в свободу одних притеснять других. В великих созданиях человеческого ума, если они служили отвлеченным категориям цивилизации, он чуял то самое оскорбление народу, из-за которого греческий раб разбил бы статую Фидия, если бы понял ее значение. Помните, как Писарев валил Пушкина. Это была своего рода Вандомская колонна. Но не Писарев Дмитрий Иванович валил ее, он был только таран в руках разночинца. Но ведь это варварство? Да, варварство, но его было легко предупредить, легче по крайней мере, чем вторжение варваров в Рим. Не Пушкина собственно валил разночинец руками Писарева. Разночинец был для такого упражнения слишком реален, слишком поглощен всяческими нуждами настоящего и заботами о будущем. Пушкина, как грандиозный памятник прошедшего, он не тронул бы, если бы ему было гарантировано на будущее время торжество его принципа, его исходной точки, победы идеи народа над отвлеченными категориями цивилизации. А ему что говорили? Ему говорили: как! для тебя мы погнем свои отвлеченные категории! да ты и требовать не смеешь, чтобы искусство, наука, промышленность, свобода служили тебе! получай, что придется на твою долю в остатке, и молчи! эти вещи выше тебя, пусть они

растут, хотя бы на твоей согнутой спине! — Вот чего никаким образом не мог переварить разночинец, и, надеюсь, это понятно и естественно. Он ведь знал, хоть, может быть, и не сумел бы формулировать свое убеждение, он знал, что это лицемерие или недоразумение; что человек, служащий чистому искусству, чистой науке, просто промышленности, просто свободе, служит под видом возвышенных отвлеченных категорий интересам людей, над народом стоящих.

Вот, по моему мнению, корень распри отцов и детей; распри весьма прискорбной, потому что и я склонен думать, что в большей части случаев не лицемерие управляло отцами, что они были жертвами недоразумения. Я понимаю, что им дороги памятники прошлого, так, как они остались, целиком, без урезок. Но, повторяю, их бы никто не коснулся, если бы в будущем обещаны были иные памятники. Я понимаю тоже, что отцов отталкивала некоторая грубость разночинца. Но ведь это уж совершенный пустяк. А подрались... Жаль, тем более что у отцов и детей так много общего ввиду современных дельцов, заподозрить которых в недоразумении уже никоим образом нельзя. Во всяком случае, хотя шашки ныне уже и смешались, пришествие разночинца остается событием первостепенной важности, и г. Авдеев его далеко не оценил. Точка зрения, принесенная разночинцем, может время от времени слабеть и гореть слабым огоньком, но умереть не может.

«Героинь» г. Авдеева мне приходится отложить до следующего раза, потому что это тоже материя очень любопытная. Там мы опять встретимся с разночинцем и договорим недоговоренное.

март 1874 г.

О ШИЛЛЕРЕ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Известный знаток литературы и тонкий критик г. Полетика [1], который всегда

В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны
И строго осуждал Жорж-Занд
За то, что носит панталоны,

предал меня однажды анафеме по поводу некоторой моей ереси о таланте и «искре божией». Как ни ужасна перспектива вновь подвергнуться сокрушительной логике и громоносному красноречию почтенного затрапезного оратора, но если Бог не выдаст, так, может быть, и г. Полетика не погубит. Так уж, впрочем, нам, профанам, на роду написано подвергаться анафеме специалистов и вообще знатоков. Им, конечно, и книги в руки. Но, с другой стороны, что же и мне-то делать, когда мне попались в руки книги, вновь поднявшие во мне ересь «искры божией»? Что делать?! Говорить, писать и опять выносить громы сокрушительной логики и красноречия затрапезных ораторов.

Недавно вышло пятым изданием «Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей» (издание г. Гербеля). Кстати, почти одновременно явилась по-русски книга Шерра «Шиллер и его время» (М., 1875). Пятого издания русские книги, если не считать учебников и сказок вроде «Гуака» или «Милорда английского», вообще почти не доживают. Поэтому пятое издание Шиллера уже само по себе составляет факт, чрезвычайно занимательный. Пронял же, значит, нас, россиян, этот великий немецкий человек с рыжими волосами и голубыми глазами, этот «современник всех эпох», как он сам говорил о себе, отнюдь, впрочем, не думая пророчествовать. Принимая в соображение, что французов, англичан, не говоря уже о немцах, Шиллер пронял еще сильнее, чем нас, было бы любопытно выследить секрет этого могущества и живучести. Конечно, если свести дело к случайному щедрому дару природы, к стихийной силе таланта, гения, так оно, по-

жалуй, даже вовсе не любопытно: по известным нам причинам у заурядного вюртембергского офицера родился в 1759 году сын огромных умственных и поэтических способностей — вот и все. Физиологи могут биться и ломать головы над этим фактом, но нам, профанам, делать с ним нечего. Нас занимает другая сторона дела Мы знаем в истории литературы, в истории политической немало людей с огромными умственными силами, ничуть, может быть, не меньшими, чем те, какими обладал Шиллер; и, однако, растративших эти силы либо почти совсем даром, либо оставивших по себе память позора и ненависти. Далее: «таланты от Бога», но нет ли чего-нибудь в шиллеровской мощи и «от рук человеческих»? Если бы удалось с достаточною точностию определить и выяснить эту *человеческую* сторону обаяния великого поэта, мы были бы в большом выигрыше. Мы не идолопоклонники, которые норовят разбить себе лоб перед величавым или грозным явлением природы (каков сам по себе талант, гений). Нам в особенности дорого то употребление, которое делается из таланта; те мотивы, которые заставляют человека обращать свои силы на такое или иное освещение тех или иных фактов; те цели, которые преследует человек, вспомоществуемый щедрым даром природы. Выясненный с этих сторон обладатель таланта перестает быть чем-то недосягаемым, чуждым, доступным только волнам фимиама и восторженным гимнам. Он перестает быть идолом и становится идеалом, образцом, маяком. Из нескольких тысяч одному удается оставить по себе яркий след и служить светочем целому ряду поколений, но это не мешает и простым смертным, изучая условия работы гениального человека, заимствовать у него что возможно, то есть то, что не связано непосредственно со стихийной силой таланта. Взять себе примером, образцом шиллеровский талант нельзя, если в собственных творческих силах недохваток, но то употребление, которое Шиллер делал из своего таланта, содержит — можно с уверенностью сказать заранее — урок поучительный и доступный.

Мы уже давно знаем фантастический образ художника, вольно, изящно и почти бессознательно порхающего в надзвездной лазури, охлаждающего наши земные боли единственно ароматным прикосновением своей

легкой, из чудных невесомых материалов сотканной одежды. Мы давно его знаем, и он нам очень надоел, потому что на поверку всегда как-то так выходило, что из-под невесомой одежды выглядывал кончик уха гг. Болеслава Маркевича, Фета или Авсеенки [2]. Этот образ, когда-то (очень уж давно) привлекавший к себе столько нежных сердец, улетучился, но ныне после него осталось мокрое место. Повторяю это не совсем изящное выражение «мокрое место», потому что не могу иначе назвать критические упражнения большинства наших литературных хроникеров. Говорится что-то слякотное о том, как вредно стеснение для поэта, как всякие строго определенные нравственно-политические тенденции сковывают талант и проч. Не все, впрочем, говорят это. Приведу один пример, касающийся «Отеч. записок». Когда одновременно с появлением «Подростка» «Отеч. зап.» выразили моими устами [3] сожаление о некоторых печальных поползновениях чрезвычайно талантливого автора и заявили, что не могли бы допустить у себя появление его романа, если бы упомянутые поползновения переходили известную границу, газетные хроникеры были чрезвычайно взволнованы. Волновались между прочими хроникеры «Киевск. телеграфа» и «Спб. ведомостей» [4]. Хроникер первого напустился на нас за самое напечатание «Подростка» и в оговорке нашей увидел только лицемерие. Хроникеры же «Спб. ведомостей» (сначала сальясовский, а потом и баймаковский) [5] прочли в весьма строгом стиле противоположного свойства нотацию, что как, дескать, мы смеем стеснять талант г. Достоевского? Привожу это только как пример разноголосицы требований и спутанности понятий. От всяких комментариев воздерживаюсь и спрошу только: не своевременно ли будет обратиться к изучению задач и условий творчества признанных всем миром великих мастеров, дабы узнать, как следует вести себя нашим художникам? Шиллер для этого, мне кажется, особенно удобен. Во-первых, он — несомненная звезда первой величины, так что тут и споров никаких нет и быть не может; во-вторых, он писал сочинения по теории искусства. Значит, мы имеем здесь как бы собственные признания и эстетические desideria * первоклассного ма-

* пожелания (*латин.*).

стера. Выгоды — до исключительности редкие, и грешно было бы ими не воспользоваться. Не велика еще важность, если какой-нибудь г. Соловьев отстаивает ту или другую эстетическую теорию.[6] Может быть, он и совершенно прав, но его собственные поэтические произведения по крайней мере не служат гарантией пригодности теории. Шиллер — другое дело. Он создал произведения великие, создал их, сообразуясь с известной эстетической теорией, а следовательно, эта теория дала плод вполне осязательный.

Чему же можно поучиться у Шиллера? Может быть, форме? Конечно, как и у всякого гениального художника. Однако только до известной степени. Возьмите, например, знаменитых «Разбойников». Карл Моор самым нелепым образом верит подложному письму якобы его отца, ни на минуту не сомневается в его подлинности, хотя признает его чудовищным и никогда ничего подобного не ожидал; мало того, это ни с чем не сообразное письмо вдруг побуждает его принять страшное решение — обратиться в разбойничьего атамана. Он разражается невероятными монологами, из которых вот один навыдержку: «Люди! люди! лживое, коварное отродье крокодилов! Вода — ваши очи, сердце — железо! На устах поцелуй, кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят своих детей, вороны носят падаль птенцам своим, а он, он... Я привык сносить злость, могу улыбаться, когда озлобленный враг будет по капле точить кровь из моего сердца... но если кровная любовь делается изменницей, если любовь отца делается Мегерой, о, тогда пылай огнем мужское терпение, превращайся в тигра кроткая овца и всякая былинка расти во вред и погибель!» Полагаю, что нынче и Дьяченко не решился бы вложить в уста герою такие напыщенные монологи и не мотивировал бы события так психологически неверно и, наконец, просто так плохо. Скажут, что «Разбойники» — юношеское произведение. Положим, что, даже оставляя в стороне «Разбойников» и однородные с ним драматические вещи: «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь», мы увидим указанные недостатки в Шиллере: более или менее вытянутые монологи и странную внезапность, немотивированность решений и поступков действующих лиц. Таков длиннейший монолог Вильгельма Телля, когда он поджидает в ущелье

Геслера, такова измена Бутлера в «Валленштейне», играющая в драме существенную роль, таково внезапное зарождение земного чувства в Иоанне д'Арк, когда она, «пораженная видом Лионеля, стоит неподвижно, и рука ее опускается», а между тем и этой внезапностью существеннейшим образом определяется дальнейшее течение драмы, и проч. Но не в этом совсем дело. Спрашивается: почему, несмотря на крайнюю незрелость и вместе с тем с теперешней точки зрения обветшалость форм «Разбойников», драма эта остается великим памятником и прочтется теперь, в 1876 году, всяким мыслящим человеком с несравненно большим наслаждением, чем бесчисленное множество современных и вполне «приличных» драм? Скажут, такова сила таланта. Но — это не ответ, это — только одно из все решающих и ничего не объясняющих таинственных выражений, как «судьба», «случай», «счастье», «несчастье» и т. д. Для современников Шиллера, в том числе и для таких, как Гёте, «Разбойники» ничуть не выделялись из целой массы этого рода произведений, вроде «Ардингелло», «Ринальдо Ринальдини» и т. п. И действительно, таланта, то есть собственно творческой способности, в них не больше. Но в них есть, кроме того, нечто, давшее Шиллеру дальнейшие толчки и оставившее вместе с тем на «Разбойниках» печать вековечности. Это нечто я называю — извините, г. Полетика,— искрой Божией. В чем она состоит, мы увидим сейчас несколько ближе.

Если мы обратимся к другого рода трудам Шиллера, то встретим нечто совершенно аналогичное. Шиллер писал сочинения исторические, философские, и они в высокой степени поучительны, несмотря опять-таки на крайнюю незрелость и вместе с тем обветшалость как его исторического материала, так и многих его точек зрения. Кто ищет знаний, тот не станет читать Шиллера «Историю отпадения Нидерландов от испанского владычества», а кто ищет образования философского — может смело обойти «Философские письма». И история, и философия имеют более компетентных и ярких представителей. Но Шиллер и в эти произведения вложил ту же искру Божию, которая блестит и поныне и невольно приковывает к себе всякого, кто станет просто перелистывать теоретические его сочинения.

Надобно заметить, что г. Гербель совсем напрасно утверждает, будто его издание «может быть названо действительно полным, так как в нем не опущено ни одной строки и не изменено ни одного слова против подлинника». Не говоря уже о том, что перевести всего Шиллера, не опустив ни одной строки и в особенности не изменив ни одного слова, нет никакой возможности, г. Гербель упустил из виду теоретические сочинения Шиллера. В пятом издании переводов «русских писателей» имеются многие труды Шиллера по истории, философии и теории искусства, но, во-первых, далеко не все, а, во-вторых, далеко не самые важные. Издатель, как видно из предисловия, именно для пятого издания приготовил и заказал многие переводы, но решительно невозможно понять, почему он выбрал одни вещи и отбросил другие. Например, «Философские письма» переведены, что составляет уже роскошь, мелкие эстетические опыты переведены, а капитальные вещи, как «О прелести и достоинстве» (Über Anmuth und Würde) и письма об эстетическом развитии человека,— нет. Таким образом, имея под руками «Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей», я все-таки должен буду обращаться к немецкому подлиннику, и притом за самыми важными из теоретических сочинений.

Философские и исторические работы никогда не были для Шиллера той смесью дела с бездельем, которая называется дилетантством. Каковы бы ни были достигнутые им результаты, но он работал упорно, целыми годами, со страстью. Для человека, одаренного такою громадною творческою силою, было бы очень соблазнительно отдаться ей одной и творить образ за образом, песню за песней, драму за драмой, наскоро приготовляя свой материал. Шиллер избежал этого искушения. Он никогда не отделял своей поэтической способности от жажды познания и выработки нравственно-политического идеала. Это бросается в глаза уже при одном перечне его сочинений. Рядом с трилогией «Валленштейн» стоит «История тридцатилетней войны», рядом с «Дон Карлосом» — «История отпадения Нидерландов», рядом с поэтическими произведениями — эстетические опыты. Никогда никакой сюжет не заинтересовывал его исключительно с поэтической стороны, исключи-

тельно как нечто красивое. Этот мировой гений, один из величайших поэтов, каких видел род людской, просто не понял бы эстетической теории уединения, обособления прекрасного от истинного и справедливого. Заметьте, что он погружался в исторические исследования и в эстетические изыскания совсем не для того только, чтобы лучше освоиться с материалом и техникой. Это — само по себе, а главное — он вечно стремился растворить эстетическое наслаждение, подчинить его, отдать на службу нравственно-политическим целям. Это — замечательно выдающаяся, характернейшая черта Шиллера и как мыслителя, и как поэта, и как человека. Искусство он ценил чрезвычайно высоко, да и мудрено было бы ему ценить его иначе — ему, в душе которого бил неисчерпаемый родник образов и песен. Но высоту эту он полагал именно в служебной роли искусства. Того из острогов «искусства для искусства», который носит название бессознательного творчества, Шиллер совсем не знал. Прочтите его «Письма о Дон Карлосе» (они есть в русском издании), и вы будете поражены готовностью, с которою он объясняет свои цели и каждый шаг своих действующих лиц. Все обдумано, все преднамеренно, все подлежит отчету. В первом же письме он ставит такое общее положение: «Дурно для автора и его пьесы, если действие ее зависит от догадливости и снисхождения критика и если автор допускает, чтобы впечатление пьесы производилось качествами, доступными весьма немногим головам. Что может быть ошибочнее положения художественного произведения, когда оно поставлено на произвол наблюдателя и он может дать ему произвольное толкование и когда нужна помощь, чтобы поставить его на настоящую точку зрения? Если вы хотите намекнуть мне, что моя пьеса находится *в независимом положении* *, то этим вы говорите мне нечто очень дурное». Следовательно, Шиллер требовал, чтобы поэтическое произведение отразилось в среде читателей или

* Пораженный странным оборотом подчеркнутой фразы, я заглянул в подлинник и, как и следовало ожидать, никакого «независимого положения» там не нашел. Сказано: dass das meinige sich in diesem Falle befande, то есть просто *в таком* положении. От независимости Шиллер чураться не стал бы и видел ее именно в полноте и ясности отношений между произведением и читателем или зрителем.

зрителей непременно известным образом, соответственно намерениям автора, дало соответственные результаты, произвело соответственное действие. Задача, бесспорно, чрезвычайно трудная, принимая в соображение разнокалиберность массы читателей. Но сам Шиллер ее разрешил блистательно, потому что все его произведения *несомненны*, если можно так выразиться. Он владел тайной зараз и подниматься на самые вершины творчества, и говорить со всеми, быть всем понятным. Сила и значение этой несомненности лучше всего выяснится сравнением. Читатель помнит, конечно, как в старые годы каждое новое произведение г. Тургенева комментировалось с самых разнообразных сторон и часто совершенно противоречивым образом. Припомните, например, баталию из-за «Отцов и детей». Одни видели в романе оскорбление детей и апофеоз отцов, другие, наоборот, апофеоз детей и принижение отцов, третьи, наконец, просто радовались художественной стороне романа, потому что вот, дескать, настоящий художник «объективировал» факты без любви и ненависти и предоставляет кому угодно толковать произведение и так, и этак. Сам г. Тургенев, несмотря на большую охоту заявлять о себе по самым ничтожным поводам, упорно, долго и двусмысленно молчал. *Таких* толков произведения Шиллера никогда не возбуждали. И это — совершенно понятно. Потрудитесь попробовать истолковать «Дон Карлоса» или «Вильгельма Телля» в каких-нибудь двух различных смыслах. Это — просто невозможно. Это не значит, чтобы Шиллер не давал работы критике. Напротив, он и до сих пор дает ее желающим сколько угодно. Но роль критики ограничивается при этом, во-первых, чисто эстетической и психологической оценкой, а во-вторых, нравственной оценкой идеалов Шиллера. В этих пределах возможны всяческие разногласия, но сомнений в том, что хотел сказать поэт, что он любит, что ненавидит,— таких сомнений быть не могло. Маркиз Поза, Вильгельм Телль, Валленштейн, Иоанна д'Арк и проч. несомненны, и несомненность эта достигается не тем, что автор исполняет обязанность громким шепотом подсказывающего суфлера, не тем, что он грубо и аляповато навешивает на своих героев ярлыки, а внутренним планом работы. Для иного, может быть, и заманчива

роль великого жреца искусства, который, совершив поэтическое таинство, отходит в сторону, предоставляя другим доискиваться его смысла. Но Шиллер называл это «фальшивым» положением. Художественное творчество было для него не каким-нибудь самостоятельным богослужением, а гражданским актом, вследствие чего он, естественно, должен был желать несомненности своих произведений. Гёте был невысокого мнения о философских занятиях Шиллера. Он писал Эккерману: «Грустно было видеть, как такой даровитый человек носился с философскими идеями, которые, в сущности, ему ничего не дали» (цит. у Шерра «Шиллер и его время»). Можно с уверенностью сказать, что «философские идеи» дали, напротив, Шиллеру очень многое. Я не внешний успех имею в виду, хотя и то надо заметить, что, например, в «Прелести и достоинстве» сам Кант увидел «мастерскую» руку. Но главное, что дали Шиллеру философские занятия, это — внутренний мир. Они показали ему, что его жажда ясных, несомненных отношений как к объектам поэзии, так и к читателям имеет свои вполне рациональные основания, что она законна. В том же письме к Эккерману Гёте совершенно справедливо замечает: «Не в натуре Шиллера было относиться бессознательно и инстинктивно к вопросу, занимавшему его,— напротив: он рассматривал его со всех сторон и подвергал анализу». Представьте себе человека, в котором постоянно идет сильнейшая работа, так сказать, образования поэтических клеточек. Постоянно слагаются в нем образы, песни, звуки, рифмы — словом, все разнообразные элементы поэтического произведения. Органический процесс выработки этих элементов сам по себе составляет наслаждение, в котором весьма соблазнительно замкнуться, и в таком случае человек творит, по старинному сравнению, как соловей поет и роза благоухает. Есть другие поэты, в которых рядом с творческою способностью ярко горит нравственная «искра Божия». Они стремятся дать своей поэтической силе совершенно определенное русло. Таков и был Шиллер. Чтобы читатель видел, до какой отчетливости доходил он в этом отношении, я приведу следующие слова из упомянутых уже писем о Дон Карлосе: «Я выбрал совершенно доброжелательный характер (речь идет о маркизе Позе), неспособный ни

на какое эгоистичное стремление, я придал ему высокое уважение к чужим правам, я вложил в него цель добыть для всех наслаждение свободой и, мне кажется, не впал в противоречие с обыкновенным опытом, допустив его сойти с пути и зайти в деспотизм. В план мой входило, чтобы он затянулся в петлю, приготовленную для всех, идущих по одинаковой с ним дороге. Чего бы мне стоило благополучно провести его и доставить читателю, полюбившему его, чистое наслаждение всеми остальными красотами его характера, если бы я не считал более выгодным придерживаться человеческой природы и подтвердить его примером опыт, всегда мало принимаемый в соображение». Направляя свою творческую силу так сознательно и так настойчиво к нравственно-политической цели, Шиллер естественно должен был считать плохим, неудачным произведение, допускающее различные толкования, хотя бы даваемое им эстетическое наслаждение было очень велико.

Это удовлетворение требованию личной своей природы Шиллер возвел до высоты всеобъемлющей теории. Едва ли кто-нибудь выше его ставил искусство, относился к нему восторженнее, до такой степени, что многие из его стихотворений покажутся нам даже приторно-плоскими, если не иметь в виду основных задач искусства по Шиллеру. Например, в известном стихотворении «Раздел земли» Зевс говорит опоздавшему поэту:

...вся роздана земля
Уж больше не мои ни воды, ни поля,
Но если в небесах захочешь жить со мною,
То небо навсегда отверзто пред тобою

В «Идеалах», в «Могуществе песнопения» и проч. выражаются подобные же мысли и чувства. На первый раз они могут поразить довольно неприятно. Достойно ли, в самом деле, Шиллера петь на такую изъезженную и плоскую тему, как лишение поэта даров земли и предоставление ему неба. Какая мелюзга не пела этих чувствительных вещей и не купалась в этой скудной и в конце концов просто вздорной аллегории (небезынтересно заметить, что «Раздел земли» переведен на русский язык *восемь* раз, именно: Жуковским, Мейснером, Струговщиковым, Крешевым, Гербелем, Зотовым, Алмазовым и Соловьевым). И если бы мы имели в

виду только подобные отдельные стихотворения, так пришлось бы сказать, что этот человек слишком часто облекал в изящнейшие формы довольно скудное содержание. Заносчивые или приторно-сантиментальные восхваления поэта — вот ведь это что такое само по себе. В сущности же, однако, здесь нет ни заносчивости, ни приторности, ни пустоты. Правда, Шиллер говорил часто почти те же самые слова о небесном величии поэзии, которые испокон веку говорятся бессчисленным множеством поэтов и поэтиков. Но он разумел под поэтом совсем не того идеального ротозея с венком из роз и незабудок на голове, которому обыкновенно приписывается небожительство. Он редко оговаривал это обстоятельство, потому что был для этого сам слишком полон мыслью об истинно великом значении поэзии. В большинстве случаев он просто забывал, что есть поэты, не похожие на него нравственным складом. Иногда, впрочем, он выражался на этот счет очень саркастически. Например: «Многие из наших романов и трагедий, особенно так называемых драм и любимейших семейных картин... производят только опорожнение слезных мешочков и сладострастное облегчение нервных сосудов, но дух выходит из этих упражнений совершенно пустым» («О патетическом»). Очевидно, что опорожнителей слезных мешочков Шиллер либо совсем не считал поэтами, либо по крайней мере не их имел в виду, когда в «Разделе земли» отдавал поэтам небо, не их поэзию разумел, когда гордо говорил в «Художниках»:

Лишь светлыми прекрасными вратами
В мир чудный знанья вступишь ты,
Чтобы высший блеск снести очами,
Постигни прелесть красоты.

Думаю поэтому, что весьма многие переводчики «Раздела земли» и т. п. жестоко ошибаются, полагая видеть в этого рода стихотворениях свою profession de foi *, Шиллер действительно высоко ценил поэзию, но только такую, которая подчиняла красоту идеалу нравственно-политическому. На это указывают уже одни заглавия некоторых его статей. Например, «Театр как нравственное учреждение», «О нравственной пользе

* исповедание веры (*франц.*).

эстетических нравов». Он рекомендовал «постигнуть прелесть красоты» *для того*, чтоб «*высший* блеск снести очами». Поэзия была для него «вратами». Следовательно, небесным величием Шиллер награждал искусство только в таком случае, если оно предварительно послужило земным целям.

Я не считаю, однако, нужным долее настаивать на этой теме. Что Шиллер смотрел на задачи искусства именно так — в этом может убедиться всякий, кто потрудится прочитать хоть один, любой из его эстетических опытов. Доказывать же, что так и должен относиться к своему делу художник, не стоит. «Могий вместити» эту истину, без сомнения, уже вместил ее, потому что об этом было говорено и переговорено, а не могий пусть до поры до времени посидит на вышеупомянутом мокром месте. Я только напоминаю и подчеркиваю факт: Шиллер, мировой гений, поэт, во многих отношениях не имеющий соперников, творил вполне сознательно и видел в искусстве не самостоятельную цель, а великое орудие для достижения высших целей. Это — одна сторона нравственной искры Божией, горевшей в душе Шиллера. Ниже нам еще придется, может быть, к ней вернуться, а теперь обратимся к другой особенности Шиллера, пожалуй еще более занимательной.

Известно, что Шиллер есть поэт свободы. Известны бурные взрывы республиканизма в «Разбойниках», монументальный образ свободолюбивого Веррины в «Заговоре Фиеско», либеральные планы маркиза Позы в «Дон Карлосе», политический протест «Коварства и любви», глубоко демократический характер «Вильгельма Телля» и проч., и проч., и проч. Известно, наконец, что Шиллер наряду с Вашингтоном, Костюшкой, Уильберфорсом, Клопштоком, Песталоцци получил от французского республиканского национального собрания диплом на звание французского гражданина. Из всех этих черт в образованном обществе слагается ходячее, довольно, впрочем, туманное представление пламенного борца за свободу, демократические идеи, прогресс и проч. Особый, однако, вопрос — насколько это представление верно? Среди той поразительной путаницы понятий, которую ныне переживает большинство нашего образованного общества, выработалась какая-то стран-

ная идея совпадения свободы, демократических принципов, прогресса с фактическим поступательным движением истории. Я не говорю о тех, совершенно уже нелепых людях, которые радуются каждому шагу истории только потому, что это — еще шаг. Но и гораздо более благоразумные люди склонны думать, что в целом, минус некоторые случайные уклонения, история постоянно предоставляет торжествовать свободе, демократическим идеям, прогрессу. Гр. Л. Толстой говорит совершенно справедливо, что это *никогда* никем не было доказано, но всеми принимается на веру. Действительно, что идеи Руссо, некоторых социалистов объявлены парадоксами, хотя они собственно никогда не были опровергнуты. Как бы то ни было, но благодаря привычной ассоциации идей мы представляем себе всякого борца за свободу и проч. в виде человека, глубоко презирающего и ненавидящего все старое, прошедшее, только о том и думающего, как бы это все искоренить, уничтожить. Без сомнения, эта ассоциация идей внушена образом действия писателей прошлого столетия и практических деятелей первой революции[7]. Таким мы себе представляем и Шиллера, с известными, разумеется, индивидуальными отклонениями от общего типа революционера. Так, конечно, мы не навязываем Шиллеру ядовитой насмешливости и скептицизма Вольтера или жестокости какого-нибудь Фукье-Тэнвиля. Думаю, поэтому, что многие читатели не без недоумения прочтут, например, такие слова Шиллера: «В ребенке видим мы зачатки и назначение, в самих же себе — исполнение, и последнему всегда бесконечно далеко до первых. Оттого-то для нас ребенок есть воплощение идеала, хотя еще и не исполненного, но заданного, и потому нас трогает в нем совсем не представление его немощи или ограниченности, но, напротив того, представление его чистой и свободной силы, его возможностей, его бесконечности» («Наивная и сантиментальная поэзия»). Надо заметить, что, по общему смыслу статьи и по прямым указаниям, сделанным раньше, рядом с ребенком должны быть вставлены в эту цитату «сельские нравы и нравы первобытного мира». Таким образом, выходит, что Шиллер говорит почти буквально то же, что и гр. Л. Толстой: идеал наш не впереди, а позади нас — в ребенке, в народе, в прошедшем. Прежде чем рас-

сматривать эти воззрения Шиллера подробнее, постараюсь сдвинуть с дороги одно недоразумение. Скажут, может быть, что, конечно, Шиллер был великий поэт, но комментировать стихотворца как политического писателя не годится. Но я напомню читателю, что Шиллер не имел решительно ничего общего с тем увенчанным незабудками и розами ротозеем, который лезет на небо только потому, что ничего не умеет делать на земле. Шиллер пристально следил за современными ему великими политическими событиями и обнаруживал иногда при этом поистине изумительную, почти пророческую проницательность. Например, в 1794 году он писал: «Французская республика недолговечна — она исчезнет скоро, республиканское правление превратится в анархию, и рано или поздно явится гениальный человек, который сделается не только властителем Франции, но покорит и большую часть Европы» (Шерр, 291). И это — не случайное, не единичное предсказание. Для меня, впрочем, несравненно более глубоким свидетельством политической проницательности Шиллера служит то обстоятельство, что он ни в ту, ни в другую сторону не поколебался среди революционного ликования, что он до конца дней своих остался апостолом свободы и вместе с тем твердо и ясно говорил: идеал наш — сзади.

Вот как он развивает, между прочим, эту мысль в письмах «Об эстетическом развитии человека». Я приведу его взгляды довольно полно и почти в подстрочном переводе, потому что сочинение это не вошло в русское издание.

«В старину (главным образом в Греции) при прекрасном расцвете духовных сил чувства и дух еще не поделили своих владений между ними не было раздора. Поэзия и умозрение были родные сестры, которые в случае надобности могли даже заменить друг друга, потому что обе они преследовали истину, только разными путями. Как бы высоко ни поднималось умозрение, оно поднимало вместе с собой и материю, чувственную сторону человека. Правда, мысль разлагала человеческую природу, наделяя в увеличенном виде ее элементами весь круг богов, но она не разрывала природы человека на куски, а только различно комбинировала ее, так что каждый отдельный бог был все-таки цельною личностью. В новые времена совсем не то. И у нас элементы человеческой природы разбросаны в увеличенном виде по отдельным индивидам, но в кусках, а не в различных смешениях, так что для получения родового единства надо было бы слить несколько индивидов. Можно даже сказать,

что у нас душевные силы и в действительности разделены так же резко, как делит их в отвлечении психолог, и мы видим не только отдельных субъектов, но целые классы людей, в которых развита только одна часть способностей, а все остальное замерло, едва оставив после себя след».

Шиллер не отрицает преимуществ теперешних людей, взятых в совокупности, над такою же совокупностью людей древнего мира. Но почему каждый отдельный грек мог считаться полным представителем своего времени, а каждый отдельный нынешний человек — нет?

«Сама цивилизация (Kultur) нанесла новому человечеству эту рану. Как только, с одной стороны, расширенный опыт и точное мышление провели демаркационные линии между различными науками, а с другой — сложность государственной машины породила обособление классов и профессий, так порвалась и внутренняя связь человеческой природы, и пагубный спор раздробил ее гармонические силы. Воображение и умозрение настроились взаимно враждебно и стали ревниво следить за неприкосновенностью своих границ. Это раздвоение, начатое внутри человека, завершилось и обобщилось новыми общественными порядками. Нельзя было, конечно, ожидать, чтобы простая организация первых республик пережила простоту древних нравов и отношений. Но вместо того, чтобы подняться на высшую ступень жизни, она спустилась до простой и грубой механики Полнообразная природа греческих государств, в которых каждый индивид пользовался независимою жизнью и в случае нужды мог обращаться в целое, уступила место чрезвычайно искусной машине, где из бесчисленного множества безжизненных частей возникает механическая жизнь целого. Оторваны были друг от друга церковь и государство, законы и нравы, наслаждение и труд, средства и цели. Вечно прикованный к малому обломку целого, человек и сам развивается только в виде обломка, вечно слыша только монотонный шум колеса, которое он вертит, он никогда не развивает гармонии своего существа и вместо того, чтобы отражать в своей природе человечество, он делается просто оттиском своей профессии, своей науки. Но даже то скудное, частичное участие, которое еще привязывает отдельных членов к целому, зависит от самостоятельно ими выбранных норм (и разве можно бы было доверить их свободе такую сложную и хитрую машину?) — нет, им с строжайшею точностью предписаны известные правила, которыми связана их инициатива. Мертвая буква заменяет свободный разум, наловчившаяся память руководит вернее, чем гений и изобретательность. Когда должность делается масштабом человека, когда мы ценим в одном из своих сограждан только память, в другом только разум, в третьем только механическую ловкость, когда здесь не обращается никакого внимания на характер и ищутся только знания, а там, напротив, духу порядка и легальному поведению способствует помрачение рассудка — то что же удивительного, что все остальные способности заглушаются, чтобы воспитать ту, которая одна дает почет и вознаграждение? Правда, мы знаем, что

гений не ограничивает своей деятельности пределами своей профессии, но заурядное дарование ухлопывает все свои скудные силы на выпавшую ему дробную роль».

Далее встречаются многие чрезвычайно глубокие частные замечания, но мы пока остановимся на этом. Уже и теперь видно, что пламенный поборник свободы и демократических идей с крайне неприязненным чувством отворачивается от современного ему хода вещей, который, надо заметить, уже выставил великую революцию (письма об эстетическом развитии появились в 1795 году) и со вздохом смотрит за целые тысячелетия назад. На мой взгляд, это явление в некоторых отношениях даже любопытнее знаменитого протеста Руссо против цивилизации [*]. Руссо не видал революции и, следовательно, физически не мог так или иначе отозваться на осуществление зари новой жизни, как тогда казалось. Принимая в соображение, что многие из самых видных деятелей революции принадлежали к жарким поклонникам Руссо, мы не можем с достоверностью сказать, остался ли бы сам он верен своему пессимизму. Шиллер же жил среди всего этого угара надежд и упоений и, однако, продолжал твердить свое. Подобно Руссо, но при несколько иной исторической обстановке, он выражал недовольство не каким-нибудь частным, случайным явлением прогресса, а его общим ходом, он видел в нем гибель человечества, для предотвращения которой и рекомендовал свой план, сейчас увидим какой. Известно, что простые люди всегда и везде склонны вздыхать по прошедшему. Все им кажется, что когда-то люди были сильнее, здоровее, больше, богаче, красивее, добродетельнее и проч. Меня всегда удивляло, что ученые люди не обращают никакого внимания на общераспространенность этого верования. В самом деле, то в форме сказок о богатырях и их привольном житье, то в преданиях о золотом веке, то в виде личных или почти личных воспоминаний о действительности это верование распространено решительно по всему земному шару и по всей истории человечества. Должны же быть у него какие-нибудь фактические основания или в объективной истории, или в свойствах человеческой природы, или в том и другом.

Надо, однако, заметить, что это обращение за идеалом назад, в более или менее глубокую и всегда

неопределенную даль истории, распространено только между простыми людьми, необразованными. Люди ученые, если только они не заражены теософическими предрассудками, напротив, с такою же исключительностью верят, что не только никакой золотой век никогда не существовал, но что чем дальше мы будем подвигаться в прошедшее, тем большую встретим слабость, беспомощность человека, тем больше найдем мрак и грязь. Это я, впрочем, не совсем правильно сказал «ученые люди». Ученые в этом отношении еще не так строги, как полуученые и только что грамотные. Какой-нибудь писарь, хвативший цивилизации, уже чрезвычайно твердо убежден, что народным представлениям о золотом веке, о кисельных берегах и молочных реках, о богатырях и привольном житье в действительности соответствовала «одна необразованность-с и дикость-с». Среди же людей высокоразвитых встречается иногда как бы возвращение к исконному народному верованию, но уже в форме сознательных и более или менее разработанных теорий. Это, конечно,— случаи особенно любопытные. Один из них представляется воззрениями Шиллера. В письмах об эстетическом развитии человека отправным пунктом, который служит мерилом сравнительного первобытного превосходства, является Древняя Греция. Это, конечно, совершенно произвольно. Нетрудно бы было показать, что греческая жизнь даже в блистательнейшую пору своего развития была уже охвачена тем историческим процессом, который признается Шиллером пагубным. Шиллер, по-видимому, и сам чувствовал произвольность своего выбора. В других сочинениях он, как мы уже видели, дает более неопределенные указания на область «детской жизни, сельских нравов и нравов первобытного мира», как на нечто вроде золотого века. Иногда, наконец, он просто отодвигает свой идеал в совершенно уже неясную даль «природы», подобно Руссо с его знаменитым положением: все прекрасно, выходя из рук природы, все портится в руках человека. Очевидно, это не выход из произвольности. А в наше время даже уж и совсем нельзя искать в «природе» какого-нибудь совершенства в подходящем для нашего случая смысле слова. Таким образом, золотой век, по-видимому, сам собой угоняется все дальше и дальше назад, пока нако-

нец не расплывается в полнейшем тумане. Свет науки, умственного развития ничего, значит, собственно говоря, не внес в народное верование, не уяснил его. Русский мужик, которого вы не только удешевлением ситца или развитием железнодорожной сети, но даже указанием на крупнейшие из реформ нынешнего царствования не разубедите в том, что когда-то жить было лучше, находится в более выгодном положении, чем Шиллер. Ему кажется, что он чуть не по пальцам может сосчитать время, протекшее с тех пор, как жить стало хуже, и что чуть ли даже не его дед был богатырь и жил вполне привольно, ему это ясно. Шиллер же, гоняясь за золотым веком, гонит его все дальше и наконец совсем выгоняет за пределы истории. Но тут Шиллер дает своей мысли необыкновенно смелый и чрезвычайно замечательный оборот. В третьем из писем об эстетическом развитии человека читаем: «Человек приходит в себя из чувственной дремоты, сознает себя человеком, озирается и видит себя в государстве. Гнет потребностей поверг его туда прежде, чем он мог подумать о свободном выборе, нужда построила общество по закону природы прежде, чем человек мог построить его по законам разума. Но с этим положением он, как нравственная личность, примириться не может, и плохо было бы, если бы он мог примириться! И вот он искусственно обращается к своему детству, создает в идее *естественное состояние*, которое, правда, отнюдь не дано ему опытом, но которое вместе с тем необходимо для удовлетворения его разума. Он ставит себе в этом положении конечную цель, которой он в действительном естественном состоянии не знал, приписывает себе выбор, к которому он тогда способен не был, и затем действует так, как будто он по собственному выбору обменял состояние независимости на состояние договора». Из этого видно, во-первых, что Шиллер готов бы был отказаться от мысли Руссо, что все прекрасно, выходя из рук природы, и все портится в руках человека. Далее приведенные слова важны, как попытка психологического объяснения всеобщего верования в золотой век. Шиллер прямо говорит, что идеальное естественное состояние в действительности никогда не имело места (отнюдь не дано опытом), но что человек по свойствам своей природы верит в него или же допу-

скает его гипотетически. Следовательно, если в вышеприведенном очерке исторического процесса греческая жизнь представляется моментом идеальным, так только потому, что надо же выбрать в прошедшем какую-нибудь определенную точку для сравнения, а в сущности, произвол выбора здесь неизбежен. Тем не менее, однако, этот очерк исторического процесса остается фактически верным. Он неопровержим и уязвим только разве со стороны своей односторонности. Никакие усилия оптимистов не могут доказать, что он ложен, но может быть доказано, что в нем изложена неполная истина. Обыкновенно оптимисты на это и налегают, перечисляя различные благодеяния, полученные и доныне ежедневно получаемые человеком в процессе истории. Беда, однако, в том, что эти благодеяния очень хорошо известны тем, для кого оптимисты читают свой акафист цивилизации и истории. Известны они были и Шиллеру. Он развил их параллельно оборотной стороне медали.

«В план мой входило,— говорит он,— показать пагубное направление характера нашего времени и открыть его источники. Но я охотно допускаю, что при всей невыгоде для индивидов такого раздробления их существа род человеческий в целом не мог иначе прогрессировать. Не было иного средства развить разнообразные задатки человеческой природы, как противопоставив их друг другу. Этот антагонизм сил есть великое орудие культуры, но только орудие, потому что, пока он продолжается, мы находимся еще на пути к культуре. В борьбе чистого и эмпирического разума из-за исключительного преобладания оба развиваются до возможной зрелости и исчерпывают каждый свою сферу. Там воображение стремится разложить своим произволом мировой порядок, здесь в противовес ему разум поднимается до высших источников познания и призывает себе на помощь закон необходимости. Правда, односторонность в упражнении сил неизбежно ведет индивидов к заблуждениям, но вместе с тем род, совокупность индивидов — к истине. Уже тем самым, что мы сосредоточиваем всю энергию нашего духа в одном фокусе и стягиваем все свое существо к одной силе, мы придаем этой силе как бы крылья и искусственно выводим ее далеко за пределы, по-видимому, назначенные ей природой. Несомненно, что вся сила зрения всех индивидов, данная им природой, не могла бы усмотреть спутника Юпитера, открываемого телескопом астронома. Точно так же сила человеческого мышления никогда не дала бы анализа бесконечного или критики чистого разума, если бы в некоторых призванных субъектах разум не получал исключительного, преобладающего над материей развития, давшего возможность путем напряженного отвлечения заглянуть в бесконечное».

Конечно, это в количественном отношении — очень скудные указания на благодеяния цивилизации, вполне,

однако, достаточные для уяснения точки зрения автора. Ясно, что, с точки зрения Шиллера, каждое завоевание цивилизации, каждый шаг человечества вперед, научный, философский, промышленный, был вместе с тем шагом к падению, поскольку он покупался ценою цельности и самостоятельности, вообще — судьбы индивида, личности. Поэтому, если удобства исследования и требуют сравнения настоящего с каким-нибудь определенным моментом прошедшего, то логически вовсе нет надобности искать в истории какого-нибудь пункта перелома, после которого началось занимающее Шиллера пагубное движение. Оно шло рука об руку со всеми приобретениями человечества: минус и плюс шли рядом.

Спрашивается теперь: представляет ли эта совместность плюса с минусом что-нибудь фатально неизбежное или возможно сохранение плюса с устранением минуса? Шиллер полагал, что возможно, и рекомендовал для этой цели эстетическое развитие. Он не верил в модные в его время политические панацеи, которые, по его мнению, были бессильны изменить течение истории. Свобода, говорил он, может быть достигнута только эстетическим путем, медленным путем красоты, облагорожения воображения, вкуса, только таким способом может быть достигнута гармония сил человеческой природы, их равновесие, постоянно до сих пор подтачиваемое историческим процессом. Я не стану, разумеется, защищать «эстетическое государство» Шиллера, не стану даже излагать эту идею, потому что ошибочность ее не подлежит никакому сомнению. Но нельзя не пожелать, чтобы люди чаще ошибались таким образом. Нельзя не пожелать, чтобы всякий, одаренный какою-нибудь выдающеюся способностью, направлял ее так же, как Шиллер свою творческую способность, и притом верил (хотя бы и преувеличенно), что в этом направлении заключается спасение мира. Я говорю — в направлении, а не в самой способности, в нравственной искре Божьей, а не в таланте. Этаких-то франтов мы много видали, которые преувеличивают значение своего таланта или рода своей деятельности. Преувеличение Шиллера — совсем иного рода, как читатель видел из предыдущего и как он может судить еще по следующим замечательным характеристикам роли и значения поэзии. В статье «Наивная и сантиментальная

поэзия» читаем: «Пока человек еще чистая, разумеется, не грубая природа, он действует, как нераздельное чувственное единство, как гармоническое целое. Чувство и разум, восприимчивая и самостоятельная способность еще не успели разделиться в своих отправлениях, но скорее противоречат друг другу (я цитирую по переводу издания г. Гербеля). Его ощущения — не безобразная игра случая, его мысли — не пустая игра воображения, из закона необходимости вытекают одни, из действительности другие. Но когда человек входит в состояние цивилизации и искусство налагает на него свою руку, тогда уничтожается в нем та чувственная гармония, и он может только выражаться, как моральное единство, то есть как стремящийся к единству. Гармония ощущения с мыслительностью, существовавшая прежде действительно, существует теперь только идеально; она уже более не в нем, но вне его, как мысль, которая должна еще осуществиться, а не как факт его жизни. Если приспособить идею поэзии, которая, в сущности, заключается в том только, чтобы дать человечеству в высшей степени его возможное выражение, к обоим тем состояниям, то выйдет, что в состоянии естественной простоты, когда человек еще действует всеми своими силами как гармоническое единство, когда целое его природы совершенно выражается в действительности, тогда, возможно, полное подражание действительности должно составлять всю силу поэта. Напротив того, в состоянии цивилизации, где гармония человеческой натуры заключается только в идее, силу поэта составляет возведение действительности до идеала или, что одно и то же, представление идеала». Яснее выражена эта мысль в заметке «О стихотворениях Бюргера»: «Может быть, в наши, столь непоэтические дни, как для поэзии вообще, так и для лирической в особенности, откроется достойное назначение; может быть, окажется, что, если она, с одной стороны, должна уступить место высшим умственным занятиям, то сделается тем необходимее — с другой. При разъединении и развитой деятельности наших умственных сил, неизбежных при расширенном круге знаний и разобщении специальностей, почти только одна поэзия еще соединяет разделенные силы души, занимает равно сердце, остроумие и проницательность, разум и воображение в гармониче-

ской связи и восстанавливает в нас всего человека. Она одна может отвратить самое печальное, что только может испытать философский ум, а именно — в труде исследований потерять награду своих стараний и в отвлеченном умозрении умереть для радостей действительного мира... Но для этого необходимо, чтобы она сама шла с веком, которому оказывает такую важную услугу, и чтобы она усвоила себе все его нововведения». Вы видите, какими тонкими и многочисленными нитями переплеталась для Шиллера роль поэта с деятельностью гражданина. Признавая в общественном смысле, свободы ради, желательным восстановление равновесия, гармонии сил человеческой природы, Шиллер вместе с тем, с понятным в поэте восторгом, открывал, что поэзия, по самой сути своей, наилучше может этому способствовать. Понятно также, что в его глазах только тот поэт был достоин этого имени, который нечто давал в этом направлении. Остальные были для него «опоражнивателями слезных мешочков». И в тех же письмах об эстетическом развитии человека, где значение искусства поднято до головокружительной высоты, находим беспощадное разоблачение фактической роли искусства в истории. В десятом письме, после беглого обзора этой роли, Шиллер говорит: «Куда бы мы ни взглянули в прошедшем, везде изящный вкус и свобода бегут друг друга, и красота основывает свое господство только на развалинах героических добродетелей». Не всякого, значит, поэта признал бы Шиллер своим «братом по Парнасу» и поклонился бы не всякому, хотя бы и очень крупному таланту.

Итак, Шиллер теоретически верно поставил, но практически неудовлетворительно разрешил вопрос величайшей важности. Не попытаться ли нам разрешить его иначе? Попытку эту, впрочем, я, профан, не сегодня начал и не без глубокого внутреннего удовлетворения вижу, что то там, то сям в литературе появляются или прямо профанские мысли, или нечто к ним приближающееся. Предпримем маленькое путешествие по этим вновь открытым странам. A tout seigneur tout honneur *. Начнем с маркиза А. «Русского вестника» [9].

«На плечах народа, на его терпении и самопожерт-

* всякому господину — своя честь (*франц.*).

вовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам создавалась независимость России, ее сила и способность к историческому признанию (и проч., и проч., сокращаю панегирик). Мы полагаем, что за все это наше образованное общество находится в долгу перед народом и что этот долг далеко не будет уплачен, если оно сложит руки, склонит повинную голову и скажет: ты лучше нас, тебе и книги в руки, живи за нас, вырабатывай для нашего пустого существования идеалы и формы, а мы будем счастливы тем, что поклонялись тебе и потонули в твоей сермяжной массе».

Так говорит маркиз А. О, маркиз, как я рад, что вы написали эти (не совсем, впрочем, основательные) слова. Так рад, что охотно прощаю вам заключающиеся в них маленькую передержку и плохую пародию на мои выражения и мысли. Да, что скрывать, я выражал желание потонуть в сермяжной массе народа, но заметьте, со светочем истины и идеала в руках, я выражал мысль, что так должен быть уплачен долг народу. Так именно, я полагал, разрешается вопрос, волновавший Шиллера. Маркиз, я вам прощаю. Прощаю, ибо отныне вы уже не посмеете повторить, что «литература ничем другим не может питаться, как интересами образованного класса, потому что они одни только суть истинные национальные интересы в форме сознательной и приуроченной к интересам цивилизации». Я наизусть запомнил эту вашу фразу и думаю, что она одна способна сохранить вас от объятий забвения, на кои вы осуждены своим ничтожеством. Благосклонный маркиз, я вам до такой степени прощаю, что готов подать вам некоторые доброжелательные советы. Вы недовольны, что «у нас народ не обнаружил богатства тех творческих сил, которыми создается прогресс гражданственный, культурный. У него были и есть свои идеалы, и эти идеалы прекрасны, но они не заключают в себе элементов движения: они, так сказать, принадлежат растительной жизни». Вам так понадобились элементы движения, маркиз? Куда вы собираетесь двигаться? Но здесь маркиз призывает себе на помощь газету «Новое время», из которой добывает следующее: «Вся программа настоящего времени, все его стремления, желания и цели, все руководящие принципы семидесятых годов —

словом, все их profession de foi может быть исчерпано одним словом: Европа» и т. д.

Итак, «движение» и «Европа». Идите с миром, благосклонный маркиз, я вас отпускаю, я буду с читателем говорить. Если вам, читатель, кто-нибудь начнет советовать «двигаться» или рекомендовать как образец «Европу», то вы смело можете прекратить собеседование в самом начале, потому что собеседник ваш, очевидно, не понимает своих собственных слов. «Движение» и «Европа» — это просто лишенные всякого содержания слова, пока к ним не будет прибавлено дополнение на вопрос: какое движение? какая Европа? Как видно из цитаты «Русского вестника», Европа провозглашена лозунгом семидесятых годов в № «Нового времени», от 18-го марта. Этого самого числа (только нового стиля) пять лет тому назад в Париже загорелась революция, весьма неосновательно изображенная в книге г. Ватсона «Эпилог прусско-французской войны». Это было «движение», и притом «европейское». Желает ли «Новое время» такой Европы, а маркиз А. такого движения, я не знаю, но знаю, что европейское движение было направлено по крайней мере против трех тоже движений и тоже европейских и все эти европейские движения боролись не на живот, а на смерть. Еще ничего не значит, что при этом были пролиты реки крови, потому что реки эти иногда льются в борьбе представителей одного и того же принципа, одного и того же «европейского движения». Нет, здесь шла кровавая борьба между диаметрально противоположными, взаимно исключающими принципами. Какой из них вы выберете, вы, русские европейцы или двигатели? Коммуну вы выберете, или Тьера и буржуазию, или Бисмарка и милитаризм, или цезаризм и вторую империю, или Шамбора и легитимизм [10]? А выбирать надо, потому что *Европа*, как лозунг семидесятых годов, решительно ничего не резюмирует и не соглашает. И я, и маркиз А., и «Новое время», и я не знаю еще кто — все мы можем, пожалуй, даже совершенно правомерно кричать: «Да здравствует Европа!» — и в то же время быть друг от друга дальше, чем турецкий султан от Мак-Магона. Зачем же, спрашивается, без толку кричать? Семидесятые годы не только не могут выразить свою программу словом «Европа», но трудно даже найти в нашей истории годы, к которым

этот лозунг менее бы подходил. Больше всего он годился бы для времени, начиная с прошлого столетия и так примерно до тридцатых годов нынешнего. В те времена действительно Европа фактически была нашей путеводной звездой, и это было логически возможно, потому что «Европа» еще не развернула заключенных в ней противоречий. Конечно, она и тогда не представляла сплошь однородного целого, но ход дальнейшей истории, казалось, должен был окончательно сгладить ее неоднородность. На деле вышло иначе. А мы все тянем старую, давно истлевшую, какую-то общеевропейскую канитель и наивно воображаем, что это толчение на месте есть «движение». Чудаки мы, право, да и чудаки ли только? Не будем, однако, валить с больной головы на здоровую, не будем приписывать всему обществу того, что угодно брякнуть публицисту «Нового времени» или «Русского вестника». То европейское движение, которое некогда служило нам путеводной звездой, стало ныне только одним из европейских движений. Но если иметь в виду только его, так можно с уверенностью сказать, что у нас «программа настоящего времени, все его стремления, желания и цели» и т. д. отнюдь не исчерпываются словом: «Европа». Европа, что ли,— комментированные мною воззрения гр. Льва Толстого, которые наделали столько шуму [11] и, заметьте хорошенько несомненность этого результата, оставили за собою победу? А пятнадцать лет тому назад гр. Л. Толстой был замолчан. Согласитесь, что «Европа», по крайней мере на этом пункте, не сделала у нас успеха. А вслед за гр. Толстым начали безбоязненно высказываться в литературе такие неевропейские вещи, что ввиду их смелость заявления о совпадении программы семидесятых годов с «Европой» становится поистине изумительной. А тут и переводная литература изменила Европе. Явились книги Мена, явилась книга Лавеле [12], европейца, красноречиво убеждающего нас отнюдь не увлекаться «европейским движением». Многие даже весьма непроницательные наблюдатели подметили, что в настоящее время происходит в литературе и в обществе какое-то очень неевропейское брожение.

Кстати, о весьма непроницательных наблюдателях и брожении в литературе. В фельетоне одной газеты я встретил, по-видимому, систематический, а в сущности,

крайне курьезный подбор литературных явлений. Тут были свалены в одну кучу гр. Толстой, г. Евгений Марков (с его романом «Черноземные поля»), г. Боборыкин (с его предисловием к «Запискам дурака»), г. П. Ч., г. Энгельгардт [13]. Общая скобка, за которую были поставлены все эти писатели, состояла в стремлении к простой деревенской жизни и к сближению с народом: это-то и выставлялось характеристической чертой современной литературы. Не знаю, право, как назвать эту общую скобку. Она отчасти, конечно, верна, но отчасти решительно никуда не годится, потому что далеко не всякий, взывающий: «Господи! Господи!» — может попасть в царство небесное. Я не буду утомлять вас разбором всей этой путаницы и обращу ваше внимание только на одного г. Евгения Маркова. Это входит в мою программу путешествия по новооткрытым странам. Г. Евгений Марков есть тот самый г. Евгений Марков, который столь победоносно сражался и с гр. Л. Толстым, и с «упразднителями современного общества», тот самый г. Евгений Марков, который заявил, что только *скотам* свойственно отрекаться от своего прошедшего, как бы оно ни было гнусно (он забыл, что Павел отрекся от Савла и что именно скоты не способны на подобное отречение). Он печатает теперь в «Деле» отменно скучный, нравоучительный и длинный роман «Черноземные поля». Там воспеваются прелести сельской жизни, красота полей, вкус парного молока, сближение с народом, милые деревенские барышни, прочные сельские кавалеры. Очень хорошо. Вот что пишет своим друзьям удалившийся на лоно природы и тихой сельской жизни среди народа герой романа Суровцов:

«Мне живется отлично, гораздо лучше, чем предполагаете вы, чем предполагал я сам. Я — царек совершенно отдельного, хотя и тесного, небольшого мирка. Нигде не может развиться такая независимость духа, как в деревенском хозяйстве. Но нигде же нет более строгих и точных обязанностей, стало быть, нигде не может развиться в такой степени чувство собственной ответственности. Я подчинен повелителю, от требований которого уклониться немыслимо, но подчинение которому неоскорбительно для самого гордого духа. Имя этого повелителя — «роковые законы природы». Моя судьба зависит от бесснежной зимы, от морозной весны, от дождливого лета. Двигается по небу грозная туча, я должен покорно выждать, что ей вздумается сделать со мною. Я не знаю прихотей никакого другого начальства, не имею над собою никаких инстанций, никаких регламентов и

инструкций, не подвергаюсь ничьему контролю. И, однако, я не смею сделать ни одной ошибки, не смею упустить ни малейшей своей обязанности, потому что в самой ошибке, в самом упущении моем и моя кара, быстрая, неотвратимая, роковая. Тут необходимее быть умным, деятельным, внимательным, чем на кафедре профессора, которая все сносит — бездарность, лень и даже заблуждения. Предполагали ли вы когда-нибудь такую силу воспитательности в практическом хозяйстве? А в нем есть еще гораздо более силы, да теперь не хочется говорить много. Кстати, вы остроумничаете над моим новым делом, обзывая его «эгоистическим и материальным». Из этого ясно, что вы совершенно не знаете моего дела. Так знайте же хоть теперь, что сельское хозяйство — дело такое же общественное, как и ваше профессорство. Вы думаете: деревня Суровцово на Ратской Плоте принадлежит одному надворному советнику Анатолию Суровцову? Ошибаетесь, друзья мои: надворный советник Анатолий Суровцов — только один из множества владельцев этого общего имущества. Оно очень мало, а владельцев очень много. Владетели его — мой ключник, мой конюх, мой скотник, мой садовник, моя скотница и все вообще мои рабочие и крестьяне. Моя доля в общем пользовании нашим имуществом, говоря безотносительно, побольше их, моя комната почище их, мой стол вкуснее, и я не всегда езжу, как они, на простой телеге. Но сравнительно с нашими потребностями, они получают нисколько не менее моего, они по-своему сыты и нагреты не хуже меня и имеют свободные праздники, зимние вечера для игры на балалайке, выпивки и любезничанья со своими дамами. Я гораздо реже имею досуг и почти не имею средств поразвлечься по своему вкусу. Но главное, их владение деревнею Суровцово гораздо прочнее моего. Я лезу в долги, чтобы как-нибудь удовлетворить насущным потребностям хозяйства; нынче я в барыше, завтра у меня могут отобрать мое последнее достояние. А им навсегда обеспечено их месячное жалованье и их кусок хлеба. Будет ли считаться владельцем имения надворный советник Суровцов или купец 2-й гильдии Силай Лаптев, Суровцово не обойдется без ключника, скотника, конюха и всей рабочей компании, и, какие бы беды ни стряслись лично надо мною, все-таки суровцовские мужички будут получать ежегодно по 5 руб. сер. аренды с каждой пахотной десятины так называемого моего имения, потому что без их сох и борон никакой купец Лаптев не обработает поля. Но даже при таком ограничении своих прав я могу сделать много добра и много зла целой окрестности. Если я сложу руки, не подвину вперед своего дела, не усовершенствую его, мое хозяйство — могила. Некуда наняться, негде ничего заработать, некому продать, не у кого купить соседям. Заварил я деятельное и разнообразное хозяйство — мне все нужны: плотники, кузнецы, копачи окрестности, все имеют у меня заработок под рукою: у одного я куплю свинью на корм, у другого соломы для навоза, у третьего лошадь куплю и лес, и доски, и телегу, что у кого заготовлено для продажи. У меня тоже всякий купит что-нибудь нужное, если не сплю, а завожу, что можно. Купит и круп, и муки с мельницы, и жеребенка, и теленка на завод. Моя деятельность возбудит, таким образом, экономическую жизнь в целой местности. Сбыт и спрос облегчаются, возвышается заработная плата, в глухом углу достигается известное удобство. Разве это не общественное дело, не общественная заслуга?»

* * *

О, как же мне не радоваться, читая идиллии г. Маркова, как мне не радоваться так соблазнительно описываемому им сближению с народом! Но знаете ли что? Вам случалось, конечно, хоронить кого-нибудь очень вам близкого и дорогого, чьим лицом вы привыкли любоваться. Вы, значит, знаете то тяжелое ощущение, которое испытывается при виде мертвеца, черты которого так похожи на милое лицо и в то же время так непохожи, так безобразны. Вот это самое испытывал я, читая размазистый и слащавый роман г. Маркова. Что же касается выписанной тирады, то я не буду говорить о крайней наивности Суровцова, по-видимому, серьезно думающего, что он благодетель целого околотка. Письмо же Суровцова я привел для освещения всей идиллии и для показания, что г. Евгений Марков отнюдь не есть в самом деле какая-нибудь новооткрытая Америка, а обыкновеннейшая и избитая до плоскости «Европа». Надо быть действительно очень непроницательным наблюдателем, чтобы увидеть в этом призыве in's Grünu *, на лоно природы, что-нибудь характерное для какого бы то ни было времени. Всегда были люди, которые любили пить парное молоко, смотреть на деревенские хороводы, дышать воздухом полей и благодетельствовать работой окрестных крестьян. Всегда были и люди, склонные к занятию сельским хозяйством. Во всяком случае, не могут быть поставлены за общую скобку г. Евгений Марков и, например, гр. Толстой, как он выясняется четвертым томом его сочинений.

Мы далеко отошли от Шиллера, от Шиллера — до г. Евгения Маркова! — но многим может показаться, что это даже совсем недалеко, что Шиллер и г. Марков совсем рядом стоят, потому что оба проповедуют возвращение к природе, к простоте сельских нравов. Разница, в том, что проповедь Шиллера и в сто лет не состарилась, а проповедь г. Маркова так и родилась мертвой. Разница в самом источнике порываний того и другого. Сходство же, если оно есть, исчерпывается второстепенными и чисто внешними чертами. Допустим, что «Черноземные поля» в самом деле должны быть занесены в число признаков времени, что в этом литературном явлении выразилось не простое тяготение к

* к природе (*нем.*).

парному молоку, свежему воздуху и сельскохозяйственной деятельности, какое могло иметь место всегда и везде, а осложненное злобой дня, нечто характерное для нашего времени, для «семидесятых годов». Какая же это такая злоба дня здесь сказалась? Суровцов ставит свою сельскохозяйственную деятельность рядом с профессорскою деятельностью своих друзей. Он весьма справедливо не видит между ними типической разницы, хотя одна насаждает плоды знания, а другая плоды земли. Действительно, то и другое насаждение могут производиться и производятся при совершенно одинаковой общественной обстановке, до такой степени, что если в числе друзей Суровцова есть профессор политической экономии, то он, по всей вероятности, излагает с кафедры те самые принципы, которые изложены в письме Суровцова. И профессор, и сельский хозяин в настоящем случае окружены одной и той же духовной атмосферой. Правда, резкая разница обнаруживается в физической обстановке. Но это, очевидно, дело личного вкуса. Один любит атмосферу кабинета, типографии, аудитории, жизни городской, другой — атмосферу лесов, полей, жизни сельской. Допустим — что, однако, если и может быть допущено, то только в весьма скромных размерах,— допустим, что людей с деревенскими вкусами ныне становится сравнительно все больше, что утомленные городским шумом, измученные вообще городскими условиями жизни люди усиленно бегут in's Grüne. Бесспорно, это движение могло бы иметь многие, не лишенные значения последствия и несколько изменить и самый строй общественной жизни, но лишь в определенных и, в сущности, весьма ограниченных пределах, если при этом профессор политической экономии только превратится в сельского хозяина, оставаясь при тех же принципах, сменяя только кафедру и теорию на деревню и практику. И в том, и в другом случае он остается представителем одного и того же «движения» (если хотите, «европейского»). Мы очень хорошо знаем, в чем состоит это движение: в увеличении производства (в нашем частном случае — сельских продуктов). Механизм этого движения нам до такой степени хорошо известен, что и сомнения не может быть в том, что отлив сил из города в деревню может при нем продолжаться только весьма короткое

время. Оставаясь на нашем частном случае профессоров и сельских хозяев, нетрудно видеть, что пропорция тех и других может колебаться только в очень слабых пределах. Профессора политической экономии, исповедующие принципы Суровцова, неизбежны там, где существуют или могут существовать Суровцовы, и обратно: Суровцовы возможны только там, где раздается с кафедр или в книгах голос либеральной политической экономии. Положим, Петров перейдет с кафедры in's Grüne по следам Суровцова, но на его место непременно явится Иванов, а если и Иванов уйдет, так его заменит, может быть, даже сын Суровцова. Понятно, что от такого рода перемен никому ни тепло, ни холодно, кроме непосредственно действующих лиц. Все это «движение» есть буря в стакане воды, не имеющая ровно никакого общественного значения, и было бы совершенно недостойно литературы видеть в ней какой-нибудь признак времени, что-нибудь характерное и важное. Недостойно литературы отмечать, как нечто заслуживающее внимания, такую плоскую идеализацию быта современных просвещенных помещиков, какую представляют «Черноземные поля» г. Евгения Маркова.

Шиллеровский призыв имеет совершенно другой характер. И для того чтобы сделать из него лозунг нашего времени, нужно только дополнить его, сообразно его основному принципу и тем историческим явлениям, которые народились после Шиллера. Не парное молоко (очень, впрочем, хорошая вещь) и не заигрывания сельских кавалеров с благорожденными деревенскими девицами соблазняли Шиллера в прошедшем и в лоне природы. Он завидовал тому, что каждый человек был некогда полным носителем культуры своего времени или, говоря словами гр. Л. Толстого, сам удовлетворял всем своим человеческим потребностям. То движение, которое уничтожило этот порядок вещей, Шиллер признавал пагубным, хотя очень хорошо понимал, что именно оно дало нам и знания, и материальные богатства. Он, конечно, не был против движения вообще, желал не неподвижности и не обращения вспять, а того единственно, чтобы и ныне каждый человек был полным носителем культуры *своего* времени, то есть опять-таки сам удовлетворял всем своим потребностям, круг которых постоянно расширяется. При такой постановке

вопроса заботы о «движении» теряют всякий смысл, и на первый план выдвигается то, что и Шиллер, и гр. Толстой называют гармонией развития. Позднейший исторический опыт только подтвердил анализ Шиллера и вместе с тем к нашему времени вызвал в Европе многочисленные частные протесты, совершенно укладывающиеся в протест Шиллера, не только протесты, а и более или менее удачные попытки положительных решений. Шиллер глубоко скорбел о розни эмпирического и чистого разума, как он говорил, а по-нашему — опыта и умозрения. После него эта рознь достигла одно время колоссальных размеров и считалась необходимым условием «движения» мысли, но ныне соглашение этих двух форм исследования, совмещение их в одной и той же личности составляет вопрос бесповоротно решенный. Никто не сомневается в необходимости и возможности такого совмещения. В области экономической взгляд Шиллера по обстоятельствам времени не проник дальше розни «труда и наслаждения», то есть самой формулы. После него эта рознь достигла колоссальных размеров и все продолжает расти, сосредоточивая собственность в одних руках, предоставляя труд другим. Политическая экономия Суровцова и комп. признает эту рознь необходимым условием экономического движения. Но вместе с тем мы видим ряд попыток как в науке, так и в жизни совместить труд и собственность в одной личности. И надо думать, что необходимость и возможность такого совмещения станет скоро тоже вне всяких сомнений. Так идет дело в Европе. Это тоже европейское движение, господа. Угодно ли вам именно его признать своею путеводною звездой? Если да, то так и говорите и бросьте канитель «Европы» вообще и «движения» вообще. Если да, то вместо «Европы» вы имеете полное право подставить «русский народ» в свою формулу. И тогда выйдет: «Вся программа настоящего времени, все его стремления, желания и цели, все руководящие принципы семидесятых годов — словом, все их profession de foi может быть исчерпано двумя словами: русский народ».

апрель 1876 г.

«НОВЬ»

«Печатая этот небольшой рассказ и зная, что в публике ходят слухи о большом произведении, над которым я тружусь, я чувствую потребность обратиться к ее снисходительности. Задуманный мною роман все еще не кончен; надеюсь, что он появится в «Вестнике Европы» в течение нынешнего года, а пока — пусть не погневаются на меня читатели за настоящее captatio benevolentiae * и пусть, в ожидании будущего, прочтут мой рассказ не как строгие судьи, а как старые знакомые — не смею сказать: приятели».

Г. Тургенев счел нужным сопроводить таким примечанием рассказ «Часы». Оно очень характерно, это примечание. В нем выразилось и сознание стародавнего любимца русского читающего люда, что он перестал быть любимцем, и грусть этого сознания, и желание вернуть старые приятельские отношения, и надежда на осуществление этого желания. Все очень естественные, законные чувства. Кто привык «вязать и решать», быть выразителем и отчасти даже «властителем дум» своих современников, кто привык видеть, как толпа с волнением ждет его слова, тому тяжело очутиться в положении г. Тургенева. Кругом сумрачно и холодно, холодные, чужие лица, несколько даже изумленные изящною повелительностью манер бывшего любимца. Они знают, конечно, прошедшее любимца, но не переживали его с ним вместе, знают только как совершившийся факт, который был и быльем порос, а потому самоуверенность и плавная величественность, снисходительная небрежность движения этого человека для них непонятны, несколько даже смешны. Очень тоже все это естественно, но от того не легче развенчанному любимцу, особенно, если он знает, как знает г. Тургенев, что старость-Далила не остригла его волос, что он — тот же Самсон, способный по-старому волновать и трогать чи-

* заискивание чьего-либо расположения (*латин.*).

тателя. Ему непременно должно казаться, что все дело в каком-то пустячном, ничтожном недоразумении, устранить которое чрезвычайно легко тоже каким-то пустяком, вроде грациозного жеста или приятной улыбки. Но черт их знает, этих людей с такими холодными, чужими лицами, черт их знает, в чем они полагают грацию и какую улыбку назовут они приятною! Тут так легко попасть впросак. Да и положим, наконец, что искомое найдено, нельзя же его пустить в ход с поспешностью человека, напрашивающегося, нуждающегося. Нет, надо, конечно, показать, что возобновить или вновь установить приятельские отношения очень желательно, но, с другой стороны, надо все-таки сохранить отчасти вид человека, которому, собственно говоря, совершенно наплевать. И вот, когда этих надежд, опасений, сомнений, алканий достаточно накопится на душе у бывшего любимца, он пишет вышеприведенное примечание к рассказу «Часы».

А затем он пишет «Новь».

Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех — для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей — охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях. Г. Тургенев — не то чтобы в самом деле Самсон, но все-таки сила, навсегда вписавшая свое имя в историю русской литературы. Но какие странные, невозможные требования предъявляются этой силе публикой! Русская беллетристика не клином сошлась на г. Тургеневе. Есть у нас и другие крупные таланты, не ниже тургеневского, с которыми, однако, читатели не обходятся так деспотически. Если новое произведение, например Толстого, Достоевского, вызывает иногда сожаление, что автор взял не ту тему, которую по тем или другим соображениям должен был взять, если даже кое-кто берется при этом указывать им сюжеты, достойные их пера, то все эти требования, сожаления, указания предъявляются применительно к свойствам таланта писателя или к кругу знакомых ему явлений.

В общем, мы своих наличных любимых писателей знаем удовлетворительно. Знаем, на какие явления они по свойствам своих талантов лучше всего отзываются, знаем, что они любят и чего не любят, знаем, какие явления им наиболее знакомы, и потому редко предъявляем им какие-нибудь неразумные требования. Совсем не то с г. Тургеневым. От него требуется, чтобы он, как выражается полупьяный купец в одном рассказе Горбунова, «ловил момент». Печатает, например, г. Тургенев «Вешние воды» — историю двух любвей одного слабого человека: любовные дела и слабые люди изучены им до тонкости, изображает он их мастерски, а публика говорит: не того мы ждали от Тургенева! Печатает много других вещей различного достоинства, а публика все свое: должен ловить момент! Замечательно, что требования эти не останавливаются даже всеобщим охлаждением; а когда г. Тургенев попытается удовлетворить им и даст что-нибудь вроде «Дыма» или «Нови»,публика остается недовольна, вернее, неудовлетворена, но разве только «Новь» окончательно убедит читателей в несправедливости, неисполнимости и даже оскорбительности требования: лови момент. Оскорбительно оно не потому, конечно, что, как думали когда-то и как думают теперь разве какие-нибудь пятиалтынные критики, поэзия не обязана знать «злобы дня», что поэты «рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Собственно, об этом даже толковать не стоит, потому что где же они, эти поэты, пробавляющиеся исключительно вдохновением и сладкими звуками? Их нет. Горсточка какая-нибудь старичков осталась, как справедливо заметил г. Тургенев в разговоре с Писаревым [1], а со времени этого разговора воды утекло еще больше. Ну, и Бог с ними. Но от г. Тургенева требуется не простая отзывчивость на то, что в нас и кругом нас делается, что нас волнует и тревожит. Это-то мы рассчитываем получить и от Толстого, и от Достоевского, и от Островского, и от Некрасова, и от Щедрина. От г. Тургенева требуется нечто иное, что именно — трудно сказать, да и едва ли сами требующие ясно себе представляют. Тургенев, видите ли, должен уловить каждое нарождающееся на Руси общественное влияние (более или менее крупное, разумеется) в его типичнейших представителях, проникнуться им, ввести

его в свою плоть и кровь и затем выпустить в виде ярких, характерных образов, да еще с некоторой перспективой, с некоторым поучением на придачу. Он должен сказать какое-то «слово», которое вдруг все разъяснит, всему укажет свое место. Ближе говоря, предлагаемая г. Тургеневу специальность состоит в изображении так называемых «новых людей», не тех или других, а вообще новых, то есть и тех, которые были новыми лет пятнадцать тому назад, и нынешних новых. Другим писателям предоставляется вся совокупность политических, экономических, нравственных условий, породивших тех или других «новых», а с г. Тургенева требуются только они. Странная специальность вообще, но еще страннее навязывать ее именно г. Тургеневу. Г. Тургенев прекрасно нарисовал нам несколько типов сороковых годов. Допустим, чтобы не поднимать старого и теперь уж, пожалуй, праздного спора, что в «Отцах и детях» тоже верно схвачены типические черты «новых людей» того времени. Допустим, наконец, что и «Новь» в этом отношении безукоризненна. Ну а если г. Тургеневу Бог даст веку еще лет на двадцать и если к тому времени народятся опять какие-нибудь новые люди,— неужто же можно будет требовать, чтобы он и их взвесил и смерил? Конечно, нет, и вовсе не потому, чтобы к тому времени талант г. Тургенева должен был непременно ослабнуть, а просто потому, что эти будущие люди могут потребовать таких красок, каких нет и не было никогда на палитре г. Тургенева. Представим себе, что эти будущие люди будут какие-нибудь чрезвычайно спокойные, «уравновешенные» натуры, твердые, не болеющие никакой внутренней тревогой. Мы знаем очень хорошо, что, например, г. Достоевский при всем своем огромном таланте таких людей не в состоянии изобразить. Знаем мы это потому, что г. Достоевского знаем, свойства его таланта знаем. А г. Тургенева мы не только не знаем, хотя об нем писано больше, чем об ком-нибудь, а и знать не хотим. Иначе мы не создали бы для него странной специальности «новых людей», а всякий раз присматривались бы, таковы ли эти новые люди, чтобы могли подойти под особенности таланта г. Тургенева. Но этого мало: тут не в одном таланте дело. Для поэтического воспроизведения какого бы то ни было явления нужно, во-первых, чтобы художнику

оно было знакомо и чтобы, во-вторых, оно имело с ним какие-нибудь нравственные связи, чтобы оно ему было дорого или ненавистно, возбуждало в нем сочувствие, отвращение, презрение, уважение, негодование — что-нибудь. Относительно г. Тургенева мы решительно не интересуемся соблюдением этих двух необходимейших условий. Знает он или не знает «новых людей», питает ли он к ним какие-нибудь определенные чувства, или они для него просто совсем чужие люди — мы с этим не справляемся. Мы твердим свое оскорбительное: лови момент! Оскорбительно оно не только потому, что в нем отражается вообще неуважение (бессознательное, конечно) к личности г. Тургенева, но и потому, в частности, что оно предполагает в г. Тургеневе такое крайнее легкомыслие и такое недостойное его таланта популярничанье, которое заставит его сунуться во всякую воду, не спросясь броду. Факты налицо. Всем известно, что г. Тургенев давно уже живет за границей, наезжая в Россию в два года раз на месяц, на полтора. Нельзя, конечно, сказать, чтобы он порвал все нравственные связи со своим отечеством, старые связи, вероятно, более или менее сохранились, но уж можно наверное сказать, что новых связей он никаких не устроил. Все наиболее интимное в русской жизни за последнее время ему и незнакомо, и нравственно чуждо. Нынче летом он сам говорил некоему г. П.: «В настоящее время многие близкие мне люди даже вовсе не знают по-русски». Тем не менее высказывались и в печати надежды встретить в «Нови» какое-то откровение. Существует, правда, странный предрассудок, будто художнику, поэту не нужно короткое знакомство с предметом его картин, так как, дескать, в его распоряжении имеется таинственная сила «вдохновения», «поэтического чутья», восполняющая недостаток знания. Но это — нелепость, противоречащая и здравому смыслу, и науке. Из ничего — ничего и не будет. Мы знаем, что величайшие художники были вместе с тем и тружениками, изучавшими свои сюжеты с не меньшим тщанием, чем какой-нибудь великий ученый свой предмет. Поэту приходится ставить своих героев в самые разнообразные положения, а для этого он должен знать их вдоль и поперек, и без такого знания его не выручит никакое вдохновение. В какое же положение ставит

публика г. Тургенева, требуя от него художественного изображения дел и людей, ему незнакомых, чужих?

Но г. Тургенев принимает это положение и тем самым оправдывает оскорбительное к нему отношение массы читателей. Если нельзя прямо сказать, что ему принадлежит почин в этом прискорбном недоразумении, то, во всяком случае, он не сделал ни одного прямого шага для его устранения. Ему предстояло одно из двух: или учиться, то есть изучать намеченные им для поэтической обработки явления, изучать долго, упорно, внимательно, а не из прекрасного парижского далека, или откровенно отказаться от этой поэтической обработки. При его склонности к публичным заявлениям о своих делах и делишках он мог бы даже в какомнибудь примечании или в письме в редакцию «Вестника Европы» [2] довести до общего сведения что-нибудь в таком роде: «Зная, что в публике ходят слухи о новом моем произведении, написанном будто бы на тему «некоторых новых явлений среди нашей молодежи», считаю нужным сказать, что явления эти мне очень мало известны, а потому и воспользоваться ими я не могу». Но г. Тургенев не сделал ни того, ни другого. Он просто писал «Новь». Он имел, конечно, свои резоны, но, говоря по совести и с полным уважением к уму и таланту г. Тургенева, трудно понять эти резоны вне легкомысленного желания удовлетворить неразумному запросу.

Содержание нового романа г. Тургенева, конечно, всем известно, и рассказывать его не стоит. Написан он на тему революционного «хождения в народ». Нам, в России живущим, трудно судить о степени верности лиц «Нови» и их дел. Знаем мы эти дела только по слухам да из некоторых политических процессов [3]. Но так как мы живем в России, то незнание наше все-таки по крайней мере не превышает незнания г. Тургенева, а потому кое-какие соображения для оценки «Нови» у нас есть. У нас есть, во-первых, данные для оценки некоторых подробностей, частностей, не играющих существенной роли в романе, но не безынтересных. Например, в романе фигурирует некая девица Машурина, очень некрасивая, между прочим. Вот как говорит об ней автор: «Года полтора тому назад она бросила свою родную, дворянскую небогатую семью в южной России, прибыла в Петербург с шестью целковыми в кармане,

поступила в родовспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девица... и очень целомудренная девица. Дело не удивительное! скажет иной скептик, вспомнив то, что сказано об ее наружности. Дело удивительное и редкое! позволим себе сказать мы». Этими словами г. Тургенев «позволил себе сказать» просто неправду, основываясь, конечно, на неверных сведениях, доставленных ему кем-нибудь из России. За неимением статистики целомудрия (вот бы хорошо завести, всякий бы знал по крайней мере!) нельзя этого доказать, но все мы, живущие в России, тем не менее знаем, что Машурина с этой стороны вовсе не составляет чего-нибудь «редкого и удивительного». Бывает это часто. Таких мелочей, где мы, по необходимости ближе стоящие к делу, можем с удобством проверить показания г. Тургенева, можно найти немало. Но Бог с ними, с мелочами. Ошибка в фальшь не ставится. Одно только можно сказать: какое нам дело до целомудрия госпожи Машуриной и какие уж мы с г. Тургеневым контролеры чужого целомудрия?

Ошибка в фальшь не ставится. Но фальшь уже непременно в счет идет. А и для этого у нас, русских читателей, есть не то, что определенные, объективные данные, хотя есть и они, а, так сказать, данные субъективные, внутри нас лежащие.

Политические процессы следуют один за другим Правительство, естественно, озабочивается приисканием мер против этого рода преступлений. Интересуются ими газеты, интересуется общество. Все хотят знать, в чем же дело? где причины этих революционных попыток? почему они направлены именно так, а не иначе? Все стараются разрешить эти вопросы, кто — про себя, кто — публично. Вот, например, г. Достоевский в декабрьском номере своего «Дневника» объясняет дело утратою веры в бессмертие души. Другие указывают [как] на причину на разложение семьи, утратившей возможность или желание направлять своих младших членов к строго легальным целям. Третьи укажут на условия школьного воспитания и образования. Четвертые — на экономические условия и т. д. При всем разнообразии этих объяснений в них есть одна общая черта: они ищут корня дела, его общественных причин. Это понятно. Каждому русскому естественно искать

общих причин этих явлений. Брат Ивана Сидорова, муж Марьи Ивановой, тетка Сидора Иванова интересуются личною судьбою своих родственников и подыскивают в их жизни причины их революционного увлечения. Но, вообще-то говоря, эти личные истории Ивана Сидорова и проч. в таком только случае интересны, если в них содержится хоть намек на историю общую. Естественно было бы ждать чего-нибудь подобного и от романа г. Тургенева. К сожалению, это не вошло в его задачу. На то была, конечно, его добрая воля, но дело в том, что вследствие этого его роман в значительной степени утрачивает свой raison d'être *.

Все действующие лица «Нови» являются в известном смысле вполне готовыми, что, мимоходом сказать, придает им какую-то деревянность. Процесс образования идей и чувств, толкнувших их на опасную дорогу, или совсем скрыт (Машурина, Остродумов, Соломин), или коротенько рассказан «словами», да и то очень неполно. Возьмем, что есть.

Маркелов (фигура едва ли не самая яркая и законченная) «воспитывался в артиллерийском училище, откуда вышел офицером, но уже в чине поручика он подал в отставку по неприятности с командиром-немцем. *С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев.* Отставка расстроила его с отцом, с которым он так и не виделся до самой его смерти, а унаследовав от него деревню, поселился в ней. *В Петербурге он часто сходился с разными людьми, перед которыми благоговел, они окончательно определили его образ мыслей.* Читал Маркелов немного и больше все книги, идущие к делу: Герцена в особенности. Он сохранил военную выправку, жил спартанцем и монахом. Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манером и вышла за адъютанта — тоже из немцев. *Маркелов возненавидел также и адъютантов.* Он пробовал писать специальные статьи о недостатках нашей артиллерии, но у него *не было никакого таланта изложения: ни одной статьи он не мог даже довести до конца... Ему вообще не везло — никогда и ни в чем: в корпусе он носил название неудачника*». Ясно, что

* право на существование (*франц.*)

Маркелова толкнули на дорогу революции личные неудачи. Не поссорься он с командиром-немцем, он продолжал бы себе служить как следует; не отбей у него невесту адъютант — он был бы, может быть, прекрасным семьянином и заботился бы о создании себе уютного гнездышка; имей он литературный талант, он писал бы специальные статьи для военных изданий и, может быть, оказал бы существенные услуги отечественной артиллерии. Но так как он был «неудачник», то из него вышел революционер. На отвратительном пиршестве у отвратительного Голушкина Маркелов «забарабанил глухим, злобным голосом, настойчиво, однообразно («ни дать, ни взять — капусту рубит»,— заметил Паклин). О чем собственно он говорит, не совсем было понятно: слово «артиллерия» послышалось из его уст в момент затишья... он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам».

Нежданов, которым автор особенно занят, является в романе даже больше, чем готовым. Он чуть не на первой странице заявляет свой скептицизм, свое желание отойти от дела, в которое перестал верить. Но ни процесса этого разочарования, ни предшествующего процесса «очарования» мы не знаем. Все дело, по-видимому, в том, что Нежданов — незаконный сын вельможи и очень этим тяготится, так тяготится, как это редко бывает на Руси, особенно в том кругу, где вращается Нежданов. Таким образом, единственным источником революционного пыла Нежданова оказывается его двусмысленное общественное положение. Опять чисто личная жизненная неудача.

Марианна. К этой девушке г. Тургенев относится несколько милостивее, или, вернее, по поводу нее он отнесся милостивее к читателям. Роман, в котором изображаются только «поступки», ряд действий, без внутреннего, психического развития персонажей, был бы очень плох даже в чисто художественном смысле. В прежних романах г. Тургенева, как и в большинстве романов, это внутреннее, психическое развитие сосредоточивалось на процессах и перипетиях любви. Постепенное разгорание или потухание страсти, разные столкновения на этой почве приковывали к себе внимание читателя и заставляли его с интересом следить даже

за пустячными внешними действиями, «поступками». «Новь» — роман политический, а потому в нем психическое движение должно хоть отчасти основываться на политических мотивах. Но, как сказано, все действующие лица «Нови» оказываются в этом отношении точно замороженными. Насчет движения любовного мы получаем материалу очень достаточно: как в госпоже Сипягиной поднимается и быстро падает неопределенное влечение к Нежданову, как зарождается и растет в Нежданове любовь к Марианне, какие разнообразные оттенки принимает последовательно склонность Марианны сначала к Нежданову, а потом к Соломину. Но как зарождаются, растут, падают чувства и идеи политические, это остается в тумане. Только Марианна составляет маленькое исключение, очень маленькое, хотя автор приложил даже особенное старание к выяснению ее образа с этой стороны. Отец Марианны был сослан за позаимствование из казенного сундука в Сибирь. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя, но она всегда тяготилась этим покровительством, с болью помнила, что она — «дочь обесчещенного отца», что она живет из милости и что госпожа Сипягина есть ее «покровительница», хотя и «невольная». И вот эта гордая, оскорбленная, озлобленная девушка, представляющая нечто вроде кучи горючего материала, которая ждет только искры со стороны, чтобы вспыхнуть, сталкивается с Неждановым, тоже гордым, оскорбленным и озлобленным. В одну из своих светлых минут Нежданов, подмываемый любовью к Марианне и вообще «взвинченный», как выражается об нем г. Тургенев, красноречиво, с жаром раскрывает свои революционные тайны и планы.

«Она его слушала внимательно, жадно, на первых порах она изумилась... Но это чувство тотчас исчезло. Благодарность, гордость, преданность, решимость — вот чем переполнилась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли, она положила другую свою руку на руку Нежданова, ее губы раскрылись восторженно... Она вдруг страшно похорошела.

Он остановился, наконец, глянул на нее и как будто впервые увидал *это* лицо, которое в то же время было

и дорого ему, и так знакомо. Он вздохнул сильно, глубоко...

— Ах, как я хорошо сделал, что вам все сказал! — едва могли шепнуть его губы.

— Да, хорошо... хорошо,— повторила она тоже шепотом. Она невольно подражала ему, да и голос ее угас.— И, значит, вы знаете,— продолжала она,— что я в вашем распоряжении, что я хочу быть тоже полезной вашему делу, что я готова сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут, что я всегда всей душой желала того же, что и вы...

Она тоже умолкла. Еще одно слово, и у нее брызнули бы слезы умиления. Все ее крепкое существо стало внезапно мягко, как воск. Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной — вот чем она томилась».

С этой минуты Марианна становится ревностным адептом учений кружка Нежданова, доходя при этом даже до совершенной глупости, потому что впоследствии постоянно пристает к Соломину: когда же вы нас пошлете? да скоро ли вы нам прикажете идти? А тому и посылать некуда, и приказывать нечего! Как бы то ни было, но вот единственное место во всем романе, где г. Тургенев пытается выяснить интересный момент пробуждения известных стремлений. Немного Но и это немногое сводится в конце концов к случайным обстоятельствам личной жизни Марианны, к ее несчастной семейной обстановке.

Таким образом, общественное явление сведено у г. Тургенева к разнообразным, мелким, личным причинам. Он, разумеется, сам понимает, что это неверно, что и «червонных валетов», например, можно тоже представить в виде кучки «неудачников», ни на волос не объяснив дела. Он слишком умен, чтобы не понимать этого. Наконец, заключительные слова Паклина (которому автор вкладывает много своих собственных, тургеневских шпилек и острот, а отчасти и серьезных мыслей, предоставляя, впрочем, свое серьезное, задушевное более Нежданову), заключительные слова Паклина о Соломине ясно говорят, что какая-то общая причина, общий фон всех этих отдельных личных историй существует. Какая причина? какой фон? — этого

г. Тургенев не знает и не хочет знать. С него требуют «новых людей». Он исполняет требование, специализирует свою задачу до уровня неразумного закона и, следуя голосу заказчиков, предоставляет всю совокупность условий, породивших «новых людей», другим, а себе оставляет только их висящие на воздухе личности и их «поступки». Такова основная фальшь романа. Но, раз приняв непосильный заказ, г. Тургенев естественно должен был пойти и далее по этой скользкой дороге фальши. Человек, который берется, по каким бы то ни было побуждениям, говорить о предмете, для него невидимом, как о видимом, должен все время разговора лавировать, многое обходить, многое совсем постороннее приплетать и т. п. Это случилось и с г. Тургеневым. Замечательно, что все *верующие* «новые люди» у него очень честны, но чрезвычайно тупы, тупы не случайно, а по велению автора; это уже из того видно, что неверующим (Нежданову, Соломину, Паклину) он в уме не отказывает и даже ценит их в этом отношении свыше меры. Об Остродумове Паклин (очень часто alter ego * самого г. Тургенева) выражается так: «Не все же полагаться на одних Остродумовых! Честные они, хорошие люди, зато глупы! глупы!!! Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы его сапогов, и те не такие, какие бывают у умных людей». Машурина, Кисляков до такой степени глупы, что составляют даже мишень для остроумия автора. О Маркелове прямо говорится как о человеке с «ограниченным умом», как о «существе тупом». О Марианне ничего подобного не говорится, но ведет она себя положительно глупо. Все это не случайно, а непременно так и должно было выйти у г. Тургенева. Если вам закажут роман из китайской жизни и вы будете иметь под руками только кое-какие скудные печатные материалы, вас невольно потянет к изображению людей тупых, ограниченных, потому что их несведущему человеку изобразить легче: натуры у них несложные, кругозор узенький, поступки аляповатые. Повернуть дурака можно куда угодно, без всякой ответственности, в душу залезть к нему немудрено. Эта сплошная глупость верующих еще особенно оттеняется невидимым присутствием их

* двойник (*латин*).

вожака, об котором только и известно, что зовут его Василием Николаевичем и что все ему повинуются. Г. Тургенев, очевидно, сам чувствовал, что ему не справиться с этим типом, и потому ни разу не показал его читателю. Но тогда зачем же было огород городить?

Глупые люди были до такой степени нужны г. Тургеневу, что он оказался вынужденным привлечь к участию в их глупостях даже своих умниц. Помните, например, как Маркелов, Нежданов, Паклин и Соломин посещают Голушкина и супругов Субочевых, эту, мимоходом сказать, очень плохую и неизвестно для чего вставленную пародию старосветских помещиков Гоголя. Оба эти посещения составляют сплошную глупость, не без грязного оттенка вдобавок. Даже непонятно, как такие серьезные и умные люди, какими автор желает представить Соломина и отчасти Нежданова, могут, Бог знает зачем, проводить время с блаженными Фомушкой и Фимушкой, пьянствовать с глупцом и негодяем Голушкиным, болтать при этом совсем неподходящие вещи в присутствии совершенно незнакомого голушкинского приказчика, который потом и оказывается предателем. Неужто даже у умниц не хватило смысла понять, что рекомендация Голушкина очень мало надежна? Но такова уж сила глупости всех изображаемых г. Тургеневым поступков, что, как только начнут люди «поступать», так и распространяют кругом себя заразу глупости. И все это только потому, что глупых легко рисовать...

Но замечательнейшую, если можно так выразиться, увертку г. Тургенева составляет личность Нежданова. Это — старый тургеневский тип: «надломленная», «вывихнутая», раздвоенная натура, из «самоедов, грызунов, гамлетиков», как говорит об этих людях Шубин в «Накануне» (недаром Паклин называет Нежданова «российским Гамлетом»). Он не может сделать ни одного шага без оглядки внутрь себя. Он всегда идет не туда, куда его тянет, и тянет его не туда, куда он идет. Он не может ничему отдаться вполне — ни любви, ни деятельности, ни искусству. Несчастный человек, для которого мучительная, микроскопически тщательная копотня в самом себе, в собственной душе есть нормальное состояние. А для того чтобы перестать прислушиваться к шуму в собственных ушах и отдаться,

хотя бы на самое короткое время, какой-нибудь одной мысли, нераздвоенному чувству, он должен «взвинтить» себя, искусственно прийти в состояние нравственного опьянения. Все — старые, знакомые черты, анализом которых г. Тургенев стяжал свои наиболее заслуженные лавры. Вдобавок, подобно многим старым героям г. Тургенева, Нежданов пасует перед любимой женщиной, оказывается много ниже и слабее ее. Мотивы эти изучены г. Тургеневым до тонкости, и надо удивляться той виртуозности, с которою он их разыгрывает. В изображении этих людей за г. Тургеневым всегда признавалась, кроме мастерства, еще одна особенная заслуга; в них он «поймал момент» ни дальше, ни ближе, как приснопамятных сороковых годов. С них именно начинаются права и обязанности г. Тургенева как ловителя моментов, и, каковы бы ни были его последующие уловы, но этот первый был очень удачен. Все, кто ни писал о г. Тургеневе, а писали об нем очень многие, рассуждали на эту тему и доказывали, что «гамлетики, самоеды» суть типичнейшие продукты эпохи. Слава «чуткости» г. Тургенева! Затем он пишет «Накануне». Слава чуткости г. Тургенева! Он понял, что пришел конец гамлетикам и самоедам, что если не в действительности, то в мысли современников формируется новый тип, на первый раз по необходимости принимающий плоть и кровь болгарина, а не русского. Время летит дальше, и г. Тургенев пишет «Отцов и детей». Хотя тут слава чуткости была провозглашена не совсем единодушно, но все-таки Базаров и гамлетики — небо и земля. Затем г. Тургенев пишет «Дым», которым коптит все направо и налево, и, наконец, «Новь». Мы, русские читатели, пожалуй, опять готовы воспеть хвалу чуткости, но вдруг замечаем на авансцене в поэтическом центре романа «черты знакомого лица». Да, это старый, старый знакомый, это — «лишний человек». Лишний человек говорил о себе: «Про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний, да и только. Сверхштатный человек — вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и, вследствие этого, обошлась со мной, как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась» [1]. А Нежданов говорит: «В том-то и дело, я —

труп, честный, благонамеренный труп, коли хочешь... Какое право имел отец втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые несвойственны среде, в которой я должен вращаться? Создал птицу, да и пихнул ее в воду!» Мысль жалобы, тон, даже выражения почти одни и те же. Одно, значит, из двух: или г. Тургенев приобрел совсем задаром репутацию чуткости своими гамлетиками и самоедами сороковых годов, или оказался не очень чутким в 1876 году. Дилемма так проста, что и указывать на ее разрешение не стоит. Само собою разумеется, что типичнейшие представители интеллигенции сороковых годов не могут быть такими же типичнейшими представителями семидесятых: слишком многое изменилось на Руси за эти три, четыре десятка лет. Слова нет, Неждановы возможны и теперь и даже наверное существуют. Но не все существующее может занять центральное положение в политическом романе. Скептик, да еще прирожденный скептик, неверующий здесь особенно неуместен, потому-то он — исключение. Можно, пожалуй, и исключением удовольствоваться, с тем, однако, условием, чтобы в нем как-нибудь отразилось общее правило. Например, можно себе представить картину всемирного потопа, в которой самого потопа нет, а есть только обитатели спасенного ковчега. Но в фигурах этих спасенных должны отразиться, кроме радости спасения, и ужас пережитой опасности, и ужас воспоминаний о погибших, и сочувствие жертвам, павшим на глазах спасенных, и много еще других чувств. Возможна ли подобная картина в действительности, доступна ли она человеческим силам? Пусть судят специалисты. Но, во всяком случае, у г. Тургенева нет ничего подобного. Его Нежданов — совсем исключительное исключение. Мы видим, что люди гибнут. Мы хотим знать, откуда у них берется вера, где источник силы этой веры? Является г. Тургенев и с грациозно благосклонным жестом говорит: я вам это с удовольствием покажу. И затем все наше внимание сосредоточивает на душевных муках человека неверующего, случайно попавшего в водоворот! Но мы сами виноваты, что хоть на минуту подумали, что он может дать что-нибудь иное. Однако виноват тоже, и больше даже нашего виноват, сам г. Тургенев. Как психологический тип гамлетики ему фактически знако-

мы и нравственно близки: он с ними рос. Он перепробовал для изображения различных их оттенков много разных обстановок. Что мудреного, если он захотел окружить этот излюбленный им тип обстановкой «Нови»? Но надо было сделать это откровенно. Надо было оставить Остродумовых, Машуриных, Маркеловых и особенно Соломина по возможности совсем в стороне. Марианну, конечно, удалить нельзя, потому что тургеневский Нежданов немыслим без женщины, перед которой он пасует. Тогда дело было бы ясно: автор взялся разрешить частную задачу, элементы которой ему знакомы. Можно наверное сказать, что г. Тургенев написал бы на эту тему прекрасную, хоть и подновленную вещь. И в «Нови» около Нежданова можно найти несколько превосходных страниц. Но г. Тургенев поступил как раз наоборот. Он взялся разрешить общую задачу, а так как она ему не по силам, то он должен был прибегать к разного рода уловкам: набрасывать вуаль на многое важное и резко выпячивать вперед многое неважное. К числу таких уловок относится и Нежданов. Вместо того чтобы просто и скромно пополнить свою коллекцию гамлетиков гамлетиком-революционером, он посадил его в передний угол целого политического романа с многозначительным эпиграфом. Иначе он и не мог поступить. Если человек взялся нарисовать лес, когда у него в распоряжении нет зеленой краски, так, конечно, в картине будут и красные березы, и синие ели. Но он мог не браться...

Г. Тургеневу наклевывалась еще одна частная задача, которую он, конечно, не мог бы исполнить с таким удобством, как историю гамлетика-Нежданова, но на которой стоит все-таки остановиться для выяснения фальши романа как целого. Это — история Соломина. Соломин — совершенная противоположность Нежданова, хотя, как и он, не верит в планы своих товарищей. Он — натура цельная, здоровая, спокойная, «уравновешенная». Он любит народ, болит его болями, скорбит его скорбями, но, будучи уверен, что увлечь народ планами насильственного переворота невозможно, довольствуется «школами и прочим» на фабрике, где служит, а в конце концов «свой завод имеет небольшой, где-то там в Перми, на каких-то артельных началах». В общей картине этот человек как частность

мог бы занять подобающее ему место. Такие люди бывают. Их душевная жизнь представляет значительный интерес. Посмотрите же, что сделал из Соломина г. Тургенев. Желая придать его деятельности, очень простой и очень скромной (как должен сознавать сам Соломин, если он действительно «умен, как день») многозначительный и даже несколько таинственный характер, он делает из него туманную фигуру, какой-то ходячий, олицетворенный совет. Соломин берется всем советовать, и все его советов слушаются. Сам автор устами Паклина советует слушаться советов Соломина. Но ведь чтобы советовать, надо знать дело, а г. Тургенев его не знает, следовательно, и подсказать Соломину может только очень немногое. Оттого и туманна фигура Соломина и даже совершенно неправдоподобна. Он, по рекомендации автора, человек честный, прямой, не виляющий, а, между тем, постоянно виляет, то есть его заставляет вилять сам же автор, стоящий в фальшивом положении. Например, Марианна по своей глупости, долженствующей изображать энтузиазм, пристает к нему, чтобы он ее «послал». Соломин уговаривает: «Дело это еще не так скоро начнется, как вы думаете. Тут нужно еще некоторое благоразумие. Нечего соваться вперед, зря. Поверьте мне». Так как, по щучьему велению, по тургеневскому приказанию, все обязаны слушаться Соломина и верить ему, то и Марианна, несмотря на весь свой пыл, верит. Но все-таки пристает. Хорошо, говорит, но ведь есть «подготовительные работы... вы нам укажите их, вы только скажите нам, куда нам идти... Пошлите нас! Ведь вы пошлете нас?

— Куда?

— В народ... куда же идти, как не в народ?

Соломин поглядел пристально на Марианну.

— Вы хотите узнать народ?

— Да, то есть не узнать народ хотим мы только, но и действовать... трудиться для него.

— Хорошо, я вам обещаю, что вы его узнаете. Я доставлю вам возможность действовать и трудиться для него».

Виляньe и двусмысленности Соломина этим не оканчиваются. Марианна опять пристает, уже после бегства от Сипягиных, а он отвечает: «Все это мы устроим впоследствии». Наконец, сам Соломин входит во вкус

и начинает вызывать Марианну на приставанье. Та и рада. Тогда он ей советует: «Вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите, и трудно вам это будет, потому что нелегко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь, а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучитесь, а пока ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите». «Вот вам и начало»,— прибавляет Соломин, давая тем понять, что в будущем предстоят новые советы, тогда как у него их вовсе нет. Марианна замечает, что она мечтала о другом. «Вам хотелось пожертвовать собой?» — спрашивает Соломин. Глаза Марианны заблистали: «Да... да... да!» Соломин очень хорошо понимает, в чем дело, но быстро увертывается в сторону, и разговор кончается так:

«— Знаете что, Марианна... Вы извините неприличность выражения... но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва,и большая жертва, на которую немногие способны.

— Да я и от этого не отказываюсь, Василий Федотыч.

— Я знаю, что не отказываетесь! Да, вы на это способны. И вы будете пока делать это, а потом, пожалуй, и другое.

— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

— И прекрасно... учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать кур... А там, кто знает? может быть, спасете отечество!

— Вы смеетесь надо мной, Василий Федотыч.

Соломин медленно потряс головой.

— О, моя милая Марианна, поверьте: не смеюсь я над вами, и в моих словах простая правда. Вы уже теперь, все вы, русские женщины, дельнее и выше нас, мужчин.

Марианна подняла опустившиеся глаза.

— Я бы хотела оправдать ваши ожидания, Соломин, а там — хоть умереть!

Соломин встал.

— Нет, живите... живите! Это — главное».

Очевидно, Соломину советовать нечего, иначе он не стал бы так вилять, играть словами, соскакивать с колеи разговора, все оставляя quelque chose á deviner *. Он только исправляет должность советника по назначению от г. Тургенева, носит только титул советника. Он — титулярный тургеневский советник. Если Марианна этого не замечает, так потому единственно, что и сама она исправляет должность энтузиастки по назначению от г. Тургенева.

И все это только потому, что г. Тургенев возымел легкомысленное желание подать свой голос в чужом для него деле. Это не могло сойти ему даром, даже в чисто художественном отношении. Когда художник до такой степени связан сетью уловок, к которым он должен прибегать, дело плохо. Хороши в «Нови» только некоторые страницы, где фигурирует Нежданов наедине с самим собою, с Марианной и в кабаке. Во все остальное основная фальшь романа врывается более или менее губительно. Замечательна, например, та антихудожественная грубость, с которою г. Тургенев вкладывает в «Нови» свои собственные мысли кому попало (грубость, которой в нем прежде не было). Так, Паклин, по-видимому, затем только и существует, чтобы язвить какого-то Скоропихина, который, очевидно, очень не нравится г. Тургеневу, каких-то «молодых передовых рецензентов», которыми г. Тургенев недоволен, и т. п., да еще затем, чтобы закончить роман восклицанием: «Безымянная Русь!» Так, Фимушка, «блаженная» старуха, выжившая из ума, если он у нее когда-нибудь был, только посмотрела на Соломина, Маркелова и Нежданова, как сразу и определила их характеры, и притом столь проницательно, что совершенно совпала с определениями самого г. Тургенева. Так, г. Тургенев, сих дел мастер, очень тонко ведет линию любви Нежданова и Марианны, а Татьяна, баба, конечно, умная, но все-таки иных дел мастер, очень быстро замечает, что это — любовь не совсем настоящая.

В конце концов мы, русские читатели, не только, значит, не в барышах от «Нови», а даже в убытке. Все мы, без различия партий и направлений, единствен-

* что-то угадывать (*франц.*).

но в интересах разъяснения дела, можем сказать г. Тургеневу следующее. Избранный им сюжет есть тоже «новь» литературная. До сих пор литература еще не решилась эксплуатировать этот сюжет. Поэтому к нему, как и ко всякой нови, приложим совет г. Тургенева, взятый им «из записок хозяина-агронома» для эпиграфа:

«Поднимать следует новь не поверхностно скользящею сохой, но глубоко забирающим плугом».

февраль 1877 г.

⟨О НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОМ⟩

Наша народная литература (то есть литература, трактующая о народе; литературы *для* народа у нас никогда не существовало и не существует до сих пор) расширяется все более и более. К сожалению, это расширение гораздо более количественное, нежели качественное. В сфере народной беллетристики действовали и действуют люди очень разнообразных талантов, разнообразных не только по силе, по размерам, но и по складу, по характеру; но за всем тем та общая точка зрения, с которой наши народные писатели смотрят на народную жизнь, в огромном большинстве случаев приблизительно одна и та же. Со времен «Записок охотника» общая тенденция всех наших сколько-нибудь замечательных писателей о народе состояла в нравственной реабилитации его в глазах образованного общества, в стремлении доказать, что мужик — не только человек, которому ничто человеческое не чуждо, но что в нравственном отношении он и чище, и крепче, и надежнее людей привилегированных классов. (Перерыв 60-х годов, представляемый особенно г. Н. Успенским, в счет не идет, как по его краткости, так и по внутренней незначительности. Это был только задаток.) Тенденция, бесспорно, превосходная, не только чрезвычайно гуманная, но и глубоко правдивая. Тем не

менее крайняя односторонность ее бросается в глаза «Правда» этой тенденции — не та безотносительная правда, которая заключает в себе все внутреннее содержание данного явления, но лишь та, которой синоним — своевременность, уместность, жизненность,— правда, одним словом, не теоретическая, а практическая. Крепостное право и все те привычки, нравы и понятия, которые обусловливались им, до такой степени — скажем сравнением Мальтуса — перегнули лук в одну сторону, что для его выпрямления необходимы были самые напряженные усилия литературы. Цель эта может, кажется, в настоящее время считаться достигнутой и даже более того. В самом деле, ведь теперь о специальных достоинствах белой дворянской косточки говорят только те, которые «срама не имут», да и эти мертвецы литературы часто бывают вынуждены силой обстоятельств жадно пить из того колодца, в который они только что с ожесточением плевали; с другой стороны, мистические уверения à la Достоевский в том, что русский народ изображает собою какого-то нового Израиля, от которого — дай срок — и нечестивые агаряне вострепещут и «островитяне восплачут», смешат или шокируют далеко не всех. Такое положение дел ясно указывает, по нашему мнению, что наше уважение к народу, наша вера в него, в его силы и в его будущность при всей своей симпатичности не имеет прочных оснований настолько, насколько это требуется важностью предмета. Мы знакомы с народом гораздо более со стороны его достоинств, нежели со стороны его недостатков, а такое знакомство — меньшая половина дела; в большинстве случаев знание препятствий полезнее и важнее знания благоприятствующих факторов. Между тем, ведь даже априорным путем слишком нетрудно сообразить, что беспримерно тяжелые исторические условия жизни нашего народа должны были произвести в нем те или другие нравственные изъяны, с которыми рано или поздно нам придется считаться и игнорировать которые поэтому — не только ошибка, но и преступление. Пророчествовать, фразерствовать и кликушествовать очень легко, но ведь действительности этим не скрасишь. Ни наше прошлое, ни наше настоящее не гарантирует нам будущего *фатально*. Жизнь усложняется, люди ухищряются, средства опутывать, оплетать

и деморализовать становятся утонченнее, формы «прижимки» разнообразнее, и если мы, живя, так сказать, «в стороне он большого света», выдержали с грехом пополам незамысловатые искусы домашнего производства, то, конечно, это еще нисколько не предрешает вопроса о результатах, имеющих появиться, когда — скажем выражением, не нам принадлежащим,— этика русского холопства будет оплодотворена логикою западного прилавка. Нарождающийся мещанин пострашнее выродившегося барина, и где оказалась бессильна дубина, там легко может сделать свое пакостное дело полтина.

Правильны или неправильны по существу все эти и подобные им сомнения и опасения, суть дела в том, что они, во всяком случае, имеют свой raison d'être*. Очень приятно, если все идет к лучшему в лучшей из стран; отрадно, если народ, загнанный силою обстоятельств на задний двор истории, каким-то чудом остался совершенно чист от затянувшей его тины и грязи; но это, во всяком случае, нуждается в подтверждениях более солидных, чем те, которые мы находим в нашей литературе. Ограничиваясь сферою, составляющею специальность беллетристики, сферою индивидуально-нравственных идеалов и вопросов, нельзя не пожелать с этой точки зрения, чтобы в интересах самого народа народная беллетристика наша попыталась бы теперь внести поправку в дело своих собственных рук, сгладила бы ту односторонность своих тенденций, которая в смысле необходимой реакции была в свое время и законна, и разумна, но которая в конце концов может повести к вреднейшему самообольщению. Идеализировать предмет не значит изучать его. А изображение жизни с ее светлых и только с одних светлых сторон хотя в эстетическом и теоретическом отношении, конечно, не то же, что идеализация ее, но в деловом, житейском, грубо-практическом смысле ведет к результатам совершенно одинаковым с теми, которые дает и тенденциозное идеализирование, то есть к ложному представлению о предмете. Вообще, с теоретической стороны важность и полезность таких отрицательных попыток слишком очевидны; они рассеют фантастические

* основания (*франц.*).

надежды, помогут нам выбраться из сумбура общих мест, мистических фраз и ничего не характеризующих характеристик, которыми мы теперь пробавляемся, за неимением лучшего. Но, конечно, принимая во внимание состояние голов большинства нашей интеллигенции, в практическом отношении такие попытки представляются делом очень щекотливым. Очень вероятно, и даже несомненно, что в ответ на указания печальных сторон народной жизни и народного характера раздадутся и заунывные ламентации не по разуму усердствующих друзей народа и радостное гикание тех, чьи интересы связаны с порабощением масс.

В ряду народных беллетристов г. Златовратский занимает по своему таланту очень заметное место; но нигде та односторонность основной тенденции, о которой мы сейчас говорили, не выразилась с такой полнотою и ясностью, как именно в его произведениях. Г. Златовратский, можно сказать, влюблен в народ, и, как все влюбленные, он не может и не хочет видеть недостатков любимого предмета. Он не преувеличивает хороших сторон народа, он не фантазерствует, не сходит с почвы реальных фактов, но он видит только казовую сторону предмета и только ее одну тщательно и правдиво описывает. Мы никак не можем сказать, чтобы это была только манера письма: это значило бы крупной вещи давать слишком мелкое название. Это — именно односторонность миросозерцания, односторонность, которую поставить в упрек г. Златовратскому было бы несправедливо, но констатировать которую совершенно необходимо. Иногда г. Златовратский заходит в этом направлении даже очень далеко, так что дает право думать, что для него как для истого влюбленного народ не по хорошу мил, а по милу хорош. Встречаясь с каким-нибудь некрасивым, даже прямо безобразным фактом, он дает ему такое мягкое, любовное, благодушное освещение, что описываемое им явление совершенно утрачивает в его передаче свой острый вкус, свой горький и тяжелый смысл и представляется читателям чем-то совершенно невинным или незначительным. В одной из лучших его повестей — «В артели» — рассказывается, например, такая сцена. Муж-водовоз упрекает и гонит от себя свою жену-кухарку за то, что та не рожает ему детей, причем

высказывает положительное, хотя ровно ни на чем, кроме бездетности несчастной женщины, не основанное убеждение, что она занимается «паскудными делами» («В артели», 32—33). Это, можно сказать, «обыкновенная история» в сфере семейных отношений нашего народа, сфере, вообще представляющей собой, как известно, панораму очень невеселых в большинстве картин, идеализировать которые трудно. Не заметить этого бревна в глазу народа г. Златовратский, конечно, не мог, но не попытаться доказать, что это бревно — простая соломинка, он тоже оказался не в состоянии. На следующих страницах тот же водовоз, несправедливый и жестокий муж, превращается в самую нежную и внимательную сиделку для совершенно посторонней роженицы, полуслучайно попавшей в «артель». В психологическом смысле тут, конечно, нет никакой несообразности. Но мы находим очень характерною ту поспешность, с какою г. Златовратский хватается за этот якорь спасения, кладет эту черту, совершенно, повторяем, психологически естественную, но, очевидно, нисколько не типичную, не общую. В действительности эти дела происходят попроще и гораздо погрубее... Или другой пример из той же повести. Г. Златовратский рисует фигуру «артельного ростовщика». Амплуа ростовщика настолько непрезентабельно само по себе, что скрасить его, казалось бы, очень хитро. Тем не менее г. Златовратский и тут ухитрился. Обыкновеннейшее кулацкое обдирание (на 10 р. ссуды под залог — «рубль лишку») он покрывает комическим колоритом, заставляя ростовщика смехотворно сокрушаться над громадностью выдаваемой суммы: «Ах ты, Боже мой! Ведь это — какая махина деньжищев... Десять целковых! Ведь это для мужика...» и т. д. (72). Благодаря такому приему автора впечатление, получаемое читателем от этой сцены, не только не тяжелое, но даже очень приятное.

Таких примеров можно было бы привести из разных повестей г. Златовратского очень много. Можно сказать, что г. Златовратский сделал себе даже специальность из приискивания во что бы то ни стало в жизни народа отрадных и светлых явлений, как это очень рельефно доказывается последнею повестью его «Устои» («Отечественные записки», май). Тем не менее читатель

впал бы в очень большую и вредную ошибку, если бы заключил, что произведения г. Златовратского при всем их художественном интересе не имеют собственного общественного значения. Напротив, имеют, и очень серьезное. Мы с большою настойчивостью предостерегаем читателя от безусловного доверия к оптимистической точке зрения г. Златовратского, но еще с большей настойчивостью рекомендуем ему прочно усвоить все факты, сообщаемые г. Златовратским, так как в правде этих фактов не может быть сомнения. Г. Златовратский — не фальсификатор, а, так сказать, дистиллятор действительности. С другой стороны, мы находим и многие из второстепенных тенденций г. Златовратского заслуживающими самого полного внимания и доверия, как, например, его тенденция (особенно ярко выразившаяся в повести «Крестьяне-присяжные») противопоставлять народ, его дельность, серьезность, цельность поразительной умственной и нравственной скудости так называемого образованного общества, провинциального главным образом. Такое противопоставление помимо своей внутренней правды важно еще в том отношении, что хорошо и поучительно оттеняет всех тех провинциальных административных, судебных, земских сеятелей и деятелей, которые веревки лаптя недостойны развязать у народа и которые тем не менее мудрят над его жизнью и всячески коверкают ее и на практике, и в своих писаных прожектах, начинающихся, как у того щедринского генерала, словом «но ежели» и кончающихся словом «однако».

август 1878 г.

⟨О Ф. М. РЕШЕТНИКОВЕ⟩

Решетникову в нашей литературе выпала довольно странная судьба. Критики самых противоположных направлений занимались им часто и охотно, но масса публики с начала и до конца его деятельности относилась к нему, сравнительно говоря, равнодушно. Причина этого внимания критики и этого рав-

нодушия публики заключается в сущности самого таланта Решетникова. Это талант тщательного и точного наблюдателя, а не талант художника. У Решетникова нет того уменья группировать факты, которое составляет первый признак художественности, уменья связывать эти факты путем органического соподчинения, а не механического сопоставления только. Его повести — своего рода литературные панорамы. Это ряд картин одинакового содержания, но друг от друга независимых, не объясняющих и не дополняющих, а только повторяющих друг друга. Каждая из этих картин представляет собою благодарный материал для исследования, для размышления, но к каким бы выводам вы ни пришли, сам автор тут ни при чем: он не влиял на вас ни в каком смысле и не несет никакой ответственности. Решетников в идейном отношении обыкновенно не поднимается выше каких-нибудь совершенно элементарных общих положений, вроде того, например, что «подлиповцев нельзя винить ни в чем» (8). Для критики это не представляет неудобств: критика на то и критика, чтобы рассуждать о фактах самостоятельно, не ожидая и не требуя от автора помощи. Требования читателя, а русского читателя по преимуществу, совсем иные. Он ищет вывода, ждет поучения. В отношении *знания* предмета компетентность автора для читателя очевидна, в отношении *понимания* — читатель не согласится признать его авторитет, на который, впрочем, автор нисколько и не претендует. Несмотря на всю простоту и несложность обычных тем Решетникова, мало вообще писателей, которые бы более его нуждались в критических комментариях и разъяснениях.

Все это, однако же, отнюдь не значит, что Решетников относится к предмету своего изучения с бесстрастием и безучастностью натуралиста. Правда, он нигде не говорит о своей любви к народу, не впадает ни в лиризм, ни в пафос, не сочиняет никаких «жалких слов», но ведь истинное и сильное чувство всегда почти выражается в простых и даже грубоватых формах. Решетников любит народ просто потому, что любит его, любит стихийно, органически, почти бессознательно. Его любовь — та самая «странная любовь», которую воспел Лермонтов и которую дей-

ствительно «не победит рассудок»[1]. В этом отношении Решетников в ряду других народных бытописателей наших занимает совершенно самостоятельное место. Они эти бытописатели, в огромном большинстве, любят народ лишь постольку, поскольку находят в нем отражение своих идеалов, и любят лишь до тех пор, пока находят между этими идеалами и народною жизнью известную степень соответствия. Они любят в народе не его самого, а свою собственную идею, выработанную среди культурных условий, под их влиянием и с их помощью. Это не сердечная, а, если можно так выразиться, принципиальная, головная любовь, для которой народ не сам по себе цель, а только средство. Не то мы видим у Решетникова. По всей вероятности и даже несомненно, пиша своих «Подлиповцев», он не имел за душою ровно никаких положительных теоретических идеалов. Ряд пожеланий отрицательного свойства — это, вероятно, все, что мог бы представить Решетников на вопросы читателя: как же быть с «подлиповцами»? чем им помочь? и каковы должны быть те формы жизни, при которых бы «поколения людей» не прозябали «бессмысленней зверей»? Кабы не били подлиповцев, не разоряли, не притесняли — «баско»[2] было бы; дальше этого Решетников не идет, как не идут дальше этих желаний и сами подлиповцы. Отсутствие теоретического развития или, вернее сказать, отсутствие тех умственных привычек, которые неизбежны в каждом культурном человеке, составляет слабость Решетникова как художника, как литератора и вместе с тем его силу как народного бытописателя. Он смотрит на народ не с высоты своих идеалов и не под углом той или другой доктрины — так можно смотреть на предмет, отделивши себя от него, отойдя на известное расстояние. А Решетников не с фиктивным, как Левин графа Толстого, а с действительным правом может сказать о себе: «Я сам народ». «Подлиповцы» (при нашей характеристике мы имеем в виду главным образом это первое по времени и первое по достоинствам произведение Решетникова) — это простодушный рассказ самих подлиповцев о своем житье-бытье, это, так сказать, автобиография Подлиповки. Решетников, как мы где-то читали, сообщал Некрасову, что он плакал, когда писал свою повесть. Эти слезы были слезами страдания, а не сострадания

только. Пила и Сысойко, лежа на грязном полу полицейской кутузки, связанные и в кровь избитые, плакали точно такими же слезами. Любовь к народу «культурного» человека, хотя бы то и самого искреннего и гуманного,— совсем иная. Очищенная от всяких наслоений и рассудочных придатков, она в своем основном психологическом элементе является тем не высокого калибра чувством, благодаря которому учреждаются и какие-нибудь «общества покровительства животных».

Общественное и литературное значение «трезвой правды» (выражение г. Тургенева [3]) Решетникова было бы, конечно, очень невелико, если бы оно исчерпывалось отрывочными фактическими указаниями. Эта правда дает благодарный материал для некоторых общих и довольно широких заключений. Решетников дает читателю возможность довольно удобно ориентироваться среди противоположных тенденций современных писателей о народе. Сущность этих тенденций, конечно, не безызвестна читателю. Наша интеллигенция, без различия направления и поколений, всегда верила в народ, в его силы и в его будущее. Но ведь вера — не более как уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем. Для прочных идеалов, для точных расчетов — слепая вера слишком ненадежный фундамент. А что, если поэт был прав, если в самом деле народ «создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил?» [4] Вовсе не надо быть каким-нибудь Потугиным [5], чтобы задаться этим вопросом. Напротив, чем живее любовь, тем мучительнее сомнения, чем шире идеал, тем естественнее опасения. Литература — надо отдать ей справедливость — обнаружила настолько мужества, чтобы поставить воистину этот «роковой вопрос» твердо, отчетливо, что называется, ребром. В массе разнообразных исследований народной жизни, вызванных такою постановкою, обнаружилось вскоре два главных, основных направления, которые мы для краткости назовем пессимистическим и оптимистическим, хотя сущность этих направлений далеко не исчерпывается этими терминами. Посмотрите, говорят одни, на мужика, оцените его неразумие, его непонимание своих собственных интересов, его бессилие перед эксплуатацией, его пассивную покорность всякой силе, будет ли то сила Де-

рунова или сила Грацианова[6], его неумение отличать друзей от врагов, его умственную косность и пр. и пр. Посмотрите, говорят нам с другой стороны, какой привлекательный нравственный образ представляет собою русский крестьянин, сколько в нем глубокой и вместе с тем простой серьезности, сколько самородной силы и красоты. Какая цельность характера, какая непосредственность и естественность чувства, какой богатый запас бессознательной гуманности, какая способность и готовность к жертвам ради духовных, высших интересов. И пессимисты, и оптимисты подтверждают свои заверения фактами, картинами, образами, типами, наконец, цифровыми данными; и те, и другие не уступают друг другу в силе любви к народу, в искренности и горячности своих забот о его судьбе.

Если бы Решетников с тем своим теоретическим запасом, который в пору «Подлиповцев» весь сводился у него к положению — «ни в чем не виноваты», вмешался в наши дебаты о «деревне», он, конечно, явился бы «как потерянный», и у него, наверное бы, «ударилась в пятки душа». И за всем тем, у того же Решетникова был в руках ответ, который нужно было только формулировать, ответ, заключавшийся в данных его бесхитростной и беспретенциозной повести. Вот Пила и Сысойко. Эти люди стоят едва ли не на самой низшей ступени духовного развития, это люди одичалые в полном смысле слова, обезличенные и подавленные, кажется, до потери образа и подобия божия. И вот в этих-то, по-видимому, зверях Решетников открывает искру божию, показывает нам, что эти существа — братья наши, которым не чуждо ничто человеческое. Заботы о хлебе насущном, о самозащите перед лицом «равнодушной» природы и не менее равнодушного общества не заглушили в них, по свидетельству Решетникова, всех тех высших альтруистических инстинктов, которые именно и составляют драгоценнейшее нравственное достояние человека: этот Пила, например, лечит «травками» своих однодеревенцев, сам навещая больных, указывает как и что работать, дает посильные советы, хотя все эти медицинские и юридические консультации лично не приносят ему никакой выгоды. Далее — тяжкая ноша неустанного и непосильного труда, едва-едва обеспечивающего полуголодное прозябание, не

задавила в них энергии, не привела к апатии, как привела бы даже сильнейшего из нас: они неутомимо ищут «богачества», «где лучше», идут в своих поисках напролом, без знаний, без знакомства с людьми и обстоятельствами и умирают на своем «посту» — за бурлацкой лямкой (эпизод смерти героев Решетникова, к слову сказать, лучший, трогательнейший эпизод во всей повести). Терпеливо и любовно очищая образы своих героев от всевозможной наносной грязи, Решетников, таким образом, с ясностью и убедительностью, для всех очевидною, обретает в животном человека. Что из всего этого следует? Следует, что, несмотря ни на что, народ сохранил свою «душу живу», не почил духовно, не обезличен и не деморализован историей; следует, наконец, что те, которых мы назвали «оптимистами», вполне правы и их надежды на народ не на песке построены.

Но (все это не мы говорим, а говорит Решетников своею повестью) это одна сторона дела. Мало быть «человеком», необходимо быть, кроме того, гражданином. Относительно *этой* стороны все свидетельства Решетникова безусловно отрицательны. «Хлебушка нет, кору едим... Вон Сысойковы ребята померли, корову за них увели... лошадь украли... Апроська померла... Всего избили... смерть тожно скоро...» (55). Так формулирует Пила свои несчастья. Формула очень характерная. В глазах Пилы, очевидно, побои квартального и смерть Апроськи, увод попом коровы и кража лошади — одинаково роковые, стихийные, неотразимые несчастия. Это тот фатализм, который неизбежен при полном отсутствии в человеке даже тени критической мысли, мысли, не дающейся человеку даром, а приобретаемой только путем умственного развития. Показания Решетникова на этот счет, повторяем, единодушны, и смысл их, можно сказать, ужасен. Подлиповка — это какое-то заколдованное царство бессознательности и непроглядной темноты, это мир фетишей и призраков, это что-то такое младенчески-беспомощное в умственном отношении, в деле понимания и сознания. Борьбы нет, а есть только пассивное терпение или какая-то азартная игра с судьбой — благо терять нечего и хуже быть не может. Еще бы эти взрослые, бородатые дети понимали свои интересы! Еще бы от них требовать уме-

ния различать своих друзей от своих врагов! Правы, значит, и наши «пессимисты». Пусть подлиповцы представляют собою только minimum развития. Они тем не менее типичны. Смягчите тени, и вы тем самым значительно расширите пределы Подлиповки, причем сущность дела остается неприкосновенною.

Ставши, таким образом, на почву фактов, представляемых Решетниковым, не трудно разобраться в тех взглядах на народ, которые предлагаются журналистикою. Противоречие между этими взглядами — противоречие кажущееся. Каждый из этих взглядов справедлив по отношению к *одной* стороне предмета и одинаково несправедлив по отношению ко всему предмету. С точки зрения общественных идеалов, на почве гражданских требований, обязанностей и доблестей наши заключения о народе в его современном состоянии будут по необходимости неутешительны. С точки зрения этических идеалов, на почве нравственных требований наши заключения о народе будут по такой же необходимости благоприятны и утешительны. В дальнейшем своем развитии вопрос уже совершенно выходит из пределов компетенции Решетникова. Возможно ли пробудить народное сознание и если возможно, то какими способами? На этот вопрос Решетников не дает и не в силах дать не только ответа, но даже пригодного матерьяла для него. Он лишь прочным образом устанавливает широкий и типичный факт. Нет пока гражданина, но есть человек в мужике — вот краткая формула его «трезвой правды», и в этой правде, несомненность которой подтверждается теперь все более и более, а важность очевидна сама собою, заключаются права Решетникова на долгую и почетную память в нашей литературе и в истории нашего развития.

март 1880 г.

⟨ИЗ ПОЛЕМИКИ С ДОСТОЕВСКИМ⟩

Если человек, даже чрезвычайно талантливый, скажет или напишет какую-нибудь путаницу и потом будет вновь и вновь к ней возвращаться, стараясь свести концы с концами, то достаточный ли это повод, чтобы присутствующие также вновь и вновь к той путанице возвращались?

Другими словами: г. Достоевский произнес известную речь на пушкинском празднике в Москве; об ней много толковали; теперь г. Достоевский издал эту речь с комментариями в виде «Дневника писателя»; стоит ли об ней опять толковать?

Решительно не стоит. Ибо эти самые толки могут побудить г. Достоевского в ближайшем номере «Дневника писателя» опять заняться азартнейшим водотолчением, а это зрелище вовсе не приятное вообще и в настоящем случае в особенности. Толки о речи г. Достоевского и о его комментариях к ней должны, кажется, и самому г. Достоевскому очень не нравиться. В самом деле они ему только дорогу загораживают. Он сказал, например, очень уж старое слово, что мы, русские, скажем Европе новое слово. Об чем тут, спрашивается, толковать? Скажем, так скажем, а пока будем ждать, может быть, именно г. Достоевскому и суждено сказать это новое слово. Не лучше ли же предоставить ему полный простор, не задерживать его в прихожей комнате нового слова возражениями против пророчества, совершенно, в сущности, невинного. Если бы еще г. Достоевский перешел из области прорицаний в сферу действительности и прямо указал, что вот, дескать, в чем состоит новое слово, преподносимое нами Европе, ну, тогда другое дело, тогда было бы об чем толковать, тогда можно бы было рассуждать, действительно ли это слово новое; а если новое, то хорошо ли оно. Но ведь ничего подобного нет...

До какой в самом деле степени господа комментаторы мешают г. Достоевскому, можно видеть из следующего примера. Почтенный романист говорит, между прочим, что «для настоящего русского Европа и удел

всего великого *арийского племени* так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей»[1]. Об арийском племени и еще где-то говорится с такою же определенностью. Сообразно этому в «Дневнике писателя» г. Достоевский шлет весьма ядовитую пику «жидам»[2]. Это последовательно. Если бы «жиды» принадлежали к великому арийскому племени, то г. Достоевский не сказал бы об них ничего ядовитого, ибо мы, русские, призваны не к ядовитостям насчет инородцев, а, напротив, к братскому воссоединению людей. Однако этот «удел» наш, по мысли г. Достоевского, не простирается за пределы великого арийского племени, а так как «жиды» — семиты, то им можно всякую пакость сказать и учинить. Мысль очень оригинальная, но несколько невыясненная, да и то, собственно говоря, не выяснены самые пустяки, а именно причины ограничения нашей всемирности арийским племенем. Немножечко бы еще подождать, предоставив г. Достоевскому возможность беспрепятственного размышления среди всеобщего благоговейного молчания, и он, разумеется, все это уяснил бы сначала самому себе, а потом и остальному человечеству. Но вот выскакивает «Берег» с неудержимым стремлением наложить на «Дневник писателя» клеймо своего сочувствия и *в подтверждение* (заметьте!) идеи г. Достоевского излагает следующее: «Без этой объединяющей, умиротворяющей силы разве ужился бы наш народ со всеми теми разнообразными племенами, которые как кольцом окружают его со всех сторон. Находясь в центре, русский одинаково дружит и с финном, и с эстом, и с литовцем, и с цыганом, с черкесом, киргизом, калмыком, китайцем, чукчей, самоедом, лапландцем, со всеми, одним словом, народами и народцами, которые окружают его или живут среди его, как, например, татары, евреи, немцы» («Берег», 17 августа). И выходит простое, самое заурядное хвастовство, во-первых, а во-вторых, извращается оригинальная мысль г. Достоевского, который финнов, евреев, татар, чукчей и прочих, не принадлежащих к великому арийскому племени, вовсе не имел в виду и всегда, может быть, готов даже собственноручно им какую-нибудь пакость сделать во славу

Божию. Какая же это, спрашивается, помощь или поддержка г. Достоевскому? Никакой помощи нет, а только с толку мыслителя сбивают, не дают ему обдуматься и высказаться. Насчет инородцев неарийского происхождения у г. Достоевского есть, очевидно, особое мнение, за гениальность которого ручаются, во-первых, самый факт ограничения «всемирности» арийским племенем, а во-вторых, некоторые прецеденты. Все, без сомнения, помнят гениальную простоту, с которой г. Достоевский в «Дневнике писателя» же разрешал восточный вопрос. Он тогда тоже прорицал и именно прорицал, что мы возьмем Константинополь и что все это произойдет чрезвычайно просто. Помните, писал он, как с Казанью было: взяли русские Казань, и татары стали торговать мылом и халатами; так и с Константинополем будет. Прорицание немножко не осуществилось, но дело не в этом, не всякое же лыко в строку, а дело в том, что вот как с неарийцами надлежит поступать: не братством их потчевать и не «воссоединением», а ступай-ко, дескать, свиное ухо, мылом торговать! [3]

По всем этим причинам, я утверждаю, что о «Дневнике писателя» толковать не стоит. Но «придраться» к «Дневнику писателя» можно, что я и собираюсь сделать. Я следую в этом отношении примеру самого г. Достоевского, который даже озаглавил часть «Дневника писателя» так: «Придирка к случаю». Но это, собственно говоря, не придирка к случаю, а весьма тщательный ответ профессору Градовскому, напечатавшему в газете «Голос» критическую статейку о речи г. Достоевского [4]. Под тщательностью ответа я разумею, однако, не то, чтобы в антикритике почтенного романиста не было никакого неряшества мысли. Напротив, его там, как и всегда у г. Достоевского, вдоволь. Но там есть также некоторые ходы и подходы, тщательно обдуманные в низменно полемическом смысле личных уколов, более или менее чувствительных, и эффектов, более или менее удачно заслоняющих самый предмет спора. (Люди, помадящиеся деревянным маслом, вообще нередко обнаруживают это искусство.) Вот один образчик полемических приемов г. Достоевского, нимало не исключающих логического неряшества, один на пробу.

Выразив вышеприведенную мысль о нашей всемирности, приобретенной силой братства и братского стрем-

ления нашего к воссоединению людей, г. Достоевский находит подтверждение этого «мечтания» своего и в нашей новой истории. «Ибо,— говорит он,— что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем самой себе?»[5] На это г. Градовский замечает: «Г. Достоевский гордится тем, что мы два века служили Европе. Признаемся, это «служение» вызывает в нас не радостное чувство. Время ли Венского конгресса и вообще эпохи конгрессов может быть предметом нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли национальное движение в Италии и Германии и косились даже на единоверных греков? И какую ненависть нажили мы в Европе именно за это служение».

Резонно или не резонно это замечание г. Градовского, но вслушайтесь, пожалуйста, внимательнее в антикритику г. Достоевского:

«Разве я хвалил то, *как* мы служили? Я только хотел отметить факт служения, и факт этот истинен. Но факт служения и то, *как* мы служили,— два дела совсем разные. Мы могли наделать очень много политических ошибок, да и европейцы их делают во множестве поминутно, но не промахи наши я хвалил, я только факт нашего служения (почти всегда бескорыстного) обозначил. Неужели вы не понимаете, что это две вещи разные? «Г. Достоевский гордится тем, что мы служили Европе»,— говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказал, я только обозначил черту нашего народного духа, черту многознаменующую. Так отыскать прекрасную, здоровую черту в духе национальном значит уж непременно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете в этом учить? Да я еще, когда вы были студентом, про служение Меттерниху говорил, да еще посильнее вашего, и именно за слова об неудачном служении Меттерниху (между другими словами, конечно) тридцать лет тому назад известным образом и ответил. Для чего же вы это исказили? А вот, чтобы показать: «Видите ли, какой я либерал, а вот поэт, восторженный-то любитель народа, слышите, какие ретроградные вещи мелет, гордясь нашим служением Меттерниху». Самолюбие, г. Градовский»![6]

Увертки, г. Достоевский!

Обратите внимание хоть на это напоминание о понесенном тридцать лет тому назад наказании. Эффект чрезвычайно целесообразный. Выходит, что противник хотя и либеральничает, но, во-первых, жидко, а во-вторых, так сказать, безданно и беспошлинно, а сам г. Достоевский либеральничал круто и наказание потерпел. Вы невольно проникаетесь уважением к потерпевшему за правду и приходите к мысли, что ученого учить и в самом деле нечего, только портить. Однако уважение уважением, а эффект-то хоть и достигает низменной полемической цели, но к делу вовсе не идет, вовсе к нему не относится. Мало ли что тридцать лет тому назад было! Тридцать лет тому назад г. Достоевский говорил, например, о каторге уж, конечно, не с благоговением, не с фантастическою верою, что она может просветить человека лучшим светом, а потому, дескать, на каторгу ссылать непременно следует. Ну а теперь он каторгу именно в этом смысле понимает. Так и с Меттернихом могло случиться. Тридцать лет много времени...

Или вот тоже эффект насчет «восторженного любителя народа». Хотя он и под ироническим соусом подан и от лица г. Градовского, но это-то и эффектно. А к делу все-таки не идет. Г. Градовский мог бы возразить: «Вовсе я вас, государь мой, восторженным любителем народа не считаю и не могу считать, ибо даже тут, в этом самом месте вашей антикритики, вы третируете народ совершенно так же, как тот фельдъегерь, о котором вы говорите в «Дневнике писателя» же: «Ему вся Россия представляется лишь в его начальстве, а все, что кроме начальства, почти недостойно было существовать» [7]. В самом деле,припомним любой эпизод из истории нашего служения Европе за последние два века. Припомним, например, как русские войска ходили под предводительством Суворова «спасать царей» или как Гергей [8] складывал оружие перед победоносным русским воинством. Как ни отделяй в обоих этих эпизодах факта служения от того, *как* мы служили, но нет никакой возможности приурочить сюда «силу братства и братского стремления к воссоединению людей». Какое уж тут братство и какое воссоединение! Но, к счастию, тут мудрено разыскать и «черту нашего народного

духа» или даже «духа национального». Народ наш знает и любит своего царя, но спасать европейских царей ему никогда не приходило в голову. Эта идея целиком принадлежала императору Павлу, который, если хотите, с своей точки зрения, даже не впадал при этом в политическую ошибку: могущественный и убежденный представитель абсолютной монархии, он посылал своих солдат умирать за этот принцип. Таким образом, не народ служил Европе, а император Павел, да и не Европе вовсе, а монархическому принципу. Усмирение венгров объясняется точно так же, о чем, впрочем, даже распространяться совестно, до такой степени это элементарно. А карточные домики строить, конечно, можно; «представлять себе всю Россию лишь в начальстве» тоже можно. Но требовать себе за это титула «восторженного любителя народа» не годится, не дадут. Ибо народ наш даже ни чуточки своего «духа» не вкладывал в дело восстановления австрийского господства над мятежной Венгрией. И думал он при этом не о «служении», а о «службе», с горькими слезами отправляя на эту службу своих сыновей и братьев. Чего-нибудь да стоят эти слезы, господин, именующий себя восторженным любителем народа и из-за начальства не видящий этого самого народа!

Так вот какова «придирка» г. Достоевского. Моя придирка будет гораздо проще, как читатель не замедлит и сам убедиться. Личных уколов у меня вовсе не будет, я надеюсь, потому что гг. Градовский и Достоевский мне разными своими сторонами почти одинаково чужие люди; собственно их препирательством я нимало не задет, а потому и к эффектам, отводящим глаза от предмета спора, мне тоже прибегать нет надобности. Многое в их полемике я даже признаю совершенно неприкосновенным, а именно всю ту часть ее, в которой противники препираются, стоя на общей им обоим почве христианства. Но и за вычетом этого пункта остается все-таки много любопытного, много такого, к чему можно и стоит придраться.

Довольно натурально, что г. Достоевский преувеличивает значение своей речи, доходя в этом направлении даже до комизма,— такова уже человеческая слабость. Со стороны дело, конечно, лучше видно, но было бы все-таки и напрасным, и ненужным трудом разочаро-

вывать г. Достоевского, если бы не одно чрезвычайно важное и чрезвычайно любопытное обстоятельство.

Почтенный романист считает «слишком серьезным» тот момент пушкинского праздника, в котором он играл такую видную роль. Серьезность этого момента состояла в том, что под влиянием речи г. Достоевского «ярко и ясно объявились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела. Значит, не хочет уже общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканьем над Россией, значит, мерзит уже учение о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек — и сердца зажглись святою жаждою всечеловеческого дела, всебратского служения и подвига». Эти «новые элементы» упоминаются и еще в одном месте, именно в самом начале ответа г. Градовскому и тоже в сопоставлении «с либеральным подхихикиванием над всяким словом надежды на Россию». Кроме, однако, «либералов» или «русских европейцев» и «новых элементов», есть еще у нас «Пушкин, Хомяков, Самарины, Аксаковы», которые начали «толковать о настоящей сути народной (до них хоть и толковали о ней, но как-то классически и театрально). И когда они начали толковать о «народной правде», все смотрели на них как на эпилептиков и идиотов, имеющих в идеале «есть редьку и писать донесения».

Мимоходом сказать, я что-то не помню, чтобы на Хомякова, Аксаковых, Самариных, а тем более на Пушкина смотрели как на эпилептиков и идиотов, да, конечно, и г. Достоевский не помнит. Это он так, для красоты и энергии слога, а также для удобства полемики; ну, и пусть его. Гораздо любопытнее классификация нашей интеллигенции, состоящей, значит, из хихикающих либералов, преклоняющихся перед Европой и безнадежно махнувших рукой на все русское, новых элементов, объявившихся после речи г. Достоевского, и Пушкина, поставленного за одну скобку с славянофилами. Классификация, мне кажется, не совсем обстоятельная, потому что, например, я решительно не знаю, в которую из трех рубрик надо поместить Гоголя «с незримыми слезами сквозь зримый смех», или Некрасова «с музой мести и печали» и «ненавидящею любовью», или гр. Льва Толстого с неверием в европейский прогресс, или даже самого Хомякова с его

решительным утверждением, что родная земля «всякой мерзости полна»[9]. Недоумеваю также, куда пристроит г. Достоевский всю ту мелкую сошку, которая, хоть, например, в «Новом времени», ежедневно презирает Европу и хихикает над хихикающими. Правда, эта мелкая сошка лепечет сегодня одно, а завтра столь же азартно другое, но все-таки место под луной занимает, а, между тем, хихикающими либералами себя не признает, а «новыми элементами» ее г. Достоевский сам, разумеется, не назовет.

Кстати, о «Новом времени». Газета эта еще недавно поддакивала таинственному спутнику г. Суворина, о котором я писал в предыдущем нумере «Отечественных записок»[10] и который, между прочим, негодовал на литературу шестидесятых годов за то, что она была непочтительна к Кавуру[11] и парламентаризму. Это ведь, кажется, значит к Европе? Несомненно, однако, что «Современник», на который намекал в этом случае спутник г. Суворина, имел весьма мало общего с славянофильством. Так вот и любопытно бы было знать, куда пристроит г. Достоевский тех людей, которые, отнюдь не будучи славянофилами, тем не менее не оказывали почтения Кавуру и парламентаризму. В предтечи «новых элементов», что ли, зачислит тех · новых элементов, которые ждали речи г. Достоевского, чтобы «объявиться ярко и ясно»? в куколку той бабочки, которая развернула свои блестящие крылышки на пушкинском празднике? С другой стороны, так как мы попали, кажется, в фантастическую область превращений не хуже Овидиевых, то не суть ли и самые «новые элементы» просто свиньи? Да, свиньи, те именно «свиньи», о которых так много говорится в «Бесах» г. Достоевского. О, г. Достоевский, если бы вы только могли догадаться, какую глубоко комическую непроницательность обнаруживаете вы, утверждая, что только после вашей речи и под ее влиянием «объявились ярко и ясно» люди, жаждущие подвига и обетования дела! Много, много раньше они объявились, так что их даже hat man gekreuzigt und verbannt... und Schweine genannt... *.

* распинали и ссылали... и свиньями называли (*нем.*).

Что же я это, однако, делаю?! Виноват, читатели, тысячу раз виноват, я вовсе не хотел препираться с г. Достоевским или писать о «Дневнике писателя», но что же делать: увлекся. Позвольте же мне еще одно маленькое отступление и затем мы можем, пожалуй, даже оставить совсем в стороне г. Достоевского с его речью и «Дневником писателя».

В «Дневнике писателя» есть одна очень горячая страница, написанная совершенно в апокалипсическом стиле, но вместе с тем чисто детская, детская с какой угодно точки зрения. На этой странице предсказывается погибель Европы: произойдет огромная война, все фабрики закроются, и «миллионы голодных ртов отверженных пролетариев брошены будут на улицу». Они-то и низвергнут Европу: «Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно — кроме разве жидов, которые и тогда найдутся, как поступить, так что им даже в руку будет работа». Нас, однако, этот погром не коснется: «Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только в явь и воочию обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского. Тогда и вы, гг. доктринеры, может быть, схватитесь и начнете искать у нас «народных начал», над которыми теперь только смеетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в которые и там уже многие умные люди давно не верят» [12].

Всякий, разумеется, посмеется над этой забавной окрошкой из «парламентаризмов, гражданских теорий, богатств, банков, наук и жидов», мелко-намелко искрошенных рукою г. Достоевского и бессильно плавающих в миске с русским квасом. Г. Градовский посмеется в особину, в качестве автора известных статей о социализме в «Русской речи» и, следовательно, человека, верующего в правомерность и прочность наличных европейских порядков. Я не верю ни в эту правомерность, ни в эту прочность, но с своей стороны все-таки тоже посмеюсь. Что в Европе может произойти в близком будущем огромный переворот, это совершенно

справедливо, но как же не посмеяться над уверенностью, что погром этот разобьется о наш берег и обнаружит только особливость нашего национального организма. Совсем напротив, я думаю, он обнаружит, до какой степени наш национальный организм сроднился уже, слился с европейским. Разные тут могут выйти комбинации. Может быть, чего Боже сохрани, мы по старой памяти и по старым образцам примемся опять за «служение» Европе, а может быть, и как-нибудь на новый манер послужим. Все это может быть, но вот что уже наверное будет: когда рухнут европейские банки, то в ту же минуту рухнут и банки русские, в чем даже г. Достоевский, несмотря на всю свою невинность, легко убедится, вникнув в любую биржевую хронику любой газеты. А вместе с банками (а следовательно — horribili dictu * — вместе с «науками и жидами!») рухнет и... Иван Сергеевич Аксаков, этот папа нынешнего славянофильства, этот глашатай «народной правды», состоящий директором банка и получающий за это приспособление *народной правды* не один десяток тысяч... Нет, вы подумайте только, в какой компании-то придется Ивану Сергеевичу погибать — в компании «наук и жидов»!

Мы в самом сердце вопроса, читатель, несмотря на комический элемент, который поневоле просится на бумагу, когда речь идет об апокалипсических прорицаниях г. Достоевского. Мы в самом сердце вопроса, ибо он в том именно и состоит, что г. Достоевский, толкующий ныне о вредоносности европейского «просвещения» и европейских политических форм, ни единым словом не протестовал против водружения у нас европейских экономических порядков.

Водружение это происходит уже давно, подвинулось весьма далеко, а г. Достоевский, рассыпая во все стороны блистательные лучи своей гениальности и оригинальности, не замечал этого, и только теперь, да и то единственно в пику Европе, говорит: «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственной цели слагались до сих пор все гражданские учреждения Европы». Я помню, что имел удовольствие обращать

* страшно сказать (*латин.*).

внимание г. Достоевского на это обстоятельство, когда писал о его «свиньях» — «Бесах» тож. Помню также, что выразился при этом приблизительно так: свобода — великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу. Хотя меня за это из некоторых подворотен, по прелестному выражению г. Г. У.[13], и «хватали за икры», но я твердо знаю, что выразил одну из интимнейших и задушевнейших идей нашего времени; ту именно, которая придает 70-м годам оригинальную физиономию и ради которой они, эти 70-е годы, принесли страшные, неисчислимые жертвы, об чем, впрочем, говорить еще рано. Выходит, значит, что не г. Достоевскому нас учить, особливо, если он нашу же идею заливает деревянным маслом из лампадки, в которую и мухи попали, и разная другая нечисть.

А наше дело вот как происходило. Мы начали работать головой и сердцем в темную ночь, когда говорить о прелестях свободных учреждений не полагалось, а про себя размышлять о них можно было разве только в интересах чистой истины, что, по малой мере, скучно. Мы знали, что свобода придет, как всякий знает, что утром взойдет солнце и осветит добрых и злых, но утро было так далеко, а непосредственная пища для ума и сердца была так необходима. Естественно было искать задач, достаточно широких, чтобы они могли утолить жажду идеала, и достаточно близких, чтобы пробы решения их были возможны при наличных условиях. Такая задача сама собой встала перед нами в виде многомиллионной серой массы народа. Это раз. Далее, как те «умные люди» в Европе, о которых упоминает г. Достоевский, так и наши русские умные люди давно уже приучили нас не давать «Кавуру и парламентаризму» цены выше той, которой они действительно стоят. К такой же строго справедливой оценке этих вещей мы приходили и путем собственных наблюдений и размышлений. Европейская история и европейская наука с одинаковою ясностью убеждали нас, что свобода как безусловный принцип плохой руководитель, ибо, подобно всякому абсолюту, всякой попытке подняться выше условий человеческой природы, источена внутренним противоречием. Мы убеждались, что так

называемая полная экономическая свобода есть, в сущности, только разнузданность крупных экономических сил и фактическое рабство сил малых. Аналогичный результат получался при перенесении вопроса в чисто теоретические сферы пределов и методов познавания, что, впрочем, в настоящую минуту для нас неинтересно. Наконец, что касается политической свободы, то она оказывалась действительно солнцем, но только солнцем, а это хоть и очень беспредельно много в экономии земного шара, но вовсе уж не так много в своеобразной экономии человеческих идеалов: es leuchtet die Sonne über bös' und gut'*. Политическая свобода бессильна изменить взаимные отношения наличных сил в среде самого общества, она может только обнаружить их, вывести на всеобщее позорище, а вместе с тем, следовательно, придать большую яркость, обострить эти отношения. Так рассуждали мы, а в силу этих рассуждений наша щепетильность, наше даже презрительное отношение к «Кавуру и парламентаризму» были вполне естественны. Это было совсем не повторение басни о лисице и винограде, отнюдь нет: мы с глубочайшею искренностью признавали виноград хорошим, но зеленым, да он таков и в действительности. Оценивая политическую свободу как таковую, даже не с точки зрения какого-нибудь иного, более обширного принципа, мы не могли не заметить периодически повторяющегося в Европе, и особенно в быстро живущей Франции, странного круговращения: политическая свобода, купленная иногда ценою целого океана крови, падала от ничтожного толчка Бонапарта или другого, охочего до власти человека, чтобы потом вновь подниматься со страшными усилиями и вновь падать. Этот томительный круговорот объясняется тем, что ни разу еще политическая свобода при своем зарождении не осложнялась существенною помощью народу, который поэтому хладнокровно, а иногда даже сочувственно смотрел, как богиня свободы шаталась и падала с своего пьедестала. В конце концов только тот политический порядок окажется непоколебимым, который не шарлатански, как это не раз случалось в Европе, а искренно и честно заинтересует собою миллионы. Таким образом, и с этой

* светит солнце над злым и добрым (*нем.*).

стороны теоретических рассуждений о чуждых нам европейских порядках мы привлекались все к тем же интересам народа как краеугольному камню политического мышления.

Обстоятельство это имело много чрезвычайно важных результатов, из которых я отмечу только два. Во-первых, славянофильство и западничество в их противоречии оказались для нас пройденною ступенью, к которой мы можем относиться с полнейшим беспристрастием как к чему-то закончившему свое земное поприще и похороненному. Славянофильство и западничество изжиты нами, мы переросли их, так что попытки г. Достоевского и других так или иначе вновь воздвигнуть эти состарившиеся знамена не имеют для нас по крайней мере ровно никакого значения. Удивить, а тем паче напугать нас картиною разрушения наличных европейских порядков — нельзя. Самая мысль о том, чтобы произвести этою картиною какое-то потрясающее впечатление, есть просто смешная мечта, потому что воистину ученого учить нечего. Все, даже стеснение мысли и слова, практиковавшееся у нас до сегодня, способствовало тому, чтобы дать нам в руки хорошо отточенный нож анализа европейских порядков с точным, сознательным отделением в них пшеницы от плевел. В этом смысле мы не западники, но и не имеем никакого повода чураться западничества. С другой стороны, однако, этот, именно этот самый анализ предохранил нас от славянофильского смешения двух совершенно различных категорий — национального и народного. Мы не будем спорить, что в том или другом частном случае эти категории могут совпадать. Могут, конечно, могут, как прохождение Венеры между Землей и Солнцем может совпадать с рождением на Земле великого человека. В этом смысле мы не славянофилы, но и не имеем повода чураться славянофильства. Но мы твердо знаем также, что высшие моменты национальной славы могут не случайно, а причинно совпадать с высшими же моментами бесправия народа; что колоссальное национальное богатство может создаваться ценою страшной нищеты народа. Все это мы уже инстинктивно, почти болезненно чутко настороженным чутьем слышим. Но не только инстинктом и чутьем слышим, а и разумом понимаем со всею даже, если

хотите, роскошью законченной теоретической системы. Но и не только чистым разумом, ибо без большого труда можем обставить свои положения целой коллекцией исторических и статистических иллюстраций.

Таков один результат того обстоятельства, что интересы народа стали для нас краеугольным камнем политического мышления. Другой результат не менее характерен.

Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы готовы были не домогаться никаких прав для себя; не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого меда, никто ничего и не предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно таково было и доходило до пределов, даже мало вероятных, об чем в свое время скажет история. «Пусть секут, мужика секут же» — вот как примерно можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства. Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особливый от европейского, причем опять-таки для нас важно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа. Предполагалось, что некоторые элементы наличных порядков, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмут на себя почин проложения этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается в наших глазах и до сих пор. Но она убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые средства.

Говорят, у нас скоро весна будет; говорят, ласточки

уже прилетели и мы начнем скоро полною грудью вдыхать свежий, живительный и весенний воздух, от которого только чахоточные умирают, а здоровые крепнут. Гимны весне в стихах и прозе уже слышатся со всех сторон. «Сухо дерево, завтра пятница» или «Дай Бог не сглазить». Очевидно, во всяком случае, что правительство убедилось в неправильности того пути стеснения мысли и слова, на который его увлекли люди, усердные не по разуму. Тем не менее все, пережитое нами в только еще заканчивающийся период тесноты еще слишком свежо, чтобы можно было открыто и без всяких предосторожностей касаться еще не заживших ран. Не могу, кстати, не отметить мимоходом фиаско, претерпенного некоторыми нашими прорицателями, играющими роль черных воронов старинных легенд и сказок. Эти прорицатели прорицали, что как только ослабнет узда, сдерживающая литературу, так вся литература поголовно заговорит языком революции и террора. Узда, очевидно, ослабла, а литература в огромном большинстве только «благодарит, приемлет и нимало вопреки глаголет», обнаруживая в этом направлении, может быть, даже излишнее усердие.

Как бы то ни было, но для дальнейшего развития начатой беседы я склонен остановить внимание читателя на одном безобидном литературно-житейском эпизоде, который в свое время прошел почти незамеченным, хотя представляет величайший интерес. Я вовсе не думаю преувеличивать значение этого эпизода; не думаю утверждать, что он послужил началом чего-нибудь крупного и решительного. Но нечто крупное в нашем душевном настроении произошло как раз около того же времени, когда означенный эпизод объявился, и произошло вдобавок по тем самым мотивам, которые тем эпизодом рисуются очень ярко.

В январе 1878 года в газете «Русское обозрение» (№№ 3 и 4) было напечатано «письмо к редактору» бывшего губернского прокурора оренбургской судебной палаты г. Павлова-Сильванского. Признаюсь, я и теперь не могу без волнения читать эту скорбную исповедь, да и желал бы даже посмотреть на человека, способного читать ее без волнения: это был бы любопытнейший психологический феномен с веревками вместо нервов.

Будучи в 1871 году назначен на должность губерн-

ского прокурора в Оренбургском генерал-губернаторстве, г. Павлов-Сильванский с самого начала уклонялся от этой чести, а через год опять обращался к министру юстиции с просьбой о переводе. «Мое нежелание оставаться в Оренбурге,— говорит он,— объясняется тем, что я тогда уже предвидел неизбежность столкновения с администрацией. Начало этим недоразумениям было невольно положено моими решительными протестами против не отвечающих, по моему мнению, требованиям справедливости некоторых мероприятий во время киргизского восстания, размежевания башкирских земель и тех прискорбных смут среди временно обязанных крестьян некоторых влиятельных землевладельцев, которые были вызваны нетактичностью и крайне произвольным отношением полиции к личности и имуществу крестьян. Принятие моих протестов министром юстиции и Правительствующим сенатом и высочайшее помилование крестьян установило еще более натянутое отношение между мною и представителями местной власти». Передавая только «часть тех фактов, о которых своевременно *сообщил*» министру юстиции, и «проходя молчанием массу других фактов, очевидцем которых он был в течение 10-ти лет», г. Павлов-Сильванский рассказывает, *между прочим*, следующее: «Во время четырехмесячного путешествия для ревизии, по поручению министра, оренбургских судебных учреждений, сотни просителей шли ко мне со всех сторон этого обширного края. Истину говорю, всюду двери моей квартиры не запирались перед ними с раннего утра и до глубокой ночи... Трудно поверить, что в числе просителей я встречал людей, помешанных на сознании абсолютной невозможности когда-либо найти правосудие... Я освобождал невинных узников, которые по нескольку лет томились в тюрьмах после оправдания их судом. Я слышал жалобы крестьянок, которых по приказанию и в присутствии исправника пытали и жгли раскаленными щипцами за то, что они вступались за своих мужей... Примерно в 1870—71 году, верстах в 50-ти от Оренбурга, в местечке Илецкий городок, учрежена тюрьма для ссыльно-каторжных. Факт невероятный, но верный: смотрителем этой тюрьмы назначен был выгнанный за взятки из службы становой пристав, о котором один из «органов администрации» отозвался, что это человек ради корыстных целей «спо-

собный на все»... В 1874 году, во время четырехмесячного моего отсутствия из Оренбурга, чаша страданий несчастных арестантов переполнилась; варварство обращения с ними приняло чудовищный характер: молва о нем проникла даже в Петербург. Скоро сделалось известным, что оттуда последовало распоряжение о законном взыскании с виновных в бесчеловечных истязаниях арестантов... Одною из прямых моих обязанностей было наблюдение за точным исполнением высочайших повелений. Между тем, когда я возвращался из отпуска, администрация скрыла от меня как самое высочайшее распоряжение, последовавшее в мое отсутствие, так и факт, его вызвавший... Я узнал, что два месяца тому назад на деревенской площади, среди многолюдного стечения местного населения, в присутствии смотрителя, тюремные надзиратели истязали арестантов с такою жестокостью, что *народ*, очевидец этого, поистине чудовищного варварства, *крестился и плакал.* «Их не били, жаловались мне арестанты-свидетели, а убивали. Бьют, бьют, пока они не потеряют сознания, тогда обольют водой и снова бьют, чем попало: каблуками, замками, кандалами, ружейными прикладами. На том месте, где били, точно скотину кололи. Затем их связали одной веревкой и волокли в тюремный двор за ноги. Несчастные представляли четыре окровавленные массы синей опухоли, так что нельзя было различить их друг от друга»...

Но довольно этих гнусностей, читатель. Я не затем вспомнил письмо г. Павлова-Сильванского, чтобы поиграть на ваших нервах картинами ужаса. Как ни ужасны эти картины сами по себе, но в этой истории есть сторона, которая в настоящую минуту для нас интереснее. Дело в том, что г. Павлов-Сильванский, облеченный властью прокурора, снабженный первоначально даже особыми полномочиями от министра, оказался совершенно бессильным сделать то, что должен был и хотел сделать. Этого мало. Обвиняемый смотритель, хотя и был удален от должности, но имел еще возможность влиять на ход следствия и в конце концов поступил управляющим в имение губернатора. Прокурор же, испытав целый ряд интриг, угроз, сплетен, подвергся полицейскому обыску без соблюдения указываемых на этот случай законом форм и затем уволен от должности

«согласно прошению», которого, прибавляет г. Павлов-Сильванский, «я никому и никогда не подавал». «Что все это значит? С этим вопросом я поспешил в 1875 году в Петербург, но и до сих пор не нахожу на него ответа». Так заканчивает свой рассказ г. Павлов-Сильванский. Нашел ли он какой-нибудь ответ впоследствии, не известно. Но известно, что № «Русского обозрения», в котором было помещено его письмо, просуществовав дня два-три, был вслед за тем изъят из продажи и отбирался у торгующих газетами. Эпилог, достойный всей этой истории, столь типичной для только что пережитого нами прошлого. Повторяю, в этой типичности все дело, и ради нее только, просто как безобидный образчик я и припомнил письмо г. Павлова-Сильванского.

Прокурор, «Царево око», оказался в невозможности исполнить свою прямую обязанность и, перепробовав все средства до печатного опубликования включительно, должен признать себя разбитым компактною кучкою местных администраторов и влиятельных землевладельцев, у которых рука руку моет. И после этого лицемеры или люди с веревочными нервами (одно из двух непременно) говорят нам, что дело не в учреждениях, не во внешних вещах, а «в себе»! Идите, фарисеи, с этою проповедью туда, к этим смотрителям и прочим, кто пытает и мучит людей! Там вас встретят, конечно, без «либерального хихиканья» и без «европейничания», а либо с чисто русским, национальным «так и так», либо, напротив, с распростертыми объятиями и другими признаками сочувствия. А если бы вы вздумали обратиться с этою проповедью хоть к тому же г. Павлову-Сильванскому и приглашать его «искать себя в себе» или как там это говорится на вашем елейном жаргоне, то он, достаточно измученный фактами, чтобы еще терзаться елейными речами, ответит вам, я думаю, презрением. И я по совести должен сказать, что такой ответ едва ли вами не заслужен. А впрочем, allez toujours! *

Мы себя в себе не искали, что греха таить, если это только в самом деле грех, а не просто напыщенная бессмыслица. Это вовсе не значит, что идеалы личной нравственности — дело пустое и внимания не стоящее, но ставить их в независимость от «учреждений» значит

* продолжайте! (*франц.*).

или не чисто играть, или дела не понимать. И вот, что касается «учреждений», я прошу вас серьезно вдуматься в историю г. Павлова-Сильванского и затем обобщить ее до пределов, разрешаемых логикой и здравым смыслом. Благонамеренные, исполненные наилучших желаний представители власти, которыми являются в настоящем случае прокурор, а отчасти, пожалуй, и министр юстиции, не выдерживают борьбы с кучкой местных администраторов и кулаков. Начало похода против прокурора совпадает с размежеванием башкирских земель и «теми прискорбными смутами среди временно обязанных крестьян некоторых влиятельных землевладельцев, которые были вызваны нетактичностью и крайне произвольным отношением полиции к личности и имуществу крестьян». Венчающий дело конец истории состоит в поступлении смотрителя тюрьмы в управляющие имением губернатора и в полицейском обыске у прокурора с удалением его от должности. Вы видите, как все здесь дружно, связано, переплетено и как именно поэтому представитель высшей центральной власти бессилен. С другой стороны, «народ крестился и плакал», глядя на возмутительнейшее поругание человеческой личности и жестокие пытки. А между тем, та теоретическая возможность, в которую мы всю душу свою клали, только на этих элементах, порознь или вместе действующих, и могла быть построена. Благонамеренные представители центральной власти и народ, в нашем предположении, должны были положить почин новому, особливому историческому пути для России. Но если между этими элементами протискивается всемогущий братский союз местного кулака с местным администратором, то наша теоретическая возможность обращается в простую иллюзию, а вместе с тем отречение от элементарных параграфов естественного права теряет всякий смысл. Очевидно, никому от этого отречения ни тепло, ни холодно, кроме отрекающихся, которым холодно, и всемогущего братского союза, которому тепло. Да, ему тепло, и в этом корень вещей. Оказывается, что если европейские учреждения не гарантируют народу его куска хлеба и есть там «миллионы голодных ртов отверженных пролетариев» рядом с тысячами жирных буржуа, то наши наличные порядки фактически тоже ничего не гарантируют, кроме акрид и дико-

го меду для желающих и не желающих ими питаться. Грубее, разумеется, у нас все это выходит, наглее, бесформеннее, но, спрашивается, какого доброго почина не задавит всемогущий братский союз, пока мы только себя в себе искать будем? Пусть-ко г. Достоевский попробует, ну хоть в сельские учителя поступить, да там поговорить, например, о том, что, дескать, «не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом». Пусть попробует в этом направлении поработать на родной ниве, а мы посмотрим, в каком виде он оттуда выскочит. Вот о себе, в себе, над собой, это точно, что везде и всегда можно, на виду у всякого союза, потому что это союзу на руку... В отношении аппетита наглости и фактического могущества наш союз никаким европейским буржуа не уступит. И как же, значит,запоздал г. Достоевский и комп. с своим хихиканьем над Западом! Вот если б он протестовал тогда, когда наш союз только еще слагался,— то другое дело, а он хладнокровно присутствовал при снятии головы и теперь плачет по волосам.

Но г. Достоевский еще что! Он по крайней мере уже лет тридцать не либеральничал и не европейничал. А вот, например, «Новое время». Нечего вспоминать ту розовую пору, когда столпы его, упражняясь в сочинении «Спб. ведомостей», либеральничали на всех парах. Но вот несколько лет тому назад, когда они уже сочиняли «Новое время», они с величайшей определенностью заявляли, что «вся программа настоящего времени, все его стремления, желания и цели, все руководящие принципы 70-х годов — словом, все их profession de foi * может быть исчерпано одним словом: «Европа». *Тогда*, видите ли, они считали правильным распинаться перед Европой, а *теперь* не могут удержаться от самодовольного хихиканья над Европой. Это, впрочем, не мешает им предлагать «необходимую реформу», состоящую в учреждении звания вице-председателя совета министров, каковой вице-председатель будет первым министром и главою кабинета на манер европейского. Справедливо, однако, замечают «Современные известия», что это будет не европейский премьер, а турецкий великий визирь...

* исповеданье веры (*франц.*).

Ах, господа, дело, в сущности, очень просто. Если мы, в самом деле, находимся накануне новой эры, то нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. Какие это будут гарантии — европейские, африканские, «что Литва, что Русь ли»,— не все ли это равно, лишь бы они были гарантиями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшает, если народу от нее не будет ни тепло, ни холодно...

А искать себя в себе, под собой — это просто пустяки.

Пора кончать...

сентябрь 1880 г.

ГАМЛЕТИЗИРОВАННЫЕ ПОРОСЯТА

Говоря о многочисленности и разнообразии характера Гамлета, Маудсли замечает: «При откровенном признании со стороны сочувствующего читателя оказалось бы, по всей вероятности, что он считает самого себя настоящим Гамлетом; неудивительно, что, по его мнению, он всего более и способен понять этот характер» [1]. В этом замечании много правды, и самая интересная правда состоит в том, что действительно многим, слишком многим людям кажется, что они удивительно похожи на знаменитого датского принца; едва ли даже найдется более счастливый в этом отношении литературный тип. Отчасти это объясняется, конечно, художественным гением Шекспира, который воплотил в Гамлете широко распространенные черты человеческого духа. Но с этим объяснением едва ли согласятся все действительные Гамлеты и воображающие себя таковыми. Напротив, они склонны выделять себя из большинства людей, считать себя чем-то особенным, совмещающим именно редкостные, наименее распространенные черты человеческого духа. Значит,

Гамлет обаятелен для них совсем не теми своими сторонами, которые попадаются на каждом шагу, чуть не в каждом человеке, только в различных пропорциях. Да наконец, объяснение и само по себе не полно. В Фальстафе ведь тоже воплощены широко распространенные черты, однако что-то мало охотников быть или казаться Фальстафом. Который, если и буквальное повторение Фальстафа собою представляет, так и то не признает своего с ним сходства и, может быть, именно Гамлетом рисуется в собственных мечтаниях или перед другими желал бы рисоваться. Дело понятное. Одна из самых распространенных слабостей человеческой натуры состоит в более или менее высоком о себе мнении, и так как Фальстаф есть старая, переполненная всяким свинством бочка, то ни у кого нет охоты узнать себя в таком зеркале. Гамлет совсем другое дело. Надо только узнать, какие именно черты его характера делают его героем, предметом удивления, поклонения, подражания для множества людей, иногда мелких, как мелкая тарелка, а иногда по крайней мере очень неглупых.

Когда человека приятно щекочет сознание сходства или только праздная мечта о сходстве с каким-нибудь баловнем счастья, вся жизнь которого есть ряд успехов, то тут нет ничего удивительного. Всякому счастья хочется, а успехи и победы, цветочные гирлянды и лавровые венки — все ведь это внешние выражения, атрибуты счастия, за которыми истинного счастия нет, может быть, ни капли, но которые по наглядности своей издревле составляют предмет мечтаний огромного большинства людей. Гамлет не может служить объектом таких элементарных и грубых мечтаний. Он не Иван-царевич, которому достались и жар-птица, и царь-девица; не Аника-воин, что на белом коне скакал, врагов устрашал; не Чурило Пленкович, на которого красные девушки и старые старушки глядели — наглядеться не могли. И во всех других смыслах он отнюдь не баловень счастья. Правда, он принц и наследник датского престола (устраненный, впрочем, от трона преступлением дяди); но не розы и лавры, а тернии, острые, колючие, душу раздирающие тернии венчают его на жизненном пути. Измена, предательство, холопство, лицемерие, низость, пошлость, подлость — вот что он видит кругом себя. И видит не в качестве постороннего зрителя, прямо не задеваемого

развивающеюся в его присутствии игрою всяческих гнусностей. Нет, он стоит в самом центре этой игры и на себе выносит все ее случайности и намеренности: дышит нравственно отравленным воздухом и умирает от удара отравленной рапирой. Чему же тут завидовать? об чем мечтать?

Но пусть судьба или так называемые ближние безжалостно пытают Гамлета. Быть может, острие вонзающихся в него терний тупится об сознание исполненного долга, и это сознание не только облегчает его участь, а придает, кроме того, такое величие его фигуре, что здесь-то и надо искать причины указанного Маудсли явления. Нет, этого не может быть. Именно отсутствие сознания исполненного долга и характерно для Гамлета. Он в течение пяти актов все собирается исполнить то, что считает своим долгом, делом чести и совести, и только за несколько секунд до своей смерти исполняет его наконец, но и то случайно и двусмысленно: собственно говоря, уже не за отца своего он мстит, а за самого себя, изменнически убитого. Весь внутренний интерес драмы в том и состоит, что человек, имеющий полную возможность сто раз исполнить свой долг (или то, что он считает своим долгом), постоянно колеблется, отступает, сочиняет ухищренные и ненужные способы проверки своих подозрений, придумывает предлоги для отсрочки, и притом такие предлоги, которым сам не верит. Словом, что касается исполнения долга, Гамлет просто тряпка и сам это очень хорошо понимает. А это, конечно, не такое качество, которое было бы способно возбудить уважение или мечтания о сходстве.

Гамлет, кроме того, умен, даже очень умен. Но эта черта чересчур общая. Если умных людей слишком мало сравнительно с потребностью в них и с количеством людей глупых, то их слишком много для того, чтобы какая-нибудь группа людей возмечтала о своем сходстве с тем или другим умным человеком, собственно по причине его большого ума. Гамлет умен, но и Яго умен, и вообще сам Шекспир так умен, что в его портретной галерее имеется целая коллекция умных людей, которым, однако, не посчастливилось в занимающем нас смысле так, как посчастливилось Гамлету. В этом смысле, впрочем, ум сам по себе никогда не бывает счастлив. Если многие люди мечтают о том, чтобы равняться умом с

Кантом, Наполеоном, Байроном и т. п., то дело тут не в уме собственно, а в деятельности, в действии, в создании «Критики чистого разума», или в могучем давлении на политическую жизнь Европы, или в протестации против известного порядка вещей и т. п. Гамлет, будучи очень умным человеком, все время, собственно говоря, бездействует, вследствие чего самый ум его показывается нам со стороны вовсе не привлекательной. Чистый теоретик по складу ума, он поставлен лицом к лицу с практической задачей. При таких условиях даже гораздо более сильный ум не мог бы обнаружиться наиболее блестящими своими чертами. А ум Гамлета, кроме того, еще носит на себе несчастную печать той же бесхарактерности, которою отмечена вся жизнь Гамлета. Это ум, колеблющийся даже в сфере чисто теоретических вопросов. Словом, Гамлет не глубиною или обширностью своего ума плодит гамлетиков и — простите, что забегаю вперед,— гамлетизированных поросят.

Есть в Гамлете еще одна выдающаяся черта. Он, что называется, актерская натура. Он не только искусно притворяется сумасшедшим, но и безнужно притворяется; притворство это, вовсе не оправдываемое практическими соображениями, вытекает непосредственно из его душевной потребности. Недаром он так любит театр, недаром (как давно замечено критикой) он после удачного эффекта представления странствующих актеров радуется не тому, что убедился в истине, а тому, что как он всю эту механику искусно подвел! Механика по замыслу ребяческая, в практическом отношении ненужная, но технически действительно искусно веденная. Мы, впрочем, не будем стоять за то, что Гамлет — притворщик по природе. Маудсли утверждает, что это прямо наследственная черта, бессознательно уловленная гением Шекспира. Но, может быть, дело надо понимать совсем не так. Может быть, склонность Гамлета к притворству и его искусство в этой сфере надо объяснять не непосредственными требованиями натуры, а тем, что человеку, стоящему много выше окружающего общества, доставляет удовольствие играть умом в этом направлении: водить за нос людей, кичащихся своею практическою мудростью. Так или иначе, но может ли такая игра ума стать предметом тайных или явных помыслов о сходстве или подражании? На первый взгляд, конечно, не может,

потому что, что же привлекательного в притворстве, то есть вранье? Притворщик чуть не ругательное слово.

Не совсем, однако, это так просто. Совершенно независимо от официального кодекса морали во всяком обществе и даже во всяком отдельном слое общества существуют некоторые особые понятия о чести и достоинстве. Иногда они резко противоречат официальному кодексу и находятся поэтому в странном, двусмысленном положении. Поступки, совершаемые на основании этих особых понятий, отчасти скрываются, отчасти же ими, напротив, при случае даже хвастаются. На примерах дело будет яснее видно. Взять, например, взяточничество. Официальная мораль преследует его самым решительным образом, и никто не посмеет выйти на площадь и с гордостью, во всеуслышание объявить себя взяточником. Но ведь не все же на площадях люди живут. Кроме площадей есть на свете улицы, переулки и закоулки. Есть сферы общества, где удачною взяткой хвастаются, где взяточника зовут молодцом, а прозевавшего подходящий случай — дураком. И так смотрят на дело не только те, кто сами взятки берут. Нет, к этому официально столь презренному поступку более или менее снисходительно относится чуть не большинство. Или, например, прелюбодеяние. Кто не знает, что прелюбодей, в сущности, «молодец», не дающий маху, хотя в то же время существует, кажется, даже официальный позорящий термин: «явный прелюбодей». И нельзя сказать, что во всех подобных случаях неофициальный, а тем более действительный кодекс морали не имел в виду настоящих, несомненных достоинств. Напротив. Только достоинства эти отнюдь не морального характера. Взяточник обнаружил ум, ловкость, знание, а это все достоинства. Прелюбодей обладает опять-таки ловкостью, красотой и т. п.— тоже достоинствами. Даже самые грубо низменные в нравственном смысле поступки или привычки могут стать предметом гордости и хвастовства для одних, снисходительного полуодобрения для других, если они связаны с каким-нибудь физическим преимуществом. (О преимуществах умственных в таких случаях не может быть и речи.) Например, обжорство отвратительно и стоит даже ниже черты нравственного суда, но оно требует известных физических достоинств — силы, здоровья,— и потому вы можете встретить людей,

хвастающихся обжорством и удивляющихся ему, быть может, втайне мечтающих, как бы это уподобиться NN, который съел целого барана. Любопытно, что неофициальный кодекс, вообще одобряя взяточника или прелюбодея, не простит им успеха, достигнутого без помощи каких-нибудь умственных или физических достоинств. Известно, что взятка, полученная «даром», без знания дела и без некоторого умственного напряжения, никогда даже истыми взяточниками не одобряется. Прелюбодей-старик, то есть лишенный преимуществ силы и красоты, составляет для всех предмет презрения и насмешек. Все это свидетельствует о глубоком общественном непорядке, о раздвоенности и расстроенности нравственных идеалов, причем официальный кодекс морали оказывается бессильным, а неофициальный произносит нравственный суд на основаниях, не имеющих никакого нравственного значения: одно и то же деяние прощает умному, сильному, здоровому, красивому и не прощает глупому, слабому, больному, уроду. Теперь нам нет надобности входить по этому поводу в подробные разъяснения. Мы берем просто факт, как он есть. А некоторые любопытные выводы из него сделаем ниже.

Возвращаясь к притворству Гамлета, нетрудно видеть, что и его нравственная оценка в нашем обществе крайне двусмысленна. Притворство, один из видов обмана, официальною моралью решительно не одобряется. Но мораль неофициальная, столь же неодобрительно относясь к притворству, обусловленному какою-нибудь слабостью, берет под свое покровительство притворство, связанное с силою, с каким-нибудь физическим или умственным преимуществом. В знаменитом разговоре о форме облака, похожего, по желанию Гамлета, то на ласточку, то на верблюда, то на кита, оба собеседника притворяются. Но притворство Полония вытекает из трусливого угодничества царедворца, который чувствует свое ничтожество перед принцем, и неофициальная мораль его за это казнит, казнит, собственно, за ничтожество, за слабость. Притворство Гамлета, напротив, есть игра ума, чувствующего себя выше, сильнее всех окружающих и потому позволяющего себе над ними издеваться, тем более что и по общественному положению он их всех выше и сильнее; ему неофициальная мораль прощает. Казалось бы, надо наоборот. Как ни презренны

формы, принимаемые иногда притворством слабого человека ради спасения собственной шкуры, но можно бы было простить его уже потому, что тут дело о собственной шкуре идет и притворство является орудием защиты. Сильному человеку это орудие совсем не нужно. Если он пускает его в ход, так не для защиты, а для издевательства над соседями или для пытки их. Неужели мышь, притворяющаяся мертвою в лапах кота, достойна осуждения, а кот, прибегающий в этой жестокой потехе тоже к притворству, не достоин? Но неофициальная мораль совсем не видит нравственной стороны дела. Она просто любуется силой и отворачивается от слабости. И вот почему притворство Гамлета, его актерская натура, черта сама по себе отнюдь не симпатичная, может стать для гамлетиков и гамлетизированных поросят предметом мечтаний о сходстве и подражании. Ходячая неофициальная мораль нашептывает этим людям, что очень бы хорошо было уподобиться Гамлету в искусстве притворяться, «играть на людях», потому что это искусство свидетельствует о превосходстве человека, а «превосходным» быть приятно.

Подобным же образом и другие черты характера и поступки Гамлета, не одобряемые ни официальною моралью, ни непосредственным нравственным чутьем, ни какою бы то ни было возвышенною религиозною или философскою этикой, могут попадать под покровительство ходячей неофициальной морали и этим путем плодить множество сознательных или бессознательных копий датского принца. Однако копии проистекают не исключительно из этого источника.

В известном критическом этюде «Гамлет и Дон-Кихот» г. Тургенев говорит, между прочим: «Наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хотя и не худой вид (мать его замечает, что он толст), черная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими рядом с язвительной потехой самоунижения, все в нем нравится, все пленяет: всякому лестно прослыть Гамлетом»[2]. *Одна половина* занимающего нас вопроса безупречно хорошо обрисована этими словами, которые не только выражают верную мысль, но и сказаны, расположены верно. Этот красивый пель-мель[3] из чувства превосходства

и пера на шляпе, меланхолии и черной бархатной одежды много способствует обаятельности фигуры Гамлета. Ах! как хорошо страдать в черной бархатной одежде, возвышаясь притом над людьми подобно тому, как возвышается на шляпе красивое перо! Очень красиво — что и говорить. Но красиво собственно только в замысле, а в действительности очень смешно. Бесспорно, что можно страдать в черной бархатной одежде и чувствовать свое превосходство, имея на голове шляпу с пером. Но кто *ищет* этого пель-меля, мечтает об нем, желает походить на страдальца непременно в шляпе с пером, тот наверное не превосходствует и, вероятно, не страдает, а если и страдает, так разве от обиды, что шляпа у него без пера и одежда не черная бархатная. Понятно, что, когда копированием превосходного страдальца в черной бархатной одежде занимается зеленый юноша, у которого материнское молоко на губах не обсохло, так это ровно ничего не значит: молоко обсохнет, и юноша, может быть, будет хохотать над своими мечтами о сходстве с Гамлетом или стыдиться их. Мы говорим о людях взрослых, так или иначе определившихся. И, конечно, те, кто стремится «под тень Гамлета» (выражение Нежданова в «Нови») по поводу черного бархата, те люди не первого сорта. Неужто же только подобная шушера идет и находит себя в шекспировском Гамлете?

Разумеется, нет. Г. Тургенев обрисовал только одну половину дела. Существует и другая половина. Так как я вовсе не помышляю сказать о шекспировском Гамлете что-нибудь новое, да и не Гамлет нас здесь интересует, а некоторые его копии, то я опять приведу чужие справедливые слова. Гервинус говорит: «Шекспир выдвигает Гамлета на высоту гениального ума и нравственного стремления, не закрывая глаз на те погрешности или недостатки его натуры и образования, которые в такой степени умаляют и его достоинства, и его добродетели. Довольство, с которым поэт, очевидно, останавливается на этом характере, производит на нас тем более благоприятное впечатление, что мы видим в нем, как поэт снисходит к этой личности со своей умственной высоты, а не то, чтобы симпатизировал Гамлету, как равный равному. Потому что в глазах поэта те качества, которых Гамлету недостает, именно и составляют полное достоинство человека»[4]. Значит, может быть, не «всякому

лестно прослыть Гамлетом». И действительно, спросите любого деятельного, занятого каким-нибудь делом человека (какого бы калибра ни был он сам и какого бы калибра ни было его дело), мечтает ли он когда-нибудь о сходстве с Гамлетом,— он рассмеется или удивится. Гамлет есть человек, лишенный энергии и деятельной воли, а вследствие этого при всех своих достоинствах является тряпкой. И Шекспир на него так смотрел, и сам Гамлет так именно себя понимает, за что и обдает себя горькими упреками и жестокими ругательствами. Но эта резкая искренность самоосуждения составляет новую привлекательную черту в характере Гамлета. Она мирит с ним и самого счастливого, и самого несчастного из людей дела, одинаково склонных презрительно относиться к бездельнику; мирит и того, кто настолько счастлив, что нашел себе дело по плечу и вкусу, и того, чьи плечи или мозг отдавлены непосильной работой. Она же необыкновенно усиливает влечение гамлетиков и гамлетизированных поросят «под тень Гамлета».

Гамлету по складу его ума и по характеру надо бы философию читать, хоть бы в том же Виттенбергском университете, где он учился. А между тем, он взял на себя или стечение обстоятельств взвалило на него практическую задачу, которую он выполнить не может, которая даже претит ему, хотя в то же время он признает ее целью своей жизни. Эта раздвоенность души вызывает у Гамлета целые потоки страстного, даже свирепого самобичевания. И он не рисуется при этом, а действительно искренно презирает и проклинает свою слабость. Гамлетик — тот же Гамлет, только поменьше ростом. Как и тот, большой Гамлет, он не соответствует складом ума, характера, вкусов тому практическому делу, которое по обстоятельствам считает своим кровным делом. У него тоже раздвоенная душа, из нее тоже рвутся горькие вопли самобичевания за слабость, неспособность к деятельности, недостаток энергии. Но по относительной малости своего роста он стремится под тень великорослого Гамлета, ищет и находит утешение в своем с ним сходстве. Понятно, однако, что в такой копии уже не может быть цельной искренности покаяния оригинала. Гамлет страдал от сознания своей тряпичности безутешно. У гамлетика есть утешение, и утешение состоит в том, что был на свете датский принц

с большим умом, тонкими чувствами, поэтическою речью, который тоже болел неспособностью к делу и тоже ругательски себя за это ругал. Гамлет, вполне сознавая свое превосходство, в то же время искренно презирал себя за позор бездействия. Роясь в своей душе когтями могучего анализа, бередя свои раны, он ловит и казнит себя на каждом шагу, искренно считает себя человеком более ничтожным, чем странствующий актер, который умеет зажечься исполняемою им ролью. Гамлетик же, узнавая черты своей физиономии в великом шекспировском зеркале, но не обладая страшными когтями анализа, роется в своей душе уже в двояком смысле или, вернее сказать, добывает в своей душе двоякого сорта вещи: с одной стороны, бездействие и неспособность к делу позорны; с другой, однако, стороны, так же бездействовал и так же неспособен к делу был Гамлет, поэтический, умный, интересный Гамлет; и было у него перо на шляпе, и ходил он в черной бархатной одежде...

Да, у гамлетика уже мелькает мысль об общей красивости пель-меля из меланхолии и пера на шляпе и о приятности примерять этот пель-мель на себя. И это, конечно, не гамлетовская черта, потому что Гамлет прежде всего оригинален и не мечтает об чуждой одежде. Но в гамлетике все-таки сохраняются две несомненные, подлинные гамлетовские черты, конечно, в сокращенном размере. Во-первых, гамлетик все-таки действительно страдает от сознания своей бездельности; во-вторых, в связи с этим он не сверху вниз смотрит на практическую деятельность вообще и на лежащую перед ним задачу в частности, а наоборот, снизу вверх: не дело ничтожно, а он, гамлетик, ничтожен.

В гамлетизированном поросенке эти черты совершенно уже отсутствуют...

Однако что же это за гамлетизированный поросенок? — спросит читатель. Как бывает никелированная или посеребренная медь, например, так бывает и гамлетизированный поросенок. Выражение это я употребил как-то несколько лет тому назад в фельетонах «Вперемежку»[5], и теперь оно мне вспомнилось при чтении рассказов, заглавия которых выписаны под заголовком предлагаемой статьи[6].

Представьте себе поросенка в полной парадной поросячьей форме: рыльце пятаком, хвостик винтом, глаз-

ки «свиные», щетинка в грязи. Представьте себе далее, что этому поросенку приходит в голову странная на первый взгляд мысль спрятать свою грязную щетину и свой хвостик винтом под черную бархатную одежду, надеть шляпу с пером, принять меланхолический вид и, выйдя на площадь, объяснить мимоходящей публике: «Я — датский принц Гамлет; быть или не быть? вот в чем вопрос». Гамлетом он от этого, конечно, не станет, а будет гамлетизированным поросенком.

Но не так уже странно желание гамлетизироваться, как может показаться на первый взгляд. Поросенку, понятное дело, хочется быть или хоть казаться красивее, чем он есть. Гамлет красив, а кроме того, прикинуться Гамлетом легче, чем кем-нибудь...

Гамлет — бездельник и тряпка, и с этих сторон в нем *могут* себя узнавать все бездельники и тряпки. Гамлет, кроме того, облечен своим творцом в красивый пель-мель и снабжен из ряду вон выходящими дарованиями, и потому многие бездельники и тряпки *хотят* себя в нем узнавать, то есть копируют его, стремятся под его тень. Может показаться, что такое копирование представляет чрезвычайные трудности. В самом деле, откуда же первому встречному бездельнику и тряпке взять несомненные достоинства Гамлета — его ум, его благородство, так возвышающие его над средой? Это так взять неоткуда, из земли не выроешь. Однако с этим затруднением справиться, в сущности, очень легко, потому что по свойственной человеку слабости даже очень глупые люди почитают себя иногда очень умными и очень низкие — очень благородными. Это один из самых обыкновенных обманов духовного зрения, направленного внутрь себя. Поросенок есть поросенок, но он может воображать себя умным, благородным человеком и таким рекомендоваться публике. Поверит или не поверит публика — это дело другое. Затем очень большим препятствием представляется подлинность страданий Гамлета и страстная искренность его самобичевания. Когда мы в начале статьи пытались, перебирая отдельные черты фигуры Гамлета, открыть секрет многочисленности копий, мы говорили и о страданиях датского принца, но ни в них, ни в других отдельных чертах этого секрета не нашли. Нас выручили соображения об общей красивости пель-меля

и о механике отношений официальной и неофициальной морали. Они и теперь должны нас выручить.

Как бы ни было сильно воображение поросенка, его часто должны одолевать разные сомнения насчет действительного обладания достоинствами Гамлета. Он, естественно, получает нередко житейские толчки отрезвляющего свойства, и потому в душе его происходит довольно-таки сложная работа, подчас очень мучительная. Он, например, только что наладит себя, а может быть, и из публики кого-нибудь в том смысле, что он, подобно Гамлету, двумя головами выше всех окружающих, а грубая жизнь возьмет, да и стащит его с этого монумента, воздвигнутого самому себе. Обидно, а при большом самолюбии даже мучительно обидно. И вот страдалец готов. Остается только гамлетизировать это страдание, то есть приурочить его не к действительному его источнику, а к той душевной раздвоенности, которою страдает Гамлет. Беда, однако, в том, что Гамлет страдает от искренного презрения к самому себе, причем о своих достоинствах он вовсе даже не думает. Гамлетизированному поросенку надо, напротив, убедить себя и других в наличности огромных достоинств, которые дают ему право на шляпу с пером и на черную бархатную одежду. Поэтому он ради сходства с Гамлетом готов себя казнить наедине с самим собой и публично, но чтобы эта казнь не совсем взаправду была, не выражала бы настоящего презрения. Гамлет казнил себя за бездельность и тряпичность, которые всегда и везде уважением не пользуются. Поросенок за это казнить себя не станет. Он, напротив, убежден и других желал бы убедить, что предлежащее ему дело ниже его, что и вообще нет на земле практической деятельности, достойной его поросячьего великолепия. Не его надо, дескать, презирать за бездельность, а то дело, за которое он взялся, не веруя в него и не любя. Но поросенок будет очень охотно казнить себя за такие мысли, чувства, поползновения, поступки, которые не одобряются официальною моралью, но состоят под покровительством морали неофициальной. Совершит он, положим, прелюбодеяние; совершит, как и подобает поросенку, грязно, грубо, совсем, словом, не так, как совершил бы его при случае Гамлет. Он и сам чувствует, что на Гамлета что-то

не похоже, и потому ощущает некоторое недовольство, но немедленно же гамлетизирует это недовольство, утешая себя самобичеванием, которое тем удобнее, что ведь с точки зрения неофициальной морали он — молодец, не давший маху. Выходит чрезвычайно удобное положение. С одной стороны, получается некоторая гамлетизация: скорбный вид, недовольство собой, самобичевание; с другой стороны, однако, самобичевание это производится по такому интересному поводу, который в глазах многих и многих даже очень возвышает поросенка. Зрителю, нравственно чуткому и требовательному, поросенок представляется с такой стороны, что, дескать, конечно, мое поведение грязно и грубо, но зато посмотрите, как я сам себя за это казню. Зритель, проникнутый официальною моралью, видит ту же самую глубину покаяния. Представители же морали неофициальной, которые попроще, так просто и говорят: молодца! чисто поручик Кувшинников! Более же утонченные говорят: ах, какой интересный страдалец и как к нему идет эта шляпа с пером!

Конечно, не всегда говорят именно эти речи и вообще не всегда так ко всеобщему удовольствию выходит. Но обстоятельства могут так складываться, и поросенок это очень хорошо знает...

декабрь 1882 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Вступление.— Мой первый литературный опыт.— «Рассвет».— «Книжный вестник».— Братья Курочкины, Ножин, Благосветлов, Писарев, Демерт, Минаев.

Смерть Елисеева не идет у меня из головы [1]. Ничего в ней нет удивительного или необычайного: Елисееву было семьдесят лет, а это возраст вообще значительный, а для русского писателя

и подавно. В нынешнем году вышли «Критические опыты» Валериана Майкова [2], на которого возлагались когда-то большие надежды, в котором многие видели преемника Белинского. Я не думаю, чтобы эти надежды могли быть осуществлены Майковым вполне, но это был, во всяком случае, очень даровитый и трудолюбивый юноша, который, однако, так юношей и умер. Он умер в 1847 году, двадцати трех лет, проработав на литературном поприще меньше полутора года Начиная с Лермонтова, продолжая Добролюбовым, Писаревым, кончая Гаршиным, Надсоном, мы уже как-то привыкли к ранним смертям даровитых литературных деятелей. Что же может быть поразительного в смерти больного семидесятилетнего старика, давно и спокойно готовившегося к неизбежному концу? И все-таки эта смерть неустанно гвоздит мой мозг, будя в нем целый рой воспоминаний. Может быть, тут виновато то обстоятельство, что я теперь занимаюсь разборкою бумаг Елисеева [3], в которых значительное место занимают литературные воспоминания; может быть, особенности моих личных отношений к покойному играют тут роль; может быть, наконец, и без того пришла пора оглянуться на прошлое, и смерть Елисеева была только окончательным толчком в этом направлении. Как бы то ни было, но и Елисеев, и все «Отечественные записки», и все, что предшествовало в моей жизни «Отечественным записками»,— все это просится на бумагу. И я не вижу причины держать себя в этом отношении на привязи. Мне кажется даже, что в настоящее время особенно полезно вспомнить и напомнить кое-что из прошлого. За тридцать лет исключительного и постоянного пребывания в литературной среде я ее узнал вдоль и поперек в ее достоинствах, как и в ее слабостях, в ее вершинах, составляющих гордость России, и в ее низменностях, в счастье и в несчастье. Всего этого рассказать теперь нельзя по многим причинам, понятным для каждого читателя, но то, что можно, постараюсь рассказать правдиво.

Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за последовательность и аккуратность. Оставляя за собою право (которое может при случае обратиться даже в обязанность) оборвать воспоминания на любом моменте, потому ли, что он мне покажется щекотливым, или

просто потому, что надоест вспоминать, я заранее выговариваю себе и другое право. Едва ли я в состоянии буду ограничиться буквально воспоминаниями. Читатель должен заранее примириться с разными возможными перерывами и отступлениями в сторону текущей минуты или каких-нибудь теоретических соображений. У всякого писателя есть своя физиономия, которую поздно, да и нет надобности переделывать, когда доходишь до воспоминаний.

Для меня лично «литературные воспоминания» — плеоназм. Иных воспоминаний, кроме литературных, я бы и не мог предложить читателям, потому что вся моя жизнь протекла в литературе. Конечно, и у меня, как у всякого, были внелитературные связи и отношения, но я не полагаю их интересными для читателей. Говоря, что жизнь моя вся протекла в литературе, я разумею жизнь профессиональную, жизнь труда. Я никогда не служил ни на государственной, ни на частной службе, никогда не носил мундира, кроме школьного, никогда не занимался торговлею, хозяйственными делами и т. п.; я даже почти никогда не занимался педагогическою деятельностью, которая в форме давания частных уроков, можно сказать, обязательна для бедных молодых людей, приезжающих в столицы учиться или пробивать себе жизненный путь. Говорю «почти», потому что однажды в трудные времена давал уроки русского языка взрослому немцу и с тех пор закаялся. Начав писать на школьной скамье, я затем уже не переставал быть литератором и только литератором, за исключением, помнится, двух лет, когда, еще не оперившись в литературном смысле, снискивал себе пропитание чтением корректур. Значит, и тут был все-таки около литературы.

Да не подумает читатель, что я вижу в этом какую-нибудь заслугу или особенное достоинство. Я просто предъявляю факт, имеющий свои очень дурные стороны, между прочим, ту обидную практическую беспомощность, которою почти всегда отличаются люди, с молодых лет исключительно отдавшиеся литературе. Бывают, правда, редкие исключения, как, например, Некрасов, но это именно исключения. Не желаю я, однако, внушить читателю и ту мысль, что, оставаясь всю жизнь в литературе, я приносил или приношу какую-

нибудь жертву. Совсем даже напротив. Много горестных волнений выпадает на долю русского писателя, в особенности журналиста, много обидных внезапностей и тяжелых разочарований; в самой жизни его много, по-видимому, фатальной нескладицы. Но если бы мне теперь надлежало начинать сначала, я все-таки выбрал бы литературу. И даже не *все-таки*, а *тем более*. «В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия» [4], я пошел в литературу просто по бессознательному влечению, почти по инстинкту, хотя, конечно, роль писателя рисовалась и сознанию в неясном, но прекрасном ореоле. Теперь я знаю, чего стоит этот ореол и как тернист жизненный путь писателя. Кроме того, и влечение к литературной работе утратило свою первоначальную свежесть. Но за всем тем для меня не существует дела, которое давало бы столько наслаждения и в своем начале, при возникновении известных мыслей и чувств, зовущих к письменному столу, и в самом процессе своем и, наконец, в своем результате — в общении с читателем. Кто раз глотнул из этой чаши, того разве какие-нибудь исключительные обстоятельства могут оторвать от нее. В этом заключается, между прочим, причина многих драм, совершающихся в литературной среде. Молодой человек, случайно написавший удачную вещь, затем недурную вторую, пожалуй, третью, но уложивший в них все, что у него было за душой, лишь с большим трудом убеждается, что он попал на эту дорогу случайно, по ошибке. А ошибки тут могут выйти разные. Есть умные и знающие люди, совершенно, однако, лишенные собственно литературного таланта, дара письменного изложения; и это бывает при наличности других, очень, по-видимому, сродных талантов, например, ораторского. Но кроме таланта писателю нужна еще способность приходить в известное настроение, которое случайно может посетить каждого человека, но лишь в призванных или, пожалуй, обреченных достигает достаточной напряженности и прочности и обращается в нечто привычное. Сюда надо еще ввести игру самолюбия, которое, вообще говоря, после людей эстрады и сцены, наиболее развито у литераторов, и это лежит в самых условиях их профессии. Изо всех этих обстоятельств могут выходить чрезвычайно разнообразные комбинации, способные ввести неопытного

молодого человека в ошибку насчет своих сил, способностей, даже склонностей, а сладкой отравы он уже попробовал. Он заставляет себя работать, насилует себя; колеблется вверх и вниз волнами надежды и разочарования; переживает минуты страшного нервного напряжения и затем реакции; ищет выхода и забвения в разгуле, столь вообще свойственном русскому человеку; ищет и, разумеется, находит завистников, врагов, хотя в действительности их, может быть, и в помине нет; становится, наконец, сам завистником и врагом,— врагом подчас не Ивана или Петра, а целого направления, которого прежде держался и которое теперь виновато тем, что не утилизирует его дарований; чувствуя нравственную низменность этого мотива, он еще пуще грызет себя. А оторваться все-таки не может. Все это в различных сочетаниях и в различной последовательности встречается, конечно, не у нас только. В европейской литературе есть чрезвычайно яркие художественные воспроизведения этой житейской драмы. Такова, например, история Люсьена Шардона в «Illusions perdues» * Бальзака или Октава в «Le Dieu Octave» ** Гальта. Сравнительно с нашими подобными драмами истории Люсьена и Октава осложнены тою непосредственно практическою политическою ролью, которую может играть европейский писатель и которая, еще обостряя жажду, обостряет в такой же мере и горечь неудовлетворения. У нас все это проще, площе, мельче по фабуле и обстановке, но в своем роде не менее мучительно для действующих лиц. В повести г. Потапенко «Святое искусство» и в недавно вышедшей повести г. Влад. Немировича-Данченко «На литературных хлебах» пределы этой русской драмы далеко не исчерпаны, но некоторые ее моменты хорошо намечены. Герои обеих повестей — молодые люди, не лишенные не то что таланта, а способности письменно излагать несложные факты и мысли; но им этого мало, они метят выше и, несмотря на все разочарования, не могут бросить перо. Само собою разумеется, что от подобных и даже гораздо более страшных драм не гарантирован и старый человек, хотя бы уже потому, что немолодой

* «Утраченные иллюзии» (*франц.*).
** «Боги Октава» (*франц.*).

человек может оказаться в положении начинающего писателя. В январском нумере журнала «Артист» напечатано начало рассказа г. Садовского «Высокое призвание». Немолодой уже учитель математики, Струев, поощряемый лестью, совершенно, впрочем, искреннею, приятелей, задумывает написать комедию. Грубоватый юмор г. Садовского слишком уже подчеркивает ожидающую несчастного неудачу и долженствующую последовать за подъемом «высокого призвания» горечь разочарования. Да и вообще это случай слишком элементарный. Гораздо глубже и страшнее драмы, часто пересекающие тернистый путь писателя бывалого, уже видавшего виды. В упомянутой повести г. Влад. Немировича-Данченко чуть-чуть намечена подобная драма в лице Тростникова. Оскудеет нервно-мозговая лаборатория, где из впечатлений, чувств, мыслей создается специальное настроение, зовущее к письменному столу; ослабеет способность к работе в чисто механическом смысле; оборвется каким-нибудь посторонним, внешним обстоятельством или собственным разочарованием писателя его привычная уже связь с читателем,— и человек так несчастлив, как трудно и представить людям, не испытавшим или близко не видавшим этого. Несчастие его тем ужаснее, что он все-таки пригвожден к кресту своего писательства, с которого ему не сойти никуда и никогда. Все это я говорю о литературных работниках или намеревающихся быть таковыми, а не о дилетантах, уделяющих часы своих досугов от иных, административных, хозяйственных и т. п. забот. Те совсем особая статья. Да и то, что сказано, сказано пока вскользь, к слову. О драмах, совершающихся в литературной среде, мне еще, вероятно, придется говорить в подробности.

Здесь прибавлю только одно. Материальное положение русского писателя чрезвычайно шатко. Г. Щеглов во втором томе своей «Истории социальных систем» говорит о больших состояниях, наживаемых у нас литературой, о каретах и лакеях [5]. Спора нет, это бывает, но большие состояния наживаются все-таки не литературой в собственном смысле слова, а издательством. Большинство же литературных работников, если они не имеют наследственного состояния, как, например, Салтыков или Тургенев, под конец жизни терпят

всяческие лишения и сплошь и рядом умирают нищими с горчайшими думами о судьбе своих семей, если таковые есть. Этого не избегают даже крупнейшие таланты, по-видимому, особенно благоприятно поставленные. Достоевский лишь за несколько лет до смерти поправился, а до тех пор бился, как рыба об лед, попадая временами в унизительнейшие положения. Зайончковскую (В. Крестовский — псевдоним) не на что было похоронить. Белинский писал одному знакомому: «Я ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал все, что дано было мне сделать, что я выписался и... стал похож на выжатый и вымоченный в чае лимон. Каково мне было так думать, можете судить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством» [6]. Это ли еще не драма?!

Но, конечно, ни о каких таких драмах я не помышлял, когда весною 1860 года с трепетным сердцем и маленькою рукописью в кармане пробирался на Петербургскую сторону, в редакцию «Рассвета» [7], «журнала для взрослых девиц», издававшегося артиллерийским офицером Кремпиным [8]. Почему артиллерийский офицер издавал журнал для взрослых девиц и почему я, 18—19-летний кадет горного корпуса, отправился в этот журнал с своим первым литературным произведением, этого сразу не поймешь. Мне впоследствии «Рассвет» никогда не попадался под руку, но смутно помнится, что это был журнал по-своему интересный и живой, хотя просуществовал он недолго, не больше трех лет. В нем пробовали свое перо некоторые выдавшиеся впоследствии литературные силы. Там начал свою краткую, но блестящую карьеру покойный Писарев [9]. Если не ошибаюсь, там писал и А. М. Скабичевский [10]. Один мой товарищ по горному корпусу, некий Штильке, практический человек, ныне уже умерший, смастерил компиляцию о «кофе» [11], снес ее Кремпину, и тот напечатал. Другой мой товарищ, К. А. Скальковский, ныне большой чиновник, всемирный путешественник и балетоман, напечатал в «Рассвете» какую-то историческую статью [12]. Таким образом, собственно мне дорога была как бы уже проложена, а следовательно, и мой выбор «Рассвета» можно объяснить чисто механически. Но нельзя, я думаю, так просто объяснить

самую тему моей первой статьи. Тогда в «Современнике» появился отрывок из романа Гончарова «Обрыв», озаглавленный «Софья Николаевна Беловодова». Этот-то отрывок и вдохновил меня на критическую заметку [13]. Заметки этой я не помню. Помню только, что она была не подписана; помню почему-то, что Райский в ней сравнивался с гуслями-самогудами [14]; помню, наконец, одно замечание Кремпина о неловкости и ненужности употребленного мною выражения «пахотинщина» (Софья Николаевна Беловодова была, как известно, урожденная Пахотина); но осталось ли это действительно ненужное и неуклюжее слово, очевидно, навеянное «обломовщиной», или его Кремпин вымарал,— не помню [15]. А главное, не помню общей мысли и содержания статейки [16]. Во всяком случае, она была вызвана женскою фигурой. В то же время я замышлял статьи о некоторых других женских фигурах, исторических и поэтических, чего, впрочем, в исполнение не привел. Статейку мою Кремпин нашел «весьма удовлетворительною» и торжественно вручил мне за нее 13 рублей. «По расчету выходит 12 р. 90 к.,— сказал он,— но уж так, для круглого числа». Несмотря, однако, на этот добавочный гривенник и на снисходительное одобрение артиллерийского редактора журнала для взрослых девиц, статейка была, должно быть, очень курьезная. Дело в том, что я тогда женщин не только не знал, а почти что и не встречал. Оторванный волею судеб с 14-ти лет от всякой семейной обстановки, заключенный в четырех стенах закрытого заведения и долго не имея в Петербурге никаких знакомых, я только перед самым своим выходом из корпуса, можно сказать, увидал женщин. Отсюда следует заключить, что в статейку о Софье Николаевне Беловодовой едва ли вложено особенно глубокое понимание, хотя тогда я, разумеется, был совершенно иного мнения об этом своем первенце. А, между тем, немного позже я еще и еще обращался (между прочим, помнится, в «Современном слове» Писаревского [17]) к разговору о женщинах и даже прямо о женском вопросе.

Этой кажущейся несообразности есть две причины. Одна из них обусловливается обстоятельствами времени. Это — та самая, по которой и артиллерийский офицер Кремпин стал издавать журнал для взрослых

девиц. Есть общественные вопросы, очень сложные в своих подробностях и разветвлениях, но теоретически легко формулируемые, по крайней мере в своих исходных точках. К числу их принадлежит и так называемый женский вопрос. Основные его положения так просты и ясны, что им, собственно говоря, могут быть противопоставлены только лицемерие, предрассудки и насилие. Немудрено поэтому, что женский вопрос получил у нас чрезвычайную популярность в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, когда результаты Крымской войны вызвали в общественном сознании шумную волну борьбы с лицемерием, предрассудками и насилием вообще. Он не был, конечно, ни самым значительным, ни самым острым из множества возникших тогда общественных вопросов, но он был самым общедоступным. В сущности, он вовсе не так прост, как кажется или как казалось тогда, но его первые элементы поражают известным образом настроенные молодые умы и молодые или помолодевшие общества своею простотой и ясностью. Женщина хочет и может учиться, работать, участвовать в жизни общества, свободно выбирать себе семейную и всякую другую житейскую обстановку,— словом, женщина хочет и может быть человеком. Чтобы понять это и проникнуться этим, не требуется ни специальных знаний, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрых чувств, которые могут быть и у артиллерийского офицера, и у полувзрослого горного кадета. В приподнятом тоне всей тогдашней общественной атмосферы женскому вопросу естественно было стать пробным камнем для приложения молодых сил, тем более что он был тогда новинкой. Для теперешнего хорошо настроенного юноши это — пройденная ступень, из-за которой он не станет огорчаться: несмотря ни на что, жизнь все-таки многое отвоевала. Но тогда именно на этой почве были всего удобнее первые стычки с насилием и своекорыстием, а стало быть, и первые проблески идеалов справедливости и свободы.

18—19-летнего юношу могло толкать в эту сторону еще одно обстоятельство. Гр. Л. Толстой с беспощадною и, может быть, даже чрезмерною откровенностью рассказал в «Крейцеровой сонате» про те мерзостные

формы, под которыми в большинстве случаев молодые люди практически узнают так называемую любовь. Горькая правда, но правда все, что сказал об этом гр. Толстой с фактической стороны: грубо, грязно, омерзительно. Однако это, во-первых, не полная правда, а во-вторых, из нее следуют совсем не те выводы, которые делает гр. Толстой. Впрочем, о выводах гр. Толстого как-то даже странно говорить. Только упорное холопство перед именами может искать и находить здесь какую-то глубину и высшую правду. Как бы то ни было, но и после «Крейцеровой сонаты» любовь остается все-таки законом природы, писанным для дураков и умников, для холопов и бар, и вопрос не в том, чтобы обойти его, а чтобы физиологические корни любви и ее психологические цветы не были оторваны друг от друга. Благодаря безобразному строю нашей жизни вообще, благодаря в особенности условиям воспитания нашего юношества эта физиология и эта психология живут сплошь и рядом врознь. Самый обыкновенный случай тот, что девушка носится в эфирных волнах сентиментального идеализма, иногда подлинного, а иногда лицемерного, а ее будущий муж купается в это время в грязи. Но в большинстве случаев в то же самое время и в его душе цветут цветы, и только дальнейшее течение жизни окончательно определяет характер его отношений к женщине. В тот критический момент развития, когда физиологическая основа любви заявляет о себе с непреодолимою настойчивостью, смутным, но отнюдь не грязным тяготением к женщине проникается и душа юноши. Эта цельность настроения, охватывающая всего человека зараз, под влиянием среды иногда очень быстро нарушается, иногда навсегда, иногда временно, но она все-таки есть, по крайней мере в виде задатков. В это время пишутся проникнутые голубоглазым идеализмом стихи «к ней», где воспеваются разные «ее» блестящие качества, хотя никакой «ее» на деле нет, или же блестящие атрибуты торопливо нацепляются на первую попавшуюся женскую фигуру, к которой они, может быть, идут, как к корове седло. «Ее» нет, но есть смутное представление о чем-то сложно и жизненно прекрасном, чему хочется так или иначе послужить, помочь, защитить. Я не рожден поэтом и писал не стихи «к ней», существующей или несущест-

вующей, а статьи о женщинах, которых совсем не знал.

Итак, первый шаг сделан: первая статья напечатана. Тридцать лет тому назад это было. Тридцать лет! Ах, как это ужасно много и как трудно седой голове, видавшей всякие виды, переживать золотые дни молодости! Помню, что весна была, солнце светило и грело, помню грязь и колеблющиеся деревянные тротуары тогдашней Петербургской стороны. Но не могу восстановить в своей памяти то настроение, в котором находился в этот торжественный момент. Сотни печатных листов, написанных мною в тридцать лет, завалили его своею тяжелою грудой. Тринадцать рублей первого гонорара — зловещая «чертова дюжина» как бы предрекала, что не всё розы будут на моем литературном пути, но настроение все-таки, должно быть, было под стать весне — ликующее и вместе с тем несколько стыдливое. Всякая первая в своем роде удача в жизни сопровождается стыдливым чувством, если, разумеется, человек вообще к нему способен. Я немало видал и таких людей, которые непосредственно после первой удачи чуть не на аршин вырастают, так что им даже очень трудно нагнуться, чтобы подать два пальца неудачливому простому смертному. По-видимому, я был не таков, потому что поконфузился подписать под статейкой фамилию или даже инициалы и о торжестве своем сообщил лишь очень немногим товарищам, а из немногочисленных внекорпусных знакомых решительно никому.

Странным образом я в это время не думал сделаться литератором по профессии. Меня манило другое. К сочинительству я чувствовал склонность с раннего детства. И в гимназии, и потом в горном институте я отличался «сочинениями» на заданные или самостоятельно выбранные темы, каковые сочинения писал не только для себя, а и для других. Из этого выходили иногда забавные недоразумения, но расположением учителей русского языка я всегда и неизменно пользовался, несмотря на свое легкомысленное поведение. Помянем кстати добрым словом, кажется, исчезающий, если не исчезнувший тип учителя русского языка, который, благоговея перед литературой и иногда робко тая в самом себе мечты о литературной деятельности, с особенным вниманием относился к зачаточным проблескам

литературного дарования в своих учениках. Тем не менее в то время, когда моя статейка о Софье Николаевне Беловодовой увидала свет, я не о литературной профессии мечтал, а об адвокатской. Горный институт или горный корпус (официально он назывался институт корпуса горных инженеров) был тогда закрытым заведением, в которое, однако, проникали разные веяния из взбудораженного уже совершившимися и предстоящими реформами общества. Я был особенно заинтересован судебною реформой, о которой, впрочем, должен признаться, имел довольно смутное понятие. Это не мешало мне мысленно говорить блестящие речи в качестве «защитника вдов и сирот». Читатель, вспомните свою молодость и не будьте слишком строги к легкомысленным мечтам 18—19-летнего мальчика. Почему я воображал себя оратором, я не знаю. Может быть, тут были виноваты маленькие разговорные успехи в кругу товарищей, а может быть, некоторая способность и в самом деле была, да атрофировалась от неупотребления. Кавелин где-то говорит о «дурной привычке думать с пером в руках». Эта дурная привычка, кажется, неизбежна для призванного или обреченного литератора. Когда такой обреченный литератор чувствует позыв писать, это еще не значит, что у него готов план работы. Бывает и так, но, может быть, в большинстве случаев бывает совсем иначе. Просто какое-нибудь впечатление или какая-нибудь только мелькнувшая мысль всколыхивает кладовую бессознательного, где неведомо для самого писателя покоятся результаты предыдущего опыта, наблюдения, чтения, всей прошлой жизни. Уже в процессе работы эти продукты бессознательной душевной деятельности выступают на порог сознания и комбинируются в цепи логических умозаключений или в определенные образы и картины. Да и в тех случаях, когда общий план выработан заранее, в процессе письменной работы является множество непредвиденных подробностей и поправок. С течением времени процесс работы так прочно ассоциируется с процессом самой мысли, что действительно становится трудным думать без пера в руках. Этим объясняется застенчивость многих талантливых писателей в обществе, их ненаходчивость в разговоре, отсутствие в них, за редкими исключениями, ораторской способности. Когда,

как можно ожидать, фонограф вытеснит письменный стол и письменные принадлежности, литературный персонал будет, наверное, очень отличаться от нынешнего.

Как бы то ни было, я мечтал об адвокатуре и всего меньше прельщался предстоявшею мне карьерой горного инженера. А тут произошли еще школьные беспорядки, в результате которых мне было так настоятельно любезно предложено подать прошение об увольнении из корпуса, что я не мог отказаться [18]. Я уехал в провинцию к родным [19] все с тою же тайною мечтой об адвокатуре и с намерением поступить на юридический факультет Петербургского университета, тогда вследствие студенческих беспорядков закрытого [20]. Когда я вернулся в Петербург, открыт был только первый курс. Не держа экзамена и не записываясь вольным слушателем, я попробовал было ходить на лекции контрабандой (тогда это было возможно), но скоро перестал, решив, что проживу и без диплома, да и мечту об адвокатуре бросил.

Литературные враги не раз попрекали меня тем, что я нигде не кончил курса (попрекали, как это всегда бывает, больше такие господа, которые сами разве только гимназию кончили и затем, почив на лаврах, самостоятельно уже ничему не учились). Люди же благорасположенные как бы конфузились за меня. Однажды некоторый библиограф пришел ко мне за биографическими сведениями для какого-то словаря. Сообщаю, между прочим, что учился в костромской гимназии, из четвертого класса которой перешел в горный институт, где, однако, курса не кончил, и более ни в каком учебном заведении не был. «Ну, этого я не напишу,— сказал любезный библиограф.— Отчего? — Ну, все-таки, знаете...» Но ведь из песни слова не выкинешь, а это биографический факт. Факт, для меня, разумеется, не совсем удобный, но постыдного в нем, я думаю, ничего нет; тем более что, ведь, и Белинского дразнили «недоучкой», и Некрасов нигде не окончил курса, и я знаю много балбесов, правильно окончивших надлежащие курсы и снабженных соответственными дипломами. Надо заметить, что в мое время горный корпус состоял из пяти приготовительных и трех специальных классов. Я вышел из корпуса, сдав

экзамен в 3-й специальный, то есть последний класс. Поэтому в выданном мне аттестате значатся успехи в таких науках, каких господа, дразнящие меня неокончанием курса, может быть, даже и не слыхивали. Разумеется, я все эти специальные знания давно растерял, но это произошло бы и в том случае, если бы я благополучно дотянул школу до конца, как это бывает со всеми, кто покидает специальность, к которой он готовился. А то, что и в этих случаях может дать систематическое школьное учение,— известную умственную дисциплину,— я получил. Несколько месяцев, которые мне оставалось дотянуть для получения диплома на чин горного инженер-поручика, в этом отношении много не прибавили бы.

Мечтая о карьере адвоката, я с жаром, хотя без всякого порядка, читал разные юридические сочинения. В том числе был учебник уголовного права г. Спасовича[21]. В этом сочинении есть краткий обзор различных философских систем в их отношении к криминалистике. Я в особенности поразился знаменитой триадой Гегеля, в силу которой наказание так грациозно становится примирением противоречия между правом и преступлением. Известна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля в ее разнообразнейших приложениях (в свое время я расскажу, как соблазнялся ею, уже будучи известным ученым, покойный Н. И. Зибер)[22]. Неудивительно, что я был пленен ею в учебнике г. Спасовича. Неудивительно, что затем потянуло и к Гегелю, и ко многому другому. Языки, немецкий и французский, я, к счастию, недурно знал с детства. Открылось, можно сказать, необозримое поле для чтения, тем более необозримое, что я глотал материал для чтения без всякого руководительства со стороны. Уголовное право и вообще юриспруденция постепенно стушевывались, бледнели. А когда в случайном споре о том же Гегеле мне был указан Прудон как своеобразный применитель гегелианской диалектики и я прочитал его «Contradictions économiques *,— юриспруденция и совсем распрощалась со мной. Дальний отголосок интереса к криминалистике сказался лишь в статье по поводу сборника Любавского «Русские уголовные процессы», напечатан-

* «Экономические противоречия» (*франц.*).

ной в 1869 году в «Отечественных записках» и перепечатанной в «Сочинениях» под заглавием «Преступление и наказание»[23].

Раз подвернулось под перо упоминание об этой едва ли не первой моей значительного размера статье, мне хочется сказать следующее. Я был так счастлив, что крутых переломов в моем миросозерцании с тех пор, как я выступил на литературное поприще, не было. Подобные переломы, для искренних натур тяжелые вообще, для писателя отягчаются еще мучительным сознанием, что, дескать, не только сам заблуждался, а еще публично проповедовал заблуждение, распространял его. Я не испытывал этих мучений. Кроме каких-нибудь мелочей, которые мне сейчас даже в голову не приходят, мне не от чего отрекаться в своей литературной деятельности. Из этого не следует, однако, чтобы я явился в литературу совсем готовый, «подобно Минерве из головы Юпитера», как иронизировал когда-то на мой счет г. Чуйко[24], или, что то же, был вполне «неподвижен», как двусмысленно любезничал недавно г. Волынский[25]. Разумеется, я не сразу подошел к правде, какою она мне в настоящую минуту представляется, но я не уклонялся с дороги к ней. В частности, мне не от чего отпираться и в упомянутой статье «Преступление и наказание». Но, конечно, многое я сказал бы теперь не так, как тогда, и не только в смысле стиля, из которого уже давно выдохся юношеский эмфаз.

Между прочим, в упомянутой статье говорится: «Вид наказания иногда не только не производит желаемого устращающего и опозоривающего действия, но, напротив, как будто наталкивает на подражание палачу, вызывает непреодолимую жажду крови. *Уровень наших психологических познаний не захватывает этих явлений*, хотя там и сям можно встретить намеки на попытки их объяснения... (следуют указания на Адама Смита, Кетле[26], Миттермайера[27]). А между тем, явления этого порядка аналогичны, *может быть*, даже с таким обыденным фактом, как зевота при виде зевающих. Есть много фактов, *ничего не дающих для положительного вывода*, но очень ясно намекающих на возможность широкого отрицательного обобщения» и т. д. Много лет спустя из этой робко высказанной

мысли выросла статья «Герои и толпа» [28]. Другой пример, в известном смысле противоположный. В той же статье о преступлении и наказании развивается старое положение: «Понять — значит простить» — и доказывается, что мерило духовной высоты человека есть степень его способности прощать, то есть понимать. Мысль эта высказывается категорически, решительно,— столь решительно, что теперь у меня не хватило бы уже этой юной решительности. Понять — значит простить, да; но горький житейский опыт и многолетние житейские наблюдения приводят к заключению, что есть мерзости, которых именно нравственно развитая личность не может понять, не может, значит, и простить.

Это, впрочем, пока мимоходом.

Время от времени, но очень изредка, я пописывал статейки, которых уже не помню,— между прочим, в одной еженедельной газете (если не ошибаюсь, она называлась «Якорь» [29]), редактором которой был Шульгин, впоследствии ответственный редактор благосветловского «Дела». Упоминаю об этом потому, что на основании знакомства с Шульгиным я было пробовал потом работать в «Деле», но неудачно, о чем расскажу. Так шло дело примерно до 1865 года, когда я через одного своего бывшего товарища познакомился с интересными людьми и окончательно и сознательно вступил на литературное поприще.

Один из этих новых знакомых был Николай Степанович Курочкин, брат известного переводчика Беранже и редактора «Искры». В этой семье таланты распределялись точно по лестнице. Старший брат, Владимир, не обладал, кажется, никакими дарованиями, служил в военной службе, содержал потом книжный магазин, потом литографию и, кажется, согрешил однажды переводным водевилем. Младший, Василий, редактор «Искры» и переводчик Беранже, был, напротив, чрезвычайно талантлив, гораздо даже талантливее, чем можно судить по его литературному наследству. Середину между ними занимал средний и по возрасту брат, мой новый знакомый, Николай Степанович. Врач по образованию и, так сказать, официальной профессии, он давно

бросил медицину, охотно смеялся над нею, сам лечил себя то редечным соком, то крупинками Маттеи, то еще бог знает чем. Поэт, если не по призванию, то по смертной охоте, он писал, однако, довольно плохие стихи. Но вместе с тем это был умный, в особенности остроумный, разносторонне начитанный человек, необыкновенно преданный литературе и ее интересам. В свое время он мечтал, вероятно, о большой роли в литературе, и маленькая горечь несбывшихся упований сквозила иногда в его разговоре. Но он был слишком добродушен и слишком лентяй и циник, чтобы содержать себя в постоянном огорчении. Лысый и толстый, он напоминал Силена, только с чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много ел, много пил, много спал; мог целыми днями сидеть немытый, в распахнутом на жирной груди халате, как-то особенно поджав под себя ноги, на манер Будды; при этом он крутил одну за другой толстые папиросы и неустанно говорил, забавно картавя и мешая серьезные речи с разным более или менее остроумным вздором. Только разговаривать он и не ленился. Впрочем, лень овладевала им постепенно, и в то время, когда я с ним познакомился, он был сравнительно очень бодр и деятелен. Старший Курочкин, Владимир, купил тогда книжный магазин Сенковского [30], а вместе с ним журнальчик «Книжный вестник» [31], издававшийся тем же Сенковским, и предложил Николаю Степановичу редактировать его. Николай Степанович набирал сотрудников; в качестве такового меня и познакомил с ним мой бывший товарищ, знавший мои литературные склонности. Особенных хлопот по набору сотрудников, впрочем, не было. «Книжный вестник» был ничтожный журнальчик, выходивший два раза в месяц маленькими тетрадями в лист или два печатных. При Сенковском он состоял из перечня вышедших за две недели новых книг, из которых о некоторых давались коротенькие, в несколько строк отзывы. Но Курочкин мечтал о расширении журнала и о превращении его в серьезный специально критический орган. Однако все это было еще впереди, в более или менее отдаленном будущем, потому что средства издателя были очень скромны. К нескольким библиографическим заметкам, принесенным мною для пробы, Курочкин отнесся чрезвычайно

благосклонно и горячо убеждал меня работать, работать и работать для литературы. Я не особенно нуждался в этих увещаниях, но все-таки всегда с благодарностью вспоминаю Курочкина за оказанный им мне прием и за все его дальнейшее отношение ко мне. Почитаю его своим литературным крестным отцом. Он же меня впоследствии и в «Отечественные записки» ввел, и хотя я очень быстро занял в этом журнале положение, гораздо более влиятельное, чем то, каким пользовался он, старый литературный неудачник, но в его отношениях к моим сравнительно быстрым успехам никогда не было и тени завистливого недоброжелательства. Несмотря на свою слабость ко всякого рода материальным благам, для достижения которых он, впрочем, не ударил бы лишний раз палец о палец, он действительно и неподкупно любил литературу.

На первый раз штат сотрудников «Книжного вестника», кроме самого Курочкина и меня, составился из Стойковича[32], старика библиотекаря в публичной библиотеке, оставшегося нам в наследство от Сенковского, затем Зайцева, известного критика «Русского слова», и некоего Николая Дмитриевича Ножина[33]. Это был совсем молодой еще человек брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии). Я его изобразил впоследствии под именем Бухарцева в своих полубеллетристических очерках «Вперемежку»[34]. Это изображение очень точно, за исключением, конечно, отношений Бухарцева — Ножина к сочиненной фабуле очерков. Курочкин, знавший Ножина раньше, благоговел перед ним. Желающие познакомиться с Ножиным благоволят обратиться к упомянутым очеркам.

Стали мы работать в «Книжном вестнике» с чрезвычайным усердием, по крайней мере мы с Ножиным, Зайцев был слишком занят в «Русском слове», Курочкин все-таки поленивался, а Стойкович не в счет шел. Познакомился еще я в это время с другим сотрудником «Русского слова», Соколовым, автором «Отщепенцев», который несколько презрительно относился к нашей возне с «Книжным вестником». Все шло как следует, но в самом конце марта 1866 года Ножин опасно заболел, говорят, тифом. Заболел он на квартире у Курочкина, откуда его пришлось отправить в больницу, и там его

быстро скрутило: 3 апреля он умер. На другой день, 4 апреля, всю Россию всполошил каракозовский выстрел. 6 апреля мы хоронили Ножина, даже в уме не имея, чтобы он мог состоять в каком-нибудь отношении к злосчастному выстрелу. Я и до сих пор не знаю, какое это было отношение и даже было ли какое-нибудь. В одном из первых официальных сообщений следственной комиссии имя Ножина поминалось, но всего один раз; никого из прикосновенных к делу я никогда у Ножина не видал, даже фамилий их от него хотя бы случайно не слыхал, равно как не слыхал от него никаких разговоров, которые намекали бы на какое-нибудь его участие в подобном деле.

Трудно описать впечатление, произведенное этим первым покушением на жизнь императора Александра II, да это и не входит в мой план. Скажу только, что в это трудное время далеко не все органы печати вели себя удовлетворительно. Казалось бы, назначение такого человека, как граф Муравьев, председателем следственной комиссии и предоставление ему чрезвычайных полномочий достаточно гарантировали энергию следствия и кары виновных. Но некоторые органы печати сами взяли на себя роль следователей и производили вящую смуту в обществе, разыскивая виновных направо и налево и даже там, где их, очевидно, быть не могло. Я написал по этому поводу статью «4 апреля и русская журналистика» и понес ее Курочкину. Я застал его в страшном волнении. Когда я сообщил ему название моей статьи, он только руками замахал; но, выслушав статью, нашел, что ее не только можно, но и должно напечатать или, принимая в соображение тревожность минуты, пожалуй, наоборот, не только должно, а и можно. Статья эта, впрочем, так и не увидела света. Через несколько дней Курочкин был арестован, Зайцев также. Я был лишь призываем к допросу; спрашивали о Ножине, я сказал все, что знал, но оказалось, что интересного для следствия я ничего не знал.

Только через четыре месяца выяснились недоразумения, вследствие которых были арестованы Курочкин и Зайцев, и они получили свободу. Все это время наш бедный «Книжный вестник» оставался на моем попечении. Как ни ничтожен был наш журнальчик, но мы возлагали на него большие надежды в будущем, и,

оставшись у кормила этой малой ладьи, я выбивался изо всех своих юных сил, чтобы поднять журнал. Положение было тем более трудное, что я не мог относиться так снисходительно, как Курочкин, к водянистым и пустословным рецензиям единственного оставшегося мне в наследство сотрудника, Стойковича. Я обратился за помощью к В. А. Манассеину, тогда еще студенту медико-хирургической академии, но уже известному своими работами в «Архиве судебной медицины и общественной гигиены», и к своему бывшему товарищу по горному корпусу Н. Г. Дебольскому, ныне известному педагогу. Специально литературных знакомств я не имел. Когда через четыре месяца Курочкин вышел на свободу, он очень одобрительно отнесся к моему ведению журнала, но тут же передал мне претензию издателя, который находил, что обилием и пространностью рецензий я уже слишком вышел из предположенных границ издания. Он был с своей точки зрения прав, но и я с своей стороны мог претендовать на издателя. Работая изо всех сил, я был очень доволен и самою работой, и ее полною самостоятельностью, тою руководящею ролью, которая выпала на мою долю хотя бы и в маленьком деле. Как бы, однако, даже ни преувеличенно высоко ценил я это свое положение, а пить-есть, одеваться-обуваться все-таки надо было. Издатель, конечно, понимал это, но не особенно горячо принимал к сердцу, а впрочем, и его собственные дела шли из рук вон плохо. Я жил тогда в меблированной комнате, в мансарде дома Китнера, у Вознесенского моста, в настоящей типичной мансарде, каких в Петербурге немного. Платил за комнату, помнится, рублей двенадцать и тут же обедал за девять рублей в месяц. По этим цифрам можно судить и об остальном бюджете. Как нищий испанский гидальго, гордо драпирующийся в дырявый плащ, я, полный своего редакторского достоинства, каждый день шагал в продранных сапогах на Невский проспект, в книжный магазин издателя и сплошь и рядом на просьбу о заработанных деньгах получал предложение посидеть в магазине,— не навернется ли, дескать, покупатель: все, что при вас наторгуем, ваше будет. Увы! покупатели приходили редко и покупали мало...

Тем не менее, когда через несколько времени, вслед-

ствие плохих дел, закрылся книжный магазин Владимира Курочкина и прекратился «Книжный вестник», я был, разумеется, глубоко огорчен. Я уже настолько вошел во вкус литературной работы, что жить без нее не мог, а работать негде было. «Современник» и «Русское слово» не существовали. Курочкин попробовал издать колоссальный альманах «Невский сборник»[35], куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предприятие не пошло. Появились объявления об издании нового журнала «Дело» под редакцией Шульгина, и я, памятуя свое знакомство с Шульгиным по «Якорю» (?), отправился к нему, захватив с собой «Книжный вестник» как образчик моей работы. Шульгин разъяснил мне, что он лишь ответственный редактор, а ведется «Дело» Благосветловым, которому он и передаст мои статьи. Познакомившись с ними, Благосветлов встретил меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а расскочились. Я слишком мало знал Благосветлова, чтобы составить о нем достаточно полное и определенное мнение. Кратковременные наши отношения выяснили мне только одну сторону его характера — какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что он говорил и делал. Аляповаты были его любезности, аляповат был если не образ мыслей его, то по крайней мере способ их выражения, но всего, конечно, аляповатее были его ядовитости, с которыми мне пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать в «Деле» литературное обозрение и возьму на себя всю библиографию. В одно из моих посещений Благосветлова я застал у него молодого человека с огромным лбом, живыми глазами, быстрыми речами, быстрыми движениями. Это был Д. И. Писарев, которого я видел тут в первый и в последний раз. Входя в кабинет, я еще слышал конец какого-то запальчивого разговора. «Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?» — говорил Благосветлов. «Ты знаешь, что я всегда так»,— резко отвечал Писарев. Разговор был прерван моим появлением. Когда Благосветлов назвал меня Писареву, тот, пожимая мне руку, быстро спросил: «Переводчик Шекспира?» Он принял меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Миха́ловского, известного поэта. Я говорю «нет». «Так кто же вы?» — «Ник-

то».— «Как Одиссей?» [36] Вмешался Благосветлов и стал говорить в похвалу мне столь аляповатые слова, что я затрудняюсь их приводить. Может быть, сверх своей аляповатости во всем Благосветлов имел в данном случае еще специальную цель. Как я узнал впоследствии, между Благосветловым и Писаревым происходили в это время очень острые недоразумения, к составу которых относился, вероятно, и «ультиматум» Писарева. Писарев уходил из «Дела» и действительно скоро ушел, о чем имеется обстоятельный рассказ в воспоминаниях Н. В. Шелгунова [37]. Весьма возможно, что, не в меру восхваляя меня, начинающего, совершенно неизвестного писателя, и пророча мне в присутствии Писарева блестящую будущность, Благосветлов имел в виду повлиять на Писарева в нужную ему, Благосветлову, сторону или по крайней мере сорвать зло: дескать, и без тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосветлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и бессознательное побуждение, то на Писарева его слова, во всяком случае, не произвели предположенного впечатления. Он, видимо, был очень занят каким-то своим делом и, с любопытством посмотрев на меня, без особенной горячности, но очень добродушно пожелал мне успеха; затем, заявив Благосветлову, что будет ждать его ответа в такой-то срок, ушел. Больше я с ним не встречался. В начале 1868 года он поместил несколько статей в возрожденных «Отечественных записках», но меня тогда еще там не было [38], а в июле 1868 года Писарева не стало.

Не помню наверное, была ли напечатана хоть одна моя статья в «Деле» [39]; во всяком случае, если и была, то именно только одна, и без подписи. Не помню также, в чем состояло недоразумение, по поводу которого я написал Благосветлову письмо и получил от него ответ якобы ядовитый, а в сущности, грубости необычайной. Мне оставалось только кратко уведомить его, что не нахожу возможным продолжать работу в его журнале. Позже мы у кого-то встретились, и он начал разговор на ту тему, что «вы человек горячий, я человек горячий» и т. д. Помнится, что и свидание это было не совсем случайно, что нас сводили по его желанию на нейтральной почве, но, во всяком случае, соглашения не произошло. Благосветлов навсегда остался в моей

памяти одною из самых несимпатичных фигур в литературе (разумею литературный персонал, мне известный; есть литературные сферы, с которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишком била в глаза даже такому молодому человеку, каким я был тогда, а его достоинств я за кратковременностью знакомства разглядеть не успел. Надеюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опыт не дает мне возможности понять, как могли с ним долго ладить некоторые из сотрудников «Русского слова» и «Дела», люди тонкоделикатные и вместе с тем полные чувства собственного достоинства. Дело не в том, что он загребал жар чужими руками и нажил большое состояние трудами даровитых и убежденных сотрудников, доживших или доживающих свой век почти в нищете. Это обыкновенная предпринимательская история, да и Благосветлов все-таки нес много черной работы по ведению журнала. Из воспоминаний Н. В. Шелгунова и из его же биографического очерка, приложенного к сочинениям Благосветлова,видно [40], что Благосветлов работал страшно много над чтением и выправкой рукописей, над корректурами, сношениями с цензурным ведомством и т. д. Очевидно, это был человек чрезвычайно энергический, быть может, в нем были и другие привлекательные стороны, но я успел узнать его только с той стороны, которую и повторительно не умею иначе назвать, как аляповатостью.

Я должен предупредить читателя, что помимо отдаленности времени, о котором идет речь, у меня вообще очень плохая память на цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и последовательность моего рассказа. Помнится, лето 1867 года досталось мне особенно тяжело [41]. Курочкин жил тогда на даче на Черной речке, а мне уступил мезонин в две комнаты. На том же дворе занимал маленькую дачу Н. А. Демерт [42], впоследствии (с 1869 по 1874 год) писавший внутреннее обозрение в «Отечественных записках», а тогда еще только намеревавшийся стать постоянным литературным работником. У Демерта, недавно приехавшего в Петербург, водились деньги, конечно, небольшие; у Курочкина их было гораздо меньше, а у меня совсем не было, и, если бы не Курочкин, мне приходилось бы частенько голодать в буквальном смыс-

ле слова. Но и у всех дела были плохи, так что, когда однажды к нам явился П. А. Гайдебуров с предложением принять участие в газете «Гласный суд» [43], мы ухватились за это предложение руками и ногами. Но прежде чем рассказать об этом водевильном эпизоде, я припомню кое-что из времяпровождения на Черной речке.

Известна слабость многих русских писателей (теперь это, кажется, уже выводится) к хмельным напиткам. Это, впрочем, слабость русских людей вообще, и недаром Некрасов хотел кончить свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» иронически-скорбным ответом «хмелю». Недавно гр. Л. Толстой старался убедить человечество, или по крайней мере Европу, в том, что пьянствуют люди только виноватые, и притом именно затем, чтобы заглушить чувство виноватости и угрызения совести. Я уже в другом месте говорил о странной аргументации гр. Толстого [44]. Здесь скажу только, что я видел много пьянствующих людей, между которыми действительно были и такие, что пили для заглушения совести, но большинство надо разверстать по разным другим категориям. Позволю себе остановиться на нескольких пьянствующих литераторах, с которыми я познакомился в 1867 году. Говорить о них можно без обиняков, так как все они уже покойники.

Начну с Демерта. Ему было лет тридцать с чем-нибудь, когда мы познакомились. Из его прошлого я знаю только, что он был кандидат Казанского университета, служил мировым посредником, был председателем, кажется, чистопольской земской управы, но давно тяготел к литературе, на которой и осел наконец. Его близкое практическое знакомство с крестьянским и земским делом определило и характер его литературной работы. Его внутренние обозрения (они назывались «Наши общественные дела») в «Отечественных записках» много уступали таким же обозрениям Елисеева, который взял на себя этот отдел в 1875 году; Елисеев был несравненно шире, разностороннее, глубже. Но и демертовские обозрения, отличавшиеся своеобразным, хотя и грубым юмором, имели свою очень большую цену; они пользовались большим успехом и доставили Демерту массу корреспондентов со всех концов России. Но в то время, о котором я теперь

говорю, Демерт был еще новичок в литературе, хотя небольшие его статьи уже печатались в «Современнике», «Искре», «Спб. ведомостях». Когда пристрастился Демерт к хмельному делу и были ли этому несчастию какие-нибудь определенные, уловимые причины, я не знаю. Знаю только, что несчастие это все разрасталось и кончилось психическим расстройством. Некоторым причинам и поводам этого разрастания я был, можно сказать, свидетелем. Демерт имел удивительно нежное сердце, жаждавшее привета и ласки и всегда готовое на них откликнуться. Я видел его отношение к некоторым родственникам, знал его горе по поводу быстро следовавших друг за другом смерти брата, самоубийства племянника, смерти матери. Я, наконец, очень близко видел один его неудачный роман. К несчастию, нежное сердце Демерта было облечено в непривлекательную для женщин телесную форму. Носатое, изрытое оспой лицо его, с узенькими глазами, широкими скулами, редкою бороденкой, было очень некрасиво. Оно было под стать его неуклюжей, медвежьей фигуре, его грубому, басистому голосу, его очень уж несветским манерам. На беду судьба послала ему в соседки по меблированным комнатам молодую девушку, которая сумела разглядеть под этою грубою внешностью нежную душу, тяготившуюся одиночеством, искавшую ласки. Говорю — «на беду», потому что из этого в самом деле беда вышла. По молодому ли легкомыслию или по каким-нибудь определенным, никакому оправданию не подлежащим побуждениям, девушка играла с Демертом, как кошка с мышкой. Да, этот большой, сильный, широкоплечий человек с громовым басом исполнял роль мышки. Так, например, измученный игрой, Демерт переехал в другие меблированные комнаты, попросту бежал, чтобы не терзаться ежедневными встречами, но через несколько дней героиня его романа переехала вслед за ним и опять стала его соседкой, все такой же, то подающей надежды, то отталкивающей. Во времена надежд Демерт не пил, как-то весь подбирался, даже надевал перчатки и гофрированные рубашки, что было очень забавно, а во времена окончательного разочарования и соответственной муки пил мрачно, дико, страшно. В такие времена он любил петь под аккомпанемент гармоники горькие сиротские волжские песни

(он был казанский или нижегородский уроженец), разрешавшиеся иногда слезами, а иногда страшною руганью по неизвестному, неопределенному адресу, или же пропадал целыми днями в разных трущобах. Этот неудачный роман Демерта относится к 1871 или 1872 году, но у него подобных романов было, вероятно, несколько в жизни; не буквально таких, конечно, но и в то время, когда мы с ним познакомились, на нем лежала печать сиротливого одиночества и душевной бесприютности. Домовитый, даже до скупости (когда не загуливал), он и кроме нежного сердца имел все задатки и великую охоту стать настоящим семьянином. Слепая судьба решила иначе, и в этом-то разладе между действительностью и внутренними позывами, конечно, и лежала причина пристрастия Демерта к хмельному напитку. Нехорошее это дело, бесспорно, но осудить покойника я не могу, виноватости его не вижу: не для заглушения совести он пил, а для забвения обиды и горя.

В качестве старого литератора Курочкин имел многие литературные связи и знакомства. У нас на Черной речке бывали Василий Курочкин, Минаев [45], Иакинф Шишкин [46], забытый ныне, но не лишенный дарования поэт Кроль [47], старый беллетрист Толбин, одну повесть которого еще Белинский похвалил [48], как подтрунивали его приятели, и другие. Все поименованные теперь уже покоятся в земле, и все основательно выпивали. Насколько я мог ко всем к ним присмотреться, они, будучи очень разными людьми в разных отношениях, имели, однако, одну общую отрицательную черту — бесхарактерность, слабость воли. Мне кажется, что черта эта встречается и должна встречаться вообще очень часто в среде русских литераторов. Сила характера может, конечно, получиться по наследству, как и бесхарактерность, но и сила, и слабость подлежат также воспитанию. Воспитывается же сила характера деятельностью, настоящей деятельностью, то есть такою, плоды которой очевидны для самого деятеля. Русские писатели очень редко находятся в таком положении, а потому, вообще говоря, довольно быстро утрачивают энергию, и в частности энергию сопротивления разным соблазнам. Мысль, слово, дело — такова тройственная формула полной жизни писателя, из

которой нельзя безнаказанно вынуть ни одного звена. Беда не в препятствиях, борьба с которыми только закаляет характер, если, конечно, они не чрезмерны, а в большей или меньшей возможности самой борьбы. Если мысль встречает непреодолимые препятствия для своего выражения в слове, а недосказанное слово не может в свою очередь претвориться в дело, то равновесие жизни нарушено и вместе с тем ослабляется энергия. Талант сам по себе в этом отношении спасением быть не может. Талант вообще часто находится в антагонизме с волей, как можно судить по судьбе многих высокодаровитых европейских поэтов, мыслителей, музыкантов, кончавших самоубийством, сумасшествием или пьянством. Но и помимо того, чем ярче мысль или чувство, тем сильнее тяготение их к словесному выражению, а чем талантливее слово, тем обязательнее для него претворение в дело, воплощение. Писатель, даже чрезвычайно талантливый, обреченный остановиться на средней ступени этой лестницы, на слове, да еще сказанном вполголоса, à la longue *, в большинстве случаев должен ослабеть духом. Бывают, конечно, блестящие исключения. Бывают от природы счастливо уравновешенные душевные организации, которым живущая в них сила подсказывает, что не нынче, так завтра, не современники, так потомки претворят их слово в дело. Таким образом, тройственная формула нормальной жизни писателя не нарушается, а только растягивается, захватывая более или менее отдаленное будущее. Есть горечь в этом положении, но норма все-таки не разрушена. Бывают и другие положения, для иллюстрации которых возьму крайний пример. Репортер отмечает в своей газете нечистоту какой-нибудь Затрапезной улицы и на другой день читает распоряжение по полиции, свидетельствующее о том, что его обличение замечено, принято к сведению и к исполнению. Он удовлетворен, именно потому, что тройственная формула пройдена им полностью: мысль нашла себе выражение в слове, слово претворилось в дело. Конечно, репортер не есть литератор в настоящем смысле слова; он нечто вроде литературного чиновника. Но подобные чиновники могут состоять и в гораздо

* с течением времени (*франц.*).

высших чинах, быть даже «нашими уважаемыми» или «нашими известными писателями», оставаясь все-таки чиновниками по своему темпераменту и по своему отношению к делу.

Вышепоименованные наши гости на Черной речке не были писателями настолько значительными, чтобы утешаться в невзгодах настоящего твердою верой в будущее, но не были и литературными чиновниками. Все они были настоящие, «кровные», как выражался Салтыков, литераторы, хотя и весьма различных степеней дарования; все претерпели или претерпевали разные литературные неудачи, а на этом общем фоне жизнь вышила для каждого из них еще специальные узоры разнообразных житейских драм; все были слабы характером и все пили.

В наше время полной распущенности в смысле общественной деятельности, время позорного индифферентизма, предательских сделок, легкомысленных скачков с одного берега на другой, время забвения лучших заветов прошлого и страшного суда будущего, очень высоко ценятся некоторые элементарные правила личной нравственности,— до такой степени преувеличенно высоко, что даже подозрительно. Дальше всех в этом направлении шагнул гр. Л. Толстой, разгромивший не только половые излишества или не освященные законом любовные связи, но объявивший даже самую любовь делом безнравственным и, что особенно курьезно, неестественным. Вслед за тем гр. Толстой усвоил употребление табаку и вина исключительно людям, нуждающимся в заглушении совести и, следовательно, совершившим более или менее тяжкие проступки или даже преступления; безнравственным при этом признается не только какое-нибудь безобразное пьянство, но и каждая выкуренная папироска и каждая передобеденная рюмка водки, столь привычная вполне благонамеренным и добродетельным обывателям. Я не сомневаюсь в полной искренности гр. Толстого, не сомневаюсь, что он лично бросил все те занятия, которые признает ныне безнравственными. Но, признаюсь, очень сомневаюсь в целомудрии и трезвости того общества, среди которого возможны такие преувеличенно нравственные проповеди и которое им аплодирует. Как-то я прочел в «Северном вестнике» критический разбор одного

романа. Строгий критик осуждает разные пикантные и фривольные подробности романа, и в числе этих пикантностей и фривольностей отмечает «маленькую ножку». Он неоднократно пускает в ход эту улику, печатает эту безнравственную «маленькую ножку» и в кавычках и курсивом: дескать, вот до каких Геркулесовых столбов дошел безнравственный автор,— маленькую ножку не стыдится изображать![49] Если бы я собственными глазами не читал этого, то не поверил бы, как не поверил бы многому из того, что ныне печатается. Бедный Пушкин! Он так любил маленькие ножки и как же сурово обошлись бы с ним за это современные критики-моралисты! Я не говорю, например, о какой-нибудь «Песни песней»[50], где уж не о ножках речь идет и которая, однако, живет века и, я боюсь, переживет даже целомудрие «Северного вестника». Опять-таки я готов верить, что строгий критик «Северного вестника» безусловно целомудрен и искренно возмущен маленькими ножками; готов, пожалуй, допустить, что он не желает видеть маленькие ножки не только в литературе, а и в жизни, ни наяву, ни даже во сне. Но мне очень подозрительно целомудрие того общества, которое выдвигает из себя критиков столь преувеличенно целомудренных, что даже уж и не умно. Конечно, общество не ответственно за всякую глупость, которую брякнет тот или другой писатель, тот или другой журнал. Но строгий критик «Северного вестника» не единственный преувеличенно моральный человек современности. Нельзя, разумеется, сказать, чтобы имя ему было легион, но все-таки это граничащее с нелепостью хватание через край в деле личной морали чрезвычайно характерно для переживаемого нами исторического момента.

У нас нашлись даже органы печати, которые злорадно отнеслись к совсем бы уж, кажется, чужой нам истории Парнеля[51] и О'Ши. За морем Парнель живет, мужественный, искусный, неустанный борец за интересы ирландского народа. Только бы любоваться на эту блестящую фигуру, только бы глазом на ней отдыхать от политической мелочи. Но вот на этой фигуре появляется темное пятно. Гнусная интрига устраивает Парнелю всемирный скандал, знаменитое своим лицемерием английское общество гонит его с политической

арены, на которой он совершил столько трудных подвигов. И у нас нашлись люди, которые злорадно кричали за море: «Что?! досталось за прекрасные глаза мистрис О'Ши?! И поделом! Не греши!» Вот мы до какой степени нравственны. Пылкий Парнель мог бы сказать, да, вероятно, и говорил своим английским обличителям: «Да лжете же вы, лицемеры! Какие ужасы подлинной, чудовищной безнравственности вы еще недавно замалчивали в своей среде? Вы сами знаете, что тут было и растление малолетних, и противоестественные пороки. Это вы заминаете, а из моих отношений к О'Ши, до которых вам, как до звезды небесной, далеко, скандал устраиваете...»

Из-за моря домой, от крупного исторического к малому житейскому. Я достоверно знаю следующий недавний, возмутительный случай, который охотно рассказал бы с именами действующих лиц, если бы имел на то разрешение потерпевших. В одном медвежьем углу целым обществом было нанесено публичное оскорбление одной весьма известной и в высшей степени почтенной женщине, единственно за то, что она проживала в этом медвежьем углу без мужа. Факт этого дикого проявления медвежинской стыдливости и нравственности может показаться невероятным, но он несомненен. Думаете ли вы, однако, что эта mimosa pudica *, это медвежинское общество в самом деле столь стыдливо и нравственно? Я не думаю, я знаю, что тут нет ничего, кроме бесстыдного лицемерия и беспричинно злобной интриги. Надо надеяться, что медвежинские дамы, тоже участвовавшие в оскорблении, живут всегда при мужьях, равно как и мужья их живут при женах. Это делает им честь. Но почему же они все-таки смеют оскорблять уважаемого и ни в чем перед ними не повинного человека?

Что смеет, чего не смеет современный русский человек? Вопрос любопытный. Я прочитал недавно в журнале «Артист» драму г. Ракшанина «Порыв» [52]. Это одна из тех многочисленных пьес, которые пишутся исключительно для сцены, с расчетом на специальные сценические эффекты, на исполнение такой-то роли таким-то актером Иваном Ивановичем, который хорошо руки

* мимоза стыдливая (*латин.*).

в карманах держит, или такой-то актрисой Марьей Ивановной, которая хорошо в обморок падает. Литературных требований подобным пьесам ставить нельзя, потому что они совсем и не литература. Но в драме «Порыв» все-таки отразилась, мне кажется, одна любопытная черта современной морали. Герой драмы, Томилин, помещик, прекрасный человек и очень любит свою жену. Но с ним случился грех, он увлекся соседкой, вдовой Бецкой, и встретил с ее стороны взаимность. Этот эпизод происходит еще до поднятия занавеса. Мы присутствуем уже при душевных муках, которыми Томилин расплачивается за свой «порыв». Он любит свою жену и, горько раскаиваясь в своей связи с Бецкой, всячески старается от нее отделаться, но Бецкая его любит и отпускать не хочет. Она, несмотря ни на что, уверена, что и Томилин ее любит, а только трусит ходячей морали. Она говорит ему: «Ясно я вижу, что происходит в тебе: ты привык к такому миру, к такому покою, что тебе страшно подумать о резком шаге... Ты дрожишь перед ним и готов на всякую жертву, лишь бы не нарушить установившейся формы». Может быть, Бецкая и не совсем не права, потому что в интимном разговоре с одним приятелем Томилин намекает на какую-то разницу между страстью, которую он, по-видимому, питает все-таки к Бецкой, и любовью, которую он чувствует к жене. Как бы то ни было, он непременно хочет покончить с Бецкой, для чего, между прочим, ему нужно вернуть свои письма к ней, ибо какая-нибудь случайность или злая мысль самой Бецкой может подсунуть эти компрометирующие письма жене. Приятель рекомендует ему очень простое средство развязать этот мучительный узел — рассказать все жене. Без сомнения, это был бы очень тяжелый шаг, но он облегчил бы совесть Томилина и вместе с тем развязал бы его с Бецкой. Но Томилин боится этого шага и кончает тем, что убивает Бецкую. Таким образом, Бецкая в конце концов все-таки права, утверждая, что Томилин «готов на всякую жертву, лишь бы не нарушить установившейся формы». Он не смеет признаться жене в нарушении супружеской верности, а убить человека, да еще любимого (хотя бы и в форме «порыва»), смеет. Эта самая черта поразила меня в процессе Бартенева[53]: ввиду предрассудка относи-

тельно браков с актрисами Бартенев не смел просить у отца позволения жениться на Висновской, не смел также обойтись в этом деле без отцовского позволения, а убить Висновскую посмел. Мне кажется, что это совпадение мотивов немудрой литературной драмы и кровавой житейской в связи со всем прочим, что мы видим, слышим и читаем, свидетельствует о глубокой извращенности морального чувства. Апологеты современности уверяют нас, что мы, утомившись будто бы чрезмерным вниманием к общественным интересам, успешно занимаемся ныне выработкою идеалов личной нравственности, в доказательство чего приводится успех проповеди гр. Толстого и т. п. Неправда это. Проповедь неестественности любви, ужас перед изображением маленьких ножек в романе и т. п.— слишком преувеличенно моральны, чтобы отразиться в жизни реальною моралью и вообще чем-нибудь, кроме лицемерия. В действительности мы видим не торжество личной нравственности, а просто в явь развертывается сон фараона: тощие коровы пожирают тучных [54], мелочи выдвигаются на первый план, «установившиеся формы», осеняя собою лицемерие, требуют себе буквально человеческих жертв. Господа современные моралисты! помолитесь за упокой души рабы божией Висковской, рабы божией Бецкой и иных, имена же их ты, Господи, веси. Помолитесь и за здравие живых, оскорбленных и оскорбляемых в момент вящего расцвета идеалов личной нравственности...

Простите это длинное отступление, читатель. Я вас предупредил на этот счет. Да и теперь мы все-таки не сразу вернемся к лету 1867 года на Черной речке. Нам нужно еще пройти под некоторою, отнюдь не триумфальною аркой, которую воздвигла для русских литераторов «Неделя».

Один из литературных обозревателей «Недели», г. Единица, воспользовался историей Парнеля — О'Ши, чтобы бросить какой-то темный намек-упрек каким-то русским писателям [55]. Тут же он выражает недоумение по поводу того, что о писателях не принято говорить: спился, пьянствовал и т. п., а говорится: страдал известною русскою слабостью, известным недугом. Г. Единица желает, чтобы пороки и безнравственность русских писателей предъявлялись публике без вуаля. Так уж

ныне все строго пошло по части нравственности. Как и в предыдущих случаях, я охотно готов признать, что в прошлом г. Единицы и всего персонала «Недели» нет ни единого греха вроде того, который так тяжело отозвался на Парнеле. Готов признать также, что хоть они «немножко и дерут, но в рот хмельного не берут». Честь им и слава! Пусть они в этих отношениях белее снега альпийских вершин, голубее небесной лазури. И все-таки, мне кажется, что размышления г. Единицы немножко неуместны. У русских людей есть обычай при встрече с похоронами креститься или по крайней мере снимать шапку. В силу этого обычая вы снимаете шапку даже перед таким покойником, которому при жизни, может быть, ни за что не поклонились бы; тем более, если почивший оказал обществу какие-нибудь услуги. Поэтому-то, может быть, мы и говорим, что Полежаев, Помяловский, Щапов, Решетников, Мей, Аполлон Григорьев и, к сожалению, еще многие, многие другие «страдали известною русскою слабостью», очень хорошо зная, что это псевдоним пьянства. И потом вопрос: что лучше или, пожалуй, что хуже: страдать ли известною русскою слабостью, как только что поименованные писатели, или систематически, в течение многих лет сбивать с толку читателей разными «новыми словами» и потом спокойно убирать их в карман, как это случается с «Неделей»? Я очень хорошо понимаю красоту соединения общественной, политической нравственности с безупречною личною чистотой. Но если уж выбирать, то я не выбрал бы тех музыкантов, которые «в рот хмельного не берут». Потому что, видите ли, сбивать с толку читателей — глубоко безнравственно и даже преступно. И если фараон не удивлялся своему сну, так только потому, что во сне мы вообще ничему не удивляемся. В действительности же ни с чем не сообразно, чтобы корова корову ела, да еще тощая тучную.

Теперь на Черную речку.

Изо всех наших гостей самым замечательным был, конечно, Василий Степанович Курочкин. Я никогда не имел с ним деловых сношений, так как в его газете «Искра»[56] никогда не писал, а в центре моей работы, в «Отечественных записках», он участвовал лишь случайно, переводными и оригинальными сти-

хотворениями и, помнится, двумя-тремя театральными хрониками. Я видел его, значит, не в рабочие будни, а в дни праздников или вольной и невольной праздности. И дни эти, не в обиду будь сказано строгому г. Единице, нередко отдавались известной русской слабости. По тогдашней моей молодости я считал Василия Степановича очень веселым человеком. Может быть, вино действовало на него иногда и угнетающим образом, но я его таким не видал. На моих глазах вино только усиливало его добродушную веселость и остроумие, он сыпал каламбурами, остротами, экспромтами, смешил и сам хохотал. А между тем, как я оценил впоследствии, с этим смехом сочеталось глубокое и постоянное горе, даже не одно, а по крайней мере два горя. Я отнюдь не хочу сводить все дело к этим горям,— привычка омрачать сознание и волю вином, конечно, очень дурная привычка, и как таковую я охотно отдаю ее на растерзание моралистов и в Курочкине; не могу, однако, не отметить тех прискорбных обстоятельств, которые если не вызвали, то усилили в нем пагубную привычку.

Я не уверен, что «Искра» в 1867 году существовала, но если и существовала, то, во всяком случае, влачила мрачные, унылые дни. И это после блестящего успеха в начале шестидесятых годов. В одной из не вполне отделанных рукописей Елисеева я нашел следующие черты успеха «Искры», которые и привожу, как свидетельство современника, ибо сам понаслышке знаю об этом успехе. Замечу только, что Елисеев пишет нижеследующее просто к слову, мимоходом и, конечно, сказал бы гораздо больше, если бы имел в виду характеристику деятельности В. С. Курочкина.

В «Искре», пишет Елисеев, «кроме бесчисленных обличительных корреспонденций во всех родах, и в прозе, и в стихах, и в рассказах, заметках, подписанных обыкновенно псевдонимами, существовал еще особый отдел «Нам пишут», составлявшийся по корреспонденциям, получаемым из различных мест России. Цензура не позволяла называть обличаемых по имени, ни даже называть те города, где они живут и где происходят обличаемые действия. Поэтому образовался целый словарь городов с условными названиями: Красноредк, Кутерма, Лилиенград, Тмутаракань, Зла-

тогорск, Чернилин, Белокаменск и т. д., с условленными именами действующих в них героев, в особенности если они занимали в них выдающийся пост по своему общественному положению. В провинции каждый город, о котором шла речь, немедленно узнавал свой псевдоним, так как описываемое то или другое совершившееся в нем безобразие было, конечно, известно целому городу, а вместе с тем, разумеется, узнавалось и лицо, о котором шла речь. В Петербурге, Москве и других больших городах цель гласности таким путем не могла достигаться,— разве в исключительных случаях, когда какой-нибудь крупный скандал делался известным всему городу. Тогда делу гласности помогали иногда отчасти рисунки «Искры». Покойный Степанов[57], прекрасный рисовальщик, давал изображаемым на этих рисунках лицам такое сходство с подлинными, что цензура нередко приказывала или сбривать бакенбарды с изображенного лица, или поставить его не en face, а в профиль, чтобы не так резко бросалось в глаза сходство. Кроме того, у «Искры», вероятно, благодаря рисункам появились совершенно неизвестные редакции добровольные *словесные* сотрудники в пользу гласности. В 1859 году мне несколько раз случалось обедать в одном небольшом табльдоте на Морской, где собирались до пятнадцати и более человек, все люда интеллигентного,— чиновников, моряков и т. п. И при мне в день выхода «Искры» или на другой являлся молодой человек из служащих, обедавший постоянно тут и, по-видимому, знакомый со всеми, вынимал вышедший номер «Искры» из кармана и начинал излагать чуть не целую лекцию об этом нумере, объяснял рисунки — кого они изображают, по какому поводу они явились, говорил о статьях, о затруднениях, которые встретились в цензуре, и т. д. и т. д. Все присутствующие слушали внимательно, делали возражения, требовали пояснений. Он отвечал на все вопросы и возражения, давал требуемые пояснения; по-видимому, он был au courant * всего, что делалось в «Искре». Я был убежден, что этот человек участвует в «Искре», стоит близко к ее редакции и что его обеденные разговоры делаются с

* в курсе (*франц.*).

ведома редакции для вящего распространения журнала. Оказалось, совсем нет. Впоследствии я довольно близко познакомился с редактором «Искры» В. С. Курочкиным, был иногда на его журфиксах и здесь познакомился и с другим редактором «Искры», Степановым, но ни тот, ни другой не имели никакого сведения о неизвестных добровольцах, действовавших в их пользу; оба они уверяли меня, что у них не было и в мысли пользоваться подобного рода пропагандой для распространения «Искры», которая и без того шла очень шибко.

Повторяю, Елисеев пишет это мимоходом, к слову, имея в виду совсем особые цели, сообразно которым выдвигает только одну сторону дела. Но и этого достаточно, чтобы видеть, какую роль играла в свое время «Искра», а следовательно, и ее главный руководитель. То было время обличительного жара, обуявшего русское общество после Крымской войны. Немало комических штрихов испещряет эту картину повального обличения, но из-за них нельзя проглядеть благородное чувство негодования на всякий противозаконный поступок, на всякое насилие над слабым, на всякое проявление высокомерного невежества, халатного отношения к обязанностям, «радения родному человеку», всяческого издевательства над правдой, честью, совестью. Центром всех этих обличений стала «Искра»; общество, освеженное приближающимся веянием реформ, откликнулось и создало для В. С. Курочкина или, пожалуй, вернее, он сам создал себе положение совершенно исключительное. Это был как бы председатель суда общественного мнения по множеству дел, часто очень мелких и вполне личного характера, но иногда и крупных и, во всяком случае, захватывавших в своей совокупности всю грамотную Россию. Положение высокое, трудное и ответственное. Многие и многие боялись «Искры», многие и многие возлагали на нее надежды. Тройственная формула писательской деятельности — мысль, слово, дело,— если не всегда и не вполне осуществлялась для Курочкина, то была все-таки близка и возможна. Надо заметить, что тогда провинциальная печать не существовала и, значит, те факты всероссийской жизни, которые ныне черпаются столичными газетами и журналами из про-

винциальной прессы, «Искре» приходилось получать из первых рук; это создавало особенно живое общение между редакцией газеты и читателями, которые были или могли стать в любую минуту также и сотрудниками. Человек жизни, Курочкин отдался этому живому делу вполне. Человек большого таланта, он с веселием разменял этот талант на мелочь и распустил свою личность в общем составе своей газеты.

Еще не так давно, в книжке о Щедрине [58], и потом в предисловии к сочинениям Шелгунова, я говорил о тех больших, хотя и невидных публике трудах и жертвах, которые приносятся писателями-журналистами вообще, писателями-редакторами в особенности. Получая нумер журнала или газеты, публика не подозревает, какая масса труда вложена в организацию и ведение дела, ибо труд этот оставил по себе лишь духовный, невидный след. Еще меньше может оценить публика ту жертву, которую приносит даровитый писатель, отрекаясь от спокойной единоличной работы, налагая на себя бремя черной работы невидного руководительства, растворяясь при случае в анониме и псевдониме, уступая свою мысль другому, более свободному или в данную минуту более для исполнения пригодному и т. п. Все это принял Курочкин в полном размере. Конечно, жертвы эти искупались тем наслаждением, которое он испытывал в качестве одного из живых центров литературы, в качестве руководителя живого дела. Но тем горше было его существование, когда это живое дело пошатнулось, а затем и совсем пало. Попробовав сладкого, не захочешь горького, а если уж неизбежно приходится его глотать, так оно кажется даже свыше меры горьким. Привычная, обратившаяся уже в потребность непосредственная связь с читателями благодаря посторонним обстоятельствам расшаталась и наконец совсем оборвалась. По пословице, «из попов в дьякона» Курочкин кончил фельетонистом в газете Полетики «Молва». Все это шло с известною постепенностью, «Искра» еще существовала довольно долго (с перерывами), но уже давно утратила свое исключительное положение литературно-судебной инстанции. И Курочкин топил свое горе в вине.

Было у него и другое горе. Оно лежало в условиях

его семейной жизни. Я позволил себе уже столько отступлений, что откладываю до другого раза то новое отступление, которое теперь просится под перо. Разумею беседу о причинах и следствиях несчастных браков, очень часто встречающихся в литературной среде. Довольствуюсь пока голою отметкой несчастия Курочкина и следующим фактом. В противоположность благодушному веселью Курочкина выпивший Минаев производил на меня крайне неприятное впечатление. Чем-то грубым, плоским и вместе с тем разнузданным веяло от него, по крайней мере на меня. Это впечатление я получил в 1867 году и долго от него не избавлялся, так что даже избегал Минаева. Лет, должно быть, за пять до его смерти, после долгого перерыва, я случайно столкнулся с ним в Москве, в вокзале Николаевской железной дороги. Он был с какою-то незнакомою мне дамой. Первым моим движением было уклониться от встречи, но он увидал меня, и нам пришлось даже ехать в одном купе: он ехал в Петербург, я — по дороге в Петербург. С первых же слов, которыми мы обменялись, я почувствовал, что это не тот Минаев, что он точно вымыт или «выстиран», как выразился ехавший с нами же Г. И. Успенский. Перемена была необыкновенно резкая, я такой больше не видал, и ключ к ней оказался очень простой: изменение условий семейной жизни. После этой поездки я довольно близко сошелся с Минаевым, бывал у него, одно время мы даже жили стена об стену, и я имел много случаев убедиться, какая благородная душа, какое нежное сердце систематически, в течение многих лет заливалось вином. Я тщетно искал хоть следов того грубого, разнузданного человека, который был мне так антипатичен в начале нашего знакомства. Пить по-прежнему он перестал, но иногда, чрезвычайно редко, ему случалось, по старой памяти и попав в старую обстановку, выпить лишнее; однако и тут душа его оставалась просветленной и умягченной, и прежний Минаев быльем порос. О, если бы женщины всегда могли соображать, какой свет, но зато и какой мрак могут они вносить в жизнь человека, и, может быть, в особенности русского писателя! По вышеизложенным причинам, которые, впрочем, читателю представляется развить самому, в персонале русской

литературы очень редки сильные характеры, способные не сгибаться под тяжестью посланного им судьбой креста. Прибавьте еще к этому усиленную нервность, по самой природе вещей свойственную литераторам, и вы поймете, как много значат в судьбе русского писателя семейные условия.

Последние годы жизни Минаева озарились некоторым мягким светом, но в смысле воздействия на его литературную деятельность это озарение уже запоздало: как писатель, он уже сложился бесповоротно. А между тем, кое-что в его литературной физиономии подлежало бы изменению. Человек, бесспорно, очень талантливый, он прежде всего необыкновенно разбрасывался. Разбрасывался отнюдь не так, как Курочкин, который, дробя свои недюжинные силы, сосредоточивал их все-таки на своем журнале. Я не знаю, что сталось бы с Курочкиным, если бы у него не было журнала, хотя уже его исключительная любовь к Беранже свидетельствует, что он выбрал бы себе определенное русло в литературе. Минаев же ни на чем не останавливался вдумчиво и продолжительно,— он скользил по явлениям литературы и жизни. Вдобавок он был виртуоз слова,— каламбур, игра слов, трудная и какая-нибудь особенно фокусная рифма всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслоняли собою подчас мысль. Впрочем, на этот счет о Минаеве говорилось так много, что я предпочитаю остановиться. Думаю, что беспорядочная жизнь много способствовала этой разбросанности и этой чрезмерной наклонности к разнообразной, виртуозной и мелкой игре словами.

Ни В. С. Курочкин, ни Минаев не представляли для меня загадки. По своей молодой неопытности я ошибался, видя в В. С. Курочкине какое-то ходячее заразительное веселье и не умея проникнуть дальше коры грубой распущенности, которая облегла душу Минаева. Но так или иначе, а мне казалось, что я их понимаю. Совсем другое дело Кроль и Толбин. Это были типичные представители какой-то совсем другой эпохи, другого, чуждого и непонятного мне духовного склада. Тип этот живо восстал в моей памяти недавно, при чтении воспоминаний г. Фета. Я приведу несколько отрывков из этих воспоминаний, которые пояснят мое тогдашнее недоумение.

Рассказывая об одном семействе, в котором было две дочери, г. Фет говорит: «О меньшей, если не говорить об ее черных волосах, широко выведенных бровях и замечательно черных и блестящих глазах, сказать более нечего, но старшая, блондинка, была явлением далеко не дюжинным. Уже одно ее появление в дверях невольно кидалось в глаза. Она не входила, а, так сказать, шествовала в комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерийскую выправку: корпус назад, затылок назад» (Воспоминания, I, 3) [59].

В январе 1858 года Кокорев [60] давал в Москве обед, на который в числе других московских литераторов получил приглашение и г. Фет. За обедом Кокорев сказал речь, в которой повторил сказанное им уже раньше в купеческом клубе, а именно «о добровольной помощи со стороны купечества к выкупу крестьянских усадеб». Г. Фет рассказывает: «Помню, с каким воодушевлением подошел ко мне М. Н. Катков и сказал: «Вот бы вам вашим пером иллюстрировать это событие». Я не отвечал ни слова, не чувствуя в себе никаких сил иллюстрировать какие бы то ни было события. Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты. Тем не менее за столами, покрытыми драгоценным старинным серебром: ковшами, сулеями, братинами и т. д., с великим сочувствием находились наиболее выдававшиеся в литературе славянофилы» (I, 225).

«Я не встречал человека, в котором бы стремление к земным наслаждениям высказывалось с такою беззаветною откровенностью, как у Боткина (Василия) [61]. Можно было бы подумать, что он древний грек, заставивший Шиллера в своем гимне «Боги Греции» воскликнуть:

Было лишь прекрасное священно,
Наслажденья не стыдился бог...

Но нигде стремление это не проявлялось в такой полноте, как в клубе перед превосходной закуской. «Ведь это все прекрасно! — восклицал с сверкающими глазами Боткин.— Ведь это надо все съесть!» (II, 24).

«Неудивительно, что в доме гр. А. К. Толстого, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лест-

ницы во второй этаж была заброшена мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был превосходный гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками» (II, 26).

Я мог бы сделать еще много подобных выписок из воспоминаний г. Фета, но полагаю, что и приведенного достаточно, чтобы повергнуть по крайней мере некоторых читателей в недоумение. Что это такое? Что это за удивительный переплет чистого искусства, поклонения красоте с сладострастием обжорства и оценкою женщины с точки зрения «щегольской кавалерийской выправки: корпус назад, затылок назад»? «Было лишь прекрасное священно... особенно в клубе перед превосходною закуской». «Не какие-нибудь профессиональные художники, а настоящие, свободные служители вечного искусства рисовали картины гр. Толстому... да он и сам был превосходный гастроном». Поразительно здесь не то, что люди любят хорошо поесть и в то же время любят и ценят хорошие картины или вообще почитают искусство,— поразительно то, что все это соплетается для них органически, принципиально, так что слова «священная» и «закуска», «das ewig weibliche» * и «кавалерийская выправка», «Шекспир» и «стерляжья уха» могут совершенно спокойно уживаться в мозгу и на бумаге рядом, пополняя друг друга. Вот эта самая черта поражала меня и в Кроле, и Толбине. Потом, когдя я пожил на свете, повидал всякие виды и вдумался в доктрину святого чистого искусства, я перестал удивляться. Я понял цельность, законченность того типа, который так часто мелькает на страницах воспоминаний г. Фета. Но тогда недоумение мое было тем сильнее, что Кроль и Толбин не представляли собою столь законченного типа. Дело не в том, что г. Фет, В. Боткин и проч. приправляют свои беседы шампанским и стерляжьей ухой, а Кроль и Толбин не отказывались от водки с колбасой и пива,— это просто дело средств; хотя и то надо все-таки сказать, что серебряные блюда и трюфеля как-то больше гармонируют с помесью «священного»

* «вечно-женственное» (*нем.*).

и «закусочного». Затем, сколько я помню, Толбин был просто, что называется, добрый малый, без всякого определенного образа мыслей, а Кроль грешил подчас некоторым либерализмом. Это тоже не дело, тоже портит тип. Г. Фет и многие его собеседники гораздо цельнее, последовательнее. Воспоминания г. Фета интересные, если не сплошь, то во многих своих подробностях, особенно ценны по тому документальному материалу, который в них в изобилии вложен. Письма Тургенева, гр. Л. Толстого, Боткина очень многое характеризуют и освещают. Вот отрывки из писем Тургенева:

«Я говорю, что художество такое великое дело, что целого человека едва на него хватает со всеми его способностями, между прочим, и с умом; вы поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего» (I, 391).

«Вероятно, по прочтении моей новой повести, которая едва ли вам понравится, вы и ее недостатки припишете уму. Дался вам этот гонный заяц. Смотрите! (В подлинном письме нарисован заяц, на спине которого написано: *ум* — и настигающая его борзая собака с лицом бородатого человека и с надписью на спине» *Фет*)» (I, 393).

«Вы — закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала» (I, 404).

«Моя претензия на вас состоит в том, что вы все еще с прежним, носящим уже все признаки собачьей старости упорством нападаете на то, что вы величаете «рассудительством», но что, в сущности, не что иное, как человеческая мысль и человеческое знание» (II, 94).

Надо заметить, что Тургенев был очень расположен лично к г. Фету и все, только что приведенное, входит в состав вполне дружеской переписки. Тем, разумеется, ценнее в данном случае характеристика Тургенева. Если вы прибавите ее к «священной закуске», «кавалерийской выправке», то получите чрезвычайно яркий тип, которым можно, пожалуй, даже любоваться, как можно любоваться законченным художественным воспроизведением хотя бы неприятного сюжета. Это не помешает вам, конечно, отвернуться от самого сюжета при встрече с ним в жизни. Так бы

я и поступил даже в своей ранней молодости, если бы Кроль и Толбин совмещали в себе все элементы типа. Но этого не было, и я решительно недоумевал. Однажды мне пришлось, впрочем, настоятельно предложить Кролю удалиться из моего мезонина,— до такой степени ошеломил он меня каким-то чудовищным сплетением эстетических идеалов с чем-то совершенно уже некрасивым в этическом смысле. Потом я имел много случаев убедиться, что хотя этика и эстетика — весьма близкие родственники, но между ними часто разыгрывается история Каина и Авеля. В этом, конечно, и заключается истинная причина того одностороннего и преувеличенного гонения, которое некоторые пылкие молодые головы воздвигали в шестидесятых годах на эстетику. Как бы односторонно и преувеличенно ни было это гонение, оно имело свои жизненные основания; в особенности если к этике прибавить еще политику. И было в нем, несомненно, зерно правды. Его можно формулировать вопросом: Каин! где брат твой Авель?

II

«Гласный суд», «Современное обозрение», «Отечественные записки».— Некрасов.— Роман «Борьба» и статья «Что такое прогресс?» — Салтыков, Елисеев, Успенский.— Некрасов как человек.

Продолжаю вспоминать.

Я был молод, здоров, силен, одинок, а известно, что одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И все-таки туго приходилось летом 1867 года,— туго и от невольного, вынужденного безделья, когда только что попробовал сладкого яда литературной работы, туго и прямо от материальных лишений. Для воспроизведения нашей «богемской» жизни на Черной речке нужно бы перо Мюрже[62]. Уже кое-что из мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты... Уже не раз кухарка на вопрос: «В долг, что ли, в лавочке-то взять?» — получала веселый ответ: «Да, да, в долг, долг прежде всего». Уже не раз веселое богемское житье, при котором, восстав от сна, не знаешь, будешь ли сегодня сыт или нет, становилось в тягость. В осо-

бенности Курочкину, который был и старше, и избалованнее, и требовательнее меня. И вот в один прекрасный день явился вестник избавления. Это был П. А. Гайдебуров, нынешний редактор-издатель «Недели». Он приехал приглашать Курочкина в ежедневную «судебно-политическую» газету «Гласный суд», издателем и ответственным редактором которой был некто Артоболевский. По профессии Артоболевский был не литератор, а стенограф, и притом человек малообразованный. «Гласный суд» он предпринял в 1866 году, я полагаю, просто с спекулятивными целями, в расчете на заголовок: новый суд был тогда действительно новинкой. Сверх того Артоболевский издавал «Самоучитель стенографии», выходивший еженедельно. Первый год газета, то есть подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на следующий год выяснилось, что на одной спекуляции в литературном деле далеко не уедешь. Как и когда попал в «Гласный суд» г. Гайдебуров, я не знаю. Знаю только, что летом 1867 года он приехал к Курочкину с просьбою о сотрудничестве. Курочкин взял на себя отдел иностранной политики и рекомендовал г. Гайдебурову меня для критического отдела и, помнится, Демерта для внутренних известий [63]. В этом последнем я не уверен. Домовитый, хозяйственный Демерт не выдержал нашего слишком уже цыганского житья и летом же 1867 года уехал в провинцию на службу или искать службы. Но я не помню, уехал ли он до или после неудачной пробы с «Гласным судом». Если после, то, по всей вероятности, и он участвовал в этой «судебно-политической» газете, в сущности, впрочем, издававшейся по обыкновенной программе ежедневных газет. Но зато я хорошо помню себя и Курочкина за работой в «Гласном суде». Курочкин по своим обязанностям заведующего отделом иностранной политики должен был ездить в город, в редакцию, каждый день, я же лишь время от времени. Помню, как мы, окончив дела в редакции, отправлялись с спокойствием людей вполне обеспеченных трапезовать в греческую кухмистерскую «Афина», на углу Троицкого переулка и Невского. Не знаю, существуют ли подобные благодетельные учреждения теперь. В «Афине» можно было копеек за тридцать наесться разной дряни до хорошего рас-

стройства желудка, а истративши рубль, сам Лукулл остался бы много доволен, особенно если бы знал, как знали благодаря «Гласному суду» мы, что и завтра, и послезавтра расстройство желудка вполне обеспечено. Не житье, а масленица. Однако и этой масленице пришел конец, и наступил настоящий великий пост. Дела Артоболевского шли все на убыль. Однажды он предложил нам сбавку гонорара, причем выдал нам какие-то расчетные или памятные книжки, по которым впоследствии, когда дела поправятся, мы могли дополучить свой заработок. Но дела не поправлялись и, как очень скоро с очевидностью выяснилось, не могут поправиться. Прекратился ли за истощением средств издателя «Гласный суд» или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена расставания, причем Артоболевский в благодарность за сотрудничество предложил нам подарок — «Самоучитель стенографии». Он великодушно отдавал это еженедельное издание в наше полное распоряжение. Подписчиков у «Самоучителя» было, правда, очень мало, но Артоболевский указал нам другую выгоду: так как значительная часть «Самоучителя» печаталась не обыкновенным шрифтом, а стенографическими знаками, то под прикрытием их мы могли бы совершенно свободно излагать свои мысли — цензура ничего не поймет. Это была блестящая мысль, достойная стенографического гения Артоболевского, но при осуществлении ее предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не поймет. Эта маленькая тучка на открывавшемся пред нами широком горизонте заставила нас отказаться от подарка.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этот раз, однако, дело делалось почти так же скоро, как идет мой рассказ. Если мне не изменяет память, то двумя фельетонами и одною передовою статьею исчерпывается мое сотрудничество в «Гласном суде» [64].

Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бывает ужасно холодно в летнем пальто. Тут подошли и еще некоторые обстоятельства, и я решил уехать из Петербурга к родным в деревню [65]. Несмотря на все невзгоды, у меня ни разу даже не мелькнула мысль изменить литературе для какой-ни-

будь другой деятельности. Очевидно, я был в этом отношении уже конченый человек. В самом водовороте цыганской жизни мне удалось все-таки работать, приготовляясь к исполнению обширных литературных планов. В деревню я повез с собою таковых два.

Еще под влиянием Ножина и отчасти под его руководством я заинтересовался вопросом о границах биологии и социологии и возможностью их сближения. Ножин был мало сведущ в общественных науках, но в области биологии он, наверное, очень быстро занял бы одно из самых видных мест, если бы его не подкосила ранняя смерть. Он много работал самостоятельно, между прочим, над историей развития низших морских животных, и одна такая специальная работа — результат его личных наблюдений на берегу Средиземного моря,— напечатанная в бюллетенях нашей Академии наук, обратила на себя внимание и в Европе. Но узкая специальность не удовлетворяла его, он рвался вдаль и вширь. Он был ярый дарвинист в биологии и столь же ярый противник дарвинизма в социологии. Дарвина он называл «гениальным буржуа-натуралистом». Не могу достаточно высоко оценить пользу, доставленную мне общением с кругом идей Ножина, но в них было все-таки много смутного, частью потому, что они в самом Ножине еще только развивались, частью по малому его знакомству с областью обществознания. Я получил от Ножина собственно только толчок в известном направлении, но толчок сильный, решительный и благотворный. Не помышляя о специальных занятиях биологией, я, однако, много читал по указанию Ножина и как бы по его завещанию. Эта новая струя чтения бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавший отблеск на тот значительный, хотя и беспорядочный, а частью и просто негодный материал, фактический и идейный, которым я запасся раньше. Постепенно, сначала в очень смутных очертаниях, скорее угадываемых, чем сознаваемых, складывался план обширной социологической работы. Появившиеся в 1866 году по-русски первые тома сочинений Спенсера придали несколько более определенные контуры одной части этого смутного плана — теории прогресса. Резкая противоположность идей и приемов Спенсера всему тому, до чего я мысленно не

то что доработался, а дорабатывался, уяснила мне многое. Однако и эта часть общего плана была еще далеко не ясна, когда я уезжал в 1867 году из Петербурга. Тем более что в то же самое время меня преследовал еще другой литературный план — роман. Из этого романа, никогда не конченного, я впоследствии, в 1876—1877 годах, выбрал значительную часть материала для полубеллетристических-полупублицистических очерков «Вперемежку». Перепечатывая эти очерки в IV томе своих сочинений * рядом со статьей «Что такое прогресс?», я писал в предисловии: «Несмотря на то, что обе эти вещи писаны в разное время, несмотря, далее, на разницу формы, читатель, надеюсь, усмотрит их внутреннее единство и, следовательно, оправдает такое на первый взгляд странное соседство»[66]. С тех пор я имел случай убедиться, что внутреннее единство обеих половин IV тома не так уж ясно для многих читателей, как я предполагал. Но для меня-то оно тем яснее, что хотя обе эти половины писались в разное время, но обдумывались и зарождались как раз одновременно. Убедившись в слабости своего художественного дарования, я бросил роман (хотя позже, в восьмидесятых годах, меня опять потянуло к беллетристике[67]), но в 1867 году он меня очень занимал. Он настолько подвинулся вперед, что, вернувшись 1868 году в Петербург, я уже мог подумывать о том, куда бы его пристроить.

В 1868 году в петербургской журналистике после полуторагодового затишья наступило значительное оживление. Некрасов взял в аренду «Отечественные записки» и совершенно их преобразил. Книгопродавец и книгоиздатель Тиблен[68] открыл новый ежемесячный журнал «Современное обозрение»[69]. Появилась «Неделя», издававшаяся Генкелем[70] и редактировавшаяся П. Ф. Конради. Н. С. Курочкин, приглашенный Некрасовым для заведования библиографическим отделом в «Отечественных записках», усиленно тянул меня в этот журнал, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое нам, тогдашней, да, надеюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнело со

* Первого издания.— *Примеч. Н. К. Михайловского.*

времени закрытия «Современника». Надо заметить, что уже в 1864 году «Современник» стал терять свой престиж, равного которому дотоле не было во всей истории русской журналистики. Нечего и говорить о нас, тогдашней молодежи,— мы упивались «Современником». Но и гораздо более солидные и значительные сферы испытывали на себе его обаяние. Есть два рода, два характера литературной деятельности. Одни писатели думают влиять непосредственно на ход государственной жизни в ее механике сегодняшнего дня. Другие рассчитывают влиять лишь на общественное мнение, воспитывать в обществе известное настроение, известные идеалы, подлежащие практическому осуществлению, может быть, завтра, а может быть, через много лет. Нет принципиальных оснований для разлучения этих двух видов литературной деятельности, но жизнь то разлучает их, то дозволяет им сливаться в одно течение. В Европе, где представители общественного мнения могут быть вместе с тем и официальными руководителями практической жизни, упомянутое различие двух видов литературной деятельности весьма слабо. Оно определяется, может быть, исключительно личными вкусами и темпераментами самих писателей. Один более склонен к разработке общих идеалов, озаряющих жизнь в ее целом и отражающихся на умственном и нравственном настроении всей массы общества; другой, напротив, по своему темпераменту, привычкам, воспитанию предпочитает оказывать непосредственное давление на людей, стоящих у власти. Но ничто, кроме личных склонностей, не мешает им в любой момент поменяться ролями или совместить их в одном лице. У нас дело происходит несколько иначе. Белинский, например, имевший огромное влияние на общество и воспитавший не одно поколение, не был даже и последнею спицей в официальной колеснице русской жизни. Блестящим и едва ли повторимым, по крайней мере в ближайшем будущем, образчиком литературной деятельности противоположного характера может служить Катков[71]. Однако и у нас в некоторые приподнятые моменты жизни возможно до известной степени сочетание обоих характеров деятельности (я говорю о характере, а не о направлении деятельности). Таково именно было по-

ложение «Современника». Это, впрочем, мимоходом.

Для нас, молодых читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского [72] произвели непоправимый изъян в физиономии «Современника». А рядом с этими тяжкими потерями в составе «Современника» поднималось значение «Русского слова», в особенности Писарева. И когда «Современник» устами М. А. Антоновича завел длинную и грубую полемику с «Русским словом» [73], престиж «Современника» и еще поблек. Русский читатель любит присутствовать при полемических схватках, но есть пределы и содержания, и формы полемики, перейдя за которые даже такой даровитый писатель, как г. Антонович, может лишь уронить свое дело. Так и случилось. Охлаждение к «Современнику» вообще осложнилось еще слухами о неблаговидном поведении Некрасова в трудное время 1866 года [74],— слухами, вызвавшими известное послание «неизвестного друга», озаглавленное «Не может быть» [75]:

Мне говорят твой чудный голос — ложь,
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словом лишь толпу к добру влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою

И т. д. Известную степень справедливости дурных слухов всенародно признал несколько позже сам Некрасов в своем ответе «неизвестному другу» [76]:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука

И далее:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой

Враги, которых всегда много у всякого видного литературного деятеля, ликовали, друзья и сторонники

отшатнулись или сконфузились. Мне, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов? Хорош?!» Нехорош, конечно, но как-то горько и обидно было признать это... Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико, и немудрено, что я упирался идти в «Отечественные записки». Тогда в литературных кружках много говорили, между прочим, и о противоестественности союза Некрасова с Краевским[77], который тянул в старых «Отечественных записках» совсем неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я знал от Н. С. Курочкина, что никакого союза тут нет, а есть простая денежная сделка, в силу которой Краевский отдавал на известный срок и за известную ежегодную плату свой журнал Некрасову, обязуясь не вмешиваться в литературную сторону дела. Дела «Отечественных записок» при Краевском шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова с «Западом» и с «нигилистами», ни другие перлы не спасали журнал от очевидного падения. И даже после 1866 года Краевский не мог бы повторить фразу Скалозуба: «Довольно счастлив я в товарищах своих,— те, смотришь, умерли, другие перебиты». Прекращение «Современника» и «Русского слова», благодаря которому сильно очистилось поле конкуренции, не улучшило дел «Отечественных записок». Пришел Некрасов и предложил Краевскому выгодные условия. Краевский, человек, собственно говоря, совершенно чуждый литературе, хотя и наживший на ней каменные палаты, согласился отдать свой журнал представителям враждебного ему направления (если позволительно говорить о направлении Краевского). Эта сделка бросает тень уж, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали эксплуатировать и этот факт. Меня он, повторяю, не смущал. Но смущала сама личность Некрасова, которого я когда-то так горячо, хотя и заочно любил, которым зачитывался до слез. Напрасно добрейший Н. С. Курочкин соблазнял меня перспективой возрождения «Современника»; напрасно указывал, что если в новых «Отечественных записках» не будет таких сотрудников «Современника», как гг. Антонович и Жуковский, то будут Салтыков и Елисеев, имена которых достаточно гарантируют направление журнала; напрасно объяснял поведение Не-

красова в 1866 году исключительностью обстоятельств. Самым тяжелым для меня был тот аргумент ad hominem *, который наконец пустил в ход Курочкин. Он спрашивал: если он, Курочкин, старый, опытный, никогда себе не изменявший писатель, находит возможным работать у Некрасова, то неужели же мне, писателю начинающему и еще ничем себя не заявившему, это постыдно? И неужели я, хорошо его знающий, имею к нему так мало доверия? Я мог бы на это, конечно, многое возразить, но не возразил ничего. Курочкин был моим литературным крестным отцом, он приютил и кормил меня в трудное время, никогда ничем не давая мне почувствовать, что делает одолжение. Но и помимо этих личных отношений я, несмотря на все его слабости и смешные стороны, искренно уважал его как человека. Естественно, что у меня не повертывался язык возражать на его argumentum ad hominem. Мы порешили на том, что я попробую работать в отделе библиографии, которым он заведует, а что будет дальше — посмотрим.

Оставались еще «Современное обозрение» и «Неделя». После некоторых колебаний, навеянных одной нелепою фразой в объявлениях об издании «Современного обозрения», я отправился весной того же 1868 года в редакцию этого журнала с первою частью своего романа (он назывался «Борьба»). и со статьей публицистического характера «Письма о русской интеллигенции».

Всегдашняя моя беда как писателя состояла и доселе состоит в том, что я никогда не мог оградить свой сюжет от вторжений текущей жизни с ее пестрым шумом сегодняшнего дня. Я не уверен, впрочем, что это действительно беда, потому что если это обстоятельство мешало цельности и сосредоточенности работы, то взамен придавало ей, может быть, известную жизненность. Может быть, далее, это совсем не моя личная особенность, а общая, воспитанная обстоятельствами времени и места черта всей той литературной среды, в которой окончательно сложилась моя литературная физиономия. По крайней мере в «Отечественных записках» семидесятых годов подобрались все

* по человеку (*латин.*).

люди, в писаниях которых всегда громко билась беспокойная жилка публициста, то есть более или менее страстного докладчика по делам сегодняшнего дня. Не говоря об Елисееве или Деморте, которых обязанность именно и состояла в освещении текущих событий, черта эта отразилась и в Некрасове, и в особенности в Салтыкове и Г. И. Успенском. Что касается меня лично, то когда г. Слонимский озаглавил одну из своих, направленных против меня статей «Мнимая социология» [78], он обнаружил лишь свое незнакомство с делом, о котором взялся говорить. Но если бы он написал «Публицистическая социология», то каково бы ни было содержание этой статьи, а заглавие было бы и довольно правдиво и с известной точки зрения достаточно обидно. Я бы, впрочем, не обиделся: еже писах — писах [79]. Когда чисто теоретическая статья, уже изрезанная разными публицистическими отступлениями, все-таки не вмещала в себя всего, что меня оскорбляло или радовало в текущей жизни, я начинал рядом с ней другие статьи, уже прямо публицистические, и часто не доводил своего теоретического плана до конца. Так было еще и в те времена, когда я отправился в редакцию «Современного обозрения». В голове у меня был план статьи о прогрессе, на бумаге — первая часть романа, но в то же время непреодолимо хотелось говорить о сегодняшнем дне. Принесенные мною в «Современное обозрение» «Письма о русской интеллигенции» [80] (боюсь, что не совсем точно помню заглавие) должны были служить началом целой серии статей и печататься ежемесячно.

Редактор-издатель «Современного обозрения» Тиблен, отставной кавалерийский офицер, немножко чересчур развязный, но человек образованный, издавший перед тем несколько хороших переводных книг, между прочим, первые томы сочинений Спенсера, принял меня очень любезно и стал вдвое любезнее, когда прочитал мои рукописи. Надо заметить, что «Современное обозрение» началось при участии некоторых бывших сотрудников «Современника»: гг. Пыпина и Жуковского, отделившихся от Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но гг. Пыпин и Жуковский участвовали лишь в редижировании программы и первого нумера журнала. Во всяком случае, к тому времени, когда я пришел

в «Современное обозрение», Тиблен хозяйничал там один. Он решил начать печатать «Письма» с июня, а роман с июля — с тем, чтобы к августу я приготовил вторую часть. Вышла июньская книжка, печаталась июльская. Я продолжал писать роман и «Письма». Однажды Тиблен вручил мне чистый оттиск моего романа и пригласил к себе на дачу, где-то на Неве, и довольно далеко. Мы поехали на пароходе. День был солнечный, тихий, Нева такая ласковая, нос парохода так красиво и сильно резал синюю воду, и на душе у меня соловьи пели. Немудрено: в кармане моего пальто лежал сброшюрованный печатный оттиск, на первой странице которого красовались слова: «Борьба. Роман. Часть первая». Кончены все мытарства! Я у пристани! Как только кончу роман, примусь за статью о прогрессе, а «Письма» пойдут своим чередом, а из-за статьи о прогрессе уже виднеются неясные контуры других работ...

Одно меня немножко смущало. Статья о прогрессе складывалась в форме критического разбора первого тома сочинений Спенсера, причем мне пришлось бы очень мало в чем согласиться со Спенсером и очень много в чем решительно не согласиться. А между тем, Тиблен был не только издателем русского перевода Спенсера, но частью и переводчиком и вдобавок горячим поклонником. В 1866 году, когда Тиблен задумал издание сочинений Спенсера в семи томах (это издание не было кончено), знаменитый ныне английский мыслитель был весьма мало известен на Европейском континенте,— не существовало ни французского, ни немецкого перевода ни одного из его сочинений. Тиблен, так сказать, опередил Европу. Да и сам Тиблен, издавая для пробы опыт Спенсера о «Классификации наук», считал, как видно из предисловия, Спенсера «недавно умершим». Между тем, в том же предисловии находим следующее пророчество: «Спенсер займет, вероятно, в современной рациональной философии такое же место, какое заняли Бокль в философии истории и Дарвин в философии естествознания»[81]. Вот это глубокое уважение Тиблена к Спенсеру и смущало меня: я боялся, что он не допустит в своем журнале отрицательного отношения ко многим основным мыслям излюбленного им английского писателя. Но и эта черная точка на моем веселом горизонте была все-таки не очень страш-

на ввиду некоторых своеобразных взглядов Тиблена на права и обязанности редактора журнала. Он рассказывал мне однажды, как поступил со статьей, которую в общем не одобрял и автор которой доставил ее без своей подписи. Тиблен ему сказал: «Нет, батюшка, я не могу вам позволить трепать восемнадцать веков философии от имени редакции; выставляйте свое имя под статьей, иначе не напечатаю». При чем тут восемнадцать веков философии, я уж не помню, но этот прецедент давал мне надежду, что и статья о Спенсере пройдет.

Мы провели на даче Тиблена весь вечер вместе, благодушно и весело беседуя. Я и ночевать у него остался. Прощаясь со мной на другой день, Тиблен просил меня торопиться с работой к августу, спрашивал, не нужно ли мне денег вперед и т. п. Никоим образом не мог я думать, что вижу его в последний раз и что через какую-нибудь неделю все мои розовые мечты о конце мытарств и надежной пристани и проч. рассыплются прахом. Зайдя через неделю в редакцию «Современного обозрения», я услышал die traurige Mähr *, что Тиблен бежал от долгов за границу и бросил журнал на произвол судьбы... Бедному малому, как я потом слышал, очень плохо приходилось за границей. Да простятся же ему мои разбитые мечты!

Так и не увидало свет произведение, на первой странице которого значилось: «Борьба. Роман. Часть первая»,— июльская книжка «Современного обозрения» не вышла. Впоследствии я был очень рад гибели «Борьбы», в достоинствах которой очень сомневаюсь. Готов был не только простить, даже благодарить Тиблена за сюрприз. Но тогда этот сюрприз просто ошеломил меня. Опять скитальчество! Курочкин возобновил свои настояния, да и сам я уже с некоторою завистью поглядывал на книжки «Отечественных записок» [82], завоевывавших все больше и больше симпатий в обществе, да и во мне самом. Однако мысль еще все упрямилась. Отделавшись опять от Курочкина обещанием писать в его библиографическом отделе, я попробовал работать в «Неделе», но там что-то очень скоро не поладилось, не помню уже почему [83]. Кажется, меня

* печальную весть (*нем.*).

задело за живое какое-то замечание П. Ф. Конради, который очень мало понимал в деле литературы и, будучи практическим врачом по профессии, попал в редакторы случайно, просто по знакомству с издателем Генкелем. Пошел я к Курочкину сдаваться. Я мог предложить «Отечественным запискам» остатки от крушения «Современного обозрения»: «Борьбу» и статью о Кельсиеве, первоначально написанную в виде одного из «Писем о русской интеллигенции». Курочкин обещал поговорить с Некрасовым, но с своей стороны, как личное свое мнение, выразил, что писать романы совсем не мое дело. Мне показалось, что он в этот раз был со мной холоднее обыкновенного. Может быть, мне это именно только показалось, потому что собственная моя совесть могла подсказывать Курочкину укорительную мысль: «Что?! брыкался, брыкался, да и сдался?!»

Мне помнится, что этот день моей сдачи был и днем моей первой встречи с Гл. И. Успенским. Я уходил от Курочкина. На лестнице, этажом ниже, стоял у дверей молодой человек с неправильным, но чрезвычайно оригинальным лицом, на котором внимание не могло не остановиться. К удивлению моему, молодой человек обратился ко мне с вопросом: «Вы Михайловский?» — «Да».— «Я Успенский. Зайдемте ко мне, я вот тут живу». Оказалось, что мы стоим как раз у дверей квартиры Успенского. Он меня знал понаслышке от Курочкина и от других, я его знал как автора «Нравов Растеряевой улицы» в «Современнике» и рассказов «Будка» и «Остановка», только что напечатанных в 1868 году в «Отечественных записках». По понятным причинам, мне не придется распространяться в своих воспоминаниях о Гл. И. Успенском[81]. Но именно поэтому мне и хочется помянуть наше первое знакомство. Он был тогда холост и жил вполне необыкновенно. Квартира его состояла из одной комнаты и кухни. В кухне, которая, разумеется, никогда не исполняла своего специального назначения, он устроил себе спальню, а комната изображала собою кабинет, салон, приемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то в весьма незначительном количестве. Зато была половая щетка, и, когда нужен был самовар или что-нибудь в этом роде, Глеб Иванович стучал этою щеткою в потолок. Это был условный знак, по

которому из квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо известная многим писателям, ворчливая, но добродушная, иконописного вида старуха Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а в салоне было какое-то особое отопление, без топки изнутри комнаты и требовавшее аккуратного открывания и закрывания каких-то душников или заслонок. А так как хозяин не отличался аккуратностью, то в салоне было очень сыро и скверно. Это не мешало хозяину блистать заразительным весельем и неподражаемым мастерством рассказов...

Не знаю, что говорил обо мне Курочкин Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою «Борьбу» не просто взяли для прочтения, а предложили мне прочитать ее самому в присутствии всей редакции. Так обыкновенно не делается, и я был сконфужен. Конфуз мой достиг высшего предела, когда я в назначенный день и час приехал вместе с Курочкиным в редакцию «Отечественных записок» и увидал там Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многих. Как будто и А. М. Скабичевский тут был [85], и красивое, точно точеное, но, как маска, мертвенное лицо Слепцова помнится. Но в этом я не уверен. Внешнею обходительностью редакция «Отечественных записок» никогда не отличалась, даже в тех случаях, когда по существу была вполне доброжелательна. В данном же случае смущение мое было тем сильнее, что, когда мы уселись за большой стол, покрытый зеленым сукном, возле меня оказался Салтыков и стал смотреть в тетрадь, по которой я читал, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время от времени покряхтывая громким басом: э-гм! Как близки и понятны стали мне потом эти якобы суровые глаза и как они меня смущали тогда! Между прочим, дойдя до одной главы, я почему-то вдруг тут же сообразил, что она неудачна и требует таких-то и таких-то переделок. Я хотел ее пропустить, и это было тем удобнее, что она была вводная. Я уже перевернул две-три страницы, ища следующей главы, но Салтыков меня остановил: «Что же вы пропускаете?» — «Да тут переделать надо».— «Нет, уж читайте все подряд!»

Чтение кончилось. Прочитал я только первую часть, так как из остального были лишь наброски и я даже

не захватил их с собой. Наступило молчание. Прервал его Салтыков сердитым басом: «Надо кончать! А то что же так-то, без хвоста!» Некрасов сказал то же самое, но гораздо любезнее. Елисеев сидел молча, насупившись, поглаживая правою рукой левый ус и, по-видимому, совсем о моей «Борьбе» не думая. Курочкин отвел Некрасова в сторону и что-то пошептал ему, после чего Некрасов подошел ко мне с вопросом, не нужно ли мне денег. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вместе со мной из редакции, Курочкин меня очень бранил за этот отказ, а о романе выразился так: «Бойко написано, бойко прочитано, впечатление получилось недурное, а в сущности, бросьте-ка вы этот роман: право, не ваше дело!» Я и сам в эту именно минуту почувствовал, что надо бросить и что это не мое дело[86]. Несколько позже, нуждаясь в беллетристическом материале, Некрасов напомнил мне о романе, но я ответил, что решительно не могу его кончить, не пишется[87]. Он просил меня по крайней мере выделить из «Борьбы» один эпизод — он указывал, какой именно,— и обработать его в рассказ, но я и этого не мог сделать, будучи увлечен совсем другими работами.

Несмотря на все предыдущие мытарства, несмотря на только что пережитую беду с «Современным обозрением» и неудачную пробу с «Неделей», несмотря, наконец, на то, что я в самый вечер торжественного чтения «Борьбы» решил, что кончать ее не буду,— мне именно в этот же вечер стало ясно, что я действительно у пристани. Конечно, великое дело молодость, легко оправляющаяся от погромов и легко окрыляемая надеждой. Но на этот раз дело было, я полагаю, не в одной молодости. Я в первый раз подошел к вершинам русской литературы, настоящим, несомненным, общепризнанным. Бурная жизнь Некрасова создала ему много недоброжелателей. Литературная и в особенности редакторская его деятельность тоже много этому способствовала. Но как бы далеко ни шло в некоторых сферах отрицание не только личных достоинств Некрасова, а и достоинств его поэзии, перст истории уже давно отметил его как достояние даже отдаленного будущего, а в настоящем вся грамотная Россия зачитывалась его стихами. Салтыков также дав-

но занимал положение первого в своем роде человека. Елисеев был неизвестен в большой публике, но в литературных кружках его ценили очень высоко, а мы, тогдашняя молодежь, не зная его лично, хорошо знали его «Внутренние обозрения» в «Современнике». А из-за этих трех выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевского, Белинского, как бы передавших им свой авторитет. Далее, все трое независимо от своих собственно литературных талантов были опытные и горячо преданные своему делу журналисты, убежденные в возвышенности задач журналистики. Немудрено, что от этих людей и от руководимого ими дела веяло спокойною, сознающею себя силой. Примыкая к ним, вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую, это как кто посмотрит, но, во всяком случае, прочную, смею сказать, историческую дорогу. Эта дорога, с одной стороны, уходила в даль прошедшего, где была пробита не одним поколением тружеников и страстотерпцев мысли, а с другой — расстилалась в перспективу будущего. Велики и ярки были таланты Салтыкова и Некрасова, крупную литературную силу представлял собою и Елисеев, но их личные силы удваивались тем историческим путем, на котором они стояли. Отнюдь не связанные преданием в том смысле, чтобы не сметь сделать ни единого шага за свой собственный страх и счет, они, кроме силы личного убеждения, еще в своих связях с прошлым черпали уверенность в правоте своего дела. Чем глубже коренится идея в прошлом, тем спокойнее выносит она всякие бури и невзгоды, все равно как дерево с глубоко сидящими корнями. Спокойная, уверенная в себе сила чувствовалась во всем обиходе редакции «Отечественных записок» и давала себя знать при первом, даже самом поверхностном сближении с нею. Я разумею, конечно, не спокойствие личных характеров. Изо всех трех ровно спокоен был только Елисеев. Некрасов был скорее замкнут и скрытен, чем спокоен, и я расскажу ниже случай, когда он был совсем выбит из седла. А Салтыков был весь нервы и постоянное волнение. Но все эти индивидуальные особенности ничем не отражались на общем литературном деле, которое стояло не на темпераментах и характерах, а на убеждениях. Эти-то убеждения, прочные сами по себе, еще упрочивались

сознанием преемственной связи с рядом предшествовавших работников.

Меня всегда удивляли и, признаюсь, сердили те странные люди, которые время от времени выскакивают в литературе с «новыми словами», точно балаганный Петрушка из-за ширмы: выскочит, выкрикнет и опять за ширмы впредь до новейшего слова. Конечно, новые слова необходимы. Но, во-первых, они говорятся гораздо реже, чем думают люди с легкою мыслью и легким сердцем; во-вторых, люди с легкой мыслью и легким сердцем для провозглашения их отнюдь не годятся; в-третьих, наконец, только то новое слово значительно и прочно, которое не отрезывает себя от прошлого. В науке, в тех редких случаях, когда действительно говорится новое слово, одна из задач авторов нового слова состоит в том, чтобы примкнуть к одному из существующих уже течений, найти себе опору и оправдание в целом ряде предшествовавших опытов, наблюдений, выводов. При этом о *новом* слове собственно даже не думают, оно является само собой. Иначе и быть не может, потому что люди науки обращаются прежде всего к людям науки же, и специалисты все равно дознают место нового слова в литературе предмета и определят цену его. В публицистике, критике и т. п. отраслях словесности, имеющих дело непосредственно с массой читателей, такого неукоснительного контрольного аппарата нет. Поэтому выходит, например, следующее. Среди множества курьезов, вычитанных мною в «Литературных заметках» г. Волынского в «Северном вестнике», есть такой: «Различные письма одного и того же корреспондента писаны не в одном и том же стиле — *где мягким гусиным пером, где несколько развязным, размашистым языком*»[88]. Конечно, lapsus'ы возможны всякие, но я мог бы привести множество подобных удивительных изречений г. Волынского, только нет охоты, да и надобности возиться. Вы видите, что этому человеку, хотя бы только для того, чтобы стать удобопонятным, чтобы стать писателем, надо прежде про себя, в тиши своего кабинета решить, чем ему лучше писать — гусиным пером или размашистым языком. А он уже озабочен открытием «новой мозговой линии»[89]. Одна «Неделя» столько на своем веку наоткрыла этих новых мозговых линий, что и не пере-

честь. Этот тип открывателей новых мозговых линий очень любопытен; в свое время я с некоторою подробностью войду в его психологию [90]. Тип этот существует не только у нас, а и в Европе, но там он не может принести большого вреда, потому что там лишь в очень редких случаях посторонние обстоятельства обрывают спокойный ход преемственного развития идей и, следовательно, шарлатанские «новые слова» не встречают по крайней мере поддержки во внешних условиях жизни.

Возвращаясь к «Отечественным запискам», скажу, что, за вычетом горьких сомнений о личном характере Некрасова, я был счастлив примкнуть к живым преданиям действительно нового слова, сказанного самою жизнью в эпоху пятидесятых и шестидесятых годов.

Так как «Борьбу» свою я сразу вполне и окончательно забросил, то первоначально мне приходилось иметь дело главным образом с Елисеевым, который в беллетристический отдел не мешался, но зато тем большее влияние имел на прочие отделы. Да и впоследствии я ближе, роднее всех в редакции чувствовал себя именно с ним. Странно сказать, но из всех трех стариков редакции я был, что называется «знаком» только с Елисеевым, и это за все время существования «Отечественных записок». Приходилось, разумеется, очень часто видаться и с Некрасовым, и с Салтыковым, но, за весьма редкими исключениями, это были свидания по делу. Склад жизни Некрасова так же резко отличался от склада жизни Салтыкова, как и сами они резко разнились друг от друга. Но для меня и с тем, и с другим одинаково невозможны были товарищеские, приятельские отношения, внешним образом выражающиеся тем, что люди друг к другу ходят чайку попить, поболтать и т. п. Впоследствии, уже после закрытия «Отечественных записок», Салтыков писал мне однажды: «Вы были для меня одним из симпатичнейших и любимейших людей, хотя разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с вами» [91]. Но Михаил Евграфович ошибался,— не в разности лет и не в болезни дело было, по крайней мере не только в них. Елисеев был даже старше его и тоже человек хворый, но это не мешало нам быть в коротких приятельских отношениях. Глубоко уважая и любя Салтыко-

ва не только как литературного деятеля, но и как человека; будучи очень близок с ним в сфере идей и общественных симпатий и антипатий, я, однако, даже и представить себе не могу, как бы мы с ним друг к другу, например, «в гости» ходили. Слишком уж велика разница была в наших привычках, обстановке, во всем складе жизни. Без дела я бывал у Салтыкова только во время его болезни. Еще меньше житейских точек соприкосновения было у меня с Некрасовым, который жил барином, имел обширный круг разнообразных и нисколько для меня не занимательных знакомств, шибко играл в карты, устраивал себе грандиозные охотничьи предприятия, а я, не говоря о прочем, не беру карт в руки и терпеть не могу охоты. С Елисеевым же у меня было много общего в привычках и образе жизни, да и просто как-то по душе мы друг другу пришлись. В конце 1873-го или в начале 1874 года один бесконечно прискорбный для меня случай чисто приватного характера, и притом не имевший никакого отношения лично к Елисееву, оборвал нашу дружескую близость[92]. Мы стали встречаться только в редакционные дни. Но на общем деле это отозвалось так же мало, как и отсутствие близости с Некрасовым и Салтыковым. Упомянутый случай оборвал нашу дружбу, так сказать, формально, нисколько не повлияв на наши взаимные чувства, но в последние годы за отсутствием «Отечественных записок» и, следовательно, сборного пункта мы встречались уже только случайно, у больного Салтыкова или на улице. В 1890 году, возмущенный удивительной затеей отпраздновать юбилей свободы русской печати, Елисеев, уже очень слабый, попросил меня зайти к нему поговорить об этом деле, и я пришел. Затем я увидал его уже покойником. Но об Елисееве потом[93].

Теперь начну с Некрасова.

Недавно в «Московских ведомостях» я прочитал заметку под громким заглавием «Развенчанный Некрасов». Вот она:

«Известно, что роль «мученика» была одною из благороднейших ролей в либеральной комедии, вошедшей в моду с начала шестидесятых годов. Провинциаль-

ные «pauvres diables» *, молодые, восторженные, наивные, увлекающиеся, с сердечным трепетом слушали столичных «апостолов», в предположении, что они за меньшую братию полагают душу свою. Провинциальные молодые энтузиасты рисковали всем из-за этой проповеди, предполагая, что все это святая истина, что сами проповедники суть апостолы, люди идеи, а не наживы. И, как стадо овец, молодежь шла на этот призыв, не щадя ничего.

Но время раскрывает все. Любимым апостолом либерализма и до сих пор считается «наш гениальный поэт» Н. Некрасов. Для поддержания его престижа печать упорно поддерживала мнение, будто Некрасов был «мученик идеи», будто он начал свою карьеру в трущобах и потому именно радел о меньшей братии, что лично испытал все стадии нужды и нищеты. Никто не смел и подумать о том, что «петь» о нуждах меньшей братии было... просто *выгодно*».

Далее автор заметки приводит выдержку из статьи г. Глинки в «Историческом вестнике» [94]. Г. Глинка, помянув известные сведения о бедности или даже прямо нищете Некрасова в ранней молодости, говорит: «Не решаясь опровергать такую яркую картину, я хочу рассказать лишь о моем случайном знакомстве с Некрасовым». Оказывается, что Некрасов бывал у отца г. Глинки, потом жил некоторое время с его братом и «в это время,— говорит г. Глинка,— могу удостоверить, ни в чем особенно не нуждался». Как видите, сообщение г. Глинки ни малейше не опровергает общеизвестных фактов крайней бедности юного Некрасова. Г. Глинка впервые увидал Некрасова у своего отца, который в свою очередь познакомился с поэтом у Полевого [95]. Что было с Некрасовым до этой встречи, г. Глинка не знает и потому весьма основательно «не решается опровергать яркую картину» нищеты Некрасова, имеющуюся во всех биографиях поэта. Но «Московские ведомости» непостижимым образом усматривают в рассказе г. Глинки какое-то опровержение, разоблачение, даже «развенчание» и чему-то очень радуются. Я сейчас вернусь к этой радости, а теперь обращу внимание читателей на печатающиеся в газете «Русская жизнь»

* «бедняги» (*франц.*).

воспоминания В. А. Панаева[96], человека, очень близкого Некрасову. Г. Панаев встретился в первый раз с Некрасовым у некоего художника Даненберга[97]. Даненберг и Некрасов жили в одной комнате, питались щами, узнавали время по солнцу, имели одни общие сапоги и одно общее верхнее платье, так что выходили со двора поочередно. Но все это было еще роскошью в сравнении с тою нищетой, от которой избавил Некрасова Даненберг. Перед этим будущий знаменитый поэт жил в подвальной комнате, с окнами на улицу и должен был писать, лежа на полу, так что проходившие по тротуару часто останавливались посмотреть на оригинально примостившегося юного писателя. Все имущество его состояло из коврика и подушки, даже верхнего платья не было, питался он черным хлебом и рисковал быть выгнанным на улицу.

Ничего этого не было, по мнению «Московских ведомостей», и именно потому не было, что г. Глинка видел Некрасова в другое время в другом положении! А так как ничего этого не было, то Некрасов «пел о нуждах меньшей братии» не по внутреннему убеждению, а потому, что это было «выгодно»! Логика изумительная, выводы артистически лишенные всякого смысла... Для полноты надо заметить, что г. Глинка приводит следующее, по мнению «Московских ведомостей», «весьма характерное сведение из биографии знаменитого поэта». «Помню еще, что в 1848 году в литературных кружках *говорили, будто* Некрасов скупал оставшиеся экземпляры сочинений Гоголя, стоившие по 8 руб. за экземпляр, и продавал их по 25 руб.». «Московские ведомости» радостно спрашивают по этому поводу: «*Не очевидно ли* отсюда, насколько сильно Некрасов радел о просвещении меньшой братии, из-за «невежества» которой он пролил столько крокодиловых слез?!» Ну, еще бы не очевидно! Если в 1848 году «говорили, будто», то вполне очевидно, что это «весьма характерное сведение из биографии». Счастливые люди — эти господа «Московских ведомостей». Они в Аркадии родились и посейчас живут в ней безвыездно, невинно играя на свирели, слушая соловьиные песни и украшая беленьких барашков розовенькими ленточками. Им не знакомы ни «зависть тайная», ни «злоба открытая», ни «друзей клевета ядовитая»[98].

В невинности своей они верят всему, когда им «говорят, будто», потому что если и про них самых «говорят, будто», то все это так и есть: беленькие барашки, свирель, трели соловья... Такие ангелочки! Если, однако, это идиллическое незнакомство с плодами древа познания добра и зла украшает их добродетелью, то, с другой стороны, лишает здравого смысла. Даже допуская достоверность сплетни о скупке и перепродаже сочинений Гоголя, только невинные жители Аркадии могут приплести сюда «просвещение меньшей братии», потому что ведь и восьмирублевое издание Гоголя отнюдь не для невежественной меньшей братии предназначалось. Но это безразлично для невинных обитателей Аркадии; им бы только наговорить на тему о «развенчанном Некрасове» побольше слов, хотя бы и вполне бессмысленных. Пробегая газетные столбцы, читатель не в каждую заметку вчитывается и вдумывается. Отсутствие какой бы то ни было логической связи между посылками и выводами может остаться незамеченным, а впечатление получилось: «развенчанный Некрасов». По крайней мере на это рассчитывают добродетельные аркадские люди, хотя, к счастью, результат этот не всегда ими достигается. Я очень прошу читателя, хотя бы не ради Некрасова, а для образчика этого рода литературных упражнений, внимательно прочитать заметку «Развенчанный Некрасов».

В то время, когда Некрасов бедствовал, его никто не знал, и, значит, никаким «апостолом» он быть не мог. А в то время, когда тысячи и тысячи сердец откликались на его стихи, он был богат и никогда бедняком не прикидывался. Если впоследствии Некрасов вспоминал о своей былой бедности и если говорили о ней его биографы, то «*мучеником* идеи» ни сам он, ни кто другой его не рисовал. Тем не менее достоверно, что он начал свою литературную карьеру в нищете, и весьма вероятно, что он отчасти «потому именно радел о меньшей братии, что лично испытал все стадии нужды и нищеты». Чтобы радеть о меньшей братии, нет никакой надобности непременно самому проходить школу нищеты,— великодушные идеи доступны и баловням судьбы от рождения,— но у Некрасова эти идеи сплелись с личными впечатлениями нищеты, и это просто факт, который никто никогда не думал ставить ему в заслугу.

Где, от кого слышали эти сыны Аркадии, что Некрасов голодал ради идеи? Голодал потому, что без работы сидел. Все так и понимают, так что с этой стороны и повода для «развенчания» не было. Но выводить из этого заключение, что Некрасов «пел» в известном тоне только потому, что это было «выгодно»,— значит мерить людей аршином, может быть, и очень употребительным в Аркадии, но отнюдь не непреложным. Это даже фактически ни с чем не сообразно, потому что в сороковых годах стать на ту дорогу, на которую стал Некрасов, было вовсе не выгодно. Но что до всего этого за дело сынам Аркадии, когда вся их задача состоит в том, чтобы наскоро набросать как можно больше теней на Некрасова, и когда, ослепленные злобой, они готовы противоречить и самим себе, и несомненным фактам! Потому что надо наконец правду сказать, нет более злобных людей, как эти добродетельные сыны Аркадии. И знаете что? — это еще хорошо, если они руководятся в данном случае настоящею, искреннею злобой. Представьте себе человека, который когда-то получил от стихов Некрасова толчок в известную сторону и который потом, под давлением жизни, искренно разочаровался в золотых снах своей молодости. Я могу себе представить, что при известных условиях этот человек крайне враждебно относится к своему бывшему кумиру и рад сорвать злобу развенчанием его. Это дело житейское. Очень, конечно, нехорошо, если человек при этом ослепляется злобой до забвения предписаний здравого смысла, логики и приличия. Очень скверно, но искренность злобного чувства, ничего не оправдывая, по крайней мере объясняет. Такого человека даже пожалеть можно: бедный, мол, бедный! до того озлобился, что ослеп,— в отворенную дверь свирепо ломится, грозно сжатым кулаком в пустое место тычет, сам себе ногу отдавил... Возможно еще более некрасивое нравственное положение. Некоторая часть нашей печати считает себя представительницею и стражею «консерватизма». Ничего она не «консервирует», а, напротив, склонна очень многое, созданное жизнью и мыслью, разрушать. «Благонамеренною» она также себя почитает, тогда как намерения ее частью именно не благия, а прямо злые, а частью состоят просто в том, чтобы пожить в свое удовольствие,

независимо от каких бы то ни было идей. Завтра выйдет новый фасон идей, и она спокойно перекроит их. Немудрено поэтому, что иногда она даже не воодушевляется злобой, а напускает ее на себя, притворяется. Это уж самое последнее дело...

«Развенчать» Некрасова дело нехитрое. Для этого не требуется быть ни «консерватором», ни злецом. Как человек Некрасов давно развенчан, и так развенчан, что детски смешными кажутся попытки ухватиться за рассказ г. Глинки о том, что в таком-то году поэт ни в чем не нуждался, а в таком-то про него «говорили, будто». Я уже говорил о той тени, которая четверть века тому назад пала на личность поэта и затуманила ее в глазах самых горячих поклонников. И одна ли она лежит пятном на его памяти! Но люди, сколько-нибудь вдумчивые, непохожие на добродетельных и невинных сынов Аркадии, не довольствуются простым развенчанием. Нехитро его совершить, да неумно на нем опочить. Уже вышеупомянутый «неизвестный друг» писал Некрасову в 1866 году:

Мне говорят, что ты душой суров.
Что лишь в словах твоих есть чувства пламень,
Что ты жесток, что стих твой весь любовь,
А сердце холодно, как пламень!
Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?
И в них обман, а не душа живая?
Не может быть!

Да, не может быть! Пустопорожние вольтижеры, с легкостью перескакивающие с одного берега на другой, натурально должны мерить всех на свой аршин, ибо никакая другая мера вещей им недоступна. Но надо еще, кроме того, не иметь ни малейшего понятия о поэзии, о процессе творчества, чтобы утверждать, что можно писать такие стихи, как некрасовские, всю жизнь неискренно и ради выгоды. Такое утверждение могут подсказать только убогая мысль и пустое сердце. Понятны еще всякие увлечения в жару полемики, но Некрасов умер без малого пятнадцать лет назад, для него наступила история. Крайняя сложность богато одаренной «музы мести и печали» слишком очевидна, чтобы ее можно было характеризовать грубыми одноцветными чертами. И вот почему в то самое время,

когда запоздалые старатели радостно разыскивают разные вздорные и непроверенные пустяки якобы биографического характера, люди, чтущие память поэта, не боятся рассказывать подлинные и действительно мрачные подробности его жизни.

Напомню для примера рассказанный в воспоминаниях г-жи Головачевой-Панаевой случай самоубийства Пиотровского. Слишком известно, что Некрасов был страстный игрок. Как у всякого игрока, у него были разные суеверные приметы. Молодой сотрудник «Современника» Пиотровский взял у него однажды вперед, в счет гонорара, 200 руб., и в тот же вечер Некрасов сильно проигрался. Через неделю Пиотровский прислал ему письмо с новою просьбой о 300 руб., объясняя при этом, что если он денег не получит, то пустит себе пулю в лоб. Некрасов должен был в этот вечер опять играть и, памятуя, что после предыдущей выдачи Пиотровскому он проигрался, что и раньше были такие же совпадения, отказал. А Пиотровский действительно в тот же день застрелился. Можно себе представить душевное состояние Некрасова... Но г-жа Головачева-Панаева одна знала истинную причину самоубийства Пиотровского, остальные знакомые и сотрудники приписали волнение Некрасова простой нервности. Г-жа Головачева, с уважением относящаяся к памяти поэта, могла бы и сейчас не включать этого ужасного эпизода в свои воспоминания. Но она не сочла нужным скрывать его именно потому, что крупная и уже историческая фигура Некрасова не подлежит упрощенной операции развенчания. С формальной точки зрения Некрасов отнюдь не был виноват в самоубийстве Пиотровского. Выдавать Пиотровскому или кому другому деньги по всякому требованию он вовсе не был обязан, да и не имел бы возможности. Но все подобные, вполне здравые рассуждения не могли, разумеется, заглушить голоса ущемленной совести в самом Некрасове: как-никак, а из-за него погибла молодая, богатая надеждами жизнь. Да и нам, третьим лицам, невольным зрителям этой драмы, Некрасов не в ореоле рисуется. Не в том дело, что он не исполнил просьбы Пиотровского,— последовавшее затем несчастие могло быть именно только несчастною случайностью и для Некрасова, все равно как если бы он, например, нечаянно застрелил

Пиотровского на охоте: вечно преследовала бы его тень убитого, однако у нас не повернулся бы язык осудить его. В данном случае память Некрасова омрачается не самим фактом, а подробностями: Пиотровский погиб собственно из-за неприглядной игрецкой страсти, ослепляющей разум, подавляющей волю и ставящей игрока в ряд рискованнейших положений. В жизни Некрасова эта несчастная страсть играла огромную роль. Он много проигрывал, много выигрывал, а главное, много душевных сил тратил на это странное, но, должно быть, очень увлекательное дело. Я помню, как однажды в редакционный день мы собрались, по обыкновению, часу во втором в квартире Некрасова, а хозяин все не выходил. Я думал, что он спит,— вставал он вообще поздно. Но вот является Некрасов не из внутренних комнат, а из входной двери, с шапкой в руках, свежий, веселый. «Откуда это, Николай Алексеевич?» Оказалось, что Николай Алексеевич на этот раз даже не ложился, а всю ночь и все утро играл в карты и был в выигрыше. При проигрыше он становился угрюм и мрачен. Обидно было знать все это, обидно и сейчас вспомнить. Тем не менее я вполне уверен, что собственно жадности к деньгам тут не было. Разумеется, кто играет, тот хочет выиграть. И когда Некрасов еще только выбивался из бедности, выигрыш, по всей вероятности, составлял его главную цель при игре. Но постепенно этот момент так осложнялся жаждою специальных волнений, даваемых игрой, что под конец и совсем в них утонул. Известно пророчество Белинского: «Некрасов наживет себе капиталец». Он его действительно нажил, а с другой стороны, пожалуй, что и не нажил. Жил он в то время, когда я с ним познакомился, барином, ни в чем себе не отказывая, но после его смерти денег не оказалось совсем. Я сам читал его завещание, в котором прямо говорилось, что никаких денежных капиталов у него нет, а есть такое-то и такое-то движимое и недвижимое имущество, которое так-то и так-то распределяется между наследниками. Знаю я также, что незадолго до смерти он взял на прожитие и лечение из конторы «Отечественных записок» 1000 р. вперед (деньги эти его сестра, благоговейно чтившая его память, потом возвратила в контору). Вдову его я видал еще довольно долго спустя после его смерти и знаю,

что на оставшиеся у нее средства она могла жить лишь очень скромно, хотя, конечно, не нуждаясь в помощи Литературного фонда.

Что же касается часто повторяемого пустопорожними, а иногда просто презренными людьми мнения, будто Некрасов ради выгоды писал и издавал журнал в известном тоне, то это мнение не имеет никакого смысла. Поистине «не торговал он лирой». Некрасов был прежде всего необыкновенно умен. Для меня нет никакого сомнения в том, что на любом поприще, которое он избрал бы для себя, он был бы одним из первых людей уже в силу своего ума. Он был бы, если бы захотел, блестящим генералом, выдающимся ученым, богатейшим купцом. Это мое личное мнение, которое, я думаю, однако, не удивит никого из знавших Некрасова. Он выбрал литературу, потому что любил ее; в литературе он выбрал известное направление, потому что верил в него. Нищета и унижения, претерпенные им в ранней молодости, озлобили, очерствили его. Как он сам говорил, он «поклялся не умереть на чердаке» и, может быть, не раз в жизни прибегал к средствам, к которым позволительно относиться с брезгливостью. Надо, однако, сказать, что ничего такого ужасного, что резко выделялось бы на общем фоне наших тогдашних нравов, он не совершал, он только не отказывался выть с волками по-волчьи. И как бы ни пригнула его судьба к земле, в нем никогда не исчезали желание и способность искать глазами небо. Благодаря своей практической ловкости, благодаря уменью ценить даровитых людей и верить им, он поставил «Современник» и потом «Отечественные записки» блестяще. Но, по крайней мере в известной степени, он мог бы сделать то же самое и с журналом совершенно другого направления. Хорошо же шел, например, «Голос», дополнивший своими доходами то огромное наследство, которое осталось после Краевского. Однако Некрасов издавал не «Голос», а «Отечественные записки». Барыши же его с «Отечественных записок» были относительно вовсе не велики. Во-первых, он платил значительную и с увеличением числа подписчиков все увеличивавшуюся аренду Краевскому. Во-вторых, он сам, добровольно предложил своим ближайшим сотрудникам и соредакторам, Салтыкову и

Елисееву, долю участия в доходах издания на равных с ним правах. Это случай небывалый в русской журналистике, и никто, может быть, даже не заметил бы, если бы Некрасов, подобно другим издателям, клал весь доход полностью в свой карман. Тем более что он всегда мог бы сослаться на положение «Отечественных записок»: их бюджет и без того был обременен арендною платой, которая не лежала на других журналах и газетах.

Я, однако, не думаю обелять или возвеличивать Некрасова как человека. Я хочу лишь подчеркнуть сложность его натуры, не поддающейся слишком уж простому «развенчанию».

В книжке г. Андреевского «Литературные чтения» я нашел о Некрасове следующие умные слова, с которыми отнюдь не могу вполне согласиться, но которые хорошо намечают сложность натуры поэта. Г. Андреевский не весьма симпатично относится к самому типу некрасовской поэзии и находит в ней много грубого и деланного. Но он не аркадский сын. Он говорит:

«Видна ли любовь Некрасова к народу в его произведениях? На этот вопрос не может быть иного ответа, кроме утвердительного. Эта любовь — не только к народу, но и ко всем обездоленным и голодающим — течет у Некрасова лавою по всем его произведениям. Она имеет все оттенки: раздирающей душу скорби («Мороз»), смелой защиты перед сильными мира («Парадный подъезд»), доброй ласки отца («Крестьянские дети»), горячей защиты публициста («Плач детей», «Железная дорога»), вдохновенного увлечения поэта («Коробейники», «Зеленый шум») и т. д. и т. д. Какой же источник этой любви? Нам кажется, здесь влияли два фактора: во-первых, эпоха общей влюбленности в крестьянскую массу; во-вторых, события в личной жизни поэта... Проницательный Некрасов не заносился в облака, но общее тяготение к народу, с которым он бок о бок выстрадал голод, было ему на руку. Из жизни этого народа он стал брать темы для своих потрясающих картин. Он увидел свой успех; эта работа его увлекла. По натуре сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекрасного, человек сильный и глубокий, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасов нуждался в отмщении за обиды судь-

бы, и он полюбил мстить самодовольным за несчастных. Граница между искренним и искусственным у него потерялась. Часто он любил только «мечту свою», часто обливался слезами над «вымыслом». Но он чувствовал себя хозяином скорбящего народного царства, этих необозримо богатых владений для извлечения из них в каждую минуту чего-нибудь ужасающего для «сильных мира». «Народ безмолвствовал», но это только придавало еще более трагический оттенок песням Некрасова. Он увлекался своею миссией, облагораживался в ней, возвышался до голоса истинного гражданина, видел в ней свою славу, свое искупление за какой-то грех, на который содержатся горькие, сдержанные намеки в его поэзии. В течение многих лет на глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории неразделенной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что, когда он умер, то его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами, как страдальца за народ и убогих» [99].

В этих последних словах заключается указание на чрезвычайно любопытную черту всей судьбы Некрасова. Стоустая молва и печатные инсинуации давно уже довели до всеобщего сведения, что певец скорбящих и обездоленных — богатый человек, что муза мести и печали обставилась довольно комфортабельно. Никто не сомневался в том, что Некрасов не «мученик идеи» в смысле каких-нибудь материальных лишений, хотя в свое время и вынес горькую, унизительную нищету. И, однако, над гробом его оплакивали именно «страдальца за народ и убогих», и никакие усилия добродетельных сынов Аркадии не сотрут этого образа ни в общем сознании, ни со страниц истории русской литературы. Дело в том, что мыслью Некрасов, несомненно, искренно страдал за всех обездоленных, за всех неправо униженных и оскорбленных, и именно в силу этой искренности «весь мир сильней любить вам хочется, стихи его читая». И если личная жизнь Некрасова не совпадала с тоном его произведений, то пусть бросают в него за это камнями те, кто чувствует себя в этом отношении вполне безгрешным. Это раз. А вовторых, никто лучше самого Некрасова не сознавал

неприглядности этого разлада, и обстоятельство это вносило в его душу новый источник страданий, воспетый им тоже такими стихами, что «им без волненья внимать невозможно»[100].

Обращаюсь к личным своим воспоминаниям.

Первою моею статьей в «Отечественных записках» была «Жертва старой русской истории», напечатанная в декабре 1868 года. Это была переделка приготовленного для июльской книжки «Современного обозрения» второго «Письма о русской интеллигенции». Речь тут шла о Кельсиеве, который незадолго перед тем вернулся в Россию, выпустил две книжки: «Пережитое и передуманное» и «Галичина и Молдавия» — и в них с необыкновенною, почти наивною развязностью отрекался от всего своего прошлого[101]. Положение Кельсиева, как и всякого ренегата, было в Петербурге незавидное. В кругу своих новых единомышленников он был еще совсем чужой и встретил там, вероятно, много для себя обидного под личиною любезности, а к старым знакомым ему, конечно, лучше было бы совсем не являться. Но был ли он от природы бестактен или сбит с толку новостью своего положения, только он не воздержался от некоторых ненужных визитов. Я сидел однажды у Н. С. Курочкина, когда к нему пришел незнакомый мне высокий худой брюнет с развязными и вместе с тем как бы растерянными манерами. Заметив при входе этого незнакомца странное, недоумевающее выражение лица Курочкина и догадываясь о щекотливости предстоящей беседы между ними, я ушел в третью комнату. Незнакомец сидел в кабинете, должно быть, с полчаса. Мне было видно, как он потом проходил в переднюю. Он был красен, как рак. По дороге он неловким движением задел стул, уронил его и, поднимая, с напряженною, неловкою улыбкой попробовал пошутить: «Александр Македонский был великий герой, но зачем же стулья ломать?!» Курочкин, тоже, видимо, взволнованный, объяснил мне по уходе незнакомца, что это был Кельсиев...

На мою статью о Кельсиеве обрушился в «Неделе» покойный Минаев[102]. Он находил, что я слишком мягко и серьезно отнесся к этому человеку, что с ренегатами

надо поступать гораздо круче, не вдаваясь в логические и психологические тонкости, что этак можно, пожалуй, дойти и до оправдания ренегатства. Выразил все это Минаев довольно грубо, и Некрасов счел нужным меня, не обстрелянного еще новичка, утешить или ободрить. Он убеждал меня не смущаться подобными выходками, говорил, что если Минаев нашел мою статью слишком мягкою и серьезною, то, с другой стороны, и Кельсиеву этот прием покажется гораздо обиднее, чем голые насмешки и ругань, что, судя по строю моих мыслей и манере писания, я должен и на будущее время приготовиться к нападкам с самых различных сторон, но что это не беда,— надо, не смущаясь, вести свою линию.

Курьезно, что эту предсказанную мне Некрасовым судьбу (на которую я, впрочем, отнюдь не жалуюсь) через десять лет (в 1879 году) Минаев же воспел в шуточном стихотворении. Случилось это так. В. В. Чуйко напечатал в газете «Новости» статью под заглавием «Письмо к ученому публицисту Н. К. Михайловскому» [103]. Я не обратил на нее никакого внимания, и это показалось Минаеву забавным. Он писал тогда в «Биржевых ведомостях» фельетоны, озаглавленные «Чем хата богата» [104]. В один из них он вклеил следующее стихотворение:

Долго в мрачной неизвестности
Прозябал Чуйко у нас
На Руси такой нет местности,—
Взять хоть Тверь иль Арзамас,
Иль столицы обе русские,
Гнезда «рыцарей пера»
(Умолчу о Василь-Сурске я,
Об Уфе et cetera),—
Где б столь славная фамилия
Всеми помнилась легко
Нет, как Маркова Василия [105],
Русь не ведает Чуйко
А меж тем, не мало делая,
Перевел он Тэна том,
Перевел бумаги целые
Горы,— все нет проку в том,
Похудел, смотреть стал щепкою
Сей злосчастный журналист
И, задумав думу крепкую,
Сел за чистый белый лист
«Тему я возьму особую,
Коль ни в чем успеха нет
Михайловского попробую

Расшатать авторитет:
Напишу статью бодливую,
Разведенную водой..
Михайловский под счастливою
Родился у нас звездой.
Тот известностью становится,
Кто у нас его ругнет.
На крючок подобный ловится
Весь читающий народ...

И т. д.— немножко длинно для шутки. Оканчивается эта шутка так:

Но противника подобного
Не заметил даже тот,
Кто мишенью был столь злобного
Нападенья... В свой черед
Не замечен был отчизною
Смелый подвиг... Я бешусь,
Обращаюсь с укоризною
За Чуйко к тебе я, Русь!..
В той же мрачной неизвестности
Он остался на Руси,
И доныне нет той местности,
Хоть весь край исколеси,
Внука спрашивай в нем, деда ли
(Ах, скорбел я глубоко!),—
Где бы чтили, где бы ведали
Имя славное Чуйко

Возвращаюсь к Некрасову.

К начинающим писателям он относился с большим вниманием, охотно давая им разные советы. Нельзя было при этом не любоваться его умом. Он отлично знал пробелы своего образования и никогда не старался их скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомых ему предметах у него находилось умное слово, заимствованное из его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчив он не был, и, когда молодой сотрудник сколько-нибудь оперялся, он предоставлял его самому себе и лишь в крайне редких случаях выражал свое удовольствие. Благодаря безусловному доверию Некрасова к своим главным сотрудникам и соредакторам, редакционные дела «Отечественных записок» шли точно сами собою, точно никто ничего и не делал, тогда как в действительности все много работали. Какие-нибудь пререкания были величайшею редкостью. Тот же порядок был и потом, когда после смерти Некрасова ответственным редактором стал

Салтыков. Только Салтыков в силу своей крайней экспансивности не мог удержать в себе ни одной мысли, ни одного чувства, тогда как Некрасов, напротив, был до такой степени замкнут и скрытен, что иной раз и догадаться было невозможно, что он думает. Со мной был следующий, характерный в этом отношении для Некрасова случай. Дело было в 1874 году, когда я был уже вполне своим человеком в редакции «Отечественных записок». Однажды студент, помнится института путей сообщения, по фамилии Шмаков, принес мне тетрадку своих стихотворений. Они показались мне пригодными для печати, и я передал их Некрасову, но без всякой со своей стороны рекомендации: посмотрите, мол. Через несколько дней получаю от Некрасова записку: «Ваш поэт Шмаков вытолкнул меня из постоянно гнусного настроения, в котором я, черт знает от чего, нахожусь уже давно,— у него есть талант, и он непременно будет хорошим поэтом, если будет строго работать и овладеет вполне формой, без которой нет поэта. Если он здесь, то не скажете ли ему, чтобы зашел ко мне» [106]. Молодой поэт был у Некрасова, три или четыре его действительно недурных стихотворения были напечатаны в том же 1874 году в «Отечественных записках» [107], но затем он куда-то исчез и что-то я не знаю теперь такого поэта. Некрасов больше о нем не вспоминал. Много времени спустя, уже незадолго до своей смерти, Некрасов признался мне в случайном разговоре о стихах, что сначала он считал Шмакова псевдонимом, под которым укрылся я, конфузясь своих стихотворных опытов, и что он был очень разочарован, увидав настоящего, живого Шмакова. Почему он думал, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая их за чужие, я не знаю. На мой вопрос об этом он ответил только: «Так мне показалось». Но и его предположение насчет моей хитрости, и его долгое молчание кажутся мне очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкий, но вообще в Некрасове было что-то загадочное, невысказанное, затаенное от всех посторонних взглядов. Тем поразительнее были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и все-таки не могло вырваться вполне.

В 1869 году появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковского «Материалы для характеристики современной литературы», в которой заключались крайне ядови-

тые нападки на Некрасова, на Елисеева, на «Отечественные записки». Она состояла из двух частей: из «Литературного объяснения с Н. А. Некрасовым», написанного г. Антоновичем, и из статьи г. Жуковского «Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год». И самая эта брошюра, и тем более ее интимная подкладка представляют собою нечто совсем чужое большинству нынешних читателей. Я и сам узнал эту прискорбную историю во всех ее подробностях только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорий Захарович, видимо, придавал ей большое автобиографическое значение, потому я, может быть, расскажу ее его собственными словами, когда дело дойдет до воспоминания о нем [108]. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковского содержит в себе много злобно выраженных неприятных намеков и предположений насчет Некрасова, Елисеева и «Отечественных записок». Значительная часть этих намеков и предположений давно, так сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали решительное отклонение «Отечественных записок» от того направления, которого Некрасов, Салтыков и Елисеев держались прежде в «Современнике», а этого, как известно, не случилось (Салтыков в брошюре не поминался по имени, ему предоставлялось узнать себя в общей формуле «разной шушеры и шелухи из «Современника»). Авторы брошюры потратили много остроумия насчет объединения Некрасова и Краевского, слития их в одну литературную фирму, а такого объединения и слития никогда не было. Но «Отечественные записки» были еще тогда внове; за один год существования они успели, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для них были вполне безразличны нападки бывших сотрудников «Современника». Притом же в брошюре заключалась крупица истины, хотя и вполне бестактно выраженной; и это было тем неприятнее, что крупица истины находилась в связи с обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тень в 1866 году. Никогда, ни до, ни после этой брошюры, Некрасов не был «развенчан» так грубо, так открыто и беспощадно — и кем же? — не каким-нибудь отпетым проходимцем, а «своими», людьми, объявлявшими себя истинными хранителями

лучших литературных преданий. А заодно с Некрасовым призывался к ответу и весь журнал в лице, впрочем, главным образом Елисеева. Немудрено, что, придя в ближайший редакционный день в редакцию, я застал там переполох. Салтыков рвал и метал, направляя по адресу авторов брошюры совершенно нецензурные эпитеты[109]. Елисеев сидел молча, поглаживая правою рукой левый ус (его обыкновенный жест в задумчивости), и думал, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: он ничего подобного не ожидал, если не от г. Жуковского, то от г. Антоновича, и был тем более оскорблен в своих лучших чувствах, что имел о Некрасове свое особое мнение. Сам Некрасов произвел на меня истинно удручающее впечатление, и я, пользуясь тем, что не был еще тогда членом редакции и, значит, не обязан был сидеть в ней, скоро ушел. Тяжело было смотреть на этого человека. Он прямо-таки заболел, и как теперь вижу его вдруг осунувшуюся, точно постаревшую фигуру в халате. Но самое поразительное состояло в том, что он, как-то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что-то объяснить, что-то возразить на обвинения брошюры и не мог: не то он признавал справедливость обвинений и каялся, не то имел многое возразить, но по закоренелой привычке таить все в себе не умел.

Это просто невыносимое зрелище я видел еще раз потом, в трагической обстановке предсмертных расчетов Некрасова с жизнью...

Крупица истины, заключавшаяся в брошюре, лучше всего выражена в следующих словах г. Антоновича, обращенных непосредственно к Некрасову: «Современник» закрыт; для предотвращения этого оказались бессильными все ваше искусство, все ваши отречения и вся ваша литература на обеде; ваши громоотводы и щиты, купленные ценою стольких моральных и неморальных жертв с вашей стороны и удовлетворительно защищавшие вас в обыкновенное время, при обыкновенной погоде, не могли защитить ваш журнал при необыкновенно сильной, экстраординарной грозе».

Это все верно. Верно, что для защиты своего дела Некрасов в течение многих лет приносил обильные моральные и неморальные жертвы; верно, что он был в этом отношении очень искусен; верно, наконец, что в

1866 году, в момент экстраординарной грозы, все искусство и все жертвоприношения Некрасова не спасли дела. Но на всех этих, несомненно, верных данных может быть построено не обвинение Некрасова, не развенчание его, а, напротив, его апология. Такую именно апологию я нашел в одной рукописной заметке Елисеева, не подлежащей, к сожалению, опубликованию. Вот отрывок: «Некрасов не пошел бы ни на смерть, ни на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе... Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам, применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме; он понимает, что таким только образом может ее добиться, а кроме того, понимает, что в той среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он; хотя, быть может, есть немало лиц из тронутых новою идеей, которые гораздо выше, то есть самоотверженнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые бы так упорно шли в течение десятков лет шаг за шагом по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и перенося сделки со своею совестью. Герой-раб мог писать, что его рука иногда «у лиры звук неверный исторгала», что, «жизнь любя, к ее минутным благам прикован он привычкой и средой», что он «к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой». Но действительный герой, герой в современном значении этого слова, не мог ни действовать, ни писать. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой «муж потребен». Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всецело, публично запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения. Хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленною смертью, в ежедневных мелких пытках от мелких гонений и стеснений, от сделок с своею совестью, умирает никем не признанный в своем геройстве

и даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу».

Поведение Некрасова в 1866 году Елисеев считает сознательным жертвоприношением... Я не иду так далеко, я думаю, что Некрасов тогда просто растерялся, испуганный надвигающейся грозой, тем более страшной, что не известно было, как и куда она направит свои удары. Испугался он, может быть, частью и за журнал, но главным образом, я думаю, за себя лично. Так и сам Некрасов понимал дело. Однако нарисованный Елисеевым трагический образ героя-раба, в общем, верен действительности, да ему и не противоречит испуг в трудную минуту. Только для ясности этого образа надо подчеркнуть некоторые его непривлекательные стороны.

Некрасов был человек вполне убежденный, то есть искренно верил в справедливость тех принципов, которые исповедовал в своей поэтической и журнальной деятельности. Подробности идей, развиваемых в его журналах, а иной раз даже самые идеи могли быть ему в том или другом случае чужды вследствие пробелов в его образовании, которое он, рано брошенный в водоворот практической жизни, никогда не успел пополнить. Но, не говоря уже о том, что в практических вопросах, обсуждавшихся в его журналах, он ориентировался превосходно, потому что знал науку жизни, редкий ум и редкое чутье делали его отнюдь не чужим и относительно чисто теоретических вопросов. Он и здесь понимал или чуял добро и зло с точки зрения своих общих убеждений, потому что сидели они в нем крепко. В выработке этих убеждений играли значительную роль испытания его несчастной юности. Они очень рано начались, эти испытания.

Я не биографию Некрасова пишу, да в общих чертах она и довольно известна. Но не могу отказать себе в удовольствии привести одно воспоминание Достоевского. В «Дневнике писателя» за 1877 год писал он о начале своего знакомства с Некрасовым в 1845 году: «Тогда было между нами несколько мгновений, в которые раз навсегда обрисовался передо мною этот загадочный человек самою существенною и самою затаенною стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненое в самом начале

жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». Не буду, впрочем, продолжать выписку. Достоевский говорит здесь о впечатлениях самого раннего детства, которые ему сообщал сам Некрасов,— о любимой матери-страдалице, к которой он так часто обращался в своих стихах. Затем следовали впечатления жестоких сцен старопомещичьей деревенской жизни, затем личные испытания голода, холода и унижений петербургского пролетария. Впечатления эти были столь сильны, что Некрасов никогда не изменял голодным, холодным и униженным ни в своей поэзии, ни в своей журнальной деятельности. Никогда. Сюда выпадал центр тяжести и его собственной поэзии, и тех идей, теорий, образов, картин, которые развивались и рисовались людьми, в течение десятков лет около него группировавшимися. Но в тех же горьких впечатлениях пролетария лежало зерно другой стороны его развития. Оскорбленный голодом, холодом и унижениями, он «поклялся не умереть на чердаке». Страшная клятва! Никто не обязан умирать на чердаке, никто не имеет права осуждать человека, не желающего чердачной жизни и смерти, да никто ее и не желает. Но для юноши при условии некоторого энтузиазма, пожалуй, естественнее была бы противоположная клятва: клянусь жить на чердаке, пока есть голодные и холодные! Правда, что такого рода энтузиазм обыкновенно довольно быстро выдыхается, но сам по себе он, во всяком случае, больше подходит юному певцу голодных и холодных. А когда перспектива жизни и смерти в палатах становится в ранней молодости задачей жизни, в особенности когда в эту перспективу напряженно вглядывается человек умный, ловкий и упорный,— беда близка: край нравственной пропасти под самыми ногами. Некрасов и ходил всю жизнь по краю пропасти. «Сколько раз я над бездной стоял... снова падал и вовсе упал»,— говорит он сам [110]. Но как певец голодных и холодных он никогда не падал; даже тогда, когда извлекал из своей лиры «неверные» звуки. Оригинально сплетались в нем эти две стороны его жизни, исходившие из общего корня — тяжелых впечатлений ранней юности. Мало ли путей ему предстояло для приведения в исполнение

своей клятвы, однако он выбрал совершенно определенный путь, с которого не сходил всю жизнь. Даже в минуту крайнего раздражения и вполне бесцеремонного отношения к Некрасову г. Антонович должен был признать, что Некрасов приносил «моральные и неморальные жертвы» для спасения не только себя, а и своего журнала. И мы, все сотрудники его двух журналов, пользовавшиеся плодами его жертвоприношений, а за нами и все наши читатели едва ли имеем моральное право издеваться над этими жертвами, как бы брезгливо мы к ним ни относились. Но мы можем все-таки признать, что от практики этих жертвоприношений к Некрасову прилипало много нечистого. И он это сам знал, и в этом состоял трагизм его двойственного существования, разрешавшийся покаянными воплями («Рыцарь на час», «Ликует враг», «Умру я скоро» и проч.).

Некрасова часто упрекали (между прочим, и в упомянутой брошюре), например, за излишнюю разносторонность знакомств. Он действительно якшался с самыми разнообразными сферами, в том числе и с такими, которые могли иметь разве только отрицательное отношение к «Современнику» и «Отечественным запискам». Он, бесспорно, находил в этих знакомствах удовлетворение своим избалованным вкусам богатого барина и крупного игрока, что, пожалуй, было и не к лицу редактору таких журналов. Но здесь же он находил для этих журналов те «щиты и громоотводы», о которых говорит г. Антонович. Он полагал, впрочем, что литератору как литератору необходимо все знать и видеть.

В начале семидесятых годов в Петербурге существовало какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обеды, куда знатоки гастрономического дела, люди, конечно, богатые и избалованные, а также известные столичные рестораторы поставляли кто одно блюдо из своей кухни, кто другое, кто одно вино из своего погреба, кто другое. Все это серьезнейшим образом смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывал на этих обедах и Некрасов. И не только сам бывал, а и других тащил, между прочим, и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству не мог видеть в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы развра-

та. Когда я выразил Некрасову свое мнение на этот счет, он со мной согласился, но привел три резона, по которым он на эти обеды ходит: во-первых, там можно действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать и те сферы, в которых такими делами занимаются; в-третьих, это один из способов поддерживать знакомство с разными нужными людьми. В гастрономическое общество я не попал, но в балет меня однажды Некрасов затащил-таки, и это единственный раз в жизни, что я был в балете. Боюсь, что читатель заподозрит меня по этому поводу в похвальбе тем, что французы называют pruderie *. Отнюдь нет, не в суровой добродетели тут дело, а просто в том, что условные, размеренные движения танцовщиц и танцовщиков показались мне некрасивыми и невыносимо скучными. Но речь не обо мне, а о Некрасове. Балет привлекал его теми же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближения с нужными людьми. Если кто вздумает придраться к этому расположению аргументов, к тому, что на первом плане стоят вкусная еда и красота балета, то это будет тщетная придирка. Я отнюдь не уверен, что Некрасов располагал свои три резона именно в таком порядке. Он, впрочем, никогда не прикидывался презирающим «минутные блага жизни».

В числе других видов общения с нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедельно специальные собрания, на одном из которых был и я. Это было некрасивое зрелище. Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были dii minores ** Олимпа нужных людей, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим, играл в карты и Салтыков, по обыкновению, раз-

* преувеличенная стыдливость (*франц.*).

** малые божества (*латин.*).

дражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и проч. За его спиной стал один из неигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход. Салтыков проворчал что-то вроде: «Ну, да! советчики!» Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политическую музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог. Я больше не бывал на этих собраниях, и не только потому, что мне на них делать нечего было, так как в карты я не играю,— просто почти бессознательное чувство брезгливости протестовало.

Скажут, может быть, что вот не церемонился же Салтыков с нужным человеком, а ведь и он после смерти Некрасова тянул лямку ответственного редактора. Действительно, политика Салтыкова как редактора резко отличалась от некрасовской. Но не надо забывать, что ко времени редакторства Салтыкова литература была уже далеко не так поставлена, как в ту мрачную пору, когда Некрасов начал свою журнальную деятельность и получил свое воспитание как редактор-издатель; да и всероссийские нравы изменились. Литература наша, к сожалению, и доселе не пользуется доверием правительства в той степени, в какой это было бы желательно нам, писателям, да и не только нам. Но каковы бы ни были претерпеваемые ею неудобства и невзгоды, их и сравнить нельзя с прежним положением вещей, когда самое существование литературы было едва терпимо. В наше время «щиты и громоотводы», для сооружения которых Некрасов приносил столько моральных и неморальных жертв, утратили свое значение; они частью не нужны, частью невозможны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал. И Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы, и светлых мыслей, постепенно ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии. Но практика

постоянной изворотливости, практика постоянного искания или сооружения щитов и громоотводов не может служить к украшению личного характера практиканта. Она непременно должна положить на него более или менее густые тени, приучив его ко всякого рода компромиссам, житейским противоречиям и непоследовательностям, сделкам с своей совестью. Это и случилось с Некрасовым. А он был к этому и без того слишком подготовлен основным противоречием его жизни,— противоречием между клятвою не умереть на чердаке и искренним сочувствием к обитателям чердаков, ко всем голодным, холодным и обездоленным. Все это сплеталось в Некрасове в один запутанный, пестрый клубок, многосложность и пестрота которого тяжелее всего отзывалась на нем самом. Поверхностные и пустопорожние люди думают, что жизнь Некрасова была, за вычетом горечи молодых годов, каким-то сплошным праздником. Это — глубокая ошибка. Верно, что он сладко ел и мягко спал, но тем не менее не лгал он, когда писал:

Что враги?! Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!..[111]

Казнь, носимая им в сердце, была тем мучительнее, что в странном клубке его жизни черные, белые и цветные нити переплетались теснейшим образом. Он сознавал искренность своей поэзии, но сознавал и разлад ее с собственною его жизнью; разлад этот имел, однако, в его глазах известное оправдание в обстоятельствах его молодости и в той трудной роли литературного кормчего, которая выпала на его долю,— он сознавал, что какой-нибудь Белинский с своей хрустальною нравственною чистотой не смог бы сделать для литературы то, что сделал он своими компромиссами и уступками совести; но сознавал он также, что к нему прилипло много грязи на этой трудной житейской дороге. Сознавая все это по частям, он не мог, однако, разобраться в целом этой смеси добра и зла, вины и заслуги и еще менее, конечно, мог растолковать ее кому-нибудь другому даже в тех случаях, когда растолковать хотелось: многое грязное подлежало здесь обелению, многое доб-

рое было загрязнено. Отсюда пасмурная замкнутость, переходившая иногда в деловитую жестокость...

Еще немножко личных воспоминаний...

Финансовые мои обстоятельства поправились в «Отечественных записках». Я много работал и достаточно зарабатывал. Но частью потому, что дела мои были очень расстроены предыдущими невзгодами, частью по всегдашнему моему неумению как следует обращаться с деньгами, на мне скоро оказался довольно значительный долг конторе «Отечественных записок». На беду, весной 1870 года мне понадобились экстренные средства на отправку одного близкого мне больного человека за границу [112]. Я изложил Некрасову исключительность обстоятельств, но он очень сухо отказал в деньгах, указав на мой долг. Я понимал, что он прав, но все-таки с горьким и обидным чувством вернулся домой, а тут еще надо было статью дописывать. Дописал, сдал в редакцию и уехал на несколько дней из Петербурга искать денег, потому что состоятельных знакомых у меня в Петербурге не было. Однако и поездка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, как быть, получаю от Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Он заговорил со мной тем же сухим, деловым, сумрачным тоном, но уже другими словами: «Вы просили денег, сколько вам надо?» — «Столько-то».— «Так я вам дам записку в контору, вы нам человек нужный» [113]. Хотя слова эти выводили меня из трудного положения, в благополучном выходе из которого я уже отчаялся, они все-таки оставили во мне тяжелое впечатление. Опять-таки Некрасов был, несомненно, прав: если б я не был нужен журналу, так незачем мне и льготы оказывать, а коли нужен, так надо обратить внимание. Но как-то уж очень это жестко и обнаженно вышло...

Не всегда, однако, Некрасов был так жесток и сух. Мне кажется, что на него действовала в этом отношении петербургская жизнь, в особенности *его* петербургская жизнь — шумная, пестрая, но нескладная. Летом сердце его, вероятно, размягчалось и уста разверзались для мягких и ласковых слов. Сужу так частью по его писаниям, а частью по собственному опыту, очень, впрочем, незначительному. Однажды я был у него на даче, в Чудове, а в другой раз столкнулся с ним за

границей, в Киссингене[111]. Он был там с женой и сестрой, подобрались и еще знакомые, в том числе Елисеев с женой. Киссинген, хотя и имел честь лечить своими водами таких высокопоставленных особ, как император Вильгельм I и Бисмарк, есть один из самых мирных курортов. Развлечения своим многочисленным и разноязычным гостям он предоставляет самые скромные: еда самая умеренно-немецкая, в гастрономическом смысле оставляющая многого желать; музыка ниже посредственной; скромные ассамблеи в «ротонде», где под звуки той же музыки, а то и рояля танцуют немчики с немочками; игорных учреждений никаких; театра нет, по крайней мере нет постоянной труппы, а наезжают третьестепенные актеры. Может быть, во время пребывания особ, вроде Вильгельма и Бисмарка, все это изменяется, но я видел Киссинген таким два раза, в 1871 году и в 1873 году, когда столкнулся там с Некрасовым. И Некрасов, видимо, отмякал, если можно так выразиться, в этой простой обстановке.

Верстах в двух от Киссингена есть развалины древнего замка Боденлаубе. Предание гласит, что замок этот был построен знаменитым миннезингером XIII века, поэтом-рыцарем Отто фон Боденлаубе. Теперь в этих живописно заросших зеленью развалинах ютится элементарный ресторанчик, где можно получить яйца всмятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидели там с Некрасовым. Он разговорился, рассказывал про Белинского, Чернышевского, Добролюбова, отзываясь о них почти восторженно. Предание о рыцаре-поэте, в развалинах замка которого мы теперь пьем скверный немецкий кофе, навело разговор на поэзию вообще, потом на поэзию Некрасова. Он говорил грустно и задушевно и как-то вдруг стал не то оправдываться, не то казнить себя. Мне живо припомнился тот Некрасов, которого я видел в 1869 году после брошюры гг. Антоновича и Жуковского. Не было того острого волнения, но та же затрудненная, смущенная, сбивчивая речь человека, который хочет сказать очень много, но не может... Я очень хорошо помню, что ни единым нескромным вопросом не вызывал его на откровенность. Он сам начал, а я даже не поддерживал этого щекотливого разговора. Мне было неловко.

Но уже не неловко, а прямо жутко и страшно было

слушать эти обрывистые, затрудненные откровенные речи, когда Некрасов умирал. Умирал он долго и мучительно; несмотря на все свое самообладание, временами стонал, прямо кричал и плакал. Но в светлые промежутки неустанно думал и говорил о литературе. Поводов для этого было много. Он сам писал или диктовал последние из своих «Последних песен». Он получал со всех концов России множество писем, адресов, телеграмм от почитателей, скорбевших о тяжких страданиях любимого поэта. Посещали его, конечно, главным образом литераторы. Посетил его и Тургенев [115], когда-то закадычный друг, а потом враг, много несправедливого о нем сказавший и отрицавший даже его поэтический талант [116]. Это посещение, после многих лет враждебных отношений и разлуки, разумеется, окончательно убедило бы страдальца в близости конца, если б он и без того не был в этом уверен. Я не присутствовал при этом свидании. Говорили после, что оба бывшие друга молча прослезились... В таком-то состоянии умирающий, худой, как скелет, Некрасов и со мной, и со многими другими заводил свои затрудненные оправдательно-покаянные речи, перемежаемые еще вдобавок стонами и криками. Очевидно, было страстное желание выложить всю душу, уже еле державшуюся в больном, изможденном теле; страстное, последнее в жизни желание раскрыть тайну этой жизни, может быть, даже не нам, слушателям этой единственной в своем роде исповеди, а самому себе. Но умирающий не находил слов выражения «той казни мучительной, которую в сердце носил». Он то хватался за какой-нибудь отдельный эпизод своей жизни, то пробовал подвести ей общий итог, запинался и опять начинал. В сравнении с этою страшною сценой — ничто, детские игрушки — те щеголеватые публичные исповеди, авторы которых самодовольно заявляют, что они отрясли прах прошлого от ног своих и достигли высшей ступени нравственного сознания. Некрасов чувствовал и понимал, что в его прошлом есть большая заслуга, от которой отрекаться не приходится. Но она трагически-фатально забрызгалась грязью, и перед зияющей пропастью смерти Некрасов не мог ни другим рассказать, ни себе уяснить эту смесь добра и зла. Он старался, не мог и мучился... Дело происходило в той самой

комнате, в которой поэт вспоминал своих «унесенных борьбой» друзей:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен...[117]

Я не видал более тяжкой работы совести, да не дай бог и видеть. А между тем, так ли уже в самом деле велики вины Некрасова? И не искуплены ли они благою стороной его деятельности и этою страшною, несказанною мукой совести? Поэт молил: «Прости меня, о родина! прости!»[118] Благодарная родина давно простила. Но есть неумолимые, которые не прощают и непременно желают «развенчать» Некрасова. Должно быть, их собственная совесть чиста, как зеркало, в которое они могут спокойно любоваться на свои добродетели и гражданские подвиги. Должно быть, их головы увенчаны бесспорными лаврами... Да, эта совесть, очевидно, спокойна; да, оспаривать эти лавры не много найдется охотников. Пусть... Но мы, грешные, не последуем за ними. Мы скажем: нас прости, тень поэта! свою родину прости,— ту родину, грехами которой ты сам заразился и для просветления которой сделал так много...

март — апрель 1891 г.

Н. В. ШЕЛГУНОВ

I

В одном из своих «Очерков русской жизни» Н. В. Шелгунов[1] приводит следующие слова «Гражданина» о шестидесятых годах: «Тогда все кипело жизнью, и именно жизнью духовною, тогда лучшие люди шли на общественную службу, тогда в каждом русском человеке билось сильно сердце, тогда либералы создали целую Ниагару мыслей, стремлений, целей в русле русской умственной жизни и этим самым

вызвали к жизни и противников этого громадного урагана, — словом, тогда все, что дремало до того, проснулось, и на борьбу выступили все силы добра и зла, на борьбу живую и, можно без преувеличения сказать, народную, в смысле животрепещущих вопросов судьбы русского государства, эпохою создавшихся».

Н. В. Шелгунов делает эту выписку из «Гражданина» с особою целью, для иллюстрации одного частного своего соображения. Но гораздо более общее чувство внутреннего удовлетворения, наверное, говорило в нем при этом. Приятно и мне начать вступительную статью к сочинениям одного из видных представителей шестидесятых годов этою выпискою из газеты, более чем неблагосклонной к тогдашнему умственному движению. Приснопамятные шестидесятые годы будут еще, вероятно, долго служить предметом самых разнообразных суждений, в числе которых немало будет и решительных осуждений. Такова всегдашняя участь всего яркого и крупного — людей, событий, эпох. Мелкие люди, заурядные события, тусклые эпохи не вызывают пререканий и противоречивых суждений, а около всего цветного и крупного стоит гул и шум споров. С течением времени этот шум, разумеется, затихает и наконец совсем прекращается. Однако такое событие, как, например, первая Французская революция, доселе, спустя сто лет, подвергается самым разнообразным и противоречивым суждениям. У нас, впрочем, есть пример ближе — петровская реформа. Сколько пламенных восторгов и сколько несдержанной брани вызывает она даже по сей час! Одни видят в ней безупречно розовую зарю русской истории, другие — почти преступное и, во всяком случае, прискорбное удаление «из дому». И это только два крайние мнения, а существует еще много других, менее одноцветных, пытающихся придать сложному явлению соответственно сложное значение, или более частных, имеющих в виду главным образом гигантскую личность Петра либо ту или другую подробность реформы. Одно стоит вне всяких споров и сомнений: в подобные исторические моменты жизнь бьет ключом, совершается нечто значительное, как бы кто ни расценивал содержащееся в этом значительном добро и зло. К таким именно полным жизни и значения историческим моментам принадлежат шестидесятые

годы. Это должны признать даже отъявленные враги всего, что тогда народилось и расцвело. Если они далеко не всегда столь откровенны и беспристрастны, как «Гражданин» в сделанной выше выписке; если они, напротив, в большинстве случаев всячески силятся унизить, «развенчать» шестидесятые годы, то самая страстность этих их усилий, доходящая иногда чуть не до бешенства, свидетельствует о крупных размерах того, с чем они задним числом борются.

Сочинения писателя, воспитанного подобною эпохой, естественно, должны представлять особенный интерес, хотя бы уже в силу того отпечатка, который должно положить на них участие в общей крупной работе. И прежде всего для нас интересно отношение такого писателя к этой общей работе. В воспоминаниях Шелгунова, а частью и в других статьях настоящего издания, читатель найдет и материалы для суждения о шестидесятых годах и самые его суждения. Я приведу лишь очень немногое, наиболее, мне кажется, общее или фактически наиболее выразительное, что может служить отправным пунктом для наших собственных соображений. Но надо оговориться. В буквальном смысле слова Шелгунов воспитан не шестидесятыми годами, а предыдущей, тоже приснопамятной, николаевской эпохой. Но и как писатель, и как человек, он вынес из этого времени почти исключительно одни отрицательные уроки. Он говорит: «Дорожить нас не приучили ничем, уважать мы также ничего не уважали: но зато начальство старательно водворяло в нас чувство страха... Им (то есть чувством страха) у нас постоянно злоупотребляли. Когда же все общественные связи основаны только на страхе и страх наконец исчезает, тогда ничего не остается, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров. И вот такое-то пустое пространство и открылось у нас. Но в пустом пространстве жить нельзя, каждому человеку нужно строиться; мы и начали строиться». Заключенная в этих немногих словах глубоко верная мысль требует лишь некоторого распространения и пояснения, чтобы ею вполне осветились значение и характер шестидесятых годов. Постараемся найти это распространение и пояснение у самого Шелгунова. Это нетрудно.

Школьные и служебные воспоминания Шелгунова почти сплошь представляют собою поучительнейшую

картину той, по-видимому, необыкновенно стройной, цельной, однородной цепи отношений, которая составляла сущность тогдашнего русского общества. Это было действительно нечто очень стройное и цельное, а на иной глаз, пожалуй, даже обаятельное в какой-то своей художественной законченности: каждый был в этой цепи в одно и то же время восходящим и нисходящим звеном, каждый имел свое определенное место, на котором он трепетал перед одними, высшими, и заставлял трепетать других, низших. Сознательного исполнения долга «не только за страх, но и за совесть» здесь не было, потому что не было места ни личному убеждению, ни личному достоинству, ни вообще чему-нибудь такому, что могло бы пестрить картину и нарушать простую гармонию системы. Но она была уже слишком проста для такой сложной штуки, как человеческая жизнь и человеческое общество. Ее нельзя было предоставить самой себе, в расчете на силу первоначального толчка и силу инерции. Она требовала постоянной поддержки искусственными средствами, заимствованными, впрочем, из нее же. Шелгунов имеет полное право прибавлять эпитет «страшное» к ироническому выражению «доброе старое время». Да, «страшное доброе старое время»; не только потому, что и теперь страшно читать хотя бы в воспоминаниях того же Шелгунова, например, сцены жесточайших расправ с двенадцатилетними ребятами, но и потому, что все дело и в то-то время было в страхе. Рассказав один подобный случай, когда в дворянском полку директор Пущин засек воспитанника до смерти, Шелгунов прибавляет: «Пущин остался директором, чтобы не колебать дисциплины и уважения к власти». С точки зрения господствовавшей системы это было вполне последовательно. Пущин был виноват, но он совершил свою вину в качестве власти, а власть и вина были несовместимы в тогдашней системе, ибо, раз допустив критический разбор властного поступка, можно было опасаться умаления того исходящего от власти спасительного страха, на котором держалась вся система. Эта, логически необходимая, безнаказанность властных людей придавала им необыкновенную самоуверенность, делала их «выше ростом», по выражению Шелгунова, и весьма вероятно, что угрызения совести были им совершенно незнакомы даже в самых ужасных

случаях, а иным, может быть, и воистину не из-за чего было угрызаться. Если, как рассказывали Шелгунову, два чиновника «умерли от страху» в ожидании предпринятой Муравьевым ревизии ведомства государственных имуществ[2], то, собственно, в этих двух смертях Муравьев лично был ни при чем, хотя и раздавил две человеческие жизни одним своим именем. И, может быть, это были вовсе не худшие чиновники, которым грозила беда по заслугам. Вина и заслуга, как и все прочие виды добра и зла, теряли в то страшное доброе время всякое самостоятельное значение, преломляясь на совершенно, по нынешним нашим понятиям, неожиданный манер в призме господствовавшей системы отношений. Надо заметить, что случаи, рассказанные Шелгуновым, несмотря на всю свою выразительность, еще далеко не самые ужасные. В своих воспоминаниях он лишь очень бегло, мимоходом касается крепостного права, с которым, по-видимому, и в жизни не имел близких соприкосновений. Но он хорошо понимает, что оно-то и составляло фундамент всей системы. Фундамент столь прочный, что даже всесильный император Николай не находил возможным развалить его и, по собственному его выражению, лишь почитал должным передать это великое дело своему преемнику «с возможным облегчением при исполнении». И когда силою вещей наступил конец этому фундаменту, а вместе с ним и всей системе, то «ничего не осталось, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров». Целые поколения с упорною последовательностью и исключительностью готовились к двоякой роли: приказывающих и исполняющих приказания, и в результате получились настоящие виртуозы той и другой функции, изумительно приладившиеся к воспитавшей их системе. Но когда область двуединой функции сузилась и расшаталась, эти превосходнейшие в своем роде специалисты естественно должны были очутиться в положении рыб, вытащенных из воды, а о выработке того, что требовалось новым историческим моментом, — самостоятельной мысли, знаний, твердых убеждений, чувства собственного достоинства и признания такого за другими — система не заботилась и не могла по самому существу своему заботиться. Мало того, весь этот умственный и нравственный багаж пестрил сис-

тему, не допускавшую никакой пестроты, грозил ей разнообразными изъянами и неудобствами, а потому или прямо преследовался как контрабанда, или содержался в сильном подозрении. Это было опять-таки вполне естественно и последовательно. Система, до такой степени законченная, должна была даже с преувеличенною чуткостью относиться к разным враждебным ей элементам. Системе, конечно, нужны были по крайней мере всякого рода техники, а положение великой европейской державы обязывало и к некоторой умственной роскоши, хотя бы только показной. Но даже самое невинное и чисто фактическое знание могло стать очагом критической мысли, а эта последняя была уже решительно враждебна системе, враждебна сама по себе как таковая, на что бы она ни была направлена. Поэтому все усилия были направлены на урезку даже фактического знания до возможного minimum'а, определить который было, конечно, очень трудно, и на придание этому minimum'у общей окраски двуединой функции, что отчасти и достигалось введением военной дисциплины в учебные заведения, готовившие к самым мирным занятиям. История русского просвещения того времени представляет высокий теоретический интерес в качестве огромного социологического опыта, к сожалению, слишком дорого стоившего, но мы не будем разбрасываться и постараемся не отходить далеко от непосредственного предмета нашей статьи — сочинений Н. В. Шелгунова.

Вскоре после падения Севастополя Шелгунову было предложено место ученого лесничего в Лисинском учебном лесничестве. К сложным занятиям, сопряженным с этим местом, Шелгунов считал себя неподготовленным и потому лишь в том случае соглашался принять место, если его отправят предварительно (на его счет) за границу для ознакомления с тамошним лесным хозяйством. Шелгунов знал, чего стоят знания, приобретенные им в тогдашнем Лесном институте, но система находила, что этого вполне достаточно, и только после порядочной борьбы Шелгунов настоял на своем. Из заграничных воспоминаний его отметим следующую черту: «Я отыскивал сочинения о России, которой я не знал ни истории, ни географии». На первый взгляд это поразительно, почти невероятно: образованный русский офи-

цер, в умственном отношении, очевидно, выдающийся, так как ему предложено было видное место ученого лесничего, а потом и профессора, добросовестный, так как не хватается сразу за видное положение, не знает ни истории, ни географии своей родины и за границей отыскивает сочинения о России! Казалось бы, парадоксальнее этого и выдумать ничего нельзя. Но тогдашняя Россия была переполнена подобными парадоксами. Уже в 1863 году, состоя под военным судом, Шелгунов разговорился с одним из членов суда, моряком, капитан-лейтенантом, причем оказалось, что этот капитан-лейтенант и член суда по политическому делу в первый раз услышал имя Стеньки Разина! Шелгунов сам говорит, что это может показаться невероятным, а тогда он так принял этот факт к сердцу, что под давлением его принялся писать популярную статью по русской истории («Россия до Петра Великого»). «И все это понятно,— говорит Шелгунов.— Я учился около того же времени, как и капитан-лейтенант и другие члены военного суда, а если и не совсем в то время, то, во всяком случае, при том же воспитательном режиме. И у нас не включался в курс русской истории Стенька Разин, не был известен и Пугачев, а еще меньше сообщалось о каких-либо народных волнениях (то есть, вероятно, второстепенных, местных). История, которой нас учили, была история благополучия и прославления русской мудрости, величия, мужества и доблести. Оканчивалась она царствованием императрицы Екатерины II, а все последующее время представлялась нам в виде туманнного пятна с большим вопросительным знаком».

Бунт Разина и пугачевщина скрывались, очевидно, ради крепостного права, составлявшего фундамент системы. Почиталось удобным замалчивать неприятные исторические факты, порожденные общественным строем, в общих чертах еще живым. Однако дело двусмысленного отношения к историческому знанию не ограничивалось этим специальным применением приема, напоминающего манеру страуса прятать голову и тем убеждать себя в отсутствии опасности. «Арсенал наших знаний, особенно общественных, был очень скуден,— говорит Шелгунов.— Было известно, что на свете существует Франция, король которой Людовик XIV говорил: «Государство — это я» — и за это был назван великим; зна-

ли, что в Германии, и в особенности в Пруссии, солдаты очень хорошо маршируют; наконец, краеугольное знание заключалось в том, что Россия — страна самая большая, богатая и сильная, что она служит «житницей» Европы и если захочет, то может оставить Европу без хлеба, а в крайности, если вынудить, то и покорить все народы».

Вот что знал средний русский образованный человек. Нам, позже выступившим в жизнь, трудно себе и представить, какая страшная, зияющая пустота должна была раскрыться перед умами людей, знавших это и только это, когда крымские неудачи и наконец падение Севастополя, последовавшие за колоссальным напряжением всех сил родной страны, показали, что «краеугольное знание» есть заблуждение. А это ошеломляющее открытие было чревато многими другими, подобными же. И наконец, вся так хорошо прилаженная, такая стройная, такая, по-видимому, прочная система оказалась одним громадным, сплошным заблуждением. Я знаю, что ныне многие вновь возвращаются к этим заблуждениям и видят в них истины, как будто история и не давала нам своих страшных уроков. Пусть. У нас теперь речь идет не о существе дела, а о состоянии умов тридцать — тридцать пять лет тому назад. Тогда русские люди фатально должны были признать заблуждением все то, что в предшествовавшую эпоху стояло вне всяких сомнений. Так должно было быть по логике событий, так и было в действительности. Кругом, куда ни взглянешь, оказалось пустое пространство, в котором надо строиться заново...

Страшное дело — строиться в пустыне. Сколько предстоит блужданий, напрасной траты сил, сколько риску и опасностей! Но великое счастье людей шестидесятых годов, счастье, которому могут позавидовать все последующие поколения, состояло в том, что у них была путеводная звезда, сиявшая ослепительно ярким блеском идеала и в то же время указывавшая обязательную практическую задачу, подлежащую немедленному решению. Эта путеводная звезда называлась «освобождение крестьян». Такие великие моменты редки в истории, это ее светлые праздники, но зато же они отражаются на всех сторонах жизни общества, которому выпали на долю, и, как благодатный дождь после засухи, вливают жизнь всюду, где ее осталось хоть малое, хоть чахлое

зерно. Чтобы достойно оценить положение русского общества после падения Севастополя, сравним его с положением Франции после Седана[3]. Обе страны вынесли тяжкие несчастья, обе получили жестокие уроки, обидные для национального самолюбия, но отрезвляющие и вынуждающие сосредоточиться на реформах обветшалого общественного строя. Но Франция должна была еще пережить залитое потоками крови междоусобие и доселе не имеет определенной, концентрированной задачи, в которой высокие требования идеала сочетались бы с общепризнанной возможностью и необходимостью немедленного практического осуществления. Без сомнения, и во Франции, как во всякой цивилизованной стране, живут светлые и высокие общественные идеалы, способные окрылять мысль и чувство, но и об существе их, и о своевременности их реализации идут споры. Есть у Франции и такие задачи, которые сейчас достаточно назрели в общем сознании для практического осуществления, но между ними нет такой, от величия которой захватывало бы дух. У нас такая задача была: освобождение миллионов рабов; освобождение, возможность и необходимость которого сразу стали для всех ясны, хотя одни готовились встретить его с ликованием, а другие с трепетом и скрежетом зубовным. Если оставить в стороне этих трепещущих и скрежещущих, которым было, конечно, невесело, то огромность счастья жить в такое время трудно даже оценить. И вот почему так скоро прошли печаль о крымских потерях и стыд за крымский позор. И вот почему не страшно было строиться в пустыне заново. Работа предстояла многосложная и трудная. Неотложность собственно юридического факта освобождения не подлежала никакому сомнению, и разве только какие-нибудь Коробочки, заплесневевшие в своих гнездах, питали смутную надежду, что авось Бог пронесет грозу. Но экономическая сторона дела, вопрос аграрный, финансовый, самые формы освобождения, вопрос будущего устройства крестьян — все это еще подлежало решению и допускало различные решения, в числе которых были и такие, которые могли бы свести «на нет» самые существенные стороны реформы. И разработкою этих сложных вопросов далеко еще не ограничивалась умственная пища, предложенная русскому обществу великим историческим моментом. Как уже

сказано, крепостное право составляло фундамент всей системы, осужденной историей на смерть. Его дух, его образ и подобие отражались и во всем море государственной жизни, и в каждой малой капле составляющих его вод. Отношение государства к личности и ко всем функциям умственной, нравственной, политической, промышленной, гражданской жизни, отношения начальства к подчиненным, суда и следствия к преступнику, мужей к женам, отцов и воспитателей к детям — все было окрашено тем же цветом. Поэтому обществу и выразительнице его нужд, желаний и упований — литературе приходилось вырабатывать целое новое миросозерцание, которое обнимало бы и отвлеченные вопросы теории, и насущные вопросы практики. Дело трудное, но оно оказалось по плечу обществу и литературе.

Неумные и злобные люди, слишком крепко памятующие какую-нибудь свою личную обиду от толчка, данного русскому обществу в шестидесятых годах, или сами побывавшие в этом водовороте, но невыдержавшие, а потому страдающие, подобно большинству ренегатов, близорукостью, эти неумные и злобные люди часто хватаются за какую-нибудь частную ошибку или увлечение шестидесятых годов и празднуют по этому случаю легкую победу. Победа столь же легкая, сколько и нелестная. Если бы у этих людей было немножко побольше ума или немножко поменьше злобы, они поняли бы, что эти частные ошибки и увлечения должны быть поставлены на счет не шестидесятым годам, а предшествовавшей эпохе. Она подготовила и даже прямо создавала ту пустоту, в которой шестидесятым годам пришлось строиться заново, и если от нее сохранились материалы, которые можно было утилизировать в новом строе, то сохранились они отнюдь не благодаря, а, напротив, как раз вопреки ей. Белинский, Герцен, Грановский, вся так называемая плеяда знаменитых беллетристов сороковых годов, даже славянофилы — все это было не ко двору в свое время, все это едва терпелось в урезанном виде, а иногда и совсем не терпелось.

Мемуары современников сообщают такие, подчас комические, но, в общем, глубоко трагические подробности о положении русской критической мысли в течение целых десятков лет, что можно удивляться, как она

совсем не атрофировалась. И, во всяком случае, при этих условиях удивительно не то, что в шестидесятых годах были ошибки и увлечения. Когда их не было?! Они ведь, пожалуй, и теперь, в наше безошибочное время, найдутся. Удивительно, напротив, что и общие черты, и многие частности выработанного в шестидесятых годах миросозерцания доселе подлежат только дальнейшему развитию применительно к новым осложнениям жизни и к поступательному ходу истории. Удивительно то, что не было ни гроша и вдруг стал алтын. Это удивительное явление лишь отчасти объясняется личными достоинствами людей, выступивших к шестидесятым годам на арену общественной деятельности. Коренное же его объяснение лежит в удивительных свойствах задачи, развернувшейся перед обществом. Нынешнему, даже очень чуткому молодому человеку надо сильно напрячь свою мысль, чтобы вполне проникнуться потрясающим смыслом этих двух слов: «освобождение крестьян». Прекращение возмутительного систематического, правомерного насилия над миллионами человеческих существ; превращение миллионов живых вещей, подлежавших купле, продаже, залогу, обмену и проч., в миллионы людей; осуществление вековой мечты народной; конец вековым стонам, слезам и проклятиям — все здесь огромно даже в чисто количественном отношении: века, миллионы. И чтобы не выходить из области количеств, припомним, что всем этим векам и миллионам итог был подведен в четыре года (1857 - 1861).

Бывают эпохи, когда великие задачи, пожалуй, даже ясно сознаваемые, представляются чем-то вроде журавля в небе: когда-то еще его поймаешь! А в ожидании можно и позевать, любуясь на него, и всякими другими, не имеющими к нему никакого отношения делами заняться, так что идеал сам по себе, а жизнь тоже сама по себе. Бывают другие эпохи, которые суют людям прямо синицу в руки, и хотя синица — птица заведомо малая, но люди подкупаются ею и живут со дня на день малою и скудною жизнью, вполне, однако, довольные. Если продолжительное созерцание журавля в небе может приучить мысль к слишком отвлеченному парению и бесплодному идеальничанию, отлично уживающемуся с самыми разнообразными прохождениями

жизни ici bas *, то синица в руках грозит черствым самодовольством и узкою практичностью в пределах вершков и золотников. Бывает, однако, и так, что ни журавля в небе, ни синицы в руках, а одно только тоскливое сознание отсутствия какой бы то ни было точки приложения для сил. Так было у нас в эпоху, предшествовавшую освобождению, когда, например, И. Аксаков [1] с горечью восклицал: «Разбейтесь, силы, вы не нужны!» И вслед за тем эти ненужные, гонимые силы понадобились для осуществления грандиозной задачи, соединявшей в себе все выгоды журавля в небе со всеми выгодами синицы в руках, не имея неудобств того и другой. Кто хочет понять характер и значение шестидесятых годов, должен прежде всего остановиться на этом необыкновенно счастливом и чрезвычайно редком в истории сочетании идеального с реальным, головокружительно-возвышенного с трезво-практическим. Но прежде, чем войти в некоторые подробности этой коренной черты всей работы шестидесятых годов, черты, наложившей свою печать и на нравственные физиономии деятелей того времени, уясним себе еще некоторые обстоятельства.

II

Дойдя в своих воспоминаниях до 1852 года, Шелгунов пишет: «С этого года мои личные воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни. И какая же это память, какая благоговейная память и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях лучших своих поборников. Если у меня старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них».

Это благоговейное отношение не мешает, однако, Шелгунову понимать, что дело было не в личных достоинствах деятелей шестидесятых годов, а главным образом в условиях исторического момента, которые выдвинули на авансцену большие умы, великодушные сердца, крупные таланты. Но те же условия указали

* здесь внизу (*франц.*).

работу и менее одаренным, зажгли энтузиазм в равнодушных, придали силы слабым, просветили темных, поддержали колеблющихся. Конечно, званых было много, а избранных, как и всегда, оказалось в конце концов мало. Конечно, энтузиазм равнодушных, силы слабых, равновесие многих колеблющихся, просияние многих темных не несли в себе залогов значительной прочности. Отнюдь не все, разбуженные и пригретые историческим солнцем, могли вполне и окончательно, на всю жизнь к нему приспособиться, так как прошлое их слишком мало для этого готовило, вернее, готовило совсем к другому, а в конце концов не приготовило ни к чему.

По справедливому замечанию Шелгунова, система николаевской эпохи, несмотря на свою стройность, законченность и кажущуюся прочность, сама в себе носила задатки собственного разрушения. Требуя повиновения (и предоставляя приказывать), система, собственно говоря, только на этом единственном пункте и вторгалась в душу. Что там, в этой душе, совершалось помимо формального исполнения приказания, до этого никому никакого дела не было. И потому там совершалось очень разное и подчас совсем неожиданное, проникавшее путем бесчисленных, неуловимых случайных влияний. Система воспитывала приказывающе повинующиеся аппараты, которые ни на что другое не были годны. Но при всех своих стараниях и при всей своей последовательности она не могла закупорить все щели, сквозь которые доносилось до нас дыхание европейской жизни, не могла также совершенно заглушить естественное, почти физическое тяготение человека к свету. Одним грубая и жестокая действительность говорила сама за себя, другие прилеплялись к европейской мысли, хотя бы урезанной и профильтрованной. Там и сям с огромными трудностями, под давлением всяческих кар, угроз и подозрений пробивались все-таки ростки самостоятельной жизни и критической мысли, которые система могла косить и опять косить, но которые она была бессильна вырвать с корнями. Да она об этом и не думала. Гордая своею художественною законченностью, система не добивалась чьего бы то ни было уважения, любви, сознательной преданности, она довольствовалась страхом и формальным исполнением

приказаний. «Не рассуждай, а исполняй»,— требовала система, требовала жестоко, неумолимо, не принимая в соображение никаких обстоятельств времени, места и образа действия. И потому случалось одно из двух: или душа опустошалась совершенно, превращалась в пустые рамки, катеты углов которых состояли из приказания и повиновения и которые не заключали в себе никакой картины, никакого образа и подобия; или же «рассуждение» и вообще внутренняя жизнь складывалась без всякого влияния со стороны системы: ей нечем было влиять. От разнообразных условий личной жизни каждого зависело, останутся ли приуготовленные для всех рамки совершенно пустыми или же чем-нибудь наполнятся, чем именно,— это было опять-таки делом разных случайностей. Понятно, что рамки сплошь и рядом не выдерживали чуждого содержания и лопались. Система в таких случаях сердилась и карала, а когда рамки оставались пустыми, она была довольна: все, значит, в порядке, все на своем месте. На самом деле, однако, было не так: не все на своем месте было, а просто ничего не было. Ошибка системы — ошибка, часто повторяющаяся в истории и составляющая, по-видимому, даже необходимую принадлежность наиболее мрачных ее периодов,— состояла в уверенности, что опустошенные души являются лучшею опорою существующего порядка. Никогда этого не бывает и быть не может. Бесспорно, всегда найдется немало хорошо выдрессированных автоматов, которые даже лягут костьми «без размышлений, без борьбы, без думы роковой», когда им прикажут лечь. Таких и воспитывала система, но она также должна была породить, и действительно породила, множество таких пустопорожних людей, которые, подобно пустым сосудам, лежащим на берегу реки, готовы наполниться всем, что донесет до них волна в половодье. Шестидесятые годы были настоящим весенним половодьем, и много пустых сосудов наполнилось, чтобы вслед за тем, конечно, опять опорожниться, но в ту-то минуту, в самый момент половодья они явились ярыми сторонниками нового течения и ярыми врагами породившей их системы, точно мстя ей за опустошение своей души. На самом деле ни сознания своей опустошенности, ни сознательного усвоения новых идей тут, конечно, не было; было только

стадное увлечение и все та же привычка повиноваться, не рассуждая, хотя и формы, и характер повиновения резко изменились. Таковы обычные результаты систематического опустошения душ: при первом удобном случае жертвы опустошения с чрезвычайною легкостью проникаются враждебными системе элементами. Жестоко ошибаются те, кто ликует, при виде тиши и глади, господствующих в мрачные исторические периоды всеобщего обезличения и загона критической мысли. В этой тиши, под всеподавляющим гнетом дисциплины, копится материал, совершенно не соответствующий близоруким ожиданиям. Тихо-то оно тихо, но система, воспитывающая баранов, не должна бы, собственно, удивляться, когда в один прекрасный день все стадо шарахается в сторону. Так и было в шестидесятых годах, к великому, но совершенно неосновательному удивлению близоруких людей. Само собою разумеется, однако, что, количественно усилив своим персоналом новое течение и сослужив ему известную службу в отрицательном отношении, пустопорожние люди не были его украшением ни в смысле последовательности, ни в смысле прочности.

В «Воспоминаниях» Шелгунова есть интересная глава — «Переходные характеры». Здесь намечено несколько фигур из тех, в ком новые веяния сочетались в разных формах и количествах с наследием прошлого. Несмотря, впрочем, на интерес, представляемый этою маленькою портретною галереей (между прочим, портрет покойного издателя-редактора журналов «Русское слово» и «Дело» Благосветлова [5] написан бегло, но мастерски), я не на нее хочу обратить особое внимание читателей, а на главу XVI, в которой идет речь о Кельсиеве [6]. Человека этого, по выражению Шелгунова, «задела новая волна, столкнула со старого берега, и он с головой кинулся в неведомое для него море, выплыть из которого у него, однако, не хватило сил». Кельсиев, как известно, увлекался крайними социалистическими и революционными идеями, эмигрировал из России, хотя Герцен и Огарев удерживали его от этого рискованного шага, вел деятельную революционную агитацию, для чего с большою смелостью приезжал с фальшивым паспортом в Россию, был чем-то вроде атамана некрасовцев в Добрудже [7] и т. д.; затем разочаровался, или осла-

бел, или вообще изменил образ мыслей и явился в Россию с повинной головой. Получив прощение, он «издал брошюру, возмутившую всех резкостью перехода от одного берега к другому, цинизмом покаяния и своим неприличным тоном».

Покойный Салтыков неоднократно печатно утверждал, что на могиле ренегата непременно должен быть водружен осиновый кол. Как общее правило такое посрамление могилы ренегата решительно несправедливо. Если ренегат отступил от лжи и прилепился к истине, так за что же его осиновым колом к земле пригвождать? Хорошо было говорить Салтыкову, сразу вступившему на тот путь, который он до конца дней своих считал путем истины. Но не всем выпадает на долю такое счастье; потому что это в самом деле большое счастие. Благо всякому, знающему, что в прошлом у него нет ничего такого, от чего нужно бы было теперь со стыдом или омерзением отворачиваться, при воспоминании о чем приходилось бы краснеть. Но как всему человечеству истина дается ценою многих и многих заблуждений, из-за которых льются иной раз целые потоки слез и крови, так и каждому отдельному человеку по крайней мере простительно заблуждаться и потом, сознав свои заблуждения, отступить от них. Хуже бы было, если бы он, сознав заблуждение, все-таки остался при нем, а ведь тогда он не был бы ренегатом. Он был бы лицемер, по тем или другим соображениям не желающий открыть свои карты, для чего-то носящий маску. И если человек добросовестно искал истины и так же искренне примкнул к своему новому убеждению, как искренне держался прежнего,— кто решится прибавить осиновый кол к тем мукам стыда за свое прошлое, которые такой несчастный человек должен испытывать? А между тем, большинство читателей, наверное, повторяло за Салтыковым: да, осиновый кол! Такое всеобщее презрение к ренегатам объясняется не самым фактом отступничества, а той неприглядной обстановкой и теми низменными формами, в которых оно в большинстве случаев совершается. Самый обыкновенный случай тот, что человек не изменяет свои убеждения, а просто продает их, если не за деньги, так за положение, за спокойствие и т. п. Привлекательного в этом, конечно, мало, и не мудрено, что сами покупщики презрительно относят-

ся к такому товару. Но бывает еще и так, что ренегат, вместо того чтобы откровенно признаться в своей слабости и затем стыдливо затеряться в толпе, занимает воинствующее положение и цинически оплевывает все, чему поклонялся. Цинизм состоит тут опять-таки не в том, что человек громогласно и горячо отстаивает свои новые убеждения и столь же горячо и громогласно порицает свои прошлые заблуждения. Это — законнейшее право всякого человека, имеющего какие бы то ни было убеждения, но, во-первых, действительно имеющего, а не торгующего ими, а во-вторых, тут есть один прием, по которому можно почти безошибочно отличить ренегата в презрительном смысле этого слова даже в том случае, когда прямых и ясных доказательств его нравственной низменности налицо нет.

История русской литературы имеет в запасе образчик истинного мученика своих убеждений, которому случалось изменять их, но которому, однако, благодарное потомство воздвигнет, вероятно, в недалеком будущем монумент, а не осиновый кол. Я говорю о Белинском, о «неистовом Виссарионе», со страшною душевною болью вспоминавшем о своих прошлых заблуждениях. В фактах этого рода, известных из переписки Белинского и из воспоминаний о нем, особенно бросается в глаза следующее обстоятельство. Белинский говорит: «Я писал гнусности, мерзости, чушь» и т. п., и нигде не подметите вы у него и следов жалкой, плаксивой и предательской ноты: меня или нас соблазнили, увлекли такие-то и такие-то преступные люди. Эта черта дорого стоит. Вы видите перед собой мужественного человека, который принимает на себя полную ответственность за то, что он говорил, писал или делал, а не сваливает ее на других. Цинизм настоящих, заслуживающих презрения ренегатов состоит именно в том, что они стараются по возможности обелить себя лично, представляясь жертвами и умалчивая о том, сколько жертв они сами создали, скольких людей они сами склонили к тому, что они ныне объявляют заблуждением.

Этого не стыдятся люди вроде Кельсиева, игравшие видную в своем роде роль и которым поэтому минорный плаксивый тон особенно не пристал. Бывают, впрочем, экземпляры гораздо еще непригляднее, чем Кельсиев, но масса отступает не так крикливо. «Двойственный

тип, к которому принадлежал Кельсиев,— говорил Шелгунов,— не составляет редкости, и именно у нас, в России, но шестидесятые годы выставили его в количестве более обыкновенного». И далее: «Двойственный тип, теряя постепенно свою бравурную и циническую окраску, принимал все менее и менее яркий цвет и, увеличиваясь численно, становился наконец частью общественного мнения. Такую часть общественного мнения сформировали все те, которые приняли сначала участие в движении идей шестидесятых годов, затем стали думать иначе и к своей лучшей и самой яркой поре жизни начали относиться с высокомерием, называя шестидесятые годы эпохой незрелого увлечения. Едва ли, однако, эти люди имели и имеют право обобщать в себе все то время».

Еще бы! Кельсиев облыжно называл себя «жертвой новой русской истории», тогда как на самом деле он был жертвой именно старой русской истории, образовавшей в его душе пустоту, которая могла наполниться каким угодно содержанием и потом опорожниться для нового наполнения. Таких людей было немало, но, к счастью, свет не клином на них сошелся. Благодаря тем естественным прорехам в системе, о которых было говорено выше и через которые проникали разные случайные влияния, с трудом и с огромными жертвами, но складывались все-таки известные умственные и нравственные традиции, складывались неистребимо прочно, может быть, частью именно потому, что покупались очень дорогой ценой. А тут засияло историческое солнце. Не будем говорить о тех счастливцах, которые были к шестидесятым годам уже готовыми людьми, с запасом теоретических знаний или житейской опытности, с вполне сложившимися убеждениями и определенною нравственною физиономией. Возьмем одного из тысяч, развивавшихся при самых неблагоприятных условиях. Возьмем Н. В. Шелгунова. «Таких, как я,— говорит он,— были десятки тысяч людей, и принадлежали мы не к той формации, которая выросла из известного московского кружка [8]. О существовании этого кружка и его идеях мы даже не подозревали».

В противоположность большинству людей, пишущих свои воспоминания, Шелгунов очень скуп на чисто автобиографические подробности, даже чересчур скуп. Бро-

сив мимоходом ту или другую этого рода черту, он торопится утопить ее в каких-нибудь сближениях или в какой-нибудь общей мысли и даже не доводить до конца; так что материалов для характеристики его личности мы, собственно говоря, не имеем или почти не имеем, а пользоваться для этого своими собственными наблюдениями и почерпнутыми из личного с ним знакомства соображениями я почитаю нескромным. Есть, однако, в воспоминаниях одна именно мимоходом, вскользь брошенная подробность, которая, мне кажется, многое освещает. Говоря о своем воспитании в Лесном институте, Шелгунов, между прочим, вспоминает: «Запершись в классе, мы передразнивали наше начальство, пели пародии на тропари, солдатские непристойные песни в барковском стиле (из какой казармы они к нам попали — не знаю), декламировали трагедии Баркова[9]. Подобные молебны, в которых я хоть и не принимал прямого участия, но при которых всегда присутствовал и даже подтягивал в хоре, нисколько не помешали мне потом плакать над библией и мечтать сделаться проповедником».

Эти маленькие подробности хорошо характеризуют как личность самого Шелгунова, так и многосложную сеть случайных влияний, хороших или дурных, которые с разных сторон пробивались под ровною, всепокрывающею пеленою дисциплины. Дисциплина не заботилась о водворении в сердцах дисциплинируемых каких-нибудь чувств, кроме чувства страха, или довольствовалась в этом отношении холодными, чисто формальными изложениями прописной морали, которые, конечно, столь же холодно и формально воспринимались. Тем горячее усваивались влияния сторонние, «неказенные», имевшие известную прелесть уже именно одною своею неказенностью. Одним в этом отношении счастливилось, то есть сторонние влияния подбирались добрые, другим — не счастливилось. Обстановка юного Шелгунова была не из счастливых: на глазах у начальства все обстояло благополучно, а за глазами начальство осмеивалось; из каких-то казарм неведомыми для дисциплины путями заносились в виде контрабанды разные гадости и кощунства, и, без сомнения, много молодых душ навсегда погибло в этом двусмысленном и грязном омуте, а слепая дисциплина была довольна: ее требования ис-

полнялись. Но иных спасали опять-таки какие-нибудь случайности, счастливые, но столь же непредвиденные системой, неведомые ей или даже прямо ею преследуемые. Шелгунов был спасен благородством и чистотою своей натуры. И он мальчиком купался в грязных пошлостях, но грязь не пристала к нему. Он неприкосновенно сохранил способность плакать чистыми слезами умиления и мечтать о роли проповедника истины. И мечта исполнилась, потому что, что же такое вся жизнь Шелгунова, как не жизнь проповедника? Мечта исполнилась благодаря шестидесятым годам, которые призвали к деятельности в числе других и Шелгунова и навсегда определили его жизненный путь.

Мы видели ретивость, с которою Шелгунов, раз сознав пробелы своего школьного образования, принялся их пополнять. С такою же ретивостью отдался он потом и делу распространения знаний. Очень в этом отношении характерен приведенный выше повод происхождения статьи «Россия до Петра Великого». Шелгунов написал ее потому, что принял близко к сердцу поразительное незнание русской истории, обнаруженное достаточно великовозрастным капитан-лейтенантом и членом суда по политическому делу. Одна из его статей («Историческая сила критической личности») оканчивается таким диалогом: «Тут нет ничего нового, я это знал и прежде,— скажет читатель.— И прекрасно, если ты знал это». Дескать, ты знал, так другой не знал, а может быть, тебе только кажется, что ты знал, а если и в самом деле знал, так ничего, повтори, лучше знать будешь. Любопытно, что одна из статей Шелгунова, посвященная обзору бедствий, причиняемых человечеству рабством, войнами и экономической неправдой, озаглавлена: «Убыточность незнания». И хотя в самом конце статьи пробивается некоторый скептицизм по отношению к всеисцеляющей и всеутешающей роли знания, то ключ к статье все-таки очень верно указан заглавием: «Убыточность незнания», к каковой убыточности сводится большинство бед и зол. Просветить, научить темных — такова прежде всего задача. Это надо иметь в виду при чтении многих статей Шелгунова, писанных в шестидесятых годах и могущих показаться иному нынешнему читателю несколько многословными и элементарными. Что же касается веры в силу знания, веры, которая опять-

таки может показаться нынешнему читателю несколько преувеличенною, то она вполне объясняется обстоятельствами времени. В ту пору задача, стоявшая перед обществом, представлялась столь непререкаемо ясною, что людям вроде Шелгунова казалось, что только недостаток знаний и может препятствовать усвоению и разрешению ее: так ярко горело солнце на историческом небе, что всякое своекорыстие и всякие противообщественные личные интересы должны растаять сами собой, как только масса узнает то, чего она не знала, а она не знала, можно сказать, ничего. Отсюда это множество популярных статей по самым разнообразным отраслям знания, наполненных иногда одними чисто фактическими сведениями. И, без сомнения, в свое время статьи эти открывали множеству читателей совершенно новые горизонты и сослужили большую и хорошую службу, претворившись в общее сознание и, так сказать, распустившись там. Если они теперь кажутся элементарными, то эта участь не только компилятивных статей, предпринятых с целью популяризации тех или других знаний, а до известной степени и руководящих работ, отмеченных печатью исключительных дарований. Говоря о знаменитой диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности», Шелгунов справедливо замечает. «Теперешние читатели могут заметить, что в мыслях, высказанных в диссертации, о которой идет речь, нет ничего нового; они могут сказать: «Мы все это знаем» (мне случалось встречать таких). Да, верно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже и не узнавали ниоткуда, вы просто выросли на литературе и критике, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этим путем, впервые указанным ей тридцать лет назад». Случайно подвернувшимся сопоставлением компилятивных и популяризирующих статей Шелгунова с руководящей диссертацией Чернышевского я отнюдь не хочу сказать, что Шелгунов только компилятор; хотя несомненно, что исключительно блестящие таланты, рядом с которыми приходилось работать Шелгунову в старые годы, заслоняли его. И едва ли найдется много людей, которые принимали бы выпавшую им на долю вторую роль с таким спокойным достоинством, с таким искренним и открытым уважением к первым номерам, как Шелгунов.

III

Если бы настоящее издание было полным собранием сочинений Шелгунова, так и то оно не представляло бы собою всей суммы работы, которую сделал этот человек. В качестве члена редакций распространенных и имевших большой успех журналов он должен был принять на себя массу черного труда, и этого труда не выразить никакими цифрами, равно как не оценить того, что он сделал, пропустив в обращение и не допустив до обращения тот или другой проходивший через его руки литературный материал разных достоинств. Эта сторона его литературной деятельности так навсегда и останется неясною для публики. Но настоящее издание не есть полное собрание сочинений. Шелгунов в течение многих лет вел так называемое «внутреннее обозрение» [10] в журналах (оно называлось у него, помнится, «домашнею летописью»), и все эти обозрения не вошли в настоящее издание. Не вошло и много других, отдельных статей самого разнообразного содержания. Наконец, многие из статей, вошедших в издание, сильно сокращены автором. Я не знаю, чем он руководствовался при выборе и сокращении статей, но некоторые из пробелов должен помянуть для обрисовки литературной физиономии автора.

В издание не вошла, например, статья 1863 года «Земля и органическая жизнь». Это пересказ «Естественной истории мироздания» и «Физиологических писем» Фогта и «Физиологических картин» Бюхнера. Это, понятно,— популяризирующий пересказ популярных книг, имеющихся в русском переводе, конечно, и не стоило перепечатывать в собрании сочинений. Но, может быть, у автора были еще другие, специальные резоны для исключения этой статьи. Так можно думать, судя по характеру некоторых сокращений в других статьях. Например, в статье «Убыточность незнания» уничтожено начало и почти все «заключение», от которого осталось лишь несколько строк, присоединенных к предыдущей главе. И там, и тут, то есть и в начале, и в конце статьи, уничтожены рассуждения о значении естественных наук. Повторяю, мне не известны мотивы этих изменений, но, систематически проведенные через ее издание, они затушевывают одну характерную черту, свой-

ственную не Шелгунову только, а всем шестидесятым годам. Черта эта — увлечение естествознанием.

В статье «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» введение сильно сокращено, причем выпущено кое-что опять-таки чрезвычайно характерное и для Шелгунова лично, и для шестидесятых годов вообще. Не мешает при этом заметить, что статья «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», напечатанная в 1861 году в «Современнике»[11], есть в своем роде первая по времени. Потом у нас было много статей и целых книг о положении рабочего класса в Европе, но почин этой литературе положен был Шелгуновым. Позволю себе привести здесь несколько строк из исключенного автором:

«Такие господа тяготеют всеми силами к далеко от них лежащей Европе; только в ее выработанной жизни, в ее внешней привлекательности видят они задачу своих стремлений, далекий идеал для России... Людей этого сорта, по самой натуре способных составлять большинство, разводится у нас все больше и больше; они считают себя избранными просвещать Россию, и они учат нас тому, что больше всего вредно нам и менее всего нам нужно... Рядом с силой и здоровьем Европа нарастила на себе много желваков, много дикого мяса, потратила много сил, чтобы создать то, что не только совсем не нужно для ее здоровья, а напротив, вытягивает ее свежие и здоровые соки... Европа проснулась, она поняла свою болезнь; проснулась и Россия; но неужели же она проснулась для того, чтобы сознательно идти тем путем, которым Европа шла бессознательно?.. И откуда это добродушное стремление спасти своего ближнего, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное последствие на соседа?»

Дело тут идет о европейских буржуазно-экономических теориях и соответственной экономической политике, и хотя мысль, заключающаяся в приведенных строках, проглядывает и в некоторых других статьях Шелгунова, но ни в одной из них я не нашел ее в столь ясной, определенной форме. Не считаю поэтому неделикатным восстановить вычеркнутое автором; тем более что на этот раз можно, кажется, догадываться о мотивах исключения. Мы живем в такое странное и трудное время, когда разные недоросли и переросли (если можно употребить такое слово) с печальною и, прямо скажу, глупою неосмотрительностью рвут все литературные традиции и когда многое, еще недавно вполне ясное, истачивается червями всяческих недоразумений. Быть может,— отнюдь, однако, не выдаю этого за достоверное — Шелгунов поопасился тех недоразумений, которые по

нынешнему времени могут породить приведенные соображения об отношениях России к Европе. Когда-то мы были до такой степени уверены в многообразных преимуществах нашего отечества перед Западной Европой, что понадобилась крымская трагедия с ее севастопольским финалом для нашего ускромнения. Но зато — как это обыкновенно в таких случаях бывает — мы тотчас же бросились в другую крайность и готовы были пренебречь всем ценным, что у нас было в действительности, и пересадить к себе Европу целиком, со всеми ее исторически сложившимися болячками. Против этого-то и протестует Шелгунов. Но порывистый или, вернее — гораздо вернее,— обрывистый ход нашей истории привел нас ныне опять к тому же положению влюбленного в себя Нарцисса; мы опять так много и громко заговорили о чрезвычайных преимуществах России перед Западной Европой, что опасения Шелгунова (если таковые были) положить лишнюю гирю на чашку весов самовосхваления — понятны. Вполне уважая этот мотив, я думаю, однако, что тот оттенок литературы шестидесятых годов, к которому принадлежал Шелгунов, слишком дорог для истории и слишком ценен сам по себе, чтобы его можно было затушевывать ради соображений о возможных теперешних недоразумениях. На всякое чихание не наздравствуешься и всех кривотолков не избежишь. Но этого мало. Я уверен, что внимательное, детальное изучение, sine ira et studio *, литературы шестидесятых годов могло бы значительно помочь нам в разборке облегающих нас ныне недоразумений и многие из них просто устранить совсем, а иные по крайней мере разъяснить. Никакие увлечения, никакие частные ошибки, никакие другие пятна не могут компрометировать общую физиономию тогдашней литературы и ее коренные черты. Я разумею, конечно, не всю литературу шестидесятых годов огулом — и тогда всяко бывало,— а лишь тот ее оттенок, ту струю ее, в которой полностью отразилось вышеуказанное счастливое сочетание идеального с реальным; каковое сочетание представляет собою исключительно благоприятное условие для усвоения или самостоятельной выработки правды. Не к преклонению перед этой литературой приглашаю я читателя — мимо-

* без гнева и пристрастия (*латин.*).

ходом сказать, это противоречило бы лучшим ее заветам,— а к внимательному, добросовестному ее изучению. И тем хуже для тех, кто на основании поверхностного с ней знакомства, иной раз даже просто понаслышке, высокомерно третирует ее как пройденную ступень. Да, исторически — это пройденная ступень; но благодаря капризному ходу истории нашего умственного развития многие из ныне действующих в литературе и на других поприщах до сих пор еще не побывали на этой ступени и сплошь и рядом бывают фатально осуждены или на открытие давно открытых Америк, или на изложение идей, давно и основательно сданных в архив.

Работа шестидесятых годов состояла прежде всего в критическом пересмотре всего наследия дореформенной эпохи. В положительном смысле наследство сводилось к тому, что предыдущим поколениям удалось ценою огромных усилий и жертв выработать вопреки господствовавшему строю жизни. Но в пустоте, раскрывшейся в последнем акте крымской трагедии, имели обращение разные иллюзии и фикции, на которые существовал своего рода принудительный курс. Надо было дознать и указать их действительную ценность. В этом отношении благоприятность условий исторического момента сама собой бросается в глаза, так как сама жизнь выступала, если позволительно так выразиться, в роли практического критика тех фикций и иллюзий. На берегах Альмы, Черной речки, под стенами Севастополя жизнь беспощадно разрушала иллюзию нашего непреоборимого могущества, иллюзию закидания прогнившей Европы русскими шапками. Литературе надлежало только идти вместе с жизнью. Так было и со многими другими иллюзиями, но мы пока остановимся на этой. Крымская война была страшным, но отрезвляющим уроком, показавшим, что мы далеко не обладаем теми материальными и нравственными средствами, какие имеются у Западной Европы, и что прежде, чем пускаться во внешние политические авантюры, нам нужно, хотя бы даже только ввиду этих самых авантюр, много поработать над своим внутренним благоустройством. По закону реакции мы ударились в другую сторону, чему уже и в николаевскую эпоху были задатки в лице так называемого западничества. Теперь, после Крымской войны, западническая

идея вышла, так сказать, на улицу, овладев и совершенно заурядными людьми и недюжинными умами, как показывает тогдашнее англоманство Каткова. Направление это выразилось отрицательно — самообличением в разнообразнейших формах беллетристики, публицистики, критики, поэзии, исторических исследований, и положительно преклонением перед европейской наукой и европейскими порядками. Небольшая кучка славянофилов тщетно старалась плыть против этого стремительного течения. Однако тот оттенок литературы, к которому принадлежал Шелгунов и которому и поныне главным образом усвоивается название литературы шестидесятых годов, этот оттенок никогда не впадал в крайности западничества и славянофильства[12]. В принципе он устранил обе эти крайности, а если и по сей час можно услышать разговор о них как о живых темах, то в этом виноват все тот же обрывистый ход нашего умственного развития, мешающий прочному установлению каких бы то ни было традиций. Можно довольно часто встретить в нынешней нашей печати утверждение, что литература шестидесятых годов была западническою. Это — заблуждение, зависящее не от непонимания, потому что дело слишком ясно, а от незнания: люди просто не знают того, о чем они говорят.

В статьях Шелгунова, сгруппированных в настоящем издании под рубрикой «исторических», читатель найдет прежде всего попытку разобраться в различных элементах европейской цивилизации, разложить смутное обобщение «запада» на его составные части и оценить их с некоторой высшей точки зрения, с которой одинаково хорошо видны и добро, и зло. Уже один этот анализ, одно это покушение на цельность «запада» показывает, что «западничества» тут нет и быть не может. Раз европейская цивилизация разложима и разложена на составные элементы, из которых одни признаны, а другие отвергнуты, «западничеству», очевидно, нет места, оно теряет всякий смысл и становится пустым словом без содержания. Изобличая многочисленные отечественные язвы, пуская для этого в ход горячее слово и ядовитую насмешку, критику и историю, поэзию и статистику, литература шестидесятых годов отнюдь не отвергла все русское только потому, что оно русское, и не преклонялась перед всем европейским только потому, что

оно европейское. С той идеально-реальной высоты, на которой она стояла, она могла свободно относиться ко всем явлениям как русской, так и европейской жизни и, подобно Мольеру, сказать о себе: je prends mon bien partout où je le trouve *. Для наглядной характеристики этой драгоценной черты я и счел позволительным восстановить вышеприведенные строки из введения к статье «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», хотя, повторяю, в менее резкой и определенной форме та же самая мысль имеется и в других статьях Шелгунова. Эта готовность признать правду и отринуть неправду, откуда бы она ни шла, есть, однако, не эклектизм, лишенный всякого оригинального центра, а именно свободное отношение к явлениям жизни.

Свобода не значит распущенность, свободное отношение к явлениям жизни не значит распущенное отношение, слагающееся и изменяющееся под давлением смены мимолетных впечатлений. Это не свобода, ежели я ежеминутно могу оказаться во власти какой-нибудь непредвиденной комбинации обстоятельств. Флюгера на вид очень свободны, вертятся и вправо, и влево, но ведь они повинуются малейшему дуновению ветра, а когда «безоблачно небо, нет ветра с утра,— в большом затруднении торчат флюгера: уж как ни гадают, никак не добьются, в которую сторону им повернуться». Свободное отношение к явлениям жизни возможно, напротив, лишь тогда, когда в человеке сложились убеждения, достаточно прочные, чтобы противостоять временным и случайным дуновениям, чтобы всякий факт, ничтожный, заурядный или крупный, радостный, возмутительный или безразличный, нашел свое место в системе убеждений. Но что же это значит: факт нашел свое место в системе убеждений? Это значит, во-первых, что факт признан как факт и затем признан или отвергнут как принцип. По-видимому, это дело очень простое, но бывают обстоятельства, при которых оно обращается в очень непростое. Так, например, мы бываем склонны отрицать неприятный для нас факт, то есть или отрицать самое его существование, или под-

* хорошей мыслью не грешно воспользоваться (франц. поговорка: буквально: я беру свое добро повсюду, где его нахожу).

крашивать его приятным цветом, и иногда нужно большое мужество, чтобы признать факт во всем его нравственном безобразии, во всей его обидности и неприятности. Это бывает даже с фактами, вполне безразличными в нравственном отношении: Галилей вынужден был отрицать несомненный для него факт вращения Земли, потому что официальным представителям мысли того времени было неприятно, обидно такое покушение на геоцентрическое понимание мира. Однако в огромном большинстве случаев трудность признания относится к области фактов нравственного порядка. И здесь мало признать факт, надо еще оценить его принципиальное значение, надо решить, грубо выражаясь, хорош или дурен факт и почему именно хорош или дурен. Это тоже не всегда легко. Факт очень часто до такой степени придавливает человеческую мысль и чувство, что они не смеют дать ему принципиальную оценку и самого его, как он есть, во всей его грубости, возводят в принцип. Ниже мы еще встретимся с таким положением вещей, а теперь вернемся к литературе шестидесятых годов, которая не знала этого тяжкого ига факта.

В статье «Европейский запад», сравнивая XVIII и XIX века, Шелгунов, между прочим, пишет: «Служение расширенному общественному интересу, а не частичному, как было в XVIII столетии, было неизбежным следствием всепроникающего движения науки и исследования, во главе которых встало естествознание, обратившееся к изучению законов органической жизни, начиная биологией и кончая социологией. Буржуазная интеллигенция XVIII столетия не имела этого характера, и только интеллигенция XIX века, воспитавшаяся на обобщениях, поставила целью своих стремлений счастье всех обездоленных и общее равенство на пиру природы, на котором все приглашенные и нет никого избранных».

Я отнюдь не могу согласиться с этой сравнительной характеристикой XVIII и XIX веков, хотя в ней и есть доля правды. Я привожу ее лишь как отзвук того увлечения естествознанием, которое было так сильно в шестидесятых годах и многие следы которого Шелгунов счел нужным изгнать или ослабить в настоящем издании. Вышеупомянутая, не вошедшая в это издание статья «Земля и органическая жизнь» начинается так:

«Земля, как это знает читатель, составляет одну из планет нашей солнечной системы. Нептун, самая отдаленная из них, лежит от Солнца в расстояние 5 208 000 000 верст. Человеческое воображение, разумеется, не может представить себе эту величину, но вычисления астрономов указывают на расстояния еще значительно большие. Например, поперечник Солнечной системы составляет 10 416 000 000 верст; Сириус лежит от Земли в 1 275 715 000 000 верстах, а отдаленнейшая из всех виденных астрономами звездных систем лежит в 35 000 раз дальше Сириуса или в 44 650 025 000 000 000 000 верстах. Если через все это расстояние вообразить железную дорогу, то поезд, равняющийся по быстроте нашему московскому почтовому, свершил бы путь в 6 800 000 000 000 лет. Все эти цифры приводим мы, разумеется, не для того, чтобы поставить читателя в затруднительное положение произвести их. Мы только хотим показать громадность определенных человеком пределов мироздания и сравнительную незначительность Земли, имеющую в поперечнике всего только 11 900 верст. Но самая большая из этих цифр вовсе еще не предел мира; самое смелое человеческое воображение подавляется громадностью пространства, представляемого звездным небом»

Я сделал эту довольно длинную выписку, чтобы напомнить читателю одну из сторон литературы шестидесятых годов. Автор не скрывает цели, с которою он хочет поразить своих читателей неудобовыговариваемыми, по их огромности, числами,— он хочет оттенить незначительность Земли. Автор не специалист по астрономии, который может излагать результаты своей науки в популярной форме единственно для распространения знаний, без всякой задней мысли. Автор — публицист, задающийся, правда, тою же целью распространения знаний в среде общества, отрезанного дотоле от всех путей просвещения и которому поэтому полезно преподавать даже иные элементарные истины ради самых этих истин. Но ему этого мало. Он хочет, чтобы сообщаемые им знания укладывались в голове читателя в известную общую систему, в известное мироразумение, обнимающее не только различные области теории, но и вопросы житейской практики. Он подходит к этой задаче сегодня в популярной статье по естествознанию, через месяц во «внутреннем обозрении», еще через месяц в критической статье и т. д. Он знает, что у него есть сотрудники, которые ту же задачу преследуют средствами беллетристики, философии, истории и проч. В этой неустанной и многообразной работе играет важную роль ликвидация разных иллюзий и фикций, в том числе иллюзии какого-то особенного, привилегированного

положения нашей планеты в мироздании. В наше время, когда путем популярно-научной литературы пущено в обращение много астрономических данных, воображение читателя, может быть, и не поразится теми десятиэтажными цифрами, в которых тонут размеры земного шара. Не то чтобы эти цифры были всем заурядным читателям в точности знакомы, но многие уже просто выросли на вытекающих из тех цифр выводах, так что они все-таки не покажутся слишком большою и значительною новостью. Иное дело тридцать лет тому назад. Тогда нужно было известное бесстрашие мысли, чтобы признать факт невыразимой огромности Вселенной, в которой такое обидно ничтожное место занимает наша планета. Это-то бесстрашие перед фактом и воспитывала в людях литература шестидесятых годов. Если так ничтожна Земля, то что же такое мы, жалкие обитатели земли, со всеми нашими думами и вопросами, радостями и горестями?! Нет меры нашей малости и нет имени той глупой гордости, с которою мы, последние из последних, воображаем себя центром Вселенной, кому в угоду или во вред зажглось Солнце, рассыпались звезды по небу, гремят громы и сверкают молнии. И чего стоят наши мысли, чувства, дела, великодушные или подлые? Если сказать, что всем им одинаково цена грош, так это разве только в том смысле справедливо будет, что у нас нет монеты меньше 44 650 025 000 000 000 000 верст и — три аршина земли, которые каждый из нас займет в конце концов под свою могилу! Это страшно. Это до такой степени страшно, что если теперешний средний русский человек, пустой и холодный, вдумчиво заглянет в эту неизмеримую пропасть, то у него, конечно, закружится голова. В шестидесятых годах от этого головы не кружились. Светлый исторический момент с точки зрения вечности и бесконечности, разумеется, столь же ничтожный, как и все прочее, так обильно напоял наши души, что мы смело могли противопоставить свой внутренний мир миру физической безмерности. Мы не могли признать себя ничтожными по одушевлявшим нас идеалам и потому охотно, даже с задором, подчас излишним, отмечали низменность нашего положения в природе. Отсюда, между прочим, увлечение естественными науками. Говорю «между прочим», потому что у этого увлечения были, конечно, и другие источники.

Всякий слыхал, что литература шестидесятых годов обнаруживала большую склонность к материализму, реализму и проч., что она стремилась развенчать «царя природы», человека, и показать его животную сторону, что эгоизм она признавала первоисточником человеческих действий и т. д. Все это говорится обыкновенно с упреком или негодованием. Упрекающие и негодующие поступили бы, может быть, лучше, если бы прежде подумали, а потом уже упрекали и негодовали.

В числе иллюзий и фикций, обращавшихся в предшествующую эпоху по принудительному курсу, большое место занимало вообще представление о некотором аристократическом положении человека в природе. Предполагалось, а в нужных случаях громогласно утверждалось, что человек есть существо по преимуществу духовное, которому довлеет возноситься мыслью и чувством к высшим надзвездным сферам, а бренную телесную свою оболочку презирать. Это была условная фикция. У всех она была на языке, но никто в нее не верил настоящим образом, так что она нисколько не мешала теоретически превозвышенному человеку на практике с полным удовольствием валяться в нравственной грязи. Тем не менее согласно общему духу системы сомнение в возвышенном природном положении человека и в презрительности требований бренной телесной оболочки считалось если не преступлением, то, во всяком случае, признаком неблагонамеренности. А если бы кто вздумал указывать факты явного несоответствия между теоретическим пониманием природы человека и житейскою практикой, так это тоже было бы неблагонамеренно. Факты были у всех налицо, и никто в них, собственно, не сомневался, но открыто признать их, то есть выговорить всеми буквами и сделать соответственные выводы,— считалось опасным. Такая страшливость была особенно противна духу литературы шестидесятых годов, а потому, ликвидируя дела старой системы, она непременно должна была уделить значительную часть своих сил на развенчание фиктивной возвышенности природы человека. Человек есть животный организм — так можно резюмировать многие литературные произведения того времени. Бесспорно, что, отстаивая этот тезис на разные лады, в положительной или отрицательной форме, во всем его объеме или по частям, литература хватала иногда

через край. При иных условиях она, вероятно, воздержалась бы от некоторых приемов и обобщений, имевших целью свести психические процессы к физиологическим, или вообще обществование к естествознанию, или нравственное начало к эгоизму. Но в основе всех этих увлечений (я первый готов признать их прискорбность) лежит несомненная, хотя и не полная, односторонняя правда. Это, во-первых. А во-вторых, в них все-таки остается поучительною смелость признания факта, раз он факт, как бы он ни был обиден или страшен. Притом же в самом духе, оживлявшем шестидесятые годы, было нечто, вносившее сюда известную поправку, которая своеобразно преломляла даже ошибочные или односторонние теоретические обобщения при переходе их в область практических вопросов.

IV

Казалось бы, люди, так охотно признававшие низменность человеческой природы, стремившиеся к удовлетворению требований бренной телесной оболочки, сами себя называвшие «реалистами» и т. д.,— казалось бы, эти люди должны были добиваться в жизни прежде всего земных благ. Если земля и все земные дела так ничтожны, если человек — животное, если эгоизм по самой природе вещей управляет всеми нашими действиями, так чего же церемониться? — пей, ешь и веселись, не думая ни о соседе, ни о завтрашнем дне. Этот, казалось бы, вполне логический вывод часто и навязывается шестидесятым годам. Однако Шелгунов со справедливою гордостью говорит: «Реалисты шестидесятых годов ⟨...⟩ были идеалисты земли, и уж, конечно, в России еще не бывало бо́льших идеалистов, совсем забывших о себе, о своей личной пользе и личном интересе, как так называемые «реалисты» шестидесятых годов. Припомните судьбу каждого из них. Эти люди точно стыдились материальных благ и кончали свою жизнь не на шелке и бархате».

Фактически на это замечание нет возражений. Действительно, в то время, как многие проповедники самых, по-видимому, возвышенных понятий о делах сего и того мира отлично устраивали под собственный велеречивый шум свои собственные делишки, «реалисты» шли навстречу всяким житейским невзгодам и принимали

их без жалоб и стонов. Так было, и никакой самый злейший язык не в силах слизать этот факт со страниц истории. Но можно, по-видимому, уличать деятелей шестидесятых годов в противоречии, в несоответствии между словом и делом. Никто не откажет им в самоотвержении, слишком ясно засвидетельствованном их жизнью, хотя бы оно, по иному мнению, было дурно направлено, но может показаться, что самоотвержение это не вязалось с их теоретическими посылками. Шелгунов утверждает, однако, что они «тесно слили слово с делом». И он прав.

Все факты могут быть разделены с точки зрения отношения к ним человека на три группы весьма различных размеров. Во-первых, факты естественные, совершившиеся, совершающиеся и имеющие совершиться помимо человеческого сознания и воли. Не участвуя в возникновении этих фактов ни головой, ни руками, мы вынуждены принимать их как они есть, без всякого суда над ними и можем только пользоваться ими для своих целей, в общем, сами им подчиняясь. Другую, несравненно меньшую группу составляют факты, так сказать, проходящие через человеческие руки. По существу, они, разумеется, ничем не отличаются от фактов естественных и управляются общими для всего сущего законами, но ошибочно или нет, а человек по самой природе своей чувствует ввиду их свою ответственность, потребность нравственного суда, возможность влиять на факты в ту или другую сторону. Промежуточную ступень между этими двумя группами составляют факты исторические, наше отношение к которым смешанное, так как они до известной степени совмещают в себе признаки обеих предыдущих групп. С одной стороны, они столь же законченны и нашему воздействию недоступны, как и факты естественные, а с другой стороны, они в свое время прошли через человеческие руки, и мы не можем отделаться от мысли, что те, давно успокоившиеся, но подобные нам люди могли действовать и так, и иначе, склонить ход событий в ту или другую сторону. Отсюда потребность нравственного суда и над историческими лицами и событиями, хотя мы отлично сознаем, что для воздействия на них у нас столь же коротки руки, как и для изменения какого-нибудь астрономического процесса.

Таково нормальное, законное отношение человека к фактам, вытекающее из общих свойств человеческой природы. Но, как и другие нормальные процессы, оно отнюдь не составляет заурядного явления и подвергается в течении истории разным патологическим отклонениям в зависимости от благоприятных и неблагоприятных условий. Специалисты, да и то не по всем отраслям, могут с успехом работать в ненастье и ведро, но жестоко ошибаются те, кто думает, что общая правда может открываться людям при всех возможных обстоятельствах. Я не говорю об отдельных мыслителях, которые, «как беззаконные кометы среди расчисленных светил», являются непредвиденно (хотя, конечно, и пути комет предвидимы) и могут даже в самые трудные времена становиться на надлежащую точку для выработки правды. Закон не писан не только для дураков, как утверждает пословица, а и для гениев. Но для единовременного появления нескольких центров правильного отношения к фактам и для быстрого, хотя бы и поверхностного распространения его в массе нужны особенные условия. Такие условия были налицо, например, в Европе в конце XVIII века, были и у нас в шестидесятых годах. (Мимоходом сказать, между этими двумя историческими моментами вообще много сходства, оставляя, разумеется, в стороне их размеры и общее историческое значение.) Условия эти указаны выше: присутствие в обществе идеала, достаточно высокого, чтобы насторожить умы и воодушевить сердца, и в то же время по общему сознанию достаточно близкого к практическому осуществлению, чтобы подъем духа не иссяк в отвлеченном парении. При этих условиях выступают на сцену в сравнительном изобилии и оказывают свое влияние на все общество те «реалисты» и вместе с тем «идеалисты земли», о которых говорит Шелгунов.

«Идеалисты земли» (выражение, может быть, не совсем складное, но прекрасно характеризующее самую суть явления, о котором идет речь) открыто признавали все факты, раз доказано их существование. «Нас возвышающий обман»[13] был для них диким и смешным понятием. Смешны и дики, даже преступны были, с их точки зрения, те quasi* патриотические соображения,

* якобы, мнимо (*латин.*).

в силу которых почиталось нужным скрывать многоразличные отечественные изъяны. Если всяческая наша скудость есть факт, он должен быть признан, как бы ни было горько нашему сердцу. Если то или другое quasi — историческое лицо или событие, к которому мы с детства привыкли относиться как к чему-то великому, оказывается при ближайшем фактическом исследовании легендарным, оно должно быть вычеркнуто, как ни больно расставаться с красивой легендой. Если под маской возвышенных идеалов скрываются грубо животные побуждения, факт маскарада должен быть вскрыт, невзирая на последствия. Если дознано, что человек не есть то по преимуществу духовное существо, каким его рисуют люди невежественные или лицемерные, это должно быть громко и отчетливо высказано. И т. д., и т. д. Нет аргументов, которые оправдывали бы в глазах этой литературы укрывательство факта или извращение его. Это настоящее торжество факта, торжество «реализма». И торжество законное. Мне очень хорошо известно, что литература шестидесятых годов впадала на этом пути в ошибки и увлечения, неправильно располагая перспективу фактов, но это ничего не говорит против основной точки зрения.

В огромной области фактов естественных, то есть возникающих независимо от человеческой деятельности, торжество факта продолжается еще и в ином смысле: не только признается его существование, но признается его верховность, неприкосновенность и неподсудность человеку. Если земля во столько-то и столько-то раз меньше таких-то других планет, если жизнь кончается смертью, если природа человека ограничена такими-то условиями и т. п., мы должны со всем этим примириться, не затрачивая понапрасну чувств скорби, обиды или возмущения, равно как и противоположных чувств радости или благодарности. Здесь факт и принцип, или идея, сливаются. Уже не то в области фактов исторических и окончательно не то относительно фактов текущей жизни, в возникновении и развитии которых мы принимаем участие, если не делом, так словом и помышлением. В этой сравнительно небольшой, но имеющей для нас первенствующее значение области факт должен быть признан как факт, но вместе с тем он признается подлежащим нашему воздействию, а следовательно,

и оценке с точки зрения известного идеала. Неуместный по отношению к группе естественных фактов субъективный элемент получает здесь широкое применение, не устраняя, разумеется, объективного констатирования факта средствами науки и воспроизведения средствами искусства. И в этом смысле идея торжествует над фактом. Вследствие разных запутанных обстоятельств в нашей теперешней печати, говоря о литературе шестидесятых годов, разумеют главным образом литературную критику того времени. При этом часто можно услышать, будто эта критика требовала от художников извращения фактов в угоду тем или другим теориям. Это — непонимание или незнание. Критика шестидесятых годов в согласии со всеми другими отраслями и формами тогдашней литературы требовала прежде всего правдивого воспроизведения фактов. В этом требовании отражалась коренная черта всей тогдашней литературы, ее «реализм». Но затем, опять же в общем всей литературе тоне, критика подчиняла факт идее, во-первых, сортируя художественный материал по степени его важности с известной точки зрения, а во-вторых, давая ему известную нравственно-политическую оценку. Я знаю, что и на этом пути были делаемы ошибки, но знаю также, что они не компрометируют основной точки зрения, которая отнюдь не упраздняет художественную критику, а дополняет и расширяет ее. Ныне находят такое расширение не только излишним — такой излишек ничему ведь по крайней мере не мешает,— а вредным. Это не ново. Так рассуждали иные и в шестидесятых годах, и если теперь это рассуждение получает, по-видимому, значительное распространение, то это в такой же мере объясняется общими условиями времени, в какой противоположная точка зрения была связана с условиями своего времени. Характер литературной критики шестидесятых годов не может быть удовлетворительно оценен вне связи с другими формами тогдашней литературы и с ее общим духом. Присутствие общепризнанного и заведомо осуществимого высокого идеала внушало литературе бесстрашие перед фактами, которые она признавала, но простым созерцанием (а следовательно, и констатированием и воспроизведением) которых она ограничиться не могла. Она видела крушение такого колоссального факта, как крепостное право и всей свя-

занной с ним системы, и это величественное зрелище, естественно, внушало ей смелость надежд и жажду деятельности, то есть воздействия на существующие факты во имя идеала. Идеал этот был чисто земного характера, да и незачем ему было быть иным, потому что на земле воочию совершалось истинно великое дело. И если эти «идеалисты земли» были в то же время «реалистами», то тут нет никакого противоречия, а есть, напротив, вполне законченное цельное миропонимание. Его общие черты остаются истиной и доселе: факты признаются без утайки и без идеализации, во всей их реальности; затем они распадаются на неподлежащие нашему воздействию и подлежащие таковому, а для воздействия необходим идеал, то есть такое расположение реальных элементов, которое лучше, выше, желательнее, чем действительность. Пусть «идеалисты земли» заблуждались относительно пределов и возможностей воздействия, в принципе они, во всяком случае, стояли на пути к правде.

Освобождение крестьян стимулировало мысль и чувство современников в очень широких пределах, так что фактом освобождения еще далеко не кончалась центральная задача времени. Задача эта состояла в теоретическом определении, а поскольку возможно, и практическом установлении нормальных отношений между личностью и обществом. Задача эта, конечно, не шестидесятыми годами впервые выдвинута. Она столь же стара, как само человеческое общество. Но всею своею полнотою она занимает людей гораздо реже, чем это может показаться с первого взгляда. В основе всякого международного, политического, экономического, морального, юридического, административного вопроса так или иначе лежат взаимные отношения личности и общества. Но в огромном большинстве случаев при обыкновенном течении житейских дел это не сознается; общественные вопросы обсуждаются и решаются без приведения их к их основе, которая маскируется разными узкопрактическими условностями и отвлеченными категориями. Жизнь идет слепою ощупью, механически цепляясь за случайности установившихся отношений или же ища себе обоснования в неанализированных отвлеченных категориях «права», «свободы», «порядка», «прогресса», «справедливости», «национального достоинства», «народ-

ного богатства» и т. д. В последнем результате анализа всех этих понятий нечему быть, кроме личности и общества в их взаимных отношениях. И людям серьезного знания это хорошо известно, но лишь в сравнительно редких случаях субстрат всех общественных вопросов всплывает в общем сознании и влияет на обыденную житейскую практику. Всплывает и влияет, разумеется, уже в известной, более или менее определенной форме.

Статья Шелгунова «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» оканчивается такими словами: «Если протестанты XVI столетия освободили мысль, то мы сделали попытку освободить человека. Только наше время установило, что благороднейший, драгоценнейший и единственный элемент прогресса есть свободная личность, развившаяся в свободном общежитии. Мы живем в самом начале этого периода и несем на своих плечах главную борьбу за новое слово».

«Мы сделали попытку», «мы несем на своих плечах» — это, разумеется, не специально к нам, русским, относится, а к известному времени, к известной ступени цивилизации, к которой, однако, и мы с шестидесятых годов приобщились. В XII главе «Воспоминаний» Шелгунова читаем:

«Внизу освобождались крестьяне от крепостного права, вверху освобождалась интеллигенция от служилого государства и от старых московских понятий. И более великого момента, как этот переход от идеи крепостного и служилого государства к идее государства свободного, в нашей истории не было, да, пожалуй, и не будет. Мы, современники этого перелома, стремясь к личной и общественной свободе и работая только для нее, конечно, не имели времени думать, делаем ли мы что-нибудь великое или невеликое. Мы просто стремились к простору, и каждый освобождался, где и как он мог и от чего ему было нужно. Хотя работа эта была, по-видимому, мелкая, так сказать, единоличная, потому что каждый действовал за свой страх и для себя, но именно от этого общественное оказывалось сильнее, неудержимее, стихийнее. Идея свободы, охватившая всех, проникала всюду, и совершалось действительно что-то небывалое и невиданное».

Вслед за этим Шелгунов приводит разные иллюстрирующие эпизоды и соображения. Тут есть рассказы об

офицерах, выходивших в отставку, чтобы завести книжную торговлю или заняться издательством, о женщинах, выбивавшихся из-под гнета грубой и деспотической семьи, и т. п. Есть и такие указания: «Правительство сознавало, что при новых усложненных требованиях более развитой жизни продолжать старую систему казенного управления у него не достанет сил, и оно стало продавать или закрывать казенные фабрики и заводы, оно поощряло и поддерживало акционерные предприятия, оно создало русское общество пароходства и торговли, оно открыло возможность для частных банков, оно передало постройки железных дорог частным предпринимателям. Одним словом, реакция против прежнего всепоглощающего государственного вмешательства и казенного руководительства была не только всеобщей, но и легла в основу общественно-экономических реформ и всей системы государственного хозяйства прошедшего царствования».

Все это должно свидетельствовать о торжестве новой формулы взаимных отношений между личностью и обществом: «свобода личности» или «свободная личность в свободном общежитии». Вглядываясь, однако, несколько ближе в иллюстрирующие эпизоды и соображения Шелгунова, мы едва ли найдем в них полную однородность, или, вернее, однородность эта не пойдет далее отрицательной стороны. Все эти эпизоды и указания одинаково говорят о размягчении или распущении общественных уз и о выделении из них частных, личных интересов. В этом смысле смягчение деспотизма старой семьи и отречение фиска от руководительства промышленною жизнью страны могут быть совершенно правомерно сведены к одному знаменателю, и Шелгунов вполне прав, констатируя этот всеобщий факт. Не следует, однако, думать, чтобы этот факт во всех своих подробностях совпадал с идеалом Шелгунова и его единомышленников. К шестидесятым же годам относятся первые гимны «свободы» мужика «от земли». Но та струя литературы, к которой принадлежал Шелгунов, слишком пристально вглядывалась в жизнь европейских стран, в которых принцип экономической свободы достиг наибольшего осуществления (см. «исторические» и «социально-экономические» статьи Шелгунова), чтобы мечтать о таком же торжестве его у нас. Мы видели, что,

почтительно склоняясь перед европейскою наукою и многими европейскими учреждениями, Шелгунов отнюдь не желает, чтобы двери русской жизни были настежь отворены для пропуска европейских экономических порядков. Он спрашивает: «Откуда это добродушное стремление спасти своего ближнего, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное последствие на соседа?» Это Шелгунов писал в одной из самых ранних своих статей, в 1861 году, а вот что он писал в 1868 году: «То, что славянофилы, почвенники [14] и их продолжатели толковали о народной душе, народной правде и русском всечеловеке, несомненно, очень благородный идеал, на котором стоит построить русскую общественную жизнь, но подробности этого идеала создадутся не смутными сердечными порывами, не чувством, а исследованием выработанных народом и интеллигенцией общественных и бытовых понятий и тех равноправных и именно всечеловеческих основ народного коллективизма, который чужд еще интеллигенции, вырабатывающей пока достоинство личности» («Новый ответ на старый вопрос»).

Здесь не место говорить об этих упованиях по существу. Я привожу слова Шелгунова для уяснения его формулы взаимных отношений личности и общества. Ни он, ни литература шестидесятых годов вообще не думали ограничиваться отрицательною формулою свободы. В их лице, как и в их теориях, личность, освободившись от обветшалых общественных уз, сознательно подчинялась иным узам, самоотверженно отдавая им свою мысль, чувство, волю, всю свою жизнь. Для выработки этих обновленных общественных уз «идеалисты земли» обращались и к западноевропейским теориям, и к русской народной жизни — словом, всюду, где рассчитывали найти теоретические или практические зародыши такого сочетания общественных элементов, которое гарантировало бы личности полноту жизни. Как говорит Шелгунов в статье о Берне [15] («Первый немецкий публицист»), «в средоточии земной жизни стоит живой человек и для этого-то живого человека и должен работать каждый». Что касается Берне, то «в тот момент, в который он действовал», идеею свободы, может быть, и исчерпывалась злоба дня; но в момент наших шестидесятых годов ввиду сложности перелома жизни злоба дня была сложнее, а потому «свобода» бывала иногда

просто громким словом, под которым крылась совсем несоответственная сущность. Наши публицисты не соблазнялись подобными громкими словами, но они и не боялись слов. Поэтому они охотно говорили, между прочим, и об эгоизме как об основном свойстве человеческой природы, но относились они к этому эгоизму весьма своеобразно. В качестве «реалистов» они признавали факт эгоизма и смело сводили к нему как самые низменные, так и самые возвышенные побуждения. А в качестве «идеалистов земли» они строили такой идеал личности, «ego» которой не грозит никому бедой и горем, потому что способно пережить в себе жизнь ближнего и дальнего и чувствовать их радости и горести как свои собственные. Идеал этот для них не в воздухе висел, он представлялся им естественным результатом выработки соответственных общественных условий, да и на нынешнего человека, как он есть сейчас, они смотрели отнюдь не мрачными глазами. В самой его природе, вполне эгоистической, они видели, однако, такие стороны, развитие которых должно поднять человека на высшую ступень. Было кое-что наивное во всем этом, но есть наивность, которая гораздо ближе к правде, чем разные ухищренности.

«Доброжелательство есть у всякого человека,— говорит Шелгунов,— только в различной степени, и значительный недостаток его составляет такое же важное лишение и ведет к таким же печальным последствиям, как и недостаток сообразительности. Людей, лишенных доброжелательства, следует отнести к разряду организмов ненормальных, у которых недостает одной из важнейших человеческих способностей, равносильной рассудку. Злой человек всегда безрассуден, точно так же, как безрассудный всегда зол. Это две парные способности, и лишение одной парализует другую. Поэтому злого человека без ошибки можно назвать глупым, точно так же, как глупого — злым» («Прошедшее и будущее европейской цивилизации»).

Это наивно, потому что кто же не знавал злобных умников и глупых добряков. И, однако, несомненно, что в высшем смысле Шелгунов прав. Истинное, глубокое понимание своих человеческих, то есть гуманных, интересов исключает злобу.

V

Статья моя приходит к концу. Называется она «Шелгунов», а собственно об нем в ней сказано, по-видимому, пока слишком мало. Но это только по-видимому. Все, сказанное выше о шестидесятых годах вообще, целиком относится и к Шелгунову в частности. Не внеся в работу шестидесятых годов каких-нибудь своих резких индивидуальных черт, Шелгунов впитал в себя весь дух того времени. Вот почему я мог, говоря о шестидесятых годах, обойтись без единой ссылки на кого бы то ни было, кроме Шелгунова. Может быть, мне не удалось сделать то, что я хотел сделать, но, во всяком случае, я не думал о критическом разборе сочинений Шелгунова. Я хотел лишь облегчить самому читателю дело этого разбора напоминанием тех общих черт литературы шестидесятых годов, которые ныне или совсем игнорируются, или поминаются больше понаслышке, по смутному, непроверенному преданию. В настоящем издании собраны статьи, написанные с 1861 года по 1890-й включительно. Писаны они все под давлением текущей жизни. Немудрено было бы найти в них рядом с достоинствами и известные недостатки, но я не считаю это нужным. Для меня гораздо важнее их общий тон, а он у Шелгунова тот же, что у всей литературы шестидесятых годов.

Шелгунов представляет, однако, ту особенность, что работает и посейчас, представляя собою в литературе чуть ли не единственный обломок приснопамятного исторического момента. В деятельности своей он держится все тех же заветов своего времени, отстаивая их с живостью и горячностью, которым можно удивляться в человеке, столь долго и много на своем веку поработавшем. Особенность ли это его личных сил, или животворящий дар все тех же шестидесятых годов, или и то, и другое вместе, я не знаю; но знаю, что этот старик моложе многих и многих молодых. Между прочим, он довольно часто прямо говорит о шестидесятых годах то в своих «Воспоминаниях», то в «Очерках русской жизни» по поводу некоторых явлений текущей литературы. Мало понимающему и вяло чувствующему человеку может показаться, да и было высказано в печати, что Шелгунов является в этом случае представителем «отцов», расхваливающих по исстари заведенному порядку свое от-

жившее время и брюзжащих на поросли молодой жизни, которая растет по-своему, не спросясь их, стариков. Это ведь в самом деле очень обыкновенное явление: старикам с остывшею кровью, замерзшим в идеях, когда-то живых, но ныне уже отживших, завидно глядеть на кипящую молодость, которая рвется к новым идеалам, чуждым, непонятным для «отцов»... Бывает так, это точно, но бывает и иначе; бывает и так, что старикам обидно смотреть на отсутствие кипящей молодости и каких бы то ни было идеалов. И тогда старые «отцы» моложе своих старообразных «детей».

Менее, чем кто-нибудь, Шелгунов может быть обвиняем в упрямой ворчливости старика, остановившегося на точке замерзания. Давно уже, в статье «По поводу одной книги», он писал: «Нас приучили слышать о людях двадцатых годов, сороковых, шестидесятых; но мы еще ни разу не слышали, чтобы у нас были люди XIX века. Или десятилетия — наши века, или русская мысль растет не годами, а часами? Какие умственные пропасти разделяют мыслящую Россию на десятилетия? Откуда эта невозможность примирения, откуда этот беспощадный антагонизм, который даже и людей одного десятилетия делит на несколько враждебных лагерей? Говорят: люди сороковых годов — отцы теперешней эпохи; это освободители России от крепостного права; это первые люди, сказавшие на Руси первое слово в пользу человеческих прав женщины; с людьми пятидесятых годов они думали уже о гласном суде. Но разве люди шестидесятых годов не прямое непосредственное следствие идей сороковых и пятидесятых годов? Где же логика для вражды и антагонизма? отчего «отцы» не понимают «детей», не понимают, что они — их родные «дети»?»

В одном из «Очерков русской жизни», написанных в самое недавнее время, читатель найдет те же вопросы и недоумения, но обращенные уже в другую сторону, в сторону детей, чурающихся своих отцов, соответственно чему весь этот очерк озаглавлен в настоящем издании «Борьба ли поколений ведет нас вперед». Но мы вернемся к статье «По поводу одной книги». Книга эта — небольшой сборник рассказов Герцена, изданный, помнится, в 1871 году. Говоря об этой книге и об ее авторе, Шелгунов пишет: «Натуры действенные, реаль-

ные, живучие, действуют по событиям: они являются не с готовыми сентенциями и идеалами, не с запасом готовых истин, чтобы вечно держаться за них, а только с честными стремлениями и с юношеской энергией, которая никогда их не оставляет». И далее: «Как свежи и хороши люди без ярлычков и как высоко следует ценить таких людей, как наш автор, мысли которых сохранили текучесть на всю жизнь, а энергия тоже на всю жизнь сохранила свою юношескую силу. Такие люди могут по очереди пережить двадцатые, сороковые, шестидесятые и даже сотые годы, лишь бы Бог дал веку, и не остановятся на каком-либо предыдущем периоде, чтобы сделаться врагами последующего. Тут — истинная сила преемственной мысли, не знающей деления на десятилетия».

Спрашивается, если Шелгунов так высоко ценит «людей без ярлычков», «не останавливающихся на каком-либо предыдущем периоде, чтобы сделаться врагами последующего»; если он так хорошо понимает, что не годится «являться с готовыми сентенциями и идеалами, с запасом готовых истин, чтобы держаться за них вечно», то почему же значительная часть его «очерков русской жизни» посвящена полемике с «восьмидесятниками», как он их презрительно называет? «Восьмидесятники» — это люди, сами объявившие себя современными «детьми», несогласными с «отцами», и представителями «нового литературного поколения», которое, надо думать, имеет своих представителей и на других, нелитературных путях жизни. Люди эти объявляют, что «идеалы отцов и дедов над ними бессильны», что они не хотят знать никаких «традиций прошлого». Это нехорошо с точки зрения Шелгунова, дорожащего преемственностью мысли, преемственностью развития вообще. Но ведь и «восьмидесятники» могут, казалось бы, претендовать в свою очередь на Шелгунова и бить ему челом его же добром. Они могут повторить его слова: «Отчего отцы не понимают детей, не понимают, что они — их родные дети?» Надо еще заметить, что не известно, что Бог даст дальше, а пока «восьмидесятники», по крайней мере в литературе, не сильны ни качеством, ни количеством, ни единогласием. Перечисляя, например, свои беллетристические силы, они сами замечают, что из молодых писателей значительнейшие

стоят на старом пути. В других отраслях литературы они тоже не могут похвастаться чем-нибудь выдающимся, крупным. Далее, говоря о необходимости «бодрящих впечатлений» и о ценности «светлых явлений», некоторые из них в то же время чрезвычайно почтительно относятся к Щедрину, не помышляя, по-видимому, о том, что сказал бы суровый сатирик по поводу их пропаганды светлых явлений. Вообще это литературное явление, по крайней мере сейчас, настолько незначительно во всех отношениях, что, отметив его, Шелгунов смело мог бы затем уже не вступать в длинную полемику с его представителями. Тем более что это ведь «дети», «родные дети»...

В том-то и дело, что если это и в самом деле дети, то заведомо никому не родные. Если они действительно незначительны в литературе, то в современной нашей жизни есть соответственная струя, вялая, мелкая, мутная, но гораздо более значительная, чем ее литературное выражение. Не в том дело, что старые идеалы заменились новыми; это было бы, может быть, дело законное, и, во всяком случае, Шелгунов понимает, что не следует «останавливаться на каком-нибудь предыдущем периоде, чтобы сделаться врагом последующего».

Дело даже не в том, что идеалы совсем потухли и, лишенные их животворящего действия, люди не чувствуют в себе сил и способностей к «героизму»,— Шелгунов знает, что «в жизни народов за восторженностью, энтузиазмом и усиленной умственно-общественной деятельностью следует всегда реакционное отступление» («Новый ответ на старый вопрос»). Но если уж нас настигла такая печальная историческая полоса, так ее нужно признать печальной исторической полосой и думать о том, чтобы ее скорее пронесло, а не носиться с ней как с писаною торбой, не ходить, уперев руки в бока фертом, не говорить с нелепою гордостью: мы — соль земли, мы — «новое слово»...

Таковы мотивы полемики Шелгунова, и надо правду сказать, что мудрено представить себе что-нибудь более антипатичное деятелю шестидесятых годов, чем эти «восьмидесятники». Конечно, и они со своей точки зрения правы, платя ему той же монетой. Это два полюса, которым пригнуться друг к другу нельзя. Полемика

Шелгунова может служить прекрасною отрицательною иллюстрацией ко всему вышесказанному.

Если обстоятельства времени шестидесятых годов создали свою литературу, то нынешние наши условия выдвигают свою. Ни для кого не тайна, что идеалы в наше время оскудели, как и в отношении, так сказать, объема, так и в отношении интенсивности. Это признают и «восьмидесятники», которые делают даже современную скудость идеалов отправным пунктом своих литературно-критических и публицистических соображений. Не спорит, конечно, и Шелгунов, но он приглашает принять все те выводы, которые логически отсюда вытекают. О наличности какой-нибудь общественной задачи, которая соединяла бы в себе грандиозность замысла с общепризнанною возможностью немедленного исполнения, нечего в наше время и говорить. Нет такой задачи. Но нет и гораздо меньшего. А за отсутствием общедоступных точек приложения для крупных талантов, горячей проповеди, страстной деятельности, на сцену выступает вялая, холодная, бесцветная посредственность. Не то, чтобы русская земля так уж оскудела, что в ней перестали подрастать энергические и даровитые люди. Но, во-первых, значительная часть их остается по разным причинам не у дел, а во-вторых, хотя появляются время от времени новые таланты и в литературе, но они немедленно получают общий отпечаток тусклости и безразличия. Это-то, может быть, и неизбежное, но, во всяком случае, печальное положение вещей «новое литературное поколение» возводит в принцип. Придавленное, пригнетенное фактом, оно бессильно противопоставить ему идею. Оно косится на всякие сколько-нибудь широкие идеалы и решительно отрицает «героизм». Оно желает «реабилитировать действительность» и с этою целью ищет в ней «светлых явлений» и «бодрящих впечатлений». Оно не способно расценивать явления жизни по их нравственно-политическому значению и эту свою неспособность возводит в принцип, которому усваивается название «пантеизма»,— дескать, все явления, великие и ничтожные, гнусные и возвышенные, одинаково подлежат лишь созерцанию, а не нравственному суду.

Разъяснение всего этого читатель найдет у Шелгуно-

ва. Я только обращаю ваше внимание на позицию, занятую им в этой полемике. Верный себе и традициям шестидесятых годов, он не отрицает и не подрумянивает факта бледности нашей жизни. Да, говорит он, вы правы, «фактически теперешнее время — не время широких задач, а время мелочей, маленьких мыслей и несущественных споров»; вы сами своею бледностью слишком наглядно свидетельствуете об этом. Но, опять-таки верный себе и шестидесятым годам, Шелгунов не считает нужным преклоняться перед фактом только потому, что он факт. Он желал бы, чтобы эта мертвенная бледность заменилась румянцем стыда, радости, негодования, вообще игрой живых красок, а не подрумянивалась бы разными ad hoc * изобретенными «пантеизмами», теориями «светлых явлений» и т. п. В этом подрумяненном виде она есть, по его мнению, «популяризация общественного индифферентизма» и «школа общественного разврата, которая, несомненно, принесет плоды в будущем, а может быть, приносит их уже и теперь».

Читатель обратит внимание на то, что Шелгунов отнюдь не отрицает «светлых явлений» в русской жизни. Если он, как я думаю, и преувеличивает опасности, которыми грозит деятельность «нового литературного поколения», то, вообще говоря, мрачный взгляд на вещи ему совсем не свойствен. Не отрицает он светлых явлений вообще, не отрицает и большинства тех, на которые указывают его противники. Он требует только, чтобы этим светлым явлениям, равно как и тем, о которых он сам говорит, было отведено надлежащее место. Но понятно, что и по существу дела обе стороны далеко не всегда сходятся в оценке как светлых, так и мрачных явлений. Для примера укажу на покойного Гаршина, которого Шелгунов относит к числу светлых явлений, а «новое литературное поколение» с прискорбием зачисляет в список беллетристов, «продолжавших традиции прошлого». Вообще «новое литературное поколение» ценит светлые явления постольку, поскольку они так или иначе, прямо или косвенно, не мытьем, так катаньем, служат «реабилитации действительности», а

* Буквально к этому, для данного случая, для данной цели

Шелгунов с этою меркой не справляется и самую задачу реабилитировать действительность отказывается признать светлым явлением.

Не вижу и я ничего светлого в этой серой, мещанской задаче. Реабилитировать действительность, которая и без того стоит достаточно прочно, идеализировать отсутствие или скудость идеалов — ни красы тут нет, ни радости. Но и я знаю светлые явления в современной русской жизни. К числу их принадлежит Николай Васильевич Шелгунов. С шестью десятками лет на плечах, после десятков лет утомительной литературной работы, после всяческих житейских невзгод он не зачерствел, не состарился умом и чувством и не сложил рук. Он — все тот же «идеалист земли», и на фоне нынешней литературы он кажется даже моложе, чем когда-нибудь. Мне думается, что эта живучесть есть результат не только его личных качеств. Я высоко ценю эти качества и глубоко сожалею, что приличия не дозволяют мне говорить о Шелгунове как о человеке. Это лишает меня возможности сказать столько хороших слов, сколько их редко приходится говорить. Но мне думается, что эта редкая живучесть является, кроме того, отражением жизненности тех общих начал, которым Шелгунов, раз восприняв их, остался верен до последней написанной им строчки. Они давали ему опору в его долгой трудовой жизни, в которой было так мало роз и так много шипов. Были и розы — он помнит их и поминает с благодарностью, а шипы, как бы ни были болезненны их уколы, ничего не испортили в душе этого человека. Еще думается мне, что не только единомышленники Шелгунова и не только те, кто при общем сочувствии к идеям автора найдет в предлагаемых двух томах какую-нибудь частную ошибку или вообще какой-нибудь изъян, но и отъявленные враги представляемого им миросозерцания должны почтительно склониться перед этою многолетнею безупречною деятельностью...

1891 г.

РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА

Только что вышла любопытная книжка г. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» [1]. Собственно, этому заглавию соответствует только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоит из статей о г. Майкове, о Гончарове и о «Преступлении и наказании» Достоевского, кажется, уже раньше где-то напечатанных и не имеющих прямого отношения ни к причинам упадка литературы, ни к ее новым течениям. Возможно даже, что они введены автором в состав книжки единственно для пополнения ее до требуемого цензурным уставом десятилистного размера. Во всяком случае, интерес книжки не в них. Что же касается ее главного содержания, то оно составилось из публичной лекции, читанной г. Мережковским в конце прошлого года [2]. Лекцию эту он через некоторое время повторил и теперь напечатал с довольно, по-видимому, значительными дополнениями. Перед нами, значит, произведение обдуманное, автор которого имел достаточно даже чисто внешних поводов для пересмотра и проверки своих мыслей. А ведь есть еще поводы внутренние, вытекающие из сознания важности предмета, о котором идет речь. И г. Мережковский вполне сознает эту важность. Он высоко ценит роль и значение литературы и любит ее настоящею, искреннею любовью. Для него, как он обнаруживается в своей книжке, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное дело, поприще служения высшим человеческим идеалам.

Тем не менее, нисколько не сомневаясь в искренности и добрых намерениях г. Мережковского, можно смело утверждать, что он не воспользовался или очень мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и проверки своих мыслей.

В книжке не раз попадаются замечания такого рода: «Сущность искусства нельзя выразить никакими слова-

ми, никакими определениями» (32). Или: «Идею символических характеров никакими словами нельзя передать» (43). Без всякого сомнения, слово, как и все, что находится в распоряжении человека, ограничено известными условиями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношений. Но ведь и мысль человеческая поставлена в известные рамки, за пределы которых никаким образом не может выскочить, не свихнувшись, не изменив себе. Правда, рамки эти несравненно шире тех, в которые заключено слово, почему людям и приходится писать иногда целые страницы для выражения одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бывает, что мысль не потому трудно облекается в словесную форму, что нельзя найти слов для ее выражения, а просто потому, что она не созрела для словесного выражения, не выяснилась. И мне кажется, что мысль г. Мережковского очень часто находится в таком положении.

Книжка г. Мережковского начинается очень эффектно. Вот ее первые строки: «Тургенев и Толстой — враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба, в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга как великие представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов». И тем не менее, дескать, Тургенев перед смертью написал Толстому свое известное глубоко трогательное письмо, увещевавшее «великого писателя русской земли» вернуться на путь литературной деятельности [3]: «На краю гроба Тургенев понял, что сердцу его старинный враг — ближе всех друзей». Можно бы было на основании фактических данных доказать, что собственно Тургенев, несмотря на ссоры с Толстым и на всю свою личную неприязнь к нему, всегда высоко ценил автора «Войны и мира» как писателя. Но дело не в этом. Я прошу читателя обратить внимание на «стихийность», которую г. Мережковский приписывает неприязненным отношениям Тургенева и Толстого, это — «представители двух *первоначальных, вечно борющихся человеческих* типов»; это — «враги не

по своей воле, а по своей *природе*». Значит, где бы и когда бы ни столкнулись два такие человека — в России или в Китае, в Англии или во Франции, в XIX или в любом другом веке,— они фатально, «стихийно» станут во враждебные друг к другу отношения. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но, какова бы она ни была сама по себе, она выражена вполне ясно.

Вслед затем г. Мережковский старается установить разницу между поэзией и литературой. Суть этих торопливых и сбивчивых рассуждений состоит в том, что отдельные явления в области поэзии, хотя бы и чрезвычайно светлые и далеко из ряда выходящие, еще не знаменуют собою существования литературы данного народа. Начиная с Пушкина, Лермонтова, Гоголя и кончая еще живым Толстым, мы можем предъявить миру гигантов поэзии, но «была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?» Нет,— отвечает г. Мережковский. Литература невозможна без тесного взаимодействия между ее представителями, без сознания общности дела и преемственной связи. Например, во Франции «стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом» (6). А у нас? Наш писатель живет и умирает в одиночку. Если и слагаются иногда литературные кружки, то, во-первых, они недолговечны и не выдерживают первого враждебного дуновения, а во-вторых, они часто бывают еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватает «той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурного воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливают друг друга и возбуждают к деятельности». В виде иллюстраций г. Мережковский напоминает, между прочим, враждебные отношения Достоевского к Тургеневу, Некрасова и Щедрина к Достоевскому, Тургенева к Некрасову и заканчивает этот абзац так: «О печальной и *столь характерной для русской литературы* вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи» (8).

Читатель знает, что в начале статьи г. Мережковский

говорил совсем не то. Там враждебные отношения двух знаменитых наших писателей являлись продуктом «стихийных» сил, а не особенностью наших культурных условий; там мы имели дело с «представителями первоначальных (?), *вечно* борющихся *человеческих* типов», и, следовательно, отношения их никак не могут быть «*столь* характерны для русской литературы» специально. А между тем, эти два взаимно исключающие положения г. Мережковского отделены друг от друга всего семью страничками. И если первое положение произвольно и бездоказательно, то второе, может быть, еще произвольнее и бездоказательнее.

В самом деле, даже оставляя в стороне проблематическую вечную борьбу человеческих типов, почему бы мы должны признать характерным для русской литературы явлением вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва ли литература всех стран, времен и народов знает много таких писем, а враждебных отношений между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г. Мережковскому угодно в пику русской литературе излагать в двадцати строчках историю французской литературы, как стройный, спокойный, трехвековый процесс. В двадцати строках это можно сделать, а пожалуй, даже иначе и нельзя сделать. Но если бы г. Мережковский вздумал отмечать в истории французской литературы эпизоды, аналогичные неприязненным отношениям Толстого и Тургенева и т. п., то двадцати строк оказалось бы очень мало. Напомню, например, общеизвестные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов, предоставляя г. Мережковскому отнести их на счет вечной борьбы противоположных человеческих типов, или особенностей французской литературы, или, наконец, особенностей конца XVIII века. О настоящем положении французской литературы г. Мережковский говорит: «Мы присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом». Из дальнейшего изложения видно, что автор разумеет под этими «усилиями народного гения» так называемое декадентское или символистское движение. И выходит так, как будто символисты и декаденты, с одной стороны, дружно, а с другой — не встречая

противодействия в старших литературных поколениях, спокойно занимают свое место в истории. На самом деле ничего подобного нет. Г. Мережковский ссылается в одном месте на книгу Гюре «Enquête sur l'èvolution littéraire» *. Эта книга составилась из шестидесяти с лишком бесед автора с разными французскими писателями о современном положении французской литературы и о школах, на которые она распадается. Не все, однако, к кому обращался Гюре, беседовали с ним устно. Некоторые удовольствовались письменными ответами на его вопросы. В том числе был и Ришпен[4]. Он отказался высказать свое мнение о различных школах и их представителях и сообщил только, что осуществление предпринятой Гюре enquête производит на него удручающее впечатление: точно, говорит, смрадное болото, в котором под ногами у нескольких быков множество лягушек надувается и квакает: «Moi, moi, moi! **» Приговор суровый, но довольно близкий к истине. Никогда, может быть, французская литература не была так раздираема разными школами, и никогда, может быть, обнаженные и взаимно враждебные *я* не играли в ней такой роли. Самая enquête Гюре подала повод к полемическим схваткам, из которых одна едва не окончилась дуэлью...

Эта несостоявшаяся дуэль (между Леконт де Лилем и Анатолем Франсом) — явление, столь обычное во Франции,— не наводит г. Мережковского ни на соображения о вечно борющихся человеческих типах, ни на скептические мысли о французской литературе; тогда как такая же несостоявшаяся дуэль между Тургеневым и гр. Толстым фигурирует в числе опор его тезисов. Конечно, и поводы, и обстановка этих двух несостоявшихся дуэлей очень различны. Но дело в том, что, говоря о неприязненных отношениях между некоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковский или совсем не останавливается на их причинах, или довольствуется слишком простыми и голословными соображениями. Между тем, это дело очень сложное. Неприязнь и вражда могут вытекать из чисто принципиальных источников: люди расходятся в дорогих для них

* «Анкета по литературной революции» (*франц.*).

** «Я, я, я!» (*франц.*).

убеждениях, и каждый из них столь крепко держится за свое, что никакое общение между ними невозможно. С другой стороны, люди вполне единомыслящие могут не сходиться характерами. Прибавьте сюда разные человеческие слабости, вроде самолюбия, зависти, подозрительности, прибавьте разные чисто житейские столкновения, и вы получите пеструю картину, вполне возможную и во Франции, и в России. И как она не помешала существованию французской литературы, так не помешает и русской литературе, хотя многие подробности ее, разумеется, очень прискорбны.

Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу от нападков г. Мережковского. Напротив, многое я выразил бы даже гораздо резче, но со многим, конечно, согласиться не могу. Оставляя в стороне нападки автора на отдельные определенные личности, представляющиеся ему зловредными, возьмем такое, например, его обвинение общего характера: «Литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было. Какие лица! Какие нравы! И ужасно, что эти лица самые молодые, бодрые, полные надежд... Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзия — самое воздушное и нежное из всех созданий человеческого духа, все более и более предается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!» [5] Признаюсь, я не знаю, о ком здесь идет речь. Г. Мережковский говорит так решительно, что ему, конечно, близко знакомы какие-нибудь яркие случаи этой мерзости. Но как бы ни был велик запас его наблюдений в этом роде, я не думаю, чтобы он имел право сказать, что «литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем *где бы то ни было*». Всякие отдельные случаи возможны, но как бы они ни были омерзительны, от них еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая развертывается в настоящую минуту во Франции, в Италии, в Германии. И это не потому, чтобы русские писатели были как-нибудь по самой природе своей необыкновенно добродетельны. Может быть, и так, но существует и гораздо более простая причина, та именно, что русская литература не представляет собою такой общественной силы, которую, как европейскую литературу, стоит покупать. Давление, оказываемое русскою

литературою на русскую жизнь, слишком ничтожно. Конечно, это гарантия не особенно лестная и не особенно прочная, но факт остается фактом: в настоящее время упрек г. Мережковского несправедлив или по крайней мере преувеличен, а будущее до известной степени в наших руках. Чего-нибудь да стоит урок, преподаваемый нашей литературе теперешними европейскими скандалами, и можем же мы надеяться, что нечистые руки никогда не захватают русскую литературу вконец.

Надо, однако, заметить, что если европейская — скажем, в частности, французская — литература сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская же литература бессильна и в этом отношении. И, конечно, это практическое бессилие есть один из симптомов, а вместе с тем одна из причин упадка литературы, хотя г. Мережковский ее и не понимает. Он говорит о скуке, господствующей в литературной среде. Еще бы! Как тут не быть скуке и унынию, если мысль с трудом находит себе словесное выражение, а слово отделено от дела непроходимою пропастью.

Впрочем, хотя «Причины упадка современной русской литературы» и значатся в заглавии книжки г. Мережковского и, следовательно, должны бы составлять один из пунктов его особливого внимания (другой такой же пункт — «новые течения»), но довольно трудно разобраться в его взглядах на этот предмет. Да простится мне вульгарное сравнение,— мысль г. Мережковского скачет, как блоха; направление, быстрота и вообще характер этих скачков имеют, может быть, свои внутренние резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься их какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.

Поговорив о скуке, господствующей в литературных кружках и редакциях, г. Мережковский делает ничем не мотивированный скачок к цитате из тургеневских «стихотворений в прозе» о мощи русского языка, а отсюда опять скачок к такому положению: «Три главных разлагающих силы вызывают упадок языка»[6]. Хотя, таким образом, вместо разговора об упадке литературы мы имеем разговор об упадке собственного языка, и хотя автор не трудится указать связь и отношение этих двух упадков, но по крайней мере он про-

бует говорить с точностью, он выставляет даже цифру: *три* разлагающие силы. В добрый час! Но, перечислив свои *три* разлагающие силы (мы их сейчас увидим), г. Мережковский неожиданно заявляет: «*Другая* причина упадка литературы — система гонораров» [7]. Читатель с недоумением оглядывается: а где же первая? или почему это не четвертая? Затем оказывается, что главная, хотя никакой цифрой не отмеченная причина упадка литературы есть «критика», причем самые сильные удары автор направляет на гг. Протопопова [8], Скабичевского, Буренина [9] и Волынского. Но еще немного далее мы узнаем, что у нас есть превосходные критики в лице гг. Андреевского и Спасовича, а следовательно, огульный приговор русской критике надо взять назад: что навредили дурные — исправили или исправят хорошие. Ведь и в беллетристике у нас не все Тургеневы и Толстые, и в собственно поэзии не все Пушкины и Лермонтовы.

Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та же критика. Дело в том, что «еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный прием» [10]. Но язык Писарева был «сжат» и «увлекательно силен», а его преемники усвоили себе только дурные стороны его языка. Таким образом, причиною упадка литературного языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать... Нельзя сказать, чтобы это рассуждение было очень блистательно в смысле логики. А между тем, и вторая причина упадка совершенно такова же. Она заключается в той «особенной сатирической манере, которую Салтыков называл рабьим эзоповским языком» [11]. Словом, дурной язык есть причина дурного языка: скачок куда-то в сторону и потом опять назад, на старое место... Наконец, третья, приводимая г. Мережковским причина упадка литературы (или литературной речи) состоит в невежестве, все более и более вторгающемся в литературу. С этим я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которых г. Мережковский, к сожалению, не коснулся.

К этим беспорядочным, капризным, скачкообразным приемам мысли г. Мережковского надо еще прибавить особенности его собственного языка. Это нечто бурно-пламенное, достигающее иногда высокой степени кра-

соты и увлекательности, но иногда ставящее в тупик своею неточностью, бессвязностью и произвольностью. Мне хочется привести образчики хорошего.

Вот, например, что говорит г. Мережковский о гр. Толстом:

«Художник тратит время на популярные брошюры о пьянстве, с наивным жаром квакера составляет, подобно методическому и упрямому норвежцу Бьернсону, практические руководства к целомудрию молодых людей, предисловия к трактатам о беременности, о вегетарианстве, серьезно уверяет, что люди курят табак, чтобы заглушить совесть. Но если совесть людей такова, что не может противостоять даже табачному дыму, стоит ли так много хлопотать о ней? На всех этих практических брошюрах лежит печать какого-то унылого и ледяного педантизма. Польза! Польза! Чей светлый ум не помрачало это слово в наш век?.. Мнимое человеколюбие, нравственное квакерство у холостяка отнимает трубку, у работника чарку вина, суживает и омрачает без того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человека, придает ей характер какого-то филантропического, безотрадного и добродетельного приюта для калек. Не таковы истинные пророки любви» [12].

Или вот еще несколько строк о Гл. Успенском:

«Муза Некрасова в унижении сохраняла признак власти, она была гордой. У Глеба Успенского нет такой силы. Но зато в этих кротких, как будто потухших глазах, в этом усталом лице — тихая жалость к людям, точно непрестанный упрек кому-то, точно мольба за них. Холодное, безбожное поколение наших дней может пройти мимо такого человека и бросить банальную укоризну: «Это публицист, а не художник!» — не понимая, что наперекор всем рамкам и законам эстетики, в мученической любви к народу не может не быть поэзии, не может не быть красоты» [13].

Это превосходно: ярко, сильно, без тени какой-нибудь искусственности или напыщенности, которые так часто исправляют должность настоящей силы и яркости (греху этому не чужд в иных местах книги и г. Мережковский). Если читатель всмотрится в такие хорошие места книжки, то увидит, что все они выражают известное настроение автора, причем он не пытается аргументировать или обосновывать какую-нибудь мысль, да-

вать какому-нибудь явлению жизни определение, логически опровергать что-нибудь, вообще производить какую-нибудь более или менее сложную логическую операцию. Как только г. Мережковский пускается в эту последнюю область, так получается ряд туманностей без какого бы то ни было определенного, твердого ядра, полная беспорядочность мысли и изложения, путаница, противоречия. В лучших подобных случаях автор или задает совершенно определенный вопрос (на стр. 41: «Что такое символ?») и так и оставляет его без ответа, или, как мы уже видели, утверждает, что этого, дескать, нельзя выразить словом и прячется за старинный афоризм: «Мысль изреченная есть ложь»[11]. Но если это так, то лучше совсем не говорить или по крайней мере не писать для печати. И, читая некоторые страницы г. Мережковского, поневоле думаешь: да, лучше бы этого не печатать.

Не угодно ли, например, ориентироваться в следующих рассуждениях о Тургеневе:

«Русские рецензенты имели бестактность видеть в Тургеневе публициста и с этой точки зрения предъявляли ему требования. С надлежащим ли одобрением или порицанием изображен человек 30-х годов? Потом человек 40-х годов, потом нигилист 70-х годов и т. д. Одни защищали Тургенева, другие утверждали, что он в лице Базарова оскорбил молодое поколение. Странно теперь читать эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумение могло возникнуть только из коренного непонимания. Впрочем, и сам Тургенев подал отчасти повод к недоразумению. Он писал свои большие романы на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня. В этом великом человеке был все-таки литературный модник, то, что французы называют «модернист». Как почти все поэты, он не сознавал, в чем именно его оригинальность и сила» (43 и след.). Далее автор поясняет, что настоящий, оригинальный и сильный Тургенев, «царь обаятельного мира», которого просмотрели «наши критики-реалисты»,— это «Живые мощи», «Бежин луг», «Довольно», «Призраки», «Собака», «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе». А «Накануне», «Отцы и дети», «Новь», «Вешние воды» (и, вероятно, «Рудин», «Дым», «Дворянское гнездо», большая часть «Записок охотника» и еще

кое-что) — это вещи неодобрительные по самой задаче своей, условные, стареющие уже теперь.

Гоголевский почтмейстер рассказал длинную, сложную и очень занимательную историю капитана Копейкина, который был, по его мнению, не кто иной, как Чичиков. Рассказ уже приблизился к самому концу, когда почтмейстеру напомнили, что капитан Копейкин был безрукий и безногий калека, а Чичиков вполне владеет руками и ногами. Почтмейстеру стало неловко... Мне думается, что г. Мережковскому следовало бы во избежание подобной же неловкости быть несколько точнее и осмотрительнее. Первый, писавший о Тургеневе в неприятном для г. Мережковского тоне, был Добролюбов, а он умер в 1861 году и, следовательно, не дожил до «Живых мощей», «Довольно», «Призраков» и т. д. Споры, отчасти действительно комические, о Базарове тоже происходили задолго до так высоко ценимых г. Мережковским «Стихотворений в прозе» и «Песни торжествующей любви». Поэтому о «бестактности» и «коренном непонимании» можно бы было говорить с несколько большею осторожностью. Но и помимо этого хронологического соображения надо рассудить еще вот что. Всякие могут быть точки зрения, в том числе и такая, с которой «Собака» представляется более ценным произведением, чем «Рудин» или «Отцы и дети» (признаться, я бы этому не поверил до прочтения книжки г. Мережковского, но факт налицо). Но если сам Тургенев писал «на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня», то каким же образом могла бы обойти их критика, говоря о Тургеневе? Она именно обнаружила бы бестактность и коренное непонимание, если бы обошла то, что наиболее занимало самого художника. Я думаю, это ясно.

Ясно также мнение г. Мережковского о Тургеневе: будучи великим художником, он, однако, портил свое художественное дело чрезмерною отзывчивостью на жгучие вопросы дня. Так изображено на стр. 43, 44. Если же читатель обратится на стр. 163, то найдет следующее: «Тургенев — великий художник по преимуществу,— в этом сила его и вместе с тем некоторая односторонность. Наслаждение красотой слишком легко примиряет его с жизнью. Он любит мир и красоту

своей художнической мастерской и охотно удаляется в созерцание вечных образов от шумной и пестрой современности»...

В подобных случаях принято, кажется, говорить: комментарии излишни...

Не менее трудно уловить собственную художественную profession de foi * г. Мережковского независимо от его суждений о том или другом писателе. Он — поклонник красоты. Он говорит о красоте в восторженных выражениях, красота для него — мерило вещей. «То же самое, великое и несказанное, что Гете называл красотой,— Марк Аврелий называл справедливостью; Франциск Ассизский и св. Тереза — любовью к Богу, Руссо и Байрон — человеческою свободою» (27). «Красота образа не может быть не правдивой и потому не может быть безнравственной; только уродство, только пошлость в искусстве — безнравственны» (29). «Мне всегда казалось поучительным, что поэзия одинаково недоступна вполне безвкусным людям, как и вполне несправедливым» (32). «Как народу не любить красоты? Он сам — величайшая красота!» (60). «Едва ли не самый низменный и уродливый из человеческих пороков — неблагодарность... Повторяю, в одном лишь из всех наших пороков — в неблагодарности есть какое-то противоестественное, не свойственное человеческой природе,— безобразие» (72).

Нет никакого сомнения, что прекрасное есть естественная и совершенно законная категория требований человеческой природы, но мерить ею другие столь же законные, столь же самостоятельные требования — то же самое, что измерять пространство пудами или вес саженями. Сказать, что красота не может быть неправдива, или что народ есть величайшая красота, или что неблагодарность есть худший из пороков, потому что она уродлива,— сказать что-нибудь подобное, значит ровно ничего не сказать. Это, говоря, не помню чьим, картинным уподоблением, наводнение слов в пустыне мысли. Из всех приведенных странных выражений следует только то, что г. Мережковский чрезвычайно чтит категорию красоты и, не отворачиваясь ни от нравственности, ни от справедливости, ни от жизни во

* исповеданье веры (*франц.*).

всей ее многосторонней глубине, думает, что служение красоте есть высшая задача, к решению которой само собою приложится и все остальное. Поэтому-то он и Тургенева порицает за вмешательство в злобу дня. Поэтому он и на критиков-моралистов и публицистов негодует, поэтому же он прямо и торжественно заявляет: да, поэт должен творить «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв».

Это не мешает, однако, тому же г. Мережковскому разразиться на стр. 113 следующими пламенными строками. После соответствующих цитат из пушкинского «Ариона» и лермонтовского «Кинжала» и после соответственных упреков Фету, Майкову и Полонскому он пишет: «Вкусы различны. Что касается меня, я предпочел бы, *даже* с чисто художественной точки зрения (*а с иной, значит, и подавно*), влажные, разорванные волнами ризы Ариона самым торжественным ризам жрецов чистого искусства. Есть такая красота в страдании, в грозе, даже в гибели, которой не могут дать никакое счастие, никакое упоение олимпийским созерцанием. Да, наконец, и великие люди древности, на которых любят ссылаться наши *парнасцы* (курсив г. Мережковского), разве были они чужды живой современности, народных страданий и «злобы дня», если только понимать ее более широко? Я уверен, что Эсхил и Софокл, участники великой борьбы Европы с Азией, предпочли бы не только как воины, но и как истинные поэты меч, омоченный во вражеской крови, праздному мечу в золотых ножнах с драгоценными каменьями»!

Вкусы различны... Это хорошо. Это снимает грозную опалу г. Мережковского с тех поэтов, которые не прочь от «житейских волнений», а стало быть, и с тех критиков, которые — пусть неумело, узко, грубо — руководствуются в своих суждениях этими самыми житейскими волнениями, что не мешает им, конечно, и красоту ценить. Это хорошо. Но когда прямо противоположные вкусы совмещаются в одном и том же человеке, то это, может быть, уж и не так хорошо. Это напоминает поговорку: чего хочешь, того просишь. Что же касается критики, то она, мне кажется, должна по отношению к г. Мережковскому руководствоваться другой, французской поговоркой: La plus jolie fille ne

peut donner que ce qu'elle a *. Неясность, незрелость мысли г. Мережковского слишком очевидна, чтобы ему можно было предъявлять какие-нибудь требования в этом отношении: все равно ничего не получишь. Но намерения его, несомненно, добрые, настроение, несомненно, благородное. С этой стороны его и брать надо. К сожалению, эту сторону нельзя выделить, не возвратившись к странным скачкам мысли автора.

Г. Мережковский скорбит о современном состоянии русской литературы, но надеется на лучшее будущее. Он даже видит около себя зачатки, проблески этого лучшего будущего. Это — группа, которую он называет «современным поколением русских писателей-эпигонов». Называет он их также «современными идеалистами» и еще другими именами. Сюда относятся гг. Чехов, Фофанов, Минский, Андреевский, Спасович и Вл. Соловьев. В подстрочных примечаниях г. Мережковский присоединяет к этому списку еще несколько имен [15], и мы, может быть, еще обратимся к мотивам этого присоединения; *может быть*, потому что это не особенно важно, хотя и интересно. Сам г. Мережковский, конечно, примыкает к этой группе, хотя и не говорит о себе. Он отнюдь не преувеличивает значения и талантов «современных идеалистов». Конечно, таланты есть между ними, но, в общем, они подобны «младенчески слабым и беспомощным побегам молодого растения, пробивающимся из-под тяжелого камня» (36). Подобны они также Гомункулу второй части «Фауста», этому «странному существу, полудетскому, полустарческому» (55). И тем не менее «они теперь в России — единственная живая литературная сила. У них достаточно в сердце огня и мужества, чтобы среди дряхлого мира всецело принадлежать будущему». Исполненный отваги, г. Мережковский припоминает эпизод из Севастопольской кампании: русские солдаты шли на приступ, но перед ними был ров, и первые ряды наполнили его телами мертвых и раненых; следующие ряды прошли по трупам. Так-то, говорит, и мы, «совре-

* Самая красивая девушка не может дать больше того, что имеет (*франц.*).

менные идеалисты», погибнем, но по нашим трупам пройдут следующие поколения и победят...

Несмотря на некоторую напыщенность пафоса, я верю искренности г. Мережковского, верю, что он действительно готов погибнуть,— фигурально, конечно, выражаясь: не в настоящем каком-нибудь рву перед настоящим укреплением, а, например, под бременем насмешек. Он это предвидит и смело идет навстречу выстрелам иронии. Он говорит, что «ничего не может быть легче, как осмеять и отвергнуть» течение «современного идеализма». Я не думаю, однако, чтобы все выше перечисленные представители этого течения столь же мужественно готовились к насмешкам. Да и с какой стати? Над книгой г. Минского «При свете совести» действительно много смеялись[16], над книгой г. Мережковского, я боюсь, тоже будут смеяться, хотя и не так сильно, ради ее искренности, которой в произведении г. Минского нет и следа. Но взять, например, г. Чехова. О нем много говорят в литературе: одни восхищаются его талантливыми картинками, другие сожалеют об «изъянах его творчества», по выражению нашего сотрудника[17], но ни единой насмешки по его адресу я не встречал, да, конечно, и не встречу. Или г. Спасович... И на старуху бывает проруха, и г. Спасовичу случалось промахиваться не без комического эффекта, но чтобы этот маститый деятель профессуры, адвокатуры и литературы мог ожидать себе погибели под бременем насмешек, чтобы он пошел на эту гибель,— в этом позволительно по крайней мере усомниться.

Но позволительно усомниться и в гораздо большем, а именно в том, чтобы все, занесенные г. Мережковским в список «современных идеалистов», чувствовали себя в этих рамках и в этом соседстве, как в своей тарелке. Я думаю, что они попали в список потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковского и что благосклонность эта определяется не теми или другими их качествами, а исключительно настроением г. Мережковского. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно в самом деле читать такое, например, заявление г. Мережковского: «Так же, как и все люди нового поколения, Спасович — идеалист»[18]. Как известно, г. Спасович принадлежит, напротив, к очень

старому поколению. Г. Мережковский, правда, оговаривает энергию и молодость духа г. Спасовича, но ведь эти качества равно доступны всем поколениям, и, во всяком случае, г. Спасович не есть продукт тех особенных условий, среди которых и под влиянием которых зарождается «современный идеализм» г. Мережковского. Он ведь только еще зарождается, этот современный идеализм, он выбивается из-под камня, как «младенчески слабые и беспомощные побеги молодого растения». Как бы кто ни смотрел на г. Спасовича, но неужели же он может иметь какое-нибудь отношение к этой младенческой слабости и беспомощности? Parlez pour vous *, г. Мережковский! — думал, вероятно, г. Спасович, читая сравнения «новых течений» с беспомощными ростками и Гомункулом.

Г. Мережковский заимствует свой свет от того движения в современной французской литературе, которое известно под именем символизма или декадентства. Я не могу здесь распространяться об этом обширном предмете, так как уже начал о нем беседу в другом месте [19]. Скажу лишь следующее. Движение это отвечает некоторыми своими сторонами на действительную и, может быть, важнейшую верховную потребность человеческого духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первых, не один символизм, даже во Франции, пытается удовлетворить эту потребность, а во-вторых, из всех этих попыток символизм есть самая плоская и уродливая, не только не подвигающая к разрешению задачи, но компрометирующая ее. Символизм слагается из умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнению некоторых, до психического расстройства, затем из шарлатанства, непомерных претензий и того, что французы называют блягой [20].

Г. Мережковский насчитывает «три главных элемента нового (то есть символистского или декадентского) искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности» [21]. Это приблизительно верная программа некоторых символистов, как они сами ее понимают или по крайней мере излагают. Приблизительно верно также и другое

* Говорите о себе (*франц.*)

замечание г. Мережковского: «Непростительная ошибка — думать, что художественный идеализм — какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему». «К вечному» — это немножко сильно сказано, а возвращение к тому, что никогда и не умирало, не совсем понятно. Но, во всяком случае, верно, что «новое искусство» содержит в себе мало нового и это новое не хорошо, чего, впрочем, г. Мережковский отнюдь не думает.

С художественной стороны символизм, поскольку в нем есть зерно правды, представляет собою реакцию против «натурализма» и «протоколизма» Эмиля Золя с братией. Со стороны философской, поскольку можно говорить о ней в применении к людям, весьма мало сведущим и совершенно беспорядочно мыслящим, он реагирует против последней крупной философской системы, выставленной Францией, против позитивизма. Идеи, вырабатываемые, а иногда только перерабатываемые Францией, имеют ту особенность, что они быстро и шумно распространяются далеко за ее пределы и овладевают чуть не всем цивилизованным миром. Так было и с позитивизмом в научно-философской области, и потом с натурализмом в области художественной. Реакция против односторонности, сухости и узости этих доктрин, естественно, должна была в той же Франции принять наиболее острый характер и уже оттуда распространиться, как из центра к периферии. Сам Огюст Конт, провозвестник позитивизма, стеснялся узкими рамками доктрины и ее черствостью и первый, собственно говоря, восстал на нее своим «субъективным методом» и «религией человечества». Но эта неудачная попытка ослабевшего и расстроенного ума не привилась и не могла привиться в сколько-нибудь широких размерах [22]. Задача состояла и посейчас состоит для Франции в религиозном объединении разума, чувства и воли, в таком расположении системы все растущих знаний, чтобы при этом получало удовлетворение и нравственное чувство; чтобы, далее, это нравственное чувство в союзе со знанием, с наукой проникало человека до полной невозможности поступать несогласно с указаниями нравственного чувства. В этом и смысл, и задача всякой религии. Религиозное чувство есть

тот великий действенный элемент, без которого мертвы и наука, и нравственная доктрина. Беспримерные несчастия, сыпавшиеся на Францию в течение многих и многих лет и доселе ее не оставляющие, конечно, не способствовали исполнению великой задачи. Разумею не бурные периоды французской истории, а, напротив, периоды затишья. Страшен погром, вынесенный Францией в 1871 году[23], но это был в известном смысле благодетельный эпизод — он заставил встрепенуться. Г. Мережковский, имея, конечно, в виду главным образом Францию, говорит: «XVIII век и его ограниченный скептицизм не правы. Нет! Людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников»[24]. Ограниченный скептицизм всегда не прав, но о XVIII веке следовало бы, может быть, говорить осторожнее. Пусть г. Мережковский припомнит хоть, например, величественную смерть героя и мученика революции — Кондорсе[25]. Или, так как г. Мережковский — поэт, пусть припомнит судьбу братьев Шенье[26]. Но бывали во Франции и другие времена, когда она действительно ни во что не верила и когда кокетливая, эпикурейски-скептическая и для меня лично глубоко противная даже на портрете улыбка Ренана была, может быть, лучшим, что могла представить миру великая страна. В такое печальное время зародился и натурализм или протоколизм Эмиля Золя. Крупный художественный талант, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Золя дал толчок мелочной, протокольной точности описания. Фразами, блещущими всеми недостатками полузнания, он и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзии: протокол, копия с натуры — больше ничего от искусства не требуется; идеалы, противополагаемые непреоборимому естественному ходу вещей, нравственный суд над человеческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, как рост дерева или вращение земли вокруг солнца,— все это вздор, ненужный балласт, подлежащий уничтожению.

Все это наконец надоело. Проснулась верховная потребность человеческого духа. Но проснулась, конечно, не в одних символистах, и я даже сомневаюсь, чтобы она в них в самом деле настояще проснулась. Во всяком случае, они противопоставили протоколу —

символы, непреоборимости естественного хода вещей — мистицизм, грубым штрихам натуралистической поэзии — разные ухищренные тонкости. Кстати подоспели новейшие открытия в области психофизиологии: гипнотизм, внушение, чтение мыслей. Благодаря новизне этих явлений как объектов науки и благодаря их стародавности как явлений жизни, практики мистицизм, пристрастие к символам собственно за их загадочность и погоня за ухищренными тонкостями нашли себе в них кажущуюся опору.

Но довольно о французских символистах. Обратимся к их русскому отражению, к г. Мережковскому, разумея его, впрочем, исключительно как теоретика, как автора лежащей перед нами книги, потому что с его стихотворными произведениями я, признаюсь, недостаточно знаком.

Повторяю, я высоко ценю благородное настроение души г. Мережковского, неудовлетворяющегося сухостью, черствостью и односторонностью доктрин позитивизма и натурализма. Но протестовать против них можно с различных точек зрения, и любопытно знать, почему именно французский символизм пришелся ему по душе? Прежде всего одно дело — Франция, и другое дело — Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение «возмущения». Против чего возмущается г. Мережковский и указываемая им «единственная живая в России литературная сила» — отважное войско, состоящее из гг. Чехова, Фофанова, Минского, Спасовича, Андреевского и Вл. Соловьева? Я, впрочем, не хочу ставить г. Мережковского в неловкое положение человека, взявшегося говорить от лица людей, не давших ему полномочий. Я остановлюсь только на нем самом.

Позитивизм Огюста Конта, о котором, впрочем, г. Мережковский прямо не упоминает, имел у нас некоторое значение, но его односторонность и узкость были указаны в русской литературе очень давно, когда г. Мережковский еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а играл в лошадки и вообще предавался невинным забавам, свойственным младенческому возрасту. Натуралистическим теориям в искусстве отводил было одно время на своих страницах место «Вестник Европы» [27], но и этот почтенный журнал от

них давно отступился, и, во всяком случае, натурализм или золаизм отразился у нас разве только в некоторых произведениях гг. Боборыкина, Ясинского и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзии и беллетристики никогда не совпадало с натурализмом. Русская критика также никогда не вдохновлялась им. Правда, за этой русской критикой г. Мережковский считает другие тяжкие грехи[28]. Но, каковы бы они ни были, «возмущение» г. Мережковского против русской критики может иметь лишь частный характер. Гг. Андреевский и Спасович являются в изложении нашего автора такими блестящими критиками, каким могут позавидовать гораздо более богатые, чем наша, европейские литературы, а ведь и там их не дюжинами считают. Г. Мережковский возразит на это, что одна ложка дегтю портит бочку меду, а в данном случае даже наоборот выходит: бочка скверного черного дегтя, и в ней ложечка светлого, душистого, сладкого меда в лице гг. Андреевского и Спасовича. И именно потому г. Мережковский направляет свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображение и справедливо, то оно все-таки не решает вопроса, а только отодвигает решение. Критика не инородное какое-нибудь тело в составе литературы; она — часть ее, и потому надо спросить: отчего произошел упадок критики? Иначе вместо ответа на вопрос, поставленный даже в заголовке книги, получится варьяция на мольеровскую тему: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva*[29]. Далее г. Мережковский не первый ищет в критике причину упадка литературы. Замечательно, однако, что подобные жалобы на критику раздаются только у нас, хотя плохие критики есть везде, и везде их больше, чем хороших. Только у нас господа беллетристы и поэты имеют двусмысленную смелость говорить: мы потому плохи, что критика плоха. Я не знаю, к какому времени относит г. Мережковский начало зловредного влияния у нас критики. По-видимому, к очень давнему, и настолько, во всяком случае, давнему, что это зловредное влия-

* опиум усыпляет потому, что обладает усыпляющей способностью (*латин.*).

ние должно бы было отразиться и на Тургеневе, и на Гончарове, Льве Толстом, Достоевском. Однако не помешала же им критика. Мало того, наша критика, по мнению г. Мережковского, все ухудшалась, а между тем, по его же мнению, именно позднейшие произведения Тургенева и Достоевского стоят особенно высоко...

Одна из глав книжки г. Мережковского называется «Начала нового идеализма в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого». На основании всего предыдущего следует, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана представляют собою начало того, что имеют поведать миру гг. Фофанов, Минский, Мережковский, Чехов, Андреевский, Спасович, Соловьев. А может быть, уже даже поведали? Я думаю, что c'est trop fort *. «Начало» — великаны, а конец или продолжение — «Гомункулы» и «младенчески беспомощные ростки...». Тут что-нибудь не так. И действительно не так. Просто путаница, от разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что «Гомункулы», «младенчески беспомощные ростки» (они же «слабые и нежные дети вечерних сумерек») «взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание у Толстого и Достоевского. Все эти элементы нового идеального искусства они сделали более сознательными, попытались ввести даже в критику, обнажили от посторонних реалистических наслоений». Далее говорится, что, несмотря на все эти подвиги, гомункулы все-таки очень слабы. Но где, когда, кто из них сделал то, что рассказывает г. Мережковский? Остановлюсь на одном лишь примере. Из живых беллетристов нового поколения, нового идеального искусства и как их еще там г. Мережковский называет, он берет целиком только г. Чехова. Пусть же он укажет мистическое содержание в произведениях этого талантливого писателя, к великой его чести, решительно чуждого мистицизму.

Но дело, пожалуй, не в этом. Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой — это ведь вчерашний, даже сегодняшний день. И если г. Мережковский признает

* это уже слишком (*франц.*).

их своими духовными отцами, так против чего же он «возмущается»? Из подражания французским символистам? Но ведь те не признают ни натуралистов, ни «психологов», «ни парнасцев»; они действительно разрывают со вчерашним днем; им, по их мнению, не за что ухватиться в ближайшем прошлом. Г. Мережковский находится в совсем ином положении. Тем более что кроме произведений Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого он знает еще одно течение в нашей литературе, против которого он восставать не хочет и не может.

Он говорит: «Прежде чем я перейду к поколению современных русских писателей-идеалистов, я должен сказать несколько слов о другом могущественном литературном течении, также вполне современном, имеющем огромную будущность, которому лишь по недоразумению большинство наших критиков придает такой резкий утилитарный характер. В сущности, это течение очень близко к идеализму. Я разумею народничество»[30]. Из живых представителей этого направления г. Мережковский указывает на Гл. Успенского, В. Г. Короленко и меня... Это вынуждает меня на некоторые личные объяснения.

Лично обо мне г. Мережковский говорит, между прочим, следующее:

«Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере — он идеалист». И далее: «Не следует ли лучшим представителям прошлого, например Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что-нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: «Кто же эти молодые? Укажите на них. Что они говорят? Я их не

слышу, я их не знаю»... Да, голос их слаб. Но хотя бы это был шепот, он есть. Мы, слабые, ничтожные люди, сегодня шепотом говорим друг другу на ухо то, что гений будущего заставит людей возвещать на кровлях и площадях народных. Разве в первый раз великое начинается с малого, с отвергнутого и осмеянного?» [31].

Г. Мережковский сделал мне великую честь, поставив меня рядом с такими писателями, как Гл. Успенский и В. Г. Короленко [32]. Я думаю, однако, что до известной степени самым характером моей работы эта честь мною действительно заслужена, и считаю себя вправе говорить не только от своего имени по крайней мере по одному пункту. Дело не в словах, не в названии — «что имя? звук пустой»,— но мы не можем принять кличку «народников», и не по существу, а просто потому, что слово это слишком захватано и в него нередко вкладывается смысл, с которым мы имеем мало общего. Г. Мережковский называет нас еще «идеалистами» (с некоторою неприятною для него примесью). Отчего бы и нет? — но слово «идеализм» слишком неопределенно; в свою долгую историю — оно ведь очень старо — оно обозначало многое разное, и я отнюдь не уверен в том, что наш идеализм совпадает с тем, который вдохновляет г. Мережковского.

Теперь о себе. Г. Мережковский замечает, что я «в своих молодых статьях — идеалист». Не знаю, идеалист ли в смысле г. Мережковского, но наверное знаю, что я и теперь тот же, что был в молодые годы; знает это и г. Мережковский и прямо говорит об этом в другом месте [33]. Что же касается адресованного ко мне приглашения прислушиваться к «шепоту» «современных русских писателей-идеалистов», то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь к тому, что говорят молодые, по закону естества идущие на смену нас, стариков. Это ведь, опять же по закону естества, продолжение нашего собственного существования в обновленной форме. Но, к сожалению, я не могу симпатизировать произведениям большинства провозвестников нового, молодого. И прежде всего я не слышу «шепота». Напротив,— гром и молния; гром не из тучи, конечно, а из среды самоуверенных до наглости, невежественных, неискренних и неблагодарных людей. Я в особенности настаиваю на неискрен-

ности, потому что — г. Мережковский знает — «не всякий говорящий: Господи! внидет в царствие небесное» [34].

Я не хочу входить в подробный разговор о разных «новых» течениях и ограничусь г. Мережковским. Он — искренний человек. Он действительно проникнут жаждой всеохватывающей религиозной преданности идеалу, недостатком которой страдает, конечно, не одна Франция. Теоретически он, по крайней мере иногда, понимает также, что удовлетворение этой жажды не может быть достигнуто как-нибудь в ущерб науке, точному знанию. Он говорит: «Великая позитивная и научная работа двух последних веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немыслимо. Потому-то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании, еще небывалом, с последними выводами точных знаний, в свете безгранично-свободной научной критики и научного натурализма как неистребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца». Что облюбованные г. Мережковским струи современного искусства именно таковы, это просто неправда; но верно, что такова задача, и не только искусства. Действительно неистребима потребность в действенном объединении сущего и долженствующего быть. Мало знать причины и следствия известного поведения — оно должно получить еще нравственную оценку, невозможную без определенного идеала; но мало и пассивной нравственной оценки, не обязывающей утвердиться в известном образе действия или изменить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще действовать. Та сила, которая направляет нашу волю к действию в соответствии с идеалом, построенным совокупным трудом разума и чувства,— эта сила и составляет сущность всякой религии. Не следует смущаться теми грубыми формами, под которыми скрывается иногда религия. Когда дикарь мажет сметаной или жиром губы своего идола в уверенности, что он за это пошлет ему счастливую охоту, эта уверенность составляет элемент науки дикаря, его понятий о причинной связи явлений, а не его религии. Лишь очень поверхностный или грубо понимающий человек может сказать: этот дикарь рели-

гиозен, потому что мажет идолу губы сметаной. Он делает это потому, что он невежествен. Но это не мешает ему быть глубоко религиозным, когда он так или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодам, опасностям, лишениям ради чего-то, вне и выше его стоящего; когда он, например, умирает, защищая своих богов и покровительствуемую ими родину или семью. Мы бесконечно далеко отошли от дикаря в понимании законов природы, но в историческом ходе событий односторонняя работа разума слишком часто подавляет область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механический аппарат познания с физиономией глубокомысленной или подкрашенной скептическою улыбкой; либо разнузданный зверь; либо, наконец, жалкое существо, разъеденное колебаниями и сомнениями.

Г. Мережковский глубоко огорчен этим унижением человеческой природы, этим ее потускнением, и я могу только сочувствовать ему. Я уверен, что и он, прочтя только что написанное, скажет: это верно. Но я не в первый раз это говорю, а между тем, г. Мережковский утверждает, что я «не хочу примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом». Я прежде всего не хочу путаницы и двусмысленности вообще, а в серьезных делах в особенности. Что это собственно значит — «высший сознательный и божественный идеализм»? Я вынужден и г. Мережковскому напомнить изречение: «Не всякий, говорящий: Господи! Господи! внидет в царствие небесное». В своем растрепанном мышлении и еще более растрепанном изложении он играет словами «религиозный», «художественный», «божественный», «мистический», «идеалистический», не давая себе труда определить, как он их понимает, и чаще всего употребляя их как синонимы. Посмотрите, к чему это ведет.

Вернемся к мнениям г. Мережковского о произведениях Тургенева. Говорит он на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, как мы уже видели. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь в ту точку зрения, по которой, между прочим, выходит, что рассказ «Собака» должен быть поставлен выше, чем «Накануне» или «Отцы и дети». Я имел случай

убедиться, что «Собаки» многие даже не помнят, а потому расскажу вкратце ее содержание.

В каком-то обществе зашла речь о возможности или невозможности явлений, «не сообразных с законами натуры», как выражается один из собеседников. По этому поводу другой собеседник рассказал случай из своей жизни. Это был небогатый помещик, отставной офицер, проигравшийся в карты и кое-как пристроившийся к маленькому месту в столице. Звали его Порфирий Капитоныч. А случай с ним такой был. Однажды в деревне он ночью слышит, что у него под кроватью скребется и чешется собака, тогда как собак он не держал. Зажег свечку, посмотрел под кровать — никого нет. А как затушил свечку, так опять собака возится. Лакея позвал — то же самое: в темноте и лакей собаку слышит, а при свете никого нет. И так подряд из ночи в ночь. Сосед приехал в гости, ночевать остался, и при нем все то же. Поехал Порфирий Капитоныч в город и остановился у знакомого старичка-раскольника. Таинственная ночная собака и там от него не отстала, к великому негодованию хозяина-раскольника, который считал собак нечистой тварью. Узнавши, однако, в чем дело, раскольник смилостивился, решил, что «это есть явление, а либо знамение», и направил Порфирия Капитоныча к другому старику-раскольнику, который уже окончательно рассудил: «Это вам не в наказание наслано, а в предостережение». Идите, говорит, на базар, купите щенка и держите того щенка при себе денно и нощно: «Ваши видения прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу». Купил Порфирий Капитоныч щенка на базаре и все произошло, как по-писаному. Видения прекратились, а когда щенок вырос, то спас Порфирия Капитоныча от бешеной собаки, сразившись с нею...

По форме рассказ принадлежит к числу слабейших произведений Тургенева, с чем, я полагаю, и г. Мережковский согласится. Как художественное произведение, со стороны формы сравнивать «Собаку» с «Накануне» или «Отцами и детьми» — даже не смешно. Г. Мережковский подкуплен самою фабулою рассказа, его «мистическим содержанием». Содержание, несомненно, мистическое. Но причем тут прочие слова, представляющие собою, по мнению г. Мережковского, си-

нонимы мистицизма? Неужто в самом деле заслуживает названия «божественного идеализма» история о том, как щенок и два старика-раскольника послужили орудиями спасения проигравшегося в карты Порфирия Капитоныча от бешеной собаки? Я отказываюсь понимать смысл такого произвольного сочетания слов, как «божественный идеализм». Но я достоверно знаю, что к области религии рассказанный в «Собаке» анекдот не имеет ровно никакого отношения. Или, может быть, его место в сфере науки? Ведь г. Мережковский обещал нам «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма»...

Читатель без труда найдет в книжке г. Мережковского другие многочисленные следы беспорядочной игры словами и понятиями.

Я обращаю особенное ваше внимание на мотивы, по которым он считает «Сон Макара» лучшим из произведений В. Г. Короленко, а «Парамона юродивого» лучшим из произведений Гл. Успенского (стр. 68 и 71). Интересно также подстрочное примечание на стр. 85, где автор одобряет г. Михайлова (Шеллера) за то, что он «чувствует потребность покинуть знакомую обстановку, из современного Петербурга перенестись не более, не менее, как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса, в мир патриархальной фантазии». Тут же восторги перед «мистическими легендами» г. Лескова. Приглядываясь к подобным страницам, а равно к тем, где «статистика» и «политическая экономия» являются чуть не ругательными словами, мы не можем прийти к окончательному заключению относительно г. Мережковского.

Г. Мережковский не пророк и не герой нового течения, а жертва недоразумения. Он сам страдает недостатком того всеохватывающего начала, за отсутствие которого громит русскую литературу. Он лишь жаждет религиозного объединения своих понятий о причинной связи явлений и своего нравственного чувства, но думает удовлетворить свою жажду в безводной, давно высохшей пустыне и принимает миражи за действительность. По странному, но довольно обыкновенному в неустойчивых, колеблющихся натурах противоречию он даже не хочет, чтобы расстилающийся перед ним

красивый мираж превратился в настоящую действительность, где он в самом деле мог бы утолить жажду. Этот мираж красив именно как мираж и, следовательно, представляет особенную ценность для художника и пламенного поклонника красоты. Но он, кроме того, не обязывает, даже не призывает к жизни в полном, глубоком значении этого слова, а г. Мережковский и хочет, и в то же время боится жить. Для человека жить не значит пить, есть и спать. Многие люди живут этой жизнью, но это недостойная человека жизнь, и г. Мережковский ее презирает. Жить значит мыслить, чувствовать и действовать, причем все три элемента должны быть в полном согласии, ибо это равноправные и друг друга поддерживающие функции или стороны жизни. Формула их сочетания меняется в истории, но она всегда есть или составляет великое искомое. Благодаря бесчисленным противоречиям г. Мережковского я не умею сказать, как понимает он свое собственное отношение к этой формуле: считает ли он себя обладателем ее или только ищущим. Во всяком случае, со стороны дело виднее, и для меня нет сомнения, что он ищет, но ищет неверными приемами и там, где найти нельзя. Почему он так радуется, что г. Михайлов в каком-то своем произведении [35] (мне оно не известно) «покинул знакомую обстановку и перенесся из современного Петербурга не более, не менее, как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса»? [36] Готов верить, что это прекрасное произведение, но г. Мережковский ничего не говорит об его красотах и радуется самому факту удаления романиста ко временам Артаксеркса. Я и против этого факта ничего не имею. Выбор того или другого исторического момента для рамки поэтического содержания ничего не говорит против произведения, но сам по себе ничего не говорит и за него, а по г. Мережковскому уж и то превосходно, что автор из современного Петербурга в «мир патриархальной фантазии» удалился. Почему такая немилость к Петербургу? Потому же, почему «Собака» выше больших романов Тургенева. Как и французских символистов, неясность собственной мысли г. Мережковского влечет его от настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда же и его комическое негодование про-

тив статистики и политической экономии. На словах он обещает «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний», а на деле даже статистики боится. «Мистицизм» он проповедует открыто и даже с гордостью. Это его дело, но напрасно он отождествляет слова «мистический» и «религиозный». Это не только не одно и то же, а даже две противоположности. Религия призвана руководить человека в жизни, освещать ему его трудный, извилистый, полный соблазнов путь, и потому ей нечего боятся статистики. Другое дело мистицизм. Он, если позволено так выразиться, тушит светоч религии и уводит человека из настоящей действительной жизни куда-нибудь в туманную даль: в «мир патриархальной фантазии» времен Артаксеркса или в ту фантастическую область, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит» и таинственная собака спасением какого-то Порфирия Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этим, что фантастические, или отдаленно исторические, или прямо мифологические сюжеты не подлежат художественной эксплуатации. Дело не в сюжете, а в том, как к нему художник относится; для г. же Мережковского сюжет все губит и все спасает. Короленко в «Сне Макара» решительно тот же, что и во всех других своих произведениях: то же отношение к жизни, те же упования и идеалы. Но фантастический сюжет «Сна Макара» выделяет для г. Мережковского этот рассказ на недосягаемую высоту над всеми писаниями Короленко. То же и с Тургеневым по отношению к «Собаке». Что бы ни говорил г. Мережковский, но «Собака» есть пустяковый анекдот по содержанию, нимало не блистающий художественными достоинствами по форме. Об ней не будет упоминаться даже в очень подробных историях литературы или разве в такой форме, что согрешил, дескать, между прочим, Тургенев и «Собакой». Что же касается больших его романов, то, несмотря на многие их недостатки, и предвидеть нельзя того времени, когда они перестанут читаться с живым интересом. А для г. Мережковского мистическое содержание «Собаки» все выкупает, а мотивы действительной жизни в романах Тургенева все портят. Это от того зависит, что он боится жизни. Он хочет не пить, есть и спать, а жить по-человечески; хочет и не смеет, потому что

инстинктивно чует свое бессилие ориентироваться в сложных путях жизни. При этих условиях мистические сферы остаются единственным убежищем, куда г. Мережковский и удаляется вслед за французскими символистами. Нам туда не по дороге. Во Франции, и вообще в Европе, не одни символисты вновь обращаются к мистике; там есть еще «маги», «необуддисты», «теософы» и другие разные. Я думаю, что мы еще слишком молоды, чтобы до такой степени извериться в жизнь и до такой степени ее бояться.

февраль 1893 г.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

⟨...⟩ А теперь мне хочется помянуть человека, который до конца дней своих сам называл себя западником.

Читатель понимает, что я говорю о Тургеневе, умершем ровно десять лет тому назад 22 августа. Талант перворазрядный, хотя и не столь могучий и оригинальный, как талант гр. Л. Толстого и Достоевского, но зато гораздо более уравновешенный, Тургенев никогда не мечтал о выработке лично ему принадлежащего миросозерцания, об основании своей собственной секты или школы. Он, примкнув еще в молодости к группе западников, которая в то время представляла собою нечто живое и цельное, остался западником до самой смерти. Но западником в первоначальном, старом смысле, в смысле общего уважения к европейской культуре, независимо от происходящих внутри ее жестоких и часто кровавых распрей религиозных, международных, сословных, партийных. На той возвышенной, но и вполне неопределенной точке зрения, с которой исчезают эти распри и виден лишь общий абрис европейской цивилизации, Тургенев мог оставаться только благодаря своему постоянному пребыванию за границей. На первый взгляд это может показаться странным или даже прямо неверным, потому что где же могут яснее чувствоваться внутренние противоречия

западной жизни, острая борьба ее элементов, как не среди нее самой? Именно ведь поэтому и невозможен никакой западник на самом Западе. Я решаюсь, однако, утверждать, что, кроме, конечно, личных и вообще интимных обстоятельств, тянувших Тургенева во Францию, его влекло туда почти бессознательно еще и потому, что там именно он мог сохранить свое широкое, но неопределенное западничество, с которым он сжился смолоду и расстаться с которым ему было труднее, чем кому-нибудь.

Если читатель припомнит весь длинный ряд созданных Тургеневым образов, он увидит, что помимо их индивидуальных особенностей, всегда мастерски разработанных и резко выделяющих данное лицо, они распадаются на две большие психологические группы. В одной стоят натуры активные, не боящиеся ответственности, решительные, жаждущие борьбы и твердо идущие к раз поставленной цели; в другой — натуры пассивные, мягкие, колеблющиеся, неохотно или с сердечною болью берущие на себя ответственность, увлекаемые какою-нибудь волною помимо или против их воли. Последние суть любимцы автора, между тем как первых он иногда уважает (далеко не всегда), иногда даже любуется как художник твердою законченностью их физиономий, но никогда не окружает тем любовным поэтическим ореалом, которым наделяет мягких, практически слабых, нерешительных. Как умный человек и первоклассный художник, он не скрывал достоинств своих пасынков и слабостей своих родных детищ, но нетрудно все-таки разобрать, кто из его героев — пасынок и кто родной, близкий по крови. Я не могу входить здесь в подробности и замечу только, что все известное нам о личности самого Тургенева вполне подтверждает сказанное. Это отнюдь не был человек твердых решений, борьбы, действия, но он не был и созерцательной натурой. Он любил жизнь, любил вращаться среди ее разнообразных красок и звуков, искал общения с нею для своего большого ума и высокого художественного дарования, но по возможности без активного, ответственного вмешательства в нее. Это он и получал за границей, где сложная общественно-политическая жизнь оставалась ему все-таки настолько чужою, что никакого активного вме-

шательства с его стороны не требовала и даже не допускала. Он мог дышать там уже готовою общею атмосферою свободы и просвещения, которая составляла идеал западничества, вместе с тем совершенно устраняясь от борьбы частных элементов. Относительно житейской практики его мнений никто не спрашивал, его решений никто не ждал. Иное положение его было в России. Общая атмосфера была здесь совсем другая, а вместе с тем процесс выветривания или дифференцирования западничества уже далеко подвинулся вперед: например, ультраконсервативная «Весть»[1] могла с таким же правом считаться отрогом западничества, как и нигилистическое «Русское слово»[2]. Человеку с именем и значением Тургенева непременно пришлось бы занять то или другое воинствующее положение в этих сложных обстоятельствах, что мы и видели на пушкинском празднике и непосредственно вслед за этим, когда Тургеневу навязали роль чуть ли не политического вождя. Это было совсем не по нем, и он не пошел на ту блестящую удочку, на которую так охотно кинулся его соперник в «пушкинские дни» — Достоевский.

Проживая за границей, Тургенев оставался, однако, русским, интересовался всем, что делается на родине, и не раз откликался на наши злобы дня. Немудрено, что, наблюдая русскую жизнь издалека, он впадал в ошибки, об которых было бы, разумеется, неуместно распространяться теперь, когда мы отмечаем десятилетие кончины этой гордости русской литературы. Каковы бы ни были эти ошибки в публицистическом смысле, сочинения Тургенева остаются неиссякаемым источником художественного наслаждения и собранием тончайших наблюдений и исследований в области движений человеческой души. Тургеневу навязывали роль ловца новых моментов в истории нашего развития, точнее,— разных «новых людей». На этой именно почве и происходили, например, известные горячие споры о Базарове[3]. Может быть, в глубине души и самому Тургеневу хотелось занять роль такого ловца моментов. Но на деле он, во всяком случае, брал из этих сменяющихся моментов только среду, обстановку, а главными действующими лицами оказываются везде представители все тех же вышеупомянутых двух психоло-

гических типов. Во всех своих романах и повестях Тургенев решает художественную задачу: как будут себя вести и что будут чувствовать его два типа в данной обстановке? Причем обстановка иногда берется из «момента», а иногда дело обходится и без него. Например, Нежданов (в «Нови») и Санин (в «Вешних водах») — один и тот же психологический тип из любимцев Тургенева со всею их безвольностью, слабостью, колебаниями, но и с тем поэтическим венком красивого страдания, который Тургенев неизменно кладет на головы своих любимцев; только в первом случае обстановка взята из «момента», а во втором нет намека на какой бы то ни было определенный момент. Каковы бы поэтому ни были ошибки автора в понимании и изображении обстановки, ими не наносится ущерба собственно психологии безвольных, слабых, колеблющихся героев. То же нужно сказать и о психологии противоположного типа в тех пределах, которые устанавливаются беспристрастием автора и его чувством художественной меры. Можно утверждать, что решительные люди, люди борьбы и твердого преследования раз поставленной цели, не необходимо так сухи, жестки, так обделены в поэтическом смысле, как все подобные герои Тургенева. Например, патриотический энтузиазм Инсарова мог бы быть цветнее, ярче: Инсаров мог бы обладать увлекательным красноречием оратора или поэтическим талантом, который он посвятил бы тому же делу служения родине. Но Тургенев не любил раздавать эти поэтические цветы людям борьбы и действия,— он приберегал их для своих любимцев, людей слабой воли, сомнений и колебаний. Если, однако, мы возьмем Инсарова как он есть — любящим Болгарию и ненавидящим турецкое иго, но сдержанным, умным, но узким и недаровитым,— то каждый его шаг окажется психически верен. И поистине удивительно то разнообразие, с которым Тургенев умел индивидуализировать свои два типа, всякий раз открывая в них новые стороны, новые подробности, новые комбинации мыслей, чувств, темпераментов. Это как бы две галереи фамильных портретов: фамильное сходство есть во всех портретах каждой из галерей, но вместе с тем каждый из них имеет особую физиономию; до такой степени особую, что

различие аксессуаров — высокий пудреный парик и гладкая прическа, блуза художника, вицмундир чиновника, модный фрак и проч.— является делом второстепенным. Но к этому надо еще прибавить богатую галерею женских портретов, частию распределяющихся по тем же двум типам, а частию составляющих особый мир, в изображение которого Тургенев вкладывал всю гибкость, все изящество и тонкость своего таланта. Это — мир впервые полюбивших девушек. В этом отношении с Тургеневым не может соперничать не только Достоевский, которому женские образы решительно не давались, но и гр. Л. Толстой. Особенность Тургенева состоит, во-первых, в том, что его полюбившие девушки оказываются в большинстве случаев выше мужчин, а во-вторых, в том, что утренняя заря любви сопровождается в них порывом к чему-то неопределенному, но высокому и широкому; они чувствуют в себе подъем сил, не только дающий им самим великое счастие, но и способный осчастливить и любимого человека, и еще много, много людей... Несмотря на постоянное повторение этого основного мотива, Тургенев и здесь был неистощим в вариациях. Но как только этот порыв так или иначе кончался в девушке — разочарованием ли, как в «Затишье» и в «Рудине», смертью ли любимого человека, как в «Накануне», обыкновенной ли прозой семейной жизни,— она переставала интересовать Тургенева: он ставил точку. Дело в том, что этот порыв был сродни его западничеству, тому первоначальному, настоящему западничеству, в основе которого был светлый, широкий, но неопределенный идеал и которому Тургенев оставался верен всю жизнь...

сентябрь 1893 г.

И ЕЩЕ О НИЦШЕ

Со времени Руссо никто в Европе не говорил таких дерзостей европейской цивилизации и современному «прогрессу», как Ницше, если не считать его предшественника Макса Штирнера[1], слишком одинокого, слишком мало расслышанного в свое время, да и только бросившего недоразвитый зачаток оригинальной мысли. За этим ничтожным по своей мимолетности и незаконченности исключением все сколько-нибудь значительное в деле отрицательной критики цивилизации и «прогресса» так или иначе примыкает к Руссо как к первоисточнику или первообразу. Это одинаково относится и к европейским социалистам со включением самых крупных, как Фурье, и, с другой стороны, например, к гр. Л. Н. Толстому, критику новейшему, некоторые оригинальные выходки которого не мешают всей отрицательной части его учения оставаться все же варьяциями на основную тему, данную Руссо. Ницше вносит в свою критику нечто действительно оригинальное и новое, что никоим образом не может быть приведено в связь с идеями Руссо, которого он «ненавидит» и называет «идеалистом и канальей в одном лице» («Götzen-Dämmerung» *, 125). Это не мешает ему, впрочем, в *некоторых* пунктах сходиться с Руссо, чтобы, однако, немедленно же, на втором же шаге, резко разойтись.

В одном месте «Götzen-Dämmerung» Ницше говорит о своих соотечественниках: «Немцев называли когда-то народом мыслителей; мыслят ли они вообще теперь? Духовное наскучило немцам, немцы не доверяют духу, политика поглотила всякий интерес к истинно духовным предметам. «Deutschland, Deutschland über Alles» **, я боюсь, что это было концом немецкой философии. Есть ли в Германии философы? есть ли в Германии поэты? хорошие книги? — спрашивают меня за границей.

* «Сумерки богов» (*нем.*).

** «Германия превыше всего» (*нем.*).

Я краснею, но с храбростью, не покидающею меня в самых отчаянных положениях, отвечаю: да,— Бисмарк!» (59). Конечно, не эту забавную выходку имел я в виду, говоря о дерзостях Ницше; я привел ее только как свидетельство того уважения, которое Ницше питает к мысли, к умственной деятельности вообще. И таких свидетельств можно бы было найти у него очень много, если бы понадобилось. Но в этом, конечно, надобности нет: иного отношения к мысли, знанию, умственным интересам нельзя было бы и ожидать со стороны представителя умственной деятельности. Недаром он постоянно включает себя в формулы: «мы философы», «мы психологи», «мы познающие». А между тем, тот же Ницше жестоко упрекает современность в том, что она слишком много мыслит и знает, слишком много хочет мыслить и знать, и видит в этом излишестве одно из оснований «проблемы декадентства». Это уже настоящая дерзость, напоминающая одну из знаменитых дерзостей Руссо, но в совершенно ином освещении.

Человечество, по крайней мере цивилизованное человечество, находится, по мнению Ницше, в периоде упадка, декаданса. Вступило оно в него давно и притом несколькими различными путями. Один из этих путей начинается Сократом. Это был первый в своем роде крупный человек упадка, первый декадент или, вернее, первый крупный выразитель уже наступившего упадка.

Мысль эту Ницше с некоторою робостью или по крайней мере не с полною определенностью высказал еще в 1872 году в своем первом сочинении «Geburt der Tragödie» * и вернулся к ней в окончательной форме через семнадцать лет в «Götzen-Dämmerung». Мысли Ницше так разбросаны и переплетены между собой, что кое-что из его рассуждений о личности Сократа и его исторической роли станет, может быть, понятно читателям только в связи с некоторыми другими его мыслями, с которыми мы познакомимся позже.

Мудрецы всех времен приходили к тому заключению, что жизнь ничего не стоит, и даже Сократ, умирая, сказал: «Жить — значит долго хворать». Откуда этот consensus sapientium ** в деле уныния, меланхолии, уста-

* «Рождение трагедии» (*нем.*).
** Согласие мудрости (*латин.*).

лости, недовольства жизнью и должны ли мы ему верить? Первый вопрос важнее, потому что ответ на него может упразднить второй. Может быть ведь, мудрецы просто сами нетвердо на ногах стояли. Может быть, мудрость появилась на земле подобно ворону, почуявшему легкий запах падали. Надо поближе присмотреться к мудрецам. Сократ был низкого происхождения и, как известно, физически уродлив, что в Греции было больше, чем недостатком. С другой стороны, новейшая уголовная антропология приходит к заключению, что физическому уродству соответствует и нравственное: monstrum in fronte, monstrum in animo* . Не был ли Сократ тем преступным типом, которым ныне так много занимаются? Этому по крайней мере не противоречит один любопытный эпизод из его жизни. Какой-то иностранец, физиономист, встретивши его в Афинах, сказал ему в лицо, что он носит в себе все гнуснейшие пороки и страсти. И Сократ признал справедливость диагноза физиономиста. Припомним и те галлюцинации слуха, которые известны под именем «Сократова демона». Всегда с камнем за пазухой, с задней мыслью и иронией, осложненной «злобностью рахитика», Сократ всем существом своим должен бы был отталкивать от себя сограждан-современников; тем более, казалось бы, что он изобрел уравнение: «разум=добродетель=счастие», каковое уравнение противоречит всем инстинктам древних эллинов. Но он, напротив, привлекал, очаровывал. Он сумел ввести в моду дотоле презиравшуюся диалектику и публичное зрелище фехтования исключительно умственным, логическим, теоретическим оружием. Он сумел сделаться необходимым человеком и был действительно необходим как яркое выражение разложения, упадка эллинизма и как великий врач, открывший, и по его собственному мнению, и по мнению других, радикальное средство против болезни века. Вышеупомянутому иностранцу, физиономисту, он ответил, что тот угадал, признав его вместилищем низменных похотей и пороков, но — прибавил он — я над всеми ими властвую. В этой реплике вместе с уравнением «разум=добродетель=счастие» лежит ключ к пониманию как личности Сократа, так и его исторической

* уродство на челе, уродство в душе (*латин.*).

роли. Не один Сократ болел неуравновешенностью инстинктов, их взаимною противоречивостью, не один он чувствовал потребность взять себя в руки, но он представлял собою яркий, привлекавший всеобщее внимание образчик этого состояния, этого недоверия к себе, и он же указал исцеляющее и дисциплинирующее начало в разуме. Но это указание уже само по себе было симптомом упадка. Плохо стояло дело Греции, если пришлось призвать тирана — разум, чтобы подавить им все естественные, бессознательные влечения, если понадобилось жить с постоянною оглядкою и расчетом на основании уравнения: разум=добродетель=счастие. Это было последнее, отчаянное средство: грекам оставалось или погибнуть, или отдать всего человека под тиранический контроль разума. Но эта разумность во что бы то ни стало является в свою очередь новою болезнью, новым признаком упадка. Сократ был величайшим из обманщиков, но не злонамеренным, потому что и сам себя обманывал. Человек с совершенно исключительной натурой, обуреваемый страстями и пороками, но в своей непреоборимой логике и жажде знания находивший себе точку опоры, он верил в свое уравнение, верил, что счастие состоит в добродетели, а добродетель есть дело знания; верил и заставил других поверить. Отсюда вековая борьба с бессознательными естественными влечениями и инстинктами. И это признак упадка, потому что при подъеме жизни счастие и инстинкт едино суть, нет между ними разлада. Но, кроме того, это источник пессимизма, ибо жизнь, состоящая в подавлении жизни, конечно, не дорого стоит. Это испытал на себе Сократ сам, что и выразил предсмертною фразою: жить — значит долго хворать.

Так приблизительно рассуждает Ницше в «Götzen-Dämmerung». В «Geburt der Tragödie» он освещает Сократа несколько иначе, вернее, с иной стороны. Сократ и здесь является тем же ненормальным, но великим человеком, обозначающим собою поворотный пункт в истории Греции, а через нее и в дальнейшей истории цивилизации. Но здесь он называется типичным «теоретическим человеком» и оказывается родоначальником, если не оптимизма вообще, то особенного его вида — «теоретического оптимизма». Сократ, полагавший возможным знанием проникнуть в сокровенную сущность

вещей и сводивший нравственное зло к умственному заблуждению и незнанию,— Сократ положил основание той доселе длящейся жажде знания, которая создала ряд сменяющих друг друга философских систем, опоясала и перепоясала законами весь мир и выстроила головокружительной высоты пирамиду познанных фактов. Познавательная деятельность признана благороднейшею, даже единственно достойною человека задачею, а способность познания — высшим даром природы; это — наследство Сократа. Даже возвышеннейшие нравственные деяния, волнение сострадания, самопожертвование, героизм выводятся Сократом и его преемниками до сего дня из диалектики знания и сообразно этому объявляются поучительными. Сократово наследство и эта вера во всеисцеляющие свойства знания, в возможность жизни, руководимой исключительно знанием. Эта точка зрения позволяет некоторым отдельным людям замкнуться в узкий круг разрешимых задач, изнутри которого они с веселием смотрят на жизнь: жить стоит, ибо жизнь можно познавать, а в познании заключается высшее наслаждение. В этом и состоит «теоретический оптимизм».

Таким образом, Сократ оказывается родоначальником и пессимизма с его девизом «Жизнь ничего не стоит», и по крайней мере «теоретического» оптимизма, умеющего так или иначе извлекать из жизни радости. Противоречия — совсем не редкость в сочинениях Ницше, а в данном случае противоречие было бы даже вполне извинительно ввиду тех семнадцати лет, которые отделяют «Geburt der Tragödie» от «Götzen-Dämmerung». Но здесь, собственно говоря, нет и противоречия. Как с одного и того же возвышенного пункта реки могут течь в разные, прямо противоположные стороны, так и с Сократа могут начинаться два противоположных течения. С точки зрения Ницше, важно только, что и в том, и в другом случае мы имеем движение вниз, падение, декаданс. «Geburt der Tragödie» посвящена анализу судеб древнегреческой трагедии, и мы не будем вдаваться в специальный вопрос о том, как влияние Сократа гибельно отразилось на этих судьбах и повлекло трагедию к упадку. Мы имеем в виду упадок вообще человечества, на что есть указания и в «Geburt der Tragödie», но в других сочинениях эта сторона дела

устанавливается ярче, определеннее, и здесь мы отметим пока только мелкость и непрочность того, что Ницше называет теоретическим оптимизмом. Ему уже Кант подрезал крылья. До Канта «теоретический человек» мог верить в возможность познать и разгадать все мировые загадки и относиться к пространству, времени и причинной связи как к безусловным и всеобщим законам. Кант показал, что эти категории только прикрывают и делают для человеческого познания недоступною истинную сущность вещей. Стоит только сравнить гетевского Фауста, прошедшего все факультеты и в отчаянии отдающегося чертям, с Сократом, чтобы увидать естественный ход и исход теоретического оптимизма. Теоретический человек когда-то бросился в открытое море познания и долго с восторгом плыл в нем дальше и дальше, но, не видя конца плаванию, убедившись, что и нет ему конца, утомившись, затосковал о береге; оптимизм разрешился тоской, меланхолией, пессимизмом. Существуют, однако, и доселе жизнерадостные теоретические человеки, но это или «библиотекари и корректоры, слепнущие от книжной пыли и опечаток», об которых и говорить не стоит, или те гордые, вверху стоящие, об которых Ницше говорит в статье «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben» («Unzeitgemässe Betrachtungen» *, I). Вступление к этой статье начинается цитатой из Гете, которого Ницше вообще чрезвычайно высоко ценит: «Мне ненавистно все, что меня только поучает, не усиливая моей деятельности или непосредственно не оживляя меня».

Мы можем на минуту приостановиться. Цитата из Гете вместе с язвительной выходкой против победоносных немцев, которым Бисмарк заменяет философов, поэтов и хорошие книги, указывает, не вполне, разумеется, точно — потому что точность тут и невозможна — те пределы, в которых Ницше считает жажду знания и возлагаемые на него надежды законными. Когда барабанно-патриотическая песня и личность железного объединителя Германии заглушают и заслоняют всякие умственные интересы, Ницше негодует. Но, с другой

* «О пользе и вреде истории для жизни» («Несвоевременные размышления» (*нем.*).

стороны, ему, как и Гете, ненавистно все, что *только* поучает. Отсюда так дурно понятый Максом Нордау скептицизм Ницше по отношению к знанию[2]. Отсюда же странные на первый взгляд слова в предисловии ко второму изданию «Fröhliche Wissenschaft» *: «Нас не потянет больше на путь тех египетских юношей, которые проникали ночью в храмы, обнажали статуи и старались все прикрытое открыть, вывести на белый свет. Нет, мы перестрадали этот дурной вкус, эту жажду «знания во что бы то ни стало»: мы для нее слишком опытны, серьезны, веселы, глубоки. Мы больше не верим, что истина остается истиной, если с нее снять покрывало. Ныне нам представляется делом приличия не все видеть обнаженным, не все хотеть понимать и знать».

Надо заметить, что все предисловия самого Ницше ко вторым изданиям его сочинений как более поздние написаны особенно странным языком и носят на себе явную печать, если не совсем расстроенного, то, во всяком случае, беспокойного, смятенного духа. Но и здесь, среди разных странных выходок, ведется все та же основная линия, которую, несмотря на все ее извороты и осложнения, можно проследить от первого до последнего сочинения Ницше. Так и только что приведенные странные слова из предисловия к «Fröhliche Wissenschaft» имеют свое место в самой сердцевине философии Ницше и получают даже редкое у него систематическое развитие в упомянутой уже части «Unzeitgemässe Betrachtungen». Там, между прочим, читаем: «Историческая точка зрения, если она прилагается к делу без ограничений и с полною последовательностью, подрывает корни будущего, потому что разрушает иллюзии и лишает существующие вещи той атмосферы, в которой они только и могут жить». Что же это за «иллюзии», разрушения которых надо остерегаться, и покрывала, которые не надо снимать с истины? Этот вопрос, любопытный в наше трезвое время вообще, получает особенную пикантность по отношению к Ницше: ведь он, как знает большинство читателей понаслышке, крайний материалист, отвергающий «законы, совесть, веру», разрушитель всех иллюзий. Ведь

* «Веселая наука» (*нем.*).

г. Грот, например, утверждает, что Ницше хочет «дать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу», что он «рационалист», ищущий в разуме последнего критерия истины» («Нравственные идеалы нашего времени» в «Вопросах философии и психологии», 1893, январь, стр. 135, 141). И как же не поверить г. Гроту, ex officio * поучающему нас по части философии и с кафедры, и в специальном журнале? С другой стороны, однако, как же нам не поверить самому Ницше, когда он объявляет «разумность» Сократа той соломинкой, за которую схватилась морально разлагавшаяся Греция и которая все-таки не спасла ее, а дала новый и притом двойной толчок к упадку; когда он становится на страже «иллюзий» и объявляет частию ненужным и вредным, «неприличным», как он выражается, а частию невозможным снимать покрывало с Изиды? И, повторяю, заметьте, это самая сердцевина всей философии Ницше. Мы значительно приблизимся к правильному пониманию этой философии, если с буквальною точностию повторим определения г. Грота, но с прибавкой отрицательной частицы *не*: Ницше *не* рационалист, Ницше *не* хочет давать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу...

Итак, об иллюзиях, безнужно, или неправильно, или вредоносно подрываемых исторической точкой зрения. Статья, в которой об них речь идет, озаглавлена: «О пользе и вреде истории для жизни». Я не буду передавать взгляды Ницше на *пользу* истории, они здесь для нас не представляют особенного интереса, да и из читателей никто, конечно, в пользе истории не сомневается. Я только прошу заметить, что Ницше вполне признает пользу истории в тех случаях и пределах, в которых она служит жизни. Но бывает и наоборот. Бывает, что история не только не служит жизни, а ее к себе требует на службу. Уже из того, что мы до сих пор узнали о Ницше, ясно, как высоко ценит он жизнь, жизнь во всей ее полноте, со всеми цветами ее радуги, жизнь для жизни. Для него одинаково симптомы упадка — и пессимизм с аскетизмом как непосредственное, так сказать, количественное умаление жизни, и оптимизм, по крайней мере «теоретический оптимизм», ка-

* по должности (*латин.*).

чественно умаляющий жизнь, односторонне перенося центр тяжести ее в одну из ее функций, в функцию познания. Когда-то мне случилось мимоходом предложить разделение людей на разбитых, забитых и борцов [3]. С точки зрения Ницше, разбитые оказались бы пессимистами, забитые — оптимистами (теоретическими), а сам он — борцом, который ждет наилучших результатов от своей деятельности, но именно от нее, и готов принять всякую скорбь и боль под условием опять-таки действенного отношения к жизни. Он хочет жить — жить во вся, не разумом только, но и чувством, и волей, быть может, прежде всего волей. Этому-то и препятствует то, что он называет Übermaas der Historie, чрезмерностью истории. Известная доля «исторического», то есть связанного с воспоминаниями о прошлых делах и событиях, необходима для жизни, но столь же необходима для жизни и для самой истории известная доля «неисторического», трепещущего мыслью и страстью данной минуты, без какого бы то ни было отношения к ее месту в истории. История в свое время разберет всю ту сложную сеть интересов, страстей, идеалов, запросов, из которых слагается физиономия данной минуты, и всему укажет настоящее место. Но пока эта минута длится, нужна известная атмосфера, «неисторическая». История уравняет одушевляющие нас идеалы в ряде других, отживших, похороненных, и укажет их корни в той или другой комбинации преходящих условий. Но сейчас они должны нас одушевлять как таковые, как идеалы, в правоту и возвышенность которых мы верим. Ни один художник не создаст своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не добьется свободы, не проведя их предварительно через эту атмосферу неисторического. И все великое, достойное занять место в истории, совершалось именно так. Великие деятели справляются, конечно, с историей, почерпая из нее уроки, но они не думают об том, чтобы идти непременно в такт с историей, они сами ее создают; они, и по собственному мнению, и по мнению других, часто идут наперекор истории, и это, конечно, иллюзия, но иллюзия необходимая, без которой не было бы и самой истории, и вообще жизни. Ныне часто говорят с торжеством, что наука, и в частности история, начинает управлять

жизнью. Ницше полагает, что такое управление возможно, но должно повести к оскудению жизни. В действительности же это оскудение уперлось бы в полную невозможность. Представим себе, что история сорвала перед нами завесу будущего, и мы ясно видим свою собственную судьбу, судьбу детей наших, судьбу народов. «Как мимолетное виденье», эта картина была бы и занимательна, и способна взволновать горечью и радостью, смотря по тому, что в ней заключается. Но жить под ее давлением, именно давлением, было бы невыносимо для теперешней человеческой души. Все мы знаем, что будет то, что будет, что должно быть, но мы не знаем, что именно должно быть, и на этом построены наши надежды и опасения, вероятности и возможности победы и поражения, наш выбор жизненного пути, наша борьба за то, что мы считаем правдой, вся жизнь наша. Все это рухнуло бы или, если принять в соображение, что все это есть тоже продукт истории, осложнилось бы сознанием, что чья-то мощная рука насильно ведет нас к заведомо, может быть, неосновательным опасениям и заведомо несбыточным надеждам, да если и к основательным и к сбыточным, то раздвоенность наша была бы при этом не менее тягостна. Нет, для нас, по крайней мере для теперешних людей, пускай эта статуя Изиды остается под покрывалом! Да ведь его и нельзя снять это покрывало. Теоретически мы можем, должны говорить о необходимости известных, точнее, неизвестных нам грядущих событий, но практически мы заключены в пределы вероятностей, возможностей и желательностей. И тех, кто желает так или иначе участвовать в жизни, а не присутствовать при ней, «чрезмерность истории» может заставить призадуматься. «Только сильный человек может выносить историю,— говорит Ницше,— слабых она подавляет». Исторические факты — «так было» — разрушительно действуют на энергию в настоящем, приучая слабых людей к мысли, что жизнь есть исполнение предначертаний истории. Тогда как, наоборот, жизнь должна давать тон истории, как в смысле направления хода событий, которые в свое время запишутся в историю-науку, так и в смысле указания тем, которые эта история-наука должна разрабатывать. Слабые люди, изнемогшие под тяжестью истории, прячутся и в том, и в другом случае за слово

«объективизм». Доходит до того, что объективным считается и лавры за беспристрастие стяжает историк, избирающий для исследования предмет, до которого ему никакого дела нет. Он выбирает того или другого папу или императора, тот или другой исторический период, ту или другую страну,— почему? Никому, ни же ему самому не известно: он объективен, для него все исторические факты равно достойны изучения. Но это еще только безразличие выбора, и, может быть, в отмежеванном себе уголке историк еще окажется живым человеком. Бывает хуже, когда объективизм сводится просто к апологии факта, каков бы он ни был. И здесь я приведу целиком страницу из Ницше:

«Я думаю, что среди опасных течений и шатаний немецкой мысли в нынешнем веке нет опаснее того огромного, до сих пор продолжающегося влияния, которым пользуется гегелевская философия. Уверенность, что нами заканчиваются времена, необходимо должна уродовать людей; но она становится страшною, когда дерзким оборотом мысли обожествляет нас как представителей истинного смысла и цели всего доселе бывшего, когда мы свою духовную нищету объявляем завершением всемирной истории. Такой способ воззрения приучил немцев говорить о «мировом процессе» и оправдывать свое время как необходимый результат этого мирового процесса; этот способ воззрения поставил на место других духовных сил, искусства, религии,— самодержавную историю, поскольку она есть «самоосуществляющееся понятие», «диалектика духа народа» и «мировой суд». Это по-гегелевски понятую историю насмешливо называли странствованием по земле божества, которое, однако, само создается историей. Но оно собственно в мозгу Гегеля объявилось и проделало все диалектические ступени бытия вплоть до своего обнародования. Так что для Гегеля высший и конечный пункты мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Он должен бы был сказать, что на все после него появившиеся вещи надо смотреть только как на музыкальное «Coda» к всемирно-историческому «Rondo», а еще вернее, просто считать их излишними. Он этого не сказал. Но зато он водрузил в пропитанных им поколениях тот восторг перед «властью истории», который практически ведет

к открытому восторгу перед успехом и идолопоклонству перед фактом. Для этого изобретено выражение «считаться с фактами». Но кто научился сгибать спину и склонять голову перед «властью истории», тот китайски-механически вторит всякой власти вплоть до общественного мнения и численного большинства. Так как каждый успех содержит в себе разумную необходимость, каждое событие есть победа логики или «идеи», то живо на колени по всем ступеням лестницы успехов! И говорят, что господство мифологии кончено! Да посмотрите же на эту мифологию власти истории, обратите внимание на ее жрецов и на их ободранные колени. И все добродетели сопутствуют этой новой вере. Разве это не самоотвержение, когда исторический человек позволяет перелить себя в объективное зеркальное стекло? Разве это не справедливость — держать постоянно в руках весы и пристально смотреть, на которой из чашек более тяжести, силы? И какая превосходная школа приличия это отношение к истории! Все принимать объективно, ни на что не сердиться, ничего не любить, все понимать,— это делает мягким, гибким. А если кто-нибудь из воспитанных в этой школе иной раз и рассердится, то это ничего, все ведь понимают, что это только так, только ira и studium * и все-таки совсем sine ira et studio **».

Ницше отмечает далее неизбежность столкновения между «чрезмерностью истории» и моралью. «Да, мораль! — говорит он.— Возьмите какую хотите человеческую добродетель, справедливость, великодушие, храбрость, мудрость, сострадание,— она всегда потому добродетель, что восстает против слепой силы факта, против тирании действительности и подчиняется законам, которые не суть законы исторических течений. Она плывет всегда против исторических волн,— борется ли она с собственными страстями как с ближайшими глупыми фактами или обязывается честностью, когда кругом ложь плетет свою блестящую паутину... К счастию, история хранит и воспоминания о великих борцах против истории, то есть против слепой силы действительности, и сама себя ставит к позорному столбу именно

* гнев и пристрастие (*латин.*).

** без гнева и пристрастия (*латин.*).

тем, что как раз тех именно и выдвигает как исторических деятелей, которые мало озабочивались тем, что есть, дабы с веселою гордостью следовать тому, что должно быть».

И еще: «Никогда историческая точка зрения не вздымалась так высоко. Теперь история человечества есть продолжение истории животных и растений; и в глубочайших глубинах моря всемирно-исторический человек находит в живой плазме следы самого себя. У него голова кружится при виде этого огромного пути, который он прошел, и еще более при виде самого себя, современного человека, который может этот огромный путь обозреть. Он высоко и гордо стоит на пирамиде мирового процесса; кладя на нее последний камень своего познания, он точно хочет сказать прислушивающейся к его голосу природе: «Мы у цели, мы — сама цель, мы — завершенная природа». О, прегордый европеец девятнадцатого века! ты бредишь. Твое знание не завершает природу, а убивает твою собственную. Попробуй сравнить высоту того, что ты знаешь, с глубиною того, что ты можешь».

Все приведенные мысли Ницше, за исключением одной, очень важной, к которой мы сейчас обратимся, проходят сквозь все его сочинения в более или менее ярком выражении, и если кое-что, в особенности в отдельных афоризмах, им противоречит, то либо в подробностях, либо в очень малых, сравнительно, дозах. Читатель видит сам, насколько мы были правы, утверждая, в противность категорически высказанному мнению г. Грота, что Ницше не рационалист и не хочет давать в жизни человека «торжество разуму и трезвому анализу». Напротив, его первая дерзость, не столь громкая, как другие его дерзости, состоит в том, что он бросает «прегордому европейцу XIX века» в лицо упрек в бессилии, взращенном на почве излишнего доверия к разуму и «трезвому анализу». Ницше претит все, в чем он усматривает преобладание «разумности» в ущерб другим духовным силам человека и его естественным влечениям, инстинктам, как он обыкновенно выражается. Собственную, личную свою profession de foi * он, как мы видели в прошлый раз [4], выражает словами:

* исповеданье веры (*франц.*).

«Я не знаю лучшей цели жизни, как погибнуть, animae magnae prodigus, на великом и невозможном». И таковы были, по его мнению, древние досократовские греки, расточавшие «силу всю души великую»[5] на борьбу с роковыми силами, не опасаясь трагического исхода. Древний грек вероятностью этого исхода и даже уверенностью в нем не убеждался ни в ничтожестве жизни, ни в неправоте своего дела. Правоту этого дела он основывал на своем личном убеждении, на своей личной вере, а не на каких бы то ни было сторонних соображениях. В отстаивании своего дела даже до гибели он видел свое счастие, высшее содержание своей жизни. С Сократа начался упадок в сторону приспособленного к обстоятельствам, историческим и иным, разумно-добродетельного счастия или, как выражается безымянный герой «Записок из подполья», «непременно благоразумного выгодного хотения»[6].

Как бы кто ни смотрел на вышеизложенное, но до сих пор мы не видим в Ницше не только рационалиста — это просто пустяки,— но и теоретика эгоизма, и «имморалиста», каким Ницше вообще считается и сам себя считает. До сих пор мы видим благороднейшего и смелого мыслителя, на иной взгляд, мечтателя, идеалиста, ставящего свои требования с точки зрения чрезвычайно возвышенно понимаемого индивидуализма. Человеческая личность есть для него мерило всех вещей, но при этом он требует для нее такой полноты жизни и такого противостояния всяким выгодам и условиям, умаляющим ее достоинство, что об эгоизме в вульгарном смысле слова и об каком бы то ни было «имморализме» не может быть и речи. Пойдем дальше.

Мы только что сказали, что через все сочинения Ницше проходят вышеприведенные мысли, за исключением одной. Это та именно, что «мораль» и «добродетель» *всегда* восстает против слепой силы факта, против тирании действительности и подчиняется законам, которые не суть законы исторических течений. Эта мысль находится в противоречии почти со всем, что Ницше писал о морали и добродетели.

Кроме толчка, данного Сократом, Ницше знает еще и другой, совсем другой источник упадка и другую

его картину, соответственно которой он говорит и другие дерзости цивилизации и прогрессу. Чтобы оценить эту сторону дела, вернемся к сказанному в № 8 «Русского богатства» о предшественнике Ницше[7] Максе Штирнере. Он, между прочим, тоже заинтересовался Сократом, но только судом над ним и его смертью, которую, мимоходом сказать, Ницше считает добровольною. Штирнер относится к делу гораздо грубее, проще. Он говорит: «Сократа хвалят за добросовестность, с которою он отклонил совет бежать. Но он был просто глуп, признавая за афинянами право суда над ним. С ним поступали по праву. Зачем стоял он на одной почве с афинянами? Зачем не разорвал с ними? Если бы он знал, мог знать, что он такое, он не признал бы за такими судьями никаких прав. Его отказ был слабостью, заблуждением, будто он имеет что-то общее с афинянами или что он член, простой член этого народа. Он мог быть только собственным судьей. Он и был им, когда сказал, что он достоин Пританея[8], и на этом ему следовало стоять, и так как он не приговаривал себя к смерти (Ницше думает, что именно сам себя приговорил), то должен был презреть суд афинян, но он подчинился и признал народ своим судьей, признал себя малым перед величием народа. Он мог не устоять перед силой, но его признание права было изменой по отношению к себе: это была добродетель».

Мы уже знакомы с необузданным эгоизмом Штирнера и приводили его образчики. Напомним их, потому что в них заключается в зародыше весь настоящий «имморализм» Ницше.

Штирнер знает, что есть силы сильнее его и вообще всякого *я*, но, признавая эту силу как факт, он не хочет признавать ее как право и в то же время утверждает, что право есть сила. Сократ оказал слабость, признав за афинянами право над ним, и они поступили с ним по праву, потому что оказались сильнее его. *Я* имеет право на *все*, но, чтобы осуществить это право, я должен пустить в ход силу — силу ума, силу физическую, силу хитрости, как придется. Главное же дело в том, чтобы освободиться от почтения к разным фантомам, от преданности «шпукам»[9], убедиться, что их в действительности совсем даже нет, что это только со-

здания извращенного человеческого духа. «*Я* решаю вопрос о праве; вне меня нет права. Что по-моему право, то и есть право. Возможно, что другие не призна́ют за мной этого права; это их дело, а не мое: пусть действуют. И если бы весь свет не признавал за мной того права, которое признаю я, то я не посмотрю и на весь свет. Так поступает всякий, кто умеет ценить себя, поскольку он эгоист, ибо сила первенствует над правом — и притом с полным правом». И в другом месте: «Тебя свяжут! — Мою волю никто не может связать.— Но ведь наступил бы полный хаос, если бы каждый мог делать все, что хочет! — Кто же говорит, что каждый может делать все, что хочет? Кто хочет сломить твою волю, тот тебе враг, так с ним и поступай».

Рассуждение вполне логичное, слишком логичное, слишком голо логичное, и Ницше под ним целиком не подписался бы. Читатель сам увидит почему. А теперь обратим внимание на ту аристократическую струнку, которая слегка звучит в рассуждении Штирнера о суде над Сократом. Всякое *я* полноправно, и все они равноценны. Но вот *я* Сократа как будто и подороже сто́ит, чем другие афинские местоимения первого лица. Сократ оплошал и за это по праву поплатился, но он все-таки человек особенный, «выдающийся», «необыкновенный» и в качестве такого именно не должен был признавать право суда над ним. Ведь мало ли кого афиняне судили, но не всем же им претендовать было на место в Пританее. Очевидно, *я* «выдающихся», «необыкновенных» людей имеет какое-то преимущество в глазах Штирнера, какое — не известно, ибо, как мы уже говорили, книгу Штирнера надо считать незаконченною. Ей недостает положительной части, которая у Ницше есть. Есть у него и дальнейшее, до последней степени резкое развитие той легкой аристократической струнки, которая у Штирнера звучит едва ли только не в одном приведенном месте о Сократе.

«Ценность эгоизма,— говорит Ницше («Götzen-Dämmerung», 98),— зависит от физиологической ценности его носителя: она может быть очень велика, а может быть и совсем ничтожна и презрительна. Каждый отдельный человек должен быть рассматриваем с той стороны, представляет ли он собою восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса и даст

меру ценности его эгоизма. Если он представляет подъем линии, то его цена высока и ради всей совокупности жизни, которая делает с ним шаг вперед, он должен быть обставлен наилучшими условиями. «Индивидуум», как его до сих пор понимали толпа и философы, есть заблуждение; он не атом, не «звено цепи», он — целая линия человека вплоть до него самого. Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, заболевание (болезни, вообще говоря, суть следствия упадка, а не причины его), то цена ему малая, и элементарная справедливость требует, чтобы он возможно меньше отнимал на свою долю у лучших; он только их паразит».

Во имя личности Ницше требует отчета у всех реальных и идеальных форм общественности и горячо протестует против обращения ее в «орудие», функцию, орган какого бы то ни было целого; личность во всей полноте ее сил и потребностей противопоставляет он всем стихийным силам природы и истории вплоть до мирового процесса в целом и до трагического конца самой личности, если бы таковой оказался неизбежным. Но затем оказывается, что личности не равноценны и что есть какое-то целое — «совокупность жизни», das Gesammt-Leben,— в интересах которого должна производиться расценка личностей: кто лучше может этому целому послужить, тому и цена большая, а кто послабее, тому и цена поменьше и житейская доля похуже. Этим в корень подрывается исходная точка Ницше. Что люди, конкретные личности, не равны между собою не только по своему общественному положению, но и по своим силам и способностям,— это мы все очень хорошо знаем. Но вопрос не в этом слишком несомненном стихийном факте и даже не в том, что «ина слава солнцу, ина слава луне и звезда от звезды разнствуют во славе» [10]. Разумеется,— «ина», разумеется,— «разнствуют». Вопрос в принципе, на основании которого мы устанавливаем или должны устанавливать эти различия и производим или должны производить эту расценку. В практической жизни это дело чрезвычайно сложное и запутанное. Оставляя в стороне личные привязанности и отвращения и национальные, сословные и профессиональные предрассудки, широкою волною врывающиеся обыкновенно в нашу расценку людей, мы все же

получим нечто очень сложное. Человек большого ума и исключительных дарований, раздвинувший наши теоретические горизонты, «насытивший кристалл очей» наших дивными художественными произведениями, или словом, или музыкальными звуками поднимающий в нас волну лучших чувств, обогативший человечество благодетельным открытием или изобретением, может оказаться слабым, ничтожным, дрянным характером. Увы! это слишком часто случается. Мало того, большой ум и редкий талант, которых мы не можем не ценить высоко как силу бывают направлены на дела, которые мы по тем или другим соображениям опять же не можем не ценить крайне низко, даже отрицательно. Наоборот, маленький во всех других отношениях человек может таить в себе, а при случае и обнаруживать, такую нравственную мощь и красоту, перед которой мы поневоле должны почтительно снять шапку. Но ее столь же почтительно можно снять и перед обыкновенным рядовым работником на деле, которое мы считаем важным, нужным, святым. Таким образом, не только звезда от звезды разнствуют во славе, но и в самих-то звездах лучи славы и бесславия переплетаются в очень разнообразных комбинациях. Если мы введем сюда физиологический элемент, указываемый Ницше, то он не только не устранит этой сложности, но еще введет новые осложнения. Посетитель цирка или балагана, любующийся атлетом, рабовладелец, выбирающий на рынке здорового, сильного, выносливого раба, ввиду своих частных целей, конечно, ценят этого атлета и этого раба выше больных и слабых, и они правы с своей точки зрения. На что бы им годился галлюцинант-Сократ, эпилептик-Магомет, хилый Вольтер, слабогрудый Шиллер, больной Ницше? Но люди, получившие от этих больных и слабых известное возбуждение, хотя бы только в видах пересмотра своего умственного и нравственного багажа, конечно, без дальних размышлений дадут им высшую оценку, чем тысячам здоровых и сильных.

Без дальних размышлений... Но Ницше вводит нас именно в область дальних размышлений. Он предлагает общий принцип, в котором тонут как частные, незаметные глазу мелочи, цели рабовладельца, посетителя цирка или читателя сочинений Вольтера и его самого,

Ницше, или общественного деятеля, занятого каким-нибудь житейским вопросом. Он указывает общий руководящий принцип, и уж наше там дело прикидывать его к житейским частным случаям. Притом же приведенная из «Götzen-Dämmerung» цитата есть в известной степени lapsus calami * (до известной, однако, только степени). Из совокупности его сочинений видно, что высокой оценке подлежит не только физическое здоровье, а и духовная энергия. Но все-таки почему же какая-то «совокупность жизни» является вершительницей судеб и определительницей ценности личности? И почему эта самая личность, индивид, который ест и пьет, болеет и радуется, родится, растет и разрушается, которого мы обнимаем в лице брата, друга, сына, любимой женщины, которого, наконец, сам Ницше так оберегает от всякого ущерба,— почему он оказывается даже не существующим? Он — не он, а какая-то линия, восходящая или нисходящая; он — предрассудок «толпы и философов». Относительно философов Ницше несколько ошибается, упрекая их в этом предрассудке. И прежде бывали временами, и теперь опять объявились философы, вполне свободные от этого предрассудка и решительно утверждающие, что всеми видимого, осязаемого и в свою очередь видящего, осязающего, чувствующего индивида нет, а если он и существует, то на него не следует обращать внимание. Но меньше всего можно бы было ожидать такого оборота мысли от Ницше. Он ведь так негодует на то, что «сознательно или бессознательно люди стремятся ни больше, ни меньше, как полному преобразованию, и именно ослаблению, даже уничтожению индивидуума» («Morgenröthe» **, 127). И вот Ницше сам накладывает на него руку во имя «совокупности жизни», которую Штирнер, не обинуясь, назвал бы таким же Spuk, фантомом, как все прочие, в том числе и те, с которыми борется сам Ницше. Конечно, Штирнер груб и узок, и из его *я* мудрено бы было логически вывести какое-нибудь мерило ценности людей, не прибегая опять же к какому-нибудь неожиданному фантому, как это случилось с Ницше. Но исходная точка Ницше допускала и даже навязывала иной выход, а именно: если личность есть

* недосмотр, промах (*латин.*).

** «Утренняя заря» (*нем.*).

самоцель, не подлежащая низведению на степень средства для достижения какой бы то ни было другой цели, то и мерилом ценности людей может быть лишь размер их службы этому принципу. Здесь не место входить в подробности и практические применения, да и нет резона распространяться об том, чего Ницше не сделал, когда мы еще далеко не покончили с тем, что он сделал.

Цивилизованное человечество находится со времен Сократа в упадке, потому что рационализировало свои инстинкты, вдвинуло свои естественные влечения в узкие рамки «разумности» и тем себя обессилило. Но оно обессилило и продолжает себя обессиливать еще другим путем: оно стало *добрее*, что на теперешнем языке значит *лучше*. Но верно ли, что «добрее» и «лучше» — одно и то же? И верно ли, что человечество стало действительно и добрее и лучше? В этих двух вопросах заключается корень всего «имморализма» Ницше, и в частности так смутившего г. Астафьева предложения занять позицию «по ту сторону добра и зла» jenseits von Gut und Böse) [11]. Оборот тут выходит почти каламбурный, так как по-немецки gut значит и добрый и хороший, как в старом русском языке, остатки чего и доселе сохранились; добрый не значило непременно мягкий, любвеобильный и могло даже не иметь никакого отношения к области морали. «Удалой добрый молодец» русских былин, песен и сказок, разъезжая на «добром коне», совершал весьма часто подвиги, не имеющие ничего общего с добротой, а «добрую рюмку водки выпить» и тарелку «добрых щей» съесть мы можем и сейчас. Хотя дело само по себе ясно, но Ницше счел нужным в «Genealogie der Moral» * пояснить: «Jenseits von Gut und Böse... Dies heisst zum Mindensten *nicht* "jenseits von Gut und schlecht"» **.

Как произошло совпадение понятий «добрее» и «лучше»? Для решения этого вопроса Ницше естественно обращается к истории. Но фактически или, вернее, псевдофактическая часть этого его исторического экскурса решительно ничего не стоит. Она в такой степе-

* «Генеалогия морали» (*нем.*).

** «По ту сторону добра и зла... Это по меньшей мере не означает «по ту сторону хорошего и дурного» (*нем.*).

ни произвольна, фантастична и противоречива, что над нею можно бы было и еще сильнее посмеяться, чем это сделал Макс Нордау [12], особенно если заняться сравнением всего, разбросанного по этому предмету в разных сочинениях Ницше, в том числе в отдельных афоризмах. Мы, однако, этим не станем заниматься и ограничимся лишь самыми общими чертами, рисующими основную мысль.

Когда-то где-то жили люди (иногда это греки, иногда римляне, иногда германцы), по своим инстинктам подобные хищным зверям. Они были сильны телом и духом, храбры, воинственны, кровожадны, чувственны, властолюбивы, искали опасностей как случая проявить свою через край бьющую силу и наслаждений как случая ее растратить. Как они жили между собой, не известно: иногда следует думать, что они избегали всяких сношений между собой и жили в одиночку, собираясь в орды или шайки только для грабежа, разбоя, войны, а иногда выходит так, что они проявляли во взаимных отношениях «добрые» качества, которые и ныне добродетелями считаются. В конце концов, однако, их мораль, то есть их понятия о добре и зле, о нравственно одобрительном и неодобрительном, резко отличались от наших теперешних. Злое, то есть злобное, отнюдь не значило для них «дурное», равно как «доброе» не значило «хорошее». Совсем даже напротив. И вот они столкнулись с другой расой, более слабой, победили ее и обратили в рабство. Мораль рабов, слабых, придавленных, естественно, отличалась от морали господ. Господа победители считали нравственно одобрительными, высшими, лучшими качествами храбрость, жестокость, чувственность, властолюбие, открытость во всех действиях — потому что им нечего стесняться было — и, следовательно, правдивость. Добродетели рабов-побежденных были совершенно противоположны, сообразно тому, что указывало им их придавленное положение: они должны были жаться друг к другу и воспитывать в себе так называемую любовь к ближнему, мягкость, осторожность, умеренность, хитрость.

Здесь я не могу удержаться, чтобы не привести одного не замеченного Максом Нордау историко-антропологического курьеза. Победоносная раса, сильная, храбрая, жестокая, была белокура, а побежденная, сла-

бая, трусливая — темнокожа и черноволоса («Zur Genealogie der Moral», 8), и Ницше часто говорит о «великолепном, жаждущем добычи и победы белокуром животном». А между тем, в одном из своих афоризмов он предлагает следующую изумительную гипотезу: не объясняется ли темнокожесть частыми, в течение веков, припадками злобы, вызывающими прилив крови в коже, а белая кожа — столь же частыми приступами страха, сопровождаемого бледностью? («Morgenröthe», 221).

Долго ли, коротко ли, но две противоположные морали существовали рядом, вызывая взаимные недоразумения, скрытую ненависть и открытое презрение, вообще вражду, окончившуюся в один прекрасный день восстанием рабов; восстанием не в тех воинственных формах, какие мы обыкновенно себе представляем в связи с этим словом,— об этом мы по крайней мере ничего не узнаем,— а «восстанием в морали», восстанием и победой рабов. Как это случилось, понять довольно трудно. Достоверно только, что толчок в этом направлении дан цивилизованному миру евреями. Им удалось неизвестными путями произвести «переоценку всех ценностей», или, вернее, навязать человечеству свою оценку, свою «рабскую» мораль смирения, самоотречения, воздержания, кротости, сострадания и вытеснить ею мораль «господ». Впоследствии к этому торжеству примкнули и другие рабские элементы. С этих пор «добрый» и «хороший», с одной стороны, «злой» и «дурной» — с другой, стали синонимами, а вместе с тем начался упадок человечества. Эгоизм при этом не исчез, по мнению Ницше: он только прикрылся условной фразой, притаился и в то же время получил характер расслабленности, робости, расчетливости. *Всякая* альтруистическая мораль представляет собою такой скрытый и «рабский» эгоизм. Ницше не делает исключения не только для принципов любви к ближнему и сострадания, но и для дружащей с эгоизмом утилитарной морали, в которой видит те же рабские черты — прикровенность, трусость, слабосилие. Принцип пользы, без сомнения, слишком односторонний и узкий, как для объяснения «генеалогии морали», то есть ее фактического развития в истории, так и для руководствования в любой данный момент, представляется Ницше одним

из результатов того слабосилия и связанной с ним трусости, которые заставляют людей жаться друг к другу и рассчитывать каждый свой шаг. А все это является выражением упадка, пониженной жизнеспособности Когда тон жизни давала мораль «господ», «злое» было лишь проявлением избытка силы, переливавшейся через край, искавшей себе поприща, не отступая перед возможностью нанесения страдания другим, но не избегая опасностей и страданий и для себя и находя удовлетворение в своей собственной яркости и полноте. «Последним великим временем» Ницше считает эпоху Возрождения и не останавливается перед известной идеализацией одного из знаменитейших в истории человечества насильников, предателей и развратников — Цезаря Борджиа. Современные люди восприняли рабскую, альтруистическую мораль вследствие своей слабости. Они так слабы, что всю свою жизнь проводят и всю цель жизни видят в избежании опасностей и в спокойном, уверенном существовании. Ради него они отказываются от удовлетворения своих инстинктов и страстей и приближаются к более или менее строгому аскетическому идеалу; ради того же они возводят в звание добродетели такие качества, поступки и мотивы поступков, которые гарантируют им скудное, серенькое, но спокойное и безопасное житие. Этот симптом упадка в свою очередь ведет к дальнейшему упадку, потому что в современном обществе все прилаживается к тому, чтобы охранить слабых насчет сильных, жизнеспособных. Если это не достигнуто на деле, то к тому стремится вся разноименная современная мораль и сама по себе, и поскольку она отражается в политике. Все эти толки о всеобщем равенстве, о рабочем, о женском вопросе представляют собою отзвуки упадка, декадентского стремления срезать все вершины и все нивелировать на низшем уровне. К народным массам Ницше относится с величайшим презрением. Они «кажутся ему заслуживающими внимания только в трех отношениях: во-первых, как расплывающиеся копии великих людей, воспроизведенные на плохой бумаге стертыми клише, затем как противодействие великим и, наконец, как орудия великих; в остальном — побрал бы их черт и статистика!» («Unzeitgemässe Betrachtungen», I, 189). Я привожу эту цитату только ради энергии и определенности ее выра-

жений, а иначе затруднился бы в выборе,— столь велико презрение Ницше к массам и столь часто и многообразно оно проявляется. Автор предисловия [13] ко второму изданию «Also sprach Zarathustra» * справедливо говорит, что аристократизм (Vornehmheit) составляет существенную черту всего учения Ницше и жестоко ошибаются те анархисты, которые думают на нем основаться. Критики (в том числе и Нордау) часто цитируют слова: «Нет истины, все дозволено»— как подлинное и полное выражение основной мысли Ницше. Это совсем неверно. Все относящееся сюда место гласит так: «Когда крестоносцы столкнулись на Востоке с непобедимым орденом ассассинов, орденом свободных мыслителей par excellence **, низшая степень которого жила в повиновении, не виданном ни в каком монашеском ордене,— они узнали каким-то путем и символ, и лозунг, составлявший тайну лишь высших степеней: «Нет истины, все дозволено» («Zur Genealogie der Moral», 167). Таким образом, невиданная свобода одних сопровождалась невиданным повиновением других, и именно это пленяет Ницше в недоброй памяти ордене или секте ассассинов, название которых примыкает, с одной стороны, к арабскому гашишу, а с другой — к французскому assassin (убийца). Отнюдь, значит, не всем все дозволено, а лишь очень и очень немногим избранным, лучшим, которым остальные должны слепо повиноваться.

Кто же, однако, эти лучшие? и почему они лучшие? и почему лучшим следует приносить в жертву остальных? Не будем гоняться за историческою точностью, — Ницше, очевидно, даже уж слишком далек от Übermaas der Historie, — допустим, что момент столкновения двух рас, господской и рабской, и затем момент торжества рабской морали суть не фантазии, а настоящие исторические факты. Относительно первого из этих моментов мысль Ницше совершенно ясна: лучшие были представлены расой господ-победителей. Они были выше физиологически, энергичнее, ярче, жизнеспособнее. Ницше знает, что это были дикие звери, с нашей теперешней точки зрения, но употребляет всевозможные средства

* «Так говорил Заратустра» (*нем.*).
** по преимуществу (*франц.*).

для того, чтобы убедить нас, что мы, нынешние люди, стоим ниже этих зверей и сто́им дешевее их. То он как художник эстетически любуется яркостью красок, мощью страстей, широким размахом удали в стародавней жизни, как она ему рисуется по сравнению с нашим теперешним, относительно спокойным, но сереньким существованием. То как мыслитель он старается расшевелить в нас скептицизм по отношению к нашим привычным понятиям о добре и зле, не только остроумно, но отчасти и не без основания доказывая, что «добрый» и «хороший» не так уж абсолютно совпадают в принципе, как они совпали в словесном выражении. Он указывает далее на то преимущество «великолепного, жаждущего победы и добычи белокурого животного», что в нем не было внутренней раздвоенности, что оно не считало ни одного из своих естественных влечений, «инстинктов», дурным, не умаляло этим путем жизни, не противоборствовало ей и, следовательно, лучше служило тому Gesammt-Leben, которое одно должно быть признано источником и мерилом нравственности и которое мы оскорбляем своими аскетическими идеалами, своими понятиями о долге и разных обязательных ярмах. В связи с этим находится и та его мысль, которую, как мы видели, можно выразить двумя афоризмами Достоевского: «Человек деспот от природы и любит быть мучителем», «Человек до страсти любит страдание»[14].

Таков нормальный человек, по мнению Ницше, и потому, видя в современном человечестве усиление «доброты», которой он не верит, и заботливость о спокойном, безопасном существовании, он говорит об упадке. Если, однако, мы со всем этим и согласимся, то сам собою является вопрос: где же теперь «господа»? Кто теперь «лучшие»? ибо ведь «великолепное белокурое животное» было и быльем поросло. Как ни старается Ницше возвеличить жесткость, злобу, разнузданность, как ни ухищряется он признать эти свойства нормальными и благодетельными для человечества, он вынужден признать следующее: «Теперешние жестокие люди должны быть рассматриваемы как остатки более ранних культур, это как геологические обнажения более глубоких формаций, вообще прикрытых позднейшими наслоениями. Это отсталые люди, мозг которых, вследствие разных случайностей наследственности, не получил доста-

точно тонкого и разностороннего развития. Они показывают нам, чем некогда были все люди, и приводят нас в ужас, но сами они так же мало ответственны за это, как кусок гранита за то, что он гранит. И в нашем мозгу, наверное, есть извилины, соответствующие их настроению, как в форме некоторых органов человеческого тела сохраняются воспоминания о других, более ранних состояниях. Но эти извилины не составляют уже ныне русла, по которому течет наша духовная жизнь». Это — отдельный, вполне законченный афоризм («Menschliches, Allzumenschliches» *, I, афоризм 43). Ясно, что лучших, сильных надо ныне искать уже не между жестокими и злыми. Но между «добрыми» Ницше тоже не хочет их искать, потому что «добрые» доведены процессом обобществления до стадообразного состояния с полным отсутствием «пафоса расстояния» (Pathos der Distanz) между лучшими и худшими, высшими и низшими. Все они находятся во власти «рабской» морали, которую Ницше склонен называть «моралью» вообще, вследствие чего с неоправданною дерзостью охотно называет себя «имморалистом», отрицателем морали вообще. Это неоправданная дерзость, потому что в действительности он страстно ищет именно и прежде всего морали, но такой, которая не походила бы на современную, «рабскую» и заслуживала бы название «господской».

Но опять-таки где же ныне «господа», настоящие, имеющие нравственное право считаться таковыми? За современным европейским дворянством Ницше отказывается признать это право, как потому, что оно заражено рабскою моралью, так и потому, что вследствие смешения рас в нем уже ничего не осталось от крови «великолепного белокурого животного» и утратилась былая физиологическая ценность. Господами положения в Европе можно считать буржуа-капиталистов. Но что они не настоящие господа, в смысле Ницше, не прирожденные повелители, это он заключает уже из того, что они входят в сделки и переговоры с рабочими (которых «побрал бы черт и статистика»), не умеют и не могут внушить им «пафос расстояния». В современном обществе, по мнению Ницше, только на войне вырисовы-

* «Человеческое, слишком человеческое» (*нем.*).

вается облик истинной морали, при которой повелители и повинующиеся знают свое место. «Лучших» надо искать на войне и — между преступниками. Последнее для нас особенно любопытно; так как сюда именно относится та ссылка на «Мертвый дом» Достоевского («Götzen-Dämmerung», 120), о которой я говорил в прошлый раз [15]. Но интересна собственно не сама ссылка, а то, что Ницше говорит в связи с нею (см. также «Die fröhliche Wissenschaft», § 4 и в других местах) и что поразительно напоминает рассуждения Раскольникова о преступниках и «необыкновенных» людях. Сходство доходит до частого упоминания именно Наполеона, который, Ницше, как и Раскольникову, представляется — и по одинаковым соображениям — типичным представителем «необыкновенного» человека, правомерно «преступающего» всякое право. При этом Ницше очень красноречиво распространяется о чувстве «чандала» (низшая каста в Индии, собственно отбросы всех каст), обуревающем всякого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе». Это — «чувство ненависти, мести и восстания против всего существующего».

Это чувство чандала, непристроенного сироты, несомненно, руководит самим Ницше. Отсюда его проклятия всякому общежитию и его хвалебные гимны одиночеству. Личная его судьба не особенно интересна. Сам он удовольствовался бы, по-видимому, сравнительно весьма малым. Громя все существующее, он в одном месте, отчаявшись в каких бы то ни было общепризнанных идеалах, провозглашает «моральное междуцарствие» («Morgenröthe», § 453) и говорит: в ожидании общего признания каких-нибудь, еще имеющихся выработаться общепризнанных идеалов, «будем, насколько возможно, собственными царями и будем основывать маленькие опытные государства» (как основываются опытные поля, фермы и проч.). Это предложение имеет не только тот смысл, что, дескать, дозволим себе все, не признавая над собой ничего высшего, но, как это мы и у Раскольникова видели, чисто личный смысл: не признаю над собой ничего высшего, но сам желаю быть высшим. В той же «Morgenröthe» (стр. 199) Ницше рекомендует «каждому», кто чувствует себя тесно в Европе, удалиться «в дикие и свежие страны и

стать там господином». Автор предисловия к «Also sprash Zarathustra» полагает, что Ницше «был аристократ насквозь; родись он в более благоприятные для настоящих господ времена, он был бы тем, чем когда-то *хотел быть:* человеком действия, основателем ордена, колонизатором». Из всего этого видно, что честолюбие Ницше было бы насыщено, если бы ему удалось стать царьком какого-нибудь дотоле необитаемого острова или основателем секты вроде ассассинов, где небольшая кучка людей оказывала бы ему беспрекословное повиновение. Это немного, конечно, для свободного мыслителя, вызывающего на бой небо и землю. Но ему выпала на долю более значительная роль: быть философским выражением всего цивилизацией непристроенного, оскорбленного, озлобленного, всех сирот и отбросов — чандала, хотя, конечно, не для всех сирот и отбросов обязательна та жажда власти, которою страдал сам Ницше и которую он считал коренным свойством человеческой природы вообще.

Что же касается «морального междуцарствия» в более общем смысле, то есть в смысле предоставления всем и каждому полной моральной разнузданности, то Ницше был на этот счет даже очень строг и только, собственно говоря, пугал своим «имморализмом». «Die fröhliche Wissenschaft» открывается рассуждением о том, что все люди всегда имели и имеют одну задачу: поддержание человеческого рода. Не потому, замечает Ницше, эта задача так обща, что человек пылает любовью к своей породе, а просто потому, что нет в человеке ничего старше, крепче, непобедимее этого инстинкта, составляющего самую сущность нашего рода. Правда люди разными путями, правильными и неправильными, стремятся к осуществлению общей задачи, но все-таки она есть, по мнению Ницше, а потому для «морального междуцарствия», фактически несомненно существующего, в высшем, теоретическом смысле нет резонов. Моралист-теоретик может принять общую задачу за исходный пункт и затем произвести оценку различных человеческих действий на основании степени их приближения к осуществлению общей задачи. Ницше так и делает, с тою, однако, разницей, что верховным критерием моральной оценки у него является не простое поддержание человеческого рода, а его улучшение, что уже

даже и не может представить за себя гарантий всеобщности. Несмотря на существующее моральное междуцарствие, несмотря, далее, на все свои гневные и саркастические выходки против морали вообще как оскорбительной и ненужной узды, Ницше считает возможным теперь же приглашать людей к принятию весьма строгой морали. Он убеждает нас признать высшею целью своего существования поднятие человеческого типа, создание «сверхчеловека», каковая задача и составляет центр его морали. Мораль эта во многих отношениях резко отличается от принятых ныне правил нравственности, но все же она есть мораль, и Ницше оказывается при этом самым крайним идеалистом. Все нынешние разноименные системы морали и все побуждения и поступки, признаваемые ныне нравственными, Ницше объявляет результатами пагубной дрессировки, противоестественной, так как она подавляет инстинкты и самую жизнь, самую «волю к жизни». Но вот конец той из речей Заратустры, начало которой мы привели в прошлый раз [16]:

«Выше любви к ближнему — любовь к дальнему и будущему; выше любви к человеку — любовь к делам и призракам.

Брат мой, призрак, витающий перед тобою, прекраснее тебя; зачем же не отдаешь ты ему свою плоть и кровь? Но ты страшишься и бежишь к своему ближнему.

Вы не справляетесь сами с собой и недостаточно себя любите; и вот вы хотите соблазнить своего ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением...

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя, и когда вы соблазнили его хорошо о вас думать, то сами начинаете думать о себе хорошо...

Один идет к ближнему, потому что ищет себя, другой — потому что хотел бы потеряться. Ваша дурная любовь к себе делает для вас из одиночества тюрьму.

Дальние расплачиваются за вашу любовь к ближнему, и, когда вы только впятером собрались, где-нибудь должен умереть шестой...

Пусть будущее и отдаленное будет причиной твоего сегодня. Сверхчеловека должен ты любить как свою причину.

Братья мои, я не любовь к ближнему советую вам. я советую вам любовь к дальнему».

Загадочность языка Заратустры не мешает в связи с вышеизложенным усмотреть по крайней мере две стороны в приведенном отрывке. Ясно, во-первых, что в современной любви к ближнему Ницше видит лицемерие или самообман, и он восстает против них. Ясно, далее, что он зовет нас к жертвам, зовет нас отдать свою «плоть и кровь» «призраку», «сверхчеловеку». Причем же тут «имморализм»? Но этого мало. Сам Заратустра — если не сверхчеловек, то его предтеча — нимало не похож ни на Цезаря Борджиа, ни на «великолепное белокурое животное». Он называет себя «врагом добрых и справедливых», «другом злых», вообще является на словах чем-то вроде антихриста или божества зла, но в действительности это человек кроткий, мягкий и вдобавок ведущий аскетический образ жизни. Да и в речах его звучат такие, например, ноты: «Вверх ведет наш путь, от рода к сверхроду. Но отвратительна для нас вырождающаяся мысль, гласящая: «Все для меня»» (107); «Любить и гибнуть — это от века идет рядом; жажда любви есть и жажда смерти; так говорю я вам, малодушные!» (176); «Гибнущих люблю я своею полною любовью, потому что они — поднимающиеся» (288) и т. п. Таким образом, найдя удовлетворяющий его идеал, Ницше требует такого же к нему отношения, как и всякий другой моралист, он даже гораздо строже многих в этом отношении, гораздо, например, строже и требовательнее гр. Л. Н. Толстого. Но затем является вопрос о самом этом идеале, об его содержании и о путях, к нему ведущих, помимо общих всякой морали требований преданности известному идеалу.

Сопоставляя отдельные места из сочинений Ницше, Макс Нордау уличает его в разных противоречиях и, между прочим, в том, что он то отрицает всякое общежитие и восхваляет одиночество, какое-то странное вполне изолированное положение, то, наоборот, говорит о благодеяниях общежития. Противоречий у Ницше вообще не оберешься, а что касается общежития и одиночества, то он договаривается в одном месте до «Einsamkeitslehre» (одиночествоведение), которое он ставит как особую научную дисциплину рядом с Gesellschaftlehre, обществоведением. Тем не менее в данном случае можно усмотреть не только противоречие. Общество, общежитие есть факт необходимый, неизбеж-

ный, но имеющий свои хорошие и дурные стороны. Судя по первоначальной исходной точке Ницше — святости личности,— можно бы было думать, что он своеобразно примкнет к общей задаче нашего века: найти такую общественную форму, которая гарантировала бы полный возможный расцвет личности. Своеобразность Ницше могла бы выразиться таким решением, что этот идеал фактически недостижим, но тем не менее остается идеалом, к которому возможно большее или меньшее приближение и за который люди должны хотя бы вечно бороться (припомним, что он хочет «погибнуть на великом и невозможном»). Это очень шло бы к общему строю мысли Ницше, так как указывало бы дорогую ему перспективу неустанного действования, неустанной борьбы за великое дело. Но, свернув незаметно для самого себя с своей первоначальной дороги, Ницше остановился как на общественном идеале на таком общественном строе, который способствовал бы выработке «сверхчеловека» насчет человека, иначе говоря, какой-то аристократии насчет массы. Никакой, однако, нравственной распущенности он этой аристократии не предоставлял; напротив, она должна, по его мнению, в свою очередь подчиниться строжайшей нравственной дисциплине для выработки из себя новой, еще высшей аристократии. Демократические течения нашего времени естественно представлялись ему препятствием на этом пути, и потому он обливал своим презрением массы, требующие от общества больше, чем оно, по его, Ницше, мнению, должно им предоставить, имея в виду свою главную цель — выработку «сверхчеловека». Все эти разговоры о красоте «белокурого животного», о жестокости и злобе относятся к невозвратному прошлому, к «генеалогии морали»; и если он настаивает на рабском происхождении «доброты» и на упадке человечества как на ее результате, то это лишь в тех видах, чтобы отвлечь заботливость общества от слабых и больных и привлечь ее к сильным и здоровым, из среды которых может выработаться сверхчеловек.

Любопытно, что Ницше относится вообще очень презрительно к дарвинизму с его борьбой за существование и естественным подбором, которыми обуславливается возникновение новых, высших форм жизни («Götzen-Dämmerung», 87; «Die fröhliche Wissenschaft»,

273). Но в «Unzeitgemasse Betrachtungen» Ницше упрекал Давида Штрауса в том, что он из трусости не сделал всех надлежащих выводов из «дарвинистской этики», а, дескать, выводы эти только и могут состоять в bellum omnium contra omnes * и в праве сильнейших. В сущности, предлагая своего сверхчеловека как цель человеческой деятельности, Ницше стоит на чисто дарвинистской точке зрения, и многие дарвинисты (как, например, г-жа Клеманс Ройе [17], Спенсер в «Социальной статистике» и др.) далеко превзошли его в деле жестокого отношения к больным и слабым [18]. Но у него есть и оригинальные грубости, и я приведу одну из них, относящуюся к вопросу, которого мы не имели еще случая коснуться.

В одной из речей Заратустры говорится о дружбе, а затем мимоходом и о способности к ней женщины.

«Если ты раб, то не можешь быть другом. Если ты тиран, то не можешь иметь друзей **.

Женщина была слишком долго рабом и тираном. Поэтому женщина не способна к дружбе: она знает только любовь.

В женской любви заключается несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в сознательной любви женщины есть все-таки наскок и молния и ночь рядом со светом.

Еще не способна женщина к дружбе. Женщины еще кошки, или птицы, или, в лучшем случае, коровы» (78).

В другой речи Заратустра передает свою беседу с встречной старушкой. Он говорил ей:

«Все в женщине загадка и все имеет в ней разгадку: она называется беременность.

Мужчина есть для женщины средство: цель есть всегда ребенок. Но что такое женщина для мужчины?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому ему нужна женщина как опаснейшая игрушка.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина — для отдохновения воина: все остальное глупость.

Слишком сладкие плоды не нужны воину. Поэтому

* война всех против всех (*латин.*).

** Я стараюсь переводить как можно точнее.— *Примеч. Н. К. Михайловского.*

ему нужна женщина: горька и сладчайшая из женщин.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчины более дети, чем женщины.

В настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. О, женщины, найдите же дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой, изящной и чистой, как драгоценный камень, блистающей добродетелями еще не существующего мира.

Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Вашей надеждой пусть будет: о, если бы я родила сверхчеловека!» (92).

И т. д. Старушка, выслушав эту речь, удивляется, что Заратустра, мало знающий женщин, сказал об них правду и в благодарность сообщает ему одну «маленькую истину»: «Если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут!»

Хотя Заратустра и называет себя врагом добрых и справедливых и другом злых и жестоких, но в действительности он слишком добрый и мягкий человек, чтобы поднять руку на женщину, особенно если она — возможная мать сверхчеловека. Тем не менее в его смятенном уме сверхчеловек и кнут уживаются рядом.

Я предполагал познакомить читателей с идеями Ницше гораздо полнее и обстоятельнее, чем мне удалось это сделать. Не удалось же мне частию вследствие трудности самой задачи, частию по недостатку времени и места. Утешаюсь тем, что мне удалось, может быть, по крайней мере убедить читателя, что в Ницше не только есть, как и во всяком писателе, во всяком человеке, свет и тени, но что этот свет сияет ярче многих признанных светил, а эти тени чернее черного; что нельзя записывать Ницше ни в просто сумасшедшие, как это делает Нордау, ни в непогрешимые, как это делают пламенные ученики. Затем я старался по крайней мере выдвинуть те стороны учений Ницше, которые или совсем ускользнули от внимания критиков, доступных русскому читателю, незнакомому с подлинниками, или недостаточно или неверно освещены ими. Льщу себя поэтому надеждою, что мои беглые заметки сослужат некоторую службу хотя бы только в качестве дополнения к статьям гг. Преображенского, Грота, Лопатина, Астафьева [19] в московском философском журнале и книге Макса Нордау.
декабрь 1894 г.

⟨О Л. Н. ТОЛСТОМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ⟩

«Что такое искусство?» — статья гр. Л. Н. Толстого.— Эстетические взгляды Федорова и Эннекена.— Герои и толпа в искусстве.— Четыре художественные выставки.

«Что такое искусство?» — так называется статья гр. Л. Н. Толстого, появившаяся первоначально в московском журнале философии и психологии, а затем в отдельном издании («Посредника»). В эту минуту у меня в руках только первый выпуск этого издания, но и то, что в нем содержится, достойно полного внимания и наводит на серьезные размышления. Да и как могло бы быть иначе? Великий художник пишет об искусстве! ⟨...⟩ Да, но, к сожалению огромного большинства читателей гр. Толстого, так хорошо выраженному в предсмертном письме Тургенева, граф проклял свою прежнюю художественную деятельность, хотя и теперь дарит нас время от времени художественными произведениями. Об искусстве писал он и раньше, но это было прямолинейно и не тонко, что и теперь позволительно было бы скептическое отношение к его ответу на вопрос: что такое искусство? Быть может, продолжение статьи и оправдает этот скептицизм — за гр. Толстого никогда нельзя поручиться, слишком капризны ход его мыслей и смена его настроений — но первый выпуск, во всяком случае, содержит в себе нечто значительное и ценное. Некоторая беспорядочность мысли, свойственная вообще философским произведениям гр. Толстого, дает себя знать и здесь, равно как и некоторая излишняя самоуверенность, не раз уже ставившая графа в недостойное его славы положение то открывателя открытых Америк, то человека, презрительно относящегося к вещам, отнюдь презрения не заслуживающим. Одна из странностей гр. Толстого состоит в уверенности, что у него нет предшественников, кроме Конфуция, Будды и других, веками и тысячелетиями отдаленных от нас авторитетов. Черта эта проглядывает и в статье «Что такое искусство?». Но на

этот раз гр. Толстой дал себе по крайней мере труд просмотреть некоторые книги, касающиеся предмета его статьи, и нашел между ними кое-что «хорошее», «очень хорошее, недурное» и даже «очень хорошее». Он приводит длинный ряд предложенных разными философами и учеными определений красоты и искусства. Правда, большинство этих определений он берет из вторых рук (из книг немца Шасслера и англичанина Найте) и даже Шопенгауера, в котором видел некогда альфу и омегу мудрости, цитирует не по подлиннику. Всеми этими определениями гр. Толстой более или менее недоволен и дает свое собственное, как ему кажется, совершенно новое. Это не совсем верно. Я не знаком со всею обширною литературою предмета, но, как читатель увидит, в состоянии буду указать некоторые пробелы в обзоре гр. Толстого, пропуски некоторых эстетических взглядов, в которых он мог бы найти поддержку своему ответу на вопрос «что такое искусство?». Но граф поддержки не любит, он все сам... Это не мешает, однако, его ответу быть в высокой степени интересным.

Гр. Толстой начинает с указания на то, какое огромное место в нашем обиходе занимает искусство и каких оно огромных денег стоит,— художественные академии, выставки, консерватории, драматические школы, театры, романы, повести, стихи. Но не только все это денег стоит, денег и разнообразного усиленного труда. Гр. Толстой вспоминает, как он однажды присутствовал на репетиции какой-то оперы. «Трудно видеть более отвратительное зрелище»,— говорит он. Не говоря о бессмысленности сюжета, его поразила невидная для публики закулисная сторона приготовлений к спектаклю; начальство — дирижер оркестра, режиссер мучили актеров и музыкантов, заставляя их десять раз повторять не дававшиеся им движения и звуки, мучились сами и злобно ругались. «Слова: «ослы, дураки, идиоты, свиньи», обращенные к музыкантам и певцам, я слышал в продолжении часа раз сорок». «Вся эта гадкая глупость изготовляется не только не с доброй веселостью, не с простотой, а со злобой, с зверской жестокостью. Говорят, что это делается для искусства, а что искусство есть очень важное дело. Но правда ли, *что это искусство* и *что искусство* есть такое *важное дело*, что ему могут быть принесены такие жертвы? Вопрос этот особенно

важен потому, что искусство, ради которого приносятся в жертву труды миллионов людей и самые жизни человеческие *и, главное, любовь между людьми*, это самое искусство становится в сознании людей все более и более чем-то неясным и неопределенным... Искусство, поглощающее огромные труды народа и жизней человеческих и *нарушающее любовь между ними*, не только не есть нечто ясно и твердо определенное, но понимается так разноречиво своими любителями, что трудно сказать, что вообще разумеется *под искусством и в особенности хорошим, полезным искусством*, таким, во имя которого могут быть принесены те жертвы, которые ему приносятся».

Остановимся немного на этих словах. «Великий писатель русской земли»,— как красиво назвал гр. Толстого Тургенев, великий как художник, как тонкий наблюдатель внешнего и внутреннего, душевного мира и как творец образов и картин необычной яркости и силы. Это не мешает ему крайне небрежно обращаться с русским языком. В этом большой беды, конечно, нет, но иногда небрежность языка является у гр. Толстого отражением некоторой беспорядочности мысли. Прошу читателя обратить внимание на подчеркнутые в только что цитированной странице слова: брань, которою театральное начальство осыпало певцов, музыкантов, танцовщиц (мелкую сошку, потому что с г. Фигнером и с г-жей Кшесинской [1] так не обращаются, конечно), свидетельствует, что известный род искусства «нарушает любовь между людьми». Это заставляет думать, что между театральным начальством и театральной мелкой сошкой была любовь и только вот репетиция, или вообще театр, «нарушила» этот будто бы основной фон человеческих отношений. В этом позволительно, конечно, сомневаться. Далее гр. Толстой хочет ответить на вопрос, совершенно ясно и просто поставленный: что такое искусство? Но уже в самом приступе к ответу на этот вопрос последний осложняется другими, его затемняющими: есть ли именно опера, изображенная автором в комическом виде *, искусство? есть ли искусство

* Я не привожу этого комического описания шествия людей в желтых башмаках с фольговыми алебардами на плечах, человека, наряженного в какого-то турка, который, странно раскрыв рот, пел «Я невесту сопровожд-а-аю», и т п Напомню только, что в

(и на этот раз искусство вообще) «важное дело»? Что следует разуметь под искусством, и «в особенности хорошим, полезным искусством»? Сбитые в одну беспорядочную кучу в самом приступе к делу, эти вопросы и читателя путают и заставляют опасаться, что и в дальнейшем изложении автор вплетет в свой ответ на свой же коренной вопрос много постороннего, что невыгодно отразится на всей его работе. Это и случилось с гр. Толстым. Но в одном месте он дает ничем не затемненное и поистине превосходное определение искусства, которое и приведу теперь же:

«Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство,— в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Повторяю, это определение превосходно и притом столь ясно, что если бы гр. Толстой напечатал только его, без всякой даже аргументации, то, по-видимому, оставалось бы его лишь приложить к делу критики... ну, хоть «Песни о погибшем сыне» г. Захарьина-Якунина[2]: несмотря на то, что чувства г. Захарьина облечены в стихотворную форму, его «песнь» не заслуживает названия художественного произведения, потому что не способна заразить этими чувствами других; а не способна потому-то и потому-то.

Но гр. Толстой не ограничился приведенным определением. Он комментирует его. Он предпослал ему обширное вступление, которым мы сейчас займемся, а впереди нас ждет еще продолжение статьи, за достоинства которого есть основания опасаться.

В определении искусства мы встречаем чрезвычайное разнообразие у разных мыслителей и ученых, в том числе и специалистов по эстетике. Что же касается «среднего человека», то он «твердо убежден в том, что все вопросы искусства очень просто и ясно разрешаются

четвертой части «Войны и мира» есть подобное же описание какой-то оперы.

признанием красоты содержанием искусства; для среднего человека кажется ясным и понятным то, что искусство есть производство красоты, и красотою объясняются для него все вопросы искусства». Но если его спросить, что такое сама красота, то он окажется в затруднении ответить. Да и мыслители и ученые опять же очень на этот счет разногласят. Приведя длинный ряд разных определений красоты, гр. Толстой разделяет их на две группы: одни — объективные определения, другие — субъективные. Но затем оказывается следующее: «Красотой в смысле субъективном мы называем то, что доставляет нам известное наслаждение. В объективном же смысле красотой мы называем нечто абсолютно совершенное и признаем его таковым только потому, что получаем от проявления этого абсолютно совершенного известного рода наслаждение, так что объективное определение есть не что иное, как только иначе выраженное субъективное. В сущности, и то, и другое понимание красоты сводится к получаемому нами известного рода наслаждению, то есть что мы признаем красотою то, что нам нравится». Отсюда гр. Толстой заключает, что определение искусства должно быть установлено совершенно помимо понятия о красоте. Вся существующая эстетика без толку бьется около этого пункта. Будь она достойна названия науки, она должна бы была «определить свойства и законы искусства или прекрасного, если оно есть содержание искусства, или свойство вкуса, если вкус решает вопрос об искусстве и о достоинстве его, и потом, на основании этих законов, признавать искусством те произведения, которые подходят под эти законы, и откидывать те, которые не подходят под них». Но современная эстетика видит свою задачу, наоборот, в том, чтобы, «раз признав известные произведения хорошими, потому что они вам нравятся, составить такую теорию искусства, по которой все произведения, которые нравятся известному кругу людей, вошли бы в эту теорию».

Можно удивляться, что, говоря о безуспешности построения теории искусства на понятии красоты и вкуса, гр. Толстой не прибег к приему, очень обычному в его философских произведениях. Если бы можно было опросить все полтора миллиарда населения

земного шара, то, конечно, подавляющее его большинство — все эти эскимосы, зулусы, австралийцы, краснокожие, готтентоты, даже китайцы, японцы и проч.— не найдут красоты ни в какой-нибудь нашей премированной красавице, ни в перлах нашего искусства. Австралиец был бы оскорблен в своих лучших эстетических чувствах формой носа Аполлона Бельведерского и отсутствием в его ноздрях кольца или палочки, а готтентот нашел бы, что задняя часть тела Венеры Милосской должна быть втрое шире. И гр. Толстой мог бы, по своему обыкновению, победоносно сказать: 9/10 (или сколько там) человечества с презрением или отвращением отнесутся к произведениям Фидия, Рафаэля, Бетховена, Шекспира — какое же основание имеем, 1/10, горсть так называемых цивилизованных людей, выдавать свой вкус за единственно правильный?— Аргумент этот, однако, не столь победоносен, как кажется.

В длинном списке сочинений по эстетике, знакомых гр. Толстому из первых рук или по цитатам, нет, к сожалению, некоторых, вполне достойных его внимания. Боюсь, что таких найдется даже немало, но я могу указать только на два.

В 1876 году вышла Vorschule der Aesthetik * знаменитого Фехнера, одного из отцов психофизики, самое имя которого, казалось бы, должно привлечь к себе внимание человека, желающего не только ответить на вопрос, что такое искусство, но и пересмотреть различные, до него выставленные эстетические теории. Я, к сожалению, знаю только первую часть сочинения Фехнера, но и то, что в этой первой части содержится, представляет нечто для нас поучительное. В предисловии Фехнер «отказывается от попытки установить понятие объективной сущности Прекрасного и развить из него эстетическую систему». Центр тяжести его работы лежит «более в законах вкуса (des Gefallens), чем в логических выводах из определения Красоты», он «заменяет идею так называемого объективно Прекрасного идеею того, что́ *должно* нравиться в связи с идеей Блага». Фехнер оговаривается, что его задача не исчерпывает всей области эстетики, а что значит подчеркнутое слово

* Введение в эстетику (*нем.*).

«должно», видно из следующего. На стр. 16 читаем: «Один может находить прекрасным то, что другой исключает из области прекрасного. Но не все то, что нравится, должно нравиться. Есть не только законы, которыми фактически управляются различные вкусы, но и законы в смысле предписаний (Forderungsgesetze) *, правила хорошего вкуса и вытекающие из них правила воспитания вкуса, которые не находятся в противоречии с первыми, а лишь определяют их ценность». Фехнер говорит, что он вовсе не считает возможным найти принцип, с точки зрения которого разрешались бы все споры, основанные на различии вкусов, но, говорит он, направление, в котором подобные споры следует вести, указать можно. Если бы гр. Толстой не обошел книги Фехнера, он, может быть, не сказал бы с такою уверенностью, что «объяснения того, почему одно нравится одному и не нравится другому и наоборот, нет и не может быть» (стр. 38 издания «Посредника»). У Фехнера он нашел бы многие высоко интересные указания именно в том смысле, что «законы вкуса» могут и должны быть установлены. Не очень, надо думать, презрительно отнесся бы гр. Толстой и к той высшей инстанции, в которую Фехнер предлагает передавать споры о вкусах. По мнению Фехнера, принцип этой инстанции очень прост, почти до очевидности, и только применение его часто очень трудно. Дело, говорит он, идет не о том, нравится, то есть дает или не дает непосредственное наслаждение,— это факт вкуса,— а о том, хорошо ли, что это вам нравится, а то не нравится, то есть соответствует ли ваш вкус благу, счастью человечества (256). Таков общий принцип, и, повторяю, Фехнер очень хорошо понимает трудность его практического применения к отдельным конкретным случаям споров о вкусах. С другой стороны, однако, вкусы не так уж капризны, как кажется, в особенности, когда они захватывают более или менее значительное число людей. Например, нашим предкам нравились огромные парики, на наш теперешний вкус нелепые и безобразные. Говорят, что эта мода возникла из желания плешивого короля скрыть свою лысину. Если бы парик надел какой-нибудь мужик, то никто не обратил бы на это внимания и,

* предписывающие законы (*нем.*).

во всяком случае, не стали бы подражать ему, а тут случилось иное. Сначала придворные люди стали подражать просто из лести, не видя в чудовищном парике ничего хорошего; но постепенно к этому дикому украшению люди привыкли, а затем с ним ассоциировалось представление знатности, могущества, величия, и в связи с этим люди вошли во вкус париков, парики стали нравиться. Таким же образом объясняется то, что китайцам нравятся уродливо маленькие ноги женщины, толстые животы мужчин, длинные ногти мандаринов. Толстыми брюхами китайцы наделяют даже своих богов как идеальной формой тела, и если китайцу показать статую Аполлона Бельведерского, то он найдет, что это какой-то несчастный и безобразный проходимец весьма низкого происхождения, который не имеет возможности жить в свое удовольствие и должен много бегать. Таким образом, вкус, хотя бы на первый взгляд и самый капризный, не есть что-нибудь выскакивающее из цепи причин и следствий и из общей связи явлений общественной и личной жизни. Он возникает и исчезает, изменяется под влиянием вполне определенных, хотя иногда трудно уловимых условий. Вкусы европейца и китайца, человека XV и человека XIX столетия, немецкого барона и немецкого крестьянина все одинаково законны в смысле законности их происхождения при известных условиях и в том смысле, что ими люди непосредственно жили или живут: кольцо в носу новозеландца доставляет ему такое же эстетическое удовольствие, как вид толстого брюха китайцу, как известные костюмы нам и т. д. Из этой своего рода разноценности и бесспорности всех вкусов не следует, однако, что нет мерила достоинства вкусов, надо только его искать где-нибудь вне сферы самих вкусов. И мы можем смело осуждать вкусы, например, китайцев, так как слишком маленькие ноги, толстые брюхи, непомерно длинные ногти подлежат осуждению с точки зрения некоторых несомненных благ, хотя бы здоровья. Конечно, эти блага, составляющие высшую инстанцию для оценки вкусов, не всегда столь несомненны и в свою очередь подлежат расценке, но это уже другой вопрос. А так как в число условий, определяющих вкусы данной эпохи, данного народа или класса, входят воспитание и общественное мнение, то возможна не

только оценка вкусов, а и исправление их, направление их в «хорошую» сторону. Та агитация, которая ныне ведется по поводу корсетов и других подробностей дамского туалета, если реформа женских костюмов осуществится, послужит наглядным примером того, как по всем неэстетическим мотивам здоровья, удобства и проч. изменяются вкусы: по всей вероятности, нарождающимся поколениям будут нравиться совсем не те женские облики, какие нравятся нам. Во всяком случае, Фехнер, рекомендуя чрезвычайную осторожность в оценке различных вкусов, все-таки считает себя вправе сказать, что «вкус целых эпох и наций может быть признан в том или другом отношении дурным, и всеобщность вкуса в данную эпоху или в данной нации еще не решает вопроса о его достоинстве» (261).

Это последнее гр. Толстой знает. Протестуя против «художественного канона», в который эстетики включают то, что им нравится, и отметают то, что им не нравится, он замечает: «Как будто никогда не было в истории эпох, в которые в известных, исключительных кругах людей не было принимаемо и одобряемо ложное, безобразное, бессмысленное искусство, не оставивши никаких следов и совершенно забытое впоследствии». Разница, однако, между Фехнером и гр. Толстым, на что́ у первого мы видим основания, по которым он может или по крайней мере хочет различать хорошие и дурные вкусы (вместо Geschmack * Фехнер часто говорит Gefallen und Mißfallen **, что нравится и не нравится); гр. же Толстой таких оснований не дает.

Вернемся к его вышеприведенному превосходному, но требующему дополнений определению искусства. Подходит он к нему следующим образом. «Для того чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой. Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или произ-

* вкус (*нем.*).
** удовольствие и неудовольствие (*нем*).

водящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное впечатление... Деятельность искусства основана на том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен испытать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство. Деятельность искусства основана «на способности людей заражаться чувствами других людей». Но, «если человек заражает другого и других прямо, непосредственно своим видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого человека зевать, когда ему самому зевается, или смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или плачет, или страдает, то это еще не есть искусство. Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его». Чувства самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства». Затем следует окончательное определение искусства, которое гр. Толстой печатает курсивом, дабы сосредоточить на нем наше внимание. Я уже привел его выше, но рекомендую читателю вновь внимательно перечитать его,— оно стоит того, чтобы в него вдуматься. Мы имеем здесь ясную, точную формулу, не оставляющую места никаким сомнениям. Но непосредственно вслед за этой формулой встречаем такую фразу: искусство не есть то-то и то-то (перечисляются различные определения), «главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения *к благу отдельного человека и человечества* средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах» (46). Откуда взялась эта прибавка? Она отнюдь не вытекает из формулы. Автор ведь только что пояснил нам, что «чувства самые разнообразные, *очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие*, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства». В самом деле, французские психиатры Legrand-de-Saulle («La folie devant les tri bunaux»), Despine («De la

contagion morale»), Aubry («La contagion de meurtre») * не раз с особенной настойчивостью указывали на вредное действие бульварных романов и соответственных драматических представлений, в которых изображаются кровавые убийства, отравления и т. п. Вредное их действие состоит в том, как это фактически доказано, что они заражают зрителей и читателей и наталкивают, «наводят» кое-кого из них прямо на преступления. По точному смыслу формулы гр. Толстого эти бульварные романы и драмы суть произведения искусства, да и едва ли кто откажет им в этом титуле, как бы низко мы их ни ценили; но уж, конечно, никто не увидит в них представителей «необходимого для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средства общения людей, соединяющего их в одних и тех же чувствах». А между тем, выкинуть их за борт корабля искусства мы на основании формулы гр. Толстого не имеем никакого права. Формула эта уравнивает все произведения искусства их сознательною заразительностью и если допускает мерило совершенства, то исключительно количественное. Мы видели, что, по мнению гр. Толстого, целые эпохи может господствовать «ложное, безобразное, бессмысленное искусство, не ставившее никаких слов и совершенно забытое впоследствии». Эпитеты «ложное, безобразное, бессмысленное» совершенно неуместны с точки зрения формулы гр. Толстого, объединяющей все произведения искусства единственным признаком — заразительностью. И если он те или другие художественные произведения называет бессмысленными и безобразными, то делает эту оценку на основании каких-то других принципов, нам не известных, быть может, просто потому, что эти произведения ему «не нравятся», а ведь он это мерило решительно отверг. Другое дело, если произведения искусства «не оставили никаких следов и совершенно забыты впоследствии»... Но это уже мерило только количественное: одни художественные произведения «заражают» большое количество читателей, зрителей, слушателей, другие — меньшее, одни — только

* Легран-де-Сол («Сумасшествие перед судом»), Деспин («О моральной заразительности»), Обри («Заразительность преступления») ⟨*франц.*⟩.

современников, другие оказывают свое заразительное действие целые века. Указаний на возможность каких бы то ни было других критериев для расценки произведений искусства нет в формуле гр. Толстого. Он их должен искать где-нибудь вне этой формулы и, по всей вероятности, будет искать их там же, где нашел их Фехнер. Да он уже и теперь идет по следам Фехнера. Тот видит высшую инстанцию для разбора споров о вкусах в соответствии или несоответствии их «благу, счастию человечества», гр. же Толстой указывает, хотя и непоследовательно, на «благо отдельного человека и человечества» как на решающий момент в определении достоинства художественного произведения.

Фехнер, говоря о том, как складываются вкусы, упоминает о психической заразе, но делает это мимоходом, а в одном месте говорит даже, что это явление не имеет большого значения для предмета его книги. Статья гр. Толстого показывает, напротив, какое огромное значение имеет психическая заразительность в вопросах искусства. Вполне признавая заслугу нашего великого художника, надо, однако, заметить, что он не первый обратил внимание на эту в высшей степени важную сторону дела и не совсем прав, утверждая, что доселе никем ничего не было сделано в этом направлении. Не говоря об отдельных замечаниях, мимоходом высказываемых в разных сочинениях, посвященных общему вопросу о психической заразе, подражании и проч. (я обратил бы внимание заинтересованного читателя, например, на главы об искусстве в книге Рамбоссона Phenomenes nerveux intellectuels et moraux, leur transmission par contagion *, 1883), я укажу на одно специально эстетическое сочинение, основные принципы которого весьма близки к некоторым пунктам статьи гр. Толстого, а вместе с тем примыкают и к изложенному взгляду Фехнера. Говорю о книге Эннекена (*Hennequin*, La critique scientifique **, 1888; если не ошибаюсь, есть русский перевод). Мы сейчас к ней обратимся, а теперь попробуем поближе присмотреться как к самой

* интеллектуальные и моральные нервные явления, их передача через подражание (*франц.*).

** *Эннекен.* Научная критика (*франц*).

формуле гр. Толстого, так и к тем комментариям, которыми он ее сопровождает.

Искусство не есть то-то, не есть и то-то, а «главное — не есть наслаждение». Не будем придираться к неточности этой фразы и будем в ней видеть лишь выражение желания, если не совсем упразднить, то умалить роль наслаждения в искусстве. И действительно, в формуле гр. Толстого нет и помину о наслаждении, из чего, однако, не следует, чтобы, развертывая эту формулу для истолкования конкретных факторов, мы не встретились с наслаждением. Гр. Толстой думает, что люди, «считающие целью искусства наслаждение», подобны дикарям, для которых «цель и назначение пищи в наслаждении, получаемом от принятия ее». Разумеется, «цель и назначение» пищи не в наслаждении, а в поддержке организма, но наслаждение есть, несомненно, проводник к этой цели, притом наслаждение двоякое: во-первых, вкусовое,— даже вегетарианцы, издавая свои кулинарные руководства, указывают, что рекомендуемая ими пища, кроме всего прочего, вкусна, если ее приготовить так-то и так-то; во-вторых, наслаждение удовлетворяемой потребности. Если бы можно было себе представить организм, не знающий по крайней мере этого последнего наслаждения, то он, во всяком случае, не долго прожил бы, как не долго просуществовал бы род человеческий, если бы по каким-нибудь причинам исчезло наслаждение полового акта. Точно так же и в искусстве. Формула гр. Толстого совершенно верна, но дело в том, что проводником заразительности художественных произведений является все-таки наслаждение, и опять-таки двоякое: во-первых, эстетическое, а во-вторых, то особое, очень сложное, часто жуткое и граничащее со страданием наслаждение, которое мы испытываем, сочувственно переживая чужую жизнь или какие-нибудь отдельные ее моменты. Эстетика экспериментальной психофизической школы указывает на известные сочетания линий, красок, звуков, эстетическая оценка которых заложена в устройстве нашей нервной системы и органов чувств. Нас физиологически отталкивают одни из этих сочетаний и привлекают другие. И это, конечно, одно из условий, с которыми художественное произведение должно считаться при преследовании цели, указываемой гр. Толстым. Оно не достигнет этой цели,

не заразит слушателей, зрителей, читателей, не проведя их через этот, если позволительно так выразиться, эстетический коридор. Известно, что в далекой древности не только поэзия, подходящая под формулу гр. Толстого как и всякое другое искусство, а и законодательство, и правила морали, и практические руководства по разным отраслям деятельности излагались ритмической и отчасти даже рифмованной речью, остатки чего мы и ныне видим в пословицах. Но с течением времени ритм и рифма, то есть известные эстетически действующие сочетания звуков, оказались нужными только для поэзии именно потому, что они составляют условия, облегчающие заражение читателя и слушателя известными чувствами. Законодательства, правила морали, практические руководства сами по себе в этих формах не нуждаются, так как они нечто предписывают, действуют на волю преимущественно чрез посредство разума, а не непосредственно заражают чувствами.

В маленьком этюде Спенсера о «грациозности» кратко, но ясно указаны физиологические условия того наслаждения, которое мы испытываем при виде грациозных телодвижений и поз. Здесь вместе с эстетическими условиями заразы мы имеем уже и самую заразу: мы бессознательно переживаем ту приятную легкость, с которою искусный танцор или конькобежец совершает известные движения, и отраженным образом сами испытываем эту приятную легкость. Но это случай очень элементарный и именно по своей элементарности мало что объясняющий в задачах искусства. Хорошо исполненное живописное изображение, например, человека, наслаждающегося отдыхом, или счастливой пары влюбленных и т. п., конечно, может возбудить приятное чувство, которым и хотел художник заразить зрителя. Это неудивительно. Но как уживается художественное наслаждение рядом с отрицательными чувствами страдания, ужаса, отвращения, негодования, которыми заражают нас художники слова, кисти, резца, звука? Это очень сложный и спорный вопрос, который я не думаю разрешать. Я хотел бы лишь подойти к нему с точки зрения формулы гр. Толстого.

Помните знаменитый монолог Гамлета:

Не дивно ли· актер при тени страсти,
При вымысле пустом, был в состояньи
Своим мечтам всю душу покорить;
Его лицо от силы их бледнеет;
В глазах слеза дрожит и млеет голос,
В чертах лица отчаянье и ужас
И весь состав его покорен мысли.
И все из ничего — из-за Гекубы!
Что он Гекубе, что она ему?
Что плачет он о ней? О, если бы он,
Как я, владел порывом к страсти,
Что б сделал он? Он потопил бы сцену
В своих слезах и страшными словами
Народный слух бы поразил, преступных
В безумство бы поверг, невинных в ужас,
Незнающих привел бы он в смятенье,
Исторг бы силу из очей и слуха.

Гамлет ошибается, думая, что ему недостает только силы характера и мужества («А я? презренный, малодушный раб»... «Я голубь мужеством»), для того чтобы сказать потрясающее «слово за короля, над чьим венцом и жизнью совершено проклятое злодейство». Ему для этого недостает художественного дарования. И в том же монологе, решаясь приступить «к делу», он начинает с обращения к помощи актеров же:

Гм! слышал я, не раз преступных душу
Так глубоко искусство поражало,
Когда они глядели на актеров,
Что признавалися они в злодействах.

Поэт, изобразивший страдания Гекубы, и актер, усугубивший это изображение своей декламацией, переживали скорбь жены убитого Приама, и хотя это была отраженная скорбь, но так как актер «своим мечтам всю душу покорил» и «весь состав его покорен мысли», то скорбь получает у него даже физическое выражение настоящей, неподдельной бледности лица, подлинных, неподдельных слез и проч., и хотя, далее, он переживает скорбь, но в самом факте этого переживания и этой передачи зрителям и слушателям испытывает некоторое своеобразное наслаждение. То же самое происходит и со зрителями и слушателями, которым поэт и актер внушают скорбные чувства, заражают их скорбью: скорбь отраженная, но несомненная; переживается скорбь, но вместе с тем получается наслаждение. То же и в других искусствах, с тою лишь разни-

цей, что собственно в драматическом искусстве эффект усиливается еще всем видом театрального зала, всею совокупностью сочувствующих, сострадающих, сорадующихся зрителей; этим облегчается процесс психической заразы. Кто не испытывал мучительного наслаждения при чтении большинства произведений Достоевского? Силою своего жестокого таланта этот человек заставляет нас переживать ужаснейшие, мучительнейшие положения, и, однако, мы испытываем при этом наслаждение. Сам Достоевский объяснил бы эту странную двойственность своими известными двумя афоризмами: «Человек деспот от природы и *любит* быть мучителем», «Человек до страсти *любит* страдание». Это, однако, ничего не объясняет, ибо мы знаем, что есть художники, вдохновляющиеся светлыми, радостными, веселыми образами и картинами и внушающие нам соответственные чувства. Очевидно, объяснение, чтобы быть правильным, исчерпывающим, должно охватить и эти, очень многочисленные случаи. Это раз. А во-вторых, и самые афоризмы Достоевского в такой общей форме суть, несомненно, плоды больного сердца и эксцентрического ума. Бесспорно, есть люди, испытывающие наслаждение при виде чужого страдания, наслаждение самодовлеющее, чуждое мотивов мести, личной злобы и т. п. Но это — единицы, исключения, подлежащие ведению психиатрии. Есть и люди, жаждущие страданий, но это или опять-таки психиатрические субъекты, или же страдание для них является средством потушить еще большие страдания, причиняемые им, например, чувством греховности. Вообще же говоря, человек ищет наслаждения и бежит страдания. Надо только помнить сложность человеческой души, сложность ее реагирования на явления жизни — жизни и искусства.

Спрашивается, какое же такое наслаждение манит нас перечитывать мучительнейшие страницы Достоевского, слушать похоронный марш или горькую песнь «надгробного рыдания», смотреть, как надрываются «бурлаки» на картине Репина или как готовятся к казни «стрельцы» на картине Сурикова, присутствовать при перевоплощении страданий Дездемоны или Гекубы? И что тянет самих художников к переживанию всех этих скорбей, мучений, страданий? Я не говорю теперь

о физиологических условиях, в силу которых известные сочетания линий, звуков, красок, света и тени ласкают наши нервы и органы слуха и зрения. Есть, очевидно, еще нечто, чарующее нас в приведенных случаях. Что же это такое? Гекуба страдала, а поэт и актер, вдохновляющиеся этим страданием, наслаждаются перевоплощением этого страдания; страдают, мучаются собственным мучением они, напротив, тогда, если им, по их убеждению, не удалось достаточно ярко выразить страдание Гекубы, достаточно проникнуться им. Зритель, слушатель, читатель тоже переживают скорбь Гекубы, наслаждаются перевоплощением этого страдания и, наоборот, если не страдают, то по крайней мере испытывают неприятное чувство, если художник недостаточно полно и ярко выразил страдание.

Мы никогда не выйдем из этого противоречия, если не признаем, что переживание чужой жизни, чужого настроения, как бы всасывание его в себя может само по себе быть наслаждением, которое и лежит в основе искусства, как для художника, так и для зрителя, слушателя, читателя. Я подчеркнул слово «*может* быть наслаждением». Сила психической заразительности сказывается во множестве явлений как обыденной личной, так и общественной жизни. Особенность ее в искусстве точно определяется формулой гр. Толстого, но еще лучше одним из его комментариев к ней: «Если человек заражает другого или других прямо, непосредственно своим видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство,... то это еще не есть искусство; искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его». Но здесь-то и важен тот элемент наслаждения, от которого гр. Толстой хочет отгородить искусство. В жизни действительной мы радуемся чужой радостью и сострадаем чужому страданию (вообще говоря, то есть при отсутствии встречных мотивов зависти, мести и проч.) именно потому, что заражаемся этими настроениями и испытываем сами наслаждение или же страдание. Вид страданий Гекубы в действительной жизни и переживание их наслаждения не дают. Напротив, мы испытываем при этом только большее или меньшее страдание, которое

и стремимся так или иначе прекратить; или просто отходим, чтобы не видеть страдания, или стараемся лаской, сочувствием утешить, или, если это возможно, удалить самую причину страдания. Не то в искусстве. В театре мы любуемся, наслаждаемся видом мастерского переживания чужих страданий и страдаем, если актер делает это дурно, если он нарушает цельность скорбящего образа каким-нибудь, например, комическим штрихом, который сам по себе мог бы нас заставить улыбнуться. Сами мы не играем роли, но настолько полно переживаем изображаемую на сцене жизнь, что неловкий штрих нас коробит. Иллюзия должна быть полная, но это все-таки иллюзия, иначе мы или бросились бы между Отелло и Дездемоной, чтобы предупредить убийство, или убежали бы из театра, чтобы не быть свидетелем его. Нечто в этом роде, впрочем, бывает. Есть люди очень наивные или очень нервные, для которых произведение искусства и соответственное житейское явление сливаются в одно целое, и тогда искусство более или менее перестает быть для них источником наслаждения в тех случаях, когда сюжет произведения окрашен скорбью, страданием, ужасом. Известно, что простые люди часто вмешиваются в ход действия драмы: громогласно указывают, например, герою, где спрятался злодей, или выражают аплодисментами одобрение не игре актера, то есть не искусству, а благородным чувствам или удачно исполненной хитростью и т. п. Это именно потому, что граница между жизнью и искусством для них затушевывается. Это тоже переживание чужой жизни и психическая зараза, но скорбь в этих случаях только скорбь, только страдание, почти не осложненное художественным наслаждением. Вот почему так часто дети, а иногда и взрослые, не любят читать «печальные истории», хотя бы и в высокой степени художественно изложенные.

Сила искусства есть сама по себе сила стихийная, не ведающая ни добра, ни зла. Гр. Толстой ошибается, утверждая, что искусство «не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах». Искусство не есть наслаждение,— эти два понятия не покрывают друг друга; однако наслаждение есть необходимое ус-

ловие искусства. Но искусство и не есть «необходимое для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения». Что оно таковым должно быть, что это желательно, это другой вопрос. Это вопрос принципа, а факт тот, что искусство «объединяет» людей в очень различных по своему нравственному достоинству чувствах. Если Гамлет припоминает случаи, когда «преступных душу так глубоко искусство поражало, что признавалися они в злодействах»; если, другими словами, искусство может будить совесть и внушать добрые или великодушные чувства, то бывает и наоборот, что искусство пробуждает или питает зверские инстинкты.

Из многих примеров, приводимых вышеуказанными французскими психиатрами, укажу на один. Знаменитый юный убийца целого семейства Тропман (увековеченный для русских читателей тургеневским описанием его казни) [3], по его собственному показанию, зачитывался бульварными уголовными романами и увлекался их кровожадными героями (*Moreau*. Le monde des prisons; *Aubry*. La contagion du meurtre) *. Очень плохи эти романы, но они, во всяком случае, оказались достаточно сильными, чтобы заразить Тропмана.

Много лет тому назад я читал в «Новом времени» рождественскую сказку г. Вагнера (Кота Мурлыки) [4]. Не помню ни названия сказки, ни большинства ее чрезвычайно тщательно разработанных подробностей, но полученное от нее впечатление врезалось неизгладимо. Помнится, какая-то еврейка необычайной красоты и огромного богатства в видах посрамления или даже искоренения христианства должна родить сына от какого-то русского князя. При этом какое-то особенное значение имели родословные древа действующих лиц; выходило как-то, что по различным вычислениям и пророчествам мудрецов слияние кровей, текущих в жилах князя и еврейки, должно дать плод, грозный для христианства. Чары красоты еврейки, развертываемые ею в одуряющей роскошной обстановке, начинают овладевать князем. Но в последнюю минуту еврейка требует, чтобы князь снял со своей шеи крест (тоже какой-то

* *Моро*. Мир тюрем; *Обри*. Заразительность преступления (*франц.*).

особенный) и наступил на него ногой. Перед этим требованием князь с ужасом отступает, и все предприятие еврейки рушится, потому что зачатие таинственного ребенка должно произойти именно в определенную минуту (помнится, когда бьет полночь), иначе будет поздно. Еврейка разражается проклятиями... Не знаю, какое впечатление произвела бы на меня эта сказка теперь, но тогда я был поражен. В художественном смысле сказка превосходна (или казалось мне такою тогда); тщательная разработка деталей, гармония частей, чувство меры, несмотря на фантастичность фабулы и восточную роскошь красок, постепенность, с которою развертывается действие,— както льстиво, но цепко захватывали душу и навязывали ей художественное наслаждение, хотя я сознавал отвратительность тенденции сказки. Я уверен (или был тогда уверен), что сказка эта, талантливо, «проникновенно» прочитанная вслух перед толпой простого народа, и в особенности в рождественскую ночь, способна была бы вызвать крик: «Бей жидов!» — и соответственные поступки.

Читателю может показаться, что два последние примера противоречат вышесказанному о пределах заразы или внушения в искусстве. «Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его». Искусство выражает не непосредственные чувства, а отраженные, и всякое хорошее произведение искусства дает иллюзию, возможно полную по условиям данной отрасли искусства, но все-таки иллюзию. И мы это знаем. Поэтому-то мы при всем сочувствии к ужасному положению Дездемоны не заступаемся за нее, и тем паче не раскланиваемся перед превосходно написанным портретом нашего знакомого и т. п. Если, однако, этим объясняется двойственное чувство художественного наслаждения и вместе страдания при виде горестных или ужасных положений, воспроизводимых искусством, то вышеупомянутый Эннекен идет уже слишком далеко в своем разграничении реальных и художественных впечатлений. Последние, по его мнению, потому приятны даже при неприятных или тяжелых зрелищах, что дают лишь слабое, легкое возбуждение, не причиняю-

щее настоящего страдания и не вызывающее никакого действия, никакого поступка с нашей стороны. Это не совсем так. Мы не вмешиваемся в непосредственно происходящее перед нами действие (да и то, как мы видели, с очень нервными или наивными людьми это бывает), но чувства, внушенные нам искусством, могут разрешаться известного рода действиями, поступками, совершаемыми под давлением этих чувств. Это мы и видим в биографии Тропмана, в известной эпидемии самоубийства, вызванной гетевским Вертером, в целом ряде явлений русской жизни, когда мы стремились копировать Печорина или потом Базарова, наконец, и в гипотетическом случае — чтении вслух пред толпой простого народа сказки г. Вагнера. Эннекен должен лучше всякого другого понимать его. Установив в начале книги приведенное различие между реальными и художественными эстетическими впечатлениями, подчеркнув, что «эстетическое волнение есть бездейственная форма обыкновенного волнения» (L'emotion esthetique est une forme inactive de l'emotion ordinaire) *, Эннекен, приближаясь к концу своего исследования, вносит следующую «поправку»: «Волнение, вызываемое произведением искусства, не разрешается непосредственно действием, и этим отличается от сильных реальных волнений. Но, имея в самом себе цель и не производя немедленно практических следствий, оно с течением времени вызывает таковые, и очень важные» (203). За развитием этой мысли, которая после сказанного и без того понятна, мы следить не будем, а обратимся к некоторым другим сторонам эстетической теории Эннекена.

Основная мысль Эннекена состоит в том, что, подобно гр. Толстому (вернее было бы сказать, что гр. Толстой делает это подобно Эннекену), он видит в искусстве средство заражения читателя, зрителя, слушателя,— внушения (suggestion) им известных чувств. Но он понимает, что достижение этой цели искусством немыслимо без элемента художественного наслаждения. В этом последнем отношении решающим моментом является вкус. В искусстве, говорит он, нет критерия, который

* Эстетическая эмоция — неактивная форма обычной эмоции (*франц.*).

позволял бы расценивать произведения, одинаково волнующие, одинаково совершенные в смысле экспрессии. Но «книги, статуи, картины, музыкальные произведения существуют не одни в пустом мире. Если верно, что образы и чувства, внушаемые этими произведениями, оставляют след в душе человека, нравственные качества которого не безразличны для ему подобных; если верно, что эти образы и чувства влияют на природу и силу души, с общественной точки зрения нельзя признать все произведения искусства равнозначительными для блага данного общества или, беря предмет шире, человечества» (207—208; затем следует ссылка на Vorschule der Aesthetik Фехнера).

Спрашивается, каковы, так сказать, количественные пределы заражения чувствами, вложенными художником в свое произведение? Сотни тысяч людей читают французские уголовные бульварные романы и любуются соответственными театральными спектаклями, но не все же это Тропманы, хотя он, конечно, и не один, и, быть может, у очень многих из этих читателей и зрителей шевелятся зверские инстинкты, не разрешающиеся действием. Эстетические вкусы этих людей удовлетворяются грубыми, на более тонкий вкус прямо безобразными формами бульварных романов и драм; но, кроме того, в наследственных или благоприобретенных по известным условиям жизни душевных свойствах этих людей должно быть нечто предрасполагающее к восприятию известных чувств. Это нечто может всю жизнь оставаться в потенциальном состоянии, не обнаруживаясь внешним образом, но может, так сказать, обласканное художественным наслаждением, вспыхнуть целым пожаром. В нашем втором примере, гипотетическом, дело ясное. Здесь мы имеем группу людей, наивных и грубых, воспитанных в известных предрассудках и антипатиях, каковыми и подготовлена бурная вспышка с кулачной расправой. Людей, иначе обставленных всеми условиями жизни, сказкой г. Вагнера не заразить.

Эннекен и настаивает на том, что у художника и его поклонников, почитателей (admirateurs), то есть людей, которых он заражает своими произведениями, должна быть некоторая общая почва. Художник, совершенно чуждый как эстетическим вкусам, так и чувствам

и наклонностям известной группы людей, не произведет на нее никакого впечатления, хотя бы в другой общественной среде волновал зрителей, слушателей, читателей до глубины души. Художник есть сам продукт известной среды, из чего, однако, не следует, чтобы его роль была совершенно пассивна. Напротив, художник властно привлекает к себе те «массы», которые способны заразиться его творчеством, воспринять те чувства, которые он внушает. Художник часто сам создает «среду» своих почитателей, внушая им свои чувства.

В конце книги Эннекен делает набросок исторической теории, в силу которой история есть взаимодействие выдающихся личностей — героев, вождей и масс. Он горячо протестует против столь же «ложного», как и «легко воспринимаемого» положения, «отделяющего один от другого оба элемента, которыми совершается каждое историческое событие,— вождей и массы,— и дающего перевес последнему над первым» (189). Нас не интересует здесь историческая теория Эннекена, да и у него она является как бы придатком к эстетической теории. Она служит ему лишь для пояснения последней путем параллели между историческими «героями» и художниками, с одной стороны, толпою, «массами» и почитателями художника — с другой. Было бы, однако, очень рискованно придавать титул героя всякому художнику, хотя бы и имеющему больший или меньший круг почитателей. По крайней мере надо в этом разобраться и условиться. Можно, пожалуй, уподобить историческому герою, властно ведущему толпу за собой, всякого талантливого художника — живописца, поэта, актера, музыканта, певца, внушающего зрителям, слушателям и читателям известные чувства и в этом смысле властвующего над ними. Но можно требовать от героя в искусстве и большего — такой яркой оригинальности, которая вызвала бы не только почитателей, проникающихся его образами и картинами, но еще «толпу» в другом смысле, многочисленных подражателей, иногда высоко талантливых, которые в свою очередь чаруют слушателей, читателей, зрителей.

Такими героями, например, в русской литературе были Пушкин и Гоголь.

Приближение весны в Петербурге ежегодно бывает отмечено каким-то пароксизмом художественных наслаждений. Еще не успевают закрыться двери театров, как уже начинаются художественные выставки, число которых растет с каждым годом, потом концерты, еще концерты, еще выставки. И все концерты и выставочные залы полным полны, да и вне их, на улице, дома, в гостях, в газетах, вы сталкиваетесь с отголосками пережитых художественных впечатлений: идут разговоры о собственном нашем г. Фигнере и чужестранных знаменитых концертах, об английской выставке, финляндской, передвижной, академической. Что это значит? Действительно ли мы, петербуржцы, так жаждем художественных наслаждений в смысле переживания чужой жизни? Спустимся немножко с этих высот чистой теории и посмотрим на некоторые осложнения того интереса к искусству, который мы только что в минувший сезон обнаружили.

Я не был на выставке картин английских художников, но вот что читаем в «Русских ведомостях» об эффекте, произведенном этой выставкой в Москве. Выставка «пользуется очень большим успехом у публики. За неделю ее пребывания в Москве администрация выставки получила входной платы 2 616 руб. Посетителей за это время перебывало до 4 000 человек. Картин продано пока всего пять на сумму 12 000 руб., что с приобретенными в Петербурге картинами составит более 80 нумеров. В настоящее время большинство выдающихся полотен уже распродано. Выставка особенно усердно посещается по вечерам, от семи до одиннадцати часов, когда играет цыганский оркестр И. Риго, красиво и с огнем исполняющий преимущественно штраусовский репертуар. В эти часы залы совершенно переполнены, что значительно затрудняет осмотр выставленных произведений. Много мешает также электрическое освещение, благодаря которому значительно меняется колорит масляных картин и совершенно пропадают акварели. Не совсем удачно освещены и некоторые картины в верхних рядах».

Вдумайтесь в эту заметку. Сравнительно недавно народился новый вид искусства или по крайней мере новое сочетание старых художественных элементов — мелодекламация. Мне не удавалось присутствовать

при хорошем исполнении, но я могу себе представить, что этот род искусства способен производить сильное и цельное впечатление, если, разумеется, кроме хорошего исполнения, текст читаемого произведения и сопровождающая его музыка совпадают в тоне; потому что, если, например, рассказ Горбунова [5] будет сопровождаться музыкальным мотивом, напоминающим похоронный марш, так ничего хорошего из этого не выйдет. Быть может, возможны сочетания музыки и с живописью. Но когда на выставке картин с разнообразнейшими сюжетами играет цыганский оркестр Риго, то чем красивее и чем с большим огнем он исполняет штраусовский репертуар, то тем нелепее должен оказаться результат выставки. Хорошо исполненный вальс Штрауса очень приятно послушать. Но, заразившись бьющим из этого вальса весельем, как могу я заразиться, как могу я тут же воспринять вложенное художником в пейзаж настроение тишины, грусти, одиночества? И наоборот: проникнувшись настроением кающейся Магдалины, как могу я слушать вальс? Скажут, может быть, что ведь и на выставке имеются картины на разнообразные сюжеты: веселый жанр рядом с тихим пейзажем, трагической сценой, портретом, nature morte. Это так. Но ведь я могу сосредоточить свое внимание на любой из этих картин в течение любого времени, тогда как звуки вальса сопровождают меня неотступно и не могут не раздваивать впечатление. А между тем, вот «залы переполнены» именно в те часы, когда играет цыганский оркестр и когда вдобавок благодаря электрическому освещению «значительно меняется колорит масляных картин и совершенно пропадают акварели». Ясно, что публика — не говорю, конечно, вся — толпится на выставке не затем, чтобы проникаться настроениями художников и переживать изображенную ими жизнь; не ради художественного, то самого наслаждения, а если и ради художественного, то самого низменного сорта: «насытить кристалл очей» красивыми пятнами, линиями, благо, это не мешает в то же время насыщать и орган слуха красивыми звуками. И это, может быть, еще наивысший мотив для многих: сами по себе картины без вальса *надо* смотреть, потому что такова мода, потому что все смотрят, потому что нельзя же хлопать ушами

в салоне, когда говорят о такой-то картине или такой-то статуе.

Ну а художники? Из того, что публика смотрит на картины, по бессмертному выражению Гоголя, «ковыряя в носу», не следует, что эти картины не суть произведения искусства. Они только слабо исполняют свою функцию или, может быть, совсем не исполняют ее, как так называемые рудиментарные, зачаточные органы. Причина такого положения вещей может лежать и в публике, и в художниках, и в обоих вместе. Художники и публика не находят друг друга. Явление, параллельное тому, которое выражено в знаменитой горькой фразе Щедрина: «Писатели пописывают, читатели почитывают». Публика даже с чрезвычайною охотою смотрит картины, но эти обзоры выставок составляют для нее просто развлечение, подогретое модой, а не то средство общения с душою художника, об котором говорят Эннекен и гр. Толстой. Картины, по-видимому, и покупаются в значительном числе, но не смотрят ли на них покупатели просто как на украшение своих кабинетов, гостиных, столовых?

Пойдемте на выставку «русских и финляндских художников»[6]. Я должен предупредить читателя, что отнюдь не беру на себя роли эстетического судьи. Подобно всем смертным, я не лишен чувства красоты, но не сумею объяснить, почему то-то мне кажется красивым, а то-то — некрасивым или даже вообще почему одно мне нравится, а другое не нравится. Технических знаний, нужных для полной оценки произведений живописи как живописи я не имею. Но думаю, что их не имеет и подавляющее большинство посетителей выставки. Я — один из этого большинства, только памятующий вышесказанное о задачах и пределах искусства.

Итак, мы на выставке русских и финляндских художников. Вот три номера, выставленных г. Боткиным[7]. В каталоге выставки они записаны так:

47. Три женских силуэта
Опыт декоративного мотива в желтых тонах. 1200 р.
48. Женский силуэт } могут служить
49. Женский силуэт } проектом для вышивки
шерстью по 500 р.

Уже сама эта запись свидетельствует, что художник преследовал цели украшения квартиры, а не искусства в смысле передачи зрителям известного настроения, внушения им известных чувств. Конечно, и предмет украшения может наводить на те или другие чувства, хотя, например, подушку, вышитую шерстью по проекту г. Боткина, всего естественнее подложить себе под бок или под голову, лежа на диване. Но дело в том, что и в душе художника вы ничего не усмотрите, кроме желания написать три (а может быть, и более) картины «в желтых тонах». На желтом фоне три нагие женщины в разных позах, желтого же, но более бледного цвета, среди каких-то желтых же, только очень темных растений.

Местом жительства г. Боткина показан в каталоге Париж, и можно бы было думать, что женская нагота, le nu *, играющая такую выдающуюся роль в произведениях французских живописцев, увлекла и нашего художника. Но и женская нагота, по-видимому, сравнительно мало занимала его. На всех трех его картинах мы имеем именно «силуэты», лишенные рельефа, а кроме того, натура ослабляется и равномерностью желтого цвета. Так написаны «три силуэта», потом один силуэт и еще один силуэт. Перед одним из этих одиночных силуэтов и я долго стоял в недоумении: что это такое? Как будто и женщина, а как будто и черт знает что. На желтом фоне желтая нагая женщина цветом побледнее среди желтых растений цветом потемнее. Но волосы женщины художник написал тем же темно-желтым цветом, что и растения, и закрыл ими спереди лицо и грудь женщины, так что волосы смешиваются с листьями растений, и вы долго не можете понять, что же значит эта нижняя часть женского тела, обрывающаяся кверху каким-то темно-желтым, неправильной формы пятном. Все это вместе составляет такой странный каприз художника, который едва ли во многих возбудит приятные эстетические впечатления, не говоря уж о более широких задачах искусства.

Желтые голые женщины г. Боткина стоят особняком на выставке русских и финляндских художников. Я хочу сказать, что ни сплошь желтых, ни сплошь синих

* обнаженная натура (*франц.*).

и проч. картин на ней больше нет. Но столь же, по-видимому, необъяснимых художественных капризов очень много. До такой степени много, что, насмотревшись на эти чудны́е (не чу́дные, читатель) картины, вы с особенным удовольствием останавливаетесь не только на картине г. Эдельфельда[8] «Похороны ребенка», но и на гораздо более слабой «Улице в Москве в XVII в.» г. Рябушкина. Если я сопоставляю эти две картины, то вовсе не для сравнения их между собою и вообще не для того, чтобы об них распространяться. На всякой другой выставке они вовсе не так бы бросались в глаза; обыкновенные житейские сцены, обыкновенные люди, обыкновенными приемами и обыкновенными красками написанные. Но на выставке русских и финляндских художников — «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». Разумею не только сюжеты, а и изображаемые предметы, и приемы изображения, и краски. Бессмыслица здесь спорит с безобразием.

Скажут, это новые пути в искусстве. Прежде чем поближе посмотреть на них, позвольте мне рассказать два анекдота. Но к одному из них мне хочется сделать еще приступ.

Только что умер И. И. Шишкин, «лесной царь», как его называли, работы которого есть и на нынешней передвижной выставке. Но на ней есть, кроме того, и превосходный портрет Шишкина работы г. Ярошенко Глядя на него, в особенности под впечатлением смерти Шишкина, невольно вспоминается другой, старый, тоже превосходный портрет покойного пейзажиста работы Крамского. Там вы видите могучего, полного сил человека, стоящего, опершись на палку, в поле. При нем ящик с красками и зонтик, и по спокойной позе, по спокойной вдумчивости глаз, устремленных вдаль,— надо думать, на лес, который он сейчас будет писать,— вы почувствуете, что это полный хозяин этого леса и своего дела. Тут, на портрете г. Ярошенко,— то же красивое, но уже бледное, усталое лицо, обрамленное седыми волосами и длинной седой бородой; Шишкин сидит в кресле, устало наклонив голову и опершись на колена руками, держащими палитру, кисти, муштабель...

Однажды мне пришлось быть в обществе, в кото-

ром было несколько художников, в том числе Шишкин. Это было давно, когда в нашей музыке прокладывались какие-то новые пути, и разговор зашел, между прочим, о новой опере. Совершенно незнакомый с этой оперой, да и о новых путях зная лишь понаслышке, так как они тогда гремели,— я чувствовал, однако, фальшь, неискренность в чрезмерно восторженных отзывах некоторых из присутствующих: чуялось что-то подогретое, а не настоящее горячее. Шишкин резко выразил свое несогласие с этими похвалами. «Да вы сколько раз видели эту оперу?» — спросили его.— «Как сколько? Один».— «Ну, вот то-то и есть, а ее надо прослушать двадцать раз, вот как я».— «Двадцать раз?! — негодующе воскликнул Шишкин.— Да будь я не Иван Иваныч, а Болван Болваныч, если и во второй раз пойду слушать эту ерунду!» Может быть, Шишкин был не прав в своей оценке оперы, а правы были восторженные хвалители. Но Шишкин был искренен, а хвалители — что чувствовалось — подогревали себя в угоду модным «новым путям». Если не ошибаюсь, эти пути теперь брошены и, во всяком случае, более не гремят...

Второй анекдот я слышал от других. При одном талантливом художнике, который был вместе с тем и остроумный человек, зашла речь о новых путях в искусстве, выражающихся в стремлении возродить наивную живопись старых мастеров. По комнате ползал ребенок, у которого рубашонка задралась совсем кверху, и он был почти совсем голенький. Остроумный художник сказал, что всякому овощу свое время, что и наивность была в свое время хороша, когда соответствовала всему тогдашнему складу мыслей, чувств, верований. «Вот ведь,— прибавил он, указывая на ползающего ребенка,— как мила эта наивность, ну а если бы мы все так, задравши рубахи, забегали, то это была бы просто гадость».

Оба эти анекдота вспомнились мне по поводу выставки русских и финляндских художников. Здесь представлены новые пути, и многие этими новыми путями восторгаются, но восторги эти кажутся мне неискренними (многие, впрочем, чуть что не отплевываются), а новые пути, вообще говоря, состоят именно в той наивности, которая, задрав рубаху, самодовольно

прогуливается. Я не хочу этим сказать, что на этой выставке царит неприличие в нравственном смысле Напротив, в этом отношении ни за что не зацепится самое строгое пуританское чувство. Мы видели, что голые желтые женщины г. Боткина по возможности не похожи на голых женщин. А затем, не говоря уже о каких-нибудь скабрезных сюжетах, «Le nu» самое скромное, можно сказать, совсем отсутствует на выставке. Сидит, правда, на акварели г. Энкеля «Поэма» голый человек с необыкновенно глупой физиономией на берегу какого-то прудка и держит в руках лиру, а к нему подплывают черные лебеди: но его нагота чрезвычайно похожа на трико. Тот же г. Энкель выставил картину «Адам и Ева». Натурой художнику служили благообразный безбородый, а может быть, тщательно выбритый и, во всяком случае, коротко остриженный финн и хорошенькая, лукаво улыбающаяся чухоночка, и г. Энкель был верен натуре; но почему это Адам и Ева, а не просто благообразный финн и хорошенькая чухоночка — не известно. Можно бы было думать, что это аллегория, или символ. По-видимому, взят момент соблазна Евою Адама, хотя с решительностью этого сказать нельзя ввиду несколько тупой неопределенности выражения лица Адама. В таком случае художник хотел сказать, что вот, дескать, это вечная история, повторяющаяся и в Финляндии. Однако Адам и Ева изображены без одежды, чего, как говорит мужик в «Плодах просвещения» гр. Толстого, «клеймат не позволяет» делать на нашем севере. Но любопытно, что об отсутствии одежды на Адаме и Еве свидетельствует только одна рука и верхняя часть груди Адама. Картина срезана внизу так, что туловища Адама не видать, а у Евы, которая ростом пониже, видна даже только одна голова.

Итак, припоминая анекдоты о ребенке с задранной рубашонкой, я вовсе не имел в виду указать на какую-нибудь нескромность гг. русских и финляндских художников. Это надо понимать в том смысле, что то, что приличествует детскому возрасту, не годится для великовозрастных. О прокладывающих новые пути в живописи можно часто услышать, что они не гонятся за правдою в смысле воспроизведения действительности, как она есть, для них важно настроение, овла-

девающее художником и передаваемое им зрителю. Казалось бы, чего же лучше? Точной копией с действительности данного момента произведение искусства никогда не может, да и не должно быть. Художник вносит в него нечто свое — свое понимание и настроение. Но из этого не следует, чтобы реальная действительность была извращаема и намеренно уродуема. Посмотрите на эти деревья в большинстве пейзажей на выставке русских и финляндских художников. Так рисуют дети и вообще неумелые или бездарные люди, но рисуют от чистого сердца, прилагая все старания приблизиться к природе, а здесь вы видите намерение изобразить нечто ни с чем не сообразное. Конечно, притворяться, что не умеешь рисовать, когда в самом деле не умеешь,— очень легко, а потому людям бездарным на этих новых путях, что называется, лафа. Это мы и в поэзии видим. Рифма, ритм, правда, смысл,— чтоб сочетать все это, нужно особенное дарование, которое не стеснялось бы этими условиями, а, напротив, черпало бы из них силу для воздействия на читателя. Ну а если ничего этого не нужно на новых путях, так не нужно и поэтического таланта. Но ведь не все же бездарности фигурируют на выставке русских и финляндских художников. Напротив, тут наверное есть талантливые люди, и тем прискорбнее видеть, как они себя уродуют в угоду модной художественной тенденции. Тенденция эта, в общем, отрицательного характера: реакция против реализма. Не вполне, но в значительной степени эта тенденция характеризуется стихотворением г-жи Гиппиус:

Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
　　Не знаю...
И это желанье не знаю откуда
　　Пришло, откуда.
О, пусть будет то, чего не бывает,
　　Никогда не бывает.
. . . .
Мне нужно то, чего нет на свете,
　　Чего нет на свете.

Эта тенденция, как имеющая свои глубокие корни в условиях современной общественной жизни, заслуживает самого серьезного внимания. Но не следует преувеличивать ее значения. Оно очень ослабляется тем обстоятельством, что движение становится модным и по-

тому неискренним: людям кажется, что поза человека, которому нужно то, «чего нет на свете» и «чего не бывает, никогда не бывает», очень красива, и они охотно принимают эту позу, не испытывая в действительности соответственных чувств. И нужна смелость Шишкина, чтобы в известных кругах сказать: «Будь я не Иван Иванович, а Болван Болванович, если пойду еще раз смотреть эту ерунду!» Как бы то ни было, однако, а мы видим целый ряд художественных произведений, в которых искренно или неискренно отражается тяготение к тому, чего не бывает, никогда не бывает. К этой общей цели художники подходят с разных сторон: то изображают события, каких не бывает, то пишут деревья, каких нет на свете, то пускают в ход краски, не соответствующие действительности, то комбинируют реальные черты с невозможными. Спрашивается: какое же «настроение» внушается всем этим зрителю?

На выставке, о которой идет речь, есть несколько картин г. Эдельфельда. По правде сказать, этому талантливому художнику как будто и не место в такой компании: слишком он для них прост и ясен, слишком привержен к тому, что и есть и что бывает. И, например, его упомянутая уже картина «Похороны ребенка» вызывает вполне определенное настроение грусти. Но вот его же картина «Магдалина». Стоит Христос в белой одежде с выражением кротости на лице, как его обыкновенно пишут, только выражение это не ярко, может быть, потому, что Христос стоит в профиль. Словом, Христос традиционный, ничем не выделяющийся из бесчисленных изображений Спасителя. Перед ним на коленях, простирая к нему руки и с полными слез глазами стоит Магдалина. Скорбь грызущей совести, может быть, уже облегченная этими слезами и надеждой на прощение, передана очень сильно. А так как г. Эдельфельд, к счастью, не щеголяет ни намеренною неправильностью рисунка, ни нелепостью красок, ни другими подобными вздорами, мешающими зрителю войти в данное положение, пережить преображенную жизнь, то между зрителем и художником, и зрителем и кающеюся Магдалиною возникает то осложненное художественным наслаждением общение, которое составляет конечную задачу искусства. Одна беда: эта прекрасно написанная Магдалина в противоположность

Христу вполне современна. Это — современная типичная чухонка в кофточке и современном костюме вообще. Зачем это? Конечно, и современная финская, как и всякая другая, грешница может испытывать чувства скорби, и покаяния, и надежды искупления совершенно так же, как Магдалина, и точно так же выражать их. Но одно из двух: или Магдалина должна быть современна Христу, а не нам, или Христос должен ей явиться в видении, в мечте, пожалуй, в виде художественного произведения, скульптурного или живописного. Я знаю, что г. Эдельфельд не первый прибегает к этому сочетанию евангельских черт с современными,— у французов уже есть подобные картины. Но это не мешает быть этому новому пути в живописи ложным по той простой причине, что он разбивает цельность впечатления. Так и хочется разрезать картину г. Эдельфельда пополам.

Минуя картину г. Нестерова «Чудо», хотя она могла бы дать повод для интересных соображений о подделке под наивность, отметим целый ряд иллюстраций к сказкам: эпизод из «Калевалы» г. Бломстеда, два эпизода из нее же г. Галена[9], ряд иллюстраций к бретонским сказкам г. Лансере, иллюстрации к сказкам «Царь Салтан» и «Руслан и Людмила» г. Малютина. Здесь уже самым сюжетом художники наталкиваются на то, чего нет на свете и чего не бывает. И надо отдать справедливость гг. художникам: они вполне пользуются этим благоприятным поводом. Оно как будто и законно в этом случае. Вот, например, один из эпизодов из «Калевалы», вдохновивших г. Галена: «Ужасная Лоухи обратилась в страшного орла и, преследуя славного Вейнемэйнена, похитителя сокровища Сампо, села на мачту его ладьи. Под крыльями у нее сто ратников, а на хвосте тысяча. После ужасной битвы Вейнемэйнен обломал чудовищу крылья, и ратники упали в воду. Орел с ужасным шумом ухватил последним оставшимся когтем за Сампо и столкнул его в пучину моря». Соответственно этому и в картине столько чудовищного и безобразного, что даже смотреть скверно. В условиях сказки художники находят как будто законный простор для якобы наивности сюжета, аляповатости форм и красок, безобразия рисунка. Однако это лишь до известной степени законно. Примитивное народное

творчество, создавая всех этих «ужасных Лоухи» с тысячами ратников на хвосте и т. п., совсем не было столь уверено, что так «не бывает», сколь уверены в этом мы. К настроению, даваемому наивной верой в возможность ужасных Лоухи, для нас нет возврата. Потому так и трудны подделки под примитивное творчество, и трудность эта отнюдь не преодолевается механическим воспроизведением подробностей сказки и простым нагромождением ужасов на ужасы и безобразий на безобразия.

Но то сказка. А вот не угодно ли полюбоваться, например, на «Август» г. Сомова. Ни цветом, ни формами ни на что не похожий пейзаж, среди которого написано какое-то небольшое водное пространство,— не то лужа, не то прудок, а немного в стороне сидит человек, мужчина, вытянув ноги и выпрямив стан, точно аршин проглотил; лицо его ровно ничего не выражает, даже чувства неловкости его позы; на коленях у него лежит женщина, ничком вытянувшись вдоль его ног; ей тоже было бы очень неловко так лежать, если бы это была натура, а не картина. Почему это «Август» и что это такое вообще? Уловить настроение художника невозможно, кроме разве того, что ему хочется писать нечто такое, «чего не бывает». И зритель отходит от картины с единственным результатом: да, так не бывает... Может быть, эта пустынность тоскливо монотонного пейзажа, этот безжизненный прудок. эти неловкие позы двух людей, в которых тоже нет жизни,— может быть, все это должно внушать зрителю чувство тоски. Может быть, но это тоска, от которой вы отворачиваетесь, к сочувственному к ней отношению не ведет вас художественное наслаждение.

Уйдемте куда-нибудь с этой выставки. Пойдемте на ее прямую противоположность — передвижную. Здесь мы увидим только то, что есть, что бывает и именно как бывает. Когда-то это было тоже новое течение, долго подготовлявшееся условиями нашей жизни и наконец прорвавшееся с шумом и блеском. Кто был двадцать пять лет тому назад в Петербурге, тот помнит волнения, вызванные первыми передвижными выставками: и «тузовые» восторги г. Стасова, и негодование других критиков, и собственные впечатления зрителей. В прошлом году в Москве начал выходить альбом пере-

движных выставок за 25 лет. К сожалению, у меня под руками только первый выпуск этого издания, а то стоило бы хоть слегка пройтись по этой четверти века художественных воспоминаний. Новизна состояла именно в намерении изображать действительность, как она есть, освободившись от условных форм академического искусства и от далеких от жизни тем. С тех пор много воды утекло, и можно услышать мнение, что передвижники отжили свой век, причем отчасти возрождаются и те упреки, которые им делались в самом начале.

Было бы слишком долго рыться в старых газетных и журнальных статьях, но у меня записан в высшей степени характерный отзыв критика «Русского вестника» о картине г. Репина «Бурлаки», которая хотя появилась и не на передвижной выставке, но вполне соответствовала духу ее. Критик писал: «Бурлаки» сильно отзывались стихотворениями г. Некрасова и явно били на гражданский смысл. Но помимо этого недостатка картина отличалась самыми положительными достоинствами. Группа бурлаков выделялась превосходным пятном на огромном холсте... Громадный поволжский пейзаж, необыкновенно трудный по своей пустынности, служит превосходным фоном для этой сбившейся в кучу толпы». Итак, «гражданский смысл» — вот недостаток; «превосходное пятно на превосходном фоне» — вот достоинство. Это было написано в 70-х годах, но и в последнее время вы могли услышать нечто подобное. Критики и зрители этого сорта требуют от картины превосходных пятен на превосходном фоне. Превосходное, конечно, превосходно. Но, стараясь по возможности приблизиться к этому техническому превосходству (в общем, никто не упрекнет их в небрежной работе), передвижники думали, что насытить кристалл очей превосходными пятнами — еще не значит взять с искусства все, что оно может и должно дать; что эти превосходные пятна должны служить проводниками для передачи настроения художника зрителю, для внушения ему известных чувств. Представители этого течения действовали искренно и сознательно, тогда как критики, исповедовавшие исключительный культ превосходных пятен, либо находились во власти недоразумения, либо сознательно лгали. В сущности, они протестовали только

против того, что они называли «*гражданским* смыслом», и если бы они встретили в картине то, что они называли «патриотическим» настроением,— они бы ничего не имели против и находили бы вполне законным *такое* воздействие на зрителей при посредстве превосходных пятен. Это и в литературе было. «Русский вестник» и подобные ему органы громили тенденциозные романы во славу чистого искусства и в то же время восторгались тенденциознейшими романами Болеслава Маркевича, г. Авсеенко и т. п. Под видом борьбы с тенденцией за чистое искусство шла, в сущности, борьба с одной тенденцией за другую. Задачи искусства можно бы было с этой точки зрения совсем в стороне оставить и обмениваться речами «о любви к отечеству и народной гордости».

Так оно отчасти и было. Передвижники отличались в том, что они выбирают для художественного воспроизведения скорбные, темные стороны русской жизни и обходят светлые; в том, далее, что они «провоняли искусство полушубком» и тем заслонили от общества более высокие, более тонкие тревоги и радости так называемых культурных классов. В совокупности этих черт и состоит «инкриминируемый гражданский смысл», а отсюда уже идет нить к упреку в ущербе, нанесенном красоте как единственному предмету искусства. О недоразумении или сознательной лжи, связанных с этим последним пунктом обвинения, я сейчас говорил Прибавлю еще одно замечание: и в тех случаях, когда художник, по-видимому, ничего, кроме красоты, не преследует, он все-таки желает нечто внушить зрителю, а именно свой восторг перед красотой — женского тела, пейзажа, изящного или богатого наряда. Так что и здесь художник не избегает общего закона искусства Нужно правду сказать, что произведений этого характера мало бывало на передвижных выставках. Бывали нарядные костюмы едва ли не исключительно ради их нарядности, но их было, во всяком случае, мало, и не они давали тон выставкам. Голого женского тела что-то и совсем не помню. Пейзажей было много (и с каждым годом все больше), но зато же и красоты в них было много. Стоит только вспомнить имена Шишкина, Волкова, Дубовского [10], посмотреть их пейзажи и на нынешней выставке, да посравнить с пейзажами

на выставке русских и финляндских художников, чтобы понять, что такое настоящая красота. Надо, однако, заметить, что пейзажи, как я старался объяснить в другом месте, есть символ и одно из условий одиночества. И, кроме художественного наслаждения чрез посредство его, пейзаж внушает зрителю спокойное, радостное, скорбное — смотря по обстоятельствам — чувство одиночества. Так называемой *чистой* красоты хорошо написанный пейзаж не дает и не может дать. Это, впрочем, мимоходом. Вернемся к упрекам в «гражданском смысле».

Упреки эти частью совершенно нелепы; частью фактически неверны. Послушать их, так пришлось бы признать, что изображение светлых сторон русской жизни лишено гражданского смысла или же представляет собою гражданское бессмыслие. Да оно действительно так и есть, если под любовью к отечеству разумеется исключительно восхваление его и устраняется скорбь о его бедах и язвах. А что касается «полушубка» и противопоставления его так называемым культурным классам, то разве этот полушубок идеализировался, например, в «Разделе» г. Максимова [11], в его же «Приход колдуна на свадьбу» и проч., проч.— всего не упомнишь. Да и если полушубок бросался в глаза на передвижных выставках, так вовсе не потому, что им исчерпывалось их содержание, а только потому, что до них он не считался достойным художественного произведения. Во имя жизни и правды они ввели его, и в этом, конечно, их великая заслуга.

Говорят, что передвижники утратили свой raison d'etre * как обособленная группа. Они внесли нечто в русское искусство, и это нечто не составляет уже теперь их исключительной принадлежности; в свою очередь и они у других кое-чем позаимствовались, утратили яркость своей обособленности, и теперь ничто не мешало бы им слиться с другими художественными учреждениями и обществами. Указывают, в частности, на то, что жанр, составлявший прежде центр тяжести передвижных выставок, на нынешней выставке находится в умалении, количественном и качественном, тогда как на академической выставке, где он прежде почти от-

* основание (*франц.*).

сутствовал, равно как на выставке «Спб. общества художников», жанр представлен если и не блестяще, то по крайней мере обильно. Было бы интересно сравнить жанры этих двух выставок с жанрами передвижников, но у меня и без того остается слишком мало времени и места. Я остановлюсь лишь на тех элементах упомянутых двух выставок, которых нет на передвижной; нет и, думается, не может быть или по крайней мере, появившись по каким-нибудь случайным посторонним обстоятельствам, они шли бы в разрезе ее духу и производили бы впечатление диссонанса.

«Христианская Дирцея в цирке Нерона» г. Семирадского [12] (на выставке «Спб. общества художников»). Это огромное полотно, составляющее «гвоздь» выставки, вызвало столько печатных и устных разговоров, что к нему страшно приступиться. А пожалуй, что и не страшно, потому что отзывы крайне противоречивы. В каталоге говорится следующее:

Сюжет картины заимствован из сказаний Климента Римского и Гигина [13]. Эпизод появления на арене цирка неукротимого быка с привязанной к нему молодой христианской девушкой должен был напомнить собой такую же казнь, какой подвергалась мифическая царица Дирцея по приговору пасынков ее Амфиона и Цета [14]. Привязанная к быку веревками, перевитыми цветами, а к рогам волосами, девушка казалась безжизненной от испытанных ею ужаса, стыда и физических страданий. Животное истекает кровью, умерщвленное гладиаторами (bestiarii), назначенными для звериной травли. Зрелище окончено. Нерона снесли на арену в раззолоченных носилках нумидийские невольники. В сопровождении своего любимца, префекта преторианцев, жесткого и развратного Тигелина и нескольких приближенных Нерон подошел к своим жертвам, любуясь необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной им мифологической группы.

Картина повешена так, что близко подойти к ней нельзя, и я по близорукости не мог рассмотреть выражения лица мученицы. Пусть она действительно «кажется безжизненной от испытанного ею ужаса, стыда и физических страданий». Но, превосходно выписанная, со множеством «превосходных пятен», картина и вся безжизненна. Не говоря о стоящих навытяжку нуми-

дийских невольниках и других стражниках с ничего не выражающими тупыми лицами, «жесткий и развратный Тигелин» стоит опустя голову и в пол-оборота к зрителю, а Нерон... в описании картины сказано, что он «любуется», но, признаюсь, я ничего не усмотрел на этом лице. Зато мне кажется несомненным, что сам художник «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной им мифологической группы». Сам художник любуется тем, чем любовался Нерон, тоже своего рода художник, но жестокий и безумный властитель, для удовлетворения своих эстетических потребностей не задумавшийся надругаться над этой несчастной девушкой. Неужели же есть что-нибудь родственное в душах этого безумного зверя и нашего художника? Картина г. Семирадского напомнила мне бывшую на одной из недавних академических выставок картину г. Новоскольцева [15] из времен Ивана Грозного. В доме опального боярина хозяйничают опричники. Центр картины занимает обнаженная девушка, дочь боярина, над которой только что зверски надругались опричники. Отец боярышни сидит связанный, а опричники, уверенные в своей безнаказанности, тут же, в присутствии, не помню уже, трупа или только «кажущейся безжизненной» девушки, весело пируют. Какой сюжет! Какая страшная, потрясающая тема и как должен содрогаться зритель, прикованный, несмотря на свой ужас, к картине художественным наслаждением переживания этого самого ужаса!.. Но ничего подобного зритель не испытывает. «Сердце в том не убедится, что не от сердца говорится». Г. Новоскольцев «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной им quasi-исторической сцены», как *могли бы* любоваться ими опричники (*могли бы*, потому что на картине они даже не обращают внимания на дело рук своих). Что же,— возродилась в г. Новоскольцеве душа зверя опричника? Конечно, нет. Опричнику доставляла наслаждение борьба, драка, разрушение, кровь, а г. Новоскольцев устроил в разгромленной комнате такой чистенький, аккуратный беспорядок и вообще так убрал и вымыл все следы борьбы, что для ужаса не остается никакого повода. Поклонники «чистой» красоты скажут, что в этом-то и состоит достоинство картины, так как в ней нет «гражданского смысла», а есть

«красивые («превосходные» — в данном случае слишком сильное слово) пятна». Но тогда незачем выбирать подобные сюжеты, мало ли других поводов для изображения красоты женского тела. У некоторых французских художников «клеймат позволяет» разгуливать женщинам нагишом по лесу. Это бессмыслица, так «не бывает», но это не оскорбляет вас в такой мере, как холодное и лживое трактование зверского преступления. Оно холодно и лживо, ибо нельзя себе представить, чтобы девушка на картине г. Новоскольцева не сопротивлялась, чтобы ее просто раздели, не нанеся ей ни одной царапины, не обагрив ее девственного тела ни единой каплей крови и не получив в свою очередь никакого повреждения своим лицам и костюмам: опричники такие чистенькие, точно сейчас ванну взяли, и костюмы на них с иголочки, ни одна пуговица в свалке не оборвалась... Вот почему картина холодна и лжива. И по той же причине холодно и лживо произведение г. Семирадского. Г. Семирадский, как и Нерон, «любуется необычайностью и прелестью пластики воспроизведенной им сцены». Но г. Семирадский не Нерон, и потому его Дирцея столь же цела и невредима, как боярышня г. Новоскольцева, и столь же мало на арене цирка следов беспорядка и борьбы. По этой же причине и его Нерон не выражает на своем лице того особого жестокого удовольствия, ради которого он затеял воспроизведение мифа о Дирцее. Голых женщин, самых красивых, Нерон мог иметь сколько угодно и любоваться ими вволю, а в данном случае ему нужно было красивое тело в особенной, кровавой обстановке: ее нет на картине, нет и отражения ее на лице Нерона...

Несмотря на выдающуюся талантливость г. Семирадского, его «Дирцея» была бы неуместна на передвижной выставке, представляла бы собой диссонанс на ней, как теперь, хотя и по другой причине, представляет диссонанс картина г. Нестерова «Благовещение». Евангельские темы не раз и прежде занимали передвижников. Достаточно вспомнить «Христа в пустыне» Крамского, ряд картин Ге и проч. Но во всех этих случаях художники старались вложить *свое* настроение и *свое* понимание в изображение того или другого евангельского эпизода. Это понимание могло

быть ошибочным, но это настроение было искренно, свое. Г. же Нестеров вот уже несколько лет старается выразить не свое, а чужое, примитивно наивное настроение. И, глядя на его «Благовещение», я опять-таки вспомнил два вышеприведенные анекдота. А впрочем, я слышал, как один изящнейший кавалерийский офицер, остановившись перед картиной г. Нестерова, обратился к своей спутнице, тоже очень изящной и нарядной даме, с восклицанием: «Ah, que c'est beau...» *

Передвижная выставка уже не производит ныне того впечатления, какое производила когда-то. Частью потому, что кое-какие ее специальные черты действительно до известной степени перестали быть специальными и усвоены другими учреждениями и обществами. Этим передвижники могут только гордиться. Но есть и другие, печальные стороны дела. Знамя передвижных выставок остается неприкосновенным, но некоторые сильные носители этого знамени покончили свое земное поприще, а «иные ему изменили» и — не скажу «продали кисти свои», но отошли в сторону. А на смену им нарождается что-то мало больших сил (таким казался, например, г. Богданов-Бельский [16], таков, несомненно, есть г. Касаткин). На нынешней выставке преобладающую роль играют пейзажи, между которыми есть истинно превосходные: не говоря уже о последних произведениях Шишкина, «Везувий» г. Ярошенко, «Осеннее утро» г. Мясоедова, «Перед вечером» г. Волкова и в особенности изумительный «Тихий вечер» г. Дубовского,— вот ведь тоже «желтые тона», вернее: золотые, а посмотрите, что значит писать не модель для вышивки шерстью, а подлинное пережитое впечатление, воспроизведенное для внушения его же зрителю... Однако пейзаж сам по себе не есть что-нибудь характерное, как ради живописи, для передвижной выставки. Он лишь в последние годы стал завоевывать себе относительно большее место в ущерб жанру и исторической живописи. Там — в жанре и исторической живописи — жизнь и жажда жизни, здесь — в пейзаже — удаление от жизни и жажда покоя. Любопытно: г. Мясоедов, когда-то блестящий жанрист, лишь изредка обращавшийся к пейзажу, на одной из предыдущих выставок

* «О, как это прекрасно!» (*франц.*).

дал картину «Вдали от мира»,— одинокий монах в лесу или в поле; а на нынешней выставке г. Мясоедов, уже исключительно пейзажист, ушел в лес, в поле, «вдаль от мира». Недостает, чтобы неистощимый, кипящий жизнью г. В. Маковский ушел «вдаль от мира»; его жанров на нынешней выставке и меньше прежнего, и как-то они случайны, анекдотичны. Что это значит: личная усталость или наша оскуделая жизнь не дает достаточного возбуждения?

Читатель пробежал не обзор четырех художественных выставок. Я этой претензии не имел и обошел многое, достойное в разных отношениях внимания. Я не говорил об огромном и вполне безобразном «декоративном панно» г. Врубеля «Утро» на выставке русских и финляндских художников, о картине г. Рубо «Живой мост» (у академиков), представляющей разительный пример несоответствия за сердце хватающего сюжета с холодностью исполнения; об очень интересных, хотя и загадочных маленьких сериях г. Котарбинского и его же нисколько не интересной и огромной «Оргии» и проч., и проч. Я хотел лишь несколькими примерами иллюстрировать вышеизложенные теоретические положения о задачах и пределах искусства.

Март 1898 г.

ЕЩЕ ОБ ИСКУССТВЕ И гр. ТОЛСТОМ

В прошлый раз я выразил удивление, что гр. Толстой, говоря о различии вкусов и понятий о красоте, не прибег к своему обычному приему quasi-математического подсчета: дескать, приняв в соображение все полуторамиллиардное население земного шара, надо признать, что мы, так называемые образованные люди, ничтожная горсть, составляющая такую-то долю всего человечества, не имеем права считать свои вкусы и понятия о красоте единственно верными. Я поторопился удивляться. В только что появившемся

окончании статьи гр. Толстого («Вопросы философии и психологии») мы находим этот прием.

Гр. Толстой пишет:

«Мы так привыкли наивно считать не только кавказскую породу самой лучшей породой людей, но и англо-саксонскую расу, если мы англичане или американцы, и германскую, если мы немцы, и славянскую, если мы русские, что мы, говоря о нашем искусстве, вполне убеждены, что наше искусство есть не только истинное, но и лучшее и единственное искусство. Но ведь наше искусство не только не есть единственное искусство, но даже не есть искусство всего христианского человечества, а только искусство очень малого отдела этой части человечества. Можно было говорить о народном — еврейском, греческом, египетском, и теперь можно говорить о китайском, японском, индийском искусстве, общем всему народу. Такое общее всему народу искусство было в России до Петра и было в европейских обществах до XIII, XIV веков; но с тех пор, как люди высших классов европейского общества, потеряв веру в церковное учение, не приняли истинного христианства и остались без всякой веры, нельзя уже говорить об искусстве высших классов христианских народов, подразумевая под этим все искусство. С тех пор, как высшие сословия христианских народов потеряли веру в церковное христианство, искусство высших классов отделилось от искусства всего народа, и стало два искусства: искусство народное и искусство господское. И потому ответ на вопрос о том, каким образом могло случиться то, чтобы человечество прожило известный период времени без настоящего искусства, заменяя его искусством, служащим одному наслаждению, состоит в том, что прожило без истинного искусства не все человечество и даже не значительная часть его, а только высшие классы христианского европейского общества, и то очень сравнительно короткий период времени: от начала Возрождения и Реформации до последнего времени... Не только две трети человеческого рода, все народы Азии, Африки живут и умирают, не зная этого единственного высшего искусства, но, мало этого, в нашем христианском обществе едва ли одна сотая всех людей пользуется тем искусством, которое мы называем всем искусством; остальные же 0,99 наших же европейских народов поколениями живут и умирают в напряженной работе, никогда не вкусив этого искусства, которое притом таково, что если бы они и могли воспользоваться им, то ничего не поняли бы из него» (стр. 17—19).

Вложенную в эту цитату мысль гр. Толстой еще не раз повторяет, развивает, иллюстрирует примерами, а в заключении статьи он сообщает, что уже пятнадцать лет, «не переставая, думал об этом предмете», то есть об искусстве. Из этого следует заключить, что каждая строка этого нового произведения нашего великого художника, каждое отдельное положение, каждый иллюстрирующий пример наилучше обставлены, как в фактическом, так и в логическом отношении. К сожалению, это далеко не так в действительности. Начать хоть

бы с этих «двух третей человеческого рода» или 0,99 европейцев. Что они доказывают? Что они могут доказать в данном случае? Две трети человеческого рода, все народы Азии, Африки живут и умирают нехристианами, часто не имея ни малейшего понятия о христианстве или же относясь к нему враждебно; это не мешает, однако, гр. Толстому быть искренно верующим христианином, а ведь и среди европейцев найдется немало людей, понимающих христианство не так, как понимает его гр. Толстой. В деле мнений ссылки на большое или малое количество согласно или несогласно мыслящих ровно ничего не доказывает, и даже один человек вправе считать себя единственным в целом мире обладателем истины, пока ему не докажут, что он заблуждается. Если современное искусство цивилизованных людей стоит на ложном пути, то это надо доказать, а указание на азиатские и африканские народы и на 0,99 европейцев — не доказательство. Да и представляет свой статистический аргумент гр. Толстой очень запутанно. В самом деле, «прожило без истинного искусства не все человечество и даже не значительная часть его, а только высшие классы христианского европейского общества, и то очень сравнительно короткий период времени: от начала Возрождения и Реформации и до последнего времени». Значит ли это, что то «истинное искусство», которое существовало до Возрождения и Реформации, было близко, дорого и понятно азиатским и африканским народам и всем ста сотым европейцев? Конечно, нет. Но — возразят, может быть,— искусство всех времен и народов гр. Толстой противополагает искусству указанного сравнительно малого исторического периода и ничтожной горсти человечества в том смысле, что только это последнее искусство «служит одному наслаждению». Именно в этом смысле оно и есть «господское искусство», тогда как искусство древнееврейское, греческое, египетское, современное китайское, японское, индийское, русское до Петра, европейское до XIII, XIV века,— все это искусства «народные»; в этом и состоит объединяющая их черта, каковы бы ни были их различия в других отношениях.

Гр. Толстой излагает как свои мысли, так и подтверждающие или якобы подтверждающие их факты с такою ошеломляющею уверенностью, что об искусстве

японском, индийском, китайском, египетском, которые он, вероятно, глубоко изучил, я не решаюсь говорить, да и очень уж далеко от нас все это. Другое дело русская история, которую мы все-таки все немножко знаем или по крайней мере должны знать. Но надо остановиться еще на некоторых общих положениях гр. Толстого.

«Всегда во всякое время и во всяком человеческом обществе есть общее всем людям этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно, и это религиозное сознание и определяет достоинство чувств, передаваемых искусством. И потому у всех народов всегда искусство, передававшее чувства, вытекающие из общего людям этого народа религиозного сознания, признавалось хорошим и поощрялось; искусство же, передававшее чувства, несогласные с этим религиозным сознанием, признавалось дурным и отрицалось; все же остальное огромное поле искусства, посредством которого люди общались между собою, не оценивалось вовсе и отрицалось только тогда, когда оно было противно религиозному сознанию своего времени» (6—7).

Итак, основою для суждения о художественных произведениях «всегда», «во все времена», «у всех» служило религиозное сознание. Есть, однако, «огромное поле искусства», независимое от религиозного сознания, для которого никакого мерила не было и нет: оно «не оценивалось вовсе». Что это значит? Кем не оценивалось? Если,например, русские люди поют песню «Вниз по матушке по Волге», не имеющую никакого отношения к религиозному сознанию, то не свидетельствует ли уже самый факт ее распространенности, что она «оценивается»,и оценивается именно на основании даваемого ею наслаждения.

«Высшие сословия средних веков по отношению к религии очутились в том же положении, в котором находились образованные римляне перед появлением христианства, то есть не верили более в то, во что верил народ; сами же не имели никакого верования, которое могли бы поставить на место отжившего и потерявшего для них значение языческого учения. И вот среди этих-то людей стало вырастать искусство, расцениваемое уже не по тому, насколько оно выражает чувства, вытекающие из религиозного сознания людей, а только потому, насколько оно красиво; другими словами — насколько оно доставляет наслаждение» (8—9).

Что искусство Возрождения противопоставляло средневековому аскетическому идеалу наслаждение — это верно, но что оно «расценивалось» *только* по тому,

насколько оно доставляет наслаждение,— неверно, ибо задача его состояла не только в том, чтобы непосредственно давать наслаждение, а и в том, чтобы отстаивать права человека на наслаждение и бороться с противными течениями и, следовательно, внушать очень разнообразные положительные и отрицательные чувства. А кроме того, ведь и тогда, как «всегда», «везде», «у всех», существовало «огромное поле искусства», независимое от религиозного сознания и, по мнению гр. Толстого, «неоцениваемое вовсе», а в действительности, конечно, оцениваемое и не иначе, как по степени даваемого им наслаждения.

С этим гр. Толстой, пожалуй, и согласился бы. Но дело в том, что «для огромного большинства всего рабочего народа наше искусство, недоступное ему по своей дороговизне, чуждо ему еще и по самому содержанию, передавая чувства людей, удаленных от свойственных всему большому человечеству условий трудовой жизни. То, что составляет наслаждение для человека богатых классов, непонятно как наслаждение для рабочего человека и не вызывает в нем никакого чувства или вызывает чувства, совершенно обратные тем, которые оно вызывает у человека праздного и пресыщенного. Так, например, чувства чести, патриотизма, влюбления, составляющие главное содержание теперешнего искусства, вызывают в человеке трудовом только недоумение и презрение или негодование» (21).

Эта тирада крайне интересна как характерное для гр. Толстого загромождение верной мысли совершенно произвольными положениями и противоречиями. Гр. Толстой берет «человека богатых классов» и «рабочего человека» вообще, вне каких бы то ни было других определений. Значит, взаимное непонимание чужих наслаждений есть везде, где существуют богатые классы и рабочие люди. Существуют таковые, например, и в Китае, которому гр. Толстой усваивает, однако, «народное» искусство, то есть не расщепленное на собственно народное и «господское». А между тем, мы знаем, что в китайских романах (есть французские, а может быть, и другие переводы) «влюбление» играет роль ничуть не меньшую, чем в европейском романе. Но Бог с ней, с китайщиной, я не хотел об ней говорить. Гораздо интереснее было бы узнать, почему гр. Толстой полагает, что «чув-

ства чести, патриотизма, влюбления вызывают в трудовом человеке (скажем, русском) только недоумение и презрение или негодование». Свое собственное миросозерцание сегодняшнего дня, миросозерцание совершенно исключительное, гр. Толстой с изумительною и ничем не оправдываемою смелостью приписывает всем «трудовым людям». Слова «честь» и «патриотизм» допускают очень различные толкования, и потому не будем лучше их касаться. Напомню только одно старое сообщение самого гр. Толстого еще из тех времен, когда он не исключительно из себя мудрствовал, а имел уважение к живой жизни, любил ее и любовно наблюдал. Это именно в одной из старых педагогических статей сообщение о том, как крестьянские ребятишки, дети «трудовых людей», а отчасти и сами уже трудовые люди восторгались рассказами о войне 12-го года, в особенности тем именно, что Кутузов наконец «окорачил» Наполеона. «Патриотизм» есть слово очень затасканное и многосмысленное. Гр. Толстой поднялся или считает себя поднявшимся над всеми видами патриотизма на высоту общечеловеческих идеалов и потому закрывает глаза на разнообразные благородные и узкозлобные проявления патриотизма, которых будто бы совсем нет среди «рабочих людей». Точно так же обращается он и с «честью», но опять-таки это слово допускает различные толкования. Нельзя того же сказать о «влюблении» — понятии, казалось бы, слишком ясном, определенном и общечеловеческом, чтобы его можно было перетолковать вкривь и вкось. Гр. Толстой, конечно, давно перестал «влюбляться», да и самую любовь объявил чем-то «неестественным». И вот это свое личное настроение, определяемое частью возрастом, а частью надменным презрением к жизни, он без всяких колебаний навязывает «народу», «рабочим людям». Русский народ (как и всякий другой) распевает множество песен о любви; русский народ сочинил такие даже страшные картины «влюбления», как известные «заговоры на любовь», например: «Как всяк человек не может жить без хлеба, без соли, без питья, без еды, так бы не можно жить рабе Божией (такой-то) без меня раба; сколь тошно жить рыбе на сухом берегу без воды студеной, и сколь тошно младенцу без матери, а матери без дитяти. столь бы тошно было рабе Божией без меня раба» и т. д.; или: «Подите

вы, семь ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят, со всего света белого, понесите к красной девице (такой-то) в ретивое сердце; просеките булатным топором ее ретивое сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в ее кровь горячую, в печень, в составы, чтобы красная девица тосковала и горевала по таком-то» и т. д. А гр. Толстой хочет нас уверить, что «чувство влюбления вызывает в народе только недоумение или презрение и негодование». И это одно из оснований, по которым народу непонятно наше искусство...

Но народ ведь, по мнению гр. Толстого, и вообще ищет в искусстве не наслаждения, а исключительно чувств, внушаемых религиозным сознанием. Так оно есть теперь, так оно было и для всех русских людей до Петра. Можно подумать, что это пишет какой-нибудь заезжий иностранец, никогда не слыхавший ни одной веселой русской песни, никогда не видавший деревенского хоровода, в котором сочетаются лирика, драма и балет. Что же касается допетровской России, то о каком собственно религиозном сознании как источнике искусства идет речь? Без сомнения, наша иконопись, церковное пение, духовная поэзия, церковная архитектура теснейшим образом связаны с христианским религиозным сознанием в его византийской форме; но, не говоря уже о том, что всем этим не исчерпывается древнерусское искусство, известно, что проповедникам христианского идеала долго пришлось бороться с остатками языческого религиозного сознания. При этом книжники заходили в своих аскетических требованиях далеко за пределы христианского идеала. Владимир «Красное Солнышко» остался в народной памяти не только как просветитель России христианством, но и как человек, любивший жизнь, веселье, наслаждение, искусство — поэзию, пение, музыку. В былинах он, например, так награждает «скомороха»:

За твою игру за великую,
За утехи твои за нежные
Без мерушки пей зелено вино,
Без расчету получай золоту казну.

Впоследствии «игра великая» и «утехи нежные» стали подвергаться гонению, не менее стремительному, чем то,

которому подвергает их ныне гр. Толстой, но более властному. Народ, как бы памятуя, что его первый певец, поэт и музыкант, полумифический Баян был «Велесов внук», как его называет «Слово о полку Игореве», не прочь был сочетать искусство с остатками языческих обрядов и верований, а книжники утверждали его в той мысли, что все жизнерадостное, веселое, всякое наслаждение в искусстве есть нечто предосудительное и христианству противное. Уже летописец Нестор полагает, что «дьявол льстит трубами и скомрахи, гусльми и русалья». В другом документе читаем: «Не подобает христианам игр бесовских играти, еже есть прыганье, гуденье, песни мирские и жертвы идольские». В XVI веке псковичи обличались в таком времяпровождении в ночь на Ивана Купалу: «Мало не весь град змиятетца (возмятется) и бубны, и сопела, и гудением струнным, и всякими неподобными играми, сатанинским плесканием и плясанием, и того ради двигнется и возстанет всяка неприязненного угодия, ако в поругание и в бесчестие рождеству Предтечеву и в насмех и укоризну дни его. Стучат бубны и гласят сопелы и гудят струны; женам же и девам плескание и плясание, главам их покивание, устам их неприязнен клич и вопль всескверные песни бесовские; хребтам их вихляние и ногам их скакание и топтание». В Стоглаве[1] говорится, что в Троицкую субботу «по селам и по погостам сходятся мужи и жены за жальниках и плачутся по гробам с великим кричанием и егда начнут играти скоморохи и гудцы и прегудницы, они же от плача преставше, начнут скакати и плясати и в ладони бити и песни сатанинские пети». В XVII веке прямо запрещаются «домры, сурны, гудки, гусли, хари и всякие гудебные бесовские сосуды». Запрещаются, конечно, потому, что, по мнению властей, были слишком распространены. И таких свидетельств о допетровской России можно бы было привести еще много.

Ясно, что народ и до Петра, как и после него, не только не отрицал наслаждения в искусстве, а, напротив, искал его, с чем усердно, но тщетно боролись властные книжники во имя аскетического идеала. И гр. Толстой не может сказать, что это грубое, конечно, но все-таки искусство, и притом народное искусство «не оценивалось вовсе». Нет, очень оценивалось, одною частью

населения — положительно, другою — резко отрицательно. Могут возразить, что оно оценивалось теми и другими не по тому, насколько оно доставляло наслаждение, а по тому, насколько оно выражало чувства, вытекающие из религиозного сознания — языческого, с одной стороны, и христианского — с другой. Здесь есть доля истины, но не следует ведь забывать и то признаваемое самим гр. Толстым «огромное поле искусства», независимое от религиозного сознания, которое будто бы «не оценивалось вовсе». И, во всяком случае, неверно, значит, то положение гр. Толстого, что *«всегда, во всякое время и во всяком человеческом обществе* есть *общее всем людям* этого общества религиозное сознание того, что хорошо и что дурно». Допетровская Россия, на которую гр. Толстой указывает как на один из примеров, подтверждающих это правило, являет собою, напротив, один из резких случаев его опровержения. Тут-то именно мы и видим борьбу двух религиозных сознаний, языческого и христианского, и своеобразное отражение этой борьбы на судьбах искусства, которое отнюдь не укладывается в теоретические рамки, придуманные гр. Толстым.

Гр. Толстой много говорит о христианском смирении и кротости, об уважении к мнениям 9/10 или 99/100 или вообще очень большой дроби человечества. Вот, например, как он говорит о себе в подстрочном примечании на стр. 105: «Представляя образцы искусства, которое я считаю лучшим, я не придаю особенного веса своему выбору, так как я, кроме того, что недостаточно сведущ во всех родах искусства, принадлежу к сословию людей с извращенным ложным воспитанием вкусом. И потому могу, по старым усвоенным привычкам, ошибаться, принимая за абсолютное достоинство то впечатление, которое произвела на меня вещь в моей молодости. Называю же я образцы произведений того и другого рода (мы сейчас увидим, что разумеет гр. Толстой под двумя родами *хорошего* искусства) только для того, чтобы больше уяснить свою мысль, показать, как я при теперешнем своем взгляде понимаю достоинство искусства по содержанию. Притом еще должен заметить, что свои художественные произведения я причисляю к

области дурного искусства за исключением рассказа «Бог правду видит», желающего принадлежать к первому роду, и «Кавказского пленника», принадлежащего ко второму».

Приведя несколько образчиков современной декадентской поэзии, блистающей полной бессмысленностью, и признавая эту бессмысленность, гр. Толстой в смирении своем не решается, однако, осудить декадентское искусство: не имею, говорит, права. Нельзя, по его мнению, «причислять произведения этого искусства к безвкусному безумию». «Такое отношение к новому искусству совершенно неосновательно, потому что, во-первых, это искусство все более и более распространяется и уже завоевало себе твердое место в обществе,— такое же, какое завоевал себе романтизм в 30-х годах; во-вторых, и главное, потому, что если можно судить так о произведениях позднейшего, так называемого декадентского, искусства только потому, что мы их не понимаем, то ведь есть огромное количество людей — весь рабочий народ, да и многие из нерабочего народа, которые точно так же не понимают те произведения искусства, которые мы считаем прекрасными: стихи наших любимых художников: Гете, Шиллера, Гюго, романы Диккенса, музыку Бетховена, Шопена, картины Рафаэля, Винчи и др.» (стр. 43—44).

Несмотря, однако, на все эти аллюры смирения и уважения к чужому мнению, едва ли найдется много людей, которые могли бы соперничать с гр. Толстым в надменной самоуверенности и нетерпимости. Самый деспотический произвол, беспощадный и жестокий, господствует во всех его новейших произведениях. Ему ничего не стоит любое явление жизни, как бы оно ни было значительно, изломать, изогнуть, совсем упразднить в угоду своей капризной мысли. Ни логичность доказательства, ни фактическая достоверность для него не обязательны, и было бы гораздо лучше, если бы он открыто отказался от той и другой и излагал свои мысли и чувства в виде афоризмов в повелительном наклонении, лирических стихотворений и т. п. Искусство, имеющее в виду наслаждение, «должно быть признано дурным искусством, которое не только не должно быть поощряемо, но должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо» (стр. 106),— такова, собственно, основная мысль гр. Толстого. И решительность этого тона будит

в нашей памяти образ Савонаролы [2], не остановившегося перед публичным всесожжением предметов искусства,— картин, музыкальных инструментов и проч.— Но у гр. Толстого нет власти Савонаролы, а простым излиянием своих личных чувств, чувств человека, в свое время взявшего от жизни все, что можно взять, а затем отрекшегося от наслаждения,— он не довольствуется. И вот он мысленно совершает насилие над фактами исторической и современной действительности, обрекает ее на своего рода всесожжение. Он, по-видимому, чрезвычайно демократически приглашает нас прислушаться к голосу 9/10 или 99/100 человечества и смириться перед этим многомиллионным голосом. На самом же деле это его личный голос, и он, подобно Людовику XIV, утверждавшему, что l'état c'est moi, мог бы сказать: 99/100 человечества — это я. Если бы, однако, Людовик XIV не ограничился своим афоризмом, а вздумал поддерживать его логической и фактической аргументацией, то, конечно, помимо прямой неправды, запутался бы еще и в противоречиях. С гр. Толстым это тем более должно было случиться, что он не открыто заявил: человечество, за исключением ничтожной горсти,— это я, а, так сказать, тайно положил эту мысль в основание своего рассуждения.

Естественное дело, что при таком настроении гр. Толстого он может разрешить себе многое, что безусловно воспрещает другим. Так, он решительно восстает против художественной критики. «Один мой приятель,— говорит он,— выражая отношение критиков к художникам, полушутя определил его так: критика — это глупые, рассуждающие об умных. Определение это, как ни односторонне, ничтожно и грубо, все-таки заключает долю правды и несравненно справедливее того, по которому критики будто бы объясняют художественные произведения. ⟨...⟩ Если произведение хорошо как искусство, то, независимо от того, нравственно оно или безнравственно, чувство, выражаемое художником, передается другим людям. Если оно передалось другим людям, то они испытывают его, и все толкования излишни. Если же произведение не заражает людей, то никакие толкования не сделают того, чтобы оно стало заразительно» (61). Далее идут рассуждения о том, что критика не только бесполезна, но и вредна.

Определение приятеля гр. Толстого вполне верно ... для тех случаев, когда критикуемый художник умен, а его критик глуп. Это, конечно, бывает, но бывает и иначе, а если принять в соображение те наиболее интересные случаи, когда и художник, и его критик оба умны, то становится даже трудно понять, зачем гр. Толстой привел «одностороннее, грубое и неточное» определение своего приятеля. Или, может быть, это надо понимать так, что самая задача критиковать художественное произведение есть глупость, притом вредная, в которой могут иногда провиниться и умные люди? В таком случае в число этих умных людей надо занести и гр. Толстого, ибо статья его переполнена критическими суждениями о художественных произведениях. Правда, не всегда эти суждения заслуживают названия критических. Например, гр. Толстой недоволен критиками, восхвалявшими «грубые, дикие и часто бессмысленные произведения древних греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана или новых — Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи — всего Рафаэля, всего Микель-Анджело с его нелепым «страшным судом», в музыке всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом» (64). Конечно, противопоставить целому сонму критиков слова: «грубо, дико, бессмысленно» — не значит впадать в глупость критики; ибо от этой глупости требуются мотивы суждения. Но гр. Толстой не всегда ограничивается такими лаконическими и немотивированными приговорами. Так, он весьма подробно критикует оперы Вагнера, неоднократно «объясняет» художественные достоинства библейского рассказа об Иосифе, истории Сакия Муни и т. п., не говоря уже об общих критических замечаниях — о пределах и задачах искусства, об истинном искусстве и подделках под него и т. д., и т. д. Да и вообще вся статья гр. Толстого есть не что иное, как иллюстрируемое примерами руководство к художественной критике. Но худо ли, хорошо ли это руководство, а пользоваться им никто не может, под страхом попасть в число глупых людей, ибо quod licet Jovi, non licet bovi *, что может дозволит себе гр. Толстой, то непозволительно для остального человечества...

* что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*латин.*).

Очень жалеть об этом едва ли следует, ибо хотя некоторые критические замечания и наставления гр. Толстого и заслуживают внимания, но в общем (как это можно было предвидеть уже и по первой части) статья его отличается чрезвычайною произвольностью и запутанностью.

Возвращается гр. Толстой и к тому прекрасному общему определению искусства, которое я привел в мартовской книжке «Русского богатства»,— на этот раз с новыми комментариями. Он пишет: «Заразительность есть несомненный признак искусства, степень заразительности есть и *единственное* (курсив мой) мерило достоинства искусства. *Чем сильнее заражение, тем лучше искусство как искусство, не говоря об его содержании,* то есть *независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает* (курсив гр. Толстого). Искусство же делается более заразительно вследствие трех условий: 1) большей или меньшей особенности, оригинальности, новизны того чувства, которое передается; 2) вследствие большей или меньшей ясности передачи этого чувства, и 3) вследствие искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает» (89). Из дальнейшего толкования первого из этих трех пунктов оказывается, что «воспринимающий испытывает тем большее *наслаждение,* чем особеннее, новее то состояние души, в которое он переносится, и потому тем охотнее и сильнее сливается с ним». Правило это, очевидно, подлежит большим ограничениям или не должно быть выражено в столь безусловной форме. Очень особенное, совсем новое состояние души едва ли способно с легкостью передаваться. На этом ведь основано и то соображение гр. Толстого, в силу которого наше искусство, воплощающее слишком исключительные чувства, должно отскакивать от народа, как от стены горох. Во всяком случае, дальнейшим развитием своей формулы искусства гр. Толстой приведен к необходимости включить наслаждение в число условий заразительности художественного произведения. И если бы он с самого начала, в своей исходной точке и открыто признал наслаждение необходимым элементом искусства, а не противопоставлял их одно другому, то избегнул бы многих запу-

танностей и противоречий. Implicite * признание это заключается уже в рассуждениях гр. Толстого о резкой разнице между наслаждениями высших и низших классов. Но так как оно заключается именно только implicite, то и не помогло автору свести концы с концами. И торчат эти концы в разные стороны, так что не знаешь, за который из них ухватиться, чтобы распутать весь клубок.

Мы только что видели, что степень заразительности есть *единственное* мерило достоинства искусства. Затем мы видели, что требуется от художника для достижения этой заразительности (оригинальность, ясность, искренность). На этом основании узнаем, между прочим, следующее: «Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, Евгения Онегина, Цыган, свои повести, и это все разного достоинства произведения, но все произведения истинного искусства. Но вот он, под влиянием ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишет Бориса Годунова, рассудочно-холодное произведение, и это произведение критики восхваляют и ставят в образец, и являются подражания подражаниям: Минин — Островского, Царь Борис — Толстого и др.» [3] (стр. 63).

Почему критика, восхвалявшая и восхваляющая Шекспира, есть ложная критика? Почему «Борис Годунов» есть подражание Шекспиру? Почему это подражание предпринято под влиянием критики, а не в силу собственного, хотя бы и ложного, взгляда Пушкина? Почему «Борис Годунов» есть рассудочно-холодное произведение? С этими вопросами нельзя обращаться к гр. Толстому. В своем презрении к критике как к совершенно глупому занятию он не критикует, а вещает, изрекает немотивированные, безапелляционные приговоры, и sit pro ratione voluntas **. Удовольствуемся положительным приговором,— тоже немотивированным и безапелляционным: поэзия Пушкина, за исключением «Бориса Годунова» и, может быть, еще чего-нибудь, есть «истинное искусство». Но вот перевертываем несколько страниц и читаем: «Когда вышли 50 лет после смерти Пушкина и одновременно распространились в народе его дешевые сочинения, и ему поставили в Москве памятник, я получил больше десяти писем от крестьян

* Имплицитно, подразумеваемым образом (*латин.*).
** пусть вместо разума господствует произвол (*латин.*).

с вопросами о том, почему так возвеличили Пушкина? На днях еще заходил ко мне из Саратова грамотный мещанин, очевидно, сошедший с ума на этом вопросе и идущий в Москву для того, чтобы обличить духовенство за то, что они содействовали постановке «манамента» господину Пушкину» (стр. 113). И гр. Толстой совершенно понимает положение «такого человека из народа», как сошедший с ума грамотный мещанин из Саратова. В самом деле, говорит он, заинтересовавшись Пушкиным по случаю поставления ему «манамента», этот человек узнает, что Пушкин «не был богатырь или полководец, но был честный человек и писатель». Отсюда «он делает заключение, что Пушкин должен был быть святой человек и учитель добра, и торопится прочесть или услыхать его жизнь и сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, то есть при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные».

Все это сумасшедший мещанин из Саратова и тот десяток крестьян, который письменно обращался к гр. Толстому, узнали, конечно, не от него, ибо он-то знает, что поэзия Пушкина (за исключением «Бориса Годунова») есть «истинное искусство»; а это в устах гр. Толстого — большое, многозначительное слово...

Дело в том, что заразительность есть единственное мерило достоинства искусства как искусства, и это еще не решает вопроса о достоинстве тех чувств, которые оно передает. Поэтому «истинное», «хорошее» искусство, в которое художник вложил и оригинальность, и ясность, и искренность, и которое обладает высокой степенью заразительности, может быть вместе с тем дурным искусством по характеру внушаемых им чувств. Но гр. Толстому не хочется принять этот естественно вытекающий из его точки зрения вывод. Длинным рядом рассуждений, между которыми есть и очень ценные, и — да простит мне великий художник — совершенно вздорные, он старается доказать, что не нравящееся ему искусство (тут и Шекспир, и какой-нибудь Малларме [4]) не обладает настоящею заразительностью. Другой столь же длинный ряд рассуждений, который мы отчасти видели, ведет его к заключению, что «всегда, везде, во все

времена, у всех народов» истинное искусство заражало чувствами, вытекающими из религиозного сознания. Ныне оно должно руководствоваться христианским религиозным сознанием, так как только при этом условии оно может быть всенародно, всепонятно, всемирно. Однако читатель, уже готовый согласиться с гр. Толстым, вдруг с изумлением встречает в числе всенародных, всепонятных, всемирных произведений японскую живопись (стр. 105) или Илиаду и Одиссею (47). Но ведь Япония не просвещена еще светом христианства и, стало быть, в ее искусстве не может отражаться христианское религиозное сознание, равно как и в Илиаде и Одиссее. А между тем, последние, принадлежа, по словам гр. Толстого, к «хорошему, высшему искусству», «передают очень высокие чувства, вполне понятные нам теперь, образованным и необразованным». Какие же это «высокие чувства»? Все мы очень хорошо знаем, что Илиада и Одиссея переполнены мотивами «влюбления, чести, патриотизма», которые гр. Толстой объявляет недостойными искусства, как исключительные и лишь ничтожной горсти людей понятные. Почему же они в Илиаде и Одиссее становятся всем понятными и высокими? Почему? Да просто потому, что гр. Толстой так хочет.

Трудно, да, признаюсь, и скучно следить за всеми этими произвольными скачками и противоречивыми изворотами мысли. Перейдем поскорее к окончательным выводам, которые окажутся не так уж страшны и узки, как можно бы было ожидать.

Вполне истинное искусство, то есть соединяющее в себе и заразительность, и возвышенность передаваемых им чувств, и приличествующее нашему времени, разделяется на два отдела: 1) искусство, передающее чувства, «вытекающие из религиозного сознания положения человека в мире по отношению к Богу и ближнему, искусство религиозное в тесном смысле этого слова»; 2) искусство, передающее чувства, которые доступны всем людям всего мира — искусство житейское, всенародное (стр. 100 и след.). Этими двумя отделами исчерпывается «хорошее» искусство нашего времени. Но каждый из них делится в свою очередь на два подотдела: высший и низший. Высшее религиозное искусство «прямо и непосредственно пере-

дает чувства, вытекающие из любви к Богу и ближнему», низшее «передает чувства отвращения, негодования, презрения к явлениям, противным любви к Богу и ближнему». Высшее «житейское» искусство «доступно и понятно людям всего мира всегда и везде»,— это «всемирное искусство»; низшее «доступно и понятно всем людям только одного места и времени — всенародное искусство». К числу «житейских» чувств, рекомендуемых гр. Толстым для передачи при помощи искусства, он относит «чувства веселья, умиления, бодрости, спокойствия и т. п.». А так как искусству разрешаются также и «чувства отвращения, негодования, презрения», то получается довольно обширная шкала чувств, из которых иные не имеют никакого отношения к какому бы то ни было религиозному сознанию, иные трудно согласимы со строго понятным христианским сознанием (Христос ведь учил любить и прощать, а не отвращаться, негодовать и презирать), наконец, еще иные; например, веселье довольно трудно отгородить от наслаждения, которое гр. Толстой так старательно изгонял. Все это объединяется исключительно личным вкусом гр. Толстого. И как бы в подтверждение этого он без всяких мотивов указывает образцы «хорошего» искусства всех четырех подотделов: хороши, говорит, Miserables * В. Гюго, хорош «почти» весь Диккенс, хороши жанры Кнауса, Вотье [5], хороша японская живопись. В некоторых случаях гр. Толстой, впрочем, обставляет свои приговоры доказательствами. Так, он считает одним из высших образцов всемирного искусства рассказ об Иосифе Прекрасном и, в частности, эпизод с женой Пентефрия, на том основании, что «все это чувства (то есть надо думать, чувства и Иосифа, и жены Пентефрия), доступные и русскому мужику, и китайцу, и африканцу, и ребенку, и старому, и образованному, и необразованному» (103). Боюсь, что весьма многие китайцы и африканцы совершенно не оценят поведения Иосифа, а ребенок, настоящий ребенок, ничего не поймет во всем эпизоде...

Таков труд гр. Толстого, который он, по его словам, обдумывал в течение пятнадцати лет. Его неясность, произвольность и противоречивость тем прискорбнее,

* Отверженные (*франц.*).

что, во-первых, он содержит в себе некоторые отдельные очень ценные мысли, а во-вторых, затрагивает тему, имеющую в настоящее время острый практический интерес.

В настоящее время вполне выяснилась потребность рабочего люда в широко поставленных художественных развлечениях, выяснилась и готовность интеллигенции служить удовлетворению этой потребности. Наши театры, музыка, пение, поэзия на наших глазах перестают быть исключительным достоянием высших классов, и, очевидно, мы находимся лишь в самом еще начале этого движения. Спрашивается, какую же роль сыграет тут наше искусство? Гр. Толстой решительно отвечает на этот вопрос: никакой или же очень вредную; наше искусство слишком мелко и извращенно, слишком переполнено исключительными чувствами, слишком служит наслаждению и совершенно непонятно рабочему люду; если же, говорит он, нам удастся приобщить народ к своему искусству, то это только и будет значить, что мы извратили народ, уподобили его себе. Таков холодно-догматический ответ на практический вопрос дня. Предъявляя его, гр. Толстой не справляется с фактами, а гнет, ломает и упраздняет их в угоду своего догмата. Нет никакого сомнения, что современное наше, как и европейское, искусство содержит в себе много нелепого, и постыдного, и исключительного, и лживого. Но есть и иные струи в современном искусстве. И поистине поразительна та холодная отвлеченность от жизни, с которою гр. Толстой, например, относя к «хорошему» искусству действительно прекрасные жанры Кнауса и Вотье и едва ли многим известную японскую живопись, молча проходит мимо русского жанра, не один десяток лет существующего и представляющего образцы высокого достоинства. Но самое поразительное то, что гр. Толстой даже, по-видимому, не поинтересовался узнать, как же относится рабочий люд к тем довольно многочисленным опытам приобщения народа к нашему искусству, которые уже сделаны и делаются. Допустим, что эти опыты должны оправдать пессимистический взгляд гр. Толстого и показать, что наше искусство или непонятно народу, или развращает его. Но ведь, казалось бы, для самого гр. Толстого должно быть любо-

пытно фактически в этом убедиться,— убедиться или разубедиться. Однако гр. Толстой даже ни единым словом не обмолвился об этих опытах. Да и зачем ему опыты и наблюдения, когда он и без того есть сосуд, безусловную истину вмещающий.

апрель 1898 г.

ПАМЯТИ Н. А. ЯРОШЕНКО

25 июня скончался Николай Александрович Ярошенко. Не знаю в точности, сколько ему было лет (примерно около 50-ти) [1], но скончался он, во всяком случае, слишком рано, полный сил. Правда, он был давно болен (говорили о горловой чахотке), но умер скоропостижно, и болезнь, если и подтачивала его сильный организм, то внешним образом давала себя знать лишь одним чувствительным неудобством: в последние годы у него стал пропадать голос, и это очень стесняло его в обществе, а он был человек общественный по преимуществу. И вот, все кончено. Это большая потеря не только вообще для русского искусства, и в частности для товарищества передвижных выставок, которого светлых преданий он был наиболее энергическим хранителем. С его смертью все знавшие его теряют, по малой мере, умного, остроумного, разностороннего и высоко развитого собеседника. Для многих он, конечно, имел несравненно большее значение. В особенности следует это сказать о молодых, начинающих художниках, к услугам которых всегда были ум, художественное чутье и опытность покойного.

Мы, писатели, должны в особину помянуть Николая Александровича. Со многими из нас он был близок. Смерть Гаршина, несчастие, постигшее Гл. Ив. Успенского [2], более мелкие беды, как и радости, других вызывали его горячее участие. И, например, изданный по смерти Гаршина литературно-художественный сборник едва ли бы состоялся без энергического участия

Ярошенка [3]. Любил покойный и портреты литераторов писать. Портреты Кавелина, Плещеева, Салтыкова, Успенского, гр. Л. Толстого, В. С. Соловьева [4] занимают видное место в ряду его произведений. Последняя его работа, еще неизвестная публике, есть портрет В. Г. Короленко [5]. Писал он и мой портрет [6], причем мне пришлось близко наблюдать некоторые подробности его отношения к своему делу, о чем, впрочем, скажу ниже по другому поводу.

В пестрой сутолоке жизни судьба редко сталкивает нас с такими цельными, законченными и в то же время, так сказать, многогранными натурами, какою был Ярошенко. Едва ли найдется сколько-нибудь значительная область жизни или мысли, которою он не интересовался бы в большей или меньшей степени. И эта редкая между художниками жадность на работу сознания не мешала свободе его художественного творчества, в котором неизбежно много бессознательного. Это был в полном смысле *мыслящий художник*, подчеркиваю и существительное, и прилагательное, потому что было бы несправедливо подчеркнуть одно из них. Боюсь быть непонятым: не гениальный художник был покойный, но в пределах своих художественных сил — конечно, очень больших — он являет собою редкий образец равновесия целей и средств. Его иногда упрекали в известной тенденциозности и вообще в перевесе мысли, задачи произведения над исполнением. Быть может, это и верно относительно первых его картин («Литовский замок», «Невский проспект ночью»), несколько аскетически сухих. Но чем дальше, тем больше отделывался он от этой боязни заслонить роскошью красок и образов смысл картины, от этой скупости на художественные средства для достижения жизненной цели. И этот процесс развития очень характерен для Ярошенка: он расправлял крылья по мере того, как они росли, и никто не может сказать, какой силы достиг бы он, если бы судьба подкосила его не в 1898 году, а десятью, двадцатью годами позже. Одно можно сказать наверное: искусство, как ни дорого оно ему было, никогда не стало бы для него самодовлеющею целью. Не хуже кого бы то ни было чувствовал он красоту «красивых пятен», эффектного освещения и т. п., но пускал их в ход не ради их самих,

и это-то ставилось ему в вину. В частности, его упрекали в том, что он выбирал преимущественно мрачные сюжеты и страдал тем, что́ у нас иронически называется совсем не смешными словами: «гражданская скорбь». Упрек заезженный и уже потому нелепый, что бросающие его обыкновенно ничего не имеют против «гражданской радости». Но относительно Ярошенка упрек этот требует и фактической поправки. Не говоря о таких отнюдь не мрачных картинах, как «Спевка» или «На качелях», стоит напомнить наиболее популярное произведение покойного — «Повсюду жизнь», где художник сумел уловить улыбки радости и умиления на лицах пассажиров арестантского вагона. Художественное произведение всегда было для Ярошенка прежде всего правдивым воспроизведением действительности в ее типических чертах, но вместе с тем суждением об этой действительности — суждением, выраженным образно, художественно и, следовательно, доставляющим эстетическое наслаждение, при посредстве которого суждение художника должно передаваться зрителю. Сознательно стоя на этой точке зрения, уравновешивавшей элементы правды, эстетические и, если угодно, «гражданские», Ярошенко вел неустанную борьбу сначала с академической эстетикой, а затем и нахлынувшей в последнее время декадентской волной. Борьбу эту он вел, во-первых, своим примером, непосредственными вкладами в русское искусство; во-вторых, деятельным участием в товариществе передвижных выставок, душою которого он уже давно стал, в-третьих, наконец, устною пропагандою, для которой у него были все данные. Высокообразованный, глубоко убежденный, обладавший притом своеобразно прекрасным даром слова, он сделал для русского искусства гораздо больше, чем это может казаться людям, не знавшим его лично. В большом и разнородном обществе он не был разговорчив, но в кругу близких знакомых и товарищей по профессии это был истинно блестящий собеседник.

Года два или три тому назад я провел лето в Кисловодске в одном доме с Ярошенко, в том самом доме, где он и умер [7]. За все время моего пребывания в Кисловодске гостеприимные хозяева едва ли хоть один день оставались без посетителей, в числе которых

было несколько молодых художников. Разговор, естественно, часто заходил об искусстве в его общих задачах и в его технике, о различных художественных школах, о том или другом художнике, о той или другой картине, об этюде, только что написанном одним из молодых художников, и т. п. И, слушая умные, то спокойные, но твердые, «проникновенные», то язвительно-остроумные речи Ярошенка, я не раз пожалел, что этот человек не владеет пером или почему-нибудь не хочет прибегать к нему для изложения своих мыслей.

В то лето Ярошенко много работал. Кроме этюдов, он писал «Стадо овец в развалинах храма» [8] и начал «Искушение Иуды». И я видел, с какою тщательностью работает этот будто бы пренебрегающий исполнением человек. Развалины древнего храма были написаны раньше, с натуры, во время странствований в Кавказских горах,— Ярошенко не раз предпринимал далекие и трудные поездки в горы. Теперь ему вздумалось загнать в развалины на ночлег стадо овец. И вот как принялся за дело опытный, чего-чего не писавший на своем веку художник: он привел к себе во двор с базара десятка полтора овец, долго бился, располагая их в разные группы, снял с этих групп несколько фотографий, зарисовал их себе в альбом и только после этого решился вставить их в картину. Но гораздо больше занимало его «Искушение Иуды». Это был его первый и единственный опыт разработки евангельского сюжета, и в высшей степени характерен мотив, по которому он, как я имею основание думать, остановился на Иуде, этом вековечном символе измены и предательства. Когда я увидел первый маленький набросок углем «Искушения Иуды», меня поразило отсутствие типических еврейских черт в лицах фарисеев, соблазняющих Искариота. Конечно, от этого эскиза, задачей, которого было лишь наметить общий план картины, нельзя было и ожидать деталей, но дело-то в том, что намеки на детали как будто были, и в еле намеченных лицах некоторых из фарисеев-соблазнителей мелькало как будто что-то знакомое. Я выразил художнику свое недоумение: «Это так, шутка,— отвечал он, улыбаясь,— это вот такой-то, это такой-то». И он назвал несколько художников, выбыв-

ших из товарищества передвижных выставок по соображениям, имевшим мало общего с искусством.. Само собою разумеется, что в картине не осталось потом и следа этой «шутки». Ярошенко исключительно для себя «шутил», для собственного удовлетворения, но эта шутка дает возможность заглянуть в душу художника, в скрытые от зрителя житейские потайники его творчества. Измена тому делу, которое он считал святым, оскорбляла, возмущала его, и эти чувства настойчиво требовали для себя художественного выражения. Но, раз остановившись на образе Иуды, Ярошенко уже предоставил свободное течение творческому процессу, который привел его к моменту, кажется, никем еще не эксплоатированному. Иуда много раз вдохновлял художников всех времен и народов причем выбирался обыкновенно один из двух моментов — знаменитый предательский поцелуй или же раскаяние, приведшее Искариота к самоубийству. Ярошенко поступил иначе. Ни поцелуй, ни раскаяние не входили в состав той измены, которая в действительности натолкнула его на мысль об Иуде, и его творчество направилось совсем в другую сторону. Иуда был для него прежде всего чувственный и потому легко поддающийся соблазну, но вместе с тем и нерешительный человек. А эти две черты могли выступить с особенною яркостью именно в той обстановке, какая дана в картине Ярошенка: фарисеи соблазняют Иуду доводами из Писания, соображениями житейскими, деньгами. Первоначально в картине еще выглядывала из-за занавеса женщина как орудие соблазна, но затем Ярошенко почему-то (я не мог добиться почему) уничтожил этот оригинальный намек. Таким образом, в основе «Искушения Иуды», несомненно, лежит тенденция с характером «гражданской скорби», но свободный процесс творчества поднял ее до степени высокой художественной задачи. К сожалению, в картине мало движения, да и слишком уж трудную задачу задал себе художник собственно лицом Иуды, на котором должна отражаться сложная душевная борьба.

Было бы крайне желательно, чтобы передвижники, так много обязанные покойному и так много потерявшие с его смертью, устроили выставку и издали альбом его произведений. Его многолетняя и разнообраз-

ная художественная деятельность составляет одну из самых светлых страниц истории русского искусства, и если умер Ярошенко, то не должна умирать память об этом художнике-мыслителе, об этом человеке, которому ничто человеческое не было чуждо.

июль 1898 г.

«РАССКАЗЫ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. СТРАХ СМЕРТИ И СТРАХ ЖИЗНИ

Существует мнение,— мне не раз приходилось выслушивать его от заинтересованных людей,— будто в редакциях журналов не читают рукописей неизвестных авторов, будто нужна «протекция», чтобы статья была напечатана или даже только прочитана, будто вообще печатаются только произведения личных знакомых и «знаменитостей». Это одно из самых неосновательных представлений о редакционных порядках. И не только неосновательно это представление, а и обидно. Члены редакций тратят добрую половину своего рабочего времени на закулисный, невидный публике труд чтения сотен и сотен рукописей, доставляемых им,— и про них же складывается такая нелепая легенда! Нелепа она и в прямом, так сказать, ремесленном смысле, ибо, увы! «знаменитостей» у нас слишком мало, чтобы какая-нибудь редакция могла спокойно расположиться на их плечах, а ведь материал-то для выпуска журнальной книжки в срок нужен. Но этого мало. Помимо всяких практических соображений редактор, именно потому, что ему приходится читать вороха подчас не только бездарных, а и безграмотных произведений, с особенною жадностью ищет в этой куче хоть проблеска таланта, хоть чего-нибудь, над чем бы могла отдохнуть его утомленная мысль и оскорбленное эстетическое чувство. О, конечно, редакторы могут ошибаться и неверно оценивать доставляемые им произведения, и это соображение может служить достаточным утешением для авторов непри-

нятых произведений; а легенду о каком-то пренебрежении к новичкам, «неизвестным», «начинающим», следует бросить, как совершенно нелепую...

В людях, обреченных на невидный и неблагодарный труд чтения не того, что им хочется читать, а того, что они должны читать по обязанности, вырабатывается даже несколько злобное нетерпение: дескать, доберусь же я наконец до чего-нибудь настоящего, свежего, есть же они где-нибудь, эти таланты, а если нет сейчас, то объявятся завтра, послезавтра. И велика же бывает радость, когда наконец и в самом деле судьба пошлет что-нибудь оригинальное и сколько-нибудь значительное. Мне еще недавно пришлось напомнить читателям о том восторге, которым Некрасов, Григорович и Белинский встретили «Бедных людей» Достоевского [1]. Это история типическая, только расцвеченная особенностями возраста и темперамента действующих лиц.

И то же радостное чувство охватывает нашего брата, занимающего скромное, но ответственное положение сторожа при храме литературы, когда мы наталкиваемся на что-нибудь оригинальное и значительное не в рукописи, не для нашего журнала предназначенное, а уже напечатанное, в особенности, когда автор принадлежит к числу «неизвестных», «начинающих». Конечно, всякий читатель встречает новый талант с удовольствием, но для нас яркость этого нового таланта особенно выделяется среди той неизвестной публике массы посредственных, бездарных и, наконец, безграмотных писаний, которую мы преодолеваем по обязанности. Мы способны даже преувеличить размеры и значение нового явления на литературном горизонте и были бы еще более склонны к подобным преувеличениям, если бы не воспитанный горьким опытом скептицизм: да, это хорошо, но будет ли эта искра разгораться, и светить, и греть, или завтра же потухнет, или занесет автора в те мрачные дебри, где «леший бродит» и где ненужно, да и невозможно никакое освещение? Все ведь это бывало...

И все это я пишу под свежим впечатлением только что прочитанного небольшого сборника «Рассказов» г. Леонида Андреева — писателя, до тех пор мне совершенно неизвестного и, во всяком случае, «начинающего».

Форма небольших рассказов ныне в большой моде. Не проходит месяца, чтобы на книжном рынке не появилось несколько томиков «Рассказов», «Очерков и рассказов», «Маленьких рассказов», «Печальных рассказов», «Веселых рассказов» и т. п. В огромном большинстве случаев все это не возвышается над уровнем посредственности. Но самая форма, призванная, по-видимому, заменить собою старый роман, конечно, вполне законна. Жалко немножко широких рамок романа, в которых могла так всесторонне отражаться жизнь, преломляясь в индивидуальности автора. Однако и в этом отношении дело «рассказов» не так уж плохо, как может показаться с первого взгляда. Мопассан и в маленьких своих рассказах, не связанных единством фабулы, умел отражать жизнь с разных сторон, накладывая на каждую картинку печать своей индивидуальности, своей «самости». А беда наших многочисленных творцов «маленьких рассказов», «сереньких рассказов» и т. п. состоит именно в том, что они не «сами». Они не имеют определенного «своего» угла зрения на те разрозненные явления жизни, которые совершенно случайно подвертываются под их перо. Только очень большой талант может при таких условиях выручить своею стихийною силою, но очень большой талант составляет и очень большую редкость. Немудрено поэтому, что появляющиеся на нашем книжном рынке бесчисленные сборники рассказов и очерков отличаются чрезвычайною тусклостью во всех отношениях — начиная с тусклости языка, хотя бы и насыщенного разными словоизлитиями, и кончая тусклостью содержания, хотя бы и переполненного кричащими эффектами.

Сборник рассказов г. Леонида Андреева резко выделяется из этой тусклой, серой массы. Их всего десять, этих рассказов (уже после выхода сборника я прочитал в «Журнале для всех» еще два рассказа — «Кусака» и «Случай»). Но, несмотря на это, вы ясно видите если не все черты и подробности физиономии автора, то по крайней мере, несомненную оригинальность этой физиономии. Настоящую, подлинную оригинальность, а не подделку под нее, не ломающееся оригинальничанье, которого ныне развелось так много. Может быть — от слова не станется! — оригинальность г. Андреева, находящегося еще в начале пути, приведет его в конце

концов в места не совсем здоровые, но можно, кажется, поручиться, что и в этом печальном случае он будет «сам». В нем находят нечто общее с Эдгаром По. Это до известной степени верно, но огромная разница в том, что, за одним всего исключением (о нем потом), в рассказах г. Андреева нет ничего «необыкновенного», «странного», фантастического, таинственного. Все простые житейские случаи, даже тогда, когда в основе рассказа лежит тайна, как в рассказах «Молчание» и «В темную даль». Здесь автор как бы закрывает половину своей картины, оставляя в неизвестности причины упорного «молчания» и самоубийства молодой девушки и удаления «в темную даль» молодого человека. Но ничего по существу таинственного здесь нет; этим приемом лишь выдвигаются на первый план душевные муки третьих лиц — родителей погибшей девушки и родственников неизвестно куда удалившегося молодого человека.

Творчество г. Андреева неровное. У него есть рассказы истинно превосходные, в которых ни прибавить, ни убавить, ни передвинуть ничего нельзя («Жили-были»), но есть и растянутые («Рассказ о Сергее Петровиче»). Не удаются ему дети («Ангелочек», «Валя»). Но, повторяю, везде и всегда он — «сам»; не только в смысле отсутствия подражательности в содержании и форме изложения, а и в смысле отсутствия той распущенности, которая побуждает большинство авторов «рассказов» плавать «без кормила и весла» по безграничному и бесконечно разнообразному морю жизни. У г. Андреева есть то, что можно назвать центром внимания,—дар высокой цены, если лучи, исходящие из этого центра. захватывают жизнь вширь и вглубь.

Невеселы рассказы г. Андреева. К смеху он совсем не склонен. Легкая улыбка,— дальше он не идет в этом направлении, хотя некоторые из его сюжетов допускают и иную обработку, иной подход к ним. Читая его книгу, я уже с внешней стороны был поражен тем, как часто встречаются в ней слова и целые речения, выражающие страх или отсутствие страха. Не то чтобы его тянуло рассказывать непременно «страшные» истории,— мы сейчас заглянем в одну историю, в которой нет ничего страшного и которая в другом освещении

могла бы быть забавною, но и в ней страх играет важную роль. Просто страх, ужас и факты преодолевания страха, сознательно или бессознательно, привлекают к себе его внимание, и, вероятно, именно этим он напоминает некоторым читателям Эдгара По. Может показаться, что эта тема до такой степени узка, что на ней мудрено построить целую серию рассказов. Но это зависит от того, как отнестись к теме, и я думаю, что с той точки зрения, на которой — повторяю, сознательно или бессознательно — стоит г. Андреев, это тема неисчерпаемая в своих комбинациях.

Смерть часто «косит жатву жизни» в рассказах г. Андреева («Большой шлем», «Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Жили-были»), а смерть — страшная штука. Но и жизнь бывает страшной штукой, как видно уже из того, что люди добровольно иногда меняют жизнь на смерть («Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче»). Страх смерти, страх жизни — уже эти две, грубо, так сказать, топором намеченные рубрики открывают обширные и разнообразные перспективы для поэтического творчества, а ведь есть и гораздо более тонкие оттенки. Мы увидим ниже, как у г. Андреева умирают люди, что они думают и чувствуют, приближаясь к той неизбежной точке, которою обрывает свою собственную работу, по выражению нашего автора, «равнодушная, слепая сила, вызвавшая нас из темных недр небытия». Сначала посмотрим, как люди жизни боятся.

Под заглавием «У окна» рассказывается история молодого мелкого чиновника Андрея Николаевича. В разговоре с некой девицей Наташей он называет себя коллежским секретарем, но или это опечатка, или Андрей Николаевич хвастает... Чин на нем должен быть гораздо меньше [2]: образование его ограничивается двумя классами реального училища, служебные обязанности состоят в переписке бумаг, товарищи прозвали его Сусли-Мысли, а фамилия известна одному казначею, да и сам он в письме к той же девице Наташе называет себя чиновником «тринадцатого» класса. Как бы то ни было, этот мизинный человек доволен своим положением, он по-своему хорошо, спокойно устроился у себя в комнате и в своей канцелярии. Вся сутолока жизни, весь ее шум, все ее тревоги идут мимо него, ему нет

никакого дела до других людей с их скорбями и радостями, да и им до него тоже дела нет. Но, говорит автор, «в созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживается от жизни, есть одно слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко». Главное — жутко, страшно. Конечно, такой страх наводят на Андрея Николаевича не всякие мысли — он ими вообще не богат — а те, которые в форме воспоминаний или предположений делают его участником жизни, ставят в ее шумный и вообще беспокойный и именно поэтому страшный водоворот.

Как раз против окна комнатки, которую Андрей Николаевич нанимал у пьяного пекаря, стоял красивый дом-особняк с зеркальными стеклами, загороженными тропическими растениями, вычурным фасадом и пр. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и представлять себе, как живут его обитатели и какое там множество всяких невиданных им роскошных вещей. Он знал в лицо и великолепного владельца дома, и его великолепную супругу, и ребенка, и кучера, и горничную. Наблюдения над домом и его обитателями наводили его на различные мысли. Так, при виде семилетнего сына владельцев дома, который с необыкновенною важностью позволял горничной усаживать себя в пролетку, Андрей Николаевич «искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети?». Все подобные мысли не были, однако, отравлены ни единой каплей зависти, прискорбных или негодующих сравнений своего мизинного существования с этим блеском и роскошью. Андрей Николаевич был бесповоротно доволен своею тихою и незаметною жизнью или своим «отсиживанием от жизни». Но вот ему приходит в голову мысль, «что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и

красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены, и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему и не заговорит с ним и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить».

Казалось бы, у такого человека могут быть страшные предположения и предвидения, но не может быть страшных воспоминаний, если только какой-нибудь трагический случай не разрезал его жизни пополам и не заставил его, как улитку, войти в свою раковину лишь во вторую половину своего существования. Такого трагического случая в жизни Андрея Николаевича, по-видимому, не было, он всегда быстро прятался в раковину при приближении опасности, а потому и должен бы быть гарантирован от нее. Но, по пословице, резвый сам набежит, а на тихого Бог нанесет, у Андрея Николаевича страшные воспоминания есть. Так, он с ужасом переживает мыслью одно свое столкновение с начальником, столкновение, в котором он виноват только своим служебным усердием и которое, в его понимании, окончилось благополучно именно потому, что он, только что повышенный по службе, был благодаря этому столкновению возвращен в свое тихое, спокойное, безответственное писарское состояние. Но гораздо интереснее другое страшное событие в жизни Андрея Николаевича. У него был роман... Роман этот тоже кончился благополучно, в его вкусе благополучно, то есть ничего из него не вышло. Но и теперь, увидав на улице предмет своей бывшей любви,— «вот баба-то! — ужаснулся Андрей Николаевич.— И слава богу, что я на ней не женился»...

Любовь окрыляет, поднимает тонус жизни. Даже птицы, гады, рыбы наряжаются в пору любви в яркие одежды и вооружаются разными воинственными приспособлениями. Как же это с нашим Андреем Николаевичем случилось? Это чрезвычайно любопытная история, богатая не столько внешними фактами, сколько душевными тревогами героя.

Первая встреча произошла на какой-то вечеринке Наташа, по ремеслу папиросница, была красивая девушка, и любви ее многие добивались, в том числе некий Гусаренок, удалой и пьяный мастеровой. Наташа сама подсела к Андрею Николаевичу, заговорила с ним Гусаренку это не понравилось, и девушка сочла нужным предупредить нашего героя, чтобы он остерегался забубенного мастерового: побьет. «Не смеет, я чиновник,— возразил Андрей Николаевич, и, действительно, нисколько не боялся». Он много и очень развязно разговаривал. «Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать. идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или оставаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам. Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но когда за перегородкой у хозяйки он услышал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!». Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса».

Через два месяца они целовались и говорили друг другу ласковые слова, но из этого все-таки ничего не вышло. Когда Сусли-Мысли был возле Наташи, женитьба улыбалась ему, его захватывал тот инстинкт, который и птицу, и гада, и рыбу осмеляет, но в отсутствии девушки его брал ужас перед бесчисленными трудностями этого дела: надо к попу идти, шаферов искать, а они еще, пожалуй, не явятся вовремя, за ними

ехать надо будет, потом в церковь ехать, а она вдруг заперта и сторож ключ потерял, потом квартиру нанимать, потом дети пойдут и вдруг двойни... И пока он так «суслил-мыслил», Наташе надоело ждать, и она вышла за Гусаренка. Андрей Николаевич почувствовал некоторую обиду, но и облегчение: чаша, полная беспокойства и волнений, миновала его... Так и доживает Сусли-Мысли свой век «у окна» тихо, спокойно, лишь изредка содрогаясь при воспоминании о тех страшных опасностях, которых он благополучно избежал, или при предвидении не менее страшных комбинаций обстоятельств, которые, впрочем,— он наверное знает — никогда для него в действительности не наступят... Из других черточек, дополняющих образ Андрея Николаевича, отметим только одну еще: «Другие (чиновники) вон и благодарность принимают, а я не могу»,— с гордостью заявляет он Наташе и прибавляет: «Еще попадешься грешным делом» .

«Рассказ о Сергее Петровиче» рисует нам фигуру в некоторых отношениях совершенно противоположную Андрею Николаевичу. Сергей Петрович — студент, бедный, некрасивый, ограниченный, бездарный, робкий, не способный ни к напряженной мысли, ни к сильному чувству, словом, во всех отношениях обделенный судьбою. Андрей Николаевич тоже не из богато одаренных, но он счастлив в своей раковине, где его только изредка навещают беспокойные думы о том, как страшно жить шумною жизнью или жениться, и очень доволен собой. Сергей Петрович, наоборот, вполне сознает свое круглое ничтожество и вместе с тем любит мечтать о каком-нибудь перевороте, который внезапно сделает из него красавца, умницу, богача. Любимым его чтением были «80 000 верст под водою» Жюля Верна и «Один в поле не воин» Шпильгагена, в которых он восторгался гордыми героическими личностями капитана Немо и Лео. В последнее время он увлекся еще «Заратустрой» Ницше, где его особенно поразила идея сверхчеловека — того, кто «полноправно владеет силою, счастьем и свободой» (всей книги он, впрочем, не дочитал). «Заратустра» был для него кнутом, который было заставил его выпрямиться, но в конце концов он, постоянно сравнивая свою серость с ярким блеском сверхчеловека, остановился на следующем изречении Заратустры:

«Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть». Он решил умереть. «И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть,— впервые за всю жизнь он испытал глубокую и горделивую радость раба, ломающего свои оковы. «Я не трус»,— сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя и с гордостью принял». Накануне назначенного дня он испугался мысли о смерти, но скоро устыдился. «Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить, и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки, как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей». А затем Сергей Петрович отравился...

«Большой шлем». Трое мужчин и одна дама аккуратно три раза в неделю собирались для игры в винт, размещаясь за столом постоянно в одном и том же порядке, так что партнеры не менялись. Замечу, что «Большой шлем» по тонкости отделки один из лучших рассказов в сборнике г. Андреева, но нас будут интересовать здесь только два игрока: Николай Дмитриевич, игравший с некоторою страстностью и тщетно мечтавший о большом шлеме, и его неизменный партнер, методический Яков Иванович, никогда не игравший больше четырех. Вообще Николаю Дмитриевичу не везло. Но вот однажды ему повалила карта и наконец пришла такая, что если в прикупке попадется пиковый туз, то большой шлем готов. «Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку». Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, что, может быть, было результатом волнения, вызванного возможностью осуществления мечты о большом шлеме. Но это была только возможность, прикупки своей Николай

Дмитриевич не успел вскрыть; за него это сделал его неизменный партнер Яков Иванович...

«Одно соображение, ужасное по своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь он никогда не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени ужасно, бессмысленно и непоправимо. Никогда не узнает. Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь,— и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда,— медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но оно было до того чудовищно и горько, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшное и бессмысленно жестокое будет и с ним, и со всеми. Он плакал — и играл за Николая Дмитриевича его картами и брал взятки одну за другой, пока не собрал их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитриевич не узнает...».

Яков Иванович с ужасом думает и о покойнике, и о том, что и ему, Якову Ивановичу, и «всем» предстоит смерть, но — любопытная черта — это не мешает ему доигрывать игру Николая Дмитриевича; жизнь продолжает прясть свою нитку даже в минуту особенно ясной мысли о неизбежности смерти. Жизнь хочет жить во что бы то ни стало, хотя, казалось бы, если смерть так страшна, то и жизнь страшна, уже просто потому, что она должна кончиться. Но мы знаем, что и помимо того жизнь бывает страшна, не только для ничтожного и смешного Сусли-Мысли, но и для ничтожного же, но не смешного, потому что сознавшего при холодном свете идеи сверхчеловека свое ничтожество Сергея Петровича, и для унесшей с собой в могилу тайну «молчания» молодой девушки. Далее, Николай Дмитриевич умер, не узнав, что к нему пришел большой шлем, о котором он давно мечтал, и, собственно, это-то и внушает Якову Ивановичу скорбь. Ну а если бы Николай

Дмитриевич умер, не узнав о чем-нибудь тяжелом, неприятном, оскорбительном,— о своем разорении, о подлом коварстве друга, о смерти сына, об измене любимой женщины и т. п.? Скорбел ли бы тогда об его участи Яков Иванович? И потом: Яков Иванович печалуется за «всех», и это понятно в такой неопределенности. Но кто же может по совести сказать, что он никогда и никому не желал смерти, и не думал о ней отнюдь не с печалью? Оставим убийц из мести, зависти, корысти; оставим наследников, с жадным нетерпением прислушивающихся к предсмертному хрипению стариков; оставим чиновный люд, ожидающий очищения вакансий, и проч. Припомним только одно из стихотворений Добролюбова:

Печальный вестник смерти новой,
В газетах черный ободок
Не будит горести суровой
В душе, исполненной тревог.
....
Чьей смерти прежде трепетал я,
Тех стариков уж нет давно;
Что в старом мире уважал я,
Давно все мной схоронено.

Ликуй же, смерть, в стране унылой,
Все в ней отжившее рази
И знамя жизни над могилой
На грудах трупов водрузи! [3]

Страшно думать о том, что «нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит» [4], но нет ничего страшного в том, что умирает «отжившее», заслоняющее свет. О, конечно, не все к лучшему в нашем, допустим, даже наилучшем из миров, много в нем «бессмысленного и жестокого», много ужасного, но в том виде, как он есть, обновление жизни, покупаемое ценою смерти «отжившего», не страшно. Дело не в возрасте, разумеется. Мы знаем светоносных стариков, смерть которых облекла бы нелицемерным трауром всю родную страну и даже далекие чужие страны. Но знаем и таких, которые своею жизнью сокращают сумму жизни на земле, жестоко и бессмысленно вырывая и давя ростки жизни; знаем и юных мерзавцев. И, конечно, не ужас и печаль должно вызывать их уничтожение.

Скажут: самому-то умирающему от этого не легче, он-то все-таки жить хочет и всеми силами отпихивает от себя страшную картину своей смерти и похорон, которая с такою художественною отчетливостью рисовалась Сергею Петровичу (читатель найдет ее на стр. 93). Раз возникшая жизнь упорно не сдается и до последней возможности, корчась от страданий, отстаивает свою форму, будь то форма могучего льва или ничтожной бактерии, гордой пальмы или смиренной бледной травинки. Однако как раз человек составляет исключение из этого общего правила. Он может так испугаться жизни, что предпочтет ей смерть. И — кто знает?— может быть, тот зловредный старик, который застит людям солнце и с бессмысленною жестокостью давит и рвет ростки жизни,— может быть, и он ужаснулся бы своей жизни, если бы его осияло сознание. «Вот она — смерть-избавительница»,— говорит измученный совестью волк в щедринской сказке [5]. А тот, другой, светоносный старик, одна мысль о смерти которого страшит нас,— боится ли он ее в такой же мере, в какой люди боятся за него? Может быть, но уж, конечно, не по тем мотивам, по которым щедринский волк так радостно встретил смерть. Блажен тот, кто почему бы то ни было может сказать: «Ныне отпущаеши раба твоего с миром, яко видеста очи мои спасение» [6], и жалко, страшно умирать тому, кто чего-нибудь недобрал от жизни, недоделал чего-нибудь такого, во что душу свою клал — чего именно, это уж от свойств души зависит: Бокль, умирая, скорбел о том, что его «История цивилизации» останется недописанной, Яков Иванович страдал за Николая Дмитриевича, потому что тот большого шлема не дождался, иной дома не достроил, детей в люди не успел вывести, не совершил подвига, к которому готовился, и проч. и проч. Никто не может с полною уверенностью сказать, как он встретит смерть. Еще старик Монтень заметил, что можно путем опыта закалиться против физических страданий, против унижений и т. п., но в деле смерти все мы — неопытные новички. Однако по чисто теоретическим соображениям можно, кажется, утверждать, что смерть не страшна человеку, так или иначе доплывшему до своего берега, взявшему от жизни все, что он мог с нее взять по своим аппетитам и силам, и, напротив, ужасна в своей бес-

смысленной жестокости, когда косит то, что сознает свое право расти и цвести...

Г. Андреев и к жизни, и к смерти подходит больше с этой последней стороны, со стороны их бессмысленной жестокости. «Жили-были» — это не только заглавие едва ли не лучшего из его рассказов, а и как бы итог всех их. Миллионы людей вызываются «равнодушной, слепой силой из темных недр небытия» и опять в эти недра ввергаются. Какой смысл в этом возникновении и уничтожении? Вот, например, купец Кошеверов. Он на своем веку много ел, много пил, много любил женщин, много работал, но «все, что было в нем силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькой обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе». И вот он умирает. «Он не хотел жизни и не боялся смерти». Но когда смерть совсем близко подступила, он обозлился,— растравил злым намеком соседа по больнице, студента, которого давно не навещала любимая девушка; злобно открыл глаза другому соседу, добродушному, жизнерадостному дьякону, который думал, что он поправляется, тогда как ему оставалось жить несколько дней. Но когда дьякон заплакал, пораженный этой вестью, он размяк. На его вопрос, о чем дьякон плачет, смерти, что ли, боится,— тот ответил, что не смерти боится, а «солнышка жалко... Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии светит... За ми... За милую душу!» Тогда заплакал и купец. «Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти».

Вы понимаете, что дьякону, которого радуют и воробей, и солнце, который с умилением вспоминает и о четырехлетнем внуке, и о том, какая у него чудная яблоня в саду растет, и какой «сладостный» квас у него, который мечтает, выздоровев, к Троице сходить, соборы осмотреть и пр.; вы понимаете, что ему жизнь действительно «мила» и расставаться с ней тяжело. И нам вчуже обидно за него, не успевшего по воле бессмысленной судьбы наглядеться на внука, вдоволь нарадоваться солнцу и т. д. Но купец Кошеверов, можно

сказать, объелся жизнью, и если он злобствует и плачет, так вспоминая свою жизнь, в которой не было даже тех маленьких, но настоящих радостей, которые знакомы простоватому дьякону. Есть вещи гораздо страшнее смерти купца Кошеверова... Одну из них рассказывает г. Андреев под заглавием «Ангелочек».

Рассказ этот несколько испорчен неудачной фигурой мальчика, стоящей в центре. Но зато у этого рассказа удивительный по красоте и трагической значительности конец. Действующие лица: 13-летний мальчик Саша, выгнанный из гимназии за безобразное поведение: его отец, когда-то учитель и земский статистик, давно опустившийся и ныне не пьющий, потому что уже не может пить,— болен и почти не встает с лежанки; мать — Феоктиста Петровна, пьяная и грубая баба, ненавидящая статистиков, книги и вообще все, что напоминает лучшее прошлое мужа. В доме ад. Отец «ежится от постоянного озноба и думает о несправедливости и ужасе человеческой жизни». Сашке временами хочется «перестать делать то, что называется жизнью», а в ожидании он всем грубит, дерзит, дерется и только в его отношениях к отцу из-под грубой оболочки сквозит что-то доброе. Надо сказать, что в грубости Сашки автор пересолил, это грубость ненастоящая, деланная. Как бы то ни было, в этом аду появляется ангел — «ангелочек». Когда-то отец Сашки давал уроки у некиих Свечниковых и любил сестру хозяйки, но случился у него грех с дочерью квартирной хозяйки Феоктистой Петровной, и он женился, а затем и та, любимая девушка, Софья Дмитриевна, вышла замуж. Но Свечниковы сохранили к нему добрые отношения, помогали ему и пригласили однажды Сашку к себе на елку. Сашка вел себя там по обыкновению безобразно, давая волю своей озлобленности, но вдруг увидал на елке то, «чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди не живые». Это был ангелочек, искусно сделанный из воска. Сашка не понимал, что влечет его к этой игрушке и почему она так поразила его, но он не мог от нее оторваться и, чередуя грубость с унижением, выпросил ангелочка и тотчас же ушел домой. Там ждал его отец, и вот при свете кухонной лампочки отживший старик и почти не живший мальчик любуются на ангелочка. Старику чудится в нем ласка любимой и на-

всегда потерянной для него женщины и весь тот светлый мир, в котором она живет; думы мальчика туманнее, неопределеннее, для него только «исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный, жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски». Долго любовались в каком-то благоговейном экстазе отец и сын ангелочком. Наконец легли спать, а ангелочек «был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей; так его могли видеть оба, и Сашка, и отец»,— пока не заснули...

«Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко ангелочка и, дернув усиками, побежал дальше...».

Автор не рассказал нам, что почувствовали отживший старик и неживший мальчик, когда, проснувшись, увидели, что сталось с ангелочком. Автор, заставивший Сергея Петровича пережить картину его собственных похорон, рассказавший много и других страшных вещей, затруднился изобразить муки этих людей, для которых на мгновение мелькнул в аду луч света, никогда не виданный мальчиком, давно забытый стариком. Не потому ли опустил здесь автор занавес, что пробуждение старика и мальчика должно оказаться страшнее всякой смерти? В самом деле, к страху смерти приплетается много посторонних примесей. Тут и страх физических страданий привходит, и страх воздаяния в загробном мире, и форма похоронного обряда действует (в странах, где трупы сожигаются, а не зарываются в землю, подвергаясь медленному и эстетически неприятному процессу разложения, смерть имеет, конечно, совсем другой облик). И вот, если отвлечь все эти осложняющие элементы, то на долю собственно уничтожения,

прекращения бытия, останется не так уж много; по крайней мере для людей, которые живут в аду и которых среди этого ада посетило «мимолетное виденье» идеала, чтобы в следующую минуту вновь погрузить в холод и мрак. Все равно, в чем состоит этот идеал, воплотился ли он в личности или остался бесплотной идеей, или кристаллизовался в общественную форму,— под этого воскового «ангелочка» можно подвести любой вид идеала. Он умилил ожесточенное сердце мальчика и отогрел измученное сердце старика и — исчез, растаял... Страшнее этого ничего быть не может. И мне опять припоминается одна из сказок Щедрина «Баран непомнящий». Баран этот, как известно, увидел какой-то загадочный, взволновавший его сон (потом оказалось, что он «вольного барана» видел), сон стал повторяться, а баран тосковать, и когда он наконец понял значение сна,— «сильное, потрясающее блеянье вырвалось из его груди... Он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим взором его развернулась сладостная тайна его снов... Еще минута, и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю». У озлобленного Сашки и его жалкого отца, когда они, проснувшись, увидели бесформенную кучку воска вместо «ангелочка», должно было вырваться нечто вроде потрясающего блеянья барана непомнящего. Г. Андреев уклонился от изображения этого ужаса. И я думаю, что он поступил правильно: в деле «страшного» есть границы, переступая которые, художник безнужно терзает нервы читателя, и все-таки ни на волос не усиливая правды поэтического воспроизведения жизни. А г. Андрееву дорога правда и, может быть, ему самому не дешево обходится...

Среди его житейски простых по своей фабуле рассказов есть один, сильно меня смущающий. Смущает он меня потому, что в нем сквозит какая-то опасность для дарования автора. Он называется «Ложь». Я не берусь передать его содержание. Это что-то вроде монолога душевнобольного, в котором беспорядочным вихрем носятся фантастические образы, переплетаясь с реальною действительностью. «Спасите меня, спасите!» — так оканчивается рассказ, слишком напоминая этим концом гоголевского Поприщина: «Матушка, спаси

своего бедного сына!» Но подлинного сумасшествия в «Лжи» так же мало, как и в «Записках сумасшедшего». Задача рассказа состоит, по-видимому, исключительно в красивой передаче известного тяжелого настроения, отрешенного от каких бы то ни было определенных форм действительности, вызвавшей это настроение. В хаосе образов и картин, проносящихся перед читателем, явственно звучит только одно слово: «ложь, ложь, ложь». Любимая женщина лжет рассказчику, он требует правды, но она сама ее не знает; «освещенные окна высокого дома» советуют ему «своим красным и синим языком» убить ее, потому что таким образом он убьет ложь; но, когда он хватается за нож, окна говорят ему: ты никогда не убьешь ее, потому что оружие в твоих руках такая же ложь, как ее поцелуи; однако он убивает ее, но ложь остается бессмертной; он хочет уйти туда, «куда она унесла правду и ложь» и где «темно и страшно», и та́м потребовать от нее правды; но сейчас же соображает, что и это ложь: «там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее и нет нигде». «О, какое безумие быть человеком и искать правды! Какая боль!»

Я не знаю, что может значить эта «Ложь», кроме настроения отчаяния, вызванного невозможностью добиться правды. Может быть, лгущая женщина даже ни при чем в самом центре драмы (она и сама не знает правды о себе, и ей это страшно). Может быть, это — настроение художника, тщетно старающегося уловить и выразить словом истинный смысл жизни в бесконечной пестроте ее явлений. Недаром г. Андреев говорит в одном месте о «непередаваемых красках жизни и смерти». Да, слово оказывается часто слишком бедным для выражения мыслей и чувств, в которых и в самих так много противоречий, что и сам мыслящий и чувствующий не всегда может различить свою правду. Но ведь художнику слова все равно приходится орудовать словом. Настроение, отрешенное от определенных форм действительности, его вызвавшей, и потому разрешающее себе облекаться в формы совсем не подходящие, заражает в последние годы довольно обширную область поэзии. Поэты ищут таких звуков, которые, хотя бы и лишенные всякого логического смысла, давали в своих сочетаниях известное настроение. Это отре-

шенное, так сказать, чистое, беспримесное настроение надо предоставить музыке, а когда господа декаденты называют себя символистами, то они забывают, что символы в поэзии так же стары, как сама поэзия, да вот и восковой «ангелочек» символ, но смысл его совершенно ясен. Я не могу этого сказать о «Лжи». Этот странный рассказ представляется мне маленьким темным облаком на светлом будущем г. Андреева как художника. Вопрос в том, разрастется ли это облачко в мрачную тучу, которая весь горизонт закроет, или, набежав на мгновение, рассеется в пространстве.

Говоря о светлом будущем, предстоящем г. Андрееву как художнику или по крайней мере возможном для него ввиду его оригинального таланта, я не смущаюсь мрачным характером его книги о жизни и смерти, как можно бы было назвать сборник его рассказов. В слепой и равнодушной силе, рождающей и убивающей нас, нечего искать разума и справедливости,— таков итог наблюдений и впечатлений нашего автора. Но человек может внести в то кольцо, которым смыкаются жизнь и смерть,— и разум, и справедливость. Сумел же — по-своему, конечно,— разрешить задачу жизни и смерти Сергей Петрович. А ведь он ничтожество. Для него было «закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокой, человеческой... Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля,— работать для людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, и никогда не суждено ему было испытывать жгучее наслаждение борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром как святыня»...

Как видите, в этих нескольких строках намечен целый ряд мотивов — и не все мрачных — для новой книги о жизни и смерти, которую хочется поскорее прочитать. Лишь бы благополучно рассеялось облачко, имя которому «Ложь»...

ноябрь 1901 г.

О ПОВЕСТЯХ И РАССКАЗАХ гг. ГОРЬКОГО И ЧЕХОВА

Приступая к окончанию заметок о типах современных авторов повестей и рассказов [1], я чувствую некоторое смущение. До сих пор я находился в положении своего рода embarras de richesses *. Г-на Ф. Потехина или г. Щеглова, г. Плетнева, кн. Барятинского я мог бы свободно заменить множеством других авторов, и только гг. Тимковский и Чириков представляли бы в этом отношении некоторые затруднения, хотя и не непреодолимые. Но гг. Горького и Чехова обойти или кем-нибудь заменить нельзя, и не только ввиду их значительности, а и ввиду тех общих выводов, которые я желал бы представить вниманию читателей. А между тем, и о том, и о другом мне не раз случалось писать [2]. Думать, что читатели помнят все, в разное время мною об этих двух замечательных писателях сказанное, было бы с моей стороны слишком самоуверенно, а повторять сказанное — по малой мере невесело. Но, может быть, сопоставление их даст мне возможность счастливо избегнуть этих Сциллы и Харибды. А сопоставление это напрашивается само собой, и к нему не раз уже прибегала критика. Так, недавно еще французский критик Мельхиор де Вогюе в статье «Revue de deux Mondes» о г. Горьком поминал г. Чехова, а в статье о г. Чехове — г. Горького [3], да и в русской литературе это сопоставление делалось. По странной игре судьбы, имеющей, может быть, в своем основании не одну простую случайность, в истории литературы довольно часто случается, что внимание современников-соотечественников, а иногда и не только соотечественников, сосредоточивается на двух писателях, как бы дополняющих друг друга своими резко различными индивидуальными чертами при наличности чего-то общего в них. Вольтер и Руссо, Гете и Шиллер, Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский поневоле часто вспоминаются парами. Так и гг. Чехов и Горький.

* затруднение от изобилия (*франц.*).

Само собою разумеется, я не думаю сравнивать все эти пары, число которых можно бы было значительно увеличить, в каком бы то ни было отношении, кроме одного: они парами всплывают на верхи литературы данного времени и места, друг друга дополняя и поясняя как своими различиями, так и своим сходством. Долго ли они остаются на верхах, «что город на горе»,— века или годы, и велико ли их значение в истории литературы, это уже другой вопрос.

Что гг. Чехов и Горький занимают в настоящую минуту «верхи», в этом нет сомнения. В особенности поразителен успех г. Горького. Г. Чехов заработал свое нынешнее положение далеко не сразу, тогда как с г. Горьким произошло нечто вроде рождения готовой Минервы из головы Юпитера. На моем экземпляре пятого тома его «Рассказов», помеченном прошлым 1901 годом, значится: «двадцать шестая тысяча». Это цифра — если она еще окончательная — исключительная в нашей литературе. А принимая в соображение, что автор появился в литературе всего каких-нибудь пять-шесть лет тому назад, надо признать, что ни одна из звезд первой величины нашего литературного небосклона,— ни Толстой, ни Достоевский, ни Щедрин, ни Тургенев — не завоевывали с такою быстротою такого широкого круга читателей. Но завоеванная г. Горьким область далеко не ограничивается русскими пределами: его усиленно переводят, критикуют, комментируют, интересуются обстоятельствами его личной жизни и за границей — в Германии, во Франции, в Италии, в славянских странах. Из современных русских писателей он после Толстого и, может быть, г. Чехова пользуется наибольшею популярностью в Европе.

В чем же секрет этого колоссального, небывалого у нас успеха?

Объяснить все дело крупным талантом г. Горького, очевидно, нельзя. Как ни несомненен этот талант, едва ли кто-нибудь решится поставить его выше дарований только что названных писателей, да и самая оригинальность всякого истинного таланта исключает возможность подобных сравнений. Каждый сам по себе, каждый в своем роде, в каждом есть нечто, кроме таланта, что при помощи этого таланта «ударяет по сердцам» читателей по крайней мере в данную минуту, при

данных условиях. Открыть секрет успеха писателя — значит найти это нечто, помимо таланта, хотя и при его посредстве притягивающее к нему общее внимание, указать тот пункт в его писаниях, который направляет к нему радиусы интереса и симпатий современных читателей.

Я говорю о данной минуте, данных условиях, современных читателях. Каково бы ни было более или менее отдаленное будущее гг. Горького и Чехова, они, во всяком случае, займут свое место в истории литературы в связи с характером и настроением читающего люда в настоящую минуту. То, что волновало данное общество вчера и волнует сегодня, может завтра же встретить холодное равнодушие, отступив на задний план перед новым предметом положительных или отрицательных волнений. И это не только вследствие неустойчивости общественного настроения нам, русским, слишком хорошо знакомой, а и вследствие изменений в самом составе читателей. Известно, с каким восторгом были встречены первые произведения Достоевского, но восторгающиеся представляли собою количественно ничтожную горсть более или менее тонких и требовательных ценителей. Как ни закружилась у Достоевского голова от встретивших его похвал, но о «двадцать шестой тысяче» он, конечно, и мечтать не мог. Теперь, полвека спустя, более или менее тонкие и требовательные ценители не перевелись, разумеется, но общее количество читателей возросло в огромной пропорции, и среди них, без сомнения, есть много и отнюдь не тонких и очень мало требовательных в эстетическом отношении. Говоря это, я отнюдь не думаю как-нибудь умалить значение успеха г. Горького. Временно, вследствие экстренно быстрого увеличения числа читателей на счет недавно сплошь безграмотной массы, уровень их эстетической требовательности необходимо должен был понизиться; но вместе с тем народились запросы ума и сердца, о которых не слышно было пятьдесят лет тому назад. Что касается Европы, то сравнительно еще недавно там едва знали о существовании русской литературы; хотя она уже могла похвалиться гениальными писателями, но ими интересовались какие-нибудь десятки знатоков. Теперь же благодаря бреши, пробитой Тургеневым, Толстым и Достоевским, во Франции слышатся

уже негодующие голоса против наплыва и влияния русской литературы, а немецкий критик начинает в журнале «Das Magazin für Literatur» статью о Пушкине следующими словами: «Русская литература сделалась у нас модной. Печать расточает похвалы Льву Толстому; газеты запасаются статьями о «поэте униженных» Максиме Горьком; всюду встречаем мы очерки и фельетоны, знакомящие с произведениями Чехова, Короленко и др. Вследствие такой моды русская литература одними сверх меры восхваляется, другим внушает подозрение, как всякое модное увлечение, и в конце концов можно опасаться, что она не получит ни от кого правильной оценки. Ее современность (Modernität), впрочем, понятна, так как она является своеобразным продуктом своеобразной нации и хотя и состоит в связи с великими европейскими течениями мысли, однако сохраняет также и оригинальную прелесть ее основного славянского настроения. Ее надо рассматривать как естественный продукт ее страны, а не как каприз моды» (см. «Русские ведомости», 1901, № 273).

Не видно, почему бы «в конце концов» европейская критика не могла дать нашей современной литературе оценку, не менее верную, чем какая возможна для русской критики. Но улита едет, когда-то будет, и для настоящего времени опасения немецкого критика, надо думать, основательны. Чрезвычайно характерен в этом отношении немецкий перевод заглавия одного из рассказов г. Горького: «Проходимец» — «Ein Individualist». Дворянин Павел Игнатьевич Промтов, пожалуй, действительно индивидуалист, но вместе с тем он именно «проходимец» и даже просто мазурик. Добросовестные европейские критики сами признают, что многого не понимают в русской литературе. Так, Вогюе, давно следящий за нею и знакомый и с русской жизнью, в упомянутых статьях «Revue de deux Mondes», признавая яркие таланты гг. Чехова и Горького, делает много верных замечаний о их писаниях, но перед некоторыми их сторонами останавливается с недоумением. «Я это констатирую, но не понимаю»,— говорит он по поводу рассказов и драматических произведений г. Чехова. А о г. Горьком он, между прочим, пишет: «Очень искусен будет тот, кто разберется в философии Горького», разумея под философией ту точку зрения, с которой

наш писатель смотрит на жизнь и которую желает внушить своим читателям. Да Горький и сам в ней не разбирается, прибавляет Вогюе, и в подтверждение этой мысли ссылается на рассказ «Читатель»...

Рассказ этот вообще очень интересен и характерен для г. Горького, хотя видеть в нем нечто автобиографическое, личную исповедь автора, как видит Вогюе, можно только с большими ограничениями. Молодой писатель, от лица которого ведется рассказ, только что наслышавшись похвал своему произведению, идет ночью один по улице. К нему приступает с разговором какой-то таинственный незнакомец, называющий себя «читателем»,— очевидно, воплощение совести писателя. Он дает следующее определение «цели литературы»: «помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с дурным в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты. Вот моя формула,— прибавляет незнакомец,— она, разумеется, неполна, схематична, дополняйте ее всем, что может одухотворять жизнь, и скажите — вы согласны со мной?»

Писатель, конечно, согласен, потому что ведь незнакомец есть он сам или сидящий в нем его судья — совесть. Но не для всех так бесспорна формула незнакомца, как не всякий согласится и с тем определением Бога, которое дает незнакомец в дальнейшем течении разговора: «Бог есть бесконечное стремление к совершенству». Наш писатель опять-таки, разумеется, соглашается, но вслед за тем незнакомец ошеломляет его вопросом: «Кто есть твой Бог?» «До этого вопроса,— говорит рассказчик,— он говорил мягко и ласково, и мне приятно было его слушать... И вдруг он ставит роковой вопрос, на который так трудно ответить человеку нашего времени, если этот человек честно относится к себе. Кто есть мой Бог? Если бы я знал его!» Снисходя к слабости собеседника, незнакомец задает ему другой вопрос, в его сознании, по-видимому, тождественный с первым, но в более простой, специализированной форме: «Ты пишешь, и тысячи людей читают тебя; что же именно ты проповедуешь? И думал ли

ты о своем праве поучать?» Рассказчик размышляет: «Первый раз в жизни я смотрел так внимательно вглубь себя. Пусть не думают, что я возвышаю или унижаю себя для того, чтобы привлечь к себе внимание людей,— у нищих не просят милостыни. Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе. В душе моей много ненависти, она постоянно тлеет там... иногда вспыхивает ярким огнем гнева; но еще больше сомнений в душе моей. Порой они так потрясают мой ум, так давят сердце, что долгое время я существую внутренно опустошенный...»

Мы еще вернемся к рассказу «Читатель», но теперь остановимся на минуту на этой исповеди писателя. Не поражает ли вас местами почти буквальное сходство ее со следующею исповедью старого профессора в одном из лучших рассказов г. Чехова «Скучная история»: «Сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое... Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или Богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего»...

Мне приходилось уже цитировать это выразительное место из «Скучной истории» [1], да и трудно его обойти, говоря о г. Чехове. Когда я в первый раз обратил внимание читателей на эти замечательные слова — это было лет двенадцать назад — я выразил пожелание, что если уж нет у самого г. Чехова «общей идеи» или того «Бога живого человека», об отсутствии которого тоскует старый профессор «Скучной истории», так «пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости». Мне ка-

жется, что это мое пожелание, пожелание человека, всегда любовавшегося талантом г. Чехова и тем более скорбевшего о том, как он применяется, исполнилось. Но об этом потом. Теперь меня занимает, согласитесь, поразительное сходство того, что г. Горький влагает в уста молодого писателя, с тем, что думает у г. Чехова старый профессор.

И тем поразительнее это совпадение, что по крайней мере в некоторых отношениях, казалось бы, трудно найти писателей, менее сходных друг с другом. Оба они начали с маленьких рассказов, в которых обоим с течением времени становится, по-видимому, тесно, но уже самый язык, которым написаны эти рассказы, представляет резкую разницу. Язык г. Горького яркий, цветной, уснащенный метафорами, неожиданными оборотами, тогда как язык г. Чехова чрезвычайно прост, спокоен, ровен. Г. Горький весь как на ладони, со своею самоуверенностью и своими сомнениями,— г. Чехов сдержан до непроницаемости. Сфера наблюдения и вымысла г. Горького очень одностороння, он часто повторяется, слегка варьируя одни и те же образы, одни и те же положения, отношения, мотивы. Г. Чехов, напротив, поразительно разнообразен в изображаемых им житейских комбинациях. Г. Чехова Вогюе не без основания сравнивает с тем офицером, любителем фотографии, который в «Трех сестрах» постоянно носит при себе и постоянно пускает в ход аппарат для моментальных фотографических снимков. Г. Горький не только не пользуется фотографией, но принципиально презирает ее; в нем, несмотря на весь его реализм, сидит романтик, которому нужны приподнятые чувства, яркие краски, исключительные, небывалые люди. Недаром незнакомец в «Читателе» говорит: «Мы, кажется, снова хотим *грез, красивых вымыслов, мечты и странностей*». И далее: «Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но *можешь ли ты создать для них хотя бы маленький возвышающий душу обман?*» И еще: «Ты можешь сказать мне: жизнь не дает иных образов, кроме тех, которые воспроизводим мы. Не говори так, ибо для человека, имеющего счастье владеть словом, стыдно и позорно сознаваться

в своем бессилии пред жизнью и в том, что не может он встать выше ее. А если ты стоишь на одном уровне с жизнью, *если ты не можешь силой воображения твоего создать образы, которых нет в жизни*, но которые необходимы для ее поучения,— какая польза в твоей работе и чем оправдаешь ты звание свое? Загромождая память и внимание людей мусором фотографических снимков с их жизни, бедной событиями, подумай, не вредишь ли ты людям? Ибо, сознайся, ты не умеешь изображать так, чтобы твоя картина жизни вызывала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия!..»

Мимоходом сказать, эти тирады ясно говорят, что диалогу писателя и незнакомца в «Читателе» нельзя придавать значение вполне личной исповеди автора. В чем, в чем, а в отсутствии «грез, красивых (а иногда и некрасивых) вымыслов, мечты и странностей», «образов, которых нет в жизни», г. Горький упрекнуть себя не может. И точно так же не может он принять на свой счет упреков незнакомца в пристрастии к описанию «будничных чувств, будничных людей» и к «мусору фотографических снимков с их жизни». Какие уж это будничные люди эти Изергили, Зобары, Радды, Соколы, да и все эти Челкаши, Коноваловы и прочие босяки! Упреки незнакомца, очевидно, направлены по адресу тех бесчисленных авторов повестей и рассказов, которые направляют свои фотографические аппараты, подобно офицеру-любителю в «Трех сестрах», на что попало и во главе которых, возвышаясь над ними своим исключительным дарованием, еще недавно стоял г. Чехов...

Итак, г. Горький и г. Чехов, несмотря на резкое различие своих писательских обликов, сошлись не только в мысли, а отчасти и в выражении ее на одном пункте: на необходимости «общей идеи» или «стройной и ясной мысли, охватывающей все явления», или «того, что называется Богом живого человека». Пусть г. Чехов выражает тоску по этой «общей идее» не от своего лица, а от лица старого профессора, как и г. Горький говорит не от себя, а устами безымянного молодого писателя, но оба они понимают и эту необходимость,

и эту тоску. Эта-то общая им мысль и выделяет их из сонма наших «рассказчиков». Она же отчасти объединяет их мелкие рассказы в некоторое целое, а отчасти побуждает их в последнее время расширить рамки очерка и рассказа, дабы охватить больший круг явлений жизни вместо тех осколков ее, с которых они начали. Г. Чехов долго довольствовался беспорядочным воспроизведением этих осколков, то с величайшею точностью фотографируя их, то шаржируя их веселым юмором. Но этот период творчества г. Чехова уже миновал, и мне жаль, что мой уважаемый сотрудник В. Г. Подарский не заметил этого[5]. Г. Горький с первых же своих литературных шагов, уже самою односторонностью в выборе своих тем и сюжетов и приподнятостью своего писательского темперамента был гарантирован от безразлично-фотографического отношения к действительности: слишком ярки, слишком огромны в добре и зле носящиеся перед ним образы, чтобы такое отношение к ним было возможно. В противоположность г. Чехову тяготение к «общей идее» в нем жило всегда, и временами ему, может быть, казалось и кажется, что он даже владеет ею или что она овладела им. В действительности же Вогюе прав, говоря, что не только трудно разобраться в его «философии», но что он и сам в ней не разбирается.

В самом деле, что такое этот «Бог», по которому тоскует молодой писатель у г. Горького, как и старый профессор у г. Чехова? Это великое и священное для людей слово, к которому прибегают и неверующие в бытие божие люди для обозначения чего-нибудь возвышенного, достойного поклонения,— вставлено у г. Чехова в фразу, ограничивающую его значение: «то, что называется Богом живого человека». Кем называется? В каком смысле? Почему только называется и притом Богом «живого человека»? Что это значит? Г. Горький выражается как будто определеннее: «Бог есть бесконечное стремление к совершенству». Но прежде всего это определение совершенно произвольное, ибо с догматической точки зрения Бог есть не стремление к совершенству, хотя бы и бесконечное, а предвечно сущее, абсолютное совершенство. А кроме того, это определение ничего не определяет, и немудрено, что молодой писатель, признав его правильным, тотчас вслед затем

становится в тупик перед вопросом: «Кто есть твой Бог?» Он мог бы ответить испытующему его незнакомцу: «Ты сказал!» Однако он затруднился, и затруднением этим принудил незнакомца перевести свой вопрос на другой, более понятный и вместе с тем более точный язык. А из дальнейшего объяснения оказывается, что молодой писатель имеет в виду «чувство, объединяющее все это»,— все «добрые чувства и желания» или «стройную и ясную мысль, охватывающую все явления жизни», а старый профессор — «что-то общее, что связывало бы в одно целое все это», то есть «все мысли, чувства и понятия», или «общую идею». Что же такое это «что-то», по которому тоскуют эти люди? Истина? Да, конечно, но не только истина, потому что речь идет у обоих и о чувствах и желаниях, а г. Горький требует даже «нас возвышающего обмана», и у г. Чехова «пристрастие к науке» не есть что-нибудь самодовлеющее, а стоит наряду с другими «мыслями, чувствами и понятиями» и «желаниями». Молодому писателю г. Горького нужна «стройная, ясная мысль, охватывающая все явления жизни», но мысль не созерцающая, а действенная, органически слитая со «способностью возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтобы создать другие, более свободные на место тесных». Молодой писатель жаждет такого учения, которое, удовлетворяя запросы мысли и чувства, вместе с тем давало бы бесповоротный толчок воле, побуждало бы к действию в известном направлении. Словом, он жаждет религии, как мы еще ее недавно определили *.

Посмотрим теперь, как распределяются у нашего автора элементы этого искомого или уже имеющегося в его распоряжении учения.

Бесконечно разнообразные человеческие типы, характеры, темпераменты сводятся в рассказах г. Горько-

* Здесь будет уместно ответить на некоторые обращенные ко мне вопросы по поводу напечатанных в прошлом году двух «Отрывков о религии». «Будут ли эти «отрывки» продолжаться»,— спрашивают меня. Будут, но я не знаю когда [6]. Я должен покаяться, что начал их печатать, не рассчитав своих сил и своего времени, поглощенного текущей работой.— *Примеч. Н. К. Михайловского.*

го к двум главным группам. Это, во-первых, «будничные» люди, довольствующиеся той «ямой», в которой их поместила судьба. При этом «яма» не означает чего-нибудь непременно неудобного или грязного, мрачного. Будничные люди могут стоять на очень разных ступенях общественной лестницы и обладать очень разными умственными и нравственными качествами. Но все они, не оглядываясь по сторонам, кто нехотя, кто с охотою или даже с восторгом идут по выпавшей на их долю жизненной колее — наживаются или нищенствуют, работают или живут чужой работой, веселятся и печалятся в пределах своих «ям». Их «философия» — когда они поднимаются до какой-нибудь философии — состоит в том, что человек «вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок один и сам по себе», как говорит незнакомец в «Читателе». Безрукий в «Тоске», с злой обидой в душе повторяя непонятные для него слова, которых он наслышался от «умнейших» людей, развивает эту мысль так: «Рассуждают люди о том, о другом и прочее... глупо-с! очень глупо! О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, если у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и их движений жизни! Это называется фи-ло-со-фия-с действительной жизни».

Вторая группа действующих лиц г. Горького никоим образом не хочет и не может помириться с этой философией. Составляющие ее люди «жадны к жизни», они хотят звенеть всеми струнами своей души, им тесно в какой бы то ни было «яме», они гордо и смело противопоставляют себя всяким «законам и силам», и все охотно, многословно и довольно однообразно развивают свою философию силы и свободы. И автор, видимо, любуется ими, любуется красотою силы, готовой совершить экстренные, выходящие из рамок будничной жизни поступки. «В силе красота, а не в нежной коже и румянце щек»,— говорит слепой татарин-нищий в рассказе «Хан и его сын». «Красивые всегда смелы»,— замечает мимоходом старуха Изергиль. Автор со своей стороны часто наделяет своих сильных и сме-

лых людей и физической красотой (Зобар, Данко, Коновалов, Промтов, Кузьма Косяк, Артем). Женщины с ума сходят по этим сильным красавцам, а Варенька Олесова требует таких же обаятельных образов от литературы. Она не любит русских романов, потому что русские писатели «не умеют выдумывать ничего интересного и у них почти всё правда... У французов герои настоящие, они и говорят не так, как все люди, и поступают иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а у нас герои — простые человечки без смелости, без пылких чувств, какие-то некрасивые, жалкенькие — самые настоящие люди и больше ничего!.. Зачем писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновенного?»

Вы помните, что, собственно говоря, этот же вопрос задавал незнакомец, представляющий собою воплощенную совесть молодого писателя: «Если ты не можешь силою воображения твоего создать образы, которых нет в жизни, *но которые необходимы для поучения ее*, какая польза в твоей работе и чем оправдаешь ты звание свое?» Разница между вопросами Вареньки Олесовой и незнакомца состоит только в том, что последний прибавляет подчеркнутые мною слова. С его точки зрения, «необыкновенные» и даже небывалые и невозможные образы и картины нужны для «поучения жизни», для расширения горизонта, подъема благородных чувств, энергии и т. д. Для чего же нужны они Вареньке Олесовой? «Мне,— говорит она,— в романах больше всего нравятся злодеи, те, которые так ловко плетут разные ехидные сети, убивают, отравляют... умные они и сильные... и когда, наконец, их ловят, меня зло берет, даже до слез дохожу. Все ненавидят злодея, все идут против него — он один против всех! Вот герой!»

В рассказах г. Горького есть, кроме Вареньки Олесовой, еще один любитель французских уголовных романов. Это некий Павел Петров, «темный человечек, кабак держал и воровские дела завершал». Емельян Пиляй рассказывает о нем: «Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках... у него все книги были о разбойниках;

слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали». Этот Павел Петров не только развлекался чтением уголовных романов, как можно думать про Вареньку Олесову, а черпал из них и поучения. Литературная критика, психиатрия, статистика давно установили тот факт, что подобное чтение действительно «поучает» и вызывает подражание. Это мы и на Павле Петрове можем наблюдать: сам он только кабак держит да ворованные вещи скупает или в заклад берет, но, например, Емельяна Пиляя он подбил убить проезжего, и, когда тот по совершенно случайному обстоятельству не убил, Павел Петров обругал его дураком, болваном и выгнал вон. Надо думать, это не те «поучения», которых требует воплощенная совесть молодого писателя... А впрочем... Дослушаем Вареньку Олесову. Читателей и особенно читательниц, с замиранием сердца следящих за фантастическими похождениями какого-нибудь «злодея», трепетно переживающих его победы и поражения, было всегда много (я боюсь, что их немало и в числе читателей г. Горького); и всегда они находили нужную им умственную пищу как во французской, так, в противность мнению Вареньки Олесовой, и в русской литературе. Но Варенька не вполне типична для этой наивной публики, упивающейся исключительно интересом кровавой или вообще уголовной фабулы. Она вставляет свое пристрастие к «злодеям» в некоторую теоретическую рамку,— как, впрочем, и почти все действующие лица у г. Горького. Она говорит: «Вообще, знаете, мне люди до той поры нравятся, пока они сильно хотят чего-нибудь, куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучатся... но если они дошли до цели своей и остановились, тут уже они не интересны... и даже пошлы!» Первобытная, грубая, невежественная, но здоровая и сильная Варенька Олесова откликается этими словами на грустное раздумье незнакомца в «Читателе»: «Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нужно, чтоб каждый момент бытия имел свою высокую цель. Это было бы возможно... но не в старых рамках жизни, в которых всем так тесно и где нет свободы духу человека»...

Обратимся еще к одному из читателей, фигурирующих в рассказах г. Горького. Он, впрочем, не настоящий читатель, потому что он неграмотен, но любит слушать

чтение. Это — Коновалов. Автор или лицо, от имени которого ведется рассказ, читает ему «Подлиповцев», и Коновалов приходит в восторг. Пила, Сысойка, Апроська — вполне «будничные» люди и притом, как выражается Коновалов, «все это правда, ведь это как есть настоящие люди, всамделишные мужики». Коновалов умиляется как раз тем, на что негодует Варенька Олесова, и восторженно ставит огромный плюс именно там, где у нее стоит презрительный минус; и это обстоятельство не лишено своего рода поучительного значения, если не для самого г. Горького, то для воплощенной совести молодого писателя в «Читателе». Но в дальнейшем помещичья дочка и босяк, может быть, и сошлись бы во вкусах. Автор читал Коновалову «Бунт Стеньки Разина» Костомарова, потом «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». «Бедные люди» решительно не понравились Коновалову, зато от Стеньки он пришел в неистовый восторг, достигший своей высочайшей точки при чтении рассказа о поимке и казни Стеньки. «Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные и не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой, и босяк со всей силой своего живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа, чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола». (Маленькая подробность: и Вареньку Олесову, и Емельяна Пиляя, и Коновалова особенно волнует трагический конец «злодея», «французских разбойников», Стеньки Разина.) «Тарас Бульба» тоже очень понравился Коновалову, и он размышляет о том, каких бы дел натворил Стенька вместе с Тарасом,— тогда и Пила с Сысойкой «взбодрились бы». Но времена Стеньки прошли, а «в ту пору можно было жить,— говорит Коновалов,— свободно. Было куда податься, можно было душу отвести».

Конечно, не XVII столетие разумеет в только что цитированном месте незнакомец под «старыми рамками жизни», но предмет его скорби тот же, что и у Коновалова, когда он жалуется, что «всем так тесно и нет свободы духу человека». Вы видите, как все тесно связано у г. Горького, как одни и те же мысли, одни и те же чувства, выраженные почти одними и теми же словами, переливаются у него из одной головы в другую, из одних уст в другие, повторяясь людьми, каза-

лось бы, имеющими между собою слишком мало общего. И, как в дремучем лесу, где тесно переплетающиеся ветви деревьев и кустов мешают видеть свет и затрудняют путнику дорогу,— г. Горький, по справедливому замечанию Вогюе, действительно не разбирается в своей «философии».

Он ненавидит «будничную» жизнь с ее бессмысленными условностями, с ее размеренною мелочностью, пошлостью, самодовольством, покорностью перед «законами и силами», ограничивающими простор души. Но чтобы противостоять этим законам и силам, нужна прежде всего сила. И г. Горький рисует нам ряд сильных людей, так или иначе объявляющих войну будничной жизни. Из элементов религии, по которой тоскует совесть молодого писателя, на первом плане стоит удовлетворение воли, выраженное в действии, направленном против будничного строя жизни. Во имя чего напрягается эта воля, с которой стороны выступает этот сильный и жадный к жизни человек против будничного строя,— это для нашего автора второй и часто совсем не существенный вопрос. Правде-истине, конечно, не может не быть места в «стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни», но нужен и «нас возвышающий обман»; прочтите, например, маленький рассказ «Болесь», и вы увидите, как необходим, какую силу жить дает обман. Нужна и правда-справедливость, но и она измеряется силой: что дозволительно волку, то непростительно крысе (не помню, где находится этот афоризм у г. Горького) и — «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо», как говорит одно из действующих лиц в рассказе «Ошибка» [7]. Правда, совесть молодого писателя требует от литературы таких пламенных слов, «чтобы люди стали *благородно* сильными», но она тут же коварно прибавляет: «и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты». А красота есть нечто вроде великолепной крышки, прикрывающей сосуды с самым разнообразным, целебным и ядовитым, чистым и грязным содержанием. Варенька Олесова знает, что «злодей» есть злодей, что он «плетет ехидные сети», отравляет и проч., но красивая картинность борьбы его, «героя», «умного и сильного», главным образом опять-таки сильного, с «обыкновенными» людьми ласкает ее

глаз, тогда как эти обыкновенные — все «какие-то некрасивые, жалкенькие». Ее собеседник, приват-доцент Ипполит Сергеевич Полканов, старается внушить ей мысли о героизме, отличные от тех, которые она вычитала из французских уголовных романов. Он говорит: «Обязанность каждого человека внести в борьбу за порабощенных, за их право жить, весь свой ум и все сердце, стараясь или сокращать мучения борьбы, или ускорять ее ход. Вот на что нужен истинный героизм, и именно в этой борьбе вы должны искать его. Вне ее — нет героизма». И т. д., и т. д. Варенька не понимает этих речей, может быть, потому, что Полканов не догадался или не сумел облечь рекомендуемую им борьбу в красивую форму, а ведь это было вполне возможно. В самом деле, разве трудно осиять «святым духом красоты» жизнь какого-нибудь Гарибальди и множества других, видных и невидных, но истинно героических борцов «за порабощенных, за их право жить»? Г. Горький понимает это. Старуха Изергиль рассказывает у него красивую легенду о некоем смелом и сильном красавце Данко, который распорол себе грудь и вынул оттуда свое пламенеющее сердце, чтобы осветить соотечественникам дорогу из дремучего леса. Но в портретной галерее нашего автора есть, например, и «проходимец» Промтов, тоже сильный и смелый красавец, но пройдоха, лжец, шулер и альфонс, который, однако, тоже окружен некоторым ореолом красоты, так что Варенька Олесова могла бы любоваться им не меньше, чем злодеями французских романов.

Благодаря этой чувствительности к красоте силы, в чем бы она ни проявлялась, г. Горький и сам стоит, и читателей своих держит на некотором распутии. Есть у него силы тоскующие, мятущиеся, ищущие приложения, силы, так сказать, потенциальные, готовые, как Гришка Орлов и «Россию от холеры спасать», и «раздробить всю землю в пыль или собрать себе шайку товарищей и жидов перебить». Есть силы самодовлеющие, упивающиеся собою, своею властью над людьми. Таков, например, «проходимец» Промтов, которому знакомо «высокое наслаждение чувствовать себя приподнятым над людьми», издеваться над ними, повелевать. Об этом наслаждении г. Горький говорит в одном месте от себя: «Как бы низко ни пал человек,

он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего». Я думаю, что это слишком смелое обобщение, да и у самого г. Горького есть представители силы, не колеблющиеся между спасением людей от холеры и раздроблением всей земли в пыль, равно как и не презирающие слабых людей, а, иносказательно говоря, освещающие им, подобно Данко, путь своим горящим сердцем. Правда, у него редко мелькает этот тип силы, да и то больше в рассуждениях,— незнакомца в «Читателе» или приват-доцента в «Вареньке Олесовой»,— чем в действии, но он все-таки есть, и он именно призван создать новые формы жизни: Орлов, Коновалов и проч. имеют только отрицательное значение и, как справедливо говорит один из «бывших людей», могут лишь «создать нарушение общественной тишины и спокойствия»; а силы, жаждущие первенства для первенства, власти для власти и с высоты ее издевающиеся и надругающиеся над людьми, тяготеют лишь к некоторым перемещениям в рамках «будничной» жизни, а не к борьбе с нею по существу. Г. Горький, конечно, знает все это, но все-таки ставит все эти разнородные типы сильных людей за общую скобку красоты и часто заставляет их по частям выражать одни и те же мысли одними и теми же красивыми словами. Оттого-то и трудно разбираться в его «философии».

Можно было ожидать, что «философия» эта выяснится с течением времени, в особенности, когда молодой автор перешел от маленьких рассказов к сравнительно большим, которые по старой терминологии следовало бы называть уже не рассказами, а повестями; от портретов разного бродячего люда к картинам, захватывающим взаимные отношения целых разнородных групп. Таковы «Фома Гордеев», «Трое», начало повести «Мужик». К сожалению, эти ожидания не оправдались. Может быть, г. Горький слишком поторопился оставить портретную живопись. Так можно уже думать потому, что он так и не справился с повестью «Мужик» и бросил ее, не кончив [8]. Журнал «Жизнь», в котором она печаталась, объявлял помнится, что она явится в переработанном виде, но вместо этой переработки автор дал повесть с совсем иной фабулой и иными

действующими лицами — «Трое». Но и законченные повести г. Горького нельзя назвать шагом вперед ни в художественном отношении, ни в смысле выяснения того, что было неясного в рассказах. В них есть отдельные прекрасные страницы и даже целые эпизоды, но в целом они ужасно растянуты, переполнены длиннейшими рассуждениями действующих лиц, причем в рассуждениях этих повторяются в разных комбинациях все те же мотивы, которые мы уже слышали в прежних рассказах. Повторяются целые сцены. Так, в рассказе «Тоска» есть превосходная, захватывающая сцена хорового пения в трактире. Варьяции на эту тему есть и в «Фоме Гордееве», и в «Троих», но в них уже нет той удивительной силы и красоты, от которых в жутком умилении рыдал мельник в «Тоске», а вместе с ним, пожалуй, и читатель. И невольно досадуешь на автора — зачем он разжижает этими бледными варьяциями раз данное потрясающе сильное впечатление. Центр внимания его все тот же: «законы и силы», обрекающие человека на «будничную» жизнь в той или другой, роскошной или убогой «яме», и люди, рвущиеся из этих ям на волю, на простор, для чего прежде всего нужна сила. Но если и прежде читатель не вполне ориентировался во всегда ярких, но в целом все-таки неясных речах разных босяков и цыган, то теперь, с расширением круга действующих лиц, это стало еще труднее. Так, например, наиболее сильным и действительно сильным человеком в «Фоме Гордееве» является купец Маякин, человек оседлый, никаких «необыкновенных» поступков не совершающий — все в пределах «законов и сил», которыми он ловко умеет пользоваться. Рядом с этим прямо жалкое впечатление производит Фома Гордеев, хотя он и рвется из своей «ямы», и мечется, дерзит направо и налево, дерется, буйствует, рычит грозные и злые слова. Все это не мешает ему быть тряпкой, которую треплет ветром в разные стороны. Любопытно, между прочим, что он очень высоко ценит словесность, красивые слова. Судьба свела его, между прочим, с неким газетчиком Ежовым. Когда тот читал ему свои статьи, то, «не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно... точно его в жаркой бане вениками пари-

ли... «Ловко! — восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу.— Здóрово пущено!» От Ежова и сам Фома выучился «здóрово пущать». Это характерно...

«Здорово пущают» и все «Трое». А один из них, Илья Лунев, кроме того, и поступки экстренные совершает, буйствует, человека убивает,— и все-таки остается тряпкой, вполне управляемой ненавистными ему «законами и силами». И странное впечатление производит состав пятого тома рассказов г. Горького, в котором, кроме повести «Трое», напечатана только «Песня о Буревестнике». Буревестник так красиво грозно, «черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает». Это наверху, в облаках и тучах, а на земле, в повести «Трое», только тряпичность, пьянство, бессмысленное буйство да красивая словесность...

Все это, однако, не мешает и не должно мешать успеху г. Горького. Быть может, в числе тех десятков тысяч, которые в несколько месяцев расхватали экземпляры его рассказов, и многие читают его с тем специальным интересом, с каким Варенька Олесова упивается французскими «злодеями». Но есть и иные. Они скажут вместе с незнакомцем в «Читателе»: «Где у него (современного человека) те идеалы, ради которых он пошел бы на подвиг? Вот почему живется так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух творчества... Некоторые слепо ищут чего-то, что, окрыляя ум, восстановило бы веру людей в самих себя. Часто идут не в ту сторону, где хранится все вечное, объединяющее людей, где живет Бог... Те, которые ошибаются в путях к истине,— погибнут! Пускай, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание найти Бога». К этому, кроме выше сделанной оговорки, можно прибавить следующее: людей много, это верно, и между ними много таких, о гибели которых никто не пожалеет. Но людей, ищущих «путей к истине» и желающих «восстановить веру людей в самих себя», вовсе не много. И между ними еще меньше талантливых людей слова...

«Будничная» жизнь, почти не изображаемая г. Горьким, хотя и вызывающая целый поток гневных речей

его героев, находит своего бытописателя в г. Чехове. Из огромной тусклой картины ее пошлости, мелочности, лицемерия он без разбора и связи выхватывал то один, то другой эпизод и без печали и гнева предъявлял их читателю. Это был длинный ряд анекдотов, мастерски отделанных вообще и часто написанных так, как рассказывают устные мастера этого дела: сам не улыбнется, а слушатели хохочут. Отношение самого автора к рисуемым им бесчисленным картинкам ничем не обнаруживалось, тем более что и в его выборе сюжетов не было ничего определенного; мало того, самое слово «выбор» тут как будто неуместно было, а одинаково шло в художественную обработку все, что случайно попадалось на глаза. И за г. Чеховым, не имея и малой доли его таланта, пошло по этой дороге множество беллетристов. Они и остались на ней. Г. Чехов не остался. К сожалению, г. Маркс издает сочинения г. Чехова без хронологических дат, и трудно сказать, когда именно наступил перелом в его настроении или, вернее, когда он нажил себе определенное настроение. Конечно, это совершилось не вдруг, но, во всяком случае, между ранними и позднейшими его произведениями — огромная разница. Разница и по внешнему виду: от маленьких картинок в одну, две, три странички он перешел к повестям. И дебюты г. Чехова в этом направлении гораздо удачнее опытов г. Горького. У него нет ярких, кричащих красок, имеющихся в изобилии на палитре г. Горького, но нет и его угловатостей, он гораздо уравновешеннее. В его переходе к рассказам сравнительно большого размера сказалась та же потребность обобщить, объединить случайные осколки жизни, которая выразилась у старого профессора «Скучной истории» тоской по «общей идее» и которая знакома и г. Горькому. Но его не соблазняют ни французские «злодеи», ни какие бы то ни было другие «необыкновенные герои». Он даже как бы боится их и, во всяком случае, относится к ним скептически.

Вогюе в своих двух статьях о гг. Чехове и Горьком предается некоторым недоуменным размышлениям о русской тоске. Он не понимает ее. И ему кажется, что русский гений после Пушкина — Тургенева все более и более удаляется от западного склада ума и чувства, приближаясь к буддизму,— не в смысле религиоз-

ной системы, а в смысле настроения. Любопытно объяснение, даваемое французским критиком комедии г. Чехова «Дядя Ваня»: жили-были люди мирно, тихо, спокойно, но в среду их вторгнулись выдающийся ум в лице профессора и выдающаяся красота в лице его жены; это вторжение ума и красоты произвело трагический кавардак, благополучно окончившийся, как только профессор и его жена удалились. Таким образом, с той точки зрения, на которой стоит г. Чехов, лучи ума и красоты не освещают жизни, по крайней мере, русской жизни, а лишь безнужно взбудораживают ее. Это очень остроумное объяснение. Оно было бы, кроме того, и верно, если бы профессор «Дяди Вани» был действительно лучом света, представителем ума, а не надутым и самодовольным педантом. Но в мысли Вогюе есть косвенный намек на истину. С точки зрения г. Чехова, в изображаемой им действительности нет места героям,— их неизбежно захлестнет грязная волна пошлости. Нужна какая-то резкая перемена декораций, чтобы эти отношения изменились. Г. Чехов провидит ее в более или менее отдаленном будущем. В конце повести «Дуэль» фон Корен несколько неожиданно размышляет так: «В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает: быть может, доплывут до настоящей правды». Большею уверенностью звучат, к сожалению, почти механически приставленные заключительные слова героинь комедий «Дядя Ваня» и «Три сестры»...

Издание сочинений г. Чехова до сих пор не закончено, да и помимо того страшно подводить относительно его итоги,— до них еще далеко...

февраль 1902 г.

О ДОСТОЕВСКОМ И г. МЕРЕЖКОВСКОМ

В одной из бесед Ивана Карамазова с братом Алешей есть, между прочим, одно интересное место: «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? — говорит Иван.— Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме или анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время». Алеша соглашается с этим. «Да,— говорит он,— настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог, есть ли бессмертие, или, вот как ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо» [1]. Надо заметить, что Иван Карамазов вполне сочувствует «русским мальчикам», сам себя к ним причисляет и противопоставляет им «стариков», которые «теперь (в конце 70-х годов) все полезли вдруг практическими вопросами заниматься».

Оставляя в стороне «русских мальчиков» или «молодую Россию», как их тут же называет Иван Карамазов, следует заметить, что самого Достоевского всегда занимали «вековечные» вопросы; и именно в двойной постановке их Иваном Карамазовым. Под «практическими» вопросами, которые Иван Карамазов презрительно предоставляет старикам, следует разуметь вопросы практические в тесном смысле — хозяйственные, технические. Свое внимание Достоевский устремляет на широкие общие основания общественной

жизни, так или иначе, но постоянно связывая их с «вековечными» вопросами о Боге, бессмертии и проч. И тем не менее трудно с определенностью сказать, что именно он обо всем этом думал.

В 1875 году по поводу моей статьи о его романе «Бесы» он писал: «Смею уверить г. Н. М., что «лик мира сего» мне самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его — это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается этими темами» [2]. Достоевский выражал тогда сожаление, что не удосужился возразить мне, и обещал вернуться к вопросу о взаимных отношениях атеизма и социализма. Но обещания этого он не исполнил, и мы имеем только отрывочные замечания его на эту тему, вдобавок большею частью не прямо от своего имени им изложенные, а вложенные в уста разных действующих лиц его романов и повестей. Это, конечно, еще более затрудняет возможность разобраться в его мыслях.

Что касается «лика мира сего», то, полный всякого рода несовершенств и изъянов, он, без сомнения, «очень не нравился» Достоевскому, да едва ли можно найти хоть одного человека, которому бы он очень нравился. Но именно поэтому выражение Достоевского слишком обще, неопределенно и бессодержательно. Всем не нравится лик мира сего, все желали бы видеть его лучшим, чем он есть в настоящую минуту, но вопрос в степени и характере этого недовольства,— в какой мере и с какой точки зрения не нравятся те или другие черты лика, во имя каких начал они отрицаются. И вот эти-то, по-видимому, частности и подробности, в которых, однако, заключается суть дела, остаются у Достоевского неразъясненными; тем более что, как уже сказано, не всегда легко извлечь его собственные мысли из речей его действующих лиц.

В «Идиоте» Евгений Павлович Радомский высказывает мысль, несомненно, близкую автору, о том, что у нас «нападение на существующие порядки есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию» [3]. Россия же должна непоколебимо верить в себя, в свое великое призвание,

потому что — читаем в «Дневнике писателя» за 1877 год — «всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной»[4]. Так было некогда с древним Римом, с Римом католическим, с Францией, с Германией; теперь наступил черед России, начало чего Достоевский видел в последней русско-турецкой войне, предсказывая, что ею начнется новая эра всемирной истории. Подтверждением этого служил для него не только объективный ход событий, как он ему представлялся, а и некоторые свойства национального русского духа, между прочим, самое неверие в грядущее верховенство России. Вы, говорил он, обращаясь к скептикам, верите в грядущее объединение всех наций в общечеловеческой цивилизации; но эта вера и есть национальная русская идея, и «славянофилы и националисты верят точь-в-точь тому же самому, как и вы, да еще покрепче вашего». Это придавало в глазах Достоевского идее народа в смысле нации какое-то мистическое освещение. Говоря о Герцене и других эмигрантах 40-х годов, он писал в «Дневнике писателя» за 1873 год: «Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные — индифферентными»[5]. Князь в «Идиоте» сочувственно приводит слова какого-то купца-старообрядца: «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет» — или: «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался»[6]. Шатов в «Бесах» утверждает то же самое: «У кого нет народа, у того нет и Бога. Знайте наверно — продолжает он,— что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же по мере того теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными». И затем Шатов объединяет выше приведенную мысль самого Достоевского и свою собственную, прибавляя к ним еще мысли

Ставрогина. Выходит так: русский народ есть «теперь на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога и ему единому даны ключи жизни и нового слова... атеист не может быть русским... не православный не может быть русским... Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всех или многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог... Народ — это тело Божие. Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своими богами победит и изгонит всех остальных богов» и т. д. и т. д. Выслушав эту пламенную речь, которою Шатов напоминает Ставрогину и его собственные мысли, Ставрогин обливает оратора холодной водой вопроса: «Веруете вы сами в Бога или нет?» К удивлению, Шатов затрудняется ответом. «Я верую в Россию,— говорит он,— я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...». «А в Бога, в Бога?» — нетерпеливо перебивает Ставрогин. «Я... я *буду* веровать в Бога»,— отвечает Шатов [7].

Отметив, что и старец Зосима в «Братьях Карамазовых» говорит о русском «народе»: «сей народ богоносец» [8],— остановимся на минуту.

Ясно, что благоприличный Евгений Павлович Радомский, развратный злодей Ставрогин, эпилептический князь Мышкин, честный фанатик Шатов, святой старец Зосима, все они, несмотря на крайнее разнообразие их духовных физиономий, выражают мысль, принадлежащую самому Достоевскому, только иногда в более резкой форме, в какой сам он, может быть, и не решился бы ее высказать. Но что значит странный ответ Шатова: «Я верую в Россию, в ее православие, в тело Христово, в то, что новое пришествие совершится в России», а в Бога еще только *буду* веровать? да и это сказано с запинкой и после уси-

ленного настояния Ставрогина. Значит, можно веровать в православие, не веруя в Бога? Как это ни странно, но такое, казалось бы, невозможное положение было знакомо Достоевскому по собственному опыту. Г. Мережковский удивляется тому, что Достоевский «остался в лоне *исторического* православия», несмотря на все свои сомнения и колебания относительно «вековечных» вопросов о Боге и бессмертии; удивляется и скорбит, подчеркивая слово *исторический*, так как он, г. Мережковский, исповедует вместе с г. Розановым «новую концепцию христианства», которая и есть истинное православие. Скорбь г. Мережковского — его дело, и нам незачем в него вмешиваться, но удивления указанный факт действительно заслуживает. Надо же, однако, как-нибудь постараться сделать его понятным, как-нибудь свести концы с концами в этом странном противоречии. Дело в том, что хотя «лик мира сего» и не очень нравился Достоевскому, но в своих общих чертах «русские порядки» были для него неприкосновенны; нападать на них значит, как мы видели, с его точки зрения, нападать на Россию и лишать ее той своеобразной мессианической роли всемирной объединительницы и спасительницы, которую он ей предрекал. И православие, как одна из основ «русских порядков», было для него именно поэтому неприкосновенно. Оно ставило точку к решению вековечных вопросов «с другого конца». Тут не было места ни колебаниям, ни сомнениям, которые всю жизнь одолевали его в будто бы тех же вопросах с противоположного конца. «Меня всю жизнь Бог мучил»,— говорит в «Бесах» Кириллов [9], и это смело мог сказать о себе сам Достоевский. Он был прав, когда говорил, что прошел страшную школу религиозных сомнений, но ошибался, когда утверждал, что в конце концов выбрался на твердый берег веры. Он принадлежал к числу тех сильных людей (чем-нибудь сильных, Достоевский был силен своим страшным талантом), о которых говорит Версилов: они страстно хотят верить и принимают свои желания за веру [10]. Как Антей в борьбе с Геркулесом получал силу, только касаясь ногами своей матери-земли, и терял ее, будучи поднят на воздух, так Достоевский получал свою веру, только когда Бог становился для него «синтетическою личностью нации», а в отвлечен-

ном от «русских порядков» виде он лишь «мучил» его. Следы этой мучительной внутренней борьбы повсюду рассыпаны у Достоевского. Его главные действующие лица, вплоть до Алеши Карамазова, или задают, или выслушивают вопрос: «Веруете ли вы в Бога?» — или заявляют о своем неверии, или говорят о Боге и вере в него так замысловато, что выходит по малой мере двусмысленно. В этом отношении особенно достойны внимания речи Кириллова в «Бесах», которого автор наделил неумением правильно выражаться по-русски, очевидно, именно затем, чтобы внешним образом замаскировать двусмысленность его речей. «Бога нет, но он есть»,— говорит Кириллов. «Бог необходим, а потому должен быть, но я знаю, что его нет и не может быть» [11]. О Ставрогине он выражается так: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует; если же не верует, то не верует, что он не верует» [12]. Сомнения и колебания Достоевского отражаются даже в ядовитых репликах Смердякова, которому старик Григорий может ответить только пощечиной за неимением возражений; но особенно в знаменитом «бунте» Ивана Карамазова, отнюдь не одиноко стоящем,— в менее яркой форме этот «бунт» и раньше воспроизводился Достоевским — в «Необходимом объяснении» Ипполита в «Идиоте», в «Дневнике писателя» 1876 года (глава «Приговор»).

Та страстность, с которою ведутся «бунтовщиками» их бунтовские речи, не оставляет места сомнениям в том, что сюда вложено авторское задушевное, что это мучительно переживается самим Достоевским. Бунтовщики верят в бытие личного божественного Творца мира, но вера эта колеблется в них существующею в этом мире массою бесцельного, с человеческой точки зрения, зла и страдания, которому они не находят оправдания. Временами мир представляется им каким-то «бесовским хаосом», как Ивану Карамазову, «дьяволовым водевилем», как Кириллову, «наглой пробой, чтобы только посмотреть: уживется ли подобное (человеку) существо на земле или нет», как самоубийце в «Дневнике писателя». И эти кощунственные мысли рвут им сердце, они страстно ищут выхода из одолевающих их мучительных противоречий и сомнений и наконец находят его,— но не для себя. Человек,

говорят они, есть существо, ограниченное тремя измерениями Эвклидовой геометрии, и в своей ограниченности не может понять царящей во вселенной гармонии. Но есть «миры иные», недоступные человеку, где все противоречия сглаживаются и цели каждого явления, кажущегося нам злодейством или страданием, получают свое объяснение. Но для «малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума» эти миры недоступны и, собственно говоря, не существуют; доступно только сознание возможности их существования. Затем, однако, мелькает надежда и на доступность, по крайней мере отчасти.

Старец Зосима в одной из своих «бесед и поучений» («О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным») пишет: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того дано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее» [13]. Таким образом, по крайней мере «чувства соприкосновения» человек не лишен, оно роднит его с этими таинственными иными мирами. А при некоторых особенных условиях и прямо приподнимается завеса, отделяющая жалкий человеческий эвклидовский ум от иных миров. Любопытно в этом отношении одно не лишенное остроумия рассуждение Свидригайлова. «Я согласен,— говорит он Раскольникову,— что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться только больным, а не то, что их нет самих по себе... Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а, стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть

нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность иного мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир»[14].

Если Ставрогин[15] говорит о болезни вообще как о состоянии, в котором становится возможным общение с «по-ту-сторонним», по терминологии гг. Розанова и Мережковского, миром, то князь-«идиот» указывает на специальный случай нарушения нормального земного порядка в организме, особливо способствующий такому общению. Это — эпилепсия или падучая, и в древности, и у многих современных народов считавшаяся и считающаяся «священной» болезнью. Причины такого отношения к эпилепсии легко понять, читая описание ее у Достоевского: «В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в том вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, так изъясняли свое впечатление, на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое»[16]. Таковы эпилептические припадки для стороннего наблюдателя. Но Достоевский был слишком знаком с ними по тяжкому личному опыту, чтобы ограничиться этим внешним, объективным описанием. В припадке падучей у князя Мышкина «как бы воспламенялся мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся, как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной се-

кунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима»[17],— невыносима своею ослепительною яркостью и полнотою совмещавшейся в ней жизни.

Как и Свидригайлову, Мышкину приходит в голову соображение, что ведь это болезнь, нарушение нормального состояния, и поэтому никакого «высшего бытия» он в эту минуту не переживает. Но, как и Свидригайлов, он отвергает это соображение, хотя и по другим мотивам. Какое мне дело, говорит он, до того, что это ненормальное напряжение, «если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым синтезом жизни». Достоевский называет эти выражения кн. Мышкина «туманными», но, говорит, самому ему они «казались очень понятными, хотя еще слишком слабыми». «За этот момент можно всю жизнь отдать,— говорит Мышкин,— в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что *времени больше не будет*».

Это необычайное слово вспоминается и Кириллову: «В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет»,— говорит он[18]. Кириллов тоже страдает эпилепсией или находится накануне заболевания. Во всяком случае, ему знакомо то состояние блаженства, о котором говорит кн. Мышкин, и описывает его он почти слово в слово, как тот. Разница только, во-первых, в том, что момент невыносимого блаженства тянется у Кириллова несколько дольше (5—10 секунд), что, конечно, неважно; а во-вторых, в том, что Кириллов предвидит такое физическое изменение природы человека, которое даст ему «вечную жизнь»,— «не будущую вечную, а здешнюю вечную»,— поясняет он[19]. В этом новом физическом виде те блаженные секунды станут для человека вполне выносимыми, нормальными, человек будет богом...

Таков ряд мыслей Достоевского или его действующих лиц, который следует поставить рядом с его (или опять-таки его действующих лиц) убеждением в том, что человек по самой природе своей любит

мучить других и сам мучиться, что жестокость и сладострастие суть его основные свойства. Я оговариваюсь: Достоевского или его действующих лиц,— но благодаря существованию «Дневника писателя» нет сомнения, что в основании своем это мысли самого Достоевского. Только некоторые крайние формы их, представляя собою все-таки авторскую, хотя и заведомо фантастическую мечту, авторское, хотя и неясное чаяние, усвоены им тому или другому действующему лицу. С какого-нибудь, например, Кириллова, ввиду его психической болезни, природного косноязычия, взволнованности по поводу предстоящего ему самоубийства, нельзя требовать логики, ясности мысли и изложения. Однако и в этом намеренно криво устроенном зеркале отражается автор. Но в этом как бы пряталњи за спиной своих собственных созданий нельзя видеть результат трусости,— Достоевский вообще ею не страдал и, напротив, даже щеголял эксцентричностью и парадоксальностью; но свои сомнения он естественно влагал в уста и лицам сомнительным.

Эту же черту встречаем мы и еще в одном цикле его идей, к которому теперь и обратимся.

«Лик мира сего очень не нравится» Достоевскому, но вместе с тем «русские порядки» представляются ему неприкосновенными настолько, что «нападение» на них, чисто словесное, было в его глазах равно воинствующему атеизму, нападению на самого Бога; правда, того особенного, исключительного Бога, который недоступен и враждебен богам других народов, но который должен их, однако, объединить и спасти. Значит, лик мира сего нехорош в той мере, в какой он несовместим с русскими порядками и противоречит им. Это прежде всего лик европейского мира. Западная Европа отнюдь не на всем своем длинном и трудном историческом пути вызывала в Достоевском отрицательные чувства. Она представлялась ему «великим кладбищем», где похоронены и его, Достоевского, светлые надежды (это же говорят Версилов и Иван Карамазов), но в настоящем он видит в ней мало хорошего, а в ближайшем будущем пророчит ей разгром и полное падение. Кроме этого общего пророчества, он высказывал немало частных политических предсказаний, назначая очень близкие сроки их исполнения. Ни одно из них пока не исполнилось, да и

не предвидится их исполнения; и наоборот, ни одно из крупных политических событий, потрясших в последнее время мир, не было им предвидено. Одно из своих пророчеств он вложил в 1871—1872 годах в уста едва ли не отвратительнейшего из героев «Бесов» — Петра Верховенского; притом в форме не столько пророчества, сколько проекта. «Я думаю отдать мир папе,— говорит Верховенский.— Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: «Вот, дескать, до чего меня довели!» — и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой internationale * согласились; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово» [20]. Верховенский развивает этот проект Ставрогину, но и сам сомневается в его осуществимости. «Глупо? говорите, глупо или нет?» — спрашивает он, а Ставрогин и слушать его не хочет. Но через несколько лет в «Дневнике писателя» 1876 года (март, «Сила мертвая и силы грядущие») Достоевский уже от своего собственного имени и довольно пространно развивает мысль узколобого и наглого негодяя Петра Верховенского в виде пророчества. «Потеряв союзников-царей,— читаем там,— католичество несомненно бросится к демосу». И Достоевский сочиняет за папу «льстивую» речь, с которою тот обратится к демосу, и говорит: «Без сомнения, демос примет предложение». Любопытно следующее замечание, сопровождающее это предсказание: «Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе. Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что все это осуществится в Западной Европе в той или другой форме». Позволительно предположить, что такой уверенности у Достоевского не было, когда он влагал свою мысль в уста узколобого Верховенского.

Это тем вероятнее, что, возвращаясь вновь к этой идее в «Дневнике писателя» 1877 года (май — июнь, «И сердиты и сильные»), Достоевский употребляет уже не столь решительные выражения: «Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма *может случиться*, что оно бросится в объятия социализ-

* интернационалисты (*франц.*).

ма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос» и т. д.

Частности той легкомысленной политической диссертации, в которую тоже как частность вкраплено это предсказание, для нас не интересны. Общая же мысль Достоевского состоит в том, что идея всемирного единения людей есть коренная и неистребимая идея человечества — иногда всего человечества, так что и Тамерланы, и Чингис-ханы служили ей, иногда только европейского человечества, иногда только арийской расы. Впервые идею эту осуществила Римская империя. С падением Рима идея возродилась в виде всемирного единения во Христе. Но на этот раз великая идея воплотилась в двух формах,— римско-католической и восточно-православной. Католицизм объявил христианство неосуществимым без всемирной светской, государственной власти папы, и является в этом смысле прямым наследием языческой римской монархии. Ее же идею усвоила себе и Великая французская революция, и современный европейский социализм. Восточный христианский идеал исключительно духовного всемирного единения во Христе остался неприкосновенным. Достоевский называет его «русским социализмом». «Цель и исход русского социализма,— пишет он в единственном номере «Дневника» за 1881 год,— всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созиждилась еще Церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионого народа нашего несомненно присутствует. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм»[21].

Западный идеал христианства получает оригинальное освещение в знаменитой «поэме» Ивана Карамазова «Великий инквизитор». Это, собственно, не христианство, а такая поправка к нему, которая изгоняет самого

Христа. Католичество отвергло Христа и приняло «умного и могучего духа», искушавшего Христа в пустыне. Оно вооружилось мечом и облеклось в порфиру римского кесаря и основало земное царство. Из любви и снисхождения к людям, силы которых Христос слишком высоко оценивал, оно подделало учение Христа и вместо свободы, которой он хотел, потребовало от паствы послушания. Дело это еще далеко не закончено, но Великий инквизитор не сомневается в том, что оно будет благополучно доведено до конца. Перед ним рисуется картина многомиллионного робкого и покорного людского стада, гордящегося могуществом своих вождей, которые устроят земное царство этих глупых и слабых баранов и позволят им даже грешить, взяв на себя их грехи. «Мы все разрешим,— говорит Великий инквизитор Христу,— и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградою небесною и вечною. Ибо, если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они»[22].

Не таков восточно-православный идеал христианства — «русский социализм» тож. Его девиз есть свобода, а не послушание, не покорность; братское единение, а не разделение на горсть управляющих и миллионы рабов. «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь *для* этой единственной цели и слагались до сих пор *все* гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой» («Дневник писателя», 1880, август). Правда, спускаясь с высоты идеала в низины действительности, Достоевский обличает отколовшихся от «русских порядков» «демократов» и «либералов» в том, что они тянут к «господчине», и противопоставляет им европейских демократов, всегда стоящих за народ, за массу или по крайней мере опи-

рающихся на нее. Но отдельные выродки идут, пожалуй, и дальше. Таков в «Бесах» Шигалев. Этот полоумный человек сочиняет проект, довольно похожий на идеал Великого инквизитора. Надо только иметь в виду, что, по его признанию, он «запутался в собственных данных и его заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой он выходит». С одной стороны, он проповедник равенства, во имя которого «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается камнями». Но, с другой стороны, он совершенно в духе Великого инквизитора проектирует разделение человечества на две неравные части. «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». И, как опять-таки у Великого инквизитора, «желание и страдание для нас (для избранных), а для рабов шигалевщина»,— комментирует Петр Верховенский [23].

Ту же идею разделения людей на два разряда исповедует и Раскольников. Для него человечество разделяется на необыкновенных людей, гениев или вообще способных сказать новое слово, и людей обыкновенных, «дрожащую тварь», могущую только повиноваться или быть жертвою первых. А эти жертвы, и часто кровавые, необходимы, потому что необыкновенные люди по необходимости же преступники, разрушители установившегося, привычного для окружающих. Им не то что разрешается, а они сами разрешают себе переступить обязательный для обыкновенных людей закон, пролить кровь, принести в мир великое страдание, и человечество оправдывает их в конце концов, венчает их лаврами, рукоплещет, молится на них. Перед Раскольниковым витает образ Наполеона, без зазрения совести лившего кровь «дрожащей твари» и ею возвеличенного [24]. Но сам Раскольников, убив старуху закладчицу, не выдержал, совесть замучила его, он покаялся, принял каторгу как законное возмездие за свой грех и оказался, таким образом, обыкновенным человеком.

Чувство греха, жажду искупления его страданиями,

работу совести Достоевский очень высоко ценил *. Он видел в ней преимущественно народную русскую черту. «Зверства в народе много,— писал он в «Дневнике» 1877 года (май — июнь),—но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенною и ослабевшею волею своею ниже всего низкого; но эти развращенные и столь упавшие звери знали, по крайней мере, про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог,— сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться.

Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это «добродетельными» [25]. Или: «На Западе, где хотите и в каком угодно народе,— разве меньше пьянства и варварства, не такое же разве зверство, и притом ожесточение (чего нет в нашем народе) и уже истинное, заправское невежество, настоящее непросвещение, потому что иной раз соединено с таким беззаконием, которое уже не считается там грехом, а именно стало считаться правдой, а не грехом. Но пусть, пусть все-таки в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, в Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется» («Дневник», 1880, август) [26].

* См. об этом, между прочим, интересную книжку г. Волжского «Два очерка об Успенском и Достоевском». Спб., 1902.— *Примеч. Н. К. Михайловского.*

Мне очень жаль, если читатель пробежал все вышеизложенное мельком, на том основании, что все это ему уже хорошо знакомо, все это он читал у самого Достоевского. Чтение чтению рознь. И ныне, когда звезда Достоевского, по-видимому, вновь загорается и он может стать предметом такого же слепого увлечения, какими у нас в разное время были и есть Дарвин, Толстой, Маркс, Ницше,— очень не вредно выделить некоторые его основные идеи, заваленные в его огромном литературном наследстве иллюстрирующими образами и картинами несравненной художественной силы и второстепенными мыслями и замечаниями. Я это и старался сделать, воздерживаясь от каких бы то ни было критических замечаний и совершенно минуя подробности вроде постоянного смешения национального, с одной стороны, с народным, а с другой — с социальным и т. п.

Приведенные идеи Достоевского составляют тот инструмент, на котором г. Мережковский разыгрывает свои варьяции, усиленно и до надоедливости часто нажимая на одни клавиши, еле касаясь и даже совсем обходя другие. Такая неравномерность зависит от двух причин. Во-первых, под речами Достоевского и его героев слышится трепет сомнений и колебаний, принимающий иногда характер настоящей бури, а г. Мережковского скептицизм не мучает, у него есть своя догма, очень туманная, очень запутанная на посторонний глаз, но вполне его удовлетворяющая, благодаря его способности довольствоваться словами, если они независимо от их смысла красиво укладываются рядом. Во-вторых, сюда вмешалось влияние Ницше, побуждающее г. Мережковского, усиленно подчеркивая пункты сходства между немецким мыслителем и русским романистом, в то же время ставить в некоторых местах плюс или минус там, где у Достоевского стоит, наоборот, минус или плюс, а иное и совсем обходить молчанием.

Мы видели, что г. Розанов усмотрел что-то «почти религиозное» в слове «взор» [27]. Такое же странное отношение к терминам «религия», «религиозный» встречаем и у г. Мережковского. Он приводит, например, следующее место из разговора Раскольникова с Разумихиным в «Преступлении и наказании»: «Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть,— прибавил он (Раскольников) вдруг задумчиво,

даже не в тон разговора» [28]. Подчеркнув последние слова, г. Мережковский замечает: «Странное это сказано слово «не в тон разговора»: оно как будто нечаянно сорвалось у Раскольникова. Потустороннее, почти религиозное слово». Что слова: «великие люди должны ощущать великую грусть» — сорвались у Раскольникова нечаянно,— это вполне вероятно, и, надо думать, именно это и хотел сказать Достоевский, отметив, что они были сказаны не в тон разговора. Но что в них «потустороннего, то есть лежащего за пределами опыта и наблюдения, и религиозного или почти религиозного? и почему эпитеты «потусторонний» и «религиозный» тождественны? и что собственно значит выражение «религиозное слово»? как вообще слово, обыкновенное человеческое слово может быть религиозным или почти религиозным? На все эти вопросы мы не получим ответов из книги г. Мережковского, потому что он, подобно г. Розанову, нигде не дает своего определения религии, хотя и много говорит о религиозном сознании, о религии Богочеловека и религии Человекобога, о религии Наполеона и проч. и написал с лишком 500 печатных страниц на тему «Религия Л. Толстого и Достоевского». В одном месте он приводит определение, данное Толстым: «Сущность религии состоит в ответе на вопрос, зачем я живу и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру. Вся же метафизика религии, все учения о божествах, о происхождении мира суть только различные по географическим, этнографическим и историческим условиям сопутствующие религии признаки», «то есть, говоря проще и откровеннее, суть вздор»,— иронически прибавляет г. Мережковский. Я не считаю определение Толстого удовлетворительным, но думаю, что то, что он называет метафизикой религии, есть действительно ее изменяющийся сообразно географическим, этнографическим, историческим, социальным условиям элемент. И не известно, почему г. Мережковский полагает, что с точки зрения Толстого эта «метафизика религии» есть вздор. Разумеется, нам может казаться вздором учение каких-нибудь дикарей о происхождении мира и божествах; но для них это не вздор, а нечто удовлетворяющее их младенческий разум, связанное с их отношениями к своим и чужим и указующее им путь жизни. Да не вздор это и для нас, по

крайней мере с исторической точки зрения, как исторический материал, хотя, конечно, не в этих учениях сущность религии. И, во всяком случае, читая рассуждения Толстого о религии, мы можем с ним соглашаться или не соглашаться, но мы по крайней мере знаем, о чем он говорит. О писаниях г. Мережковского этого отнюдь нельзя сказать. Мы, например, решительно не знаем, что уполномачивает его называть «почти религиозным» только что приведенное изречение Раскольникова, верное или неверное, но представляющее собою вполне обыкновенное словесное выражение итога вполне обыкновенных наблюдений и размышлений.

Далеко не все этого рода неясности г. Мережковского, но хоть некоторую часть их можно свести к ходячему, но совершенно неверному и произвольному отождествлению понятий религии и веры. В «Отрывках о религии» я уже имел случай обращать внимание читателей на это обстоятельство [29]. Вера, как и знание, входит в состав религии, представляя собою, однако, лишь один из ее элементов. Можно исповедовать известное вероучение и действительно веровать, и вместе с тем не иметь религии, ибо вера без дела мертва есть. Это даже очень обыкновенный случай. Человек религиозен лишь в той мере, в какой его этические идеалы, его понимание добра и зла и его поведение находятся в гармонии с его миропониманием, состоит ли последнее из верований, или знаний, или из комбинации тех и других. Религия начинается там, где вера или знание, согласованные с нравственными идеалами человека, властно побуждают человека к действию в известном направлении. Поэтому понятия веры и религии отнюдь не покрывают друг друга, как и вообще часть не может покрыть целое. Упуская это из виду, г. Мережковский слишком злоупотребляет словами «религия», «религиозный», придавая им ненадлежащее значение и тем запутывая свою и без того запутанную мысль.

Этому же способствует у него смешение религии и религиозного с мистикой и мистическим. (С этой именно точки зрения он особенно негодует на Толстого, не находя в его учении мистических элементов.) Мистицизм предполагает возможным познание путем не опыта, наблюдения и комбинирующего их разума, но и не раз навсегда данного откровения, а непосредственного

общения с божеством; познание скрытого от нас «потустороннего», «нуменального» мира. Мистицизм часто сопутствует различным религиям, но это вовсе не обязательно, и смешивать их нет никакого основания. Был ли мистиком в настоящем смысле этого слова Достоевский, сказать трудно. От себя лично он осторожно говорил только о «касании к мирам иным», о необходимости для человека помнить об их существовании, иначе сказать,— об ограниченности нашего «эвклидовского» ума. Беспутному и распутному Свидригайлову предоставляет он намекать на остроумную теорию привидений, как «клочков» этих миров, являющихся ненормальным, больным людям. Судя, однако, по тем пустякам, о которых беседовали с Свидригайловым его привидения, они не вынесли «с той стороны» ничего такого, что превышало бы границы «эвклидовского» ума. Значительнее черт, являвшийся больному Ивану Карамазову, но, во-первых, автор не выдает его за выходца «с той стороны», а во-вторых, и он не сообщил ничего разрешающего противоречия, сомнения и колебания Карамазова. Страдающий «священною болезнью» князь-«идиот» и кандидат в эпилептики Кириллов испытывают в известные моменты невыносимое для нормального земного человека блаженство, в котором гармонически разрешаются или, вернее, утопают, исчезают все этого рода противоречия и сомнения, но если это и отражение гармонии «иных миров», то это все-таки только ощущение «касания»; ничего не вынесли «с той стороны» Мышкин и Кириллов, кроме того, что «та сторона» существует и что в ней нет многого, что терзает и мучит земного человека с его эвклидовским умом. Кириллов думает, что для постижения всего скрытого от человека он должен перемениться физически, и надеется, что так и будет, но и он, столь категорический в своих речах вообще, с сомнением спрашивает Ставрогина, как тот думает,— возможно ли это? Достоевского, несомненно, влекло к «иным мирам», но он всегда сознавал невозможность в них проникнуть и постоянно терзался мыслью об этой недостижимости; он желал верить, что там имеется оправдание господствующему на земле злу и страданию, но и в этом отношении колебался и твердо стоял только на «касании», то есть на признании слабости, ограниченности

человеческого ума, условности и относительности всех наших понятий. Все ценное, что оставил нам его гений, равно как и все его ошибки, со включением его неудачных политических предсказаний, было плодом его земных наблюдений и тяжкого личного опыта. Тоном пророка, которому открыто нечто, от века для других сокровенное, он от своего имени никогда не говорил,— так говорят только некоторые действующие лица его романов.

Г. Мережковский мог бы быть одним из таких действующих лиц. Он говорит о черте, об Антихристе, о грядущем в близком будущем конце мира и т. п., ссылаясь при этом на «потусторонний мир нуменов», как будто побывал там, как будто на нем осуществилась надежда Кириллова, и он переменился физически и видит поверх опыта и наблюдения, или как будто сам Бог открыл ему двери в ту сторону. Но так как ни того, ни другого нет, то он принужден все-таки прибегать к обыкновенному человеческому рассуждению и рассуждает, например, так. Человек есть существо, ограниченное известными физическими условиями; с переменою этих условий (г. Мережковский очень сочувственно относится к идее Кириллова и даже, повидимому, считает ее аксиомой), для человека станет ясным и допустимым многое такое, что он сейчас, по своей ограниченности, правомерно считает неясным и недопустимым; и вот ему станет ясно, понятно то-то и то-то, что уже и теперь ясно и понятно г. Мережковскому. На это можно бы было возразить, конечно, очень многое. Даже допуская возможность такой физической перемены человека, которая совершенно изменит формы его мышления (допуская, например, что, по предположению Кириллова и г. Мережковского, «время погаснет в уме»),— какое основание думать, что перемена эта откроет нам новые горизонты, а не затемнит и ныне существующие? Г. Мережковский, презирающий слово «прогресс» и самое понятие о нем, казалось бы, должен допустить и такую возможность. Но, и не касаясь вопроса о прогрессивности или регрессивности изменения, вообще почему окажется при нем возможным то, что считает уже теперь возможным ограниченный г. Мережковский, а не какая бы то ни было другая фантазия какого-нибудь столь же и теми же условиями

ограниченного человека? В сфере невозможного все одинаково возможно. Все подобные замечания г. Мережковский встретит, конечно, градом жестоких слов: пошлость, смердяковский здравый смысл, смешанно-смешная середина, и все это с пафосом человека, побывавшего «на той стороне», который не брезгает, однако, и неудачными попытками «посюстороннего», обыкновенного логического рассуждения, равно как и ссылками на земные авторитеты. Правда, с этими авторитетами он разрешает себе вполне свободное обращение...

Признак приближающегося конца мира, говорит г. Мережковский, «и есть эта вдруг сразу на всех крайних высших точках человеческого духа забрезжившая мысль о конце. «Der Mensch ist Etwas, das überwunden sein muss». *Человек есть то, что надо преодолеть,* так говорит Заратустра-Ницше. *«Род человеческий должен прекратиться»*,— соглашается с Ницше Толстой. *«Конец мира идет»*,— соглашается и Достоевский. Все трое точно сговорились в этом самом смешном и невероятном для современных людей бесконечного «прогресса», самом страшном и достоверном для нас пророчестве: *близок всему конец»* (529).

Вглядимся в цитаты г. Мережковского. Заратустра-Ницше действительно говорит, что человек muss überwunden sein, и это одна из излюбленнейших и характерных для Ницше мыслей; но она не имеет ни малейшего отношения ни к близкому, ни к отдаленному концу мира. Мало того, Ницше является в этом случае сторонником как раз той идеи «прогресса», которую г. Мережковский не может оставить без иронических кавычек. По мысли Ницше, человек должен быть отодвинут новым, более совершенным видом — «сверхчеловека», которому предстоят многие лета на земле. Таким образом, произвольно вырвав отдельную фразу Ницше, г. Мережковский толкует ее как раз наоборот тому, что тот хотел сказать. Да и в таком толковании эта фраза отнюдь не подтверждает пророчества г. Мережковского: не известно когда имеющее произойти «преодоление» человека и *«близкий конец всему»* — не одно и то же. Г. Мережковский вообще не церемонится с цитатами, хотя и печатает их курсивом и заключает их в кавычки,— все признаки нарочитой точности. Так, слов, приписанных им Тол-

стому, у Толстого нет. В данном случае это, пожалуй, и неважная неточность, потому что словами этими все-таки выражается мысль Толстого, но, будучи опять-таки вырвана из целого, она в таком виде скрывает кое-что очень важное. В «Крейцеровой сонате» Позднышев в ответ на замечание собеседника говорит: «Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?» И далее: «Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира и по всем учениям научным неизбежно то же самое» [30]. Позднышев не точно выражается: и церковные, и научные учения говорят о конце не *мира*, а только Земли, с концом которой начнется вечная жизнь, по одним учениям, не прекратится жизнь небесных тел — по другим. От себя, в «Послесловии к «Крейцеровой сонате» Толстой выражается точнее: «Уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца» [31]. Итак, Толстой вовсе не выдает себя за пророка, который в единении с Ницше и Достоевским (не считая г. Мережковского) возвестил людям новое учение о конце человеческого рода. И действительно все верующие христиане знают эту будто бы новость, знают ее и люди науки; новость только в том, что *близок* конец, притом *всему*. Для верующих христиан это новость потому, что им сказано: «не весте ни дня, ни часа» [32], для людей науки потому, что по их приблизительным расчетам Земле остается жить миллионы лет,— и неужели человечество осуждено в течение этих миллионов читать и слушать поэзию и прозу господ декадентов, «упадочников», которыми, по словам г. Мережковского, уже начинается конец мира?! Многогрешен человеческий род, но такая кара была бы поистине слишком жестокою... Заметим, что и Толстой не говорит о *скором* конце, он, подобно всем смертным, не знает этого, и, таким образом, из «всех крайних точек человеческого духа» (не считая опять-таки г. Мережковского), на которых «вдруг сразу» забрезжила мысль о близком конце, остается один Достоевский. Этот будто бы прямо сказал: «конец мира идет». Пишу *будто бы*, потому что у самого Достоевского таких слов

нет, хотя, может быть, кто-нибудь из его действующих лиц, подобных г. Мережковскому, и говорил это.

Любопытно еще вот что. И Позднышев, и Толстой ничего не знают о путях, ведущих к концу, и не предсказывают, а выражают желание, чтобы путь этот состоял в прекращении деторождения благодаря исчезновению половой жизни, той половой жизни, которой гг. Розанов и Мережковский поют гимны и на которой главным образом основывается их «новая концепция христианства» [33]. И г. Мережковский горячо протестует против «Крейцеровой сонаты», но это не мешает ему схватить из нее одну строчку, теснейшим образом связанную с целым, чтобы указать и в Толстом своего единомышленника.

Г. Мережковский не церемонится и с временем, как оно, впрочем, и естественно для человека, уверенного, что вот-вот «время погаснет в уме». Мы видели, что появление в русской, и именно в русской, литературе декадентов знаменует собою начало конца «всемирной истории» и вообще «всего», и конец этот так близок, что людям «нового религиозного сознания» надо куда-то очень торопиться, иначе поздно будет. А между тем, какие колоссальные дела должны они совершать в столь короткий промежуток времени! Они должны добиться «всемирного объединения людей», о каковом объединении в настоящую минуту нельзя ведь еще и мечтать, а прежде еще надо основать в России царство легендарного «пресвитера Иоанна», обратить государство в церковь. Затем они должны пережить, а может быть, и из своей среды выставить Антихриста. Да, может быть, и из своей среды. По крайней мере я, прочитав внимательно обширное сочинение г. Мережковского, принужден допустить и такую возможность.

Г. Мережковский очень негодует на Толстого за изображение Наполеона в «Войне и мире», — слишком непочтительно это изображение. Толстой не понял, да по своему «средне-высшему» положению и умонастроению и не мог понять великого французского императора. Зато его превосходно понял если не Достоевский, то Раскольников, признавший в нем одного из тех «необыкновенных» людей, которые правомерно шагают через кровь и жизнь обыкновенных. Но у Наполеона не хватило пороху основать свою религию;

хотя он и мечтал об этом, но боялся показаться смешным. Кажется, именно поэтому Наполеону, по словам г. Мережковского, все-таки «далеко до Антихриста», хотя чутье русских простолюдинов и не совсем, дескать, обманывало их, когда они называли его Антихристом. Значит, он, во всяком случае, из той породы, которая даст миру Антихриста, так сказать, подобие его. Но что такое Наполеон? «Сверхчеловек», стоявший «по ту сторону добра и зла», которому было «все позволено», носитель «морали господ», презиравший «рабскую мораль» христианства и демократии, шагавший через нее без зазрения совести. Все это признает г. Мережковский, а так как все это составляет идеал и той помеси декадентства и ницшеанства, представитель которой есть г. Мережковский, то я и считаю возможным нарождение Антихриста именно в этой среде.

Тем более что и задачи у Наполеона и русских людей «нового религиозного сознания» — общие: основать всемирное объединение людей. Разница лишь в том, что Наполеон боялся показаться смешным. Хорошо было, говорил он, Александру Македонскому, покорив Азию, объявить себя сыном Юпитера: ему поверили, а «если бы я вздумал объявить себя сыном Бога-отца и назначить благодарственное богослужение по этому поводу,— нет такой рыночной торговки в Париже, которою я не был бы освистан». Г. Мережковский только этот страх смешного положения и считает пятном на памяти Наполеона. И он, пожалуй, прав, со своей точки зрения, потому что русские люди нового религиозного сознания совершенно свободны от этого страха. Правда, никто из них — по крайней мере из тех, которые гуляют на воле, а не пользуются услугами психиатров в больницах — еще не объявлял себя Богом, но нельзя все-таки не изумляться бесстрашию, например, украшенного «священной» бородой Розанова[34], теитизирующего пол и сексуализирующего религию. Г. Мережковский тоже не боится быть смешным, но, несмотря на гремящий тон его речей, он больше жалок в своих усилиях слепить что-то цельное из христианства и язычества, Христа и Антихриста, Достоевского и Ницше. И мне кажется, он мог бы сказать о своем мировоззрении приблизительно то же самое, что говорит о своей «системе» Шигалев на вечере у Виргинского:

«Так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтоб уж больше не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она! — стукнул он по тетради.— Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности в сокращенном виде; но вижу, что потребуется множество изустных разъяснений, а потому все изложение потребует, по крайней мере, десяти вечеров, по числу глав моей книги. (Послышался смех.) Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена. (Смех опять). Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого».

Слушатели смеялись над Шигалевым, но он без боязни и смущения принял этот смех. Он действительно смешон, но его и пожалеть можно...

Распутать всю путаницу г. Мережковского я не берусь, не берусь даже изложить ее в сколько-нибудь связном виде, да и как это сделать с писателем, для которого логика есть пошлость, а слово заменяет мысль? Пусть читатель довольствуется приведенными образцами, а я в заключение остановлюсь только на некоторых пунктах сходства и различия между Ницше и Достоевским, в которых путается г. Мережковский.

Оба, и Ницше, и Достоевский, останавливаются на жажде власти, жестокости и сладострастии как на свойствах человеческой природы. Но Ницше поэтизирует эти свойства, требует им простора, видит в них залог великого будущего — сверхчеловека, которому принадлежит власть над толпою, исповедующей «рабскую мораль». Достоевский, напротив, как мы видели, утверждает, что «не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом», и так или иначе посрамляет гордыню своих жестоких и сладострастных героев. Совесть есть для Ницше одна из подробностей рабской морали, и он приглашает людей поместиться «по ту сторону добра и зла», тогда как Достоевский в особенную хвалу русскому народу ставит присущее ему будто бы преимущественно пред всеми другими народами чувство греха, сознание разницы между «грехом» и «правдой»; и в частности Раскольникова, возомнившего себя Наполеоном, он заставляет смириться, покаяться, и в этом покаянии найти свое возрождение. Ницше настаивал на «переоценке всех

ценностей». Достоевский же находил, что в учении Христа всем ценностям раз навсегда дана верная оценка, и даже допускал возможность веры в Христа, и именно в православной форме без настоящей веры в Бога. Ницше говорил: «bleibt treu der Erde», будьте верны земле, и Достоевский многих из своих героев заставляет «целовать землю»; но Ницше имеет при этом в виду полноту земной жизни, «земные» интересы в противоположность «небесным», тогда как Достоевский, напротив, поклонялся «земле» как родине, отечеству, в котором Бог. И Достоевский и Ницше знали, что есть нечто недоступное ограниченному разуму человека, но Достоевский всю жизнь терзался этою недоступностью, тогда как Ницше спокойно объявлял, что не хочет уподобляться тем египетским юношам, которые стремились увидеть Изиду без покрывала.

Вот в общих чертах те кнутики, которые с разных сторон подстегивают кубарик г. Мережковского, заставляя его вертеться на месте. К этому надо еще прибавить его способность и склонность одурманиваться страшными словами. И вот, когда он наконец, подобно дервишу, завертится до потери сознания и одурманит себя до того, что «время погаснет в уме»,— ему в полном беспорядке являются видения: Антихрист, пресвитер Иоанн,— восточный папа, в противоположность западному не царствующий священник, а священствующий царь, и, наконец, он сам, г. Мережковский, под ручку с г-жою Гиппиус и г. Розановым как знамения конца — excusez du peu * — всемирной истории. И он в исступлении кричит: мы — декаденты, мы — упадочники! мы — конец! а стало быть, и «всему конец»!

октябрь 1902 г.

* слегка извиняюсь (*франц.*), ироническая форма извинения.

ПРИМЕЧАНИЯ

Семнадцать статей из девятнадцати, включенных в настоящее издание, печатаются в советское время впервые.

Наиболее известные статьи Михайловского — «Десница и шуйца Льва Толстого» (1875), «Жестокий талант» (1882; о Достоевском), «О Тургеневе» (1883), «О Всеволоде Гаршине» (1885), «Г. И. Успенский как писатель и человек» (1888, 1902) — не включены в сборник, так как они дважды печатались в советских изданиях Н. К. Михайловского Литературно-критические статьи. М., 1957; Статьи о русской литературе. Л., 1989.

Все статьи печатаются по последнему прижизненному изданию; в случае необходимости проведена сверка текстов по другим источникам.

Написание собственных имен дано в современной транскрипции (Золя, Ницше).

Ссылки на собрания сочинений Н. К. Михайловского даны по принципу, указанному в сноске 10 к вступительной статье (с. 11).

Тексты и примечания к ним подготовлены *М. Г. Петровой* («О народной литературе и Н. Н. Златовратском», «О Ф. М. Решетникове», «Из полемики с Достоевским», «Гамлетизированные поросята», «Литературные воспоминания», «Русское отражение французского символизма», «Памяти Тургенева», «И еще о Ницше», «Памяти Ярошенко», «Рассказы» Леонида Андреева», «О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова», «О Достоевском и г. Мережковском»), *В Г. Хоросом* с участием *В. В Хороса* («О «Бесах» Достоевского», «Из литературных и журнальных заметок 1874 года», «О Шиллере и о многом другом», «Новь», «Н. В. Шелгунов», «О Л. Н. Толстом и художественных выставках», «Еще об искусстве и гр. Толстом»).

⟨О «БЕСАХ» ДОСТОЕВСКОГО⟩

Впервые — «Отеч. зап.», 1873, № 2, в разделе «Из литературных и журнальных заметок». Печатается по тексту: *Михайловский Н. К* Соч., I.

[1] *«Гражданин»* — политическая и литературная газета-журнал, издававшаяся в Петербурге с 1872 по 1914 г.

[2] *Ликантроп (греч.)* — буквально человек-волк.

Макабрские танцы — пляски смерти.

[3] *Татаринова Екатерина Филипповна* (1783—1856) — основательница «духовного союза», мистического объединения, целью которого было находить пути соприкосновения с Богом через экстаз.

Грабянко из Панкрацевиц основал в конце XVIII в. братство «Народ Божий и Израиль».

[4] *М. Стебницкий* — литературный псевдоним писателя Н. С. Лескова.

Ключников Виктор Петрович (1841—1892) — русский беллетрист.

[5] *Гризингер Вильгельм* (1817—1868) — основатель школы научной психиатрии в Германии.

[6] Имеется в виду «нечаевский процесс» — суд над участниками нелегальной организации «Народная расправа» под руководством С. Г. Нечаева.

[7] *Афанасьев Александр Николаевич* (1826—1871) — известный исследователь народного славянского фольклора.

[8] 19 февраля 1861 г. был опубликован Манифест о крестьянской реформе, отменявшей крепостное состояние.

[9] *Евгеньев* — видимо, псевдоним автора статьи о развитии в России банковского дела вообще и поземельного кредита в частности.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК 1874 ГОДА

Впервые — «Отеч. зап.», 1874, № 3. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.*, Соч., II, 612—640. Первая часть заметок, посвященная полному собранию сочинений Н. Ф. Щербины, опускается, так как она вошла в сборник статей Н. К. Михайловского 1957 г.

[1] *«Московские ведомости»* — одна из старейших русских газет, выходила с 1756 по 1917 г.

[2] М. П. Мусоргский написал немало текстов к своим произведениям; кроме указанных Михайловским это еще и отдельные куски «Хованщины».

[3] *Франсуа Ноэль Бабеф* (Гракх Бабеф) и *Анна Теруань* (Теруан-де-Мерикур) — видные деятели эпохи Великой французской революции 1789—1793 гг.

Арман Барбес — один из организаторов попытки восстания в Париже в 1839 г.

[4] *«Биржевые ведомости»* — газета коммерческих кругов, выходившая в Петербурге с 1861 по 1879 г.

«Неделя» — еженедельная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1866 по 1901 г.

[5] Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

[6] Н. Г. Чернышевский.

[7] *«Русский вестник»* — ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Москве в 1856—1906 гг.

[8] *Милютин Владимир Алексеевич* (1826—1855) — публицист, экономист, один из первых сторонников социалистических воззрений в России. Был членом кружка петрашевцев.

О ШИЛЛЕРЕ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Впервые — «Отеч. зап.», 1876, № 4, в цикле «Записки профана». Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Соч., III, 709—738.

[1] *Полетика Василий Анатольевич* (ум. в 1888) — журналист и общественный деятель. Вел борьбу с фритредерским направлением в русской печати.

[2] *Маркевич Болеслав Михайлович* (1822—1884) — романист, резко критиковавший радикальные течения. Сотрудник журнала «Русский вестник».

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913) — литературный критик и писатель. Также сотрудничал в «Русском вестнике».

[3] Речь идет о статье Михайловского из цикла «Вперемежку», опубликованной в «Отечественных записках» в 1876 г.; в ней упоминался роман Достоевского «Подросток» и содержалась полемика со взглядами писателя (см. IV, 211—214, 220—222).

[4] *«Киевский телеграф»* — политическая и литературная газета (1859—1876), выходившая сначала два, а затем, с 1864 г., три раза в неделю. К газете иногда добавлялись литературные приложения.

«Санкт-Петербургские ведомости» — газета, выходившая почти два столетия (1728—1917). В середине 70-х гг. газета отошла от активной защиты реформ 60-х гг. и превратилась в неопределенное по направлению издание.

[5] Журналисты «Санкт-Петербургских ведомостей», владельцем которой был Р. П. Баймаков, а редактором — граф Е. А. Сальяс, ведавшие делами газеты до 1877 г.

[6] Известный русский философ В. С. Соловьев в своих эстетических сочинениях обосновывал тезис Ф. М. Достоевского о том, что «красота спасет мир».

[7] Имеются в виду французские энциклопедисты (Ф. Вольтер, Д. Дидро, Д'Аламбер и др.) и лидеры Великой французской революции (Ж. Дантон, К. Демулен, М. Робеспьер и пр.).

[8] Имеется в виду трактат Ж.-Ж. Руссо «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (1750).

[9] Литературный псевдоним середины 70-х гг. русского критика В. Г. Авсеенко.

[10] *Легитимизм* — европейская политическая теория середины XIX в., признающая историческое право династий за главный руководящий принцип политической жизни обществ. Граф *де Шамбор*, являясь лидером этого течения, ратовал за восстановление династии Бурбонов на французском престоле.

[11] Речь идет о статье Михайловского «Десница и шуйца гр. Толстого», опубликованной в «Отечественных записках» в 1875 г.

[12] *Мэн Генри Джеймс Семнер* (1822—1888) — известный английский юрист, исследовавший связь древнего права с современными правовыми структурами Запада и Востока.

Лавеле Эмиль Луи Виктор (1822—1892) — видный бельгийский ученый и публицист. В ряде своих трудов с социалистических позиций критиковал систему землевладения и политические порядки в Европе. Некоторые из этих работ были переведены на русский язык

[13] *Марков Евгений Львович* (1835—1903) — писатель второй половины XIX в. В самом значительном его романе «Черноземные поля» дается идиллическое описание деревенской жизни.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, написавший несколько произведений на «деревенскую» тему, причем весьма поверхностных.

П. Ч. — литературный псевдоним П. П. Червинского, публициста народнического направления, с которым во второй половине 70-х гг. полемизировал Михайловский.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — ученый и публицист по крестьянскому вопросу, автор очерков «Из деревни», печатавшихся в 70-х гг. в «Отечественных записках» и вызвавших много толков в общественной мысли.

«НОВЬ»

Впервые — «Отеч. зап.», 1877, № 2, в цикле «Записки профана». Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Соч. III, 887—904.

[1] Об этом разговоре с Д. И. Писаревым весной 1867 г. в Петербурге рассказал сам Тургенев в «Воспоминаниях о Белинском» (*Тургенев И. С.* Собр. соч. в 12-ти т., т. 11. М., 1979 с. 265).

[2] *«Вестник Европы»* — наиболее крупный журнал либерального направления в России. Выходил в Петербурге с 1866 по 1918 г.

[3] С 1874 г. в России происходят политические процессы, на которых привлекались к суду участники «хождения в народ». Среди них — процесс над кружком А. В. Долгушина (июль 1874 г.), группой В. М. Дьякова — А. И. Сирякова (июль 1875 г.), группой Е. С. Семяновского (сентябрь 1876 г.), по делу казанской демонстрации (январь 1877 г.), так называемый процесс «50-ти» пропагандистов (февраль — март 1877 г.) и др. Отчеты о процессах проникали в печать и активно обсуждались в обществе.

[4] Цитата из рассказа Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).

⟨О НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОМ⟩

Печатается по тексту первой публикации — «Отеч. зап.», 1878, № 8, отд. II, с. 223—227. Вошло в т. X Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского.

Рецензия без подписи и заглавия на книги Н. Н. Златовратского: Бытовые очерки. I. Крестьяне-присяжные. Спб., 1875; Среди народа. Бытовые очерки. Вып. 2. Спб., 1878.

⟨О Ф. М. РЕШЕТНИКОВЕ⟩

Печатается по тексту первой публикации — «Отеч. зап.», 1880, № 3, отд. II, с. 94—98. Вошло в т. X Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского.

Рецензия без подписи и заглавия на книги Ф. М. Решетникова: Подлиповцы. Спб., 1800; Глумовы. Спб., 1880.

[1] Имеются в виду строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина» (1841): «Люблю отчизну я, но странною любовью!/Не победит ее рассудок мой».

[2] Красиво, хорошо (*обл.*).

[3] Оборот «трезвая правда Решетникова» употреблен Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., т. 14. М.— Л., 1967, с. 57).

[4] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

[5] Герой романа И. С. Тургенева «Дым» (1867), критик славянофильских идей.

[6] Персонажи Щедрина — «столпы» благонамеренности. *Дерунов* — классический тип «чумазого» рыцаря первоначального накопления («Благонамеренные речи». 1872—1876). *Грацианов* — становой пристав «просвещенной» формации, выдающий себя за «демократа по убеждениям», но занятый искоренением «злоумышлений» и защитой «чумазых» («Убежище Монрепо». 1878—1879).

⟨ИЗ ПОЛЕМИКИ С ДОСТОЕВСКИМ⟩

Впервые — «Отеч. зап.», 1880, № 9, в разделе «Литературные заметки». Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Соч., IV, 940—958.

[1] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 26, с. 147.

[2] Из «Дневника писателя» за март 1877 г. (там же, т. 25, с. 74—81).

[3] Из «Дневника писателя» за сентябрь 1876 г., статья «Халаты и мыло» (там же, т. 23, с. 119—121).

[4] *Градовский А.* Мечты и действительность.— «Голос», 1880, 25 июня.

Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889) — публицист, профессор русского государственного права, постоянный сотрудник

газет «Русская речь» и «Голос»; статьи из этих газет включены в его сборник «Политика, история и администрация» (Спб., 1871).

[5] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 26, с. 148.

[6] Там же, с. 171.

[7] Там же, с. 156.

[8] *Гергей Артур* (1818—1916) — полководец венгерской повстанческой армии в 1848—1849 гг.

[9] Из стихотворения А. С. Хомякова «России» (1854).

[10] В статье А. С. Суворина «Дельный разговор» излагалась беседа на пароходе с неким «просвещенным и либеральным земцем», облеченным властью над печатью. Михайловский в своих «Литературных заметках» («Отеч. зап.», 1880, № 7) показывал, что неназванный спутник «нововременского» журналиста лишь по виду стоит за свободу печати «полностью и без урезок», а на деле признает «право обличения» отдельных администраторов, но оставляет неприкосновенными самодержавные «принципы и основы». И в этом смысле критикует цензуру 60-х гг., которая, защищая личности администраторов, лишь усиливала «общие нападки» и порождала «нигилизм». Таким образом, иронизирует Михайловский, «полная свобода» предоставляется русской печати именно для того, «чтобы отвлечь журналистику от обсуждения принципов» (IV, 928— 930, 932).

[11] *Кавур Камилло* (1810—1861) — либеральный государственный деятель, лидер национального объединения Италии.

[12] Из «Дневника писателя» за август 1880 г.— *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 26, с. 167—168.

[13] *Г. У.*— псевдоним Г. И. Успенского.

ГАМЛЕТИЗИРОВАННЫЕ ПОРОСЯТА

Впервые — «Отеч. зап.», 1882, № 12. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Соч., V, 678—704.

Статья входила в цикл «Записки современника (1881—1882 г.)». XVII. В наст. издании публикуется первая ее часть, вторая — представляет собой рецензию на два рассказа Ю. Н. Говорухи-Отрока, напечатанные под псевдонимами. В подзаголовке статьи значилось: «Fatum. Рассказ Г. Юрко («Полярная звезда», 1881, № 6); Развязка. Рассказ Г. О. («Вестник Европы», 1882, № 10)».

[1] *Маудсли Генри.* Гамлет. Психологический очерк.— «Знание», 1874, № 9, с. 22.

[2] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., т. 8. М.— Л., 1964, с. 177.

[3] Мешанина; от франц.: pêle-mêle.

[4] *Гервинус Г. Г.* Шекспир. Т. 3. Спб., 1877, с. 213.

[5] См. IV, 278.

[6] См. преамбулу примечаний к наст. статье.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Впервые — «Рус. мысль», 1891, № 3—4. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. Спб., 1900, с. 1—85 (две первые главы книги). В предисловии Михайловский писал: «Без сомнения, и в том прошлом, к которому относятся мои воспоминания, было много смуты, и в настоящем не все смута, но я не умею иначе суммировать пестрое содержание книги».

[1] *Елисеев Григорий Захарович* (1821—1891) — публицист, соредактор Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Михайловского по журналу «Отечественные записки»; умер 18 января в Петербурге; о его смерти см. заметку Михайловского «Памяти Григория Захаровича Елисеева» (VI, 898—906).

[2] «Критические заметки» В. Н. Майкова (1823—1847) впервые вышли в 1889 г., Спб.; в 1891 г. переизданы с приложением материалов для биографии.

[3] По завещанию Г. З. Елисеева, Михайловский занимался разборкой и подготовкой к изданию его архива; был автором вступительной статьи к первому тому «Сочинений» Г. З. Елисеева (М., изд. К. Т. Солдатенкова, 1894), уничтоженного по постановлению комитета министров.

[4] Из стихотворения А. С. Пушкина «Демон» (1823).

[5] См.: *Щеглов Д. Ф.* История социальных систем. Т. 2. Спб., 1889, с. 558, 578. Анализируя эту книгу, Михайловский отмечал, что «г. Щеглов очень низко ценит нашу литературу и считает ее источником многих и важных бед, одолевающих наше отечество». В качестве образца «слишком большого вознаграждения за свой легкий и вредоносный труд» Щеглов ссылался на «г. Н. С. К.». Эти инициалы, писал Михайловский, могут принадлежать покойному Н. С. Курочкину, который «всю жизнь прожил литературным работником и умер бедняком: последние годы он существовал единственно на те 900

рублей в год, которые получал из «Отечественных записок» вроде как в пенсию...». Для «процветания русской литературы» Щеглов предлагал «усилить существующую цензуру» и ввести дополнительную — научно-грамматическую. «И действительно,— иронизировал Михайловский,— хороший, твердый в принципах гимназический учитель русского языка, конечно, запретил бы ненавистного г. Щеглову Гоголя, потому что много-таки грамматических грехов совершил покойник». Михайловский указал на действительную причину «монополии невежества, царящего в современной литературе»,— требование «благонадежности» от редакторов и издателей, которое «не имеет никакого отношения к образованности, уму или благородству личного характера» и способствует «своего рода монополии в пользу невежества и отсутствия добропорядочных традиций» (VI, 657, 658, 660—662).

[6] Не совсем точная цитата из письма Белинского к К. Д. Кавелину от 22 ноября 1847 г.— см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956, с. 431.

[7] *«Рассвет»* — «журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц», издавался с 1859-го по июнь 1862 г. Журнал поддерживал реформаторскую политику Александра II, обличал консерваторов, стремящихся погрузить Россию в состояние сна, призывал к терпеливой работе и т. д. См. обращение «От редакции» («Рассвет», 1860, № 1).

[8] *Кремпин Валериан Александрович* (ум. в 1889). Редакция «Рассвета» помещалась на Малой Дворянской улице Петербургской стороны, дом № 19. Постоянный сотрудник журнала, критик А. М. Скабичевский вспоминал: «Кремпин, тогда еще молодой человек, недавно женившийся, преисполнился прогрессивного жара и вознамерился отдать свой досуг от служебных занятий и маленький капитальчик, которым владел, на духовный «рассвет» прекрасного пола». Денег было мало, поэтому в сотрудники приглашались студенты, которые довольствовались самым скудным гонораром (*Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.— Л., 1928, с. 132, 173—175).

[9] Д. И. Писарев сотрудничал в «Рассвете» в 1859 г.; вел литературно-критический отдел, в частности, одну из статей посвятил роману И. А. Гончарова «Обломов».

[10] О своем участии в «Рассвете» А. М. Скабичевский рассказал в упомянутых выше воспоминаниях (с. 131—133, 171—174).

[11] *Штильке И. А.* Кофе.— «Рассвет», 1860, № 9.

[12] О своем сотрудничестве в «Рассвете» К. А. Скальковский рассказал в книге: Воспоминания молодости. Спб., 1906, с. 150—151.

[13] Статья Михайловского «Софья Николаевна Беловодова. Пять глав из романа «Эпизоды из жизни Райского» И. А. Гончарова («Современник», № 2. Февраль 1860 г.)» была опубликована в журнале «Рассвет», 1860, № 4.

[14] Михайловский писал: «Даже и в сказках наших сонное царство просыпалось при звуках гуслей-самогудов. ⟨...⟩ Долго спали Обломов и Софья Николаевна спокойно; наконец, сон их был не нарушен, но несколько обеспокоен — явились гусли-самогуды: это Ольга и Штольц для Обломова и Райский для Беловодовой. Борьба этих элементов спящего и будящего составляет основу этих рассказов» (X, 371).

[15] Речь шла о дворянском, кастовом воспитании, основанном на желании «сохранить в чистоте фамилию Пахотиных»: «Сначала, когда чувства ее ⟨Беловодовой⟩ были еще не испорчены, не вырваны с корнем, ей, разумеется, это казалось дико. ⟨...⟩ Но потом она мало-помалу сжилась, как-то слилась с этой гнилой, мертвящей пахотинщиной, стала истой Пахотиной» (X, 376).

[16] Михайловский развивал мысль о борьбе двух начал в русской жизни — «спящего и будящего» — и выразил уверенность, что «три элемента духовного естества человека: воля, ум и чувство» активно влекут личность к «нравственной бессоннице» (X, 377).

[17] *«Современное слово»* — ежедневная петербургская газета, выходившая под редакцией Н. Писаревского с 1 июня 1862 г. по 2 июня 1863 г.; прекращена по высочайшему повелению. Статьи Михайловского в этой газете не выявлены.

[18] В мае 1862 г. Михайловский принял участие в столкновении кадетов с начальством Корпуса горных инженеров и был исключен из последнего класса за несколько месяцев до получения звания инженер-поручика. Официальная формулировка была, однако, изменена, чтобы не закрыть путей к образованию способному юноше. В выданном свидетельстве отмечалось, что Михайловский был «поведения хорошего и обнаружил знания хорошие, очень хорошие и изрядные», а уволен «согласно просьбы брата» (ИРЛИ, ф. 181, оп. 3, ед. хр. 17). Сам Михайловский в шутливом письме к сестре Елизавете Константиновне так объяснял происшедшее: «А выйти я должен был за коноводство и либеральные и даже, можно сказать, якобинские убеждения, которые выразились преимущественно тем, что я носил волосы длинные и зачесывал их назад. Оказалось, что я Марат, Робеспьер. ⟨...⟩ Впрочем, ты не подумай, пожалуйста, что меня

выгнали из корпуса, нет, мне очень вежливо предложили выйти самому по домашним обстоятельствам» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 8, л. 3—4).

[19] Летом 1862 г. Михайловский ездил в Кострому, получил небольшое отцовское наследство, которое позволило ему открыть переплетную мастерскую в Петербурге, быстро проглотившую все его деньги.

[20] Беспорядки были вызваны введением в мае 1861 г. матрикул (рода зачетных книжек для студентов) и ряда других ограничений. Студенты объявили бойкот действиям администрации, 25 сентября 1861 г. устроили демонстрацию на Невском проспекте, а после ареста их депутатов — сходку в университете, разогнанную войсками.

[21] *Спасович В. Д.* Учебник уголовного права. Спб., 1863.

[22] Речь идет о формуле «положение, отрицание и отрицание отрицания», в которой Гегель видел основу всякого исторического развития. Свое намерение Михайловский выполнил в одной из статей цикла «Литература и жизнь», напечатанной в «Русской мысли» (1892, № 2). Он рассказал о полемике «Отечественных записок» с Ю. Г. Жуковским, выступившим с критикой «Капитала» Маркса в «Вестнике Европы» (1877, № 9). Первым против этой «вздорной и недобросовестной критики» выступил сам Михайловский в статье «Карл Маркс перед судом г-на Ю. Жуковского» («Отеч. зап.», 1877, № 10). В следующем номере «Отечественных записок» была помещена статья экономиста Н. И. Зибера, одного из первых пропагандистов марксизма в России. Однако далеко не все положения этой статьи совпали с позицией Михайловского: «Вполне признавая огромную эрудицию, редкую логическую силу и научные заслуги Маркса, каковые достоинства г. Жуковский пытался умалить; вполне примыкая к основным положениям экономической доктрины Маркса, я с сомнением остановился перед философско-историческими ее соображениями. Собственно говоря, даже не прямо перед ними (потому что и цель моя состояла не в критике «Капитала»), а перед тем, как они могут отразиться в умах русских читателей. На этом-то пункте мы и расходились с Зибером. 〈...〉 В качестве неофита гегельянства, он был беспощаден, и история пшеничного зерна, отрицающего себя в стебле, чтобы отринуть это отрицание в колосе, была для него прообразом русской, как и всякой другой, истории. 〈...〉 Он не смущался, однако, тем множеством скорбей и страданий, которыми сопровождается вторая ступень гегелевской триады,— они неизбежны и сторицею окупятся на заре новой жизни. «Пока мужик не выварится в фаб-

ричном котле, ничего у нас путного не будет»,— говорил Зибер. Отстаивая этот тезис, он употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трехчленного диалектического развития» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1, с. 335, 338, 339). Фраза о «вываривании мужика в фабричном котле» стала крылатой, а вульгарно-марксистская теория «пролетаризации» деревни привела к катастрофическому по своим последствиям процессу раскрестьянивания России в XX в.

[23] См. II, 1—96.

[24] *Чуйко В. В.* Письмо к ученому публицисту Н. К. Михайловскому.— «Новости», 1879, 12 янв. Критик признавал у Михайловского «драгоценное в наше время свойство раздражать гусей», но упрекал его за «самонадеянную веру в себя»: «Вы, как Минерва, выступаете во всеоружии из мозга бога философии и, как она, также безжизненны, холодны и сухи».

[25] А. Л. Волынский писал в «Литературных заметках»: «Г-н Михайловский — писатель с истинным литературным талантом, совершенно законченным и, можно сказать, неподвижным, 〈...〉 в области литературной критики г. Михайловский дал нам несколько образчиков того, как можно и вне определенных эстетических идеалов, вне чисто *литературных* критериев, ни на минуту не покидая почвы общественной публицистики, в течение довольно долгого времени руководить литературным вкусом своих многочисленных почитателей» («Сев. вестник», 1891, № 1, отд. II, с. 151).

[26] *Кетле Адольф* (1796—1874) — бельгийский социолог, основатель научной статистики; его биография вышла в библиотеке Ф. Ф. Павленкова (Спб., 1894).

[27] *Миттермайер Карл* (1787—1867) — немецкий криминалист.

[28] Статья «Герои и толпа» впервые появилась в «Отечественных записках» (1882, № 1, 2, 5); вошла в т. II «Сочинений» Михайловского.

[29] Еженедельная газета «*Якорь*» выходила в Петербурге в 1863—1865 гг.; редактор — Н. И. Шульгин. Статья Михайловского «К женскому вопросу» напечатана в № 46, 47 за 1864 г. (см. X, 389—400).

[30] *Сенковский Осип Иванович* (1800—1858) — критик и журналист.

[31] *«Книжный вестник»* — один из лучших для своего времени библиографических журналов, выходил два раза в месяц в Петербурге с 1860 по 1867 г. Зимой 1865 г. Михайловский писал сестре Е. К. Мягковой: «Я получил приглашение быть постоянным сотрудни-

ком «Книжного вестника». Журналишка пока плюгавый, но с марта месяца, по всем видимостям, и улучшится, и увеличится. До сих пор, впрочем, мои отношения к нему еще не уладились, потому что по той же дурацкой болезни, я отдал туда всего три статейки» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 8, л. 9). Е. Е. Колосов, биограф и библиограф Михайловского, не располагавший архивными материалами, ошибочно считал, что сотрудничество Михайловского в этом журнале началось лишь в декабре 1865 г. (см. раздел «Рецензии из «Книжного вестника». 1865—1867 г.» в т. X).

[32] *Стойкович Аркадий Афанасьевич* (1814—1886) — библиотекарь и библиограф.

[33] *Ножин Николай Дмитриевич* (1843—1866) — учился на физико-математическом факультете Петербургского университета и за границей, читал публичные лекции по естествознанию. См. о нем статью С. Г. Сватикова в «Голосе минувшего» (1916, № 10).

[34] См. IV, 205—382.

[35] *«Невский сборник»*, «учено-литературный альманах», вышел в январе 1867 г. Статья Михайловского «Параллели и контрасты» была посвящена положению науки в современном обществе (см. X, 505—536).

[36] Так ответил герой древнегреческого эпоса на вопрос, кто он (см.: «Одиссея», гл. 9 «Циклопея»).

[37] Д. И. Писарев сотрудничал в журнале «Дело» в 1867 г. Переговоры с Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным о переходе в «Отечественные записки» начались летом 1867 г. (см.: *Шелгунов Н. В.* Воспоминания. М.—Пг., 1923, с. 173—177).

[38] Постоянное сотрудничество Михайловского в «Отечественных записках» действительно началось в декабре 1868 г. Однако эпизодическое участие в анонимном библиографическом отделе состоялось в начале 1868 г., когда в журнале появились и статьи Д. И. Писарева. Михайловский забыл об этом обстоятельстве, и лишь его письмо к Е. К. Мягковой, написанное весной 1868 г., позволяет установить начало сотрудничества (какие именно заметки принадлежали перу Михайловского, остается невыясненным). «В «Отечественных записках»,— писал он,— были напечатаны несколько моих мелких рецензий (в отделе библиографии), теперь я от них отстал» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 8, л. 18 об.).

[39] В том же письме Михайловский сообщал Е. К. Мягковой, что получил приглашение работать в трех изданиях: «из них от одного («Дело») я совсем отказался».

[40] См.: *Шелгунов Н. В.* Воспоминания. М.— Пг., 1923; его же предисловие в книге: *Благосветлов Г. Е.* Сочинения. Спб., 1882.

[41] В это тяжелое для него время Михайловский писал Е. К. Мягковой, что не может приехать к родным из-за отсутствия денег и одежды: «Не имею ни теплого, ни холодного платья, что для вояжа вовсе неудобно». Но тут же прибавлял: «В 25 лет разнеживаться и требовать от жизни разных деликатесов, это уж очень самонадеянно. Вздор, положительно вздор! Я еще плаваю и долго буду плавать, утону не скоро, да, может, и совсем не утону» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 8, л. 16). Позднее Михайловский напоминал сестре, что «в годину голоштанного моего существования» она ему много помогла (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 10, л. 14).

[42] *Демерт Николай Александрович* (1835—1870) — земский деятель и публицист, юрист по образованию; родился в Казани, в начале 60-х гг. работал в чистопольском земстве, в 1865 г. переехал в Петербург, заведовал отделом провинциальных известий в «С.-Петербургских ведомостях». В 1868 г. стал постоянным сотрудником «Отечественных записок», отстаивал демократический характер земских учреждений, главную цель которых видел в защите крестьянских интересов. О его жизни и личной драме см.: *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания, с. 283—294.

[43] *«Гласный суд»* — ежедневная «судебная, политическая, литературная и экономическая газета», выходившая в Петербурге с октября 1866-го до июля 1867 г.; редактор-издатель — А. Н. Артоболевский. Сотрудничество группы Н. С. Курочкина, по-видимому, началось в конце мая 1867 г. Именно в это время в газете стали печататься объявления о выходе «Невского сборника», изданного Н. С. Курочкиным, а 21 мая 1867 г. в статье «Новости русской прессы» было упомянуто об этом «интересном сборнике», о котором «молчит пресса». Все материалы в газете печатались без подписей, даже буквенные псевдонимы были редкостью.

[44] Михайловский имеет в виду свою заметку «О гр. Льве Толстом и о наркотиках» (VI, 926—936), в которой шла речь о статье Толстого «Для чего люди одурманиваются?». Впервые эта статья появилась под заголовком «О вине и табаке» в лондонском журнале «Contemporary Revier» (1891, № 7). Русские газеты давали изложение этой публикации.

[45] *Минаев Дмитрий Дмитриевич* (1835—1889) — поэт-сатирик

[46] *Шишкин Иакинф Иванович* — публицист и писатель, печатался в 1850—1860-х гг. в «Современнике», «Отечественных записках» и др.

[47] *Кроль Николай Иванович* (1821—1871) — сотрудник «Отечественных записок» в 1860-х гг., «Искры», «Будильника» и др.

[48] В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский упомянул в перечне «всего особенно замечательного» очерк В. В. Толбина (1821—1869) «Венгерцы» (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 10. М., 1956, с. 45).

[49] Имеются в виду «Литературные заметки» А. Л. Волынского, в которых шла речь о рассказе И. И. Ясинского «Современник». По поводу одного женского портрета критик с возмущением писал: «*Маленькая ножка!..* Воля ваша, это фатовство, это мелкие стрелы порнографической откровенности. 〈...〉 Грубый цинизм и наглое трактование женского тела, 〈...〉 настоящая профанация и красоты, и любви, какой-то дерзкий раскатистый смех, грубо пронесшийся под великолепными сводами священного храма; 〈...〉 так никогда не говорили и никогда не будут говорить люди с чистым, неразвращенным сердцем...» и т. д. («Сев. вестник», 1890, № 11, отд. II, с. 164).

[50] Одна из книг Ветхого завета; авторство приписывается иудейскому царю Соломону.

[51] *Парнель Чарльз Стюарт* (1846—1891) — популярный ирландский политический деятель, сторонник радикальных общественных и земельных реформ; скандал, поднятый вокруг его интимной жизни, подробно освещался в русской печати в течение 1890 г.

[52] Драма Н. Ф. Ракшанина «Порыв» напечатана в приложении к журналу «Артист» (1891, № 12 (янв.).

[53] В феврале 1891 г. в Варшавском окружном суде слушалось дело отставного корнета А. М. Бартенева, убившего 10 июня 1890 г. артистку Варшавского драматического театра М. Висковскую. Подробные отчеты об этом процессе печатали петербургские и московские газеты. Защитником выступал адвокат Ф. К. Плевако (см.: Судебные речи известных русских юристов. М., 1956).

[54] Эпизод из библейской легенды об Иосифе Прекрасном (см. Бытие. Гл. 41).

[55] Псевдонимом «I» подписывался В. Л. Кигн (Дедлов). Михайловский излагает его «Беседы о литературе», где упоминалась история Парнеля, но речь шла главным образом о современной критике, которая «не знает подлинных требований русской жизни». Дело, начатое в 60-е гг., писал обозреватель журнала, «отказавшегося от наследства», кончилось «омертвением общественной жизни, праздной болтовней, пасквилями и падением изящной литературы», а также ханжеством, требующим изображать русского литератора «ангелом

доброты и невинности», даже если он «спивается с кругу и умирает от пьянства» («Книжки Недели», 1891, № 1, с. 177, 184, 185).

[56] *«Искра»* — еженедельная сатирическая газета, выходила в Петербурге в 1859—1873 гг. (с перерывами).

[57] *Степанов Николай Александрович* (1807—1877) — художник-карикатурист; до 1864 г. был соредактором В. С. Курочкина в «Искре».

[58] *Михайловский Н. К.* Щедрин.— В кн.: Критические опыты. Т. 2. М., 1890.

[59] Здесь и далее Михайловский цитирует по книге: *Фет А. А.* Мои воспоминания. Ч. 1—2. М., 1890.

[60] *Кокорев Василий Александрович* (1817—1889) — крупный откупщик, промышленник и банкир, вышедший из простонародья; известный меценат, выступал в качестве публициста в «Русском вестнике» в 1850—1860-х гг.

[61] *Боткин Василий Петрович* (1810—1869) — литературный и музыкальный критик.

[62] Французский писатель *Анри Мюрже* (1822—1861), известный своим романом «Сцены из жизни богемы» («Богема»), неоднократно издававшемся на русском языке.

[63] Установить участие Н. А. Демерта в газете «Гласный суд» невозможно, так как все материалы печатались без подписей.

[64] Известны два «Литературных обозрения» Михайловского, помещенных в «Гласном суде» 11 и 20 июля 1867 г. В них оспаривалась теория «социального организма» Г. Спенсера, в которой английский философ, по мнению Михайловского, «извратил смысл прогресса», ибо социальное развитие, по теории Спенсера, ведет не к усложнению, а к упрощению роли индивидуума в обществе, к «превращению в тунеядцев одних деятелей и низведению на степень машины других» (X, 433, 434, 439, 440). Другие статьи Михайловского в этой газете не атрибутированы, хотя, например, статья «Из секретных записок русского публициста» (20 июня 1867 г.) безусловно принадлежит ему; об этом говорит ряд биографических деталей и тематические переклички с другими статьями Михайловского.

[65] Михайловский уехал к сестре Е. К. Мягковой, в имение ее мужа Селище (напротив Костромы, за Волгой), где он был постоянным гостем в летние месяцы (у Николая Константиновича была, по его слову, идиосинкразия против поездок за границу: лишь дважды — в 1870 и 1873 гг.— он посетил Европу). Селищенский мир изобразил во многих своих работах художник Н. Н. Купреянов, внучатый племянник Михайловского. Так как в имении действовала библиотека и театр для народа, после революции 1917 г. оно, специальным

Постановлением ВЦИКа, было сохранено за племянницами Михайловского как культурный центр. В 1930 г.— уничтожено (см.: *Купреянов Н. Н.* Литературно-художественное наследие. М., «Искусство», 1973, с. 69).

[66] *Михайловский Н. К.* Сочинения. Т. 4. Спб., 1888, с. XI.

[67] В начале 1883 г. Михайловский начал писать роман о «типичном мерзавце», но не завершил его. Опубликован под заголовком «Из романа «Карьера Оладушкина»» (Спб., 1906; отдельные главы печатались при жизни Михайловского). В центре романа фигура мнимого революционера, вовлеченного в народовольческое движение честолюбием, а затем ставшего отступником.

[68] *Тиблен Николай Львович* (1825— ум. после 1869) — владелец петербургской типографии и издатель книг, преимущественно социально-экономического характера.

[69] *«Современное обозрение»* — ежемесячный журнал демократического направления; выходил под редакцией Н. Л. Тиблена в 1868 г. (всего вышло шесть книг). Среди сотрудников были П. Л. Лавров, Ф. М. Решетников, Ф. Д. Нефедов, Н. А. Демерт, В. В. Лесевич и др.

[70] Под редакцией В. Е. Генкеля еженедельная газета «Неделя» выходила в 1868—1872 гг.

[71] *Катков Михаил Никифорович* (1818—1887) — публицист правительственного лагеря, редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости».

[72] 7 июля 1862 г. Н. Г. Чернышевский был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, а в мае 1864 г. сослан в Сибирь.

[73] Полемика возникла в 1862 г. вокруг романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и продолжалась до 1865 г., захватывая все более широкий круг проблем. Симпатии общества были на стороне главного критика «Русского слова», ярко одаренного Д. И. Писарева, который видел в Базарове верный портрет современного молодого поколения, а не злую карикатуру, как утверждал М. А. Антонович.

[74] Речь идет о событиях, связанных с покушением Д. В. Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 г. Главным следователем по этому делу был назначен граф М. Н. Муравьев. Обладая диктаторскими полномочиями, Муравьев вознамерился искоренить всякое «вольнолюбие» в русском обществе и повел решительную борьбу с «неблагонадежными элементами». Рассчитывая отвести удар от «Современника», Некрасов прочел на обеде в Английском клубе хвалебную оду в честь Муравьева (текст не сохранился). Журнал все-таки был закрыт, а репутация Некрасова в демократических кругах на некоторое время пошатнулась. Этим и объясняется почти

полугодовое колебание Михайловского в решении вопроса, следует ли сотрудничать в новом журнале Некрасова.

[75] Стихотворение «Не может быть (Н. А. Некрасову)», принадлежащее поэтессе О. П. Мартыновой-Павловой, было послано вместе с письмом. Судя по помете Некрасова («получил 3 марта 1866»), оно не связано с так называемой «обеденной одой» (см.: *Некрасов Н. А* Полн. собр. соч. и писем. Художественные произведения. Т. 3. Л., 1982, с. 406—407).

[76] Ответ Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867) с указанием: «Посвящается неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть»».

[77] *Краевский Андрей Александрович* (1810—1889) — издатель «Отечественных записок», публицист умеренно-либерального направления.

[78] Полемические статьи Л. З. Слонимского «О теориях прогресса» и «Мнимая социология» появились в «Вестнике Европы» (1889, № 3, 5). Михайловский ответил статьей «Страшен сон, да милостив Бог (Несколько слов г. Л. Слонимскому)».—«Рус. мысль», 1889, № 3, 5, 6 (перепечатана — X, 97—186). Спор шел вокруг формулы прогресса Михайловского и так называемого «субъективного метода». Для Слонимского, экономиста либерального толка, был неприемлем социалистический идеал, из которого исходил в своих построениях Михайловский: в частности, оппонент полагал, что социализм несовместим с излюбленным мотивом Михайловского — «борьбой за индивидуальность», за свободное развитие человеческой личности

[79] Что написал — написал (*старослав.*).

[80] Из цикла «Письма об русской интеллигенции» было напечатано лишь «Письмо I» под псевдонимом «Аркадий Протасов». Статья содержала критическую оценку современной русской интеллигенции («Совр. обозрение», 1868, № 6).

[81] *Спенсер Г* Классификация наук. Спб., 1866, с. 1.

[82] В статье «Журнальные обозрения», напечатанной в «Неделе» (1868, № 10), Михайловский упоминал обновленные «Отечественные записки», обещающие стать «лучшим ⟨...⟩ из наших журналов» (X, 480).

[83] Весной 1868 г. Михайловский написал Е. К. Мягковой· «В «Неделе» я работал месяца два и переругался» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 8, л. 18 об.). «Журнальные обозрения» Михайловского в этой газете печатались в феврале — апреле 1868 г.

[84] Публикацию воспоминаний Михайловский начал после смерти Г. И. Успенского в марте 1902 г. Сначала были напечатаны «Материа-

лы для биографии Г. И. Успенского» («Рус. богатство», 1902, № 3, 4), затем в 1904 г.— статья «Г. И. Успенский как писатель и человек», вошедшая в сборники Михайловского 1957 и 1989 гг.

[85] А. М. Скабичевский присутствовал на чтении романа Михайловского «Борьба» и впоследствии вспоминал, что была прочитана лишь первая часть, которая «заключала в себе детство героя и жизнь его в закрытом заведении» (*Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания, с. 272).

[86] В действительности Михайловский не так легко отказался от мысли опубликовать роман в «Отечественных записках». 8 февраля 1869 г., т. е. через несколько месяцев после чтения, он писал Некрасову: «Мне почему-то кажется, что роман мой Вам не годится. Пожалуйста, не церемоньтесь сказать мне это прямо. Я уже им далеко не так интересуюсь, как прежде, и совершенно хладнокровно выслушаю неблагоприятный приговор» (Переписка Н. А. Некрасова. В 2-х т., т. 2. М., 1987, с. 426).

[87] Михайловский писал Н. А. Некрасову в 1869 г.: «Но романа своего я не дам: обжегся на молоке, так и на воду дуешь. Рукопись я почти всю уничтожил, а из того, что было набрано для «Современного обозрения», трудно что-нибудь выкроить, да у меня и рука не поднимается возиться с этим делом» (цит. по кн.: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 530).

[88] Цитата из «Литературных заметок» А. Л. Волынского («Сев. вестник», 1889, № 11, отд. II, с. 161).

[89] В «Литературных заметках», посвященных Михайловскому, А. Волынский писал: «Силой обстоятельств возник целый ряд вопросов и запросов, на которые нет ответа в талантливейших произведениях былых авторитетов. Время обнажило новый угол души, открыло новую мозговую линию, которой нужны жизнь, свет, яркие впечатления, свежие краски» («Сев. вестник», 1891, № 1, отд. II, с. 152).

[90] Это намерение Михайловский вскоре выполнил в статье «О новых мозговых линиях» (VI, 906—916).

[91] Из письма от 15 марта 1885 г.— *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. в 20-ти т., т. 20. М., 1977, с. 156—157.

[92] Обстоятельства этой ссоры не выяснены. В декабре 1873 г. Михайловский писал Е. К. Мягковой: «С «О⟨течественными⟩ з⟨аписками⟩» я развелся, долго и не совсем легко рассказывать почему, тем более что произошло примиренье» (ГБЛ, ф. 578, карт. 1, ед. хр. 9, л. 7). Среди писем Некрасова лишь в одном (недатированном) идет речь о недоразумении между редакцией и Михайловским из-за

отложенной во время его болезни статьи, возможно, по распоряжению Г. З. Елисеева, заведовавшего публицистическим отделом журнала. «По искреннему моему убеждению,— писал Некрасов Михайловскому,— из подобного недоразумения нет повода расходиться нам, и я бы очень был бы рад, если б Вы пришли к такому же заключению. Статью я велел Вам послать для пересмотра» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 11. М., 1952, с. 382).

[93] Статья Михайловского «Г. З. Елисеев» напечатана в «Русской мысли» (1892, № 11—12).

[94] *Глинка Ф. С.* К биографии Некрасова.— «Историч. вестник», 1891, № 2.

[95] *Полевой Николай Алексеевич* (1796—1846) — критик, беллетрист и драматург; издатель журнала «Московский телеграф».

[96] Воспоминания В. А. Панаева печатались в газете «Русская жизнь» с ноября 1890 г. по апрель 1891 г.

[97] *Данненберг Клавдий Андреевич* (1816—?) — художник, музыкант и поэт; был близко знаком с Некрасовым в 1839—1840 гг. (см.: *Вацуро В. Э.* Некрасов и К. А. Данненберг.— «Рус. лит.», 1976, № 1).

[98] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тучи» (1840).

[99] См.: *Андреевский С. А.* Литературные чтения. Спб., 1891, с. 211—214. Михайловский называет отношение критика «не весьма симпатичным», потому что Андреевский считал «вклад Некрасова в вечную сокровищницу поэзии гораздо меньшим», чем его слава, «добрых две трети» его стихотворений «могут быть превращены в прозу и не только ничуть от этого не пострадают, но даже выиграют в ясности и полноте» (там же, с. 182, 214—215).

[100] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

[101] Статья Михайловского «Жертва старой русской истории» была посвящена разбору двух книг: Пережитое и передуманное. Воспоминания Василия Кельсиева. Спб., 1868; Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева. Спб., 1868.

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — журналист, участник революционного движения, с 1859 г. эмигрант, сотрудник «Колокола» А. И. Герцена и Н. П. Огарева; в 1867 г. вернулся в Россию, заявив о разрыве со своей прошлой деятельностью. Его «Исповедь», написанную в Кишиневской тюрьме и посланную шефу жандармов графу П. А. Шувалову, см.: Лит. наследство. Т. 41—42. М., 1941.

«Судьба его выходит совершенно из ряду вон,— писал Михайловский в своей статье,— человек ⟨...⟩ вел самую деятельную револю-

ционную агитацию, всю душу свою клал в это дело, замешан во множестве политических дел, счастливо пробрался в Россию с фальшивым паспортом, так же счастливо ушел из нее, получил неслыханный у нас титул «неосужденного государственного преступника», полтора года был атаманом некрасовцев ⟨разновидность старообрядчества⟩ в Добрудже, чуть-чуть не попал в черкесские султаны и в конце концов воротился в Россию, получил помилование и обратился в русского литератора». В начале статьи Михайловский заявил, что будет судить о Кельсиеве «не с точки зрения какой-нибудь литературной, общественной или политической партии, а просто в качестве психолога», видя в нем жертву «исторического закона реакции», а также авантюриста, сменившего за недолгий срок несколько мировоззрений — от «ребяческого патриотизма» к «ребяческому нигилизму», от революционной агитации в среде раскольников к идее «слияния славян под сенью» монархической России и т. д. (IV, 1, 9, 15, 19, 20, 31).

[102] В статье «Журнальные арабески» Д. Д. Минаев неосновательно приписывал Михайловскому намерение сделать из Кельсиева «почтенного деятеля», встать «вне всяких партий», «корчить из себя психиатра» и т. д.; при этом публицист упрекал всю редакцию «Отечественных записок», якобы изменяющую прежнему радикальному руслу русской журналистики («Неделя», 1869, № 4, с. 121—122).

[103] См. примеч. 24.

[104] «Биржевые ведомости», 1879, 18 янв.

[105] *Марков Василий Васильевич* (1834—1883) — поэт, публицист и критик.

[106] Цитата из письма Некрасова Михайловскому от 30 января 1874 г.— *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 11, с. 295.

[107] Три стихотворения В. Шмакова, студента Института путей сообщения, напечатаны в «Отечественных записках» (1874, № 3, 4).

[108] В воспоминаниях о Г. З. Елисееве Михайловский упомянул о намерении многолетнего соратника Некрасова написать об обстоятельствах и причинах, которые привели к расколу между бывшими сотрудниками «Современника» и вызвали упомянутую брошюру М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского. То, что Елисеев, по существу, ограничился «Ответом на критику» («Отеч. зап.», 1869, № 4) да «отрывочными автобиографическими записями», оставшимися в его бумагах, Михайловский объяснил тем, что «памфлет доставил много неприятных минут», «но собственно в публике прошел бесследно» и совершенно не повлиял на быстро растущую популярность «Отечественных записок»: «...хлопушка разорвалась с известным треском, но

поезда не остановила и ничему не помешала» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. I, с. 483, 486). Однако в 1903 г. Михайловский счел необходимым вновь вернуться к этому эпизоду в статье «К воспоминаниям М. А. Антоновича о Некрасове», при этом привел записи Елисеева, оспаривающие утверждения Антоновича, и напоминал, что «существует история, и если она когда-нибудь займется эпизодом возрождения «Отечественных записок», так пусть же ею будет услышан голос не одного г. Антоновича» (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2. Спб., 1905, с. 362).

[109] По свидетельству Михайловского, Щедрину принадлежала полная «язвительного остроумия» рецензия на брошюру М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского в анонимном отделе «Новые книги» («Отеч. зап.», 1869, № 4). См. об этом в статье «Г. З. Елисеев» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. I, с. 484).

[110] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

[111] Из того же стихотворения.

[112] Имеется в виду первая жена Михайловская Мария Евграфовна (урожденная Павловская).

[113] Записка не сохранилась.

[114] Об этой встрече Некрасов писал А. Н. Еракову 25 июня (7 июля) 1873 г. из Киссингена: «Здесь находится Елисеев с супругою, ⟨...⟩ Михайловский, Иванюков (варшавский профессор). В этой компании мы большею частию пьем воду и гуляем» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 11, с. 260).

[115] И. С. Тургенев посетил больного Некрасова в начале июня 1877 г. См. стихотворение в прозе Тургенева «Последнее свидание» (1878).

[116] В 1884 г. было опубликовано «Первое собрание писем» И. С. Тургенева, в которое вошли письма к Я. П. Полонскому, содержавшие резкие отзывы о Некрасове, человеке и поэте. Так, 22 марта (3 апреля) 1873 г. Тургенев писал: «Он жулик и ярыга первой величины, но не настолько черствая душа, чтобы не ощущать желания быть с людьми одного с ним времени, одних воспоминаний и стремлений». 13 (25) января 1868 г.: «Некрасов — поэт с натугой и штучками; пробовал я на днях перечесть его собрание сочинений... Нет! Поэзия и не ночевала тут...» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. Т. 10. М.— Л., 1965, с. 83; т. 7. М.— Л., 1964, с. 30).

[117] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Скоро стану добычею тленья...» (1876).

[118] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

Н. В. ШЕЛГУНОВ

Впервые — в качестве вступительной статьи к изданию: *Шелгунов Н. В.* Соч., т. I. Спб., 1891. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Соч., т. V, 349—392.

[1] *Шелгунов Николай Васильевич* (1824—1891) — демократический публицист и литературный критик, старший современник и близкий друг Н. К. Михайловского.

[2] *Муравьев Михаил Николаевич* — граф, с 1857 по 1861 г. возглавлял министерство государственных имуществ; жесткий и требовательный государственный деятель. За жестокое подавление польского восстания 1963 г. был прозван в обществе «Муравьев-вешатель».

[3] В 1870 г. во время франко-прусской войны в битве с германской армией при Седане Франция потерпела сокрушительное поражение: вся ее армия во главе с Наполеоном III сдалась в плен.

[4] *Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1886) — публицист славянофильского направления. Сын писателя С. Т. Аксакова, младший брат одного из лидеров раннего славянофильства К. С. Аксакова. Долгое время работал в Московском славянском комитете, проповедовал идеи панславизма — объединения всех славян под эгидой российского государства.

[5] *«Русское слово»* — литературный и научный ежемесячный журнал, выходивший в 1859—1866 гг. в Петербурге. В нем печаталась группа демократических публицистов и писателей, группировавшихся вокруг Г. Е. Благосветлова, сначала редактора, а затем и редактора-издателя журнала. Среди авторов «Русского слова» наиболее известны Д. И. Писарев, Н. В. Шелгунов, П. Н. Ткачев, В. А. Зайцев, Д. Д. Минаев, А. И. Левитов, Ф. М. Решетников, Г. И. Успенский и др. Журнал развивал радикальные идеи и был закрыт правительством после выстрела Д. В. Каракозова в Александра II. Продолжением «Русского слова» стал ежемесячный журнал «Дело».

[6] См. примеч. 101 к «Литературным воспоминаниям».

[7] *Некрасовцы* — часть донских казаков, ушедших под предводительством атамана Некрасы в Турцию в начале XVIII в. и поселенных Портой в Добрудже. Часто делали вылазки против запорожцев-южноруссов, а также участвовали в войнах Турции против России.

[8] Имеется в виду кружок А. И. Герцена — Н. П. Огарева в середине 1830-х гг. в Московском университете, в котором проповедовались идеи французского утопического социалиста А. Сен-Симона. С этого кружка началась история социалистической мысли в России.

[9] *Барков Иван Семенович* (1732—1768) — поэт и переводчик, ученик М. В. Ломоносова. В основном занимался переводами латинских и итальянских авторов. Но широкую скандальную известность он получил не за них, а за так называемые «срамные» произведения, распространенные в списках и рукописях. В России они никогда не издавались. В этом свете следует понимать термин «барковщина», распространенный в XIX в.

[10] *«Внутреннее обозрение»* — специфическая рубрика и особый жанр публицистики в «толстых» российских журналах XIX в.

[11] В статье «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» («Современник», 1861, № 9—11) Н. В. Шелгунов впервые в России изложил работу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», став одним из популяризаторов идей марксизма, хотя марксистом как таковым не стал.

[12] *Западничество* и *славянофильство* — два основных мировоззренческих разветвления русской общественной мысли в 40—50-х гг. XIX в. Фактически они проходят через все столетие и продолжаются в столетии следующем вплоть до нынешнего времени.

[13] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).

[14] *Почвенники* — идейное течение 60-х гг. Рупором почвенничества были журналы «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). Ее теоретиками — А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов, братья Ф. М. и М. М. Достоевские. Почвенники продолжали идеи славянофилов, но в специфической общественной ситуации 60-х гг.

[15] *Берне Людвиг* (1786—1837) — известный немецкий публицист, работавший сначала в Германии, а затем во Франции. В своих статьях Берне выступал против реакционной политики многочисленных князей и герцогов Германии и ее сепаратистских тенденций. Ратовал за единение интересов Франции и Германии.

РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА

Впервые — «Рус. богатство», 1893, № 2. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 2. Спб., 1900, с. 32—60.

[1] Книга Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (Спб., 1893) вышла в январе.

[2] Лекцию «О причинах упадка русской литературы» Мережковский впервые прочел 26 октября 1892 г. в Русском литературном обществе в Петербурге, затем повторил ее 8 декабря («Нов. время», 1892, 28 окт. и 9 дек.). По сообщению газетного хроникера, Мережковский провозгласил: «Мы стоим на краю бездны...» — и рекомендовал искать спасения у современных французских декадентов.

[3] Письмо от 29 июня (11 июля) 1883 г., написанное за два месяца до смерти (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. Т. 13, кн. 2, с. 180). Мережковский цитирует это письмо в своей книге (с. 1—2).

[4] *Ришпен Жан* (1849—1926) — французский поэт, романист и драматург.

[5] *Мережковский Д. С.* О причинах упадка..., с. 19.

[6] Там же, с. 15.

[7] Там же, с. 16.

[8] *Протопопов Михаил Алексеевич* (1848—1915) — критик.

[9] *Буренин Виктор Петрович* (1841—1926) — литератор, критик газеты «Новое время».

[10] *Мережковский Д. С.* О причинах упадка.., с. 15.

[11] Там же.

[12] Там же, с. 52—53.

[13] Там же, с. 72.

[14] Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830).

[15] Мережковский относит к течению, охваченному «предчувствием божественного идеализма» П. Д. Боборыкина, И. И. Ясинского, М. Н. Альбова, Д. П. Голицына (Муравлина), А. К. Шеллера (Михайлова) и Н. С. Лескова (см.: О причинах упадка.., с. 84—85).

[16] В книге Н. М. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (Спб., 1890) развивалась мистическая теория преодоления эгоизма на путях преклонения перед безусловным абсолютом — «мэоном», что означает «несуществующий». Этот термин был главной мишенью насмешек. Михайловский в статье «О совести г. Минского» писал, что учение о мэонах, восходящее к Платону, «затрагивает предметы глубоко интересные», но Минский допускает слишком много противоречий, логических «кувырканий», кокетства, риторических красот и деланного пафоса. В результате книга воспринимается как напыщенная путаница, и если есть в ней что «искрен-

него, писанного действительно при свете совести, так это — страх смерти» (VI, 724, 745, 748).

[17] Речь идет о статье П. П. Перцова «Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова» («Рус. богатство», 1893, № 1).

[18] *Мережковский Д.* С. О причинах упадка.., с. 98.

[19] Михайловский имеет в виду свою статью «Литература и жизнь» («Рус. мысль», 1893, № 1), в которой был раздел «Декаденты, символисты, маги и проч.». Эта тема была продолжена в апрельском номере «Русской мысли» за 1893 г.

[20] Бахвальство, вранье.

[21] *Мережковский Д. С.* О причинах упадка.., с. 43.

[22] Свой взгляд на жизнь и деятельность О. Конта Михайловский подробно изложил в статье «Суздальцы и суздальская критика» (1870) (см. IV, 91—100).

[23] Речь идет о событиях, связанных с Парижской коммуной. Признавая неизбежность «трудных родов» истории, Михайловский не одобрял жестокости, проявленной обеими сторонами, и стоял на стороне тех немногих, кто стремится «избежать Сциллы и Харибды — парижских и версальских неистовств» (III, 2—3).

[24] *Мережковский Д.* С. О причинах упадка.., с. 99.

[25] *Кондорсе Жан Антуан* (1743—1794) — французский философ-просветитель; за выступление против террора во время французской революции приговорен к гильотине, принял яд в тюрьме.

[26] Три брата *Шенье* были участниками Французской революции *Анри* (1762—1794) — знаменитый поэт, погиб на гильотине за несколько дней до термидорианского переворота. *Луи* (1761—1813) — военный, арестован вместе с братом, случайно избежал казни. *Мари* (1764—1811) — драматург, подвергался нападкам современников за то, что не сумел защитить своего брата от обвинений революционного Конвента.

[27] Михайловский имеет в виду прежде всего «Парижские письма» Э. Золя, которые печатались в «Вестнике Европы» в 1875—1880 гг. Михайловский и другие авторы «Отечественных записок» оспаривали изложенную в этих «Письмах» теорию натурализма как «научного метода», позволяющего создать «реальный» или «экспериментальный» роман, чуждый политических тенденций и морализирования. Золя призывал писателей уподобиться химикам, «индифферентно» исследующим природу. Михайловский возражал: «...химик только в химии и уместен, и в душу человеческую ему лезть не полагается, потому что он там бессилен» (IV, 427). Золя лишь «прикидывается» бес-

страстным протоколистом, ибо во всех делах, затрагивающих человека, «одной истины мало» — «нужна еще справедливость» (IV, 430—431). И лучшим опровержением теории Золя служит цепь созданных им романов. Михайловский ждал от искусства двуединой правды — «правды-истины» и «правды-справедливости»; искусство должно рисовать «жизнь, как она есть», не забывая о «жизни, какою она должна быть», т. е. дополняя реализм изображения идеализмом настроения. «Научную формулу» романа, предложенную французским романистом, Михайловский считал теоретическим недоразумением, набóром «ученых фраз», при помощи которых Золя прóбует доказать «сходство медицины с изящным искусством» и полагает, что «художник не должен «ни одобрять, ни негодовать», а бесстрастно производить «опыты»». «Пусть так,— заключает Михайловский.— Не будем спорить. Но верно то, что на литературных престолах сидят только те, кто умеет возбуждать негодование или добрые чувства в читателе» (IV, 761, 764).

[28] Мережковский считал, что, за редкими исключениями, русская критика «всегда являлась силой противонаучной и противохудожественной»; среди современников он выделил «воинствующего эпигона» шестидесятников М. А. Протопопова; отличающегося «убийственной банальностью» А. М. Скабичевского; лишенного «литературной нравственности» В. П. Буренина и «молодого мертвеца» А. Л. Волынского с «бесплодием его художественного понимания» (О причинах упадка.., с. 25, 27, 31, 35).

[29] Из пьесы Мольера «Мнимый больной» (1673).

[30] *Мережковский Д. С.* О причинах упадка.., с. 57.

[31] Там же, с. 73, 75.

[32] См. главу V — «Любовь к народу: Кольцов, Некрасов, Глеб Успенский, Н. К. Михайловский, Короленко»,— в которой Мережковский назвал народнического критика «рыцарем Духа святого» и увидел силу его произведений «в их глубокой и пламенной субъективности», в служении самой жизни (О причинах упадка.., с. 72—74).

[33] Мережковский считал, что Михайловский в отношении к искусству — позитивист, в мистицизме видит лишь реакционное и отжившее суеверие. Однако полагал, что «мистическое чувство» не противоречит позиции Михайловского, ибо любовь к народу «не может проистекать ни из какого утилитарного расчета, ни из какой политико-экономической необходимости, а только из свободной веры в евангельскую святыню народа, только из божественного идеализма» (там же, с. 76).

[34] Евангелие от Матфея, 7, 21.

[35] *Михайлов ⟨Шеллер⟩ А.* Эсфирь. Историческая повесть из древнеперсидской жизни. Спб., 1892.

[36] *Мережковский Д.* С. О причинах упадка.., с. 85.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Впервые — «Рус. богатство», 1893, № 9, в составе постоянного раздела «Литература и жизнь». Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 2, с. 159—163.

[1] *«Весть»* — газета, выходившая в Петербурге в 1863—1870 гг.

[2] См. примеч. 5 к статье «Н. В. Шелгунов».

[3] См. примеч. 73 к «Литературным воспоминаниям».

И ЕЩЕ О НИЦШЕ

Впервые — «Рус. богатство», 1894, № 12. Печатается по тексту: *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. Т. 2, с. 465—496.

Входила в серию статей, предпринятую в связи с распространением в России «неправильно понимаемых идей Ницше» (там же, с. 444). Первые две части: «О Максе Штирнере и Фридрихе Ницше» и «Еще о Фридрихе Ницше» («Рус. богатство», 1894, № 8, 11).

В 1898 г. в связи с ростом влияния Ницше в Европе Михайловский писал: «У нас пока еще нет этого увлечения, да и Ницше мало известен, хотя мне уже не раз случалось наблюдать там и сям следы его влияния. Но мы живем умственными эпидемиями и, быть может, следующею же эпидемией будет ницшеанство. ⟨...⟩ Он нащупал или угадал некоторые подлинные пульсы современной жизни» (VIII, 806).

[1] *Штирнер Макс* (1806—1856) — псевдоним немецкого писателя Каспара Шмидта, автора книги «Единственный и его собственность» (1845), в которой излагалась философия последовательного солипсизма и этика крайнего эгоизма.

[2] Макс Нордау писал, что Ницше ничего не хочет знать о «природе и ее законах», «физические законы его чрезвычайно огорчают» (Вырождение. Киев, 1894, с. 371).

[3] Об этом Михайловский упоминал в «Литературных и журнальных заметках 1874 года» (II, 604).

[4] В статье «Еще о Фридрихе Ницше» Михайловский замечал: «Его философия есть «веселая наука». ⟨...⟩ Но это отнюдь не оптимизм в смысле уверенности в благополучном течении челове-

ческих дел. Ницше верит в «великие возможности», заключенные в человеке, но полагает, что это именно только возможности, которыми современное человечество не пользуется, которых оно даже не сознает и для воплощения которых в действительности нужна деятельность, работа, борьба. ⟨...⟩ Иначе говоря, счастие, не заработанное личными усилиями, а подаренное — судьбой ли, самодовлеющим ли историческим процессом,— не имеет для Ницше цены, не есть даже счастие. И наоборот, при сознании и чувстве правоты своего дела, не страшно и несчастие в обыкновенном смысле этого слова, не страшна даже гибель». И далее приводил ту же цитату из «Несвоевременных размышлений» Ницше о желании «погибнуть на великом и невозможном» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания... Т. 2, с. 456).

[5] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1854).

[6] См.: *Достоевский Ф. М.* Собр. соч. в 10-ти т., т. 4. М., 1956, с. 153.

[7] В статье «Макс Штирнер и Фридрих Ницше» речь шла в основном о первом философе, который развивал, по характеристике Михайловского, «чудовищно цинические» принципы крайнего эгоизма. Последовательная проповедь презрения к слабым и возвеличения сильных, писал Михайловский, снимает «нравственные препятствия, пожалуй, даже и для людоедства». Сам Штирнер кончил «забвением, неизвестностью, нищетою», «но через сорок лет он вынырнул в той же Германии в образе Фридриха Ницше, который, правда, кончил сумасшествием, но уже не только заставил говорить о себе, а встретил восторженных слушателей, почитателей, практических последователей». «Успех идеи еще отнюдь не составляет ее оправдания». «И возрождение Штирнера свидетельствует не о том, что в его книге содержится истина, а о том, что мы переживаем трудное время шатания общественных идеалов и эгоистической разнузданности». Однако, в отличие от Штирнера, Ницше «дает нечто положительное», ибо «мораль начинается с того момента, когда человеческое *я* накладывает на себя какую-нибудь узду» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания... Т. 2, с. 399, 401—404).

[8] Место заседания дежурных членов (пританов) афинского совета.

[9] Привидения; от нем. der Spuk.

[10] Апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 15, 41.

[11] Об этом Михайловский писал в статье «Еще о Фридрихе Ницше». Говоря о стремлении немецкого философа найти мерило добра и зла «по ту сторону добра и зла», критик ссылался на заме-

чание П. Е. Астафьева: «Что сказали бы мы о том «мыслителе», который серьезно уверял бы нас, что для того, чтобы здраво судить о логике, нужно стать вне и выше логики...» («Вопр. философии и психологии», 1893, январь, отд. II, с. 60—61). И продолжал: «Кажущаяся ценность этого довода рассыпается перед фактом, что 〈...〉 Ницше разумеет не добро и зло само по себе, а современные понятия о них. «Хорошее» в нравственном смысле, одобрительное, и «дурное», неодобрительное, он очень своеобразно, но тем не менее различает в самой исходной точке своей». Михайловский даже полагает, что «исходная точка» Ницше совпадает с определением христианской морали у самого П. Е. Астафьева, так как оба они признают «нравственную личность за безусловную *самоцель*, не могущую быть униженною до степени *средства*» чего бы то ни было (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания... Т. 2, с. 458). Этот постулат лежал в основе нравственной философии самого Михайловского.

[12] См.: *Нордау Макс.* Вырождение, 364, 365.

[13] Автором предисловия был Петер Гаст, «один из пламеннейших учеников» Ницше, по аттестации Михайловского в статье «Еще о Фридрихе Ницше».

[14] Первая цитата из «Игрока», вторая — из «Записок из подполья» (см.: *Достоевский Ф. М.* Собр. соч. в 10-ти т., т. 4. М., 1956, с. 315, 161).

[15] В статье «Еще о Фридрихе Ницше» Михайловский писал: «Достойно внимания, что Ницше знал и высоко ценил Достоевского» — и приводил полностью упомянутое в комментируемой статье высказывание о Достоевском как о «единственном психологе», у которого немецкий философ «нашел чему поучиться»: «Этот глубокий человек, десять раз правый в своей низкой оценке поверхностных немцев, получил от сибирских каторжников, тяжких преступников, которым уже нет возврата в общество, впечатление для него самого неожиданное; они оказались как бы вырезанными из лучшего, самого твердого и ценного дерева, какое только растет на русской земле». При этом Михайловский добавлял: «Духовные физиономии Ницше и Достоевского в общем до такой степени различны, что если бы Ницше знал всего Достоевского, а не только, по-видимому, «Мертвый дом», то, конечно, усмотрел бы в его писаниях совсем иные стороны и иные окончательные выводы. Тем не менее у этих двух столь различных людей есть нечто общее, по крайней мере в том смысле, что оба они с чрезвычайным, особливым интересом относятся к одним и тем же вопросам. Там, где Ницше ставит плюс, Достоевский

ставит в большинстве случаев минус и наоборот...» (*Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания... Т. 2, с. 449, 450).

[16] В статье «Еще о Фридрихе Ницше» Михайловский привел начало одной из речей Заратустры:

«Вы жметесь к ближнему, и есть у вас красивые названия для этого. Но говорю вам: ваша любовь к ближнему есть любовь к самим себе.

Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы сделать из этого добродетель: но я насквозь вижу ваше «бескорыстие». ⟨...⟩

Советую ли я вам любовь к ближнему? Нет, я советую вам бежать от ближних и любить дальних!»

Далее Михайловский заметил, что «для уразумения истинного смысла воззрений Ницше надо отрешиться от разных ходячих сопоставлений — положительных и отрицательных. ⟨...⟩ Все эти сопоставления и противопоставления обыкновенно слишком односторонне и чисто словесно мотивируемые. ⟨...⟩ Достаточно пока заметить, что, будучи индивидуалистом, он одинаково враждебен не только социализму, который обыкновенно противопоставляется индивидуализму, но и либерализму, формально опирающемуся на личное начало, и анархизму, представители которого не прочь были бы, по-видимому, искать себе теоретического обоснования в писаниях Ницше» (там же, с. 453—454).

[17] *Ройе Клеманс* (1830—?) — французская писательница, переводчица Дарвина и последовательница социал-дарвинизма.

[18] Михайловский неоднократно оспаривал основной принцип социологии Г. Спенсера — «свободу борьбы», в ходе которой выявляются «приспособленные и неприспособленные», причем последние трактуются как недостойные. «По высокому нравственному учению» этой теории, иронизировал Михайловский, «больной есть недостойный, физически слабый — тоже, бедный — тоже» (X, 833, 837). Наиболее резко об этом сказано в «Записках профана» (гл. «Об изучении социологии», 1875). Работа Спенсера «Социальная статика» (1850) предвосхищает теории Дарвина, считает Михайловский, перенося биологические законы «борьбы за существование» на человеческое общество. При этом Спенсер «требовал уничтожения всякой опеки над слабыми членами общества», всякой благотворительности и «всяких мер, направленных к некоторому ограждению карасей от аппетита щук. Все это объединяется в понятии вредной, искусственной поддержки слабых и негодных». Подобная «социология», считал Михайловский, ведет к ограждению существующего порядка вещей, при котором жареные рябчики сами валятся в рот «сильным» и «приспособленным», но вовсе не «высокому уровню человеческой породы»

способствует такой социальный механизм, а наоборот — созданию типа «наследственно неспособных бороться даже с ничтожнейшими препятствиями» (III, 360, 366, 367).

[19] *Преображенский В. П.* Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма.— «Вопр. философии и психологии», 1892, ноябрь. В особом примечании редакция осуждала беспристрастный тон изложения «возмутительной по своим окончательным выводам нравственной доктрины Фр. Ницше», «ослепленного ненавистью к религии, христианству и к самому Богу» (с. 115). На следующий год в журнале появился ряд статей с критикой нравственной философии Ницше. *Грот Н. Я.* Нравственные идеалы нашего времени. Фридрих Ницше и Лев Толстой.— 1893, январь; *Астафьев П. Е.* Генезис нравственного идеала декадента. Философия Ницше.— Там же; *Лопатин Л. М.* Больная искренность.— 1893, февраль.

〈О Л. Н. ТОЛСТОМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ〉

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1898, № 3, отд. II, с. 128—161, под постоянной рубрикой «Литература и жизнь». Вошло в т. VIII Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского (Спб., 1914).

Первая часть статьи — «Опровержение Г. Захарьина-Якунина» — опускается как мало связанная с основной темой.

[1] *Фигнер Николай Николаевич* (1857—1918) — известный оперный певец. *Кшесинская Матильда* (Мария) *Феликсовна* (1872—1971) — балерина. Оба артиста были солистами Мариинского театра в Петербурге.

[2] Захарьин-Якунин — литературный псевдоним И. Н. Захарьина, оставившего после себя в основном литературные и исторические воспоминания о военных. В «Песне о погибшем сыне», произведении, явно слабом, смерть мальчика описывается очень картинно и нереально.

[3] *Тропман Жан Батист* (1849—1870) — изрубил на бойне во французском городе Пантене семейство Кинков, был казнен в Париже в январе 1870 г. Данное событие описано в рассказе И. С. Тургенева «Казнь Тропмана».

[4] *Вагнер Николай Петрович* (1829—1907) — зоолог, заслуженный ординарный профессор. Помимо научной занимался также литературной деятельностью. Особой известностью пользовались его «Сказки Кота Мурлыки», выдержавшие четыре издания (первое издание — Спб., 1872).

[5] *Горбунов Иван Федорович* (1831—1895) — популярный актер и рассказчик юмористических сцен из народного быта.

[6] «Выставка русских и финляндских художников» открылась в январе 1898 г. Организатором ее был С. П. Дягилев. Кроме указанных Михайловским художников там выставлялись К. А. Коровин, В. А. Серов, И. И. Левитан, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Е. Ернефельт.

[7] *Боткин Михаил Петрович* (1839—1914) академик исторической живописи, член совета Академии художеств. Помимо занятий живописью участвовал в различных комиссиях, выставках, оказывая при этом помощь малоизвестным художникам.

[8] *Эдельфельд Альберт* (1854—1905) — крупный финский живописец реалистического направления, один из самых известных финских художников.

[9] *Гален* (правильная фамилия — Галлен-Каллела) *Аксели* (1865—1931) — финский живописец и график. Одним направлением творчества было изображение финской народной жизни на основе реализма, другим направлением — отражение героики эпоса «Калевала». Но оба этих направления сочетались с символикой и стилизацией в духе стиля «модерн».

[10] *Волков Ефим Ефимович* (1844—1920) — художник-пейзажист. *Дубовской Николай Никонорович* (1859—1918) — художник-пейзажист.

[11] *Максимов Василий Максимович* (1844—1911) — художник, его работы характерны реалистическим изображением деревенской жизни.

[12] *Семирадский Генрик* (1843—1902) — видный польский художник академического направления, изображавший обычно эпизоды из античной жизни.

[13] *Св. Климент Римский* (ум. 103 г. н. э.) — отец христианской католической церкви, ученик и сотрудник св. ап. Павла и епископ римский (с 92 г.). Автор двух «Посланий к коринфянам», вошедших в древнейшие списки Библии, а также ряда других «Посланий».
Гигин Гай Юлий — римский писатель, друг Овидия.

[14] Согласно древнегреческому мифу, братья Амфион и Цет подобным образом казнили царицу-волшебницу Дирцею (в греческом варианте — Дирку), мучившую их мать.

[15] *Новооскольцев Александр Николаевич* (род. 1853) — исторический живописец, академик Спб. Академии художеств.

[16] *Богданов-Бельский Николай Петрович* (1868—1945) — живописец-жанрист, передвижник. Его произведения отличались демократической направленностью и теплотой изображения сельской жизни.

ЕЩЕ ОБ ИСКУССТВЕ И ГР. ТОЛСТОМ

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1898, № 4, отд. II, с. 137—151, под постоянной рубрикой «Литература и жизнь». Вошло в т. VIII Полн. собр. соч. Н. К. Михайловского (Спб., 1914).

[1] *Стоглав* — законодательный сборник, принятый на Православном соборе 1551 г., названный так по количеству в нем глав, носящих по преимуществу нравственный и религиозно-этический характер.

[2] *Савонарола Джироламо* (или Иероним) — итальянский проповедник и реформатор церкви второй половины XV в.

[3] Имеются в виду персонажи драм А. Н. Островского и А. К. Толстого.

[4] *Малларме Стефан* (1842—1898) — известный французский поэт-символист.

[5] *Кнаус Людвиг* (1829—1910) — немецкий художник.

Вотье Беньямин (1829—1898) — немецкий художник, ставший во главе организованной им школы живописцев народного быта (преимущественно крестьянского и мещанского).

ПАМЯТИ Н. А. ЯРОШЕНКО

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1898, № 7, отд. II, с. 171—175. Вошло в т. VIII Полного собрания сочинений Н. К. Михайловского.

[1] *Ярошенко Николай Александрович* (1846—1898) — художник-передвижник.

[2] Речь идет о душевной болезни Г. И. Успенского, проявившейся в начале 90-х гг. Друзья писателя, среди которых были Михайловский, Ярошенко, Ф. Ф. Павленков, создали денежный фонд для лечения и помощи семье.

[3] Красный цветок. Литературный сборник в память Гаршина. Спб., 1889. В нем была помещена репродукция с картины Ярошенко «Кочегар», которая послужила толчком для создания рассказа «Художники» (1879), где картина описана под названием «Глухарь».

[4] Портрет К. Д. Кавелина написан в 1879 г., А. Н. Плещеева — в 1887 г., Салтыкова-Щедрина — в 1886 г., Г. И. Успенского — в 1884 г., Л. Н. Толстого — в 1894 г., В. С. Соловьева — в 1895 г. (см.: *Прытков В.* Н. Ярошенко. М., «Искусство», 1960).

[5] Портрет В. Г. Короленко написан в 1898 г.; оригинал погиб во время Великой Отечественной войны.

[6] Портрет Михайловского написан в 1893 г.; в настоящее время местонахождение не известно.

[7] Дом в Кисловодской слободе Ярошенко приобрел в 1882 г., в 1892 г. поселился в нем на постоянное жительство. В настоящее время в доме — музей художника.

[8] Имеется в виду картина «Забытый храм» (1896).

«РАССКАЗЫ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. СТРАХ СМЕРТИ И СТРАХ ЖИЗНИ

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1901, № 11, отд. II, с. 58—74. Вошло в т. 2 «Последних сочинений» Н. К. Михайловского (Спб., 1905).

Отклик на первую книгу Л. Н. Андреева, вышедшую в сентябре 1901 г. в издательстве «Знание». В октябре 1901 г. Михайловский послал автору письмо с предложением работать в «Русском богатстве». Л. Андреев ответил: «Вы были одним из самых дорогих моих учителей, указавших мне настоящую дорогу, и ваше одобрение бесконечно дорого мне» (Литературный архив. Вып. 5. М., 1960, с. 51).

[1] В сентябрьском номере «Русского богатства», оспаривая суждение С. А. Андреевского о том, что «общее признание» «медленно доставалось» Достоевскому, Михайловский напомнил о «почти экстатическом восторге», с каким были встречены кружком Белинского — Некрасова «Бедные люди» (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 66).

[2] В следующих изданиях Л. Н. Андреев исправил эту ошибку: герой стал называть себя не «коллежским секретарем», а «коллежским регистратором», что соответствует 13-му классу гражданских чинов.

[3] Не совсем точно цитируется стихотворение Н. А. Добролюбова «На смерть особы» (1857).

[4] Из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (1828).

[5] Заключительные слова сказки Щедрина «Бедный волк» (1883).

[6] Евангельскому старцу Семеону было предсказано, что он не умрет, не увидев Христа; эти слова он произнес при виде младенца Иисуса (Евангелие от Луки, 2, 29).

О ПОВЕСТЯХ И РАССКАЗАХ гг. ГОРЬКОГО И ЧЕХОВА

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1902, № 2, отд. II, с. 162—179. Вошло в т. 2 «Последних сочинений» Н. К. Михайловского.

[1] Начало заметок печаталось в «Русском богатстве» (1902, №1) под заголовком «О повестях и рассказах гг. Ф. Потехина, Ивана Щеглова, Н. Тимковского, Алексея Плетнева, кн. Барятинского, Евгения Чирикова, М. Горького, Антона Чехова». Однако в конце статьи Михайловский сослался на то, что для беседы о Горьком и Чехове, «этих царях современного русского рассказа», у него осталось слишком мало места и он откладывает статью до следующего месяца (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 151).

[2] Творчеству Чехова Михайловский посвятил статьи: «Об отцах и детях и о г. Чехове» (1890), «Палата № 6» (1892), «Кое-что о г. Чехове» (1900). Первая и третья вошли в сборники Михайловского 1957 г. и 1989 г. Две статьи о Горьком — «О г. Максиме Горьком и его героях» и «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» — также вошли в эти сборники. Михайловский написал также рецензию на пьесу Горького «Мещане» («Рус. богатство», 1902, № 4) и статью о «На дне» («Рус. богатство», 1903, № 4).

[3] Статьи Э.-М. Вогюе (1848—1910) вышли в русском переводе Максим Горький. Произведения и личность писателя. Спб., 1902; Антон Чехов. М., 1902.

[4] Михайловский цитировал слова старого профессора из «Скучной истории» в своих статьях «Об отцах и детях и о г. Чехове» (VI, 779—780) и «Кое-что о г. Чехове» (Последние сочинения. Т. 2, с. 301).

[5] Под псевдонимом «В. Г. Подарский» выступал народоволец-эмигрант Н. С. Русанов (1859—1939). В обзоре «Наша текущая жизнь» он причислил Чехова к «звездам первой величины на современном литературном небе», но не нашел у него «более или менее цельного настроения» и назвал «писателем глубоко аморальным» («Рус. богатство», 1902, № 1, отд. II, с. 154—155). На критическую реплику Михайловского Н. С. Русанов откликнулся в письме от 17 марта 1902 г. на имя заведующего редакцией «Русского богатства» А. И. Иванчина-Писарева: «Прочитал я с величайшим интересом Николая Константиновича о Горьком и Чехове. Но, грешный человек, по совести не могу признать, что Чехов так существенно изменился, как представляется Н. К. Но, конечно, я a priori склонен больше доверять опытности и широте захвата критической мысли Николая Констан-

тиновича...» (ИРЛИ, ф. 114, оп. 2, ед. хр. 399, л. 71). В т. 2 «Последних сочинений», которые после смерти Михайловского готовил А. И. Иванчин-Писарев (старый приятель Русанова), критическая реплика Михайловского по адресу В. Г. Подарского была опущена.

[6] «Отрывки о религии» печатались в «Русском богатстве» (1901, № 9, 10). Намерение продолжить тему не было осуществлено.

[7] Рассказ «Ошибка» всегда вызывал настороженное отношение Михайловского. В 1895 г. он отверг его как редактор «Русского богатства». В статье «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» назвал «странным рассказом», указывающим «на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути». Михайловский подчеркивал, что изречение героя «Ошибки» («это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо») лежит в основе «новых критериев морали» горьковских босяков. «Очевидно, однако,— писал критик,— что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений», стирающих различие между добром и злом (VIII, 941—943). В издании 1903 г. Горький убрал из текста рассказа эту фразу, что было отмечено Михайловским: «Подобные выкидки свидетельствуют, мне кажется, о совершающемся в г. Горьком переломе. Устранение уравнения «сильно = морально и хорошо» — особенно тем интересно, что ведь это говорит человек накануне сумасшествия, которому, следовательно, можно бы было предоставить свободу говорить разные несообразности. Очевидно, уравнение представляло хотя отчасти собственную мысль автора, от которой он ныне отказался» (Последние сочинения. Т. 2, с. 370).

[8] Повесть Горького «Мужик» печаталась в журнале «Жизнь» (1900, № 3, 4). Публикация была прервана автором на второй главе (третья при жизни Горького не печаталась). Намерение переделать и окончить повесть не было осуществлено.

О ДОСТОЕВСКОМ И г. МЕРЕЖКОВСКОМ

Печатается по тексту первой публикации — «Рус. богатство», 1902, № 10, отд. II, с. 164—185. Вошло в т. 2 «Последних сочинений» Н. К. Михайловского.

[1] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 14. Л., 1976, с. 213.

[2] Там же, т. 21, с. 157.

[3] Там же, т. 8, с. 277.

[4] Там же, т. 25, с. 17.

[5] Там же, т. 21, с. 9.

[6] Там же, т. 8, с. 452, 453.

[7] Там же, т. 10, с. 196—201.

[8] Там же, т. 14, с. 285.

[9] Там же, т. 10, с. 94.

[10] Эти слова о «сильных людях» принадлежат Васину, персонажу «Подростка»; отнесены к главному герою романа — Версилову (там же, т. 13, с. 52).

[11] Там же, т. 10, с. 94.

[12] Там же, с. 469.

[13] Там же, т. 14, с. 290, 291.

[14] Там же, т. 6, с. 221.

[15] По-видимому, описка Михайловского; по смыслу — не Ставрогин, а Свидригайлов.

[16] Там же, т. 8, с. 195.

[17] Там же, с. 188, 189.

[18] Там же, т. 10, с. 188.

[19] Там же, с. 450, 188.

[20] Там же, с. 323.

[21] Там же, т. 27, с. 19.

[22] Там же, т. 14, с. 236.

[23] Там же, т. 10, с. 311, 322.

[24] Там же, т. 6, с. 199—200.

[25] Там же, т. 25, с. 124.

[26] Там же, т. 26, с. 152.

[27] В статье «О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии», напечатанной в «Русском богатстве» (1902, № 8) и посвященной сборнику «В мире неясного и нерешенного», Михайловский приводил суждение В. В. Розанова: «Какая глубина в этом слове «взор»: ведь тут — глазное яблоко; одна, казалось бы, физиология; но в этой «физиологии» есть скорбь, есть безутешное — есть дух, высоко духовное, по коему мы и переименовываем анатомическое «глазное яблоко» в почти религиозное «взор»». И добавлял: «И все это вздор. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы «глазное яблоко» не переименовываем во «взор»,— мы можем бросить взор, бросить взгляд, но бросить глазное яблоко не можем. Далее, почему во «взоре» г. Розанов усматривает непременно скорбь и безутешное? 〈...〉 Ну а те лукавые, свирепые,

веселые и т. п. взоры, о которых мы говорим постоянно?» (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 242).

[28] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 6, с. 203.

[29] См.: *Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 8—9.

[30] *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч., т. 27. М., 1933, с. 29, 31.

[31] Там же, с. 88—89.

[32] Евангелие от Матфея, 25, 13.

[33] Речь идет о двух сборниках В. В. Розанова: «Религия и культура» (Спб., 1899) и «В мире неясного и нерешенного» (Спб., 1901). Д. С. Мережковский в своей книге «Л. Толстой и Достоевский» (Спб., 1901) также уделил внимание «святой плоти» и находил у Розанова «откровения нового оргиазма». На что Михайловский возражал: «Никакого «оргиазма» в «гениальных прозрениях» г. Розанова нет, напротив ⟨...⟩ он требует трезвости («не в опьянении»), умеренности, воздержности...» (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 250). Мережковский называл «вопрос пола» «по преимуществу нашим.. новым вопросом, от которого зависит все будущее христианства», и тем самым примыкал к «новой концепции христианства» Розанова. «Можно бы было вполне сочувствовать некоторым рассуждениям г. Мережковского ⟨...⟩,— заключал Михайловский,— как и некоторым соображениям г. Розанова о правах плоти, если бы эти рассуждения и соображения не были облечены в совершенно ненужную мистическую одежду» (там же, с. 258, 259).

[34] Оборот «священная борода» употребил В. В. Розанов в книге «В мире неясного и нерешенного» (с. 129—130). Михайловский подчеркнул комический оттенок этого словосочетания, но одновременно отвел упреки ортодоксальных охранителей христианства: «...мудрец, презирающий «обыкновенное, феноменальное суждение», мирящийся только на «до-мирной» истине и обтирающий ради нее своей священной бородой загаженные места,— это наивно, до комизма наивно, но «любодейного духа» тут нет. ⟨...⟩ Сладострастные культы древности, имея в большинстве случаев оргиастический и экстатический характер, не знали тех строго определенных рамок умеренности и аккуратности, которые настойчиво рекомендует г. Розанов» (*Михайловский Н. К.* Последние сочинения. Т. 2, с. 247).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Михайловский Н. К.
М 69 Литературная критика и воспоминания/Сост., вступ. статья М. Г. Петровой и В. Г. Хороса.— М.: Искусство, 1995.— 588 с.— («История эстетики в памятниках и документах»).

ISBN 5-210-02318-4

Литературное наследие Н. К. Михайловского, виднейшего демократического мыслителя и литературного деятеля, в послереволюционное время было в забвении Такая судьба Михайловского была предрешена его полемикой с марксизмом. Между тем авторитет Н. К. Михайловского в свое время был огромен. Его уважали даже оппоненты. «Наш противник, друг и отец»,— писал о нем философ Н А. Бердяев.

Издание книги восполнит пробел в понимании важнейшего этапа истории русской культуры. 17 (из 19) статей, включенных в книгу, в советское время печатаются впервые.

Рекомендуется широкому читателю.

$М\frac{0301080000-002}{025(01)-95}$ 16-92

ББК 87.8

МИХАЙЛОВСКИЙ
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА
И
ВОСПОМИНАНИЯ

История
эстетики
в памятниках
и документах

Редактор
С В ИГОШИНА
Художник серии
А Т ТРОЯНКЕР
Художник
В М МЕЛЬНИКОВ
Художественный редактор
И В БАЛАШОВ
Технический редактор
Н Г КАРПУШКИНА
Корректор
Н А МЕДВЕДЕВА

ЛР № 010157 от 03.01.1992 г.
Сдано в набор 12.07.91. Подписано к печати 11.03.92.
Формат 84 × 108/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура типа «Таймс»
Печать офсетная. Усл. печ л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08.
Уч.-изд. л. 32,03. Изд. № 17679. Тираж 3000. Заказ 2085.
Издательство «Искусство», 103009 Москва, Собиновский пер., 3.
Диапозитивы изготовлены в МГП «1-й Образцовой типографии».
Отпечатано в Московской типографии № 2 РАН.
121099 Москва, Шубинский пер., 6.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИСКУССТВО»
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.
ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ТЕОРИЯ СИМВОЛИЗМА. В 2-Х Т.

Серия «ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ В ПАМЯТНИКАХ И ДОКУМЕНТАХ»

Андрей Белый — крупный русский писатель первой трети XX в., один из ведущих теоретиков символизма. Особенно велик его вклад в эстетику символизма.

Предлагаемый двухтомник включает философско-эстетические и литературно-критические произведения писателя, охватывающие двадцатилетний период его наиболее интенсивного творчества (1910 — 1920-е гг.). Большая часть работ, вошедших в издание, в советское время не переиздавалась.

Первый том содержит статьи из книг «Символизм» и «Луг зеленый», а также работу «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой». Во второй том входят статьи из книги «Арабески» и работы «Революция и культура» и «Памяти Александра Блока»

Для специалистов-гуманитариев широкого профиля, а также читателей, интересующихся вопросами эстетики и художественного творчества.

Объем и цена издания указаны ориентировочно